

А. И. ГЕРЦЕНЪ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ

СОЧИНЕНІЙ И ПИСЕМЪ.

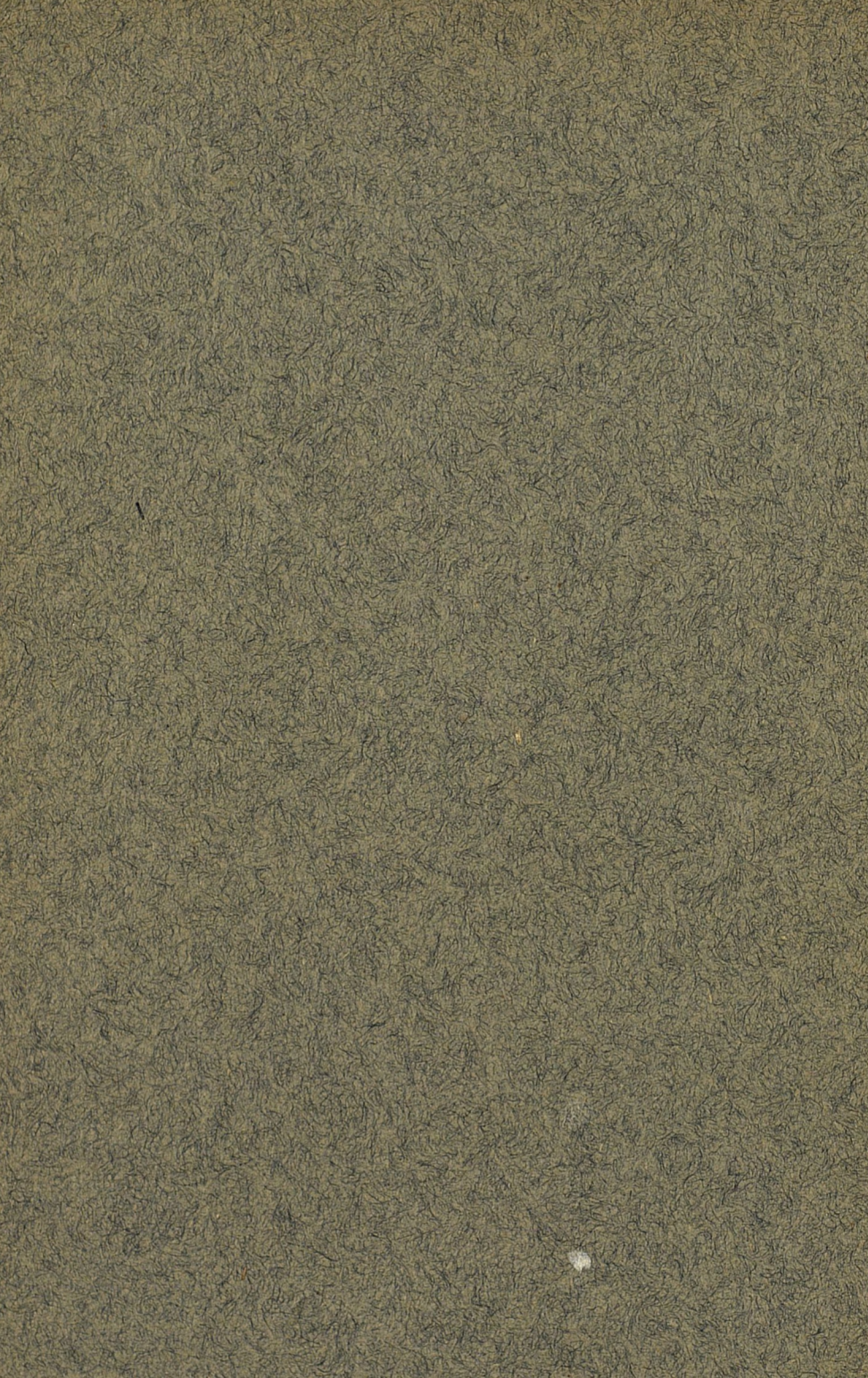
Подъ редакціей М. К. Лемке

Томъ IV

1845—1846 гг.

(№№ 417—451)

Издание наследниковъ автора



А. И. ГЕРЦЕНЪ

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНІЙ и ПИСЕМЪ.

Подъ редакціей М. К. Лемке

Томъ IV

1845—1846 гг.

(№№ 417—451)

Издание наследниковъ автора



Оглавленіе.

1845.

№№	СТР.
417.	Письма объ изученіи природы:
	I. Эмпирія и идеализмъ 1
	II. Наука и природа—феноменологія мышленія . 29
	III. Греческая философія 43
	IV. Послѣдняя эпоха древней науки 85
	V. Схоластика 111
	VI. Декартъ и Бэконъ 133
	VII. Бэконъ и его школа въ Англіи 144
	VIII. Реализмъ 161
*418.	Письмо къ А. А. Тучкову 183
**419.	Письмо къ А. Л. Витбергу 183
**420.	Письмо къ А. А. Краевскому 185
**421.	То же 186
*422.	Изъ „Дневника“ 186
**423.	Письмо къ А. А. Краевскому 187
*424.	Письмо къ Е. Б. Грановской 188
**425.	Письмо къ А. А. Краевскому 189
**426.	То же 191
**427.	То же 192
**428.	То же 192
**429.	То же 193
**430.	То же 193
431.	Кто виновать? Романъ.
	Предисловіе 194
	Часть I. Гл. I. Отставной генераль и учитель, опредѣляю-
	щійся къ мѣсту 197
	II. Біографія ихъ превосходительствъ. 203

№№		СТР.
	III. Біографія Дмитрія Яковлевича	215
	IV. Житъе-бытѣ	223
	V. Владиміръ Бельтовъ	252
	VI.	261
	VII.	278
	Часть II.	291
432.	Публичныя чтенія г-на профессора Рулье	377
**433.	Письмо къ А. А. Краевскому	386
**434.	Письмо къ Н. П. Огареву	387
**435.	Письмо къ А. А. Краевскому	389
*436.	Письмо къ К. Д. Кавелину	391

1846.

437.	Капризы и раздумье. II. По разнымъ поводамъ	395
**438.	Письмо къ А. А. Краевскому	406
**439.	То же	409
**440.	То же	411
*441.	Записка къ Т. Н. Грановскому	412
**442.	Письмо къ А. А. Краевскому	413
*443.	Надпись неизвѣстному	415
**444.	Письмо къ А. А. Краевскому	416
**445.	Письмо къ женѣ	416
**446.	То же	417
**447.	То же	422
**448.	То же	424
**449.	То же	427
*450.	Составъ русскаго общества	429
*451.	Приписка къ Н. Х. Кетчеру	434
	Библиографическій комментарий	446
	Опечатки и дополненія	472

417. ПИСЬМА ОБЪ ИЗУЧЕНИИ ПРИРОДЫ.

Природа—баядерка, являющаяся передъ очами духа. Онъ упрекаетъ ее въ безстыдствѣ, съ которымъ она обнажаетъ себя и отдается очамъ зрителей; но, выказавъ себя, она удаляется, потому что ее видѣли, и зритель удаляется, потому что видѣлъ ее.

Colebrooke, *Sank-hia, Philos. of the Hindous.*

. . . Doch der Götter Jüngling hebet
Aus der Flamme sich empor,
Und in seinen Armen schwebet
Die Geliebte mit hervor.

Gothe. Bayadere ¹⁾.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ.

Эмпирія и идеализмъ.

Слава Церерѣ, Помонѣ и ихъ родственникамъ! Я, наконецъ, не съ вами, любезные друзья!—Я одинъ въ деревнѣ. Мнѣ смертельно хотѣлось отдохнуть поодаль отъ всѣхъ... Нельзя сказать, чтобъ почтенныя особы, которыхъ я сейчасъ славословилъ, очень изубыточились для моего приѣма: дождь льетъ день и ночь, вѣтеръ рветъ ставни, шагу нельзя сдѣлать изъ комнаты, и,—странное дѣло!—при всемъ этомъ я ожилъ, поправился, веселѣе вздохнулъ,—нашелъ то, за чѣмъ ѣхалъ. Выйдешь подъ вечеръ на балконъ: ничто не мѣшаетъ взгляду; вдохнешь въ себя влажно-живой, насыщенный

¹⁾ Божественный юноша возстаетъ изъ пламени и рѣветъ съ возлюбленною въ рукахъ. Гете, «Баядерка».

дыханіемъ лѣса и луговъ воздухъ, прислушаешься къ дубравному шуму,—и на душѣ легче, благороднѣе, свѣтлѣе; какая-то благочестивая тишина кругомъ успокаиваетъ, примиряетъ... Вотъ такъ и кажется, что годы бы не выѣхалъ отсюда... Предвижу, что моя идиллическая выходка вамъ не понравится: «человѣкъ не долженъ жить особнякомъ, это—эгоизмъ, бѣгство, это—битыя фразы безумнаго женева ¹⁾, который считалъ современную ему городскую жизнь искусственною, какъ будто формы міра историческаго не такъ же естественны, какъ формы физическаго міра». Во-первыхъ, что касается до побѣга,—позорно бѣжать воину во время войны, а когда благоденственно царить прочный миръ, отчего не пожить въ отпуску? Во-вторыхъ, что касается до Руссо, я не могу безусловно принять за вранье того, что онъ говоритъ объ искусственности въ жизни современнаго ему общества: искусственнымъ кажется неловкое, натянутое, обветшалое. Руссо понималъ, что міръ, его окружавшій, не ладенъ; но нетерпѣливый, негодующій и оскорбленный, онъ не понималъ, что храмина устарѣвшей цивилизаціи о двухъ дверяхъ. Боясь задохнуться, онъ бросился въ тѣ двери, въ которыя входятъ, и изнемогъ, борясь съ потокомъ, стремившимся прямо противъ него. Онъ не сообразилъ, что возстановленіе первобытной дикости болѣе искусственно, нежели выжившая изъ ума цивилизація. Мнѣ, въ самомъ дѣлѣ, кажется, что нашъ образъ жизни, особенно въ большихъ городахъ—въ Лондонѣ или Берлинѣ, все равно,—не очень естественъ; вѣроятно, онъ во многомъ измѣнится,—человѣчество не давало подписки жить всегда, какъ теперь; у развивающейся жизни ничего нѣтъ завѣтнаго. Знаю я, что формы историческаго міра такъ же естественны, какъ формы міра физическаго! Но знаете ли вы, что въ самой природѣ,—въ этомъ вѣчномъ настоящемъ безъ раскаянія и надежды,—живое, развиваясь, безпрестанно отрывается отъ миновавшей формы, обличаетъ неестественнымъ тотъ организмъ, который вчера вполне удовлетворялъ? Вспомните превращеніе насѣкомыхъ, вѣчный примѣръ 'бабочки и куколки. Когда настоящее оперто *только* на прошедшее, оно дурно оперто. Петръ Великій торжественно доказалъ, что прошедшее, выражаемое цѣлой страной, несостоятельно противъ воли одного человѣка, дѣйствующаго во имя настоящаго и будущаго. Юридическая иронія многолѣтней давности не признается жизнью; совѣмъ напротивъ, давность съ точки зрѣнія природы даетъ только одно право,—право смерти.

Видите ли, я въ ударѣ резонерствовать... Это дѣйствіе дере-

¹⁾ Ж.-Ж. Руссо.

венскаго *far niente*. Но Богъ съ ней, съ городской жизнью! Я и не думалъ объ ней говорить; лучше, благо есть время, начну нѣкогда обѣщанныя письма о современномъ состояніи естествовѣдѣнія.

Помните ли вы наши безконечные споры студенческой эпохи, въ которыхъ обыкновенно съ двухъ отвлеченныхъ точекъ зрѣнія мы стремились понять явленіе жизни и не могли никогда дойти не только до дѣльнаго результата, но даже до того, чтобъ вполне понять другъ друга? Такъ относятся къ природѣ философія, съ своей стороны, и естествовѣдѣніе, съ своей, — обѣ съ страннымъ притязаніемъ на обладаніе, если не всею истиною, то единственно истиннымъ путемъ къ ней. Одна прорицала тайны съ какой-то недосыгаемой высоты, другое смиренно покорялось опыту и не шло далѣе; другъ къ другу они питали ненависть; они выросли во взаимной недовѣрїи; много предразсудковъ укоренилось съ той, и другой стороны; столько горькихъ словъ пало; что при всемъ желанїи они не могутъ примириться до сихъ поръ. Философія и естествовѣдѣніе отстрашиваютъ другъ друга тѣнями и привидѣніями, наводящими, въ самомъ дѣлѣ, страхъ и уныніе. Давно ли философія перестала увѣрять, что она какими-то заклинанїями можетъ вызвать сущность, отрѣшенную отъ бытія, — всеобщее, существующее безъ частнаго, безконечное, предшествующее конечному, и проч? Положительныя науки имѣютъ свои маленькія привидѣнница: это — силы, отвлеченныя отъ дѣйствій, свойства, принятыя за самый предметъ, и вообще разные кумиры, сотворенные изъ всякаго понятїя, которое еще не понято: *exempli gratia* — жизненная сила, эфиръ, теплотворъ, электрическая матерія и проч. Все было сдѣлано, чтобъ не понять другъ друга, и они вполне достигли этого. Между тѣмъ, стало уясняться, что философія безъ естествовѣдѣнія такъ же невозможна, какъ естествовѣдѣніе безъ философіи. Для того, чтобъ убѣдиться въ послѣднемъ, взглянемъ на современное состояніе физическихъ наукъ. Оно представляется самымъ блестящимъ; о чемъ едва смѣли мечтать въ концѣ прошлаго столѣтїя, то совершенно или совершается передъ нашими глазами. Органическая химія, геологія, палеонтологія, сравнительная анатомія распустились въ нашъ вѣкъ изъ небольшихъ почекъ въ огромныя вѣтви, принесли плоды, превзошедшіе самыя смѣлыя надежды. Мїръ прошедшій, покорный мощному голосу науки, поднимается изъ могилы свидѣтельствовать о переворотахъ, сопровождавшихъ развитіе поверхности земнаго шара; почва, на которой мы живемъ, — эта надгробная доска жизни миновавшей, — становится какъ-бы прозрачною; каменные склепы раскрылись; внутренности скаль не спасли хранимаго ими. Мало того, что полуистлѣвшіе; полуокаменѣлые остовы обрастаютъ снова

плотью, палеонтологія стремится ¹⁾ раскрыть законъ соотношенія между геологическими эпохами и полнымъ органическимъ населеніемъ ихъ. Тогда все, нѣкогда живое, воскреснетъ въ человѣческомъ разумѣніи, все исторгнется отъ печальной участи безслѣднаго забвенія, и то, чего кость истлѣла, чего феноменальное бытіе совершенно изгладилось, возстановится въ свѣтлой обители науки,—въ этой обители успокоенія и увѣковѣченія временнаго. Съ другой стороны, наука открыла за видимымъ предѣломъ цѣлые міры невидимыхъ подробностей; ей раскрылся тотъ monde des détails ²⁾, о возможности котораго генералъ Бонапарте мечталъ, бесѣдуя въ Каирѣ съ Монжемъ ³⁾ и Жоффруа Сентъ-Илеромъ ⁴⁾. Естествоиспытатель, вооруженный микроскопомъ, преслѣдуетъ жизнь до послѣдняго предѣла, слѣдитъ за ея закулисной работой. Физиологъ на этомъ порогѣ жизни встрѣтился съ химикомъ; вопросъ о жизни сталъ опредѣленнѣе, лучше поставленъ; химія заставила смотрѣть не на однѣ формы и ихъ видоизмѣненія,—она въ лабораторіи научила допрашивать органическія тѣла о ихъ тайнахъ. Сверхъ теоретическихъ успѣховъ, успѣхи физическихъ наукъ имѣютъ громкія доказательства внѣ кабинетовъ и академій; онѣ окружили вмѣстѣ съ механикой каждый шагъ нашей жизни открытіями и удобствами. Онѣ машинами, призваніемъ въ дѣло силъ брошенныхъ и теряющихся, упрощеніемъ сложныхъ и трудныхъ производствъ, указаніемъ возможности тратить не *болѣе* усилій, какъ сколько нужно для достиженія цѣли, участвуютъ въ разрѣшеніи важнѣйшаго общественнаго вопроса: онѣ подаютъ средства отрѣзать руки человѣческой отъ непрерывной тяжелой работы.

Казалось бы, послѣ этого естествовѣдѣнію остается торжествовать свои побѣды и, въ справедливомъ сознаніи великаго совершеннаго, трудиться, спокойно ожидая будущихъ успѣховъ; на дѣлѣ не совсѣмъ такъ. Внимательный взглядъ безъ большого напряженія увидитъ во всѣхъ областяхъ естествовѣдѣнія какую-то неловкость; имъ *чего-то* не достааетъ, чего-то, не замѣняемаго обиліемъ фактовъ; въ истинахъ, ими раскрытыхъ, есть недомолвка. Каждая отрасль естественныхъ наукъ приводитъ постоянно къ тяжелому сознанію, что есть нѣчто неуловимое, непонятное въ природѣ; что онѣ, несмотря на многостороннее изученіе своего предмета, узнали его *почти, но не совсѣмъ*, и именно въ этомъ, не-

¹⁾ Вспомните труды Агассиза надъ ископаемыми рыбами и труды Орбиньи надъ слизняками и другими началами.—А. И. Г.

²⁾ Міръ подробностей.

³⁾ Гаспаръ, создатель «Начертательной геометріи».

⁴⁾ «Notions de Philos. naturel!» par Geoffroy St.-Hilaire. Paris. 1838. А. И. Г.

достающемъ чемъ-то, постоянно ускользящемъ, предвидится та отгадка, которая должна превратить въ мысль и, слѣдственно, усвоить человѣку непокорную чуждость природы. Сознаніе сказаннаго вкрадлось въ самое изложеніе естественныхъ наукъ; вы часто встрѣтите средь удачъ и открытій грустную жалобу; увеличеніе знаній, не имѣющее никакихъ предѣловъ, обусловливаемое извнѣ случайными открытіями, счастливыми опытами, иногда не столько радуется, сколько тѣснить умъ. Пребывающая и поневолѣ признанная чуждость предмета, упорно не поддающаяся, сердитъ человѣка и вмѣстѣ съ тѣмъ влечетъ его къ себѣ на непрерывную борьбу, на покореніе, котораго онъ сдѣлать не въ состояніи и оставить не можетъ. Это—голосъ вопіющаго разума, не умѣющаго останавливаться на поддорогѣ, —голосъ самой *naturae rerum* ¹⁾, стремящейся вполнѣ просвѣтлѣть въ мышленіи человѣческомъ. Вѣроятно, вы замѣчали, съ какою поспѣшностью естествоиспытатели предупреждаютъ о предѣлахъ своего воззрѣнія, какъ бы страшась услышать вопросы, на которые они отвѣчать не могутъ; но такого рода границы несостоятельны; поставленныя личной волей, онѣ столько же внѣшни предмету, сколько заборъ, поставленный правомъ собственности, чуждъ полю, на которомъ стоитъ. Цеховые натуралисты громко и смѣло говорятъ, что имъ дѣла нѣтъ до самыхъ естественныхъ и законныхъ требованій разума, что человѣкъ не долженъ заниматься тѣмъ, чего нельзя разрѣшить ²⁾. Большой частью смѣлость эта подозрительна: она проистекаетъ или отъ ограниченности, или отъ лѣни; у иныхъ, однако, она имѣетъ высшее начало для нихъ,—это ложныя утѣшенія, которыми человѣкъ хочетъ отвести свои собственные глаза отъ зла, считаемаго неисправимымъ. По несчастію, вопросамъ такого рода нельзя навязать каменьевъ на шею, бросить ихъ въ воду и потомъ забыть о нихъ; они, какъ упрекъ совѣсти, какъ тѣнь Банко, мѣшаютъ наслаждаться пиромъ опытовъ, открытій, сознаніемъ истинныхъ и прекрасныхъ заслугъ, напоминая, что нѣтъ полнаго успѣха, что предметъ не побѣжденъ... Въ самомъ дѣлѣ, неужели можно успокоиться на предположеніи невозможности знанія? Тутъ человѣку науки остановиться и забыть такъ же не подѣ силу, какъ скупому стяжателю знать о кладѣ, зарытомъ на его дворѣ, и не искать его. Ни одинъ изъ великихъ естествоиспытателей не могъ спокойно пренебрегать этой неполнотой своей науки; таинственное *ignotum* ³⁾ мучило ихъ; они отно-

¹⁾ Природа вещей.

²⁾ Кому нельзя? когда? почему? гдѣ критеріумъ?—Наполеонъ считалъ парокходы невозможностью...—А. И. Г

³⁾ Незнаемое.

силы къ одному недостатку фактическихъ свѣдѣній неуловимость его. Мы думаемъ, что, сверхъ этого недостатка, имъ мѣшаетъ всего болѣе робкое и безсознательное употребленіе логическихъ формъ. Естествоиспытатели никакъ не хотятъ разобрать отношеніе знанія къ предмету, мышленія къ бытію, человѣка къ природѣ; они подъ мышленіемъ разумѣютъ способность разлагать данное явленіе и потомъ сличать, наводить, располагать въ порядкѣ найденное и данное для нихъ; критериумъ истины—вовсе не разумъ, а одна чувственная достовѣрность, въ которую они вѣрятъ; имъ мышленіе представляется дѣйствіемъ чисто личнымъ, совершенно внѣшнимъ предмету. Они пренебрегаютъ формою, методою, потому что знаютъ ихъ по схоластическимъ опредѣленіямъ. Они до того боятся систематики ученія, что даже матеріализма не хотятъ, *какъ ученія*; имъ бы хотѣлось относиться къ своему предмету совершенно эмпирически, страдательно, наблюдая его; само собою разумѣется, что для мыслящаго существа это такъ же невозможно, какъ организму принимать пищу, не претворяя ея. Ихъ мнимый эмпиризмъ все же приводитъ къ мышленію, но къ мышленію, въ которомъ метода произвольна и лична. Странное дѣло,—каждый фізіологъ очень хорошо знаетъ важность формы и ея развитія, знаетъ, что содержаніе только при извѣстной формѣ оживаетъ стройнымъ организмомъ,—и ни одному не пришло въ голову, что метода въ наукѣ вовсе не есть дѣло личнаго вкуса или какого-нибудь внѣшняго удобства, что она, сверхъ своихъ формальныхъ значеній, есть самое развитіе содержанія,—эмбриологія истины, если хотите.

Этотъ странный силлогизмъ естественныхъ наукъ не прошелъ имъ даромъ. Идеалисты непрерывно ругали эмпириковъ, топтали ихъ ученіе своими безтѣлесными ногами и не подвинули вопроса ни на одинъ шагъ впередъ. Идеализмъ собственно для естествовѣдѣнія ничего не сдѣлалъ... Позвольте оговориться! Онъ разработалъ, онъ приготовилъ безконечную форму для безконечнаго содержанія фактической науки; но она еще не воспользовалась ею: это—дѣло, будущаго... Мы на сію минуту говоримъ, если не о совершенно прошедшемъ, то о проходящемъ моментѣ. Идеализмъ всегда имѣлъ въ себѣ нѣчто, невыносимо дерзкое: человѣкъ, увѣрившійся въ томъ, что природа—вздоръ, что все временное не заслуживаетъ его вниманія, дѣлается гордъ, бездощаденъ въ своей односторонности и совершенно недоступенъ истинѣ. Идеализмъ высокомѣрно думалъ, что ему стоитъ сказать какую-нибудь презрительную фразу объ эмпириі,—и она разсѣется, какъ прахъ. Вышнія природы метафизиковъ ошиблись: они не поняли, что въ основѣ эмпириі положено широкое начало, которое трудно пошатнуть идеализмомъ. Эмпирики

поняли, что *существованіе* предмета — не шутка; что взаимодействіе чувствъ и предмета не есть обманъ; что предметы, насъ окружающіе, не могутъ не быть истинными, потому уже, что они существуютъ; они обернулись съ довѣріемъ къ тому, что *есть*, вмѣсто отыскиванія *того, что должно быть*, но чего, странная вещь, нигдѣ нѣтъ! Они приняли міръ и чувства съ дѣтской простотою и звали людей сойти съ туманныхъ облаковъ, гдѣ метафизики возились съ схоластическими бреднями; они звали ихъ въ настоящее и дѣйствительное; они вспомнили, что у человѣка есть пять чувствъ, на которыхъ основано начальное отношеніе его къ природѣ, и выразили своимъ воззрѣніемъ первые моменты чувственного созерцанія—необходимаго, единственно-истиннаго предшественника мысли. Безъ эмпириі нѣтъ науки, такъ, какъ нѣтъ ея и въ одностороннемъ эмпиризмѣ. Опытъ и умозрѣніе—двѣ необходимыя, истинныя, дѣйствительныя степени одного и того же знанія; спекуляція—больше ничего, какъ высшая, развитая эмпирія; взятыя въ противоположности, исключительно и отвлеченно, онѣ также не приведутъ къ дѣлу, какъ анализъ безъ синтеза или синтезъ безъ анализа. Правильно развиваясь, эмпирія непременно должна перейти въ спекуляцію, и только то умозрѣніе не будетъ пустымъ идеализмомъ, которое основано на опытѣ. Опытъ есть хронологически первое въ дѣлѣ знанія, но онъ имѣетъ свои предѣлы, далѣе которыхъ онъ или сбивается съ дороги, или переходитъ въ умозрѣніе. Это—два магдебургскія полушарія, которыя ищутъ другъ друга и которыхъ, послѣ встрѣчи, лошадыми не разорвешь. Несмотря на то, что правда сказаннаго нами довольно проста, она далеко отъ того, чтобъ быть познанию: антагонизмъ между эмпиріей и спекуляціей, между естественовѣдѣніемъ и философіей продолжается. Чтобъ понять это, надобно вспомнить время, когда естественовѣдѣніе отторглось отъ философіи: то было въ торжественную и великую эпоху возрожденія наукъ, когда поюнѣвшій человѣкъ снова почувствовалъ горячую кровь въ жилахъ и началъ своею мыслью обсуживать и изучать все, окружавшее его. Съ негодованіемъ взглянули тогда всѣ положительные, практическіе умы на схоластику; они, какъ всегда бываетъ при переворотахъ, забыли всѣ ея заслуги и помнили одинъ тяжкій яремъ, который она накладывала на мысль, помнили, какъ она, униженная, покорная, подавторитетная, занималась пустыми, формальными интересами, и съ ненавистью отвергли ее. Возстаніе противъ Аристотеля было началомъ самобытности новаго мышленія. Не надобно забывать, что Аристотель среднихъ вѣковъ не былъ настоящій Аристотель, а переложенный на католическіе нравы; это былъ Аристотель съ тонзурой. Отъ него, канонизированнаго языч-

ника, равно отреклись Декартъ и Бэконъ. Посмотрите, съ какимъ запальчивымъ пренебреженіемъ химики XVIII вѣка говорятъ о школьныхъ метафизикахъ и какъ радостно провозглашаютъ права опыта, наблюдений, эмпириі, какъ они ничего знать не хотятъ внѣ чувственной достовѣрности, какъ они трепещутъ всего, напоминающаго схоластическіе кандалы. Имъ стало легко и привольно, потому что они стали на землю, на которой человѣку суждено стоять; у нихъ была отыскана точка внѣшней опоры, точка отправленія; они ревниво ее отстаивали и пошли своей дорогой, дорогой трудной, песчаной; они не боялись труда,—непреложная реальность ихъ занятій увлекала ихъ; природа, неистощимо богатая явлениями, довлѣла надолго жадному любознанию; но, само собою разумѣется, натуралисты должны были неминуемо прійти къ предѣламъ своего воззрѣнія, потому что ихъ воззрѣнія были узки, и, въ самомъ дѣлѣ, пришли къ нимъ; но страхъ схоластики превозмогъ: они не выступаютъ изъ круга, добровольно ими самими замкнутаго. Философіи было легче дойти до истинныхъ и дѣйствительныхъ основаній логики, нежели поправить свою репутацію. Впрочемъ, это возстановленіе репутаціи она вполне можетъ сдѣлать только въ наше время,—закваска схоластическая только теперь начинаетъ выдыхаться изъ нея. Идеализмъ—не что иное, какъ *схоластика протестантскаго міра*. Онъ никогда не уступалъ въ односторонности эмпириі; онъ никогда не хотѣлъ понять ее и, когда понялъ, поневолѣ съ важностью протянулъ ей руку, прощалъ ее, диктовалъ условія мира, въ то время, какъ эмпирія вовсе не думала у него просить помилованія. Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что умозрѣніе и эмпирія равно виноваты во взаимномъ непониманіи, и дѣло теперь вовсе не въ томъ, чтобъ оправдать одну сторону на счетъ другой, но въ томъ, чтобъ, объяснивъ, какъ они попали въ борьбу извѣстной притчи Мененія Агриппы, показать, что это—фактъ прошедшій, принадлежащій гробу и исторіи, что продолжать эту борьбу обѣимъ сторонамъ вредно и нелѣпо. И философія, и естествовѣдѣніе выросли изъ временнаго антагонизма своего, имѣютъ всѣ средства въ рукахъ понять, откуда онъ вышелъ и въ чемъ состояла его историческая необходимость,—одно только унаслѣдованное чувство вражды можетъ поддерживать обветшалыя и жалкія взаимныя обвиненія. Имъ надобно *объясниться* во что бы то ни стало, понять разъ навсегда свое отношеніе и освободиться отъ антагонизма: всякая исключительность тягостна, она не даетъ мѣста свободному развитію. Но для этого объясненія необходимо, чтобъ философія оставила свои грубыя притязанія на безусловную власть и на всегдашнюю непогрѣшительность. Ей, по праву, дѣйствительно, при-

надлежитъ центральное мѣсто въ наукѣ, которымъ она вполне можетъ воспользоваться, когда перестанетъ требовать его, когда откровенно побѣдитъ въ себѣ дуализмъ, идеализмъ, метафизическую отвлеченность, когда ея совершеннѣйшій языкъ отучится отъ робости передъ словами, отъ трепета передъ умозаключеніемъ; ея власть будетъ признана тогда болѣе, нежели признана она будетъ дѣйствительно; иначе, объявляя себя, сколько хочешь, абсолютной, никто не повѣритъ, и частныя науки останутся при своихъ федеральныхъ понятіяхъ ¹⁾. Философія развиваетъ природу и сознаніе а priori, и въ этомъ ея творческая власть; но природа и исторія тѣмъ и велики, что онѣ не нуждаются въ этомъ а priori: онѣ сами представляютъ живой организмъ, развивающій логику а posteriori. Что тутъ за мѣстничество? Наука одна: двухъ наукъ нѣтъ, какъ нѣтъ двухъ вселенныхъ; споконъ вѣка сравнивали науки съ вѣтвящимся деревомъ; сходство чрезвычайно вѣрное: каждая вѣтвь дерева, даже каждая почка имѣетъ свою относительную самобытность, ихъ можно принять за особыя растенія; но совокупность ихъ принадлежитъ одному цѣлому, живому *растенію этихъ растеній*—дереву; отнимите вѣтви—останется мѣртвый пень, отнимите стволъ—вѣтви распадутся. Всѣ отрасли вѣдѣнія имѣютъ самобытность, замкнутость, но въ нихъ непремѣнно вошло нѣчто данное, впередъ идущее, не ими узаконенное; онѣ—собственно, органы, принадлежащія одному существу; отдѣлите органъ отъ организма, и онъ перестанетъ быть проводникомъ жизни, сдѣлается мертвою вещью, и организмъ, въ свою очередь, лишенный органовъ, сдѣлается искаженнымъ трупомъ, кучею частицъ. Жизнь есть сохраняющееся единство многообразія, единство цѣлаго и частей; когда нарушена связь между ними, когда единство, связующее и хранящее, нарушено, тогда каждая точка начинаетъ свой процессъ: смерть и гніеніе трупа—полное освобожденіе частей. Еще сравненіе. Частныя науки составляютъ планетный міръ, имѣющій средоточіе, къ которому онъ отнесенъ и отъ котораго получаетъ свѣтъ; но, говоря такъ, мы не забудемъ, что свѣтъ—дѣло двухъ моментовъ, а не одного; безъ планетъ не было бы солнца. Вотъ этого-то органическаго соотношенія между фактическими науками и философіей нѣтъ въ сознаніи нѣкоторыхъ эпохъ, и тогда философія погрязнетъ въ абстракціяхъ, а положительныя науки теряются въ безднѣ фактовъ. Такая ограниченность рано или поздно должна найти выходъ: эмпирія перестанетъ бояться мысли; мысль, въ свою очередь, не будетъ пятиться

¹⁾ Въ исторіи все *относительно* абсолютно; безотносительно абсолютное—логическое отвлеченіе, которое за предѣлами логики тотчасъ дѣлается относительнымъ.—А. И. Г.

оть неподвижной чуждости міра явленій; тогда только вполнѣ побѣдится внѣ сущій предметъ, ибо ни отвлеченная метафизика, ни частныя науки не могутъ съ нимъ совладѣть: одна спекулятивная философія, выросшенная на эмпириі, — страшный горнъ, передъ огнемъ котораго ничто не устоитъ. Частныя науки конечны, онѣ ограничены двумя впередъ идущими: предметомъ, твердо стоящимъ внѣ наблюдателя, и личностью наблюдателя, прямо противоположною предмету. Философія снимаетъ логикой личность и предметъ, но, снимая, она сохраняетъ ихъ. Философія есть единство частныхъ наукъ; онѣ втекаютъ въ нее, онѣ—ея питаніе; новому времени принадлежитъ воззрѣніе, считающее философію отдѣльною отъ наукъ; это послѣднее—убійственное произведеніе дуализма; это—одинъ изъ самыхъ глубокихъ разрѣзовъ его скальпеля. Въ древнемъ мірѣ беззаконной борьбы между философіей и частными науками вовсе не было; она вышла рука-объ-руку изъ Іоніи и достигла своего апогеоза въ Аристотелѣ ¹⁾. Дуализмъ, составлявшій славу схоластики, носилъ въ себѣ необходимымъ послѣдствіемъ расторженіе на отвлеченный идеализмъ и отвлеченную эмпирію; онъ проводилъ свой безпощадный ножъ между самымъ неразрывнѣйшимъ, между родомъ и недѣлимимъ, между жизнью и живымъ, между мышленіемъ и тѣми, которые мыслятъ; и у него по той и другой сторонѣ ничего не оставалось или, хуже, оставались призраки, принимаемые за дѣйствительность. Философія, не опертая на частныхъ наукахъ, на эмпириі, — призракъ, метафизика, идеализмъ. Эмпирія, довлѣющая себѣ внѣ. Философіи, — сборникъ, лексиконъ, инвентарій или, если это не такъ, она невѣрна себѣ. Мы сейчасъ увидимъ это.

Фактъ, бросающійся съ перваго взгляда въ физическихъ наукахъ, состоитъ въ томъ, что естествоиспытатели только говорятъ, что они не выходятъ изъ эмпириі, а въ сущности они почти никогда не остаются въ ней; они выходятъ изъ предѣловъ опытнаго вѣдѣнія, не давая себѣ отчета, что дѣлаютъ; безсознательно итти въ дѣлѣ наукъ невозможно, не сбившись съ дороги; для того, чтобы дѣйствительно перейти предѣлы какого-либо логическаго момента, надобно, по крайней мѣрѣ, понять, въ чемъ именно ограниченность исчерпанной формы: ничто въ свѣтѣ не путаетъ такъ понятій, какъ безсознательный выходъ изъ одного момента въ другой. Пока естествовѣдѣніе въ самомъ дѣлѣ остается въ предѣлахъ эмпириі, оно превосходно дагерротипируетъ природу, оно переводитъ сущее; частное, феноменальное на всеобщій языкъ; это—подробный и не-

¹⁾ Сократъ смотрѣлъ на физическія науки какъ-то въ родѣ нашихъ филологовъ; но это была временная размолвка.—А. И. Г

обходимый кадастръ недвижимаго имѣнія науки, это — матеріаль, способный на дальнѣйшее развитіе, которое, однако, можетъ очень долго не быть: оставаться въ предѣлахъ такой эмпирии въ самомъ дѣлѣ трудно, почти невозможно; на это надобно бездну воздержности, бездну самоотверженія, гениальность Кювье ¹⁾ или тупость какого-нибудь недалняго спеціалиста. Естествоиспытателямъ, такъ громко и непрерывно превозносящимъ опытъ, въ сущности, описательная часть скоро надоѣдаетъ. Имъ явнымъ образомъ не хочется оставаться при одномъ добросовѣстномъ перечнѣ; они чувствуютъ, что это не наука, стремятся замѣшать мышленіе въ дѣло опыта, освѣтить мыслию то, что въ немъ темно, и тутъ обыкновенно они запутываются и теряются въ худо понятыхъ категоріяхъ, идутъ зря, не даютъ отчета въ своихъ дѣйствіяхъ, боятся выпустить изъ рукъ предметъ, данный чувственной достовѣрностью, не замѣчая, что онъ давно уже измѣнился; боятся довѣриться мышленію и, неволью увлекаемые въ потокъ діалектическаго движенія, разлагаютъ предметъ на его противоположныя опредѣленія, утрачивая возможность соединить разъединенныя начала. Стремленіе выйти изъ эмпирии совершенно естественно, — исключительность противна духу человѣческому. Чисто-эмпирическое отношеніе къ природѣ имѣетъ животное, но зато животное относится только практически къ окружающему міру; оно не довольствуется страдательнымъ разсматриваніемъ естественныхъ произведеній и ѣсть ихъ или идетъ прочь. Человѣкъ чувствуетъ непреодолимую потребность восходить отъ опыта къ совершенному усвоенію даннаго знаніемъ; иначе это данное его тѣснить, его надобно *переносить* (subir), что несомѣстно съ свободой духа. Оттого-то законсѣлѣйшіе враги логики и філософіи не могли уберечь себя отъ теоретическихъ мечтаній, иногда не уступающихъ въ нелѣпости самому трансцендентальному идеализму. Развѣ химики не имѣли своей «quinta essentia» ²⁾, своего «всемірнаго газа», своихъ теорій происхожденія, своей теоріи металловъ, своей теоріи флогистона и пр.? Дѣло въ томъ, что человѣкъ больше у себя въ мірѣ теоретическихъ мечтаній, нежели въ многообразіи фактовъ. Собраніе матеріаловъ, разборъ, изученіе ихъ чрезвычайно важны; но масса свѣдѣній, не пережженныхъ мыслию, не удовлетворяетъ разуму. Факты и свѣдѣнія представляютъ необходимые документы производимаго слѣдствія, — но судъ и приговоръ, впереди; онъ оснуется на документахъ, но произнесетъ *своѳ*. Факты, это — только скопленіе однороднаго мате-

¹⁾ Жоржъ, создатель сравнительной анатоміи и палеонтологіи.

²⁾ Квинтъ-эссенція.

ріала, а не живой ростъ, какъ бы сумма частей ни была полна. Эмпірики, понимая это инстинктуально, переходятъ къ разсудочнымъ отвлеченіямъ, думая ими уловить цѣлое по частямъ; такимъ образомъ, они теряютъ предметъ, сущій на самомъ дѣлѣ, замѣняя его отвлеченіями, сущими только въ умѣ. Если-бъ они откровенно довѣрялись мышленію, оно ихъ вывело бы изъ односторонности той же діалектической необходимостью, которая заставила ихъ отъ непосредственнаго бытія перейти къ разсудочнымъ посредствамъ; оно привело бы ихъ къ сознанію конечности такого знанія, къ сознанію нелѣпости остановиться въ безвыходномъ круговоротѣ причинъ и дѣйствій, въ которомъ каждая причина—дѣйствіе и каждое дѣйствіе—причина, въ странномъ разъединеніи формы и содержанія, силы и проявленія, сущности и бытія. Но они не довѣряются мышленію; еще болѣе: видя неудачныя попытки добратъся до истины путемъ разсудочнаго движенія, они сильнѣе предубѣждаются противъ всякаго мышленія; они раскаиваются въ томъ, что потеряли время внѣ эмпирической сферы. Но зачѣмъ же они употребляютъ логическія дѣйствія, не давая себѣ отчета въ ихъ смыслѣ? Они воображаютъ, что если они переходятъ изъ эмпиріи къ объясненіямъ, то весь предметъ у нихъ цѣлъ и сохраненъ; въ то время, какъ отвлеченныя категоріи не имѣютъ силы зачерпнуть его такъ, какъ онъ есть, разсудокъ, какъ гальваническій снарядъ, или вовсе не дѣйствуетъ или дѣйствуетъ, разлагая на двѣ противоположности,—который бы результатъ его ни взяли. Онъ односторонненъ, онъ—составная часть. Въ эту туманную среду разсудочнаго движенія поднимаются эмпирики и не идутъ дальше, — между тѣмъ эта среда истинна только, какъ переходъ, какъ путь, цѣль котораго—быть пройденнымъ; если-бъ поняли смыслъ разсудочной науки, тогда прозрачная преграда между опытомъ и умозрѣніемъ уничтожилась бы сама собою; теперь же эмпирія на философію и философія на эмпирію смотрятъ именно сквѣзь эту среду и видятъ другъ друга съ искаженными чертами: эмпирія, встрѣчая усѣченную, недѣйствительную разсудочную истину, думаетъ, что это—вина самаго мышленія; философія ее же принимаетъ за результатъ опытнаго вѣдѣнія. Остановиться на рефлексіи хуже, нежели остановиться на эмпириі: все нелѣпое, все смѣшное, что вы встрѣтите въ физическихъ наукахъ, происходитъ именно отъ внѣшнихъ размышленій и объяснительныхъ теорій ¹⁾).

¹⁾ Предоставляю себѣ въ послѣдствіи показать нѣсколько разительныхъ примѣровъ теоретическихъ нелѣпостей наукъ положительныхъ; теперь укажу вамъ только на всѣ существующіе курсы физики: Біо ^{o)}, Ламе, Гей-Люссака ^{oo)}, Дебре, Пулье и пр., и пр. Химія занимается больше дѣломъ; ея предметъ

Натуралисты, дошедшіе до разсудочнаго движенія, воображаютъ, что анализъ, аналогія и, наконецъ, наведеніе, какъ дальнѣйшее развитіе обоихъ,—единственныя средства узнать предметъ, оставляя его неприкосновеннымъ, какъ онъ былъ; а этого-то именно и не нужно, и невозможно. Во-первыхъ, анализъ не оставляетъ камня на камнѣ въ данномъ предметѣ и кончитъ всякій разъ тѣмъ, что сведетъ данное эмпиріей на отвлеченныя всеобщности; онъ правъ: онъ дѣлаетъ свое дѣло; не правы употребляющіе его безъ отчета о его дѣйстви и останавливающіеся на немъ. Во-вторыхъ, желаніе оставить предметъ, какъ онъ есть, и понять его, не разрѣшая въ мысль, — не только иллогизмъ, но просто нелѣпость: частный предметъ, явленіе остается неприкосновеннымъ, если человѣкъ, не думая о немъ, смотритъ на него, когда онъ къ нему равнодушенъ; если онъ его назоветъ, то уже онъ не оставилъ его.

конкретнѣе, эмпиричнѣе; но физика отвлеченнѣе по своимъ вопросамъ, и потому она представляетъ торжество гипотетическихъ объяснительныхъ теорій (т. е. такихъ, о которыхъ впередъ знаютъ, что онѣ—вздоръ). Съ самаго начала въ физикѣ гибнетъ эмпирической предметъ; являются одни общія свойства: матерія, силы; потомъ вводятся какіе-то внѣшніе агенты: электричество, магнетизмъ и проч., даже бѣдную теплоту попробовали олицетворить въ теплотворѣ,—греческій антропоморфизмъ природы, только сухой, неизящный. А теорія свѣта? Двѣ противоположныя теоріи свѣта, обѣ опровергаемыя, обѣ признанныя, потому что есть явленія, которыя объясняются по одной, а другія по другой! И какъ его ни опредѣляютъ: и жидкостью, и силой, и невѣсомымъ! Почему онъ жидкость, когда невѣсомой, да такая легкая жидкость? Отчего же гранитъ не считать претяжелой жидкостью? И что за жалкое опредѣленіе невѣсомости! Свѣтъ, сверхъ того, и не пахучее? *Сила*—тоже не лучше! Почему не сказать: свѣтъ — *дѣйствіе*? На силу все можно свести, какъ на достаточную причину явленія. Отчего звука никто не называетъ ни жидкостью, ни силой (хотя Гассенди и толковалъ объ атомахъ звука)? Отчего никто не называетъ очертанія тѣла невѣсомой формой его? На это возражать, что форма присуща тѣлу, звукъ—сотрясеніе воздуха. А развѣ кто-нибудь видѣлъ все общество *imponderabilium*⁰⁰⁾ внѣ тѣла, такъ—самихъ по себѣ?—«Да это все одни временныя опредѣленія для того, чтобы какъ-нибудь не растеряться; мы сами этимъ теоріямъ не придаемъ важности». Очень хорошо, но, вѣдь, когда-нибудь надобно же и серьезно заняться смысломъ явленій; нельзя все шутить; принимая для практической пользы несомнѣтельную гипотезу, наконецъ, совершенно собьемся съ толку. Эта метода дѣлаетъ страшный вредъ учащимся, давая имъ *слова* вмѣсто понятій, убивая въ нихъ вопросъ ложнымъ удовлетвореніемъ. «Что есть электричество?»—Невѣсомая жидкость. Не правда ли, что лучше было бы, если-бъ ученикъ отвѣчалъ: «не знаю»?...—А. И. Г.

⁰⁾ Жанъ-Батистъ, астрономъ и физикъ.

⁰⁰⁾ Жозефъ-Луи, знаменитый физикъ и химикъ.

⁰⁰⁰⁾ Невѣсомыя.

въ сферѣ частныхъ, а поднялъ во всеобщее. Какъ же понять смыслъ явленія, не вовлекая его въ логическій процессъ (не прибавляя ничего отъ себя, какъ обыкновенно выражаются)? Логическій процессъ есть единственное всеобщее средство человѣческаго пониманія; природа не заключаетъ въ себѣ всего смысла своего,— въ этомъ ея отличительный характеръ; именно мышленіе и дополняетъ, развиваетъ его; природа — только существованіе и отдѣляется, такъ сказать, отъ себя въ сознаніи человѣческомъ, для того, чтобъ понять свое бытіе; мышленіе дѣлаетъ не чуждую добавку, а продолжаетъ необходимое развитіе, безъ котораго вселенная не полна,—то самое развитіе, которое начинается со стихійной борьбы, съ химическаго сродства и оканчивается самопознающимъ мозгомъ человѣческой головы. Хотятъ умъ сдѣлать страдательнымъ пріемникомъ, особаго рода зеркаломъ, которое отражало бы данное, не измѣняя его, то есть во всей его случайности, не усваивая тупо, безсмысленно; а данное, сущее во времени и пространствѣ, хотятъ сдѣлать дѣятельнымъ началомъ,—это прямо противоположно естественному порядку. Оттого оно въ самомъ дѣлѣ никогда и не удается: воображая ходить на головѣ, ходятъ на ногахъ. Объяснять внѣшнимъ образомъ предметъ значитъ сознаться, что нельзя его понять; объяснить предметъ подобіемъ — средство иногда полезное, но большей частью бѣдное: никто не прибѣгаетъ къ аналогіи, если можетъ ясно и просто высказать свою мысль. Не даромъ французы говорятъ: *comparaison n'est pas raison* ¹⁾. Въ самомъ дѣлѣ, строго-логически ни предмету, ни его понятію дѣла нѣтъ, похожи ли они на что-нибудь, или нѣтъ: изъ того, что двѣ вещи похожи другъ на друга извѣстными сторонами, нѣтъ еще достаточнаго права заключать о сходствѣ неизвѣстныхъ сторонъ. Въ какія грубыя ошибки, напримѣръ, впадала геологія, желая обобщать факты, выведенные изученіемъ альпійскихъ горъ, къ другимъ полосамъ! Когда извѣстенъ общій законъ, то вы ищите его въ частномъ случаѣ не по одной аналогіи съ другими явленіями, но по логической необходимости. Часто аналогія вытѣсняетъ одно эмпирическое представленіе другимъ; это попросту называется отводить глаза. Вы ждете, напримѣръ, объясненія, какимъ образомъ общее чувствилище передаетъ нерву, нервъ мышцамъ движеніе вашей души, а вамъ, вмѣсто понятія, подсовываютъ образъ музыканта, натянутыхъ струнь, передающихъ фантазію художника; простой вопросъ усложняется; это подобное можно опять свести на что-нибудь подобное, и первоначальный предметъ совершенно затеряется въ сходствѣ: это та самая

¹⁾ Сравненіе—не доказательство.

метода, по которой человѣческой портретъ рядомъ подобныхъ копій сводится на изображеніе фрукта. Сюда же принадлежать сильно стѣсняемая представленія, будто бы для вящей понятности: «Если мы представимъ себѣ, что лучъ свѣта состоитъ изъ безконечно малыхъ шариковъ ээира, касающихся другъ друга»... Зачѣмъ же я стану себѣ представлять, что свѣтъ солнца падаетъ на меня такъ, какъ дѣти яйца катаютъ, когда я увѣренъ, что это не такъ? Въ физическихъ наукахъ принято за обыкновеніе допускать подобнаго рода гипотезы, то есть условную ложь для объясненія; но ложь не остается внѣ объясненія (иначе она была бы вовсе не нужна), а проникаетъ въ него, и вмѣсто истины получается странная смѣсь изъ эмпирической правды съ логической ложью; эта ложь рано или поздно обличается и, по справедливости, заставляетъ сомнѣваться въ истинѣ, спаянной съ нею. Химія и физика принимаютъ атомы,—лѣтъ двадцать тому назадъ атомы составляли основаніе всѣхъ химическихъ изслѣдованій. Принимая ихъ, вась предупреждаютъ обыкновенно на первой страницѣ, что естествоиспытателямъ, собственно, дѣла нѣтъ, въ самомъ ли дѣлѣ тѣла состоятъ изъ крупинокъ чрезвычайно недѣлимыхъ, невидимыхъ, но имѣющихъ свойства, объемъ и вѣсъ, или нѣтъ,—что ихъ принимаютъ такъ, для удобства. Такимъ лѣнливымъ приниманіемъ они самі уронили свою теорію; они виноваты въ томъ, что прошедшая философія напала на атомизмъ съ злымъ ожесточеніемъ; она разсматривала его въ томъ бѣдномъ видѣ, въ которомъ атомизмъ излагался во введеніяхъ къ курсамъ физики и химіи. Древніе атомисты вовсе не шутили атомами; отправляясь отъ точки зрѣнія, хотя односторонней, но необходимой въ общемъ развитіи, стройно и послѣдовательно, дошли до атомизма; атомъ былъ ими противопоставленъ элеатическому воззрѣнію, распускавшему въ отвлеченіяхъ все сущее; въ атомахъ они видѣли повсюдную средоточность вещества, безконечную индивидуализацію его, *для себя бытіе*, такъ сказать, *каждой точки*. Это одинъ изъ самыхъ вѣрныхъ, существенныхъ моментовъ пониманія природы: въ ея понятіи необходимо лежитъ эта разсыпчатость и цѣлость каждой части, такъ же, какъ непрерывность и единство; само собою разумѣется, что атомизмъ не исчерпываетъ понятія природы (и въ этомъ онъ похожъ на динамизмъ); въ немъ пропадаетъ всеобщее единство; въ динамизмѣ части стираются и гибнутъ; задача въ томъ, чтобъ всѣ эти для себя сущія искры слить въ одно пламя, не лишая ихъ относительной самобытности. Динамизмъ и атомизмъ явились, при входѣ въ нашу эру, торжественно, громадно, во всепоглощающей сущности Спинозы и въ монадологіи Лейбница. Это двѣ величавыя грани, это два геркулесова столба возродив-

шейся мысли, воздвигнутые не для того, чтобъ дальше нельзя было итти, а для того, чтобъ нельзя было возвратиться назадъ. Мы будемъ имѣть случай поговорить въ слѣдующихъ письмахъ о монадологіи, объ атомахъ Гассенди,—но вы ужъ изъ этого видите, что атомизмъ для мыслителей не былъ шуткой, что атомы представляли для нихъ мысль, истину; атомизмъ составлялъ убѣжденіе, вѣрованіе Левкиппа, Демокрита и др. Физики же съ перваго слова согласны, что ихъ теорія, можетъ быть, вздоръ, но вздоръ облегчительный. А почему же они предають атомы и соглашаются, что можетъ быть вещество не изъ атомовъ? На томъ же прекрасномъ основаніи лѣни и равнодушія, на которомъ принимаютъ всякаго рода предположенія! Если откровенно выразиться, то это можно назвать цинизмомъ въ наукѣ. Пулье говоритъ: «можетъ быть, вулканы выбросятъ когда-нибудь такія тѣла, у которыхъ атомы будутъ видимы». Какое же понятіе послѣ этого сопрягаетъ Пулье съ словомъ «атомъ»? А между тѣмъ, рядомъ съ ними покровительница и благодѣтельница физики, математика, такъ логически, такъ ясно показываетъ сознательное, раціональное пониманіе подобныхъ отвлеченій. Математика говоритъ, что линія — безконечное количество точекъ, въ извѣстномъ порядкѣ расположенныхъ; она принимаетъ возможность безконечной дѣлимости пространства; но она понимаетъ то, что говоритъ; она понимаетъ не *дѣйствительность*, а *отвлеченную возможность* дѣлимости; еще болѣе, она вмѣстѣ съ тѣмъ понимаетъ и непремѣнное протяженіе и то, что дѣйствительная форма есть форма стереометрическая; она съ мыслью беретъ точку, линію, площадь и въ сознанныхъ ею предѣлахъ. Оттого ни одинъ математикъ не ждетъ аэролита, у котораго точки были бы замѣтны или у котораго бы поверхность отваливалась отъ тѣла. Оттого математикъ никогда не станетъ дѣлать опытовъ *безконечнаго дѣленія*, не станетъ ни драть слюды, ни капать чернилъ въ бочку воды и послѣ пугать дѣтей расчетомъ, какая доля чернилъ въ одной этой каплѣ воды. Онъ знаетъ, если-бъ безконечная дѣлимость была *фактически возможною*, то она не была бы *безконечною*. Безъ всякаго сомнѣнія, математика ушла несравненно дальше въ мышленіи противъ физики; одна теорія безконечно малыхъ доказываетъ это; она не могла стереть съ себя близость съ логикой, несмотря на всѣ старанія; впрочемъ, не надобно забывать (такъ, какъ это дѣлають математики), что она, отъ Пивагора начинаая, была преимущественно развиваема философами: Декартъ, Лейбницъ, даже Кантъ оживили ее, и, конечно, Лейбницъ не случайно дошелъ отъ монадологіи до дифференціаловъ... Но возвратимся къ нашему предмету.

Натуралисты готовы дѣлать опыты, трудиться, путешествовать, подвергать жизнь свою опасности, но не хотятъ дать себѣ труда подумать, поразсудить о своей наукѣ. Мы уже видѣли причину этой мыслибоязни; отвлеченность философіи и всегдашняя готовность перейти въ схоластическій мистицизмъ или въ пустую метафизику, ея мнимая замкнутость въ себѣ, ея довольство, не нуждающееся ни природой, ни опытомъ, ни исторіей, должно было оттолкнуть людей, посвятившихъ себя естествовѣдѣнію. Но такъ какъ всякая односторонность вмѣстѣ съ плодами производитъ и плевелы, то и естественныя науки должны были поплатиться за узкость своего воззрѣнія, несмотря на то, что оно было втѣснено узкостью противоположной стороны. Боязнь ввѣриться мышленію и невозможность знать безъ мышленія отразилась въ ихъ теоріяхъ: онѣ личны, шатки, неудовлетворительны; каждое новое открытіе грозитъ разрушить ихъ; онѣ не могутъ развиваться, а замѣняются новыми. Принимая всякую теорію за личное дѣло, внѣшнее предмету, за удобное размѣщеніе частныхъ, натуралисты отворяютъ дверь убійственному скептицизму, а иногда и поразительнымъ нелѣпостямъ. Явленіе гомеопатіи, на примѣръ, само по себѣ не удивительно: во всѣ времена и во всѣхъ отрасляхъ вѣдѣнія были странныя попытки новыхъ ученыхъ, въ которыхъ непремѣнно гнѣздится маленькая истина въ огромной лжи; еще не удивительно, что дамамъ и парадоксальнымъ умамъ понравилось лѣчить зернышками: они потому и повѣрили въ гомеопатію, что она совершенно невѣроятна. Но какъ объяснить расколъ, овладѣвшій, лѣтъ десять тому назадъ, учеными врачами? Гомеопатическія лѣчебницы устраивались, издавались журналы, въ каталогахъ книгъ была особая рубрика «*Homeopatische Arzneikunde*». Причина одна: медицина, какъ и всѣ естественныя науки, при всемъ богатствѣ матеріаловъ наблюденій, не идетъ до того конца развитія, котораго жаждетъ человѣкъ, какъ животворнаго начала истины и которое одно можетъ удовлетворить его. Естествоиспытатели и медики ссылаются всегда на то, что имъ еще не до теоріи, что у нихъ еще не всѣ факты собраны, не всѣ опыты сдѣланы, и т. д. Можетъ быть, собранные матеріалы въ самомъ дѣлѣ недостаточны, даже навѣрное такъ, но не говоря о томъ, что фактовъ безконечное множество и что сколько ихъ ни собирай, до конца все не дойдешь, это не мѣшаетъ поставить надлежащимъ образомъ вопросъ, развиты дѣйствительныя требованія, истинныя понятія объ отношеніи мышленія къ бытію ¹⁾.

¹⁾ Хотя Александръ Македонскій и посылалъ Аристотелю всякихъ животныхъ, но онъ навѣрное зналъ ихъ меньше, нежели Ламаркъ, что ему не

Наращиваніе фактовъ и углубленіе въ смыслъ нисколько не противорѣчатъ другъ другу. Все живое развиваясь растетъ по двумъ направленіямъ: оно увеличивается въ объемѣ и въ то же время сосредоточивается; развитіе наружу есть развитіе внутрь: дитя растетъ тѣломъ и умнѣетъ; оба развитія необходимы другъ для друга и подавляютъ другъ друга только при одностороннемъ перевѣсѣ. Наука—живой организмъ, посредствомъ котораго отдѣляющаяся въ человѣкѣ сущность вещей развивается до совершеннаго самопознанія; у нея тѣ же два роста; наращиваніе извнѣ наблюденіями, фактами, опытами—это ея питаніе, безъ котораго она не могла бы жить; но внѣшнее пріобрѣтеніе должно *переработаться* внутреннимъ началомъ, которое одно даетъ жизнь и смыслъ кристаллизующейся массѣ свѣдѣній. Приращиваніе фактическое, подобно осаждающемуся раствору, непрерывно растеть, тихо, по песчинкѣ набираетъ слои, не теряетъ ничего попавшаго прежде, всегда готово принять новое, не дѣлая, впрочемъ, для него ничего болѣе пріема; это развитіе безконечнаго успѣха, движеніе прямолинейное, безпредѣльное, апатическое, утоляющее и усиливающее жажду въ одно и то же время, потому что за рядами подробностей открываются новые ряды, и т. д.; *только* этимъ путемъ нельзя достигнуть полнаго и истиннаго знанія,—а это есть исключительный путь фактическихъ наукъ. Разумъ, дѣйствуя нормально, развиваетъ самопознаніе; обогащаясь свѣдѣніями, онъ открываетъ въ себѣ то идеальное средоточіе, къ которому все отнесено, ту безконечную форму, которая все пріобрѣтенное употребить на пластическое самовыполненіе, ту животворную монаду, которая своей мощью огибаетъ около себя прямолинейный и безконечный путь безцѣльнаго эмпирическаго развитія и даетъ ему мѣту не внѣ, а внутри себя; тамъ, и только тамъ, открывается человѣку истина сущаго, и эта истина—онъ самъ, какъ разумъ, какъ развивающееся мышленіе, въ которое со всѣхъ сторонъ втекаютъ эмпирическія свѣдѣнія для того, чтобъ найти свое начало и свое послѣднее слово. Этотъ разумъ, эта сущая истина, это развивающееся самопознаніе, — назовите его философией, логикой, наукой или просто чловѣческимъ мышленіемъ, спекулятивной эмпиріей, или какъ хотите,—непрерывно превращаетъ данное эмпирическое въ ясную, свѣтлую мысль, усваиваетъ себѣ все сущее, раскрывая идею его. У человѣка для пониманія нѣтъ иныхъ категорій, кромѣ категорій разума;

помѣшало раздѣлить животныхъ на Schorophora и Namatophora, а это совпадаетъ съ Vertebrata и Avertebrata *) Ламарка.—А. И. Г.

*) Позвоночныя и безпозвоночныя.

частная наука, враждуя противъ логики, дерутся ея орудіями, даже переносятъ ошибки формальной логики къ себѣ ¹⁾.

Странное положеніе естественныхъ наукъ относительно мышленія долго продолжиться не можетъ: онѣ до того богатѣютъ фактами, что нехотя взгляды ихъ дѣлаются яснѣе и яснѣе. Онѣ неминуемо должны, наконецъ, будутъ откровенно и не шутя рѣшить вопросъ объ отношеніи мышленія къ бытію, естествовѣднія къ философіи и громко высказать возможность или невозможность вѣдѣнія истины, признать, что голова человѣка такъ устроена, что ей *только мерещится* истина, *кажется* такою, что она не можетъ вполне знать или знаетъ только субъективно, что, слѣдственно, знаніе человѣческое—какое-то родовое безуміе, и тогда съ Секстомъ-эмпирикомъ ²⁾ должно сложить руки и, хладнокровно улыбаясь, сказать: «какой вздоръ все это!»—или понять все отталкивающее такого взгляда, понять, что разумѣніе человѣка—не внѣ природы, а есть разумѣніе природы о себѣ, что его разумъ есть разумъ въ самомъ дѣлѣ единый, истинный, такъ, какъ все въ природѣ истинно и дѣйствительно въ разныхъ степеняхъ, и что, наконецъ, законы мышленія—сознанные законы бытія, что, слѣдственно, мысль насколько не тѣснитъ бытія, а освобождаетъ его; что человѣкъ не потому раскрываетъ во всемъ свой разумъ, что онъ умень и вноситъ свой умъ всюду, а напротивъ, умень оттого, что все умно; сознавъ это, придется отбросить нелѣпый антагонизмъ съ философіей. Мы сказали, что фактическія науки имѣли полное право отворачиваться отъ прежней философіи; но эта односторонняя фаза, которой историческій смыслъ весьма важенъ, если не совѣмъ миновала, то явно «агонизируетъ». Философія, не умѣвшая признать и понять эмпирію, хуже того, умѣвшая обойтись безъ нея, была холодна, какъ ледь, безчеловѣчно строга; законы, открытые ею, были такъ широки, что все частное выпадало изъ нихъ; она не могла выпутаться изъ дуализма и, наконецъ, пришла къ своему выходу: сама пошла на встрѣчу эмпирии, а дуализмъ смиренно сходитъ со сцены въ видѣ романтическаго идеализма, явленія жалкаго, бѣднаго, безжизненнаго, питающагося чужою кровью. Эта школа—послѣдняя представительница реформаціонной схоластики; она тщетно рвется къ чему-то иному, не достигаемому, не существующему, къ прекраснымъ дѣвамъ безъ тѣла, къ горячимъ объятіямъ безъ рукъ,

¹⁾ Такъ отвлеченныя силы, причины, поляризація, оттолкновеніе и притяженіе,—все это въ физику перешло изъ логики, изъ математики, и, разумѣется, взятое безъ критики, безъ связи, утратило настоящей смыслъ свой.

А. И. Г.

²⁾ Греческій ученый, врачъ и философъ III вѣка.

къ чувствамъ безъ груди... и о ней скоро скажутъ, какъ о безумной Козлова:

Ждала, ждала,
Не дождалась и умерла!

Мыслители и натуралисты начинаютъ понимать, что имъ другъ безъ друга нѣтъ выхода. Они часто, не зная того, встрѣчаются въ главныхъ основаніяхъ своихъ, останавливаются на тѣхъ же вопросахъ: что же мѣшаетъ имъ вполне объясниться? Лѣнь, готовыя понятія, предрасудки, идущіе изъ рода въ родъ и равно сильныя съ обѣихъ сторонъ. Предрасудки—великая цѣпь, удерживающая человѣка въ опредѣленномъ, ограниченномъ кружкѣ окостенѣлыхъ понятій; ухо къ нимъ привыкло, глазъ присмотрѣлся, и нелѣпость, пользуясь правами давности, становится общепринятою истиной. Стоитъ ли разбирать ее? Покойнѣе безъ думы, безъ обсуживанія повторять унаслѣдованныя сужденія, можетъ быть, въ свое время относительно справедливыя, но пережившія свою истину. Цеховыя ученые и философы приобрѣтаютъ извѣстный кругъ понятій, извѣстную рутину, изъ которой не могутъ выйти. Учениками еще принимаютъ они на вѣру основныя начала и никогда не думаютъ болѣе объ нихъ: они увѣрены, что покончили съ ними, что это—азбука, на которую смѣшно и не нужно обращать вниманія. Изъ поколѣнія въ поколѣніе передаются схоластическія опредѣленія, раздѣленія, термины и сбиваютъ чистый и прямой смыслъ начинающаго, закрывая ему надолго,—часто навсегда—возможность отдѣлаться отъ нихъ. Не думайте, что одни ограниченныя умы платятъ дань предрасудкамъ своей касты,—совсѣмъ нѣтъ! Когда Гете открылъ, описалъ, нарисовалъ человѣческую между челюстную кость, знаменитый Камперъ ¹⁾ сказалъ ему: «Все это прекрасно, но, вѣдь, *os intermaxillare* ²⁾ не существуетъ въ человѣческой челюсти». Разсказывая это, Гете не вытерпѣлъ, чтобъ не присовокупить ³⁾: «Можетъ быть, назовутъ юношеской заносчивостью, когда непосвященный ученикъ осмѣливается противорѣчить записному мастеру своего дѣла и старается доказать, что онъ вопреки ему правъ; но многолѣтніе опыты научили меня иначе понимать. Вѣчно повторяемая фразы костенѣютъ въ умѣ, наконецъ, дѣлаются неподвижными убѣжденіями, и *органы воззрѣнія становятся тупы...* Бывали примѣры, что отличные люди въ своемъ ремеслѣ (*Handwerk*) иной разъ сворачивали нѣсколько

¹⁾ Петръ, голландскій натуралистъ.

²⁾ Между челюстная кость.

³⁾ «*Göthe's Werke*», Т. xxxvi, zur Osteologie etc.—А. И. Г.

съ торной колеи, но главной дороги они никогда не покидаютъ; они боятся новыхъ путей; имъ, все-таки, кажется вѣрнѣ держаться стараго». «Свѣжій человѣкъ», говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ, «не закупленъ; его здоровый глазъ сразу можетъ увидѣть то, чего приглядѣвшійся не видитъ болѣе». Сверхъ этого подчиненія себя привычкѣ и давно принятому, натуралистовъ останавливаетъ, задерживаетъ странное понятіе о личномъ правѣ въ наукѣ: они истину изобрѣтаютъ такъ, какъ снаряды. Жоффруа Сентъ-Илеръ, гениальный человѣкъ, безъ всякаго сомнѣнія, чувствовалъ яснѣ другихъ потребность опереть естествовѣдѣніе на болѣе твердыхъ основаніяхъ; онъ добирался до строящейся идеи, до всеобщаго типа, до единства въ многообразіи естественныхъ произведеній и проч. Но, замѣтите, онъ все это хотѣлъ сдѣлать помимо родового мышленія человѣчества; онъ воображалъ, что онъ самъ лично выдумаетъ все это, требовалъ привилегіи на открытіе. Подобно ему, каждый мыслящій естествоиспытатель придумываетъ отъ себя начало, беретъ въ основу нѣсколько мыслей, ему особенно нравящихся, проводитъ ихъ черезъ всю книгу,—и теорія готова. Совершенная отрѣзанность естествовѣдѣнія и философіи часто заставляетъ цѣлые годы трудиться для того, чтобъ приблизительно открыть законъ, давно извѣстный въ другой сферѣ, разрѣшить сомнѣніе, давно разрѣшенное: трудъ и усиліе тратятся для того, чтобъ во второй разъ открыть Америку,—для того, чтобъ проложить тропинку тамъ, гдѣ есть желѣзная дорога. Вотъ плодъ раздробленія наукъ, этого феодализма, окапывающаго каждую полосу земли валомъ и чеканящаго свою монету за нимъ. Философъ знать не хочетъ факты, кичится невѣдѣніемъ практическихъ интересовъ и какъ только начнетъ изъ своихъ всеобщихъ законовъ снисходить къ частности, т.-е. къ дѣйствительности, теряется; эмпирикъ—наоборотъ.

Однакоже, съ начала нашего вѣка начало раздаваться слово *примиреніе*; оно раздавалось не даромъ: туманъ начинаетъ падать. Разсказъ главныхъ событій этого замиренія будетъ предметомъ будущихъ писемъ; теперь только нѣсколько словъ вообще.

Къ концу XVIII вѣка въ тиши кабинетовъ, въ головахъ мыслителей готовился такой же грозный и сильный переворотъ, какъ въ мірѣ политическомъ. Состояніе умовъ было страшно: все кругомъ рушилось — общественный бытъ, понятія о добрѣ и злѣ, довѣріе къ природѣ, къ человѣку, къ вѣрѣ и—вмѣсто утѣшенія критическая философія и скептическій эмпиризмъ. Два невѣрія, два скептицизма, — и развалины кругомъ. Критическая философія нанесла страшный ударъ идеализму; сколько ни боролся противъ него эмпиризмъ, идеализмъ устоялъ; но вышелъ человѣкъ изъ среды

его и тяжелымъ ударомъ поставилъ его на краю гроба. Великъ былъ этотъ человѣкъ въ своей безпощадной, неподкупной логикѣ; распадѣніе его съ догматизмомъ было глубоко, обдуманно; онъ искалъ одной истины и не останавливался ни передъ чѣмъ; онъ поставилъ эти страшные кавдинскіе фуркулы, называемые антиноміями, и хладнокровно прогналъ подъ нихъ святѣйшія достоянія мысли человѣческой. Вполнѣ воскреснуть идеализму послѣ Канта было невозможно,—развѣ въ какихъ-нибудь частныхъ, абнормальныхъ явленіяхъ; все склонилось передъ гениальной мощью его. Но возрѣніе это тяжело; была сильна стоическая грудь Фихте, но и та не могла его вынести; невозможность безусловнаго знанія клала непереходимую грань между человѣкомъ и истиной. Отъ такого возрѣнія можно сойти съ ума, впасть въ отчаяніе. Гердеръ, Якоби старались спасти отъ кантовскаго кораблекрушенія идеи, имъ милыя и дорогія, но чувство—дурной оплотъ въ логическомъ бою; наконецъ, нашлась алмазная грудь, спокойно и безшумно противопоставившая критической философіи свой глубокой реализмъ,—это былъ Гете. Онъ былъ одаренъ въ высшей степени прямымъ взглядомъ на вещи; онъ зналъ это и на все *смотрѣлъ самъ*; онъ не былъ школьный философъ, цеховой ученый, онъ былъ мыслящій художникъ; въ немъ первомъ возстановилось дѣйствительно истинное отношеніе человѣка къ міру, его окружающему; онъ собою далъ естествоиспытателямъ великій примѣръ. Безъ всякихъ дальнихъ приготовленій онъ сразу бросается *in medias res*¹⁾; тутъ онъ эмпирикъ, наблюдатель; но смотрите, какъ растетъ, развивается изъ его наглядки понятіе даннаго предмета, какъ оно развертывается, опертое на свое бытіе, и какъ въ концѣ раскрыта мысль всеобъемлющая, глубокая. Прочитайте его «*Metamorphose der Pflanzen*», прочитайте его остеологическія статьи, и вы разомъ увидите, что такое реальное, истинное пониманіе природы, что такое спекулятивная эмпирія²⁾. Для него мысль и природа—*aus einem Guss* «*Oben die Geister und unten der Stein*»³⁾, для него природа—жизнь, та же жизнь, которая въ немъ, и потому она ему понятна, и, болѣе того, она звучна въ немъ и сама повѣствуетъ намъ свою тайну. Вслѣдъ за нимъ, изъ среды отвлеченной науки раздался голосъ, опредѣлявшій истину единствомъ бытія и мышленія; онъ обращалъ философію къ природѣ, какъ къ необходимому дополненію, какъ къ своему зеркалу. Торжественно было зрѣлище возвращающагося на

¹⁾ Въ гущу вещей.

²⁾ Прилагаю ко второму письму маленькую статейку Гете, писанную *ав 1780 году*.—А. И. Г.

³⁾ Одно и то же: вверху духи, внизу камень.

землю челоѡчества въ лицѣ передовыхъ людей своихъ,—въ лицѣ поэта-мыслителя и мыслителя-поэта, склонявшихся на родную грудь общей матери. Это было разомъ возвращеніе блуднаго сына и спасеніе метафизика изъ ямы.

Шеллингъ, какъ Виргилій Данту, только указалъ дорогу, но такъ указываетъ и такимъ перстомъ одинъ гений. Шеллингъ принадлежитъ къ тѣмъ великимъ и художественнымъ натурамъ, которыя непосредственно, инстинктуально, вдохновенно овладѣвають истиной. Въ немъ всегда что-то было родное Платону и Якову Бѣму. Этотъ процессъ вѣдѣнія — тайна генія, а не науки; тайны этой онъ передать не можетъ, такъ, какъ художникъ не можетъ передать акта творчества; но вдохновенный языкъ его вызываетъ къ истинѣ и къ пониманію, основываясь на предшествующемъ сочувствіи челоѡка къ истинѣ. Шеллингъ—vates ¹⁾ науки. Гете сознавалъ себя такимъ, какимъ онъ былъ; онъ въ письмахъ къ Шиллеру говоритъ, что у него нѣтъ никакой способности наукообразно развить свои мысли; онъ учитъ на дѣлѣ, онъ до высочайшей степени практиченъ, онъ умѣетъ спускаться въ подробности, не теряя общаго. Шеллингъ, напротивъ, считалъ себя, по превосходству, философскою, спекулятивною натурою и потому живое свое сочувствіе и предвѣдѣніе старался заморить схоластическою формою; онъ побѣдилъ въ себѣ идеализмъ не на дѣлѣ, а только на словахъ. Его не практическая, не реальная натура всего яснѣе видна изъ того, что онъ, занимаясь по преимуществу философіей природы, никогда не занялся положительнымъ изученіемъ какой-либо отрасли естественныхъ наукъ. Его эрудиція огромна, но онъ знаетъ энциклопедію естествовѣдѣнія, онъ—гениальный дилетантъ. Гете, напримѣръ, специалистъ, когда это нужно,—ученикъ въ анатомическомъ театрѣ, наблюдатель, рисовальщикъ: онъ работалъ, дѣлалъ опыты, изучалъ практически цѣлые годы остеологию; онъ зналъ, что безъ специальности общая теорія все будетъ отзывать идеализмомъ; что собственный взглядъ въ естествовѣдѣніи то же, что чтеніе источниковъ въ исторіи; оттого онъ вдругъ, внезапно открываетъ цѣлый міръ, совершенно новую сторону своего предмета. Эмпиріки никогда не отрекались отъ Гете: всѣ великія мысли его приняты ими, оцѣнены ²⁾; а Шеллинга, протягивавшаго имъ руку философіи, они не поняли и не признали. Натуралисты, послѣдователи Шеллинга, взяли формальную сторону его ученія; духъ, вѣющій въ его писа-

¹⁾ Прорицатель.

²⁾ Напримѣръ, его мысль о томъ, что черепъ есть развитіе позвонковъ; его превращеніе частей растенія, *os intermaxillare* и сотни замѣтокъ остеологическихъ. См. у Жоффруа Сентъ-Илера, Де-Кандоля и проч. — А. И. Г.

ніяхъ, не былъ ими схваченъ; они не умѣли раздуть искры глубокаго созерцанія, разсѣянные у него вездѣ, въ свѣтлую струю пламени. Нѣтъ, они соорудили изъ его воззрѣнія какое-то странное зданіе метафизико-сентиментальное; схоластическая сухость сочелась у нихъ съ чисто-нѣмецкой гемютлихкейтъ. Не то, чтобъ они наукообразно или систематически изложили по началамъ Шеллинга философію природы: они взяли двѣ-три общія формулы, сухія и отвлеченныя, и на нихъ прикидывали всѣ явленія, всю вселенную. Эти формулы—точно мѣра въ рекрутскихъ присутствіяхъ: кто бы ни взошелъ въ нее, выйдетъ солдатомъ. Даже тѣ изъ натурфилософовъ, которые принесли много пользы фактической части своей науки, не избѣгли ни формализма, ни сентиментальности. Возьмите, на примѣръ, Каруса: онъ сдѣлалъ бездну пользы физиологіи, но что онъ пишетъ въ своихъ общихъ взглядахъ, въ введеніяхъ? Что за разглагольствованіе, что за мысли! Жалѣешь, что дѣльный человѣкъ такъ компрометируется. Выше ихъ всѣхъ стоитъ Окенъ ¹⁾, но и его нельзя совершенно изъять. Въ природѣ Окена недовко и тѣсно и, сверхъ того, не менѣе догматизма, какъ у другихъ; видна широкая и многообъемлющая мысль, но въ томъ-то и вина Окена, что она видна, какъ мысль: природа какъ будто употреблена имъ для того, чтобъ подтвердить ее. Естествовѣдѣніе Окена явилось съ нѣмецкимъ притязаніемъ на безусловное значеніе, на оконченную архитектонику. Вспомните замѣчаніе, сдѣланное нами выше, что идеализмъ дѣлается недоступенъ ничему, кромѣ своей *idée fixe*; онъ не уважаетъ настолько фактической міръ, чтобъ покоряться его возраженіямъ.

Не помню, гдѣ и когда я читалъ какую-то статью Эдгара Кинѣ ²⁾ о нѣмецкой философіи; статья не очень важная, но въ ней было прेमилое сравненіе нѣмецкой философіи съ французской революціею. Кантъ—Мирабо, Фихте—Робеспьеръ, а Шеллингъ—Наполеонъ; вообще, это сравненіе не чуждо нѣкоторой вѣрности: я самъ готовъ сравнить Шеллинга съ Наполеономъ, только обратно Эдгару Кинѣ: ни имперія Наполеона, ни философія Шеллинга устоять не могли—и по одной причинѣ: ни то, ни другое не было вполнѣ организовано и не имѣло въ себѣ твердости ни отрѣзаться отъ прошлыхъ односторонностей, ни итти до крайняго послѣдствія. Наполеонъ и Шеллингъ явились міру, провозглашая примиреніе противоположностей и снятіе ихъ новымъ порядкомъ вещей. Во имя этого новаго порядка вещей признали Бонапарте императоромъ; пушеч-

¹⁾ Лоренцъ, естествоиспытатель, натурфилософъ.

²⁾ Франц. историкъ и поэтъ.

ный дымъ не помѣшалъ, наконецъ, разглядѣть, что Наполеонъ остался въ душѣ человѣкомъ прошедшаго. Историческій маскарадъ à la Charlemagne ¹⁾, въ которомъ Наполеонъ одѣлся очень не къ лицу, окруженный своими герцогами-солдатами, была *intermedia buffa* ²⁾, за которой слѣдовало Ватерлоо съ настоящимъ герцогомъ во главѣ. Шеллингъ въ своей области поступалъ такъ, какъ Наполеонъ: онъ обѣщалъ примиреніе мышленія и бытія, но, провозгласивъ примиреніе противоположныхъ направленій въ высшемъ единствѣ, остался идеалистомъ въ то время, какъ Окенъ учреждалъ шеллинговское управленіе надъ всей природой и «Изида» ³⁾—«Монитеръ» ⁴⁾ натурфилософіи—громко возвѣщала свои побѣды. Шеллингъ одѣвался въ Якова Бѣма и начиналъ задумывать реакцію самому себѣ для того, между прочимъ, чтобъ не сознаться, что онъ обойденъ. Шеллингъ вышелъ вверхъ ногами поставленный Бѣмъ, такъ, какъ Наполеонъ—вверхъ ногами поставленный Карлъ Великій. Это худшее, что можетъ быть, потому что чрезвычайно смѣшно. Яковъ Бѣмъ, полный мистическаго созерцанія, выходитъ во всѣ стороны къ глубокому философскому воззрѣнію, и если его языкъ труденъ и заключенъ въ схоластико-мистической терминологіи, тѣмъ удивительнѣе геніальность его, что онъ умѣлъ этимъ неловкимъ языкомъ высказать великое содержаніе своей мысли; живя въ началѣ XVI столѣтія, онъ имѣлъ твердость не останавливаться на буквѣ, имѣлъ мужество принимать консеквенціи, страшныя для боязливой совѣсти того вѣка; мистицизмъ не только не подавлялъ его мощнаго разума, но окрылялъ его. Шеллингъ, совсѣмъ напротивъ, сдѣлалъ опытъ отъ глубокаго наукообразнаго воззрѣнія спуститься къ мистическому сомнамбулизму,—мысль задѣлать въ іероглифъ. Слѣдствіе этого было очень печальное: люди истинно-религіозные и люди не религіозные отреклись отъ него и уступили ему маленькую Эльбу въ берлинскомъ университетѣ. Окенъ остался одинъ съ «Изидой». Неудачная борьба съ естествоиспытателями, ихъ непріятная манера возражать фактами сдѣлала его капризнымъ, ожесточили. Онъ неохотно говоритъ съ иностранцами о своей системѣ; онъ пережилъ эпоху полной славы ея и развѣ въ тиши готовить что-нибудь... Надобно надѣяться, по крайней мѣрѣ, что онъ не пробуетъ писать зоологію стихами, какъ, было, придумалъ Шеллингъ для своей теоріи. Всѣ успѣхи въ естествовѣдѣніи соверша-

1) Подъ Карла Великаго.

2) Комическій дивертисментъ.

3) Нѣмецкій журналъ.

4) *Moniteur* — «Вѣстникъ»; такъ называлась одно время офіціальная газета во Франціи.

лись внѣ натурфилософіи. Эмпирики не довѣряли ей, боялись ея труднаго языка, ея общихъ взглядовъ, ея практическаго настроенія, ея восторженной сентиментальности. Кювье предостерегалъ Парижскую академію наукъ отъ зарейнскихъ теорій; Кузенъ еще радикальнѣе предостерегалъ своими лекціями отъ распространенія во Франціи идеализма. Впрочемъ, французы одарены такимъ вѣрнымъ взглядомъ на вещи, что ихъ нельзя сбить съ толку. Они скоро поймутъ германскую науку. Будьте увѣрены: не тупость французовъ причиною, что германская наука не переплывала Рейна.

Первый примѣръ наукообразнаго изложенія естествовѣдѣнія представляетъ Гегелева «Энциклопедія». Его строгое, твердо-проведенное возрѣніе почти современно Шеллингу (онъ читалъ въ первый разъ философію природы въ 1804 году, въ Іенѣ); имъ замыкается блестящій рядъ мыслителей, начавшійся Декартомъ и Спинозою. Гегель показалъ предѣлъ, далѣе котораго германская наука не пойдетъ; въ его ученіи явнымъ образомъ содержится выходъ не токмо изъ него, но вообще изъ дуализма и метафизики. Это было послѣднее, самое мощное усиліе чистаго мышленія, до того вѣрное истинѣ и полное реализма, что, вопреки себѣ, оно безпрестанно и вездѣ перегибалось въ дѣйствительное мышленіе. Строгія очертанія, гранитныя ступени энциклопедіи не стѣсняють содержанія, такъ, какъ бортъ корабля не мѣшаетъ взору погружаться въ безконечность моря. Правда, логика у Гегеля хранитъ свое притязаніе на неприкосновенную власть надъ другими сферами, на единую, всему довлѣющую полноту; онъ какъ-будто забываетъ, что логика — потому именно не жизненная полнота, что она ее побѣдила въ себѣ, что она *отвлеклась* отъ временнаго: она отвлеченна, потому что въ нее вошло одно вѣчное; она отвлеченна, потому что абсолютна; она—знаніе бытія, но не бытіе; она выше его, и въ этомъ ея односторонность. Если-бъ природѣ достаточно было знать,—какъ подчасъ вырывается у Гегеля,—то, дойдя до самопознанія, она сняла бы свое бытіе, пренебрегла бы имъ; но ей бытіе такъ же дорого, какъ знаніе: она любитъ жить, а жить можно только въ вакхическомъ круженіи временнаго; въ сферѣ всеобщаго шумъ и плескъ жизни умолкъ; геній человечества колеблется между этими противоположностями; онъ, какъ Харонъ, безпрестанно перевозитъ изъ временной юдоли въ вѣчную; эта переправа, это колебаніе — исторія, и *въ ней* собственно все дѣло, а совсѣмъ не въ томъ, чтобъ переѣхать на ту сторону и жить въ отвлеченныхъ и всеобщихъ областяхъ чистаго мышленія. Не только самъ Гегель понималъ это, но Лейбницъ, полтора вѣка назадъ, говорилъ, что монада безвременнаго, конечнаго бытія расплывается въ безконечность при пол-

ной невозможности опредѣлиться, удержать себя: Гегель всюю логикою достигаетъ до раскрытія, что безусловное есть подтвержденіе единства бытія и мышленія. Но какъ дойдетъ до дѣла, тотъ же Гегель, какъ и Лейбницъ, приноситъ все временное, все сущее на жертву мысли и духу; идеализмъ, въ которомъ онъ былъ воспитанъ, который онъ всосалъ съ молокомъ, срываетъ его въ односторонность, казненную имъ самимъ, и онъ старается подавить духомъ, логикою природу; всякое частное произведеніе ея готовъ считать призракомъ, на всякое явленіе смотритъ свысока.

Гегель начинаетъ съ отвлеченныхъ сферъ для того, чтобы дойти до конкретныхъ; но отвлеченныя сферы предполагаютъ конкретное, отъ котораго онѣ отвлечены. Онъ развиваетъ безусловную идею и, развивъ ее до самопознанія, заставляетъ ее раскрыться временнымъ бытіемъ; но оно уже сдѣлалось не нужнымъ, ибо помимо его совершенъ тотъ подвигъ, къ которому временное назначалось. Онъ раскрылъ, что природа, что жизнь развивается по законамъ логики; онъ фаза въ фазу прослѣдилъ этотъ параллелизмъ,— и это ужъ не Шеллинговы общія замѣчанія, рапсодическія, не связанные, а цѣлая система, стройная, глубокомысленная, рѣзанная на мѣди, гдѣ въ каждомъ ударѣ отпечатлѣлась гигантская сила. Но Гегель хотѣлъ природу и исторію, какъ *прикладную логику*, а не логику, какъ отвлеченную разумность природы и исторіи. Вотъ причины, почему эмпирическая наука осталась такъ же хладнокровно глуха къ энциклопедіи Гегеля, какъ къ диссертациямъ Шеллинга. Нельзя отрицать глубокаго смысла и вѣрнаго взгляда этихъ жалкихъ эмпириковъ, надъ которыми такъ заносчиво издѣвался идеализмъ. Эмпирія была открытой протестаціей, громкимъ возраженіемъ противъ идеализма, — такую она и осталась: что ни дѣлалъ идеализмъ,—эмпирія отражала его. Она не уступила шагу ¹⁾. Когда Шеллингъ проповѣдывалъ свою философію, большая часть философовъ думала, что время сочетанія науки мышленія съ положительными науками настало; эмпирики молчали. Философія Гегеля совершила это примиреніе въ логикѣ, приняла его въ основу и развила черезъ всѣ обители духа и природы, покоряя ихъ логикѣ,—эмпиризмъ продолжалъ молчать. Онъ видѣлъ, что прародительскій грѣхъ схоластики не совершенно стертъ еще. Безъ сомнѣнія, Гегель поставилъ мышленіе на той высотѣ, что нѣтъ возможности послѣ него сдѣлать шагъ, не оставивъ совершенно за

¹⁾ Нужно ли повторять, что эмпиризмъ въ крайностяхъ своихъ не лѣпъ, что его ползанье на четверенькахъ такъ же смѣшно, какъ нетопырь полеты идеализма: одна крайность вызываетъ всегда такую же крайность съ противоположной стороны.—А. И. Г.

собою идеализма; но шагъ этотъ не сдѣланъ, и эмпиризмъ хладнокровно ждетъ его; зато, если дождется, посмотрите, какая новая жизнь разольется по всѣмъ отвлеченнымъ сферамъ человѣческаго вѣдѣнія! Эмпиризмъ, какъ слонъ, тихо ступаетъ впередъ, зато уже ступить хорошо.

Смѣшно винить не только Гегеля, но и Шеллинга, что они, сдѣлавъ такъ много, не сдѣлали еще больше; это была бы историческая неблагодарность. Однако, нельзя же не сознаться, что какъ Шеллингъ не дошелъ ни до одного вѣрнаго послѣдствія своего возрѣнія, такъ Гегель не дошелъ до всѣхъ откровенныхъ и прямыхъ результатовъ своихъ началъ *impliciter* ¹⁾,—въ немъ всѣ они присутствуютъ,—все сдѣланное послѣ Гегеля состоитъ только въ развитіи того, что не развито у него. Гегель понималъ дѣйствительное отношеніе мышленія къ бытію, но понимать не значитъ вполнѣ отречься отъ стараго: оно остается въ нравахъ, въ языкѣ, въ привычкѣ. Путями отвлеченій онъ понялъ свою отвлеченность и удовлетворился этимъ пониманіемъ. Никто изъ рожденныхъ въ плѣну египетскомъ не вошелъ въ обѣтованную землю, потому что въ ихъ крови оставалось нѣчто невольническое: Гегель своимъ геніемъ, мощью своей мысли подавлялъ египетскій элементъ, и онъ остался у него больше дурною привычкою; Шеллингъ же былъ подавленъ имъ. Гете не подавлялъ и не былъ подавленъ!

Но пора заключить мое длинное посланіе.

Признаюсь откровенно, что, принимаясь писать къ вамъ, я не сообразилъ всей трудности вопроса, всей бѣдности силъ и знаній, всей отвѣтственности приняться за него. Начавъ, я увидѣлъ, ясно, что не въ состояніи исполнить задуманнаго; однако, не бросаю пера. Если я не могу сдѣлать то, что хотѣлъ,—буду доволенъ тѣмъ, если сумѣю возбудить любопытство узнать ясно и въ связи то, о чемъ расскажу рапсодически и бѣдно. Польза отъ такого рода *Vorstudien* ²⁾, какъ эти письма, только приготовительная; она знакомитъ общимъ образомъ съ главными вопросами современной науки, устраняя ложныя и невѣрныя мнѣнія, обветшалые предразсудки и дѣлаетъ доступнѣе науку. Наука кажется трудною не потому, чтобъ она была въ самомъ дѣлѣ трудна, а потому, что иначе не дойдешь до ея простоты, какъ пробившись сквозь тьму темъ готовыхъ понятій, мѣшающихъ прямо видѣть. Пусть входящіе впередъ знаютъ, что весь арсеналъ ржавыхъ и негодныхъ орудій, доставшихся намъ по наслѣдству отъ схоластики, негоденъ, что на-

¹⁾ Скрытно.

²⁾ Предварительное изученіе.

добно пожертвовать внѣ науки составленными воззрѣніями, что, не отбросивъ всѣ *полуджи*, которыми для понятности облакаютъ *полуистины*, нельзя войти въ науку, нельзя дойти до цѣлой истины.

Что касается до главныхъ основаній, они не мои: они принадлежатъ современному воззрѣнію на науку и тѣмъ сильнымъ органамъ, которыми оно оглашается. Мое—только изложеніе и добрая воля. Одинъ принцъ, эмигрантъ, раздавая, помнится, въ Митавѣ, табакерки и перстни, присланные ему императрицей Екатериной, присовокуплялъ: «De ma part ce n'est que le mouvement du bras et la bonne volonté» ¹⁾—я повторяю вамъ его слова ²⁾.

ПИСЬМО ВТОРОЕ.

Наука и природа — феноменологія мышленія.

Начнемъ ab ovo ³⁾. На это есть причины очень достаточныя; позвольте указать ихъ. Для того, чтобъ понять, съ какимъ логическимъ моментомъ развитія науки встрѣчается естествовѣдѣніе въ

¹⁾ «Съ моей стороны—здѣсь только движеніе руки и добрая воля».

²⁾ Можетъ быть, не вовсе излишнимъ будетъ обратитъ вниманіе читателю, что слова: «идеализмъ», «метафизика», «отвлеченіе», «теорія» принимаемы были въ томъ крайнемъ значеніи, гдѣ они ложны, исключительны. Если эти слова принять въ смыслѣ болѣе общемъ, взятомъ не изъ историческаго опредѣленія, если имъ подsunуть опредѣленія идеальныя, выйдетъ не то; но я прошу тогда вспомнить, что я ихъ не въ томъ смыслѣ принимаю; для меня эти слова—лозунги, знамена односторонняго направленія, указывающія сразу большое мѣсто. Разумѣется, Аристотель не въ этомъ смыслѣ употреблялъ слово «метафизика»; всякаго человѣка, разсматривающаго природу, не какъ съѣстной припасъ, а какъ нѣчто познаваемое, можно назвать метафизикомъ, такъ, какъ всякаго мыслящаго — идеалистомъ. Я счелъ обязанностію сказать, въ какихъ предѣлахъ приняты мною эти слова. Если они не нравятся, пусть читатель замѣнитъ ихъ другими—le fond de la chose ⁹⁾ остается то же, а мнѣ только въ немъ и дѣло. Еще одно замѣчаніе: Гегелево воззрѣніе не принято и неизвѣстно въ положительныхъ наукахъ; о методѣ его едва знаютъ во Франціи, но тѣмъ не менѣе гегелизмъ имѣлъ большое вліяніе на естествовѣдѣніе,—вліяніе, котораго источникъ натуралисты не могутъ узнать, но которое очевидно и въ Либихѣ, и въ Бурдахѣ, и въ Распайлѣ и во многихъ другихъ, хотя большая часть ихъ отречется, навѣрное, отъ сказаннаго нами. Они сами не знаютъ, какъ приняли въ себя изъ окружающей среды то направленіе, въ которомъ ведутъ науку. Постараюсь въ одномъ изъ послѣдующихъ писемъ доказать сказанное здѣсь.—А. И. Г.

³⁾ Съ самаго начала.

⁹⁾ Суть дѣла.

современности, недостаточно упомянуть коротко нѣсколько положений самыхъ рѣзкихъ, самыхъ крайнихъ, нѣсколько началъ, до которыхъ выработалась современная наука, нѣсколько выводовъ, въ которыхъ она сосредоточилась. Ничто не сдѣлало и не дѣлаетъ болѣе вреда философіи, какъ выкраденные результаты безъ связи, формально принимаемые, лишенные смысла и повторяемые съ произвольнымъ толкованіемъ. Слова не до такой степени вбираютъ въ себя все содержаніе мысли, весь ходъ достиженія, чтобъ въ сжатомъ состояніи конечнаго вывода навязывать каждому истинный и вѣрный смыслъ свой; до него надобно дойти; процессъ развитія снять, скрытъ въ конечномъ выводѣ; въ немъ высказывается только, въ чемъ главное дѣло; это своего рода заглавіе, поставленное въ концѣ: оно въ своемъ отчужденіи отъ цѣлаго организма бесполезно или вредно. Что пользы человѣку, не знающему алгебры, въ уравненіи какой-нибудь линіи, несмотря на то, что въ этомъ уравненіи все есть: и ея законъ, и построеніе, и всѣ возможные случаи; но они есть только для того, кто знаетъ, какъ вообще составляются уравненія,—словомъ, для человѣка, которому скрытый въ формулѣ путь извѣстенъ, которому каждый знакъ напоминаетъ извѣстный порядокъ понятій—въ общей формулѣ заключена вся истина, но общая формула не есть та органика, въ которой истина свободно развивается; совсѣмъ напротивъ, она сжимается въ ней, сосредоточивается. Зерно представляетъ такого рода сосредоточеніе растенія: никто зерна не принимаетъ за растеніе, никто не садится подъ тѣнь дубоваго желудя, хотя онъ содержитъ въ себѣ болѣе, нежели цѣлый дубъ—рядъ прошедшихъ дубовъ да рядъ будущихъ. Есть случай, въ которомъ можно допустить употребленіе результатовъ безъ поясненія ихъ смысла,—именно, когда предшествуетъ достовѣрность, что подъ одними и тѣми же словами разумѣются одни и тѣ же понятія, что есть общепринятое, впередъ идущее, которое связуетъ говорящаго и слушающаго; въ переходныя эпохи такую достовѣрность можно имѣть, только говоря съ близкими друзьями. Всего чаще говорящій во имя науки мечтаетъ, что весь процессъ, который для него явно скрывается за формальнымъ выраженіемъ, извѣстенъ слушающему и идетъ далѣе, въ то время, какъ у каждаго идутъ впередъ или личныя мнѣнія, или повѣрья, и высказанное слово будить въ немъ не умственную самодѣятельность а именно эти косные и обветшалые предразсудки. Поэтому прошу не сѣтовать за то, что начинаю съ опредѣленія науки и съ общаго обзора ея развитія.

Дѣло науки—возведеніе всего сущаго въ мысль. Мышленіе стремится понять, усвоить внѣ сущій предметъ и съ перваго при-

стуга начинается отрицать то, что его дѣлаетъ внѣшнимъ, другимъ, противоположнымъ мысли, то есть отрицаетъ непосредственность предмета, обобщаетъ его и имѣетъ уже съ нимъ дѣло, какъ съ всеобщимъ: такимъ оно старается его понять. Понять предметъ значитъ раскрыть необходимость его содержанія, оправдать его бытіе, его развитіе; понятное необходимымъ и разумнымъ не есть чуждое намъ: оно сдѣлалось ясною мыслью предмета; мысль сознательная и понятая принадлежитъ намъ и создается нами, потому что она разумна и человѣкъ разуменъ, а разумъ одинъ ¹⁾. Неразумное непонятно для насъ, но его и понимать не стоитъ труда: оно необходимо оказывается не существеннымъ, не истиннымъ; оно обнаруживается такимъ (говоря школьнымъ языкомъ), чего доказать нельзя, ибо доказательство только и состоитъ въ раскрытіи необходимости предмета, указывающей на разумность его; что разумно, то признано человѣкомъ; другого критериума человѣкъ не ищетъ; оправданіе разумомъ—послѣдняя безапелляціонная инстанція. Само собою разумѣется, что мысль предмета не есть исключительно личною достояніемъ мыслящаго: не онъ вдумалъ ее въ дѣйствительность, она имъ только сознана; она предсуществовала, какъ скрытый разумъ, въ непосредственномъ бытіи предмета, какъ его во времени и пространствѣ *облеченное* право существованія, какъ на дѣлѣ, фактически исполненный законъ, свидѣтельствующій о своемъ неразрывномъ единствѣ съ бытіемъ. Мышленіе освобождаетъ существующую во времени и пространствѣ мысль въ болѣе соответствующую ей среду сознанія; оно, такъ сказать, будитъ ее отъ усыпленія, въ которое она *еще* погружена, облеченная плотью, существуя однимъ бытіемъ; мысль предмета освобождается не въ немъ: она освобождается безтѣлесною, обобщенною, побѣдившею частность своего явленія въ сферѣ сознанія, разума всеобщаго. Предметное существованіе мысли, воскреснувшей въ области разума и самопознанія, продолжается по-прежнему во времени и пространствѣ; мысль по-

¹⁾ *Нѣсколько разумовъ*—такое безсмысліе, которое человѣческое воображеніе не только понять, но и представить не можетъ. Если мы примемъ, напр., два разума, то истинное для одного будетъ ложью для другого—иначе они не разные; съ тѣмъ вмѣстѣ оба разума имѣютъ право считать каждый свою истину истинной, и это право признано нами въ признаніи двухъ разумовъ; если мы скажемъ, что одинъ только понимаетъ истину, тогда другой разумъ будетъ безуміе, а не разумъ. Два различные разума, обладающіе различными истинами, напоминаютъ тѣ унижительные случаи, когда двое присягаютъ, одинъ противоположно другому. Разное пониманіе предмета не значитъ, что разумы разные, а, во-первыхъ, что люди разные, и, во-вторыхъ, что въ разныхъ степеняхъ развитія разума истина опредѣляется различно, съ разныхъ сторонъ однимъ и тѣмъ же разумомъ.—А. И. Г.

лучила двоякую жизнь: одна — ея прежнее существованіе частное, положительное, опредѣленное бытіемъ; другая—всеобщая, опредѣленная сознаниемъ и отрицаниемъ себя, какъ частнаго. Сначала предметъ—совершенно внѣ мышленія; личная умственная дѣятельность человѣка приступаетъ къ нему, выпытывая, въ чемъ его истина, въ чемъ его разумъ; по мѣрѣ того, какъ мысль отрѣшаетъ его (и себя) отъ всего частнаго, случайнаго, углубляется въ его разумъ, она находитъ, что это и ея разумъ; отыскивая истину его, она находитъ себя этой истиной; чѣмъ болѣе мысль развивается, тѣмъ независимѣе, самобытнѣе становится она и отъ лица мыслителя, и отъ предмета; она связуетъ ихъ, снимаетъ ихъ различіе высшимъ единствомъ, опирается на нихъ и, свободная, самобытная, самозаконная, царить надъ ними, сочетая въ себѣ два односторонніе момента свои въ гармоническое цѣлое ¹⁾. Весь процессъ развитія мысли предмета мышленіемъ рода человѣческаго, отъ грубаго и непримиреннаго противорѣчія, въ которомъ встрѣчаются лицо и предметъ, до снятія противорѣчія сознаниемъ высшаго единства, въ которомъ они являются необходимыми другъ для друга сторонами,—весь этотъ рядъ формъ, освобождающихъ истину, заключенную въ двухъ исключительныхъ крайностяхъ (лица и предмета), отъ взаимнаго ограниченія раскрытіемъ и сознаниемъ единства ихъ въ разумѣ, въ идеѣ—составляетъ организмъ науки.

Многіе принимаютъ науку за нѣчто внѣшнее предмету, за дѣло произвола и вымысла людскаго, на чемъ они основываютъ недѣйствительность знанія, даже невозможность его. Конечно, наука не въ вещественномъ бытіи предмета и, конечно, она—свободное дѣяніе мысли, и именно мысли человѣческой; но изъ этого не слѣдуетъ, что она—произвольное созданіе случайныхъ личностей, внѣшнее предмету, въ какомъ случаѣ она была бы, какъ мы сказали, родовымъ безуміемъ. Ограниченная категорія внѣ бытія не прилагивается къ мысли; она ей несущественна, мысль не имѣетъ замкнутой, непреходимой опредѣленности *тамъ или тутъ*, для нея нѣтъ *alibi* ²⁾; если же хотятъ употребить эту категорію, то надобно обернуть выраженіе и сказать, что непосредственный предметъ—внѣ мысли, внѣ ея, потому что онъ составляетъ собственно ея внѣшность; природа—не только внѣшность для насъ, она сама по себѣ—*только* внѣшность; ея мысль сознательная, пришедшая въ

¹⁾ То есть существованіе, какъ одно *по себѣ бытіе*, и сознание, какъ одно *для себя бытіе*.—А. И. Г.

²⁾ Въ другомъ мѣстѣ. Юридическое доказательство невинности подсудимаго, если можно установить, что онъ во время преступленія находился не на мѣстѣ преступленія.

себя—не въ ней, а *въ другомъ* (т. е. въ чело^вѣкѣ); напротивъ, родовое значеніе чело^вѣка быть истиною *себя и другою* (т. е. природы); сознаніе есть самопознаніе; оно начинается съ познанія себя, какъ другого, и достигаетъ сознанія себя, какъ себя; сознаніе вовсе не постороннее для природы, а высшая степень ея развитія, переходъ отъ положительнаго, нераздѣльнаго существованія во времени и пространствѣ черезъ отрицательное, расторгенное опредѣленіе чело^вѣка въ противоположность природѣ, къ раскрытію ихъ истиннаго единства. Откуда и какъ могло бы явиться сознаніе внѣшнее природѣ и, слѣдственно, чуждое предмету? Чело^вѣкъ—не внѣ природы и только относительно противоположенъ ей, а не въ самомъ дѣлѣ; если бы природа дѣйствительно противорѣчила разуму, все матеріальное было бы нелѣпо, нецѣлеобразно. Мы привыкли чело^вѣческой міръ отдѣлять каменной стѣною отъ міра природы; это несправедливо; въ дѣйствительности вообще нѣтъ никакихъ строго проведенныхъ межей и граней, къ великой горести всѣхъ систематиковъ; но въ этомъ случаѣ, сверхъ того, опускаютъ изъ вида, что чело^вѣкъ имѣетъ свое міровое призваніе въ той же самой природѣ, доканчиваетъ ее возведеніемъ въ мысль; они противоположны такъ, какъ полюсы магнита или лучше, какъ цвѣтокъ противоположенъ стеблю, какъ юноша—ребенку. Все то, что не развито, чего не достаетъ природѣ, то есть, то развивается въ чело^вѣкѣ; на чемъ же можетъ основаться дѣйствительная противоположность ихъ? Это былъ бы бой неравный и невозможный. Природа не имѣетъ силы надъ мыслию, а мысль есть сила чело^вѣка; природа, какъ греческая статуя: вся внутренняя мощь ея, вся мысль ея—ея наружность; все, что она могла собою выразить, выразила, предоставляя чело^вѣку обнаружить то, чего она не могла; она относится къ нему, какъ необходимое предшествующее, какъ предположеніе (*Voraussetzung*); чело^вѣкъ относится къ ней, какъ необходимое послѣдующее, какъ заключеніе (*Schluss*). Жизнь природы—безпрерывное развитіе, развитіе отвлеченнаго простаго, неполнаго, стихійнаго въ конкретное полное, сложное, развитіе зародыша расчлененіемъ всего заключающагося въ его понятіи, и всегдашнее домогательство вести это развитіе до возможно полнаго соотвѣтствія формы содержанію, это—діалектика физическаго міра. Всѣ стремленія и усилія природы завершаются чело^вѣкомъ; къ нему они стремятся, въ него впадаютъ они, какъ въ океанъ. Что можетъ быть смѣлѣе предположенія, что послѣдній выводъ, вѣнчающій все развитіе природы—чело^вѣческое сознаніе—въ разногласіи съ нею? Все въ мірѣ стройно, согласно, цѣлеобразно,—одна мысль наша сама по себѣ, какая-то блуждающая комета, ни къ чему не отнесенная, болѣзнь мозга!

Для того, чтобъ мышленіе представилось чѣмъ-то неестественнымъ, совершенно внѣшнимъ предмету, частнымъ и личнымъ достояніемъ человѣка, его надобно отторгнуть отъ его родословной, Можно ли понять связь и значеніе чего бы то ни было, когда мы произвольно возьмемъ крайнія звенья? Можно ли понять соотношеніе камня и птицы? Слѣдя шагъ за шагомъ, легко сбиться съ дороги; если же взять наудачу два момента и противопоставить ихъ для раскрытія ихъ связи, выйдетъ трудная, неблагодарная и почти неразрѣшимая задача: въ родѣ этого разсматриваютъ природу и ея связь съ человѣкомъ, съ мышленіемъ. Обыкновенно, приступая къ природѣ, ее свинчиваютъ въ ея матеріальности, ей говорятъ, какъ нѣкогда Іисусъ Навинъ сказалъ солнцу: «стой! будь мертвымъ субстратомъ, пока я разберу тебя»; но природу остановить нельзя: она—процессъ, она—теченіе, переливъ, движеніе, она уйдетъ между пальцами, она въ чревѣ женщины сдѣлается человѣкомъ и прососетъ вашу плотину прежде, нежели вы успѣете найти возможнымъ переходъ отъ нея къ міру человѣческому:

Ewig natürlich bewegende Kraft
 Göttlich gesetzlich entbindet und schafft
 Trennendes Leben, im Leben Verein,
 Oben die Geister und unter der Stein ¹⁾.

Если вы на одно мгновеніе остановили природу, какъ нѣчто мертвое, вы не токмо не дойдете до возможности мышленія, но не дойдете до возможности наливчатыхъ животныхъ, до возможности наростовъ и мховъ; смотрите на нее, какъ она есть, а она есть въ движеніи; дайте ей просторъ, смотрите на ея біографію, на исторію ея развитія, — тогда только раскроется она въ связи. Исторія мышленія—продолженіе исторіи природы: ни человѣчества, ни природы нельзя понять мимо историческаго развитія. Различіе этихъ исторій состоитъ въ томъ, что природа ничего не помнитъ, что для нея былого нѣтъ, а человѣкъ носитъ въ себѣ все бывшее свое: оттого человѣкъ представляетъ не только себя, какъ частнаго, но и какъ родового. Исторія связуетъ природу съ логикой: безъ нея онѣ распадаются; разумъ природы только въ ея существованіи существованіе логики только въ разумѣ; ни природа, ни логика не страдаютъ, не раздраются сомнѣніями; ихъ не волнуетъ никакое противорѣчіе; одна не дошла до нихъ, другая сняла ихъ въ себѣ: въ этомъ ихъ противоположная неполнота. Исторія—эпопея восхо-

¹⁾ Вѣчно движущаяся сила природы по божественнымъ законамъ освобождаетъ и творитъ разъединяющую жизнь въ союзѣ жизни, наверху — духи, внизу — камень.

жденія отъ одной къ другой, полная страсти, драмы; въ ней непосредственное дѣлается сознательнымъ, и вѣчная мысль низвергается во временное бытіе; носители ея—не всеобщія категоріи, не отвлеченныя нормы, какъ въ логикѣ, и не безответныя рабы, какъ естественныя произведенія, а личности, воплотившія въ себя эти вѣчныя нормы и борющіяся противъ судьбы, спокойно парящей надъ природой. Историческое мышленіе—родовая дѣятельность человѣка, живая и истинная наука—то всемірное мышленіе, которое само перешло всю морфологію природы и мало-по-малу поднялось къ сознанию своей самозаконности: во всякую эпоху осаждается правильными кристаллами знаніе ея, мысль ея въ видѣ отвлеченной теоріи, независимой и безусловной, это — формальная наука. Она всякій разъ считаетъ себя завершеніемъ вѣдѣнія человѣческаго, но она представляетъ отчетъ, выводъ мышленія данной эпохи, она себя только считаетъ абсолютной, а абсолютно то движеніе, которое въ то же время увлекаетъ историческое сознаніе далѣе и далѣе. Логическое развитіе идеи идетъ тѣми же фазами, какъ развитіе природы и исторіи; оно, какъ аберація звѣздъ на небѣ, повторяетъ движеніе земной планеты.

Изъ этого вы видите, что въ сущности все равно, рассказать ли логическій процессъ самопознанія или исторической. Мы изберемъ послѣдній. Строгий, свѣтлый, примиренный съ собою шагъ логики менѣе сочувствующъ съ нами; исторія—вдохновенная борьба, торжественное шествіе изъ египетскаго плѣненія въ обѣтованную землю; въ логикѣ побѣда извѣстна, она знаетъ свою власть, свою неотразимость; въ исторіи—нѣтъ, и оттого ликующей гимнъ радости раздается, когда предъ грядущимъ человѣчествомъ разступается Черное море, и оно же топить ветхое и неправое притязаніе фараона. Логика разумнѣе, исторія человѣчественнѣе. Ничего не можетъ быть ошибочнѣе, какъ отбрасывать прошедшее, служившее для достиженія настоящаго, будто это развитіе—внѣшняя подмостка, лишенная всякаго внутренняго достоинства. Тогда исторія была бы оскорбительна, вѣчное закланіе живого въ пользу будущаго; настоящее духа человѣческаго обнимаетъ и хранитъ все прошедшее,—оно не прошло для него, а развилось въ него; бывшее не утратилось въ настоящемъ, не замѣнилось имъ, а исполнилось въ немъ; проходитъ одно ложное, призрачное, не существенное; оно, собственно, никогда и не имѣло дѣйствительнаго бытія, оно мертворожденное,—для истиннаго смерти нѣтъ. Не даромъ духъ человѣческой поэты сравниваютъ съ моремъ: онъ въ глубинѣ своей бережетъ всѣ богатства, однажды упавшія въ него; одно слабое, не переносящее ѣдкости соленой волны его, распускается безслѣдно.

Итакъ, для того, чтобъ понять современное состояніе мысли, вѣрнѣйшій путь—вспомнить, какъ человѣчество дошло до него, вспомнить всю морфологію мышленія: отъ непосредственнаго, безсознательнаго мира съ природой, предшествовавшаго мышленію, до раскрывающейся возможности полнаго и сознательнаго мира съ собою. Съ самаго начала намъ придется возстановить тѣ шаги, которыхъ слѣдъ почти утратился, ибо человѣчество не умѣетъ беречь того, что дѣлало безъ мысли: инстинктуальное остается у него въ памяти, какъ смутный сонъ дѣтства! Не думайте, что я васъ хочу угостить геснеровскимъ Авелемъ ¹⁾ или дикимъ человѣкомъ энциклопедистовъ, — мое намѣреніе гораздо проще: я хочу опредѣлить необходимую точку отправленія историческаго сознанія.

Внѣ человѣка существуетъ до безконечности многообразное множество частныхъ, смутно переплетенныхъ между собою; внѣшняя зависимость ихъ, намекающая на внутреннее единство, ихъ опредѣленное взаимодействіе почти теряется отъ случайностей разбрасывающихъ, сбрасывающихъ, хранящихъ и уничтожающихъ эту «кучу частей, идущихъ въ безконечность», по превосходному выраженію Лейбница. Онѣ носятъ въ себѣ характеръ независимой самобытности отъ человѣка; онѣ были, когда его не было; имъ нѣтъ до него дѣла, когда онъ явился; онѣ безъ конца, безъ предѣловъ; онѣ безпрестанно и вездѣ возникаютъ, появляются, пропадаютъ. Съ точки зрѣнія разсудка этотъ вихрь, круговоротъ, безпорядокъ, эта непокорность окружающей среды должны бы ужасомъ и уныніемъ исполнить человѣка, подавить его и поселить отчаяніе въ душѣ; но человѣкъ, при первой встрѣчѣ съ природой, смотрѣлъ на нее съ простотою ребенка: онъ ничего не понималъ отчетливо, онъ *не отступалъ* еще отъ міра жизни, въ которомъ очутился, негачія мысли не просыпалась въ немъ, и оттого онъ чувствовалъ себя дома, и взглядъ его поднятаго чела не могъ быть пораженъ ничѣмъ окружающимъ. Животное имѣетъ это эмпирическое довѣріе, но оно на немъ и останавливается; человѣкъ тотчасъ начинаетъ обнаруживать, что ему мало этого довѣрія, что онъ чувствуетъ себя властью надъ окружающимъ міромъ. Этими частностями, врозь сущимъ, чего-то недостаетъ: онѣ распадаются, прѣходящи, безслѣдны; человѣкъ даетъ имъ средоточіе, и это средоточіе—онъ самъ; *словомъ* своимъ исторгаетъ онъ ихъ изъ круговорота, въ которомъ онѣ мелькаютъ и гибнутъ; именемъ даетъ онъ имъ свое признаніе, возрождаетъ въ себѣ, удваиваетъ и сразу вводитъ въ сферу всеобщаго. Мы такъ привыкли къ слову, что забы-

¹⁾ «Смерть Авеля»—поэма Соломона Геснера.

ваемъ величіе этого торжественнаго акта вступленія челоуѣка на царство вселенной. Природа безъ челоуѣка, именующаго ее,—что-то нѣмое, не оконченное, неудачное, *avorté* ¹⁾; челоуѣкъ благословилъ ее существовать для кого-нибудь, возсоздалъ ее, далъ ей гласность. Не даромъ Платонъ такъ восторженно выразился объ очахъ челоуѣка, устремленныхъ на твердь небесную, и нашелъ ихъ прекраснѣе самой тверди. И звѣрь видитъ, и звѣрь издаетъ звуки, и то и другое—великія побѣды жизни; но челоуѣкъ смотритъ и говоритъ, и когда онъ смотритъ и говоритъ, не устроенная куча частныхъ перестаетъ быть громадой случайностей, а обнаруживается гармоническимъ цѣлымъ, организмомъ, имѣющимъ единство. Замѣчательно, что и въ этотъ періодъ естественнаго согласія съ природой, когда еще разсудокъ не отсѣкъ челоуѣка мечомъ отрицанія отъ почвы, на которой онъ выросъ, онъ не признавалъ самобытности частныхъ явленій, онъ вездѣ распоряжался, какъ хозяинъ, онъ считалъ возможнымъ усвоить себѣ все окружающее и заставить исполнять свои цѣли, онъ вещь считалъ своимъ рабомъ, органомъ, внѣ его тѣла находящимся, собственностью. Мы можемъ втѣснить нашу волю только тому, что своей воли не имѣетъ или въ чемъ мы отрицаемъ волю; поставить свою цѣль другому значитъ его цѣль не считать существенною или себя считать его цѣлью.

Челоуѣкъ такъ мало признавалъ права природы, что безъ малѣйшихъ упрековъ совѣсти уничтожалъ то, что ему мѣшало, пользовался, чѣмъ хотѣлъ; онъ, подобно Геслеру, заставлявшему самихъ швейцарцевъ строить для себя Цвингеръ-Ури, обуздывалъ силы природы, противопоставляя одну другой. Природа не только не ужасала челоуѣка своею величиною и безконечностью, на которыя онъ не обращалъ никакого вниманія, предоставляя впослѣдствіи риторамъ всѣхъ вѣковъ стращать себя и другихъ мірадами міровъ и всѣми количественными безмѣрностями,—но даже бѣдствіями, которыя она неволью обрушивала на голову людей: мы нигдѣ не видимъ, чтобъ онъ склонился передъ тупою и внѣшней силою міра; совсѣмъ напротивъ, онъ отварачивается отъ его стихійнаго нестройства и съ молитвою, колѣнопреклоненный, одушевленный горячею вѣрою обращается къ божеству. Какъ бы грубо челоуѣкъ ни представлялъ себѣ верховное начало, божественный духъ, онъ непремѣнно видитъ въ немъ истину, премудрость, разумъ, справедливость, царящіе и побѣждающіе матеріальную сторону существованія. Вѣра въ міродержавство провидѣнія устраняетъ возможность вѣрить въ нестройство и случайность.

¹⁾ Недоношенное.

Долго оставаться въ начальномъ согласіи съ природою, съ міромъ феноменальнымъ человѣкъ не могъ; онъ носилъ въ себѣ зародышъ, который, развиваясь, долженъ былъ, какъ химическая реакція, разложить его дѣтски-гармоническое существованіе съ природою; природа, какъ внѣшній міръ, не могла быть для него цѣлью: въ каждомъ религіозномъ порывѣ человѣкъ стремился выйти отъ феноменальнаго міра къ міру, царящему надъ всѣми явленіями. Животное никогда не распадается съ природою: это— послѣднее не возмущаемое сочетаніе развитія жизни индивидуальной съ общей жизнью природы; двойственная натура человѣка именно въ томъ, что онъ сверхъ своего положительнаго бытія, не можетъ не стать отрицательно къ бытію; онъ распадается не только съ внѣшней природою, но даже съ самимъ собою; эта расторженность мучитъ его; это мученіе гонитъ его впередъ. Бываютъ минуты слабости и изнуренія, когда тоска и что-то страшное въ этомъ противорѣчьи съ природою подавляютъ человѣка, и онъ, вмѣсто того, чтобъ итти по святымъ указаніямъ перста истины, садится усталый на полдорогѣ, отираетъ кровавый потъ и ставитъ золотого тельца,—близкую мѣту, но ложную. Онъ обманываетъ себя,—темно самъ чувствуетъ это; но, какъ бѣшенный Отелло, онъ, снѣдаемый жаждой истины, умоляетъ солгать ему. Чтобъ убѣжать отъ чего-то непокойнаго, страшнаго въ разъединеніи съ физическимъ міромъ, человѣкъ готовъ погрузиться въ грубѣйшій фетишизмъ, лишь бы найти всеобщую сферу, съ которою сочетать свою индивидуальную жизнь, только не быть чуждымъ въ мірѣ и оставленнымъ на себя. Такъ всякаго рода отдѣльность и эгоизмъ противны всемірному порядку.

Какъ только человѣкъ распался съ природою, у него должна была явиться потребность *знанія*, потребность второго усвоенія и покоренія внѣшности. Разумѣется, нельзя себѣ представить, чтобъ теоретическая потребность вѣдѣнія отчетливо явилась уму людей; нѣтъ, они и до нея дошли естественнымъ *тактомъ*. Темное сочувствіе и чисто-практическое отношеніе недостаточны мыслящей натурѣ человѣка; онъ, какъ растеніе: куда его ни посади, все обернется къ свѣту и потянется къ нему; но онъ тѣмъ не похожъ на растеніе, что оно тянется и никогда не можетъ достигнуть до желанной цѣли, потому что солнце внѣ его, а разумъ человѣка, освѣщающій его, внутри, и ему собственно не тянуться надобно, а сосредоточиться. Сначала человѣкъ не подозреваетъ этого, и если разумность его провидитъ возможность истины, то онъ далекъ отъ сознанія путей; онъ не свободенъ для пониманія: густыя тучи животной непосредственности еще не разсѣялись, фантастическіе образы сверкаютъ въ нихъ, но не свѣтомъ; путь до сознанія длиненъ; чтобъ

дойти до него, человѣкъ долженъ отречься отъ себя, какъ частности, и понять себя родомъ. Ему надобно сдѣлать съ собою то, что онъ словомъ своимъ совершилъ надъ природой, т. е. обобщить себя. Мало того, что человѣкъ идетъ далѣе животныхъ, понимая самобытную замкнутость своего я; я есть подтвержденіе, сознание своего тождества съ собою, снятіе души и тѣла, какъ противоположныхъ, единствомъ личности,—на этомъ остановиться нельзя: надобно понять высшее единство рода съ собою. Это единство начинается поглощеніемъ лица, какъ частности, и испуганный человѣкъ стремится, напутствуемый ложнымъ чувствомъ самоохраненія, удерживать себя и истинною ставить свое лицо; подтверждая только свое тождество съ собою, человѣкъ непремѣнно распадается со всей вселенной, со всѣмъ тѣмъ, что онъ чувствуетъ не принадлежащимъ своему я. Это—неминуемое, мучительное послѣдствіе логическаго эгоизма. И съ него, собственно, начинается логическое движеніе, стремящееся выйти изъ скорбнаго распаденья; оно возвращаетъ человѣка изъ этой антиноміи къ гармоніи, но уже не тѣмъ, какимъ онъ вышелъ. Человѣкъ начинаетъ съ непосредственнаго признанія единства бытія съ *воззрѣніемъ* и оканчиваетъ вѣдѣніемъ единства бытія и мышленіемъ. Распаденье человѣка съ природой, какъ вбиваемый клинъ, разбиваетъ мало-по-малу все на противоположныя части, даже самую душу человѣка,—это *divide et impera* ¹⁾ логики, путь къ истинному и вѣчному сочетанію раздвоеннаго.

Мы видѣли, что человѣкъ все, встрѣченное имъ, все, данное чувственной достовѣрностью, опытомъ, отвлекъ отъ переходимости, отъ ускользящей односторонности своимъ словомъ. Человѣкъ называетъ только всеобщее,—частность единичную, случайную, *эту* онъ не можетъ назвать: для нея онъ долженъ употребить низшее средство—указать пальцемъ. Предметъ знанія съ самаго начала, такимъ образомъ, отрѣшенъ отъ непосредственнаго бытія и сохраняетъ свою внѣсущность относительно мышленія уже, какъ обобщенный. Этотъ обобщенный предметъ составляетъ непосредственность *второю порядкомъ*; человѣкъ понимаетъ чуждость его и стремится распуścić возродившійся предметъ, втѣсненный ему опытомъ; онъ хочетъ узнать его, совлечь съ него вторую непосредственность и равно не сомнѣвается ни въ его чуждости, ни въ своей возможности понять его, какъ онъ есть. Когда явилась потребность *узнать* предметъ, то, очевидно, что разумѣніе уже считало его чуждымъ себѣ: это—предположеніе незнанія. На чемъ же основывается достовѣрность знанія, возможность его, когда предметъ совершенно намъ

¹⁾ Раздѣляй и властвуй.

чуждъ? Это два предположенія несомвѣстныхъ, по крайней мѣрѣ, не обусловливающія другъ друга. Вы можете назвать даже иллогизмомъ эту врожденную вѣру въ возможность истиннаго вѣдѣнія, идущаго рядомъ съ вѣрою въ чуждость природы; но не забудьте, что въ этомъ иллогизмѣ лежалъ протестъ противъ отчужденія природы, свидѣтельство, что оно не въ самомъ дѣлѣ такъ, залогъ будущаго примиренія. Исторія философіи—повѣсть, какъ этотъ иллогизмъ разрѣшился въ высшей истинѣ. При началѣ логическаго процесса предметъ остается страдательнымъ, и выступаетъ лицо, трудящееся надъ нимъ, посредствующее его бытіе съ своимъ умомъ, озабоченное удержать предметъ, какимъ онъ есть, не вовлекая его въ процессъ знанія; но конкретный, живой предметъ его уже оставилъ, у него передъ глазами отвлеченія, тѣла, а не живыя существа; онъ старается мало-по-малу придать все недостающее абстракціями, но онъ долго остаются такими, непрерывно указывая ему своими недостатками дальнѣйшій путь. Этотъ путь намъ легко уже прослѣдить въ исторіи философіи.

Стѣитъ ли говорить что-нибудь въ опроверженіе плоскаго и нелѣпаго мнѣнія о безсвязности и шаткости философскихъ системъ, изъ которыхъ одна вытѣсняетъ другую, всѣ всѣмъ противорѣчатъ, и каждая зависитъ отъ личнаго произвола?—Нѣтъ. У кого глаза такъ слабы, что за наружной формой явленія они не могутъ разглядѣть просвѣчивающее внутреннее содержаніе, не могутъ разглядѣть за видимымъ многообразіемъ невидимое единство, тому, что ни говори, исторія науки будетъ казаться сбродомъ мнѣній разныхъ мудрецовъ, разсуждающихъ каждый на свой салтыкъ о разныхъ поучительныхъ и наставительныхъ предметахъ и имѣвшихъ скверную привычку непремѣнно противорѣчить учителю и браниться съ предшественниками: это—атомизмъ, матеріализмъ въ исторіи. Съ этой точки зрѣнія не одно развитіе науки, а вся всемірная исторія кажется дѣломъ личныхъ выдумокъ и страннаго сплетенія случайностей,—взглядъ анти-религіозный, принадлежавшій нѣкоторымъ изъ скептиковъ и недоученой толпѣ. Все сущее во времени имѣетъ случайную, произвольную закраину, выпадающую за предѣлы необходимаго развитія, не вытекающую изъ понятія предмета, а изъ обстоятельствъ, при которыхъ оно одѣйстворяется; только эту закраину, эту перехватывающую случайность и умѣютъ разглядѣть нѣкоторые люди и рады, что во вселенной такой же безпорядокъ, какъ въ ихъ головѣ. Ни одинъ маятникъ не удовлетворяетъ общей формулѣ, которая выражаетъ законъ его размаховъ, ибо въ формулу не вводится случайный вѣсъ пластинки, на которой онъ виситъ, ни случайное треніе; ни одинъ механикъ, однако, не усомнился

въ истинѣ общаго закона, снявшаго въ себѣ случайныя возмущенія и представляющаго вѣчную норму размаховъ. Развитие науки во времени сходно съ практическимъ маятникомъ: оптомъ оно совершаетъ нормальный законъ (который здѣсь во всей алгебраической всеобщности дается логикой), но въ частностихъ вездѣ видны видоизмѣненія, временныя и случайныя. Часовщикъ-механикъ можетъ, съ своей точки зрѣнія, не забывая о треніи, имѣть въ виду общій законъ, а часовщикъ-работникъ только и видитъ беззаконное отступленіе частныхъ маятниковъ. Разумѣется, что историческое развитие философіи не могло имѣть ни строгой хронологической послѣдовательности, ни сознанія, что каждое вновь являющееся воззрѣніе—дальнѣйшее развитие прежняго. Нѣтъ, тутъ было широкое мѣсто свободѣ духа, даже свободѣ личностей, увлеченныхъ страстями; каждое воззрѣніе являлось съ притязаніемъ на безусловную, конечную истину,—оно отчасти и было такъ въ отношеніи къ данному времени,—для него не было высшей истины, какъ та, до которой онъ достигъ; если-бъ мыслители не считали своего понятія безусловнымъ, они не могли бы остановиться на немъ, а искали бы иное; наконецъ, не надобно забывать, что всѣ системы подразумеваютъ, провидѣли гораздо болѣе, нежели высказали: неловкій языкъ ихъ измѣнялъ имъ. Сверхъ сказаннаго, каждый дѣйствительный шагъ въ развитіи окруженъ частными отклоненіями; богатство силъ, броженіе ихъ, индивидуальности, многообразіе стремленій прорастаютъ, такъ сказать, во всѣ стороны; одинъ избранный стебель влечетъ соки далѣе и выше, но современное сосуществованіе другихъ бросается въ глаза. Искать въ исторіи и въ природѣ того внѣшняго и внутренняго порядка, который вырабатываетъ себѣ чистое мышленіе въ своемъ собственномъ элементѣ, гдѣ внѣшность не препятствуетъ, куда случайность не восходитъ, куда самая личность не принята, гдѣ нечему возмутить стройнаго развитія,—значить вовсе не знать характера исторіи и природы. Съ такой точки зрѣнія разные возрасты одного лица могутъ быть приняты за разныхъ людей. Посмотрите, съ какимъ разнообразіемъ, съ какою разметанностью во всѣ стороны животное царство восходитъ къ единому первообразу, въ которомъ исчезаетъ его многообразіе; посмотрите, какъ каждый разъ, едва достигнувъ какой-нибудь формы, родъ рассыпается во всѣ стороны едва исчислимыми вариациями на основную тему: иные виды забѣгаютъ, другіе отлетаютъ, третьи составляютъ переходы и промежуточные звенья, и весь этотъ беспорядокъ не скрываетъ внутренняго своего единства для Гете, для Жоффруа Сентъ-Илера; онъ только непонятенъ для неопытнаго и поверхностнаго взгляда.

Впрочемъ, даже и поверхностный взглядъ въ развитіи мышленія найдетъ, собственно, одинъ рѣзкій и трудно понятный переломъ: мы говоримъ о переходѣ древней философіи въ новую; ихъ сочлененіе схоластикой, ихъ необходимое соотношеніе не бросается въ глаза,—въ этомъ сознаться надобно; но если мы допустимъ (чего вовсе не было), что тутъ было обратное шествіе, можно ли отрицать, что вся древняя философія—одно замкнутое, художественное произведеніе цѣлости и стройности поразительной? можно ли отрицать, что, въ своемъ отношеніи, философія новѣйшихъ временъ, рожденная изъ расторженной и двуначальной жизни среднихъ вѣковъ и повторившая въ себѣ эту расторженность при самомъ появленіи своемъ (Декартъ и Бэконъ), правильно устремилась на развитіе до послѣдней крайности обоихъ началъ и, дойдя до конечнаго слова ихъ, до грубѣйшаго матеріализма и отвлеченнѣйшаго идеализма, прямо и величественно пошла на снятіе двуначалія высшимъ единствомъ? Древняя философія пала, оттого что рѣзко и глубоко она никогда не распадалась съ міромъ, оттого что она не извѣдала всей сладости и всей горечи отрицанія, не знала всей мощи духа человѣческаго, сосредоточеннаго въ себѣ, въ одномъ себѣ. Новая философія, съ своей стороны, была лишена того реального, жизненнаго, слитно-обнимающаго форму и содержаніе античнаго характера; она теперь начинаетъ пріобрѣтать его,—и въ этомъ сближеніи ихъ раскрывается на самомъ дѣлѣ ихъ единство: оно обличается въ самой недостаточности ихъ другъ безъ друга. *Одна* истина занимала всѣ философіи, во всѣ времена; ее видѣли съ разныхъ сторонъ, выражали разное, и каждое созерцаніе сдѣлалось школой, системой. Истина, проходя рядомъ одностороннихъ опредѣленій, многосторонне опредѣляется, выражается яснѣе и яснѣе; при каждомъ столкновеніи двухъ возрѣній отпадаетъ плева за плевою, скрывающія ее. Фантазіи, образы, представленія, которыми старается человѣкъ выразить свою заповѣдную мысль, улечучиваются, и мысль мало-по-малу находитъ тотъ глаголь, который ей принадлежитъ. Нѣтъ философской системы, которая имѣла бы началомъ чистую ложь или нелѣпость; начало каждой—дѣйствительный моментъ истины, сама безусловная истина, но обусловленная, ограниченная одностороннимъ опредѣленіемъ, не исчерпывающимъ ея. Когда вамъ представляется система, имѣвшая корни и развитіе, имѣвшая свою школу съ нелѣпостью въ основаніи, будьте настолько полны благочестія и уваженія къ разуму, чтобъ, прежде осужденія, посмотрѣть не на формальное выраженіе, а на смыслъ, въ которомъ сама школа принимаетъ свое начало, и вы непременно найдете одностороннюю истину, а не совершенную ложь. Оттого каждый моментъ развитія

науки, проходя, какъ односторонній и временной, непремѣнно оставляетъ и вѣчное наслѣдіе. Частное, одностороннее волнуется и умираетъ у подножія науки, испуская въ нее вѣчный духъ свой, вдыхая въ нее свою истину. Призваніе мышленія въ томъ и состоитъ, чтобъ развивать вѣчное изъ временнаго!

Въ слѣдующемъ письмѣ поговоримъ о Греціи. Эпиграфомъ къ греческому мышленію прекрасно служитъ извѣстное изреченіе Протагора ¹⁾: «Человѣкъ — мѣрило всѣмъ вещамъ: въ немъ опредѣленіе, почему сущее существуетъ и несущее не существуетъ».

Село Покровское.—Августъ 1844 г.

Прилагаю къ этому письму небольшую статейку Гете; она писана въ 1780 году; лѣтъ черезъ двадцать Гете замѣчаетъ, что письма, изложенныя въ ней, слишкомъ юны; ему, охлажденному лѣтами, не нравился болѣе восторженный языкъ, необузданность нѣкоторыхъ выражений... Именно эта восторженность заставила меня избрать ее образцомъ художественнаго глубокомыслія Гете: трепеть сочувствія къ жизни, къ живому пробѣгаетъ по всѣмъ строкамъ, каждое слово дышитъ любовью къ бытію, упоеніемъ отъ него. Судите сами. ¹

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ.

Греческая философія.

Востокъ не имѣлъ науки; онъ жилъ фантазіей и никогда не устанавливался настолько, чтобъ привести въ ясность свою мысль, тѣмъ менѣе развилъ ее наукообразно: онъ такъ расплывался въ безконечную ширь, что не могъ дойти до какого-нибудь самоопредѣленія. Востокъ блеститъ ярко, особенно издали, но человѣкъ тонетъ и пропадаетъ въ этомъ блескѣ. Азія—страна дисгармоніи, противорѣчій; она нигдѣ, ни въ чемъ не знаетъ мѣры, а мѣра есть главное условіе согласнаго развитія. Жизнь восточныхъ народовъ проходила или въ броженіи страшныхъ переворотовъ, или въ косномъ покоѣ однообразнаго повторенія. Восточный человѣкъ не понималъ своего достоинства; оттого онъ былъ или въ прахъ валяющійся рабъ, или необузданный деспотъ; такъ и мысль его была или слишкомъ скромна, или слишкомъ высокомерна; она то перехва-

¹⁾ Греческій философъ, софистъ V вѣка до Р. Х.

тывала за предѣлы себя и природы, то, отрекаясь отъ человѣческаго достоинства, погружалась въ животность. Религіозная и гностическая жизнь азіатцевъ полна безпокойнымъ метаньемъ и мертвою тишиной; она колоссальна и ничтожна, бросаетъ взгляды поразительной глубины и ребяческой тупости. Отношеніе личности къ предмету провидится, но неопредѣленно; содержаніе восточной мысли состоитъ изъ представленій, образовъ, аллегорій, изъ самаго щепетильнаго рационализма (какъ у китайцевъ) и самой громадной поэзіи, въ которой фантазія не знаетъ никакихъ предѣловъ (какъ у индійцевъ). Истинной формы Востокъ никогда не умѣлъ дать своей мысли и не могъ, потому что онъ никогда не уразумѣвалъ содержанія, а только различными образами мечталъ о немъ. Общественнонравственныя и думать нечего: его взглядъ на природу приводилъ къ грубѣйшему пантеизму или къ совершеннѣйшему презрѣнію природы. Среди хаоса иносказаній, мифовъ, чудовищныхъ фантазій блестятъ по временамъ яркія мысли, захватывающія душу, и образы чуднаго изящества; они искупаютъ многое и надолго держатъ душу подъ своими чарами. Къ числу ихъ принадлежитъ превосходное мѣсто, избранное нами эпиграфомъ ¹⁾). Его приводитъ Кольбрукъ ²⁾ изъ индусскихъ философскихъ книгъ. Что можетъ быть граціознѣе этого образа пестрой, страстной баядерки, отдающей очамъ зрителя? Она невольно напоминаетъ иную баядерку, пляшущую и увлекающую Магадеви. Стихи, выписанные нами изъ Гете, будто замыкаютъ первый образъ; но индійское воззрѣніе до этого не дошло бы: оно остановилось въ своемъ мифѣ на томъ, что опредѣленное, сущее только назначено *миновать*; оно не увлекло ни Магадеви, ни брамина какого-нибудь, — баядерка показала и ушла; у Гете она исторгнута во всей блестящей красотѣ своей отъ гибели: въ вѣчной мысли есть мѣсто и временному —

Und in seinen Armen schwebet
Die Geliebte mit heror! ³⁾.

Первый свободный шагъ въ элементъ мышленія совершился, когда человѣкъ сталъ на благородную европейскую почву, когда онъ выдвинулся изъ Азіи: Іонія — начало Греціи и конецъ Азіи. Лишь только люди устроились на этой новой землѣ, какъ начали по-

¹⁾ Въ началѣ всѣхъ писемъ. — А. И. Г.

²⁾ Генри-Томасъ, англійскій ориенталистъ.

³⁾ На груди его сіяетъ

Ликъ подруги молодой (Пер. П. Петрова).

рывать пеленки, связывавшія ихъ на Востокѣ; мысль стала сосредоточиваться изъ фантастической распущенности, искать выхода изъ смутнаго стремленія самоопредѣленіемъ, самообузданіемъ. Въ Греціи человѣкъ ограничивается для того, чтобъ развить всю безграничность своего духа, дѣлается опредѣленнымъ для того, чтобъ выйти изъ неопредѣленнаго состоянія дремоты, въ которое подвергаетъ человѣка безхарактерная многосторонность. Вступая въ міръ Греціи, мы чувствуемъ, что на насъ вѣетъ роднымъ воздухомъ,— это Западъ, это Европа. Греки первые начали протрезвляться отъ азіатскаго опьянѣнія и первые ясно посмотрѣли на жизнь, нашлись въ ней; они совершенно дома на землѣ—покойны, свѣтлы, люди. Въ «Иліадѣ», въ «Одиссеѣ» мы можемъ узнать знакомое, родственное, а не въ «Магабгаратѣ», не въ «Саконталѣ». Мнѣ всякій разъ становится тяжело и неловко, когда читаю восточныя поэмы: это не та среда, въ которой свободно дышитъ человѣкъ; она слишкомъ просторна и въ то же время слишкомъ узка; ихъ поэмы—давящія сновидѣнія, послѣ которыхъ человѣкъ просыпается, задыхаясь въ лихорадочномъ состояніи, и все еще ему кажется, что онъ ходитъ по косому полу, около котораго вертятся стѣны и мелькаютъ чудовищныя образы, не несущіе ничего утѣшительнаго, ничего роднаго. Чудовищныя фантазіи восточныхъ произведеній были такъ же противны грекамъ, какъ чудовищныя размѣры какихъ-нибудь Мемноновъ въ семьдесятъ метровъ ростомъ: греки никогда не смѣшивали высокаго съ огромнымъ, изящнаго съ подавляющимъ; греки вездѣ побѣждали отвлеченную категорію количества — на поляхъ мараѳонскихъ, въ статуяхъ Праксителя, въ герояхъ поэмъ и въ свѣтлыхъ образахъ олимпійцевъ. Они постигли, что тайна изящнаго—въ высокой соразмѣрности формы и содержанія внутренняго и внѣшняго; они поняли, что въ природѣ все развитое блеститъ не огромностью чрева, а, совсѣмъ напротивъ, сосредоточивается до крайне-необходимаго соотвѣтствія наружнаго внутреннему; гдѣ наружное слишкомъ велико—внутреннее бѣдно: моря, горы, степи велики, а конь, олень, голубь, райская птичка малы. Мысль высокой, музыкальной, ограниченной и именно потому безконечной соразмѣрности—чуть ли не главная мысль Греціи, руководившая ее во всемъ; она-то проявилась въ томъ изящномъ созвучіи всѣхъ сторонъ афинской жизни, которое поражаетъ насъ своею художественною прелестью. Идея красоты была для грековъ безусловною идеею; она снимала въ самомъ дѣлѣ противоположность духа и тѣла, формы и содержанія; изсѣкая свои статуи, грекъ всякій разъ изсѣкалъ примирительное сочетаніе тѣхъ началъ, которыя необузданно поддавались распаленной фантазіи на Востокѣ.

Міръ греческій, въ извѣстномъ очертаніи, изъ котораго онъ не могъ выйти, не перейдя себя, былъ чрезвычайно полонъ; у него въ жизни была какая-то *слитность*, то неуловимое сочетаніе частей, та гармонія ихъ, передъ которыми мы склоняемся, созерцая прекрасную женщину: до этой слитности, до этой виртуозности въ жизни, наукъ, учрежденіяхъ новый міръ не дошелъ, это—тайна, которую онъ не умѣлъ похитить изъ греческихъ саркофаговъ. Есть люди, которымъ греческая жизнь кажется, именно по соразмѣрности своей, по родству съ природой, по юношеской ясности, плоскою и неудовлетворительною; они пожимаютъ плечами, говоря о веселомъ Олимпѣ и его разгульныхъ жителяхъ; они презираютъ грековъ за то, что греки наслаждались жизнью въ то время, когда надобно было млѣть и мучить себя мнимыми страданіями; они не могутъ забыть, что греки равно поклонялись свѣтлому челу красавицы и циническому поступку гражданина, тѣлесной ловкости атлета и діалектикъ софиста; они ставятъ гораздо выше ихъ мрачныхъ египтянъ, даже персовъ; объ Индіи и говорить нечего: съ Шлегелевой легкой руки, лѣтъ двадцать не знали границъ индопочитанію. Это ничего не доказываетъ; вы можете еще такихъ людей найти, которымъ вообще все здоровое противно,—такія искаженные организаціи, которыя только неестественное наслажденіе считаютъ за истинное; это—дѣло психической патологии. Для насъ, напротивъ, все величіе греческой жизни—въ ея простотѣ, скрывающей глубокое пониманіе жизни; она спокойно у нихъ течетъ между двумя крайностями: между погруженіемъ въ чувственную непосредственность, въ которой теряется личность, и потерю дѣйствительности во всеобщихъ отвлеченіяхъ. Воззрѣніе грековъ намъ кажется матеріальнымъ въ сравненіи съ схоластическимъ дуализмомъ и съ трансцендентальнымъ идеализмомъ нѣмцевъ; въ сущности, его скорѣе должно назвать реализмомъ (въ широкомъ смыслѣ слова), и этотъ реализмъ у нихъ является прежде всѣхъ мудрецовъ и ученых. Вѣра въ предопредѣленіе, въ судьбу есть вѣра эмпириі, реализма; она основана на безусловномъ признаніи дѣйствительности міра, природы, жизни: «то, что есть, не случайно; оно предопредѣлено, оно неминуемо, оно должно быть». Такая вѣра въ судьбу есть съ тѣмъ вмѣстѣ вѣра въ событіе, въ *разумъ внѣшняю*. Мысль (легко освободившаяся отъ миеовъ политеизма) съ первыхъ шаговъ должна была дойти до созерцанія судьбы закономъ животворящимъ, началомъ (нусъ) всего сущаго; а на этомъ началѣ легко воздвигалась вся великая наука ихъ.

Мышленіе грековъ, никогда не доходившее до послѣдней крайности распаденія съ природой или существующимъ, до непримире-

маго противорѣчія безусловнаго съ условнымъ, не имѣло зато въ себѣ ничего судорожнаго; оно не считало своего дѣла святотатственнымъ обличеніемъ тайны, преступнымъ попытаниемъ заповѣднаго, чернокнижіемъ, нечистой связью съ темной силою; напротивъ, оно походило на ясный взглядъ проснувашагося человѣка, который радостно приводитъ въ сознаніе окружающій міръ и съ перваго шага понимаетъ, что онъ для того и призванъ, чтобъ понять и возвести въ мысль; интересъ его безкорыстенъ, чистъ, и потому онъ смѣлъ, гордъ; онъ не трепещетъ, какъ адептъ среднихъ вѣковъ,—этотъ тать, подсматривающій тайну природы; самыя цѣли ихъ разны: одинъ хочетъ знать, хочетъ истины; другой — власти надъ естествомъ; для одного, природа имѣетъ объективное значеніе, а другой только того и добивается, чтобъ передѣлать ее, чтобъ изъ камня было золото, чтобъ земля была прозрачна. Разумѣется, въ этомъ себялюбивомъ притязаніи видно свое величіе эпохи, и въ уродливой формѣ средневѣковой алхиміи есть сторона, по которой адептъ выше грека. Духъ не сталъ еще самъ предметомъ для грека; онъ еще не довлѣлъ себѣ безъ природы, и, стало-быть, онъ ее не ставилъ, а принималъ ее, какъ роковое событіе; ключъ къ истинѣ не лежалъ внутри человѣка; этимъ-то ключомъ и считалъ себя алхимикъ. Грекъ не могъ отдѣлаться отъ внѣшней необходимости; онъ нашелъ средство быть нравственно-свободнымъ, признавая ее; этого мало: надобно было самоѣ судьбу превратить въ свободу, надобно было все побѣдить разуму; надобно было выстрадать эту побѣду, но греки не умѣли страдать: они принимали легко самыя тяжелые вопросы. Неоплатоники поняли это и пошли по иному пути; то, чего не доставало греческому воззрѣнію, сдѣлалось началомъ и точкою отправленія, — но ужъ было поздно. Съ неоплатониковъ начался идеализмъ, какъ господствующее направленіе, какъ единое истинное мышленіе; мысль стала иначе, утратила дѣйствительность и реализмъ истинно-греческой философіи. Соединеніе этихъ сторонъ, быть можетъ,—важнѣйшая задача грядущей науки ¹⁾).

¹⁾ Излагая главные моменты греческой философіи, я слѣдовалъ лекціямъ Гегеля объ исторіи древней философіи. Всѣ мѣста, цитированныя мною изъ Платона, Аристотеля, взяты оттуда. Исторія древней философіи у него отдѣлана до высокаго, художественнаго совершенства; кажется, нельзя того же сказать объ его исторіи новой философіи: она бѣдна и мѣстами односторонняя, даже пристрастна (напр., какъ мало оцѣненъ подвигъ Канта!). Знакомые съ германской философіей увидятъ въ самомъ изложеніи древней философіи нѣкоторыя довольно важныя отступленія отъ «Лекцій объ исторіи философіи». Я во многихъ случаяхъ не хотѣлъ повторять чисто абстракт-

Начало знанія есть сознательное противоположеніе себя предмету и стремленіе снять эту противоположность мыслью. Іонійская философія представляет намъ въ богатомъ и широкомъ развитіи этотъ моментъ. Пробужденное сознаніе останавливается предъ природой и ищетъ подчинить ея многообразіе единству, чему-нибудь всеобщему, царящему надъ частнымъ. Это—первая потребность человѣка, когда онъ просыпается отъ неопредѣленныхъ сновидѣній чувственно-непосредственного воззрѣнія, когда онъ перестаётъ удовлетворяться фантазіями и, недовольный, жаждетъ не образовать, а пониманія; но этого всеобщаго единства человѣкъ не ищетъ сначала ни въ себѣ, ни въ духовномъ элементѣ вообще, а въ самомъ предметѣ, и притомъ какъ сущаго,—онъ еще такъ привыкъ къ непосредственности, что не можетъ разомъ оторваться отъ нея. Предметъ его знанія также непосредственный, данный эмпиріей—природа. Для того, чтобъ себя поставить предметомъ, надобно много прожить мыслью, надобно, между прочимъ, усомниться въ полной дѣйствительности природы. Практически, безсознательно человѣкъ поступалъ, какъ власть имущій надъ окружающимъ міромъ или, лучше, надъ окружающими его частностями,—отрицалъ ихъ самобытность; но теоретически, общимъ образомъ, сознательно онъ не совершилъ еще этого шага. Напротивъ, у человѣка есть врожденная вѣра въ эмпиризмъ и въ природу, такъ, какъ врожденная вѣра въ мысль; отдаваясь этой вѣрѣ въ физическій міръ, человѣкъ въ немъ ищетъ «начала всѣхъ вещей», т. е. единства, изъ котораго все истекаетъ, къ которому все стремится,—всеобщее, обнимающее всѣ частности. Откуда было іонійцамъ взять такую дерзость, чтобъ обратиться къ груди своей и въ ней искать этого начала? Вспомните, что едва Гете чрезъ тысячелѣтіе осмѣлился сдѣлать вопросъ: «зерно природы не лежитъ ли въ сердцѣ человѣка?»—и его не поняли современники! Іонійцы съ отроческою простотою въ самой природѣ искали *начала*; они его искали, какъ сущее между существующимъ, какъ высшую вещественность, составляющую основу прочихъ вещей; ихъ не привыкнущій къ отвлеченіямъ умъ не могъ иначе удовлетворяться, какъ естественною видимостью начала. Ни знаніе, ни мышленіе никогда не начинаются съ полной истины,—она ихъ цѣль; мышленіе было бы не нужно, если-бъ были готовыя истины,—ихъ нѣтъ; но развитіе истины составляетъ ея организмъ, безъ котораго она не дѣйствительна. Мышленіемъ истина разви-

ныхъ и пропитанныхъ идеализмомъ мнѣній германскаго философа, тѣмъ болѣе, что въ этихъ случаяхъ онъ былъ невѣренъ себѣ и платилъ дань своему вѣку. — А. И. Г.

вається изъ бѣднаго, отвлеченнаго, односторонняго опредѣленія до самаго полнаго, конкретнаго, многосторонняго, достигая этой полноты рядомъ самоопредѣлений, непрерывно углубляющихся въ разумъ предмета. Первое, начальное опредѣленіе, самое внѣшнее, самое неразвитое — зерно, возможность, тѣсная сосредоточенность, въ которой потеряны различія; но съ каждымъ шагомъ дальнѣйшаго самоопредѣленія, истина находитъ болѣе и болѣе органовъ для своего идеальнаго бытія; такъ, разумъ въ новорожденномъ становится дѣйствительностью только тогда, когда органы младенца достаточно разовьются, окрѣпнутъ, возмужаютъ, когда его мозгъ сдѣлается способенъ вынести разумъ. Но гдѣ же въ природѣ, въ этомъ непрерывномъ круговоротѣ измѣненій, въ которомъ двухъ разъ не встрѣтимъ однѣ и тѣ же черты, гдѣ въ ней найти всеобщее начало, по крайней мѣрѣ, такую сторону ея, которая всего ближе выражала бы мысль единства и покоя въ безпокойномъ многоразличіи физическаго міра? Ничего не могло быть естественнѣе, какъ принятіе *воды* за это начало: она не имѣетъ опредѣленной, стоячей формы, она вездѣ, гдѣ есть жизнь, она—вѣчное движеніе и вѣчное спокойствіе,

Wasser umfänget
Ruhig das All! ¹⁾

Безъ сомнѣнія, Фалесъ ²⁾, признавая началомъ всему воду, видѣлъ въ ней болѣе, нежели *эту* воду, текущую въ ручьяхъ. Для него, вода — не только вещество, отличное отъ другихъ веществъ земли, воздуха, но вообще текучій растворъ, въ которомъ все распускается, изъ котораго все образуется; въ водѣ осѣдаетъ твердое, изъ нея испаряется легкое; для Фалеса она, вѣроятно, была и образъ мысли, въ которой снято и хранится все сущее; только въ этомъ значеніи, широко, полномъ мысли, эмпирическая вода, какъ начало, получаетъ истинно-философскій смыслъ. Вода Фалеса — существующая стихія и вмѣстѣ съ тѣмъ мысль — предоставляетъ первое мерцаніе и просвѣчиваніе идеи сквозь грубую физическую кору, отъ которой она еще не освободилась. Это дѣтское провидѣніе единства бытія и мышленія, это фетишизмъ въ сферѣ логики и фетишизмъ превосходный. Вода—спокойная, глубокая среда, вѣчно дѣятельная раздвоеніемъ (сгущаясь, испаряясь), вѣрнѣйшій образъ понятія, расторгающагося на противоположныя опредѣленія и служащаго связью имъ. Само собою разумѣется, что вода не соотвѣт-

¹⁾ Вода спокойно объемлетъ все!

²⁾ Греческій философъ VII—VI в. до Р. Х.

ствууетъ тому понятію всеобщей сущности, котороѣ съ нею сопрягалъ Фалесъ; но здѣсь не такъ важно истинное понятіе воды, какъ именно *είο* понятіе о водѣ: изъ *είο* понятія о водѣ мы узнаемъ его понятіе о началѣ.

Во время неразвитости мышленія, методы, языка, подъ односторонними опредѣленіями кроется несравненно болѣе, нежели сколько лежитъ въ строгомъ прозаическомъ смыслѣ высказанныхъ словъ. Мы часто будемъ видѣть, какъ изъ-за неловкаго выраженія проглядываетъ глубокое созерцаніе, и потому весьма важно усвоить себѣ смыслъ, въ которомъ сама система понимала свои начала. Сказать просто: Фалесъ считаетъ всему началомъ воду, а Пифагоръ—число, не заботясь о томъ, что для одного представляла вода, а для другого—число, значитъ выдать ихъ за полусумасшедшихъ или за тупоумныхъ. Выраженіе «глоссологія» измѣняетъ имъ; они *болѣе* мысли хотятъ втѣснить въ образъ, ими избранный, нежели онъ можетъ питать въ себя; но отъ этого нельзя отрицать или пренебрегать тою стороною ихъ мысли, которая, если не нашла достодолжнаго выраженія, то навѣрно оставила мощный слѣдъ. Такъ, въ животныхъ низшей организаціи замѣчаемъ мы указанія, намеки, такъ сказать, на тѣ части и органы, которые вполнѣ развиваются только въ высшихъ животныхъ; ненужная, повидимому, неразвитость есть непреложное условіе будущаго совершенства. Каждая школа подъ своимъ началомъ разумѣла болѣе формально высказаннаго и потому считала свое начало безусловнымъ, себя въ обладаніи всею истиною и была отчасти права; напротивъ, слѣдующее за ней воззрѣніе видитъ обыкновенно только формально высказанное и стремится снять односторонность, изъявляющую притязаніе на всеобщность, какой-нибудь новой односторонностью съ тѣмъ же притязаніемъ; завязывается безпощадная борьба, и нападающій тупо не догадывается, что въ самомъ дѣлѣ проходящій моментъ обладалъ истиною, но въ несоответственной формѣ, недостатки же формы замѣнялъ живымъ духомъ своимъ. Съ своей стороны, проходящій моментъ также мало понимаетъ, что выталкивающій его имѣетъ права на то во имя той стороны истины, которою онъ обладаетъ. Эмпирическимъ носителемъ іонійской мысли о единствѣ не была одна вода; она такъ рѣзко индивидуальна, что не можетъ удовлетворять всѣмъ требованіямъ всеобщаго начала. Воздухъ, какъ по превосходству безвидный, разрѣженный, былъ также принимаемъ нѣкоторыми изъ іонійцевъ за начало. Наконецъ, они сдѣлали попытку совсѣмъ оторваться отъ естественной сущности и перейти въ сферу тѣхъ отвлеченій, которыя составляютъ пропилеи логики; они отрицали прямо конечное въ пользу безконечной основы въ

родѣ матеріи, вещества нынѣшнихъ физиковъ; безконечное Анаксимандра ¹⁾ было именно вещество, лишенное всякаго качественного опредѣленія; таковъ былъ первый, полудѣтскій, но твердый шагъ науки. Расходящіяся геометрическія представленія приводятся къ единству, единство это ищется въ природѣ, самобытность частнаго не признается состоятельной предъ всеобщимъ началомъ, какъ бы это начало ни было опредѣлено; такое подчиненіе единству и всеобщему — настоящій элементъ мышленія. Немного дальновидности надобно было имѣть, чтобъ понять, что противъ этого единства политеизмъ не устоитъ. Судьба Олимпа была рѣшена въ ту минуту, какъ Фалесъ обратился къ природѣ; отыскивая въ ней истину, онъ, какъ и другіе іонійцы, выразилъ свое воззрѣніе независимо отъ языческихъ представленій. Жрецы поздно выдумали наказывать Анаксагора ²⁾ и Сократа; въ элементѣ, въ которомъ двигались іонійцы, лежалъ зародышъ смерти элевзинскихъ и всѣхъ языческихъ таинствъ. Кто упрекнетъ іонійцевъ въ томъ, что они, принимая за начало эмпирическую стихію, показали недостаточное понятіе объ элементѣ мысли, будетъ правъ; но, съ другой стороны, пусть онъ оцѣнитъ чисто реальный греческій тактъ, заставившій ихъ искать свое начало въ самой природѣ, а не внѣ ея, искать безконечное въ конечномъ, мысль въ бытіи, вѣчное во временномъ. Почва наукообразная была приобрѣтена ими, *сущее начало* не могло на ней удержаться; но она была способна къ развитію; это была начальная ступень: ступившему на нее раскрывалась цѣлая лѣстница.

Прежде, нежели мышленіе перешло отъ чувственныхъ и сушихъ опредѣленій безусловнаго къ опредѣленіямъ отвлеченно-логическимъ, оно естественнымъ образомъ должно было попытаться выразить безусловное промежуточнымъ моментомъ, найти истину между крайностями сущаго и отвлеченнаго. Эта готовность осуществитъ всякую возможность принадлежитъ безпокойному и вѣчно дѣятельному характеру жизни, какъ въ историческомъ мірѣ, такъ и въ физическомъ; органическое развитіе вещества не оставляетъ втуне ни одной возможности, не призывая ее къ жизни. Между чувственными опредѣленіями и опредѣленіями чисто логическими Пифагоръ нашелъ нѣчто постоянное, связующее ихъ, принадлежащее имъ обоимъ, не чувственное и не мысль,—число. Смѣлость и, слѣдственно, крѣпость мысли пифагорейской очевидна; все сущее, принимаемое обыкновенно за дѣйствительность, опрокинуто, и на мѣсто эмпирическаго существованія поднято и признано за истину

1) Философъ іонійской школы VI вѣка до Р. Х.

2) Тоже.

нѣчто не вещественное, мыслимое, но притомъ далеко не субъективное, а, такъ сказать, мыслимое, снимаемое съ вещественнаго. «Пифагорейцы,—говоритъ Аристотель,—принимали устройство вселенной за согласную систему чиселъ и ихъ отношеній». Они исторгли *постоянное отношеніе* изъ вѣчной переменяемости феноменальнаго бытія, и оно въ самомъ дѣлѣ царитъ надъ всѣмъ сущимъ. Математическое міросозерцаніе, основанное пифагорейцами и получившее богатое развитіе въ новѣйшія времена, потому и сохранилось черезъ всѣ вѣка, что въ немъ есть сторона, глубоко истинная; математика стоитъ между логикой и эмпиріей, въ ней уже признана объективность мысли и логичность событія; ея враждебное отношеніе къ философіи формально не имѣетъ никакого основанія. Само собою разумѣется, что отношеніе предметовъ, моментовъ, фазъ, гармоническіе законы, ихъ связующіе, ряды, которыми они развиваются, не исчерпываютъ *всего* содержанія ни природы, ни мысли. Пифагорейцы не замѣчали, что подъ числомъ разумѣли несравненно болѣе, нежели сколько лежало въ понятіи числа; они не замѣчали, что въ числѣ остается нѣчто мертвое, безстрастное, пренебрегающее конкретнымъ содержаніемъ, равнодушная мѣра. Для нихъ порядокъ, согласіе, гармоническое числовое сочетаніе удовлетворяли всѣмъ требованіямъ, но удовлетворяли потому, что они, собственно, не останавливались на чисто-математическихъ опредѣленіяхъ; геніальность учителя и пламенная фантазія учениковъ привносили всю полноту содержанія, недостававшего началамъ. Это иллюгическое дополненіе мы постоянно будемъ встрѣчать во всей греческой философіи; это—такъ сказать, перехватывающая субъективность генія грековъ, а съ другой стороны—неспособность ихъ къ чистымъ отвлеченіямъ. На этой неотрѣшимости грековъ отъ реализма и на провидѣнни истины болѣе, нежели на сознаніи, основана полнота распадѣнія личности съ природой въ древнемъ мірѣ. Число, оставленное само на себя, не могло удержаться на той высотѣ, на которую его поставили пифагорейцы: «оно не носило въ себѣ начала самодвиженія», какъ замѣтилъ Аристотель. Но для нихъ единица была не только ариѳметическая единица, первый членъ, ключъ, рядъ, мѣра,—для нихъ она была, вмѣстѣ съ тѣмъ, безусловнымъ единствомъ, могуществомъ и возможностью самораздвоенія, животворящей монадой, гермафродитомъ, въ себѣ хранящимъ свое раздвоеніе и не теряющимъ своего единства при развитіи въ [многоразличіе. Они были такъ проникнуты порядкомъ, согласіемъ, гармонією, числовымъ сочетаніемъ, вездѣсущимъ ритмомъ, что для нихъ вселенная представлялась статико-музыкальнымъ цѣлымъ. И кто откажетъ въ величіи ихъ представленію де-

сяти небесныхъ сферъ, расположенныхъ по строгому порядку, не только въ извѣстномъ отношеніи къ величинѣ и скорости, но и въ музыкальномъ отношеніи: ринутыя въ свое вѣчное движеніе, обтекая орбиты свои, онѣ издають согласные звуки, сливающіеся въ одинъ величественный вселенскій хораль. Повидимому, удаленное отъ всего поэтическаго, воззрѣніе математики очень близко ко всему фантастическому и мистическому. Безумнѣйшіе мистики всѣхъ вѣковъ опирались на Пифагора и создавали свою науку чиселъ; въ математическомъ воззрѣніи есть что-то сумрачно-величавое, аскетическое, плотоумерщвляющее: оно-то вмѣсто реальныхъ страстей и располагаетъ фантазію къ астрологіи, каббалистикѣ и проч.

Еще шагъ мысли по этому пути обобщенія,—и она должна была порвать послѣднія путы и явиться въ своей области, то есть оторваться не токмо отъ чувственнаго, отъ числового, но и вообще отъ всякаго дѣйствительнаго опредѣленія, пожертвовать полнотою многоразличія отвлеченному единству всеобщаго. Такой шагъ, съ одной стороны, освобождаетъ мысль отъ всего, ограничивающаго ее, съ другой—ведетъ къ величайшимъ отвлеченностямъ, въ которыхъ все пропадаетъ, въ которыхъ потому и свободно, что пусто. Отрѣшать предметъ отъ односторонности реальныхъ опредѣленій значитъ съ тѣмъ вмѣстѣ дѣлать его неопредѣленнымъ; чѣмъ обще сфера, тѣмъ она кажется ближе къ истинѣ, тѣмъ болѣе устранено усложняющихъ односторонностей. На самомъ дѣлѣ не такъ; сдирая плеву за плевой, человекъ думаетъ дойти до зерна, а между тѣмъ, снявъ послѣднюю, онъ видитъ, что предметъ совсѣмъ исчезъ; у него ничего не остается, кромѣ сознанія, что это—не ничего, а результатъ снятія опредѣленій. Очевидно, что такимъ путемъ до истины не дойдешь. По несчастію, этой очевидности не хотѣли видѣть; напротивъ, обобщая категоріи, очищая предметъ отъ всѣхъ его опредѣленій, качественныхъ и количественныхъ, съ торжествомъ останавливаются на отвлеченнѣйшемъ признаніи тождества его съ собою, и *призракъ* чистаго бытія принимаютъ за истину дѣйствительно сущаго; чистое бытіе становится въ родѣ духа, улетѣвшаго изъ усопшаго и витающаго надъ трупомъ безъ силы его оживить. Для логическаго процесса, для феноменологическаго движенія мысли не можетъ быть лучшаго предположенія, лучшей точки отправленія, какъ чистое бытіе,—начало не можетъ быть ни опредѣленнымъ, ни имѣющимъ посредства: чистое бытіе—именно неопредѣленная непосредственность; наконецъ, въ началѣ не можетъ быть дѣйствительной истины, а одна возможность ея. Дайте какое хотите опредѣленіе, какое хотите развитіе чистому бытію,—оно сдѣлается бытіемъ опредѣленнымъ, дѣйствительнымъ и измѣнитъ характеру на-

чала, возможности. Чистое бытіе—пропасть, въ которой потонули всѣ опредѣленія дѣйствительнаго бытія (а между тѣмъ они-то одни и существуютъ), не что иное, какъ логическая абстракція, такъ, какъ точка, линия—математическія абстракціи; въ началѣ логическаго процесса оно столько же бытіе, сколько небытіе. Но не надобно думать, что бытіе опредѣленное возникаетъ въ самомъ дѣлѣ изъ чистаго бытія; развѣ изъ понятія рода возникаетъ существующій индивидъ? Мысль начинается съ этихъ абстракцій, и движеніе ея необходимо обличаетъ отвлеченность ихъ и отказывается отъ нихъ всѣмъ дальнѣйшимъ движеніемъ. Мысль въ началѣ логическаго процесса—именно способность отвлеченнаго обобщенія; конечное и опредѣленное достигаетъ въ мысли безконечности, неопредѣленной сначала, но опредѣляющейся цѣлымъ рядомъ формъ, которыя, наконецъ, получаютъ полную опредѣлительность и такимъ образомъ замыкаютъ безконечное и конечное сознательнымъ единствомъ.

Чистое бытіе было бы принято за истину, за безусловное элеатики: они абстракцію чистаго бытія приняли за дѣйствительность *болѣе дѣйствительную*, нежели *бытіе опредѣленное*, за верховное единство, царящее надъ многоразличіемъ. Такое логическое, холодное, отвлеченное единство безотрадно; въ немъ гибнетъ всякое различіе, всякое движеніе; это — вѣчный покой, нѣмая безграничность, штиль на морѣ, летаргическій сонъ, наконецъ, смерть, небытіе. Въ самомъ дѣлѣ, элеатики отрицали всякое движеніе, не признавали истины многоразличія, это — индійскій квіетизмъ въ философіи. Бытіе свидѣтельствуетъ только о томъ, что *оно есть*; меньше, бѣднѣе ничего нельзя сказать о предметѣ, какъ то, что онъ есть,—это повтореніе слова «омъ! омъ!» браминомъ, достигшимъ желанной близости къ Вишну, ставшимъ на краю пропасти, къ которой онъ стремился, чтобъ освободиться отъ своей индивидуальности. Бытію, для того только, чтобъ быть, нѣтъ нужды въ движеніи: для дѣятельности надобно, чтобъ бытію чего-нибудь не доставало, чтобъ оно стремилось къ чему-нибудь, боролось съ чѣмъ-нибудь, чего-нибудь достигало бы. Но то, къ чему можетъ бытіе стремиться, было бы внѣ его, стало-быть, его не было бы. Элеатики очень послѣдовательно отрицали движеніе и небытіе. «Бытіе,—говорилъ Парменидъ¹⁾,—есть, а небытія вовсе нѣтъ». Вѣрные реальному такту грековъ, элеатики не смѣли итти до послѣдняго логическаго вывода; ихъ языкъ не повернулся бы признаться, что чистое бытіе тождественно небытію; какой-то инстинктъ шеп-

1) Греческій философъ VI вѣка до Р. Х.

таль имъ, что, какъ хочешь, абстрагируй, но субстрата, но вещества не уничтожишь, что бытіе—самобѣднѣйшее его свойство, но зато и самѣнеотъемлемѣйшее, что его на самомъ дѣлѣ уничтожить нельзя, *некуда дѣтъ*: отвернуться только можно отъ него или не узнать его въ видоизмѣненіяхъ.

Въ XVIII столѣтіи на эту мысль неизмѣняемости вещественнаго бытія попалъ знаменитый Лавуазье ¹⁾. «Вѣсь вещества,—сказалъ онъ,—не можетъ никогда утратиться; количество матеріи постоянно; отвлекаясь отъ качественныхъ измѣненій, мы остаемся при неизмѣнномъ вѣсѣ». На этой элеатико-левкипповской мысли основываясь, онъ взялъ химическіе вѣсы въ руки,— и вы знаете великіе результаты, до которыхъ онъ и его послѣдователи достигли. Долго удержаться на страшной всеобщности чистаго бытія мысль человѣческая не могла. Успокоившись въ отвлеченномъ просторѣ чистаго бытія, нельзя не понять, наконецъ, что этотъ просторъ—совершеннѣйшее безразличіе, безразличіе, сходное съ предположеніемъ силы расширительной, дѣйствующей на свободѣ въ Шеллинговомъ построеніи физическаго міра: она до того расширяется, не встрѣчая препятствія, что ея нѣтъ; тутъ ужъ поздно ее спасать силой сжимательной. Но дѣло въ томъ, что чистое бытіе такъ же, какъ и безусловное расширеніе, вовсе не дѣйствительны; это координаты, употребляемая геометромъ для опредѣленія точки,—координаты, нужныя ему, а не точкѣ; проще: чистое бытіе—подмостка, по которой отвлеченное мышленіе поднимается къ конкретному. Не только небытія вовсе нѣтъ, но и чистаго бытія вовсе нѣтъ, а есть бытіе, опредѣляющееся, совершающееся въ вѣчно дѣятельномъ процессѣ, котораго отвлеченные и противоположные моменты (бытіе и небытіе) врознь, другъ безъ друга, существуютъ только въ феноменологіи сознанія, а не въ мірѣ эмпирико-дѣйствительномъ; эти моменты, отвлеченные отъ процесса, связующаго ихъ, разъятые,—призрачны, невозможны и истинны, только какъ переходныя ступени логическаго движенія; въ существованіи своемъ, напротивъ, они дѣйствительны, и потому нерасторгаемо-присущи другъ другу. Бытіе дѣйствительное не есть мертвая косность, а непрерывное возникновеніе, борьба бытія и небытія, непрерывное стремленіе къ опредѣленности, съ одной стороны, и такое же стремленіе отречься отъ всякой задерживающей положительности.

Геніальное «все течетъ!» произнеслось Гераклитомъ ²⁾, — и расплавленный кристаллъ элеатическаго бытія устремился вѣчнымъ

¹⁾ Основатель научной химіи.

²⁾ Греческій философъ начала V вѣка до Р. Х.

потокомъ. Гераклитъ подчинилъ и бытіе и небытіе перемѣнѣ, движению: *все течетъ!* ничто не остается неподвижно, одинаково; все—быстро ли, тихо ли—движется, видоизмѣняясь, превращаясь, колеблясь между бытіемъ и небытіемъ. «Предметы, — говоритъ Гераклитъ, — похожи на стремящійся потокъ; два раза нельзя наступить въ одну и ту же воду» ¹⁾). Для него безусловное—самый процессъ восхожденія естественнаго многообразія къ единству; для него дѣйствительное—не страдательная покорность отвлеченной вещественности, не субстратъ движенія, не бытіе движимаго, а то, что *необходимо* движетъ его, то, что его измѣняетъ. Бытіе у Гераклита имѣетъ само въ себѣ свое отрицаніе; оно неотъемлемо, присуще ему; это—его демоническое начало, сопровождающее его всегда и вездѣ, безпрерывно противодѣйствующее ему, снимающее сотворенное имъ, мѣшающее уснуть, окрѣпнуть въ неподвижности. Бытіе живо движениемъ; съ одной стороны, жизнь есть не что иное, какъ движеніе непрерывное, не останавливающееся, дѣятельная борьба и, если хотите, дѣятельное примиреніе бытія съ небытіемъ, и чѣмъ упорнѣе, злѣе эта борьба, тѣмъ ближе они другъ къ другу, тѣмъ выше жизнь, развиваемая ими; борьба эта вѣчно у конца и вѣчно у начала,—безпрерывное взаимодѣйствіе, изъ котораго они «выйти не могутъ». Это—бѣличье колесо жизни. Животный организмъ представляетъ постоянную борьбу со смертью, которая всякій разъ восторжествуетъ, но торжество это опять въ пользу опредѣленнаго бытія, а не небытія. Многоначальная ткани, изъ которыхъ составлено живое тѣло, безпрестанно разлагаются на двуначальныя (т. е. на неорудныя, минеральныя) и безпрестанно вновь образуются; голодъ возобновляетъ требованія свои, потому что безпрерывно утрачивается матеріалъ; дыханіе поддерживаетъ жизнь и сожигаетъ организмъ; организмъ безпрерывно вырабатываетъ сожигаемое. Не кормите животнаго, у него кровь и мозгъ сгорятъ... Чѣмъ болѣе развита жизнь, чѣмъ въ высшую сферу перешла она, тѣмъ отчаяннѣе борьба бытія и небытія, тѣмъ ближе они другъ къ другу. Камень гораздо прочнѣе звѣря; въ немъ бытіе преобладаетъ надъ небытіемъ; онъ мало нуждается въ средѣ, его окружающей; онъ безъ большихъ усилій, извнѣ на него дѣйствующихъ, не измѣнитъ ни формы, ни состава, онъ почти не носитъ въ себѣ самомъ причину своего разложенія, и оттого онъ упоренъ. Малѣйшее прикосновеніе къ мозгу животнаго,—къ этой сложной, рыхлой, не твердѣющей массѣ,—повергаетъ

¹⁾ «Тѣла, — говоритъ Лейбницъ, — только кажутся постоянными; они похожи на потокъ, ежеминутно приносящій новую воду,—на Тезеевъ корабль, который афиняне безпрестанно чинили».—А. И. Г.

его мертвымъ; малѣйшее неравновѣсіе въ сложномъ химизмѣ крови— и живѳтное страдаетъ по своему нормальному состоянію, мучится и умираетъ, если не можетъ побѣдить, то есть возстановить норму. Страдательное, тяжелое бытіе тѣснитъ своей грубой опредѣленностью жизнь: жизнь камня—постоянный обморокъ; она тамъ свободнѣе, гдѣ ближе къ небытію; она слаба въ высшихъ проявленіяхъ, она тратитъ, такъ сказать, вещественность на достиженіе той высоты, на которой бытіе и небытіе примиряются, подчиняются высшему единству. Все прекрасное нѣжно, едва существуетъ; это—цвѣты, умирающіе отъ холоднаго вѣтра въ то время, какъ суровый стебель крѣпнетъ отъ него, но зато онъ и не благоухаетъ и не имѣетъ пестрыхъ лепестковъ; мгновенія блаженства едва мелькаютъ, но въ нихъ заключается цѣлая вѣчность... Возникновеніе, дѣятельный процессъ себяопредѣленія, его противоположные моменты (бытіе и небытіе) утрачиваютъ въ немъ свою мертвую косность, принадлежащую отвлеченному мышленію, а не дѣйствительному; какъ смерть не ведетъ къ чистому небытію, такъ и возникновеніе не берется изъ чистаго небытія,—возникаетъ бытіе опредѣленное изъ бытія опредѣленнаго, которое становится субстратомъ въ отношеніи къ высшему моменту. Возникнувшее не кичится тѣмъ, что *оно есть*: это слишкомъ бѣдно, это подразумѣвается; оно не выставляетъ истиной своей своего тождества съ собою, свое бытіе, а напротивъ, раскрываетъ себя процессомъ, низводящимъ свое бытіе на значеніе момента.

Гераклитъ понялъ, что истина есть именно существованіе двухъ противоположныхъ моментовъ; онъ понялъ, что они сами по себѣ не истинны и не возможны, что въ нихъ истинно одно стремленіе тотчасъ, перейти въ противоположное. Для него, жившаго за 500 лѣтъ до Р. Х., мысль эта была такъ ясна, что онъ не могъ въ существованіи, въ бытіи видѣть что-нибудь постоянное, кромѣ того начала, которое переходитъ въ многообразіе, и съ другой стороны, стремится изъ многообразія къ единству; онъ понялъ это, несмотря на то, что движеніе, собственно, было для него событіе неотразимое, событіе роковое; признавая его, онъ покорялся необходимости, отъ которой ключа у него не было. Отчего же *ученые* мужи нашего времени такъ удивились, такъ тупо не поняли, когда мысль Гераклита явилась не какъ гениальная догадка, а какъ послѣднее слово методы, проведенной строго, отчетливо, наукообразно? Выраженіе, что ли, крутое и отвлеченное: «бытіе есть небытіе» поразило или, можетъ быть, ихъ близость въ возникновеніи напугала? Но выраженіе, вырѣзанное изъ живого развитія, понять нельзя, особенно, когда не хотятъ ни знать путей,

ни сосредоточить на немъ всего вниманія. Безъ вниманія все нѣ ясно,— ни логики не поймешь, ни въ вистъ не выучишься играть. Практически мы именно гераклитовски смотримъ на вещи, только во всеобщей сферѣ мышленія не можемъ понять того, что дѣлаемъ. Не споконъ ли вѣка сознавали люди, что не мертвая косность сущаго предмета, не его тождество съ собою — полная истина его? Во всемъ живомъ, наприм., развѣ мы видимъ что-нибудь, кромѣ процесса вѣчнаго преображенія, живущаго, повидимому, въ одной перемѣнѣ? Кости—самое твердое бытіе организма, а мы ихъ даже живыми не считаемъ.

Мы замѣтили, что элеатики, принявъ за основаніе чистое бытіе, не имѣли смѣлости признаться, что оно тождественно небытію. Такъ и Гераклитъ, поставившій истиною сущаго начало движущее (сущность), не дошелъ до уничтоженія бытія въ силѣ; въ причинѣ движенія, въ субстанціи. Греки не распались такъ глубоко съ эмпирическимъ воззрѣніемъ: когда ихъ мысль приходитъ къ крайнимъ абстракціямъ, тотчасъ являются у нихъ изящные образы, фантастическія представленія, поддерживающія ихъ на берегу пропасти. Такъ, у Гераклита, вмѣсто послѣднихъ безжалостныхъ выводовъ субстанціального отношенія, вы встрѣчаете *время* и *огонь* наглядными представителями процесса движенія. Въ самомъ дѣлѣ, время—образъ безусловнаго возникновенія; сущность его состоитъ только въ томъ, чтобъ быть и вмѣстѣ съ тѣмъ не быть; во времени не прошедшее и будущее, а настоящее дѣйствительно; но оно существуетъ только для того, чтобъ не существовать; оно тотчасъ прошло, оно сейчасъ наступитъ, оно есть въ этомъ движеніи, какъ единство двухъ противоположныхъ моментовъ. Огонь въ природѣ соотвѣтствуетъ также превосходно его мысли: огонь сожигаетъ противоположное собою,—безусловное безпокойство, безусловное распушеніе существующаго, переходимость другою и самого себя. Гераклитъ вездѣ видитъ огонь; для него вода—потухшій огонь, земля—окрѣпнувшая вода; но земля снова распускается въ моряхъ, испаряется ими въ воздухъ, гдѣ воспламеняется и творитъ воду. Итакъ, вся природа—метаморфоза огня. Самыя звѣзды для Гераклита—не однажды конченныя мертвыя массы: «вода испаряется и осаждается темнымъ процессомъ и свѣтлымъ; темный даетъ землю, свѣтлый поднимается въ воздухъ, загорается въ солнечной атмосферѣ и производитъ метеоры, планеты и звѣзды»; итакъ, онѣ возникаютъ слѣдствіемъ того же живого взаимодѣйствія, движенія: «все расторгается внутреннею враждою и стремленіемъ къ высшему единству дружбы и гармоніи». «Вселенная—вѣчно живой огонь, душа ея—пламень, загорающійся и тухнущій по своему закону».

Итакъ, мало того, что онъ понялъ природу процессомъ,—онъ понялъ ее самодѣятельнымъ процессомъ. Однако, изъ этого движенія ничего не исторгается; нѣтъ единства, которое ставилось бы временнымъ круженіемъ и обличалось бы результатомъ его и его началомъ. Начало движенія у Гераклита—роковая, тягостная необходимость, выдерживающая себя въ многообразіи, неизвѣстно для чего втѣсняющая себя, какъ неотразимая сила, какъ событіе, но не какъ свободная, сознательная цѣль. Цѣли движенію вообще Гераклитъ не далъ; его движеніе конкретнѣе элеатическаго бытія, но оно абстрактно; оно громко требуетъ цѣли, постояннаго.

Прежде, нежели мы скажемъ, какое начало и какую цѣль движенію далъ Анаксагоръ, мы должны показать другой выходъ изъ чистаго бытія, прямо противоположный Гераклиту, по крайней мѣрѣ, по формальному выраженію, ибо, съ общей точки зрѣнія, атомизмъ, о которомъ мы говоримъ, представляетъ только дополняющій моментъ, необходимый и неминуемый динамизму. Атомизмъ и динамизмъ повторяютъ полярную борьбу бытія и небытія на болѣе опредѣленномъ и сжатомъ полѣ. Главная мысль атомизма состоитъ въ отрицаніи чистаго бытія въ пользу бытія опредѣленнаго; здѣсь не отвлеченное бытіе принимается за истину частностей, а частность, сама въ себѣ замкнутая, — за истину бытія: это—возвращеніе изъ сферы отвлеченной въ сферу конкретную, возвращеніе къ дѣйствительному, эмпирическому, существующему. Дѣйствительнымъ признается единичность, не отдающаяся на распушеніе въ абстрактныхъ категоріяхъ, протестующая противъ элеатическаго чистаго бытія во имя автономіи опредѣленнаго бытія; частное существуетъ для себя, и само есть подтвержденіе своей качественной и количественной дѣйствительности. Левкиппъ ¹⁾ и Демокритъ ²⁾ положили начало этому ученію; съ тѣхъ поръ оно шло постоянно по параллельной линіи съ главнымъ потокомъ науки, никогда не сближаясь съ нимъ ³⁾; оно твердо оперлось на вѣрное, хотя одностороннее, пониманіе природы и принесло большую пользу естествовѣдѣнію. Атомизмъ, основанный на признаніи частности, противопоставляетъ неоспоримую недѣлимость, личность, такъ сказать, каждой сущей точки единству бытія и движенія, объемлющему ихъ. Въ мысли все обобщается, въ природѣ все молекулярно, даже то, что намъ кажется совершенно не имѣющимъ частей и различія. Движеніе Гераклита покорено необходимости, т. е. фатализму; атомъ имѣетъ цѣль самъ въ себѣ, въ своемъ существованіи; онъ

1) Греческій философъ VI вѣка до Р. Х.

2) Греческій философъ V вѣка до Р. Х.

3) Развѣ только въ монадологіи Лейбница.—А. И. Г.

существуетъ для себя и достигаетъ своей сосредоточенности; атомизмъ выражаетъ повсюдный эгоизмъ природы; для него одно стремленіе существуетъ и истинно, это—стремленіе природы къ индивидуализаціи; она представляется ему безусловной разсыпчатостью, какъ она и есть; но онъ не видитъ, что высшая, сосредоточеннѣйшая личность (человѣкъ) и есть, несмотря на атомизмъ свой, всеобщая, родовая личность, что ея эгоизмъ, ея сосредоточенность есть вмѣстѣ съ тѣмъ и лучезарная любовь. Идеализмъ, съ своей стороны, не видитъ, что родъ, всеобщее, идея, дѣйствительно не могутъ быть безъ индивида, атома; пока идеализмъ не пойметъ этого, атомизмъ не сдастся ему; пока тотъ или другой будутъ хотѣть исключительнаго признанія, до тѣхъ поръ они останутся въ борьбѣ. Динамизмъ и атомизмъ принадлежатъ къ тѣмъ безвыходнымъ антиноміямъ не вполне развитой науки, которая намъ встрѣчаются на каждомъ шагу. Очевидно, что истина съ той и съ другой стороны; очевидно даже, что противоположныя возрѣнія почти одно и то же говорятъ,—у однихъ только истина поставлена на головѣ, а у другихъ на ногахъ; противорѣчіе выходитъ видимо непримиримое, а между тѣмъ такъ и тянетъ изъ одного момента въ другой; но истину, какъ единство односторонностей, какъ снятіе противорѣчія, не любятъ умы, хвастающіеся ясностью. Конечно, односторонность проще: чѣмъ бѣднѣйшую сторону предмета мы возьмемъ, тѣмъ она очевиднѣе, яснѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ не нужнѣе и бесполезнѣе: что можетъ быть очевиднѣе формулы $A=A$, и что можетъ быть пошлѣе? Возьмите простѣйшую формулу уравненія первой степени съ однимъ неизвѣстнымъ,—она будетъ гораздо сложнѣе, но зато въ ней заключается мысль, средство опредѣленія искомаго. Принимать ту или другую сторону въ антиноміяхъ совершенно ни на чемъ не основано; природа на каждомъ шагу учитъ насъ понимать прстивоположное въ сочетаніи; развѣ у ней безконечное отдѣлено отъ конечнаго, вѣчное отъ временнаго, единство отъ разнообразія? Строгое требованіе «того или другого» очень похоже на требованіе «кошелекъ или жизнь!». Храбрый человѣкъ смѣло отвѣтитъ: «ни того, ни другого, потому что нѣтъ необходимости для вашего каприза жертвовать тѣмъ или другимъ». Возвращаясь къ Левкиппу, замѣтимъ, что для него атомъ не былъ безразличною, мертвою точкой: онъ принималъ полярность недѣлимаго и пустоты (опять бытіе и небытіе) и взаимодѣйствіе атомовъ; тутъ онъ и его послѣдователи теряются во внѣшнихъ объясненіяхъ, принимаютъ случайность, соединявшую и разсторгавшую атомы; случайность дѣлается какой-то сокровенной силой, не удовлетворяющей требованіямъ ума.

Анаксагоръ поставилъ началомъ мысль. Разумъ, всеобщее дѣляется сущностью, дѣятельнымъ двигателемъ; *нусъ* — та дѣятельность, которая въ несовершенствѣ и безсознательно является природою, и которая во всей чистотѣ раскрывается въ сознаниі, въ мышленіи. Въ природѣ нусъ воплощается частностями, сущими во времени и пространствѣ; въ сознаниі онъ достигаетъ своей всеобщности и вѣчности. Анаксагоръ, «первый трезвый мыслитель», по выраженію Аристотеля, если не прямо высказалъ, что вселенная есть умъ, одѣйствованная вѣчнымъ прецессомъ, то онъ понялъ его самодвижущейся душою. Цѣль движенія: «исполнить все благое, заключенное въ душѣ». Замѣтимъ, такая цѣль не есть что-либо постороннее мысли; мы привыкли обыкновенно ставить цѣль съ одной стороны, а достигающаго съ другой; но цѣль, взятая во всеобщности, сама заключена въ достигающемъ, имъ одѣйствовывается, — существованіе предмета находится подъ вліяніемъ его цѣлесообразности: то исполнилось, что было; то развивается, что содержится. Живое сохраняется потому, что оно—само по себѣ цѣль; оно и не знаетъ о своихъ цѣляхъ, оно имѣетъ земныя стремленія и желанія; эти желанія его—твердыя цѣлесообразныя опредѣленія; какъ бы животное ни относилось къ окружающей средѣ, результатомъ ихъ столкновенія и взаимодействія будетъ животный организмъ: оно только себя производитъ. Въ цѣлесообразномъ движеніи результатъ есть начало, исполненіе предшествующаго. Такимъ началомъ принялъ Анаксагоръ разумъ, законъ и его положилъ въ основу бытію и движенію. Хотя онъ и не развилъ всего спекулятивнаго содержанія своего начала, но тѣмъ не менѣе шагъ, сдѣланный имъ для развитія мышленія, необъятенъ; его нусъ,—закрывающій въ возможности все благое, умъ, самосохраняющійся въ своемъ развитіи, имѣющій *во себѣ мѣру* (опредѣленіе),—торжественно воцаряется надъ бытіемъ и управляетъ движеніемъ. У іонійцевъ мы видѣли безусловнымъ началомъ сущее—эмпирическое бытіе, поставленное абсолютнымъ; потомъ оно опредѣлилось, какъ чистое бытіе, отвлеченное отъ сущаго, не эмпирическое, не реальное, а логическое, отвлеченное; далѣе, оно представляется, какъ движеніе, какъ полярный процессъ. Но такое движеніе могло быть безвыходнымъ круговоротомъ, безцѣльнымъ движеніемъ и болѣе ничего, безотраднымъ рядомъ возникновеній, перемѣнъ, перемѣнъ этихъ перемѣнъ, и такъ—въ безконечность. Анаксагоръ, ставя началомъ всеобщее, умъ внутри самаго существованія, бытія, движенія, находитъ міродержавную цѣль, какъ скрытую мысль всемірнаго процесса. Эта скрытая мысль бытія — та закваска, то начало броженія, движенія, безпокойства, возмущающаго и волнующаго бытіе для того, чтобъ сдѣлаться *от-*

крытою мыслью. Въ сознаниі мы опять встрѣчаемъ демоническое начало, присущее косной вещественности, которое дѣлается уже не демоническимъ, а разумнымъ, и это разумное обличается истинною, совершеніемъ бытія, небытія, движенія, возникновенія. Не надобно думать, что чрезъ это пожертвовано бытіе и что наука перешла въ сознание, какъ въ противоположный ему элементъ,—тогда всеобщее потеряло бы свое спекулятивное значеніе, сдѣлалось бы сухою абстракціею; такого рода идеалистическая односторонность принадлежитъ болѣе новой философіи, нежели древней. Гераклитъ и Анаксагоръ коснулись того предѣла, далѣе котораго греческая мысль не шла; они бѣдно и неполно усвоили мысли ту почву, тѣ основанія, на которыхъ гиганты греческой науки возростили свое воззрѣніе. Почва осталась; движеніе Гераклита и нусъ Анаксагора не исчерпали всего содержанія, но отъ нихъ не отречется Аристотель; совѣмъ напротивъ, они у него пойдутъ краугольными камнями колоссальнаго зданія, воздвигнутаго имъ. Нельзя не замѣтить строго-логической стройности историческаго мышленія у грековъ, у этихъ избранныхъ дѣтей человѣчества. Элеатическое воззрѣніе неминусемо вело къ Гераклитову движенію; его движеніе также неминусемо вело къ разумной субстанціи, къ цѣли; оно ставило вопросъ, и Анаксагоръ не замедлилъ дать отвѣтъ; вотъ это-то преемственное развитіе, идущее отъ одного самоопредѣленія истины къ другому въ органической связи и живомъ сочлененіи, называютъ безпорядочнымъ и произвольнымъ замѣненіемъ одного философскаго воззрѣнія другимъ!

Когда мысль человѣческая достигла до этой степени сознаниія и силы, когда она окрѣпла въ ней, узнала свою несокрушимую мощь, открылось въ греческомъ мірѣ зрѣлище блестящее, увлекательное, торжество юношескаго упоенія въ наукѣ. Я говорю объ оклеветанныхъ и не понятыхъ софистахъ. Софисты—пышные, великолѣпные цвѣты богатаго греческаго духа,—выразили собою періодъ юношеской самонадѣянности и удалства; вы въ нихъ видите человѣка, только что освободившагося изъ-подъ опеки и не получившаго еще опредѣленнаго назначенія; онъ предается всѣмъ сердцемъ чувству своей воли, своего совершеннолѣтія и въ этомъ увлеченіи свидѣтельствуетъ, что онъ еще не совершеннолѣтній; юноша созналъ ужасную власть, находящуюся въ его распоряженіяхъ; ничто не связываетъ его гордаго сознаниія, онъ играетъ своимъ достояніемъ, всѣмъ на свѣтѣ, т. е. всѣмъ важнымъ для обыкновеннаго собственника, и въ то время, какъ тотъ печально качаетъ головой, глядя на его расточительность, юноша презрительно смотритъ на него, держащагося за свои точимыя молью богатства; онъ понялъ

шаткость и несостоятельность всего окружающего; онъ опирается на одно—на свою мысль; это его копье, его щитъ: таковы софисты. Что за роскошь въ ихъ діалектикѣ! что за безпощадность! что за развязность! какая симпатія со всѣмъ человѣческимъ! Что за мастерское владѣніе мыслью и формальной логикой! Ихъ безконечные споры—эти безкровные турниры, гдѣ столько же граціи, сколько силы—были молодецкимъ гарцованьемъ на строгой аренѣ філософіи; это—удалая юность науки, ея майское утро. Сократъ и Платонъ были врагами софистовъ по праву; они, *съ ихъ точки зрѣнія*, отреклись отъ нихъ и повели мысль къ болѣе глубокому сознанию. Но порицатели софистовъ, изъ вѣка въ вѣкъ повторяющіе плоскія обвиненія, свидѣтельствуютъ только свою ограниченность и сухой прозаизмъ своего разсудка; они стоятъ на той узенькой точкѣ зрѣнія жанлисовской, не очень *нравственной* морали, которую такъ любили добрые аббаты-*деисты* начала прошлаго вѣка, тѣ самые, которые безпощадно журили Александра Великаго за пристрастіе къ горячительнымъ напиткамъ и Юлія Цезаря за пристрастіе къ властолюбивымъ мечтамъ. Съ этой точки зрѣнія, ни софистовъ, ни Александра Македонскаго оправдать нельзя,—но зачѣмъ же не предоставить ее исключительно исправительнымъ судамъ, занимающимся мелкими проступками и уличными беспорядками? зачѣмъ ее употреблять при обсуживаніи всемірно-историческихъ событій?.. Вмѣсто того, чтобъ останавливаться на опроверженіи обветшалыхъ и жалкихъ мнѣній, представимъ себѣ лучше эпоху появленія софистовъ въ Греціи.

Сущее оказалось не страшнымъ для мысли; оно уже двинулось и потекло по волѣ какой-то необъяснимой необходимости; раскрывается, что эта необходимость (цѣль ли, причина ли—все равно)—разумъ. Яркая мысль эта брошена отвлеченно, безъ содержанія, какъ безконечная форма, какъ личная догадка; но между тѣмъ за разумомъ признана власть безмѣрная. Все сущее, отдѣльное, частное для Анаксагора—моментъ; въ его нуסף теряется все опредѣленное, его сущность—сама негачія, какъ и быть должно; бытіе отразилось въ себѣ, отреклось отъ видоизмѣняющейся внѣшности и остановилось на сущности, какъ на истинѣ; сущность же опредѣлилась мыслью, и, слѣдственно, ей принадлежитъ безусловная власть отрицанія, власть разъѣдающей кислоты, которая все разложитъ, со всѣмъ соединится, чтобъ все улетучить; словомъ, мысль сознала себя могуществомъ, предъ которымъ исчезаетъ всякая состоятельность, не ею поставленная. Все твердое въ бытіи, въ понятіяхъ, въ правахъ, въ законахъ, въ повѣрьяхъ, — все начинаетъ колебаться и измѣнять себѣ; все, до чего касается горячая струя вѣющей

мысли, обличается шаткимъ и не самобытнымъ, и мысль, какъ геній смерти, какъ ангелъ истребленія, весело губить и ликуетъ на развалинахъ, не давъ себѣ времени подумать, чѣмъ ихъ замѣнить. Это-то раздолье негации, эту-то мысль, сокрушающую твердое, казнящую мнимое, выразили собою софисты. У нихъ была страшная откровенность и страшная многосторонность; они популярны, ринуты въ жизнь, не чужды всѣхъ вопросовъ площади и науки; они—ораторы, политическіе люди, народные учителя, метафизики; ихъ умъ былъ гибокъ и ловокъ, ихъ языкъ неустрашимъ и дерзокъ. Оттого смѣло и открыто высказали они то, что греки тайкомъ дѣлали въ практической жизни, тайкомъ даже отъ себя, боясь изслѣдовать, хорошо или нѣтъ такъ поступать, и не имѣя силы не поступать противно положительному закону. Софистовъ обвинили въ безнравственности, потому что они дали гласность сокрытому во тьмѣ, потому что они высказали семейную тайну греческой жизни. Въ практическихъ сферахъ, въ своихъ дѣйствіяхъ человѣкъ рѣдко такъ отвлеченъ, какъ въ образѣ мыслей, — тутъ онъ безсознательно многостороненъ, ибо онъ весь тутъ.

Грекъ времянь Перикла не могъ привольно жить въ тѣхъ нормахъ жизни, которыя ему были завѣщаны, какъ святое преданіе предковъ, какъ неизмѣнный бытъ для него; завѣщанная жизнь эта была, въ самомъ дѣлѣ, прелестна въ «Иліадѣ», въ Софокловыхъ трагедіяхъ, но они ее переросли вѣ головой, и грудью; они чувствовали это, но, по какому-то тайному соглашенію, не признавались въ этомъ: нарушая всякій день завѣщанный бытъ, они готовы были камнями побить того дерзновеннаго, который сказалъ бы слово противъ него, который назвалъ бы ихъ поступокъ и призналъ бы его не преступленіемъ. Это—одна изъ тѣхъ притворныхъ двуличностей, которыя человѣкъ дѣлаетъ безпрестанно, воображая, что это очень нравственно. Грекъ, признавая святость преданія на словахъ, освобождался отъ исполненія обязанностей на каждомъ шагу, но онъ дѣлаетъ это, какъ преступникъ, какъ возмутившійся рабъ—украдкой. Вся вина софистовъ и впоследствии Сократа состояла въ томъ, что они подняли въ сферу всеобщаго сознанія то, что каждый представлялъ себѣ, какъ частный случай и отступленіе; что они мыслью подтвердили фактъ нравственной свободы; что они трусость передъ гомерическимъ преданіемъ признали трусостью; они смѣло направили свою мысль противъ всего существовавшего и все подвергли разбору; ими наука съ той высоты, на которую достигла, оборотилась вдругъ назадъ ко всей ходячей суммѣ истинъ, принимаемыхъ и передаваемыхъ общественнымъ мнѣніемъ. Случилось то, чего можно было ожидать: язычество и все древне-эллиническое воз-

зрѣніе не вынесли ея медузина взгляда,—они сгорѣли отъ него; не громкій одимпійскій смѣхъ раздался тогда, а звонкій смѣхъ чело-вѣка, упоеннаго побѣдой. На первую минуту, софисты, можетъ быть, и увлеклись суетно сознаниемъ этой страшной мощи разума; они забылись за своей веселой сатурналіей, они тѣшили своей мощью,—это былъ моментъ поэтического наслажденія мышленіемъ; въ избыткѣ силъ они метали искры во всѣ стороны и радостно видѣли всю несостоятельность положительнаго, и не было препонъ ихъ игрѣ. Не будемъ сѣтовать на нихъ; скоро явится трагическое лицо въ исторіи разума и иное призванье мысли; онъ ¹⁾ обуздаетъ нравственнымъ началомъ разгульную мысль и обречетъ себя на великую жертву для великой побѣды... Софисты приготовили къ этому моменту своихъ согражданъ; они бросили свѣтъ мысли на всѣ отношенія людскія; ими наука открыто перешла въ жизнь, они научили чело-вѣка во всемъ опираться на одного себя, все относить къ себѣ, себя понимать самобытною точкою, около которой крутится въ вихрѣ видоизмѣненій все на свѣтѣ. Но во имя чего считать себя этимъ средоточіемъ? Вопросъ существенный и неминуемый; этого вопроса, прямо текущаго изъ ихъ началъ, софисты не рѣшили, т. е. не рѣшили тѣ софисты, которыхъ угодно исторіи такъ называть, ибо его-то и задалъ себѣ великій софистъ—Сократъ, стоявшій на одной точкѣ съ ними, но ушедшій далѣе, нежели всѣ они, объемомъ мысли и величіемъ характера. Это—не юноша въ разгулѣ, это—мужъ, остановившійся и ищущій опоры на всю жизнь, мужъ твердаго шага и удивительной мощи. Сократъ нанесъ существующему порядку въ Греціи тяжелѣйшій ударъ, нежели всѣ софисты; онъ дальше пошелъ, нежели они, и потому-то онъ и былъ ихъ врагомъ. Софисты—блестящая жиронда, а Сократъ—монтаньяръ, но монтаньяръ нравственный и чистый; софисты имѣли бездну личнаго, рассудочнаго въ своемъ воззрѣніи; у нихъ мысль не нашла еще себѣ твердой опоры (какъ всегда въ рефлексіи); они испытывали, такъ сказать, формальную власть мысли, они брались все доказы-вать, все оправдывать. Это ничего не значитъ: въ самомъ дурномъ поступкѣ есть возможность найти одну хорошую сторону,—но это недостаточно для оправданія и наводитъ только на то, что чисто-отвлеченныхъ поступковъ такъ же не бываетъ, какъ чисто-одно-стороннихъ событій. Истинно твердая основа лежитъ въ томъ объективномъ началѣ мышленія, которое софистамъ до Сократа не раскрывалось. Сократъ засталъ логическое развитіе на сознаниі несостоятельности внѣшняго противъ мысли и на признаніи чело-

¹⁾ Сократъ.—А. И. Г.

вѣка (какъ мыслящей личности) истиною. Но человѣкъ, какъ частная индивидуальность, гибнетъ, увлекая за собою мысль, Сократъ спасъ мысль и ея объективное значеніе отъ личнаго и, слѣдственно, случайнаго элемента. Онъ высказалъ сущностью не частное *я*, а всеобщее, какъ благое, въ себѣ почившее сознаниѣ, независимое отъ сущей дѣйствительности. Мысль Сократа точно такъ же ѣдка и точно такъ же разлагаетъ, какъ мысль Протагора, сказавшаго, что человѣкъ есть мѣрило всему, что въ немъ опредѣленіе, почему сущее существуетъ и не-сущее не существуетъ; но Сократъ сознаетъ въ общемъ движеніи и покойное начало; это начало—сущность вѣчно хранящаяся и опредѣляющаяся цѣлю,—есть *истинное и благое*. Это благое, эта существенная цѣль не существуетъ, какъ нѣчто готовое; человѣкъ долженъ создать себѣ свое вѣчное и непреходящее содержаніе, долженъ развить его сознаниемъ, для того, чтобъ быть свободному въ немъ. Итакъ, истина объективнаго развивается у Сократа мышленіемъ. Это—чиноположеніе безконечной субъективности человѣка и совершенной свободы самопознанія, тотъ великій камень, который Сократъ положилъ при закладкѣ великаго зданія, доселѣ не достроеннаго; камень этотъ—вмѣстѣ съ тѣмъ пограничный столбъ: одна половина его уже лежитъ не на эллинской почвѣ, принадлежитъ уже не древнему міру.

У Сократа нѣтъ системы, а есть метода; это какой-то живой, вѣчно дѣятельный органъ мышленія человѣческаго; его метода состоитъ въ развитіи самомышленія; съ какой стороны ни попался бы ему предметъ, онъ, начиная со всей односторонности общаго мѣста, дойдетъ до многостороннѣйшей истины и нигдѣ не теряетъ своихъ основныхъ мыслей, которыя проводитъ по всѣмъ областямъ, практическимъ и теоретическимъ. Человѣкъ долженъ изъ себя развить, въ себѣ найти, понять то, что составляетъ его назначеніе, его цѣль, конечную цѣль міра, онъ долженъ собою дойти до истины,—вотъ мѣта, къ которой Сократъ достигаетъ во всемъ. При этомъ по дорогѣ само собою обличается, что по мѣрѣ того, какъ мышленіе достигаетъ внутренней объективности, случайное, личное гибнетъ и теряется; истина дѣлается вѣчно чинопологаемымъ мышленіемъ. Всѣ его разговоры—безпрерывная борьба съ существующимъ; онъ возсталъ противъ свято хранимыхъ аѳинскихъ преданій во имя другого святого права, права вѣчной нравственности, автономіи мышленія; онъ научилъ опасаться готовыхъ мнѣній, истинъ, полагаемыхъ за извѣстное, о которыхъ и не говорятъ, какъ о давно знаемомъ, и на которыя каждый смотритъ по-своему, воображая, что его мнѣніе и есть всеобщее; онъ осмѣлился поставить истину выше Аѳинъ, разумъ—выше узкой національности; онъ относительно Аѳинъ

сталъ такъ, какъ Петръ I относительно Руси. Торжественнѣйшая сторона Сократа—онъ самъ: его величавое, трагическое лицо, его практическая дѣятельность, его смерть; онъ—типъ и представитель той слитности въ древней жизни, о которой мы упоминали нѣсколько разъ,—человѣкъ, живущій безпрестанно въ общественномъ разговорѣ, художникъ, воинъ, судья, участникъ во всѣхъ теоретическихъ и практическихъ вопросахъ своего вѣка и вездѣ ясный, равный себѣ, вездѣ жаждущій блага и все покоряющій разуму, т. е. все освобождающій въ нравственномъ сознаниі.

Тогда наука черпалась изъ жизни и тотчасъ погружалась въ нее. Дѣятельность философа въ Греціи не ограничивалась школой, въ стѣнахъ которой могутъ цѣлые вѣка длиться споры прежде, нежели кто-нибудь услышитъ ихъ за стѣною,—тамъ философъ былъ, по превосходству, учитель народа, совѣтатель его. Эмпедоклу ¹⁾ и Гераклиту предлагали корону; Зенонъ ²⁾ погибъ въ геройской борьбѣ; уваженіе къ Пивагору доводило до поклоненія; Периклъ ходилъ по площади аѣинской съ своею женою, вымаливая прощеніе Анаксагору; Филиппъ Македонскій благословлялъ судьбу, что сынъ его родился во время Аристотеля; Платона аѣиняне называли божественнымъ. Философы древняго міра тогда стали отходить отъ дѣлъ площади, когда съ скорбнымъ взглядомъ разглядѣли смертельную болѣзнь, пожиравшую древній порядокъ вещей. И потому Сократъ былъ столько же государственное лицо, сколько мыслитель, и судился, какъ гражданинъ, имѣвшій огромное вліяніе и отрицавшій неприкосновенную основу аѣинской жизни на основаніи права изслѣдованія; въ этомъ вся трагическая судьба Сократа (и онъ самъ ее понималъ превосходно, какъ доказываютъ его разговоры въ тюрьмѣ, изъ которой онъ *не хотѣлъ* бѣжать), что онъ вмѣстѣ праведникъ въ глазахъ человѣчества и преступникъ въ глазахъ Аѣинъ. Изъ этого противорѣчія, столь рѣзкаго и громкаго, ясно виднѣется, что греческая жизнь начинала тогда разлагаться подъ бременемъ своей односторонности; національное не было уже современно, если судъ народный могъ быть прямо противоположенъ суду разума. Оттого-то Сократъ и вышелъ противъ Аѣинъ, оттого-то и спасти нельзя было ихъ казнью его; напротивъ, ею признали его побѣду. Аѣиняне вскорѣ сами увидѣли это; слѣпые гонители всегда догадываются на другой день казни, что она вредна.

Переворотъ, сдѣланный Сократомъ въ мышленіи, состоялъ

¹⁾ Греческій медикъ и философъ V вѣка до Р. X.

²⁾ Греческій философъ V вѣка до Р. X.

именно въ томъ, что мысль стала сама по себѣ предметомъ; съ него начинается сознание, что истина не есть сущность *такъ, какъ она есть сама по себѣ, а такъ, какъ она въ сознаниі; истина есть узнанная сущность*. Обратите все вниманіе ваше на это: *c'est le mot de l'énigme* ¹⁾ всей философіи. Мысль послѣ Сократа болѣе сосредоточивается, углубляется въ себя для того, чтобъ сознательно развить единство себя и своего предмета; природа перестаетъ быть *независимою* отъ мысли. Такъ далеко, впрочемъ, взгляды самого Сократа не простирались: одна изъ односторонностей его, особенно бросающихся въ глаза въ эллинскомъ мірѣ, состояла въ пренебреженіи ко всему внѣ философіи и особенно къ естествовѣдѣнію. Сократъ повторялъ часто,—а за нимъ выраженіе это обратилось въ поговорку,—что все его знаніе состоитъ въ томъ, что онъ ничего не знаетъ, и былъ правъ: мощной діалектикой онъ распустилъ все достояніе преемственно-образовавшихся мнѣній, слывшихъ за знаніе; это—отрицательное освобожденіе мысли отъ сущаго содержанія, а еще не истинное содержаніе ея; онъ узналъ въ сознаниі и мысли живую форму истины, но она не имѣла еще у него дѣйствительнаго наполненія. Прошедшее было имъ побѣждено, но на свѣжей могилѣ его не успѣло развиться новое, хотя колыбель его и была готова. Отъ этого-то и непонятное появленіе *демона* у Сократа; онъ является, вызываемый неполнотою его воззрѣнія; при дѣйствительной полнотѣ содержанія демона было бы не нужно,—ему не было бы мѣста ²⁾).

Односторонность Сократа не восполнилась его первыми послѣдователями; не мегарскую школу, не киренаиковъ звала его великая тѣнь: она вызывала изящный, свѣтлый образъ Платона, и онъ явился, наконецъ, совершителемъ Сократовыхъ начинаній.

Сократъ, провозглашая право самостоятельнаго разума, принималъ его сущностью и цѣлью самознающей воли; Платонъ съ самаго начала полагаетъ мысль сущностью вселенной и стремится покорить ей все сущее,—можетъ быть, болѣе, чѣмъ нужно... Я сказалъ выше, что камень, положенный Сократомъ, выходилъ одной

¹⁾ Это—разгадка.

²⁾ Аристотель съ удивительною проницательностью указалъ на абстрактность Сократа. «Сократъ лучше Пифагора говорить о добродѣтели, но не правъ: онъ считаетъ добродѣтель знаніемъ. Всякое знаніе имѣетъ логосъ (разумное основаніе), логосъ же только въ мышленіи; онъ всѣ добродѣтели полагаетъ въ вѣдѣніи и снимаетъ *алошческую сторону души*, именно—страстность, чувства, характеръ: добродѣтель не есть наука; Сократъ сдѣлалъ изъ добродѣтели логосъ, мы же говоримъ: она съ логосомъ! Она не вѣдѣніе, но и не можетъ быть безъ вѣдѣнія». Аристотель опредѣлилъ добродѣтель «единствомъ разума съ неразумностью».—А. И. Г.

стороной изъ древняго міра; еще болѣе должно разумѣть это о Платоновомъ воззрѣніи: въ немъ является впервые то, что мы называемъ *романтическииъ* элементомъ; онъ былъ поэтъ-идеалистъ; въ немъ видна та струя, которая, при извѣстныхъ условіяхъ, неминуемо должна была развиться въ неоплатонизмъ александрійскій. Платонъ считалъ духовный міръ науки единственно истиннымъ, въ противоположность призрачному міру сущаго; міръ этотъ раскрывается человѣку мышленіемъ, которое рядомъ *воспоминаній* будитъ и развиваетъ истину, уснувшую и забытую въ душѣ, преданной тѣлесному бытію. Однажды приведенный въ сознаніе, проснувшійся идеальный міръ оказывается истиною міра реальнаго, его совершеніемъ, и пребываетъ въ величавомъ покоѣ, отрѣшившись отъ суеты временнаго бытія и сохраняя его въ себѣ снятымъ; такъ, родъ—истина недѣлимыхъ, всеобщее—истина частнаго, такъ, идея—истина вселенной. Платонъ находитъ временное, тѣлесное бытіе *преградой* безусловному знанію; говоря это, онъ, кажется, забываетъ, что съ тѣмъ вмѣстѣ оно есть и неминуемое условіе бытія и знанія. Но не подумайте, что этотъ романтическій элементъ или, лучше выразиться, элементъ, имѣющій въ себѣ нѣчто романтическое, есть исчерпывающее опредѣленіе Платоновой мысли,—далеко нѣтъ! Вспомните лучше, что древніе называли его творцомъ діалектики: вотъ гдѣ его сила и мощь, вотъ чѣмъ дошелъ онъ до глубокомысленной спекуляціи своей, которая во всемъ сохранила долю идеализма, какъ печать его личности и личности возникавшей эпохи, но не стѣснила имъ мощной, свободной мысли. Платона многіе сравниваютъ съ Шеллингомъ; мы сами это сдѣлали въ первомъ письмѣ, и, точно, поэтическая мысль Платона, любившая облекаться въ роскошныя ризы аллегорій и миѳовъ, имѣетъ наибольше сродства въ новомъ мірѣ съ Шеллинговымъ поэтическимъ провидѣніемъ истины и его страстнымъ придыханіемъ къ ней; но у Платона передъ нимъ необъятный шагъ: это—его изумительная, всепокоряющая діалектика, еще болѣе,—сознаніе полное, отчетливое діалектической методы и вообще логическаго движенія. Шеллингъ готовое содержаніе своей мысли излагаетъ въ схоластической формѣ; Платонъ въ разговорахъ своихъ діалектикой достигаетъ до истины: у него истина неотъемлема отъ методы.

Онъ самъ превосходно изложилъ въ своей книгѣ «О Республикѣ» развитіе знанія. Начальная степень, или точка отправленія, логическаго движенія составляетъ у него непосредственное воззрѣніе, чувственная сознательность, переходящая въ чувственное представленіе, въ то, что называется *мнѣніемъ*; вторая степень знанія между мнѣніемъ и наукой, это—сфера рассуждающаго по-

знанія, разсудка, рефлексіи, достиженіе общихъ и отвлеченныхъ началъ, принятіе гипотезъ, произвольныхъ объясненій (въ этомъ моментѣ находятся всѣ физическія и вообще положительныя науки въ наше время). Отсюда начинается, собственно, наукообразное знаніе; но тутъ оно еще не можетъ быть достигнуто: разсудочныя науки *никогда не достигаютъ* діалектической ясности, ибо, говоритъ Платонъ, онѣ идутъ отъ гипотезъ и не восходятъ въ своемъ разсматриваніи до безусловнаго начала, но разсуждаютъ, основываясь на предположеніяхъ; у нихъ, кажется, мысль не въ предметѣ ихъ, а то бы ихъ предметы сами были мысли. Способъ геометріи и близкихъ ей наукъ называетъ онъ разсудочнымъ и полагаетъ, что разсужденіе находится между разумнымъ и чувственнымъ созерцаніемъ. Наконецъ, третья степень у него—мышленіе само въ себѣ, понимающее мышленіе; оно принимаетъ предположенія не за начало, а за точку отправленія, отъ которыхъ идутъ пути къ началу, не имѣющему никакихъ предположеній. Платонъ эту степень называетъ діалектикой. Въ обыкновенномъ сознаніи нашемъ, непосредственно дѣйствительнымъ считается данное чувственнымъ созерцаніемъ и разсудочныя опредѣленія этого даннаго; Платонъ вездѣ, во всѣхъ разговорахъ стремится раскрыть недѣйствительность и несущественность одного чувственнаго и разсудочнаго, несостоятельность ихъ противъ умозрительнаго и идеальнаго. Въ этихъ борьбахъ вы видите, что огонь негачи обращался и въ его жилахъ, что наслѣдіе софистовъ оставалось и въ его душѣ, и не только оставалось, а выросло въ гигантскую силу; но характеръ его генія не былъ отвлеченно-разрушающій, совсѣмъ напротивъ,—примиряющій. Онъ исторгаетъ изъ преходящаго непреходящее, изъ частнаго всеобщее, изъ недѣлимыхъ родъ, не для того только, чтобъ, указавъ дѣйствительность и истину всеобщаго надъ частнымъ, разбить его ими и уничтожить индивидуальное, сущее, частное—нѣтъ, онъ исторгаетъ родовое для того, чтобъ спасти его отъ круговорота временнаго существованія, еще болѣе,—сдѣлать то, чего природа не можетъ сдѣлать безъ мысли человѣческой,—примирить ихъ. Здѣсь Платонъ—спекулятивный философъ, а не романтикъ. Всеобщее, родовое, схваченное въ мысли, Платонъ называетъ идеей; достигая до нея, онъ стремится ей дать опредѣленіе, и здѣсь его діалектика дѣлается примирительницей, въ самой себѣ снимаетъ противорѣчія, указанныя ею. Опредѣленность идеи состоитъ въ томъ, что единое остается самимъ собою въ многообразіи; чувственное, многообразное, конечное, относительно-существующее для другихъ не есть истинное: оно—не разрѣшенное противорѣчіе, разрѣшающееся только въ идеѣ; но идея не внѣ предмета: она—

то, что стремится къ себяопредѣленію различіями, и то, что пребываетъ свободнымъ и единымъ въ этомъ различіи. «Трудное и истинное,—говоритъ Платонъ,—состоитъ въ томъ, чтобъ показать въ другомъ то же самое и въ томъ же самомъ другое, и притомъ такъ, чтобъ оно въ отношеніи къ другому было то же самое». Великая мысль! А подумайте, какими свистками толпа приняла бы мыслителя, который явился бы въ наше время съ такою странною рѣчью для обыкновеннаго сознанія...

Уваженіе, хранящееся изъ вѣка въ вѣкъ къ древнимъ философамъ, основано на томъ, что ихъ никто не читаетъ; если-бъ добрые люди когда-нибудь ихъ развернули, они убѣдились бы, что Платонъ и Аристотель точно такіе же были поврежденные, какъ Спиноза и Гегель, говорили темнымъ языкомъ и притомъ нелѣпости. Большинство нашего времени (я разумѣю сознающихъ себя грамотѣями) такъ отвыкло или такъ не привыкло къ опредѣленіямъ мысли, что оно, только бессознательно употребляя ихъ, не возмущается. Намъ не удивляетъ, напримѣръ, что человѣкъ въ фізіологическомъ отношеніи—недѣлимое, цѣлостъ, атомъ, а въ анатомическомъ—многочисленная куча самыхъ разнообразныхъ частей; что тѣло наше—вмѣстѣ и наше «я», и наше другое; никого не удивляетъ процессъ возникновенія, непрерывно совершающійся около насъ,—эта глухая борьба бытія съ небытіемъ, безъ которой было бы одно безразличіе; никого не удивляетъ эта вѣчность мимолетнаго, которою мы окружены. Назовите то, что добрые люди видятъ и чувствуютъ ежедневно, словами,—они не поймутъ васъ и никогда не узнаютъ въ вашихъ словахъ близкихъ знакомыхъ. Я увѣренъ, что многіе были бы глубоко скандализованы, узнавъ послѣдніе выводы, до которыхъ Платонъ вездѣ пробивается, вооруженный своей безпощадной діалектикой и своимъ гениемъ, глубоко раскрывающимъ сокровенную истину. Для Платона безусловное то, что разомъ конечно и безконечно; мощное, полное силы и духа то, что *можетъ вынести въ себѣ* противоположное; тѣло (само по себѣ) гибнетъ, встрѣчая противодѣйствіе, но духъ можетъ сдерживать всякое противорѣчіе; онъ живетъ въ немъ, онъ безъ него отвлеченъ; одно безконечное само по себѣ (и это прямо высказалъ Платонъ) ниже ограниченнаго и конечнаго, потому что оно неопредѣленно. Конечное имѣетъ цѣль и мѣру, а безконечно отвлеченное бытіе, опредѣленное—не есть *только* внѣшнее, но именно единое въ многообразіи; оно одно дѣйствительно, и, приходя въ сознаніе, оно возвышается надъ конечнымъ и даетъ среду вѣчнаго успокоенія и созерцанія, далѣе котораго Платонова мысль не идетъ или изъ котораго она не хочетъ выйти. Въ этомъ послѣднемъ

словѣ Платона, въ этомъ царствѣ почившей и себя созерцающей идеи,—все прекрасное и все одностороннее его воззрѣнія. Онъ и въ историческомъ отношеніи къ своимъ предшественникамъ представляетъ свѣтлое и покойное море, въ которое всѣ они влекутъ воды свои; онъ исполняетъ, такъ сказать, ихъ судьбу, успокаиваетъ ихъ въ обширныхъ объятіяхъ своихъ. Парменидъ, Гераклитъ, Пифагоръ, Анаксагоръ, софисты, Сократъ равно нашли мѣсто въ Платоновой мысли, и между тѣмъ его мысль была *его* мысль. Рѣки потерялись въ морѣ, хотя онѣ въ немъ и хотя его не было бы безъ нихъ. Но продолжимъ сравненіе: море это безконечно широко, берега исчезаютъ,—въ этомъ-то вся бѣда; вода и воздухъ—такія стихіи, въ которыхъ для человѣка чего-то недостаетъ: онъ любитъ землю, разнообразіе жизни, а не стихійную безконечность, которая поражаетъ, долго поражаетъ, но при которой остаться нельзя. Въ этой ширинѣ, теряющей берега, сила Платона, но онъ успокоился въ блаженствѣ созерцанія и думалъ забыть ихъ... Думалъ! А фантастическіе образы и представленія, втѣсняющіеся въ душу его, врывающіеся въ его діалектику, выказывающіе страстные черты свои въ покойныхъ волнахъ чистаго мышленія,—зачѣмъ они? Какая діалектическая необходимость въ нихъ? Не по логической необходимости всплывали они въ душѣ Платона, такъ, какъ не по ней являлся демонъ Сократа; они являлись въ замѣну утраченнаго временнаго, они носили тотъ ликъ красоты, котораго не имѣетъ отвлеченная мысль и который дорогъ человѣку; они ими нарушили величавое спокойствіе чистаго мышленія, и Платонъ радовался этому нарушенію такъ, какъ облака веселятъ мореходца, прерывая спокойную и вѣчно нѣмую лазурь.

Воззрѣніе Платона на природу было больше поэтико-созерцательное, нежели спекулятивно-научнообразное. Онъ начинаетъ съ представленій (въ «Тимеевѣ»); деміургъ приводитъ въ порядокъ и устройство хаотическое вещество, онъ оживляетъ его, даетъ ему міровую душу: «желая сдѣлать міръ подобнымъ себѣ, деміургъ въ средоточіи міра постановилъ душу міра, проникнувшую всюду» ¹⁾.

¹⁾ Кстати упомянуть здѣсь о богопознаніи древняго міра: это—слабѣйшая сторона его философіи; не даромъ нео-платоники бросили всѣ прежніе вопросы и занялись преимущественно теодицеей. Язычскій міръ былъ въ этомъ отношеніи чрезвычайно непослѣдователенъ; при представленіяхъ политеизма мыслящему человѣку остановиться было невозможно; нельзя было, въ самомъ дѣлѣ, удовлетвориться Олимпомъ и добрыми греками, жившими на немъ. Ксенофанъ-элеатикъ ⁹⁾ говоритъ: «еслибъ быки и львы имѣли руки, они непремѣнно ваяли бы своихъ боговъ такъ, какъ мы, бравъ образецъ съ себя». Но, отставъ отъ традиціонныхъ представленій, греки не могли сладить философскаго пониманія съ религіознымъ, ни разомъ по-

Вселенная для Платона—единое, одушевленное и умное животное: «животное это одно; если-бъ ихъ было два или нѣсколько, то они имѣли бы между собою соотношеніе, были бы части и составили бы опять одно». Первоначальными стихіями Платонъ принимаетъ огонь и землю: «между ними (какъ совершенными противоположностями) должна быть связь, ихъ соединяющая, но изящнѣйшая изъ всѣхъ связей—та, которая себя и то, что ея соединяется, связуетъ въ одно высшее единство (какъ напримѣръ, мозаичное заключеніе)». Вы видите, что эта высокая мысль о связи заключаетъ въ себѣ уже возможность развиться въ понятіе, въ идею и субъективность. Эта мысль Платона (какъ и многія другія его мысли и мысли его сподвижниковъ) до нашего времени повторялась бесплодно и не была, кажется, никѣмъ оцѣнена. Физическій міръ имѣетъ своими крайними опредѣленіями твердое и живое (землю и огонь): «твердому нужны двѣ среды, ибо оно имѣетъ не только ширину, но и глубину; потому демиургъ постановилъ между землею и огнемъ воздухъ и воду и притомъ такъ, что огонь относится къ воздуху такъ, какъ воздухъ къ водѣ, а вода къ землѣ». Эта двойственность среды даетъ Платону основнымъ числомъ всего естественнаго *четыре*,—то самое число, которое у пифагорейцевъ считалось дѣйствительно полнымъ. Разумное заключеніе, силлогизмъ имѣетъ въ себѣ три момента, именно потому, что среда, расходящаяся въ природѣ, сливается въ разумномъ единствѣ; примирительная среда въ природѣ двойственна; она представляетъ противорѣчіе такъ, какъ оно есть въ природѣ,—не примиреннымъ. «Вселенная шарообразна; элементы, ее составляющіе, даны ей богами

жертвовать язычествомъ; они могли жить, оставаясь при неопредѣленномъ, шаткомъ, колеблющемся приниманіи язычества суррогатомъ мысли; оттого ни нусъ, ни душа міра, ни демиургъ, ни самая энтелехія Аристотеля не удовлетворяютъ ихъ вполне. У нихъ религія является всякій разъ случайно, *deus ex machina*; они вдругъ дѣлаютъ скачокъ отъ чистаго мышленія въ религиозное представленіе, оставляя ихъ во всемъ непримиримомъ противорѣчии. Тутъ одинъ изъ предѣловъ греческаго воззрѣнія; не ждите полного отвѣта о божественномъ отъ язычника: признаетъ ли онъ, отвергаетъ ли,—онъ въ обоихъ случаяхъ неправъ. Цицерону приходила въ голову мысль формально примирить древнюю религію съ философіей; интересы его были и не религиозные, и не философскіе,—онъ былъ государственный человѣкъ и для общественной пользы писалъ прозаическіе трактаты *de natura deorum*⁹⁹⁾ и безъ всякой пользы излагалъ въ Дюсисовскомъ⁹⁹⁹⁾ переводѣ великую науку грековъ.—А И. Г.

⁹⁹⁾ Греческій философъ VI вѣка до Р. Х.

⁹⁹⁹⁾ О природѣ боговъ.

⁹⁹⁹⁹⁾ Жанъ-Франсуа Дюсисъ, франц. поэтъ и переводчикъ.

въ такой соразмѣрности, что она никогда не можетъ выйти изъ своего равновѣсія. Сфероидальность ея заключаетъ въ себѣ всѣ формы; она гладка, ибо ничѣмъ не выходитъ изъ себя, не имѣетъ *отличія отъ другою*. Имѣтъ внѣшнее различіе—характеръ конечнаго: внѣшность не для себя, а для другого предмета; вселенная же—всѣ предметы; такъ въ идеѣ есть опредѣлительность, расчлененіе, ограниченіе и инобытіе; но вмѣстѣ съ тѣмъ все это въ ней распушено, снято единствомъ и потому остается такимъ различіемъ, которое не выходитъ изъ себя. «Богъ сочеталъ взятое отъ сущности, вѣчно тождественной съ собою, недѣлимой, со взятымъ отъ сущности тѣлесной и дѣлимой; въ этомъ сочетаніи соединилась природа, себѣ тождественная *съ друимъ*, съ природой себѣ-различной, и это сочетаніе—живую душу—поставилъ онъ соединяющей средою между расторгеннымъ». Обратите вниманіе на выраженіе Платона: *съ друимъ*; онъ не называетъ, чему оно другое, и въ этомъ-то глубокий спекулятивный смыслъ его выраженія; это другое не по сравненію, а *само по себѣ*. Эти три сущности обнявъ онъ еще высшимъ единствомъ, въ которомъ онѣ сохранили свое различіе, пребывая тождественными въ идеѣ. Царство идеи стоитъ въ своей вѣчности недосыгаемымъ идеаломъ стремящемуся міру; оно имѣетъ образъ или отпечатокъ свой въ мірѣ конечномъ и отданномъ времени, но этотъ исторгающійся чрезъ временное къ вѣчности міръ, въ свою очередь, имѣетъ въ противоположность себѣ еще другой, которому переходимость и измѣняемость—сущность. Итакъ, вѣчный міръ, постановленный во времени, осуществляется двумя формами въ мірѣ примиренія съ собою и въ мірѣ блуждающаго себѣ-различія.

Мы имѣемъ изъ всего этого три опредѣленные момента: во-первыхъ, аморфизмъ,—безвидность, готовая принять всякій видъ, вещество, матерія, среда воспринимающая, питающая, всеобщая кормилица, собою выкармливающая питомца для самобытнаго бытія; ею одѣйствовворяется форма, она сама переходитъ въ нее, это—страдательная матерія, всему дающая состоятельность. При ея помощи возникаютъ явленія внѣшняго бытія, единичности, въ которыхъ двойство непримиримо; но то, что проявляется, не есть уже чисто-матеріальное, а всеобщее, идеальное... Разсматривая природу, Платонъ не смѣшиваетъ въ ней двухъ началъ: «необходимаго и божественнаго», соподчиненнаго и царящаго, основаннаго на взаимодействіи и на себѣ самомъ; безъ необходимаго нельзя подняться къ божественному—въ этомъ его видимое значеніе, но автономія божественнаго въ немъ самомъ. Такъ, онъ и въ человѣкѣ различаетъ принадлежащее (божественное) его безсмертной душѣ отъ

принадлежащаго его смертной душѣ (необходимое); всѣ страсти принадлежатъ душѣ смертной, и для того, «чтобъ она не возмутила ими душу божественную, Богъ отдѣлилъ ее выей отъ бессмертной души, этимъ дѣлителемъ груди и головы». Сердцу онъ приобщилъ легкія, безкровныя, мягкія, чтобъ облегчить его, когда оно обнимается пламенемъ ярости; легкія ноздреваты, какъ губка, такъ устроены, чтобъ вбирать въ себя воздухъ и влагу и охлаждать ими жгучій зной сердца. Распространяясь далѣе объ устройствѣ тѣла, Платонъ говоритъ о печени ¹⁾: «Неразумная сторона души разума не слушаетъ; для того создана печень, воспринимающая нисходящую силу разума и отражающая, подобно зеркалу, вмѣсто первообразовъ призраки и страшныя тѣни; цѣль этихъ видѣній та, чтобъ неразумную сторону человѣка сдѣлать чрезъ посредство сна соучастницей вѣдѣнія. Подобно сему боги дали душѣ возможность волхвованія и прорицаній; что волхвованіе и предсказываніе дано именно неразумной сторонѣ души, ясно видно изъ того, что ни одинъ человѣкъ, обладающій совершенно умомъ, не предсказываетъ, а дѣлаютъ это люди или въ состояніи сна или когда болѣзнями и восторженностію человѣкъ выводится изъ обыкновеннаго состоянія. При прорицаніяхъ надобенъ сознательный умъ другого, чтобъ понять высказанное, ибо бредящій не понимаетъ своего бреда. Прежніе мыслители справедливо говорили, что дѣяніе и сознание принадлежатъ только разсуждающему человѣку». Я не могъ удержаться, чтобъ не выписать этого мѣста. Какой глубокой тактъ истины руководилъ мысль древнихъ философовъ! Вы видите здѣсь, что Платонъ ясно и отчетливо понималъ, что нормальное состояніе тѣлесно и духовно здороваго человѣка несравненно выше, нежели всякое аномальное, каталептическое, магнетическое сознаніе. Въ наше время вы встрѣтите множество людей, придающихъ себѣ видъ глубокомыслія и притомъ убѣжденныхъ, что ясновидѣніе выше, чище, духовнѣе простаго и обыкновеннаго обладанія своими умственными способностями, такъ, какъ найдете мудрецовъ, считающихъ высшей истиной то, чего словами выразить нельзя, что, слѣдовательно, до того лично, случайно, что утрачивается при обобщеніи словомъ.

Воззрѣніе Платона на природу не можетъ, впрочемъ, быть общимъ представителемъ древняго воззрѣнія на естествовѣдѣніе; его стремленіе къ покоящейся идеѣ, въ которой временное по-

¹⁾ Древніе придавали печени довольно странное фізіологическое значеніе: они ее считали источникомъ сновъ, вѣроятно, основываясь на изобилии крови въ этомъ органѣ. Здѣсь дѣло идетъ вовсе не о мнѣніи Платона о печени, а о томъ, что онъ говорилъ по ея поводу.—А. И. Г.

тухло, романтическая струна, звучащая въ его душѣ, его близость къ Сократу,—все это вмѣстѣ препятствовало ему остановиться долго на природѣ. Поэтому, опредѣливъ самымъ общимъ образомъ моментъ, выраженный Платономъ, мы перейдемъ къ послѣднему и полнѣйшему представителю эллинской науки.

Аристотель—въ высшемъ смыслѣ слова эмпирикъ; онъ все беретъ изъ подлежащей, окружающей его среды, беретъ, какъ частное, беретъ такъ, какъ оно есть; но однажды взятое изъ опыта не ускользаетъ изъ мощной десницы его; взятое имъ не сохранить своей самобытности, какъ противорѣчіе мысли; онъ не оставляетъ предмета до тѣхъ поръ, пока не выпытаетъ всѣ его опредѣленія, пока сокровенная сущность его не раскроется свѣтлой, ясной мыслью, а посему эмпирикъ Аристотель съ тѣмъ вмѣстѣ—въ высочайшей степени спекулятивный мыслитель. Гегель замѣтилъ, что *эмпирическое, взятое въ своемъ синтезѣ, есть само спекулятивное понятіе*: вотъ до этого пониманія и добивается современная наука. Но понятіе не прежде раскрывается, какъ перейдя весь путь мысли, —и Аристотель всѣ предметы, подвергавшіеся страшной разлагательной силѣ его, прогналъ по немъ или, говоря языкомъ старой химіи, сублимировалъ ихъ въ мысль. Аристотель начинаетъ съ эмпирическаго даннаго, съ неотразимаго фактическаго событія, — это его точка отправленія; не причина, а начало (initium), первое предшествующее и, какъ первое, оно у него необходимо, неминуемо; это эмпирическое онъ увлекаетъ въ процессъ мышленія, расплавляетъ его огнемъ своего анализа и возводитъ съ собою на вершину самосознанія; для него нѣтъ косныхъ опредѣленій, нѣтъ ничего неподвижнаго, твердаго, почившаго, нѣтъ мертвыхъ философемъ; онъ бѣжитъ покоя, а не жаждетъ его,—въ этомъ-то и состоитъ его шагъ впередъ отъ Платона. Идея не могла навсегда остаться лазурью, успокоившейся отъ тревоженій временнаго,—созерцаніемъ, находящимъ свое блаженство въ отсутствіи или нѣмотѣ всего частнаго. Несмотря на свой квіетическій характеръ у Платона, она въ сущности готова была раскрыться дальнѣйшими самоопредѣленіями, но еще покоилась; Аристотель ринулъ ее въ дѣятельный процессъ, и все твердое или казавшееся твердымъ увлеклось міровымъ движеніемъ, ожило, снова возвратилось къ временному, не утративъ вѣчнаго. Идея *по себѣ* въ своей всеобщности еще не дѣйствительна, она—*только* всеобщность, предположеніе дѣйствительности, заключеніе ея, если хотите, но не сама дѣйствительность. Идея, исторгнувшаяся изъ круговорота дѣятельности, помимо его, представляетъ нѣчто недостаточное, косное и лѣнливое: одна дѣятельность даетъ полную жизнь, но она не легко уловима; по-

нимать всеобщее отвлеченнымъ несравненно легче; движеніе сложно само по себѣ, оно раздвоено, распадается на два противоположные момента; оно понятно одному сильному, быстрому вниманію, его надобно ловить на лету; отвлеченное покойно, покорно разсудку; оно не торопитъ, какъ все мертвое. Гамлетъ справедливо увѣрялъ короля, что некуда торопиться къ трупу Полонія, что онъ подождетъ; мертвая абстракція существуетъ только въ умѣ чловѣка; самодвиженія въ ней нѣтъ (если мы отдѣлимъ отъ нея неумолкаемую діалектическую потребность ума выйти изъ абстракціи).

Аристотель ищетъ истину предмета въ его цѣли, по цѣли стремится онъ опредѣлить причину; цѣль предполагаетъ движеніе; цѣлесообразное движеніе—развитіе, развитіе—осуществленіе себя наисовершеннѣйшимъ образомъ, «одѣйствованіе благого, насколько можно». «Всякая вещь и вся природа имѣетъ цѣлью благое». Эта цѣль—дѣятельное начало, логось, безпокоящій всеобщую почву (субстанціальность); оно пробуждаетъ ее къ стремленію, оно достигаетъ ея и въ ней совершенія себя, оно ринулось съ ней вмѣстѣ въ движеніе, но владѣетъ имъ для того, чтобъ спасти всеобщее въ потокѣ перемѣнъ; такое движеніе—не просто видоизмѣненіе, а дѣятельность; дѣятельность—тоже непрерывная перемѣна, но сохраняющаяся въ ней; въ простой перемѣнѣ ничего не сохраняется—тамъ нечего беречь. Движеніе, перемѣна, дѣятельность предполагаютъ поприще, страдательность, на которой онѣ совершаются; этотъ субстратъ—косное, отвлеченное вещество; все сущее непремѣнно одною стороною вещественно; но вещество само по себѣ—только возможность, расположеніе, страдательная, отвлеченная, всеобщая готовность; оно даетъ дѣятельности опредѣленную возможность, практическую состоятельность; вещество—условіе, *conditio sine qua* поп развитія. Отсюда два аристотелевскіе момента: *динамія* и *энерія*, возможность и дѣйствительность, субстратъ и форма, сливающіяся въ томъ высшемъ единствѣ, гдѣ цѣль есть съ тѣмъ вмѣстѣ и осуществленіе (энтелехія). Динамія и энергія—тезисъ и антитезисъ процесса дѣйствительности; онѣ неразрывны, онѣ только истинны въ своемъ существованіи; другъ безъ друга онѣ абстрактны (нельзя довольно часто повторять этого; грубѣйшія ошибки проистекаютъ именно отъ удерживанія въ несвойственномъ разъединеніи матеріи и формы); вещество безъ формы, косное, отвлеченное отъ дѣятельности—не истина, а логическій моментъ, одна сторона истины; форма, съ своей стороны, невозможна безъ вещества: нѣтъ дѣйствительности безъ возможности,—иначе она была бы чистѣйшія поп *sens*. Въ дѣйствительности они всегда неразрывны, ихъ нѣтъ врознь; процессъ жизни состоитъ изъ взаимо-

дѣйствія ихъ и изъ ихъ присущности: вотъ въ этомъ-то дѣятельномъ, стремящемся къ самосовершенію процессѣ и старается Аристотель уловить идею во всемъ ея разгарѣ. Идея Платона, какъ-бы совершившаяся, окончившая въ себѣ отрицаніе, примиренная, пребываетъ въ величавомъ покоѣ; Платонъ собственно держится сущности, но сущность сама по себѣ, отвлеченная отъ бытія, не есть еще ни дѣйствительность, ни дѣятельность; она точно такъ же влечетъ къ проявленію, какъ проявленіе къ сущности. У Аристотеля сущность неразрывна съ бытіемъ: оттого она и не покойна; у него идея, не совершившаяся въ отвлеченной безусловности, а такъ, какъ она совершается въ природѣ, въ исторіи, т. е. въ дѣйствительности. Послѣдуемъ за его развитіемъ.

Полное и истинное единство дѣятельности и возможности — въ идеѣ; въ низшихъ сферахъ они разъединены, противоположны и только стремятся къ своему примиренію. Все осязаемое представляетъ конечную сущность, въ которой вещество и образъ раздѣлены, внѣшны другъ другу, — въ этомъ весь смыслъ конечнаго и вся ограниченность его; здѣсь сущность подавлена дѣятельностью, сноситъ ее, но не становится ею: она переходитъ изъ одной формы въ другую, и постояннымъ остается одно вещество — почва перемѣнъ, страдательное долготерпѣніе; опредѣленность и форма находятся въ отрицательномъ отношеніи къ веществу, моменты распадаются, и нѣтъ мѣста полной гармоніи въ этомъ чувственномъ сочетаніи. Когда же дѣятельность содержитъ въ себѣ то, что должно быть, имѣетъ *въ себѣ* цѣль стремленія, тогда движеніе становится дѣяніемъ, — энергія является, какъ умъ; вещество дѣлается субъектомъ, живымъ носителемъ перемѣны; форма становится сочетаніемъ и единствомъ двухъ крайностей: матеріи и мысли, всеобщаго страдательнаго и всеобщаго дѣятельнаго. Въ чувственной сущности дѣятельное начало еще отдѣлено отъ вещества, нусъ побѣждаетъ эту отдѣленность, но ему (уму) нужно вещество: онъ предполагаетъ его, иначе у него нѣтъ земли подъ ногами; умъ, или нусъ, здѣсь — понятіе, животворящее и расчленяющееся въ своемъ воплощеніи. (Аристотель называетъ нусъ въ этомъ моментѣ душою, логосомъ, самодвижущимся и самоставящимся). Наконецъ, полное, совершеннѣйшее развитіе — слитіе динаміи, энергіи и энтелехіи: въ немъ все примирено, возможность вмѣстѣ съ тѣмъ и дѣйствительность, неподвижность — вѣчное движеніе, вѣчная непреходимость временнаго, разумъ — самосознающій, *actus purus* ¹⁾! Можетъ быть, — замѣтите вы, — Аристотель ставитъ всему началомъ *страдательное* вещество. Нѣтъ! Ибо

¹⁾ Дѣйствіе чистое.

страдательное вещество — призракъ, отвлеченіе, имѣющее только маску дѣйствительнаго, матеріальнаго; могъ ли взять началомъ такой спекулятивный гений, какъ Аристотель, не исполненную возможность, школьную абстракцію. Вотъ что онъ говоритъ: «многое возможное не достигаетъ дѣйствительности; стало быть, возможное—начало (*прóтерон*); но если принять началомъ одну возможность, то надобно допустить случай неодѣйствованія ея, вслѣдствіе котораго могло ничего не быть». Такая спекулятивная нелѣпость опровергала вполнѣ, въ глазахъ его реализма, нелѣпое предположеніе. Далѣе онъ говоритъ: «Нѣтъ, не съ одного хаоса, не съ ночи, продолжавшейся безконечное время, какъ объясняютъ наши жрецы-теологи, начало всего; откуда взялось бычто-нибудь, если-бъ въ самой дѣйствительности не было причины? Энергія есть высшее и первое (вспомните, какъ прекрасно Августинъ дѣлитъ хронологическое первенство и первенство достоинства, *prioritas dignitatis*). Вещественность страдательна; чистая дѣятельность предупреждаетъ возможность не по времени, а по сущности». Цѣлесообразность выставляетъ, обличаетъ это первенство.

Вѣрный себѣ, Аристотель начинаетъ физику съ движенія и его моментовъ (пространство и время) и переходитъ отъ всеобщаго къ обособленіямъ и частностямъ вещественнаго міра, не теряя нигдѣ изъ вида главную мысль—живого теченія, процесса. Мало того, что онъ природу схватываетъ, какъ жизнь—въ этомъ основа его естествовѣдѣнія,—но эту жизнь принимаетъ за единую, имѣющую цѣль въ себѣ, тождественную съ собою; движеніемъ она *не въ другое переходитъ*, но развиваетъ перемѣны изъ своего содержанія, пребывая въ нихъ и сохраняя себя. «Все находится во взаимномъ соотношеніи; плавающее, летающее, прозябающее, все это—не чуждо другъ другу; они сами представляютъ свои отношенія, сводящіяся къ одному единству». Систематическаго порядка въ Аристотелевой физикѣ нѣтъ: онъ выводитъ одну сторону предмета за другою, одно опредѣленіе за другимъ, безъ внутренней необходимости, развивая каждое до спекулятивнаго понятія, но не связуя ихъ. У него одна связь—та, которая въ самой природѣ,—жизнь и движеніе; но для науки этого мало: жизнь—еще не вся полнота самосознательной идеи.

Приступая къ идеѣ природы, Аристотель сначала разсматриваетъ природу, какъ причину, для чего-нибудь дѣйствующую, имѣющую цѣлесообразное стремленіе, потомъ уже переходитъ къ необходимости и ея отношеніямъ. Обыкновенно дѣлаютъ наоборотъ; обращаются сначала къ необходимому и существеннымъ считаютъ не то, что опредѣлено цѣлью, а что вышло изъ внѣшней необхо-

димости; долгое время все пониманіе природы сводили на одно раскрытіе необходимости. Аристотель начинаетъ съ идеальнаго момента природы; для него цѣль—«внутренняя опредѣленность самого предмета». «Въ ней заключена дѣятельность природы: ея самосохраненіе, постоянное, непрерывное и, слѣдовательно, зависящее не отъ случая и удачи». Цѣль равно становить предыдущее и послѣдующее, причину и произведеніе; сообразно ей, всѣ частныя дѣйствія отнесены къ единству, такъ что производимое есть именно природа вещи. «Нѣчто становится, какимъ оно предсуществовало». «Кто принимаетъ случайное образованіе, тотъ снимаетъ природу, ибо начало ея состоитъ въ томъ, что она себя приводитъ въ движеніе; природа есть то, что достигаетъ своей цѣли». Природа вещи—всеобщее, само съ собою тождественное, которое само себя, такъ сказать, отталкиваетъ, т. е. осуществляетъ; но то, что осуществляется, что возникаетъ, то было въ основѣ: это цѣль, родъ, предсуществовавшіе, какъ возможность. Отъ цѣли переходитъ Аристотель къ средѣ, къ средству. «Ласточка,—говоритъ онъ,—вьетъ гнѣздо, паукъ плететъ паутину, дерево вращается въ землю,—въ нихъ самихъ находится причина такого дѣйствования». Инстинктъ заставляетъ ихъ искать сочетанія среды съ самосохраненіемъ; средство—не что иное, какъ особенное представленіе цѣли; жизнь—цѣль самой себѣ, она достигаетъ, воспроизводитъ и хранитъ вызванный организмъ свой. Растеніе, животное становится *такимъ*, потому что оно въ водѣ или на воздухѣ, — тутъ кругъ. Эта способность видоизмѣняться, принадлежащая живому,—не просто случайность и слѣдствіе одной внѣшней среды: она возбуждается внѣшнимъ условіемъ, но одѣйствовворяется настолько, насколько соотвѣтствуетъ внутреннему понятію животнаго. «Иногда природа не достигаетъ того, чего хочетъ; ея ошибки—уроды; но ошибаться можетъ тотъ, кто дѣлаетъ съ цѣлью». Природа имѣетъ при себѣ свои средства, и эти средства—сама цѣль; она похожа на человѣка, который самъ себя лѣчитъ. Говоря о необходимости, Аристотель превосходно побѣждаетъ мысль внѣшней необходимости въ развитіи природы слѣдующимъ примѣромъ: «Можно предположить, что домъ необходимо возникъ, потому что тяжелѣйшія части его внизу, а легкія вверху, такъ что, слѣдуя своей природѣ, фундаментъ опустился ниже земли, а сверхъ земли улеглись бревна... Конечно, и это отношеніе было въ расчетѣ, однако, не вслѣдствіе его воздвигнули домъ. Такъ и во всемъ для чего-нибудь существующемъ: оно, т. е. существующее, но безъ того, что необходимо его въ природѣ, но и не потому. Такая необходимость относится къ предмету, какъ вещь—ответственность вообще; въ матеріи необходимость, а въ основѣ—цѣль,

и то и другое начало, но цѣль—высшее». Она—двигающее, которому необходимое необходимо, но она не покоряется ему, а, совсѣмъ напротивъ, держитъ его въ своей власти, не даетъ ему вырваться изъ цѣлесообразности и удерживаетъ внѣшнюю силу необходимости.

Я оставляю прекрасные выводы Аристотеля пространства и времени единственно изъ боязни, что они вамъ покажутся слишкомъ абстрактными, и перейду къ его психологіи (которую, впрочемъ, можно назвать и фізіологіей). Не думайте, что тутъ пойдетъ собственно метафизика души, что онъ, какъ схоластики, поставитъ передъ собой душу и пресерьезно начнетъ разбирать, что она за вещь такая, простая или сложная, духовная или вещественная,—нѣтъ, такими абстрактными игрушками спекулятивный духъ Аристотеля не могъ заниматься: его психологія разсматриваетъ дѣятельность въ живомъ организмѣ, не болѣе. Съ самаго приступа онъ проводитъ яркую черту между своимъ возрѣніемъ и дуализмомъ метафизики; онъ говоритъ, что душу разсматриваютъ, какъ отдѣляемое отъ тѣла въ мышленіи съ логической стороны ея, и какъ нераздѣльное съ тѣломъ въ чувствахъ фізіологически, и тотчасъ присовокупляетъ, въ видѣ объясненія: «Съ одной стороны, гнѣвъ, напимѣръ, разсматривается, какъ порывъ и кипѣніе крови, съ другой стороны,—какъ желаніе справедливаго вознагражденія: это похоже на то, если-бъ одинъ домъ разсматривать со стороны представляемой имъ защиты отъ дождя и вѣтра, другой—со стороны матеріала, изъ котораго онъ построенъ; одинъ—со стороны формы, другой—со стороны вещества и необходимости». Душа есть энергія перехода изъ возможности въ дѣйствительность, сущность органическаго тѣла, его εἶδος ¹⁾ чрезъ посредство котораго она по возможности становится тѣломъ одушевленнымъ; душа достигаетъ формы, наиболѣе соотвѣтствующей себѣ: для того она и дѣятельна. «Нельзя спрашивать,—говоритъ Аристотель,—тѣло и душа одно ли или разное, такъ, какъ нельзя спросить: воскъ и его форма одно ли? Совсѣмъ не въ томъ интересъ отношенія души къ тѣлу, что они тождественны или нѣтъ; главный вопросъ, по Аристотелю, состоитъ въ томъ, *тождественна ли дѣятельность съ органомъ*. Вещественная сторона представляетъ только возможность, не реальность души; субстанція глаза—видѣніе; лишите его способности зрѣнія,—вещество можетъ остаться то же, но смыслъ утраченъ; глазъ, его составныя части, актъ видѣнія принадлежитъ единой цѣлости, и въ ней полная истина ихъ, а не врознь: такъ, душа и тѣло составляютъ живую неразрывность. Душу Аристотель опредѣляетъ тройко:

¹⁾ Образъ, идея.

какъ питающуюся, какъ чувствующую и какъ разумную,—соотвѣтственно тремъ главнѣйшимъ функціямъ души и имъ соотвѣтствующимъ царствамъ жизни: растительному, животному и человѣческому; въ человѣкѣ соединяется растительная и животная натура въ высшемъ единствѣ. Переходя къ взаимному отношенію трехъ душъ, Аристотель говоритъ: «растительная и чувственная душа находятся въ мыслящей; питающаяся душа составляетъ природу растеній; растительная душа,—первая степень дѣятельности,—находится и въ чувствующей душѣ, но такъ, какъ возможность ея». Она — въ ней непосредственное по себѣ бытіе; всеобщее, существенное не ей принадлежитъ, но безъ нея быть не можетъ; она изъ подлежащаго дѣлается сказуемымъ, изъ высшей дѣятельности нисходитъ на значеніе субстрата, носителя. То же отношеніе животное-растительной души къ мыслящей: высшее бытіе животнаго нисходитъ въ мыслящемъ существѣ *въ одно изъ ея естественныхъ опредѣленій*, въ его всеобщую возможность, но то и другое покорено ею для себя бытіемъ (т. е. энтелехіей). Какая изумительная вѣрность и какая глубина въ этомъ взглядѣ на природу! Аристотель не только далеко оставилъ за собою грековъ, но и почти всѣхъ новыхъ философовъ. Послѣдуемъ за нимъ далѣе въ разборѣ функцій души.

«Чувствованіе—вообще возможность, но эта возможность съ тѣмъ вмѣстѣ дѣятельность. Первая переменна чувствующаго происходитъ отъ производящаго впечатлѣніе; но когда оно произведено, тогда мы обладаемъ впечатлѣніемъ, какъ знаніемъ», и въ этой страдательной сторонѣ чувствованія, возбуждаемой внѣшнимъ, находится Аристотель его различіе съ сознаніемъ. Причина этого различія состоитъ въ томъ, что чувствующая дѣятельность имѣетъ предметомъ частное, а знаніе—всеобщее, которое само нѣкоторымъ образомъ составляетъ сущность души. Оттого всякій можетъ думать, когда хочетъ, и мысленіе свободно; чувствовать же не въ волѣ человѣка: для чувствованія необходимъ производитель. Чувство въ возможности — то, что ощущаемое въ дѣйствительности; оно страдательно, пока не приведетъ себя въ уровень съ впечатлѣніемъ; но, выстрадавъ, оно готово и дѣлается тождественно по ощущаемому. «*Какъ сущіе*, звукъ и слухъ разны, но въ основѣ своей они одинаковы»; дѣятельность слуха — ихъ единство, чувствованіе есть форма ихъ тождественности, снятіе противоположности предмета и органа; чувство воспринимаетъ ощущаемыя формы безъ матеріи: такъ воскъ принимаетъ печать, захватывая не металлъ, а только его форму. Это сравненіе Аристотеля подало поводъ къ безконечнымъ толкамъ о душѣ, какъ о пустомъ пространствѣ (та-

bula gasa ¹⁾), наполняемомъ одними внѣшними впечатлѣніями; но такъ далеко сказанное сравненіе не идетъ; воскъ въ самомъ дѣлѣ отъ печати ничего не принимаетъ; выдвленная форма, какъ внѣшнее очертаніе его, нисколько ему не существенно; въ душѣ, напротивъ, форма принимается самой сущностью ея, претворяется ею, такъ что душа представляетъ живую и усвоенную себѣ совокупность всего ощущаемаго. Приниманіе души дѣятельно; принявъ, она снимаетъ страдательность, освобождается отъ нея ²⁾); рефлексія сознанія снова поставляетъ различіе; но различіе, имѣющее оба момента внутри сознанія, ощущаемое въ отношеніи къ мышленію, представляетъ его непосредственность, его вещественную, матеріальную часть, безъ которой оно невозможно, внѣшнюю искру, возжигающую мышленіе. Однажды вызванная мысль остановиться не можетъ; она не можетъ относиться къ своему предмету бездѣятельно, ибо она только и есть дѣятельность; предметъ мысли

¹⁾ Чистая доска.

²⁾ Здѣсь поневолѣ вспоминается споръ, долго тянувшійся между идеалистами и эмпириками о началѣ вѣдѣнія. Одни началомъ ставили сознаніе, другіе—опытъ. Спорили, писали тома и были, очевидно, неправы, потому что обѣ стороны принимали отвлеченіе за истину. Лейбницъ своими геніальными «*nisi intellectus*» указалъ на разрѣшеніе спора, но его не поняли, находили, что это діалектическая уловка, искаженіе вопроса и требовали лаконически то или другое: первенство опыта или сознанія, *la bourse ou la vie!* ³⁾ Теперь этотъ вопросъ никого не занимаетъ; очевидность истины съ той и другой стороны и невозможность удержаться въ одномъ опредѣленіи, не перейдя въ другое, прямо ведетъ къ заключенію, что истина состоитъ въ единствѣ односторонностей, не исчерпывающихъ ея въ разъ, необходимыхъ другъ для друга. И чего добивались спорившіе? для чего имъ хотѣлось утвердить ничтожное хронологическое первенство за опытомъ или за сознаніемъ? Вѣроятно, они думали на этомъ первенствѣ основать майоратъ, не замѣчая, что въ чью бы пользу ни разрѣшили вопроса,—побѣда досталась бы противникамъ. Если начало знанія—опытъ, то знаніе дѣйствительное должно доказать, что предположеніе, предупреждающее его, не есть знаніе, что отъ него должно отречься, потому что оно—незнаніе; начало, въ самомъ дѣлѣ,—тотъ моментъ знанія, въ которомъ оно равно незнанію,—одна возможность знанія, снимаемая развитіемъ. Знаніе равно невозможно безъ опыта и безъ смысла. Если феноменально опытъ предшествуетъ сознанію, то это не больше значитъ, какъ то, что онъ служить внѣшнимъ условіемъ для обличенія предсущствующаго ему разумѣнія, которое осталось бы одною возможностью, не возбужденною опытомъ. Подобныя абстракціи, удерживаемыя въ противорѣчащей полярности, ведутъ къ антиноміямъ, въ которыхъ бесконечно повторяется противорѣчіе съ монотонностью, приводящей въ отчаяніе и ука-зующей на какую-то неладность въ самомъ вопросѣ. Въ этихъ антиноміяхъ непрерывно вращается разсудочная наука. Мы съ ними еще разъ встрѣтимся.—А. И. Г.

³⁾ Кошелекъ или жизнь!

самъ является въ формѣ мысли, лишенной объективности ощущаемаго, и оба термина движенія въ ней самой. Для мысли нѣтъ другого бытія, какъ дѣятельное для себя бытіе; *она вовсе не имѣетъ по себѣ бытія*, ея по себѣ бытіе, матеріальное существованіе, есть именно *ея другое*. «Разумъ во всемъ у себя, онъ все мыслить; но онъ не имѣетъ дѣйствительности безъ мышленія; онъ ничего прежде, нежели мыслить», онъ живъ въ дѣятельности. «Разумъ—книга съ бѣлыми листами, *на которыхъ, въ самомъ дѣлѣ, ничего не написано*». Этого примѣра такъ же не поняли, какъ примѣра о воскѣ; дѣятельность тутъ принадлежитъ самой книгѣ, а внѣшнее—только поводъ; разумѣется, разумъ — бѣлый листъ прежде мышленія; разумъ—динамія всего мыслимаго, но онъ ничего безъ мышленія; мыслить же опять онъ самъ, внѣшность не умѣетъ писать на бѣломъ листѣ, она будитъ только писаря. «Разумъ страдателенъ,—говоритъ Аристотель,—въ чувствѣ и въ представленіи, но въ этомъ по себѣ бытіи его онъ еще не развитъ; нусь себя думаетъ чрезъ воспріятіе мыслимаго, это мыслимое становится съ тѣмъ вмѣстѣ возбуждающее (касающееся), оно создается въ то время, *какъ касается*. Разумъ—дѣятельность; то движется, то дѣятельно, что ищетъ, что проситъ; цѣль, искомое, напротивъ, пребываютъ въ покоѣ, но въ мышленіи предметъ самъ мыслимый, самъ произведеніе мышленія, къ себѣ стремится, оттого онъ безконеченъ и свободенъ и тождествененъ съ своею дѣятельностью, оттого онъ не имѣетъ другой дѣйствительности, кромѣ для себя бытія». Если мы нусь возьмемъ за способность внѣшняго знанія, а не за дѣятельность, и мышленіе подчинимъ результатамъ такого знанія, то мышленіе будетъ хуже того, чего достигаетъ, — бѣдною и скучною воспроизводящею способностью. Свой разборъ мышленія Аристотель заключаетъ слѣдующими, чисто эллинскими, словами: «Въ системѣ міра намъ данъ короткій срокъ пребыванія — жизнь; даръ этотъ прекрасенъ и высокъ. Бодрствованіе, чувствованіе, мышленіе—вышія блага, исполненныя наслажденія. Мышленіе, имѣющее предметомъ себя, претворило предметъ въ себя, такъ что мышленіе и мыслимое сливаются, и предметъ становится его дѣятельностью и энергіей. Такое мышленіе—верхъ блаженства и радость въ жизни, доблестнѣйшее занятіе человѣка». Энергію мышленія онъ ставитъ выше мыслимаго; для него живое мышленіе — высшее состояніе великаго процесса всемірной жизни. Вотъ вамъ грекъ во всей мощи и красѣ своего развитія! Это—послѣднее торжественное слово *пластическаго* мышленія древнихъ, это — рубежъ, далѣе котораго эллинскій міръ не могъ итти, оставаясь самимъ собою.

Осень, 1844 г.

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ.

Послѣдняя эпоха древней науки.

Возрѣніе Аристотеля не достигло такой наукообразной формы, которая бы, находя все въ себѣ и въ методѣ, поставила бы его независимо отъ самого Аристотеля; оно не достигло той зрѣлой самобытности, чтобъ совсѣмъ оторваться отъ лица, и, слѣдственно, не могло перейти во всей полнотѣ къ его преемникамъ,—перейти, какъ такое наслѣдіе, которое стоило бы только развивать и вести стройно впередъ. Въ наукѣ Аристотеля, какъ въ царствѣ ученика его, Александра Македонскаго, единство животворящее, средоточіе, къ которому все относилось, не было полной принадлежностью ни науки, ни царства; имъ недоставало всего того, что въ нихъ приносила гениальность исполина мысли и исполина воли. Возможность имперіи Александра лежала въ современныхъ ему обстоятельствахъ, но дѣйствительность ея была въ немъ; со смертью его она распалась; послѣдствія ея были вѣрны и обстоятельствамъ и лицу, но царство, какъ органическое цѣлое, какъ социальная индивидуальность, не могло удержаться. Также точно ученіе Платона и его предшественниковъ представляло Аристотелю возможность подняться на ту высоту, на которую его возвелъ его гений; но гениальность—дѣло личное; нельзя требовать, чтобъ каждый перипатетикъ, напр., имѣлъ бы такой талантъ, который поднялъ бы его на тотъ пьедесталь, на которомъ стоялъ Аристотель, потому что онъ былъ гений. Слѣдствіемъ всего этого было формальное, под-авторитетное изученіе самого Аристотеля, вмѣсто усвоенія духа, животворящаго его науку. Ученики его тогда только могли бы понять, усвоить себѣ возрѣніе Аристотеля, когда бы они такъ стали на его почвѣ, чтобъ вовсе не заботились о его словахъ, а вели бы далѣе самое дѣло; но для этого надобно было, чтобъ доля, принадлежавшая гениальной личности, перешла въ безличность методы, т. е. людямъ надобно было прожить еще двѣ тысячи лѣтъ. Въ наше время подвигъ Гегеля состоитъ именно въ томъ, что онъ науку такъ воплотилъ въ методу, что стоитъ понять его методу, чтобъ почти вовсе забыть его личность, которая часто безъ всякой нужды выказываетъ свою германскую фізіономію и профессорскій мундиръ берлинскаго университета, не замѣчая противорѣчія такого рода личныхъ выходовъ съ средою, въ которой это дѣлается. Но это появленіе личныхъ мнѣній у Гегеля до такой степени не

важно и не мѣстно, что никто (изъ порядочныхъ людей) не останавливается передъ ними, а его же методою бьютъ на голову тѣ выводы, въ которыхъ онъ является не органомъ науки, а человѣкомъ, не умѣющимъ освободиться отъ паутины ничтожныхъ и временныхъ отношеній; изъ его началъ смѣло идутъ противъ его непослѣдовательности, съ твердымъ сознаниемъ, что идутъ *за него*, а не *противъ него*. Чѣмъ болѣе вліяніе лица, чѣмъ болѣе вырѣзывается печать индивидуальности частной, тѣмъ труднѣе разобрать въ ней черты родовой индивидуальности, а наука-то и есть родовое мышленіе; потому она и принадлежитъ каждому, что она не принадлежитъ никому.

Эирное начало, тонкое вѣяніе духа глубокаго и полного живымъ пониманіемъ, носившееся надъ твореніями Аристотеля, тотчасъ низверглось, попавшись въ холодильникъ разсудочнаго пониманія его послѣдователей. Слова его повторялись съ грамматическою вѣрностью, но это была маска, снятая съ мертваго, представившая каждую черту, каждую морщину тупа и утратившая теплая, колеблющаяся формы жизни. Аристотель не могъ привить свою философію такъ въ кровь своихъ современниковъ, чтобъ сдѣлать ее ихъ плотью и кровью: ни его послѣдователи не были готовы на это, ни его метода; онъ изъ простой эмпириі поднимаетъ предметъ свой до многосторонней спекуляціи и, истощивъ его, идетъ за другимъ; онъ, какъ рыбовловъ, безпрестанно погружаетъ голову въ воду, чтобы исторгнуть оттуда что-нибудь, вывести на свѣжій воздухъ и усвоить себѣ; совокупность этихъ усвоеній даетъ тѣло его наукъ, но средство этого претворенія—опять его личность, добавляющая своею мощью недостатокъ метода, ибо *открытая* метода его—просто фѳормальная логика; скрытое начало, связующее всѣ творенія Аристотеля, если и просвѣчиваетъ, то, навѣрное можно сказать, нигдѣ не выражено въ наукообразной фѳормѣ;—оттого-то ближайшіе послѣдователи, усвоивъ себѣ то, что передавалось наукообразно, утратили все, что принадлежало орлиному взгляду генія. Неполнота или недостатокъ великаго мыслителя обличаются не въ немъ, а въ послѣдователяхъ, потому что они держатся въ неотступной и строгой вѣрности буквальному смыслу словъ, тогда какъ геніальная натура, по внутреннему устройству души своей, переходитъ во всѣ стороны за фѳормальные предѣлы, хотя бы они были поставлены ея собственной рукой; это перехватываніе за предѣлы односторонности, даже современности, и составляетъ яркое величіе генія. Аристотель такъ же, какъ и Платонъ, потускли въ философскихъ школахъ, слѣдовавшихъ за ними; они остаются какими-то осѣняющими свыше тѣнями, не достигаемыми, высокими, отъ которыхъ

всѣ ведутъ свое начало, къ которымъ всѣ хотятъ прикрѣпиться, но которыхъ никто не понимаетъ въ самомъ дѣлѣ. Послѣ многихъ вѣтвящихся школъ, академическихъ и перипатетическихъ, не сдѣлавшихъ ничего важнаго, является неоплатонизмъ наслѣдникомъ всей древней мысли, исполненіемъ Платона и Аристотеля. Неоплатонизмомъ перешла древняя мысль въ новый міръ, но это было болѣе переселеніе душъ, нежели развитіе: мы увидимъ это сейчасъ. Какъ лицо, какъ самъ онъ, Аристотель былъ схороненъ подъ развалинами древняго міра до тѣхъ поръ, пока аравитянинъ не воскресилъ его и не привелъ въ Европу, погрязавшую во мракѣ невѣжества, — средневѣковой міръ, съ какою-то любовью накладывавшій на себя всякія цѣпи, съ подобострастіемъ склонился подъ авторитетъ рѣшительно не понятаго Аристотеля. При всемъ этомъ, *doctores seraphici et angelici* ¹⁾, унижаясь передъ Аристотелемъ, сдѣлали изъ него схоластическаго, скучнаго іезуитическаго патера-формалиста. И бѣдный Стагиритъ долженъ былъ раздѣлить всю ненависть воскреснувшей мысли, съ лютеровскимъ яримъ гнѣвомъ возстававшей противъ схоластики и романтическихъ оковъ ²⁾. Собственно отъ Аристотеля до «великаго возстановленія» наукъ въ XVI столѣтіи (*instauratio magna*) наукообразнаго движенія не было, несмотря на то, что человѣчество въ этотъ промежутокъ сдѣлало колоссальные шаги, которые привели его къ новому міру мышленія и дѣянія. Для нашей цѣли, мы, ничего не теряя, могли бы перешагнуть отъ Аристотеля къ Бэкону, — но позвольте самымъ сжатымъ образомъ ска-

1) Средневѣковыя ученые (схоластики) по богословію.

2) Предупреждая возраженіе какого-нибудь филолога, считаемъ нужнымъ замѣтить, что мы разумѣемъ судьбы Аристотеля на Западѣ. Въ Восточной имперіи, — вѣроятно, до самыхъ турокъ, — водились люди, читавшіе древнихъ философовъ, въ томъ числѣ Аристотеля, и смотрѣвшіе на него съ своей точки зрѣнія, — исторіи науки, собственно, до этого дѣла нѣтъ; исторія вообще не обязана заниматься всѣмъ, что дѣлаютъ люди и что они вездѣ дѣлаютъ. Все, что выпадаетъ изъ общаго русла или не втекаетъ въ него, что замираетъ въ стоячести или усталое падаетъ на полдорогѣ, что случайно, частно, тогда только имѣетъ право на историческое значеніе, когда оно не безслѣдно; въ противномъ случаѣ, исторія забываетъ, — и въ этомъ великое милосердіе ея! Исторія Китая обыкновенно преподается короче, нежели исторія cadaго города Италіи: неужели вы думаете, причина этому пристрастіе, даль или близость? Въ такомъ случаѣ Плутархъ — до высочайшей степени пристрастный человѣкъ: почему онъ писалъ біографіи Перикла, Алкивіада и проч., а не cadaго афинскаго гражданина? или почему въ своихъ біографіяхъ онъ не рассказываетъ, какъ у его героевъ рѣзались зубы, какъ ихъ отнимали отъ груди или какъ въ болѣзненномъ и старческомъ бреду они капризничали, охали и проч.? Исторія, какъ Французская академія, никому сама не предлагаетъ мѣста въ себѣ, а разбираетъ права тѣхъ, которые сами стучались въ дверь ея. — А. И. Г.

зять нѣсколько словъ объ этомъ времени, промежуточномъ между эллинской наукой, окончившейся Аристотелемъ, и новой, начавшейся съ Бэкона и Декарта и возмужавшей въ лицѣ Спинозы.

Наука грековъ, вступая въ послѣднюю фазу свою, ищетъ *очевиднаго*: одно очевидное принимаетъ за истину. Требованія ея становятся яснѣе и съ тѣмъ вмѣстѣ площе; она цѣлью своихъ изысканій ставитъ внѣшній *критеріумъ* истины, ищетъ его въ личномъ мышленіи; конечно, критеріумъ только и можно найти въ мышленіи, но въ мышленіи, освобожденномъ отъ личнаго характера. Отыскиваніе критеріума, т. е. повѣрки, съ разсудочной точки зрѣнія, — неразрѣшимая задача: умъ, отрѣшившійся отъ предмета и опредѣлившій себя отрицательно, можетъ понять истину, какъ свой законъ, но никогда не пойметъ этого закона истинною предмета. И, именно, въ этомъ отчужденномъ, сосредоточенномъ въ себѣ состояніи мысли, когда у ней теряется земля подъ ногами и чувствуется какая-то пустота внутри, возникаетъ потребность строгаго догматизма; мышленіе хочетъ въ немъ окопаться, укрѣпиться противъ всякаго нападенія, не зная, что худшій врагъ уже въ груди ея. Да и какъ было не искать людямъ неприкосновенной твердыни внутри себя и въ теоретическомъ мірѣ, когда все окружающее начало ломится и оказываться ложнымъ или дряхлымъ. Свѣтлая эпоха греческой жизни приходила тогда къ концу; година, исполненная тяжкихъ страданій и униженій, наставала для Греціи; побѣтели Востока не имѣли силы защищаться противъ суроваго Запада. Въ жизни греческой такъ тѣсно соединялись всѣ элементы, что ни искусство, ни наука не могли, не измѣнившись, пережить гражданское устройство; для ихъ науки нужны были Аѳины, — Аѳины, вѣрующія въ себя... Ну, просто, нужна была юношеская беззаботность, позволяющая предаваться мысли, а могла ли она остаться около того времени, какъ послѣдній царь македонскій съ поникнувшимъ челомъ шелъ по римскимъ улицамъ, прикованный къ торжественной колесницѣ побѣдителя? Когда это случилось, разлагающій ядъ давно разѣдалъ Элладу; ни въ науку, ни въ государство, ни въ людей не было вѣры; объ Олимпѣ и говорить нечего, — его не отвергали изъ какой-то учтивости, да страшали имъ толпу. Вотъ въ это время, а не во время софистовъ, въ самомъ дѣлѣ, явилось безобразное зрѣлище риторовъ-діалектиковъ, говорившихъ и проповѣдовавшихъ безъ всякихъ убѣжденій: это было какое-то холодное адвокатство въ наукѣ, двуличное и коварное, мгновенное и пустое; едва изрѣдка появлялись искры, напоминавшія острый, поэтический, легкій и глубокій аѳинскій умъ. Явленіе это болѣе принадлежитъ общественной жизни, нежели наукѣ; оно было отраженіемъ гра-

жданскаго растлѣнія въ сферѣ мышленія. Но въ той же самой сферѣ явилось и самое энергическое противодѣйствіе общественной безнравственности—стоицизмъ.

Ученіе стоиковъ, по преимуществу, нравственное; оно прямо идетъ къ вопросамъ жизненнымъ, стремится дать совѣтъ, укрѣпить грудь противъ ударовъ судьбы, возбудить гордое сознаніе долга и заставить всѣмъ жертвовать ему. Что другое могли проповѣдовать люди мысли, передъ глазами которыхъ разыгрывался послѣдній замыкающій актъ трагедіи, гдѣ гибнулъ цѣлый міръ, и изъ-за видимыхъ развалинъ этого міра трудно было разсмотрѣть будущее, тихо и незамѣтно водворявшееся передъ этимъ страшнымъ зрѣлищемъ агоніи, исполненной старческаго, безсильнаго разврата, истощенія, гадкой въ своемъ циническомъ раболѣпіи? Философу оставалось скрестить руки на груди и мужественно стать протестомъ, своимъ неучастіемъ заклеить общество, громко обличить его позоръ, и, когда нѣтъ надежды спасти его, употребить всѣ силы, чтобы спасти *нѣсколько лицъ*, оторвать ихъ отъ зараженной среды и пробудить нравственное чувство въ ихъ груди. Стоики обрекли себя на это. Но такое ученіе печально, угрюмо, «не жертвуетъ граціямъ»,—оно учитъ умирать, учитъ цѣною головы подтверждать истину, быть непреклонно твердымъ въ несчастіяхъ, побѣждать страданія, пренебрегать наслажденіями: все это — добродѣтели, но добродѣтели человѣка въ несчастномъ положеніи; все это слишкомъ мрачно, чтобы быть нормальнымъ. Рука стоика, всегда готовая прервать нить собственной жизни, была безстрашно жестка: она до всего касалась перстами грубыми, — и нѣжное, едва уловимое благоуханіе, въ которомъ, какъ въ своей атмосферѣ, является все аэиинское, исчезаетъ отъ ихъ прикосновенія или не существуетъ для него. Римскій духъ, практической, опредѣленный, рѣзкій и холодный, началъ тогда проникать всюду, началъ становиться всемірнымъ, господствующимъ дыханіемъ; на римской почвѣ стоики развились вполне; въ Греціи они были болѣе теоретики; здѣсь они отворяли себѣ жилы и приготавливали въ собственномъ саду костры; въ нихъ именно преобладалъ римскій элементъ: умы сухо-энергическіе и озлобленные, груди твердыя, но наболѣвшія, люди практическіе, но чрезвычайно односторонніе и формальные; правила ихъ просты, чисты, но въ своей абстрактной чистотѣ, они, какъ кислородъ, не составляютъ здоровой среды дыханія именно потому, что нѣтъ примѣси, которая бы смягчала рѣзкую чистоту. Нравоученія стоиковъ имѣли цѣлью образовать *мудраго*; они вѣрили только въ возможность добродѣтели частнаго лица; они искали развитія нравственное только въ лицѣ мудраго, а не въ республикѣ, какъ Пла-

тонъ; они первые высказали колоссальную мысль, что мудрый не связанъ внѣшнимъ закономъ, ибо онъ въ себѣ носитъ живой источникъ закона и не повиненъ давать отчетъ кому-либо, кромѣ своей совѣсти,—мысль глубокая и многозначительная, но такая, которая высказывается только въ тѣ эпохи, когда мыслящіе люди разглядываютъ обличившуюся во всемъ безобразіи лжи несоответственность существующаго порядка съ сознаниемъ; такая мысль есть полнѣйшее отрицаніе положительнаго права; между тѣмъ, освобождая такимъ образомъ мудраго, стоики излагали свою нравственность сентенціями, т. е. готовыми статьями своего кодекса. Сентенціи въ философіи нравственности безобразны; онѣ унижаютъ человѣка, выражая верховное недовѣріе къ нему, считая его несовершеннѣйшимъ или глупымъ; сверхъ того, онѣ бесполезны, потому что всегда слишкомъ общи, никогда не могутъ обнять всѣхъ обстоятельствъ, видоизмѣняющихся въ данномъ случаѣ, а внѣ данныхъ случаевъ онѣ не нужны; наконецъ, сентенція—мертвая буква; она не даетъ выхода изъ себя для исключительныхъ обстоятельствъ, и, когда являются эти обстоятельства, сила вещей отбрасываетъ отвлеченное правило, ломаетъ его, какъ раму, не имѣющую мощи сдерживать содержаніе. Человѣкъ нравственный долженъ носить въ себѣ глубокое сознаніе, какъ слѣдуетъ поступить во всякомъ случаѣ, и вовсе не какъ рядъ сентенцій, а какъ всеобщую идею, изъ которой всегда можно вывести данный случай; онъ импровизируетъ свое поведеніе. Но стоики, формалисты и недовѣрчивые съ юридической точки зрѣнія смотрѣли на нравственный вопросъ и составляли моральныя сентенціи; ихъ ученіе стремилось явнымъ образомъ окрѣпить, оцѣпенѣть въ оконченной догматикѣ.

И въ то же самое время, какъ мрачный, аскетическій стоицизмъ съ своими самоубійствами и суровыми правилами овладѣлъ умами, распространялось съ такой же быстротою другое ученіе, явно противоположное стоицизму (по выраженію): эпикуреизмъ—послѣдняя попытка, чисто греческая, свѣтло и отчасти дешево примирить мысль съ жизнью, себя съ окружающимъ. «Цѣль жизни, ея истина—сознательное, проникнутое мыслью наслажденіе собою, блаженство; въ немъ добро, въ немъ прекрасное, къ нему должно стремиться, снимая все мѣшающее, какъ зло». Итакъ, блаженство—вотъ критеріумъ Эпикура ¹⁾. Ничто не можетъ быть нелѣпѣе, какъ вѣчные рассказы добрыхъ людей о томъ, что Эпикуръ проповѣдовалъ цѣлью жизни грубое и животное удовлетвореніе страстей: это такъ же ограничено и плоско, какъ воображать, что Гераклитъ

¹⁾ Греческій философъ рубежа IV и III вѣковъ до Р. Х.

только плакалъ, а Демокритъ только хохоталъ, что софисты были шарлатаны и мошенники... Все это принадлежит особому воззрѣнію на философію, очень похожему на то воззрѣніе, которымъ изъ передней разсматриваютъ балъ. Блаженство, безъ всякаго сомнѣнія,—цѣль жизни: все живое и сознающее имѣетъ неотъемлемое право на наслажденіе жизнію, но вопросъ: въ чемъ состоитъ блаженство человѣка? Для звѣря оно—въ сытости и въ слѣдованіи естественнымъ побужденіямъ; для звѣря-человѣка—точно также; но не надобно забывать, что человѣкъ—звѣрь не въ нормальномъ состояніи: это такое же уродство, какъ человѣкъ, который бы отрекся отъ всего физическаго, какъ отъ недостойнаго себя; для человѣка нѣтъ блаженства въ безнравственности: въ нравственности и добродѣтели только и достигаетъ онъ высшаго блаженства; потому-то человѣку и совершенно естественно любить добродѣтель, любить нравственность. Моралистамъ хочется непремѣнно понуждать человѣка къ добру, заставляя его поступать нравственно, такъ, какъ врачъ заставляетъ принимать отвратительную горечь; они въ томъ-то и находятъ достоинство, чтобъ человѣкъ *нехотя* исполнялъ обязанности; имъ не приходитъ въ голову, что если эти обязанности истинны и нравственны, то каковъ же тотъ человѣкъ, которому исполненіе ихъ противно? не приходитъ въ голову требованіе примирить сердце и разумъ такъ, чтобы человѣкъ исполненіе дѣйствительнаго долга не считалъ за тяжкую ношу, а находилъ въ немъ наслажденіе, какъ въ образѣ дѣйствія, наиболѣе естественномъ ему и признанномъ его разумомъ. Если добродѣтель—только понудительная обязанность, внѣшнее велѣніе, то ее нельзя любить; можно ей жертвовать, можно покориться ей, но не болѣе; можно, наконецъ, быть по разсчету добродѣтельнымъ, ожидая возмездія: здѣсь опять цѣль—блаженство, но ниже, корыстнѣе понятое; возмездіе соприсносушно самой добродѣтели, нравственное дѣяніе есть уже награда совершившаяся, блаженство само по себѣ. Иначе мы впадемъ въ то сомнѣніе, которое такъ мило выражено Шиллеромъ:

Gewissensscrupel.

Gerne dien'ich den Freunden, doch thu'ich es leider mit Neigung,
Und so wurmt es mir oft, dass ich nicht tugendhaft bin.

Entscheidung.

Da ist kein anderer Rath, du musst suchen, sei zu verachten,
Und mit Abscheu alsdann thun, wie die Pflicht dir gebeut ¹⁾.

¹⁾ Сомнѣніе.

Охотно служу я друзьямъ моимъ, но, по несчастію, мнѣ это пріятно: меня часто упрекаетъ совѣсть въ безнравственности за это.

Тотъ, кто находитъ въ добродѣтели наслажденіе, можетъ сказать, какъ Эпикуръ: «должно предпочитать разумное несчастье безумному счастью», и это очень просто, потому что безумное счастье—нелѣпость для человѣка: для того, чтобъ имъ наслаждаться, онъ долженъ отречься отъ верховной сущности своей—разума. Всякій безнравственный поступокъ, сдѣланный сознательно, отрицаетъ разумъ, оскорбляетъ его; угрызеніе совѣсти напоминаетъ человѣку, что онъ поступилъ, какъ рабъ, какъ животное, и нѣтъ блаженства при этомъ укоряющемъ голосѣ. Стоицизмъ больше формально противоположенъ эпикуреизму, нежели въ самомъ дѣлѣ; развѣ онъ не потому хотѣлъ быть самоотверженнымъ, что въ самоотверженіи видѣлъ болѣе человѣчественное удовлетвореніе, нежели въ слабодушномъ потворствѣ и распущенности характера? стоицизмъ выразилъ только свое воззрѣніе иначе, освѣтилъ его съ противоположной стороны; вызванный, какъ реакція, какъ протестъ, онъ круто и аскетически принялся исправлять нравы; онъ былъ похожъ на строгій и суровый католицизмъ, явившійся послѣ Лютера. Эпикуреизмъ, совсѣмъ напротивъ, вѣрный греческому гению, понималъ роскошно, человѣчественно-просто вопросъ стоицизма и не разсѣкъ души человѣческой на страшную противоположность долга и влеченія, натравливая ихъ другъ на друга, а стремился ихъ примирить въ блаженствѣ, удовлетворяющемъ и долгу, и страстямъ; для него исполненіе долга неразрывно съ наслажденіемъ, то есть естественно и разумно. Состояніе нравственного дуализма противорѣчитъ значенію самопознающаго существа,—нелѣпость, похожая на то, если-бъ звѣрь, чувствуя потребность насыщенія, раздиралъ собственную грудь; простая, органическая цѣлесообразность громко вопіетъ противъ стоическаго унынія, скрежета зубовъ; такой аскетизмъ и гоненіе всего естественнаго ведетъ прямо къ оригеновскимъ поправкамъ физическаго. Замѣйте, что чистота нравовъ Эпикуровыхъ учениковъ вошла въ пословицу, и она очень понятна: человѣку, признающему свои права на наслажденіе, легко понимать права наслажденій надъ собою; ему не страшны страсти; онѣ не врагами, не ночными татями пробираются въ его сердце: онъ знакомъ съ ними и знаетъ ихъ мѣсто. Тотъ, кто дѣлаетъ цѣлью одно обузданіе страстей, тотъ даетъ страстямъ силу и высоту, которыхъ онѣ не имѣютъ вовсе,—онъ ихъ ставитъ соперникомъ разуму. Страсти крѣпнуть и растутъ именно оттого, что имъ придаютъ огромную

Рѣшеніе.

Дѣлать тутъ нечего, старайся ихъ ненавидѣть и дѣлай съ отвращеніемъ то, что тебѣ повелѣваетъ долгъ.—А. И. Г.

важность. Лукрецій ¹⁾ говоритъ, что иногда надобно уступать потребности наслажденія для того, чтобъ она не безпрестанно насъ занимала. Эпикуръ, столь противоположный стоикамъ, послѣдними словами своего ученія сталъ рядомъ съ ними: «свобода отъ боязни и желаній, говоритъ онъ, есть высшее блаженство». При этомъ, замѣтите, обѣ школы даютъ личности человѣка несравненно важнѣйшее значеніе, нежели всѣ предшествовавшія имъ философскія ученія; это—преддверіе признанія безконечности человѣческаго духа, которое должно было развиваться въ новомъ мірѣ. Вы можете мнѣ возразить, что эпикуреизмъ, однако, способствовалъ распространенію чувственности и матеріализма въ Римѣ. Да. Но въ какую эпоху? Въ ту, въ которую Римъ былъ развращенъ до обоготворенія Клавдіевъ, Калигулы и проч. Люди искали забыться, отвернуться отъ гражданскаго міра, отъ предчувствій и воспоминаній и толковали эпикуреизмъ по-своему.

Эпикуреизмъ имѣлъ большое вліяніе не естествовѣдѣніе; Эпикуръ былъ атомистъ и эмпирикъ почти такъ же, какъ естествоиспытатели прошлаго вѣка и отчасти нашего. Несмотря на большую смѣлость его, онъ такъ же не выдержалъ своего воззрѣнія до конца, какъ всѣ греки, какъ самые стоики, которые, ставъ въ противоположность съ вѣрованіями языческаго міра, принимали какой-то фатализмъ и какія-то мистическія вліянія. Эпикуръ принимаетъ нелѣпость случайнаго соединенія атомовъ, какъ причину возникновенія сущаго, и прекрасно говоритъ о высшемъ существѣ, «которому ничего недостаетъ, неразрушимомъ, непреходящемъ и котораго надобно чтить не по внѣшнимъ причинамъ, а потому, что оно по сущности своей достойно», и проч. Это свидѣтельствовало бы только, что онъ чувствовалъ предѣлы своего воззрѣнія, онъ провидѣлъ верховное начало, царящее надъ физическимъ многообразіемъ; но, сверхъ этого, онъ толкуетъ о какихъ-то соподчиненныхъ богахъ,—типахъ, служащихъ вѣчными идеалами людямъ. Какъ онъ мирилъ съ этимъ сонмомъ боговъ случайность возникновенія, непонятно, да, вѣроятно, онъ и самъ не понималъ, какъ. Философы-деисты XVIII вѣка, вообще натуралисты на всякомъ шагу представляютъ примѣры всесовершеннѣйшей противоположности своихъ физическихъ теорій съ какими-то попытками *d'une religion raisonnée, naturelle, philosophique* ²⁾. Несмотря на эту непослѣдовательность, вліяніе эпикуреизма было значительно. Эпикурейцы принимали фактъ и опытъ не только за точку отравленія, но и за непреложный

¹⁾ Римскій философъ I вѣка до Р. Х.

²⁾ Объясненной разумомъ, естественной, философской религіи.

критеріумъ. Они были эмпирики и шли къ истинѣ инымъ путемъ: обыкновенно мыслители только одной ногой упирались въ фактъ и тотчасъ переходили ко всеобщему и отвлеченному, низводя потомъ логическое многообразие,—эпикурейцы оставались при эмпирическомъ; этотъ путь въ односторонности своей не можетъ выпутаться изъ эмпирии и дойти до всеобъемлющихъ синтетическихъ мыслей, но онъ имѣетъ въ себѣ такую неотразимость, такую непреложную очевидность и осязаемость, что тотчасъ дѣлается доступенъ, популяренъ, практиченъ. Несмотря на типы и идеалы, эпикуреизмъ былъ послѣдній ударъ на смерть язычеству. Стоицизмъ могъ перейти въ мистицизмъ, платонизмъ въ самомъ дѣлѣ перешелъ въ него. Аристотеля можно было перетолковать, эпикуреизма—ни подъ какимъ видомъ: онъ простъ, положителенъ. Вотъ за что и бранили его такъ злобно; онъ вовсе не былъ ни развратнѣе, ни богоотступнѣе всѣхъ прочихъ философскихъ ученій въ Греціи, да и что намъ за дѣло заступаться за языческую правовѣрность? Всѣ философы очень подозрительны со стороны политеизма, хотя въ нихъ во всѣхъ и въ Эпикурѣ точно также есть остатки его. Проклятая положительность и опытный путь—вотъ что озлобило людей, въ родѣ Цицерона.

Противъ догматизма эпикурейскаго и стоическаго вскорѣ повѣялъ ѣдкій воздухъ скептицизма, и послѣднія мысли древней философіи, становившіяся старчески-упрямыми въ своей догматикѣ, рушились передъ его мощью и разсѣялись въ вечернемъ туманѣ, павшемъ на греко-римскій міръ. Скептицизмъ—естественное послѣдствие догматизма: догматизмъ вызываетъ его на себя; скептицизмъ—реакція. Философскій догматизмъ, какъ все косное, твердое, успокоившееся въ довольствѣ собою, противенъ вѣчно дѣятельной, стремящейся натурѣ человѣка; догматизмъ въ наукѣ не прогрессивенъ; совсѣмъ напротивъ, онъ заставляетъ живое мышленіе осѣсть каменной корой около своихъ началъ; онъ похожъ на твердое тѣло, бросаемое въ растворъ для того, чтобъ заставить кристаллы низвергнуться на него; но мышленіе человѣческое вовсе не хочетъ кристаллизоваться, оно бѣжитъ косности и покоя, оно видитъ въ догматическомъ успокоеніи отдыхъ, усталъ, наконецъ, ограниченность. Въ самомъ дѣлѣ, догматизмъ необходимо имѣетъ *готовое абсолютное*, впередъ идущее и удерживаемое въ односторонности какого-нибудь логическаго опредѣленія; онъ удовлетворяется своимъ достояніемъ, онъ не вовлекаетъ началъ своихъ въ движеніе,—напротивъ, это неподвижный центръ, около котораго онъ ходитъ по цѣпи. Какъ только мысль начинаетъ разглядывать эту гранитную неподвижность, — духъ человѣчeskій, этотъ *actus purus*, это дви-

женіе по превосходству, возмущается и устремляетъ всѣ усилія свои, чтобъ смыть, разбить этотъ подводный камень, оскорбляющій ее, и не было еще примѣра, чтобъ упорно стоящій въ наукѣ догматизмъ вынесъ такой напоръ. Скептицизмъ, какъ мы сказали,—противодѣйствіе, вызываемое полузаконной догматикой философіи; онъ самъ по себѣ невозможенъ тамъ, гдѣ невозможны твердыя мысли, принятіе на авторитетъ, стремленіе сдѣлать изъ науки вмѣсто текущаго, живого мышленія, сухія нормы въ родѣ XII таблицъ. Но до тѣхъ поръ, пока наука не пойметъ себя именно этимъ живымъ, текучимъ сознаниемъ и мышленіемъ рода человѣческаго, которое, какъ Протей, облекается во всѣ формы, но не остается ни при одной, до тѣхъ поръ, пока въ науку будутъ врываться готовыя истины, которыхъ принятіе ничѣмъ не оправдано, котормя взяты съ улицы, а не изъ разума, не только врываться, но и находить мѣсто и право гражданства въ ней,—до тѣхъ поръ время отъ времени злой и рѣзкій скептицизмъ будетъ поднимать свою голову Секста-эмпирика или Юма ¹⁾ и убивать своей ироніей, своей негацией *всю науку* за то, что она *не вся наука*. Сомнѣніе—вѣчно припаянный элементъ ко всѣмъ моментамъ развивающагося наукообразнаго мышленія; мы его встрѣчаемъ вмѣстѣ съ наукой въ Греціи и послѣдовательно будемъ встрѣчаться съ нимъ при всякой попыткѣ философскаго догматизма: онъ провожаетъ науку черезъ всѣ вѣка.

Характеръ скептицизма, которымъ заключилось мышленіе древняго міра, весьма замѣчателенъ; направленный противъ догматизма въ его двухъ формахъ, онъ совершилъ *de facto* то, чего домогался догматизмъ: онъ отрѣшилъ личность отъ всего сущаго, освободилъ ее отъ всего положительнаго и такимъ образомъ отрицательно призналъ безконечное ея достоинство. Скептицизмъ освободилъ разумъ отъ древней науки, которая воспитала его; но это освобожденіе отнюдь не было гармоническое, сознательное провозглашеніе его правъ, его автономіи: это было освобожденіе реакціонное, освобожденіе 93 года, освобожденіе отъ древняго міра, расчищавшее мѣсто міру градущему. Скептицизмъ отправился отъ самаго страшнаго сознанія, какое только можетъ посѣтить человѣческую душу; онъ не только сомнѣвался въ возможности знать истину, но просто и не сомнѣвался въ невозможности знать ее; онъ былъ увѣренъ, что бытіе и мышленіе равно не имѣютъ повѣрки, что это несоизмѣримыя данныя, можетъ быть, даже мнимыя. Вмѣсто критеріума онъ поставилъ *кажется* и, горько улыбаясь,

1) Англійскій философъ-скептикъ XVIII вѣка.

успокоился на немъ; однажды убѣдившись въ неспособности разума подняться до истины, скептики не хотѣли и пытаться, а только доказывали, что попытки другихъ нелѣпы. Но не вѣрьте этому равнодушію: это—то отчаянное равнодушіе безпомощности, съ которымъ вы смотрите на тѣло усопшаго друга; вы должны примириться съ тѣмъ, что его нѣтъ, что хочешь дѣлай—не поможетъ; скрѣпивъ сердце, вы идете къ своимъ дѣламъ. Какъ ни храбрись Секстъ-эмпирикъ ¹⁾, человѣку не легко примириться съ невѣріемъ въ себя, съ достовѣрностью не-абсолютности своего разума; самый смѣхъ скептиковъ, иронія ихъ показываютъ, что на душѣ ихъ не такъ-то было легко. Не все смѣются отъ веселья.

Противъ скептицизма древній міръ рѣшительно не имѣлъ орудія, потому что скептицизмъ былъ вѣрнѣе себѣ, нежели всѣ философскія системы древняго міра. Одинъ скептицизмъ не запятналъ себя въ древнемъ мірѣ безхарактернымъ и легкомысленнымъ потворствомъ язычеству; онъ не отворялъ съ такою легкостью дверей своихъ всякаго рода представленіямъ, которыя на время облегчаютъ неразрѣшимый вопросъ и пускаютъ нездоровые соки во весь организмъ. Дѣйствительная наука могла бы снять скептицизмъ, отречься отъ самаго отрицанія; для нея скептицизмъ—моментъ, но древняя наука не имѣла этой силы; она чувствовала грѣхи свои и не смѣла прямо выступить противъ скептицизма, уличавшаго ее въ несостоятельности. Онъ освободилъ разумъ отъ нея и повергъ его въ какую-то пустоту, въ которой вовсе не было содержанія: все поглотилось разверзшеюся пропастью отрицательнаго мышленія. Скептицизмъ раскрывалъ безконечную субъективность безъ всякой объективности. Вѣрный себѣ, онъ не высказалъ своего послѣдняго слова—и хорошо сдѣлалъ: его бы не поняли. Скептики искали успокоенія въ своей собственной личности; сомнѣваясь во вселенной, сомнѣваясь въ разумѣ, въ истинѣ, они указывали каждому, какъ

¹⁾ Секстъ-эмпирикъ жилъ во II вѣкѣ послѣ Р. Х. Человѣкъ ума необъятнаго, но чисто-отрицательнаго, онъ не только все отрицалъ, но еще хуже,—онъ принималъ все; въ его діалектикѣ есть какая-то иронія, повергающая въ отчаяніе; онъ отвергаетъ каузальность ⁹⁾, напр., но потомъ говорить: стало-быть есть достаточная причина отвергать причину, какъ причину,—если такъ, то и причина отвергать каузальность несостоятельна. Онъ, какъ Кантъ, выставилъ ряды антиномій и всѣ ихъ оставилъ антиноміями. Послѣднимъ словомъ своимъ онъ сказалъ: «Тогда только тревожность духа успокоится, и водворится счастливая жизнь, когда бѣгущему отъ зла или стремящемуся къ добру укажутъ, что нѣтъ ни добра, ни зла». Послѣ такихъ словъ, міръ, который привелъ къ нимъ, долженъ пересоздаться.—А. И. Г.

⁹⁾ Causalité—причинность.

на послѣднее убѣжище, какъ на якорь спасенія, на свою личность; но не прямо ли это вело къ положенію самопознанія, какъ сущности? не показываетъ ли это, что въ концѣ древняго міра духъ человѣческій, утративъ довѣріе къ міру, къ праву, къ политеизму, къ наукѣ, провидѣль, что въ одномъ углубленіи въ себя можно найти замѣну всѣмъ утратамъ? Это пророческое предсознаніе безконечнаго достоинства человѣка, едва мерцающее въ скептицизмѣ, явившемся убить пластическую, художественную науку Греціи, далеко перехватывало за предѣлы тогдашняго состоянія мысли. Человѣку надобно было почти двумя тысячелѣтіями приготовиться, чтобъ вынести сознаніе своего величія и достоинства.

Послѣ горячешаго и безумнаго времени первыхъ цезарей, настало для Рима время нѣсколько спокойное; старикъ, вставшій съ одра смерти, почувствовалъ, что онъ въ болѣзни не только не утратилъ всѣхъ силъ, а приобрѣлъ новыя; онъ не замѣчалъ, что это—послѣднее упрямство жизни, напряженіе, за которымъ неминуемо слѣдуетъ гробъ. Все пришло въ порядокъ, и жизнь имперіи развертывалась величаво, могущественно; прокладывая свои каменные дороги и воздвигая вѣчные дворцы, она могла еще плѣнить поддѣльной красотой своей Гиббона ¹⁾. Правда, что-то предчувствовалось, какой-то лихорадочный трепетъ время отъ времени пробѣгалъ по членамъ всей имперіи; на границахъ собирались какія-то дикія, долговолосыя и бѣлокурыя толпы; рабы смотрѣли на своихъ господъ съ большей ненавистью, нежели на этихъ варваровъ; люди, одаренные зоркими глазами, видѣли неотразимость грозы, но такихъ людей бываетъ немного. Официально Римъ стоялъ сильно и тяготѣлъ надъ всѣмъ древнимъ міромъ; официально онъ былъ еще *вѣчный городъ*; тупое довѣріе къ незыблемости существующаго порядка еще владѣло большинствомъ умовъ. Весь древній міръ собрался въ Римъ, какъ въ одинъ узелъ, въ одинъ царящій органъ; оттого именно Римъ и утрачиваетъ свою особность и дѣлается представителемъ не себя, а цѣлой вселенной; всѣ жизненные силы покоренныхъ имъ народовъ текли въ него; онъ какъ бы для того совлекалъ ихъ, чтобъ можно было, по извѣстному поэтическому выраженію Калигулы, однимъ ударомъ снести голову древнему міру. Суровый Римъ могъ покорить вселенную, приладить свой умъ къ чужой мысли, свою душу къ чужому искусству, но продолжать греческой жизни не могъ; въ его душѣ какъ-то печально сочеталась отвлеченность и практической смыслъ, въ его

¹⁾ Эдуардъ, англійскій историкъ XVIII в., авторъ одного изъ капитальнѣйшихъ сочиненій о Римской имперіи.

душѣ была безконечная мощь и вмѣстѣ съ нею пустота, ничѣмъ не наполняемая: ни побѣдами, ни юридической казуистикой, ни утонченной нѣгой, ни развратомъ тираніи и кровавыхъ зрѣлищъ. Жизнь Греціи не перешла въ Италію. *Des Lebens Mai blüht einmal und nicht wieder* ¹⁾).

Въ противоположность граждански-политическому центру въ Римѣ, въ Александріи сосредоточились полнѣйшіе и послѣдніе представители древней мысли; тамъ матеріально, здѣсь интеллектуально собирались дружины древняго міра подѣ ветхія свси знамена не для того, чтобъ побѣдить, а для того, чтобъ склонить ихъ, наконецъ, передъ новымъ знаменіемъ. Вопросъ, поглотившій всѣ вопросы въ неоплатонизмѣ, состоялъ въ опредѣленіи отношеній частнаго ко всеобщему, міра явленій къ началу являющемуся, человѣка къ Богу.

Вы видѣли изъ прошлаго письма, что греческая мысль, какъ только становилась лицомъ къ лицу съ этимъ вопросомъ, оказывалась несостоятельною; какъ только она поднималась на эту высоту, у ней всякій разъ кружилось въ головѣ, и она начинала бредить и поддаваться языческимъ представленіямъ. Неоплатонизмъ серьезнѣе и шире взялся за эти вопросы: онъ принялъ въ себя много юдаическаго, вообще восточнаго и сочеталъ эти элементы, неизвѣстные греческой наукѣ, съ глубокимъ изученіемъ Пифагора, Платона и Аристотеля; онъ съ самаго начала почти не стоитъ на языческой почвѣ, несмотря на то, что высшій представитель его, Прокль ²⁾, съ упрямствомъ удерживаетъ греческое многобожіе. Политеизмъ обоготворялъ, оличалъ разныя силы природы, давалъ имъ образъ человѣческой и этимъ образомъ давалъ характеръ той естественной силы, которой живымъ представителемъ являлся образъ. Неоплатоники отвлеченные моменты логическаго процесса, моменты мірового развитія представляли фазами безусловнаго духа, безтѣлеснаго, соприсносущаго міру, замкнутаго въ себѣ; они понимали его «живымъ въ движеніи вещества», по превосходному державинскому выраженію; грубо понятый неоплатонизмъ—своего рода язычество, своего рода антропоморфизмъ, но не художественный, а мистическій. Они, собственно, не хотятъ кумира, но, принявъ іероглифическій языкъ, они такъ затемняютъ смыслъ своей рѣчи, что трудно догадаться, чтò у нихъ символъ и чтò представляемое, тѣмъ болѣе трудно, что они всѣми силами стараются показать свою преданность язычеству и, понимая разныя отвлеченныя истины подѣ

¹⁾ Весна жизни цвѣтетъ лишь разъ и снова не цвѣтетъ.

²⁾ Греческій философъ V вѣка.

именами боговъ и богинь, сбиваютъ съ толку ¹⁾). Неоплатоники дѣлали опыты рачіонально оправдать язычество, наукой доказать абсолютность его и, разумѣется, только нанесли новый ударъ древней религіи; если ужъ однажды замѣшаны были разумъ и наука въ дѣло фантастическихъ представленій, то можно было ждать, что они обличатъ ихъ недѣйствительность. Философія что бы ни принялась оправдывать, оправдываетъ только разумъ, т. е. себя. Точка отправленія Прокла — восторженная созерцательность; человѣкъ жизнью, настроеніемъ духа долженъ готовить себя къ восторженности, возводящей его на высоту созерцательности, которой только возможно вѣдѣніе безусловнаго. Безусловное, какъ оно есть само по себѣ, отвлеченное отъ условнаго, знать нельзя; оно въ себѣ остающееся, отвлеченное единство, но оно дѣлается понятнымъ, обнаруживаясь, происходя, развиваясь. Но развитіе единаго не есть необузданное себяистрачиваніе, теряющееся въ ариѳметической безконечности, нѣтъ,—оно, развиваясь, остается самимъ собою. Взаимодѣйствіе этой полярности, предѣлъ, мѣра—перегибъ къ средоточію. Отсюда Проклъ выводитъ свои три момента: *единство, безконечность, мѣра*. Нельзя не замѣтить, что при всей силѣ и высотѣ этого воззрѣнія, оно отправляется не отъ логическаго предшествующаго, а отъ непосредственнаго вѣдѣнія, даннаго восторженностью; его мысль вѣрна, но метода не наукообразна, не оправдана. Религія идетъ отъ безусловной истины: ей не нужно такого оправданія; но неоплатоники хотѣли науки, и, какъ наука, ихъ воззрѣніе при всей высотѣ своей не совсѣмъ состоятельно.

Неоплатонизмъ всѣми сторонами души своей, всѣми симпатіями, положеніемъ мысли относительно временнаго выходитъ изъ древней мысли и вступаетъ въ міръ христіанскій; но, несмотря на это, неоплатоники не хотѣли принять христіанства: они мечтали новое вино налить въ старые мѣха. Неоплатонизмъ — отчаянный опытъ древняго разума спастись своими средствами,—опытъ величественный, но неудачный. Неужели неоплатоническимъ отвлеченнымъ, труднымъ, запутаннымъ языкомъ, ихъ философскимъ эклектизмомъ, ихъ теургической гностикой и любовью къ сверхъестественному можно было остановить паденіе Рима, остановить эпикуреизмъ, остановить скептицизмъ, и, наконецъ, неужели ихъ языкомъ можно было говорить съ народомъ? Неоплатонизмъ блѣднѣетъ передъ христіанствомъ, какъ все отвлеченное блѣднѣетъ передъ полнымъ жизни. Во всѣхъ этихъ ученіяхъ вѣетъ грядущее, но во всѣхъ *чего-то*

¹⁾ У Прокла это всего яснѣе; онъ былъ посвященъ во всѣ таинства и удивлялъ жрецовъ своими теологическими тонкостями.—А. И. Г.

не достаетъ,—того властнаго глагола, той молніи, которая сплавляетъ изъ отрывчатыхъ и полувысказанныхъ начинаній единое цѣлое. У неоплатониковъ, почти какъ у нынѣшнихъ мечтателей-соціалистовъ, пробиваются великія слова: примиреніе, обновленіе, *παληγγέσεις ἀποκαταστάσις πάντων* ¹⁾, но они остаются отвлеченными, неудобно-понятными, такъ, какъ ихъ теодицея; неоплатонизмъ былъ для ученыхъ, для немногихъ. «У насъ (т. е. у христіанъ) дѣти теперь,—говоритъ Тертуллианъ,—больше знаютъ о Богѣ, нежели ваши мудрецы». Борются съ христіанствомъ было безумно, но гордая философія точно такъ же, какъ гордый Римъ, не обратила сначала вниманія на это. Странное дѣло: Римъ какъ будто утратилъ въ гнусную эпоху лихихъ цезарей весь свой умъ и впадалъ въ жалкое старчество людей, которые дѣлаются ничтожными и суетными на краю могилы; проповѣдываніе Евангелія уже раздавалось на площадяхъ его, а римская аристократія и умники съ улыбкой смотрѣли на бѣдную ересь назарейскую и писали подлые панегирики, пошлые мадригалы, не замѣчая, что рабы, бѣдняки, всѣ труждающіеся и обремененные, слушали новую вѣсть искупленія. Тацитъ не понималъ сначала, и Плиній ²⁾ не понималъ потомъ, что совершалось передъ ихъ глазами. Неоплатоники видѣли такъ же, какъ стоики и скептики, странное состояніе гражданскаго порядка и нравственнаго быта, но увлеченные созерцательностью, они не могли съ отчаянія удариться въ невѣріе, въ чувственность; несостоятельность міра положительнаго привела ихъ къ презрѣнію всего временнаго, естественнаго, къ отысканію другого міра внутри себя, независимаго и безусловнаго. Этотъ міръ, при глубокомъ и страстномъ вниканіи въ него, велъ къ признанію одного отвлеченнаго и духовнаго за истину ³⁾; но это духовное было и шире и выше понято ими, нежели всей предшествующей мысли; одно оно исполняло то, къ

¹⁾ Возрожденіе и возвращеніе всего въ первоначальное состояніе.

²⁾ Младшій, римскій историкъ на рубежѣ I и II столѣтій.

³⁾ Вотъ что говоритъ Порфирій ⁹⁾ о своемъ учителѣ: «Плотинъ ⁹⁰⁾ намъ казался существомъ высшимъ; онъ стыдился своего тѣла, не любилъ говорить ни о своей семьѣ, ни о родителяхъ, ни объ отчизнѣ. Никогда не позволялъ онъ, чтобъ его тѣло было повторено живописцемъ или ваятелемъ; когда Аврелій просилъ его позволенія срисовать его, онъ отвѣтилъ ему: «Не довольно ли, что мы принуждены таскать съ собою тѣло, въ которомъ заключены природою? неужели намъ еще оставлять изображеніе тюрьмы, какъ будто видъ ея имѣетъ въ себѣ что-либо величественное?». Это чисто-романтическое направленіе!—А. И. Г.

⁹⁾ Греческій философъ конца III столѣтія.

⁹⁰⁾ Тоже.

чему они стремились, одно христіанство соотвѣтствовало неоплатонизму; а между тѣмъ, неоплатоники не только были язычниками по привычкѣ или потому, что, родившись язычниками, изъ *ложнаю стыда* хотѣли остаться ими,—нѣтъ, они въ самомъ дѣлѣ воображали, что миѡя язычества—лучшая плоть для истины. Люди, наклонные все матеріальное считать призракомъ, въ самомъ началѣ сдѣлали такую грубую ошибку, что потомъ имъ легко было принимать послѣдствія, вовсе не идущія изъ ихъ началъ, и мириться со всѣмъ тѣмъ, съ чѣмъ не хотѣли мириться. Но что же мѣшало имъ отречься отъ стараго, умершаго воззрѣнія? То, что это вовсе не такъ легко, какъ кажется.

Побѣжденное и старое не тотчасъ сходитъ въ могилу; долговѣчность и упорность отходящаго основаны на внутренней хранительной силѣ всего сущаго: ею защищается до-нельзя все однажды призванное къ жизни; всемірная экономія не позволяетъ ничему сущему сойти въ могилу прежде истощенія всѣхъ силъ. Консервативность въ историческомъ мірѣ такъ же вѣрна жизни, какъ вѣчное движеніе и обновленіе; въ ней громко высказывается мощное одобреніе существующаго, признаніе его правъ; стремленіе впередъ, напротивъ, выражаетъ неудовлетворительность существующаго, исканіе фѡрмы, болѣе соотвѣтствующей новой степені развѣтїя разума; оно ничѣмъ не довольно, негодуетъ; ему тѣсно въ существующемъ порядкѣ, а историческое движеніе тѣмъ временемъ идетъ діагонально, повинувась обѣимъ силамъ, противопоставляя ихъ другъ другу и тѣмъ самымъ спасаясь отъ односторонности. Воспоминаніе и надежда status quo и прогрессъ—антиномія исторїи, два ея берега; status quo основанъ на фактическомъ признанїи, что каждая осуществившаяся фѡрма—дѣйствительный сосудъ жизни, побѣда одержанная, истина, доказанная непреложно бытіемъ; онъ основанъ на вѣрной мысли, что человѣчество въ каждый историческій моментъ обладаетъ всею полнотою жизни, что ему нечего ждать будущаго, чтобъ пользоваться своими правами. Консервативное направленіе будитъ въ душѣ святые воспоминанія, близкія и родныя, зоветъ возвратиться въ родительскїй домъ, гдѣ такъ юно, такъ беззаботно текла жизнь, забывая, что домъ этотъ сдѣлался тѣсенъ и полуразвалился; оно отправляется отъ золотого вѣка. Совершенствованіе идетъ къ золотому вѣку, протестуетъ противъ признанія опредѣленнаго за безусловное, видитъ въ истинѣ былого и сущаго истину относительную, не имѣющую права на вѣчное существованіе и свидѣтельствующую о своей ограниченности—именно своей переходимостью; оно хранитъ также въ себѣ бывшее, но не хочетъ его сдѣлать мѣтой его мечты въ будущемъ, въ святомъ упованїи. Мірѣ

языческой, исключительно національный, непосредственный, былъ всегда подъ обаятельной властью воспоминанія; христіанство поставило надежду въ число краеугольныхъ добродѣтелей. Хотя надежда всякій разъ побѣдитъ воспоминаніе, тѣмъ не менѣе борьба ихъ бываетъ зла и продолжительна. Старое страшно защищается, и это понятно: какъ жизни не держаться ревниво за достигнутыя формы? Она новыхъ еще не знаетъ, она сама—эти формы; сознать себя прошедшимъ—самоотверженіе, почти невозможное живому, это—самоубійство Катона. Отходящій порядокъ вещей обладаетъ полнымъ развитіемъ, всестороннимъ приложеніемъ, прочными корнями въ сердцѣ; юное, напротивъ, только возникаетъ; оно сначала является всеобщимъ и отвлеченнымъ; оно бѣдно и наго, а старое богато и сильно. Новое надобно созидать въ потѣ лица, а старое само продолжаетъ существовать и твердо держится на костыляхъ привычки. Новое надобно изслѣдовать; оно требуетъ внутренней работы, пожертвованій; старое принимается безъ анализа, оно готово,—великое право въ глазахъ людей; на новое смотрятъ съ недовѣріемъ, потому что черты его юны, а къ дряхлымъ чертамъ стараго такъ привыкли, что онѣ кажутся вѣчными. Сила, чары воспоминанія могутъ иногда пересилить увлеченія манящей надежды: хотя въ прошедшаго во что бы то ни стало, въ немъ видятъ будущее.

Таковъ, на примѣръ, Юліанъ-Отступникъ. Въ его время вопросъ о бытіи и небытіи древняго міра уже страшно постановился; не знать его было нельзя. Три возможныя рѣшенія представлялись: язычество, т. е. бывшее, воспоминаніе; отчаяніе, т. е. скептицизмъ—ни былого, ни будущаго, и, наконецъ, принятіе христіанства и, съ тѣмъ вмѣстѣ, выходъ въ новый грядущій міръ съ оставленіемъ мертвымъ хоронить мертвыхъ. Юліанъ былъ горячій мечтатель, чловѣкъ съ энергической душой; сначала безъ дѣла, весь отданный греческой наукѣ, потомъ въ дальней Лютеціи ¹⁾ занятый рѣшеніемъ тяжкаго вопроса о современности, — онъ рѣшилъ его въ пользу прошедшаго. Замѣтимъ, между прочимъ, что ни средоточіе неоплатонизма, ни Юліанъ не жили въ Византіи: они могли мечтать о миновавшихъ нравахъ, о возстановленіи древняго порядка дѣлъ внѣ новой столицы, внѣ города, которымъ Константинъ отрекся отъ язычества и отъ неразрывнаго съ язычествомъ быта древней столицы. Теоретически казалось возможнымъ не токмо воскресить бывшее, но, воскрешая, просвѣтлить его. Юліанъ былъ чловѣкъ нравовъ строгихъ и высокихъ доблестей. Въ лицѣ его древній міръ

¹⁾ Древнее названіе Парижа.

очистился, просіялъ, какъ будто сознательно приготавливаясь къ честной и безпостыдной кончинѣ. Воля его была тверда, благородна, умъ гениальный! Все тщетно! Воскресить прошедшее было просто невозможно. Мало зрѣлицъ болѣе торжественныхъ и успокоительныхъ, какъ безсиліе такихъ гигантовъ, какъ Юліанъ, противъ духа времени; по ихъ силѣ и по безсилію дѣйствія можно легко измѣрить всю несостоятельность не схороненнаго прошедшаго противъ нарождающагося будущаго. Конечно, воспоминанія Аѳинъ и Рима, грустныя и упрекающія, являлись на опустѣвшихъ стѣнахъ и мощно звали къ себѣ; конечно, жаль было прекрасный міръ, уходившій въ гробъ,—намъ вчужѣ жаль его до слезъ, но что же дѣлать противъ совершившагося событія? Его смерть была трагическій фактъ, котораго не принять нельзя было людямъ, присутствовавшимъ при похоронахъ. Не споримъ: своего рода мрачная поэзія окружаетъ людей прошедшаго; есть что-то трогательное въ ихъ погребальной процессіи, идущей вспять, въ ихъ вѣчно неудачныхъ попыткахъ воскресить покойника. Вспомните о евреяхъ, ожидающихъ до сего дня возстановленія царства израильскаго, борящихся до сихъ поръ противъ христіанства... Что можетъ быть печальнѣе положенія еврея въ Европѣ, — этого человѣка, отрицающаго всю широкую жизнь около себя на основаніи неподвижныхъ преданій! Груды его некому распахнуться, потому что все сочувствовавшее съ нимъ умерло вѣка тому назадъ; онъ съ ненавистью и съ завистью смотритъ на все европейское, зная, что не имѣетъ законнаго права ни на какой плодъ этой жизни и въ то же время не умѣетъ обойтись безъ удобства европеизма...

Всякій рѣзкій переворотъ долго послѣ себя оставляетъ представителей враждующихъ сторонъ. Вы найдете жидовскую неподвижность и въ Сенъ-Жерменскомъ предмѣстьи, въ нашихъ старыхъ и новыхъ раскольникахъ... Неоплатоники были въ томъ же самомъ положеніи; они, какъ мы сказали, всѣмъ слоємъ своего ума, всѣмъ ученіемъ своимъ вышли изъ древняго міра и натягивали какое-то близкое сродство съ нимъ, котораго вовсе не было въ ихъ душѣ; они своего рода націонализмомъ дошли до аллегорическаго оправданія язычества и вообразили, что они вѣрятъ въ него. Они хотѣли какимъ-то философски-литературнымъ образомъ воскресить умершій порядокъ вещей. Они обманывали себя болѣе, нежели другихъ. Они въ прошедшемъ видѣли собственно будущій идеаль, но облеченный въ ризы прошедшаго. Если-бъ, въ самомъ дѣлѣ, давно прошедшій бытъ могъ воскреснуть на мигъ, во время полного разгара неоплатонизма, поклонники его содрогнулись бы передъ нимъ, не потому, что онъ былъ дурень въ *свое* время, а потому,

что *его* время уже миновало; потому что онъ представлялъ вовсе не ту среду, которая была нужна для современнаго человѣка,—что сдѣлали бы Прокль и Плотинъ въ суровомъ времени пуническихъ войнъ? Но тѣмъ не менѣе люди, предавшіеся былому, глубоко страдаютъ; они столько же вышли изъ окружающаго, какъ и тѣ, которые живутъ въ одномъ будущемъ. Страданія эти необходимо сопровождаютъ всякій переворотъ: послѣднее время передъ вступленіемъ въ новую фазу жизни тягостно, невыносимо для всякаго мыслящаго; всѣ вопросы становятся скорбны, люди готовы принять самыя нелѣпыя разрѣшенія, лишь бы успокоиться; фанатическія вѣрованія идутъ рядомъ съ холоднымъ невѣріемъ, безумныя надежды объ-руку съ отчаяніемъ; предчувствіе томить, хочется сойти, а повидимому, ничего не совершается ¹⁾.

Это—глухая, подземная работа, пробивающаяся на свѣтъ, мучительная беременность, время тягости и страданій; оно похоже на переходъ по степи, безотрадный, изнуряющій: ни тѣни для отдыха, ни источника для оживленія; плоды, взятые съ собою, гнилы; плоды встрѣчающіеся кислы. Бѣдныя промежуточныя поколѣнія,—они погибаютъ на полдорогѣ обыкновенно, изнуряясь лихорадочнымъ состояніемъ; поколѣнія выморочныя, не принадлежащія ни къ тому, ни къ другому міру, они несутъ всю тягость зла прошедшаго и отлучены отъ всѣхъ благъ будущаго. Новый міръ забудетъ ихъ, какъ забываетъ радостный путникъ, пріѣхавшій въ свою семью, верблюда, который несъ все достояніе его и палъ на пути. Счастливы тѣ, которые закрыли глаза, видя, хоть издали, деревья обѣтованнаго края; большая часть умираетъ или въ безумномъ бреду, или устремляя глаза на давящее небо и лежа на жесткомъ, каленомъ пескѣ... Древній міръ, въ послѣдніе вѣка своей жизни, испыталъ всю горечь этой чаши; круче и сильнѣе переворота въ исторіи не было; спасти могло одно христіанство, а оно такъ рѣзко становилось въ противоположность съ міромъ языческимъ, ниспровергая всѣ прежнія вѣрованія, убѣжденія его, что трудно было людямъ разомъ отор-

¹⁾ Посмотрите, какія страшныя слова вырываются иногда у Плинія, у Лукана ⁹⁾, у Сенеки ¹⁰⁾. Вы въ нихъ найдете и апоѳеозъ самоубійству, и горькіе упреки жизни, и желаніе смерти, да какой смерти — «смерти съ упованіемъ уничтоженія!» — «Смерть единственное вознагражденіе за несчастіе рожденія, и что намъ въ ней, если она ведетъ къ безсмертію? Лишенные счастья не родиться, неужели мы лишены счастья уничтожиться?» («Hist. Nat.»). Это говоритъ Плиній. Какая усталъ пала на душу людей этихъ, какое отчаяніе придавило ихъ!—А. И. Г.

⁹⁾ Маркъ-Анней, римскій эпическій поэтъ I вѣка.

¹⁰⁾ Луцій-Анней, римскій философъ-стоикъ и писатель I вѣка.

ваться отъ прошедшаго. Надобно было переродиться, по словамъ Евангелія, отказаться отъ всей суммы нажитыхъ истинъ и правиль,—это чрезвычайно трудно; практическая, обыденная мудрость несравненно глубже пускаетъ корни, нежели само положительное законодательство. А между тѣмъ новый міръ только и могъ начаться съ такого разрыва; неоплатоники были реформаторы, они хотѣли побѣлнить да подновить новое зданіе; они хотѣли, не жертвуя старымъ, воспользоваться новымъ, — и имъ не удалось. «Кто отца своего любитъ болѣе Меня, тотъ не достоинъ Меня». Древняя мысль сначала аристократически не знала христіанства; когда же она поняла его, — испуганная, вступила съ нимъ въ борьбу; она истощала всѣ средства, чтобъ безуспѣшно противодѣйствовать ему: она была умна, но безсильна и не современна. Пять столѣтій выдержала она себя; наконецъ, въ 529 году Юстиніанъ изгналъ всѣхъ языческихъ философовъ изъ предѣловъ имперіи и закрылъ послѣднюю неоплатоническую школу; *семь* послѣднихъ представителей древней науки бѣжали въ Персію; персъ Хозрой выпросилъ имъ позволеніе возвратиться на родину, и они потерялись безвѣстными скитальцами, они не нашли уже аудиторій своихъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ распространился страшный моръ; казалось, физическіе элементы, самъ шаръ земной участвуютъ въ послѣднемъ актѣ этой трагедіи; люди умирали сотнями, города пустѣли, судорожно и болѣзненно сжималось сердце оставшихся,—въ этихъ судорогахъ умиралъ древній міръ. Императоръ Левъ Исавръ попробовалъ уничтожить его духовное завѣщаніе: онъ сжегъ огромную бібліотеку въ Византіи и запретилъ преподавать въ школахъ что-либо, кромѣ религіи.

Новый міръ, торжественно и глубокознаменательно встрѣтившійся съ старымъ Римомъ въ лицѣ апостола Павла, представшаго передъ цезаремъ Нерономъ, побѣдилъ.

Вы можете меня упрекнуть, что, обѣщая писать объ изученіи природы, я доселѣ всего менѣе говорилъ объ естествовѣдѣніи,—но упрекъ вашъ врядъ ли будетъ справедливъ. Цѣль моихъ писемъ вовсе не та, чтобъ знакомить васъ съ фактической частью естественныхъ наукъ,—мнѣ хотѣлось одного: по мѣрѣ возможности показать, что антагонизмъ между философіей и естествовѣдѣніемъ становится со всякимъ днемъ нелѣпѣе и невозможнѣе; что онъ держится на взаимномъ непониманіи, что эмпірія такъ же истинна и дѣйствительна, какъ идеализмъ, что спекуляція есть ихъ единство, ихъ соединеніе. Для достиженія предположенной цѣли мнѣ казалось ¹⁾ необходимымъ раскрыть, откуда развился антагонизмъ

1) См. начало второго письма.—А. И. Г.

естествовѣдѣнія съ философіей, а это само собою вело къ опредѣленію науки вообще и къ историческому очерку ея. Въ логикѣ наука выходитъ готовой, какъ вооруженная Паллада изъ головы Юпитера; ей недостаетъ рожденія и ребячества; въ исторіи, она вырастаетъ изъ едва замѣтнаго зародыша. Не зная эмбриологіи науки, не зная судебъ ея, трудно понять ея современное состояніе; логическое развитіе не передаетъ съ тою жизненностью и очевидностью положенія науки, какъ исторія. Логика на все смотритъ съ точки зрѣнія вѣчности,—оттого все относительное и историческое теряется въ ней. Логика, раскрывая нелѣпость, думаетъ, что она сняла ее; исторія знаетъ, какими крѣпкими корнями нелѣпость прирастаетъ къ землѣ, и она одна можетъ ясно раскрыть состояніе современной борьбы.

Но упрекъ былъ бы и съ другой стороны несправедливъ; мы говорили только о древнемъ мірѣ, а въ древнемъ мірѣ все научно-образное развитіе сосредоточивалось въ философіи. Въ строгомъ смыслѣ слова, древній міръ не имѣлъ науки о природѣ; въ немъ было благородное стремленіе все узнать, объяснить явленія, понять окружающее; Плиній ¹⁾ говоритъ, что незнаніе природы—гнусная неблагодарность; но древніе естествоиспытатели чаще всего ограничивались этимъ благороднымъ стремленіемъ и поверхностными теоріями. Древній міръ не умѣлъ наблюдать, не умѣлъ пытаться явленія и ихъ допрашивать; оттого естествовѣдѣніе его состояло изъ общихъ взглядовъ, вѣрности поразительной, и изъ частныхъ фактовъ, большею частью, отрывочныхъ и худо облѣдованныхъ ²⁾; для него наука была дилетантизмомъ, художественной потребностью, а не жгучей жаждой истины; оттого Плинію, какъ и Лукрецію, довлѣетъ сочувствіе съ природой и поэтическое созерцаніе ея. «*Historia Naturalis*» ³⁾ Плинія даетъ примѣры на каждомъ шагу: начнетъ ли онъ описывать небо,—онъ останавливается съ итальянскимъ пристрастіемъ къ солнцу и называетъ его божествомъ, *все-видящимъ и всеслышающимъ*, божествомъ всеоживляющимъ, божествомъ, удаляющимъ грустные помыслы; обратится ли онъ къ землѣ,—опять вдохновеніе (и нѣсколько риторики): онъ ее называетъ матерью кроткой, милосердой, которая кормитъ насъ, даетъ защиту, опору и послѣ смерти скрываетъ въ своихъ нѣдрахъ бранные

¹⁾ Старшій, римскій ученый и писатель I вѣка.

²⁾ Одна отрасль естествовѣдѣнія, тѣсно связанная съ математикой и заставлявшая поневолѣ наблюдать,—астрономія, развилась въ наиболѣе наукообразную форму при Гиппархѣ и Птоломеяхъ; оттого «Алмагеста» и устояла до самого Коперника.—А. И. Г.

³⁾ «Естественная исторія».

остатки. «Воздухъ реветъ бурей и сгущается въ тучи, всда льется дождями, цѣпенѣтъ градомъ, несется потоками, а земля—*at hæc benigna, mitis, indulgens usuique mortalium semper ancilia, quae coacta generat!* 1). Она на всѣ наши нужды имѣтъ отвѣтъ; она произвела даже ядовитыя растенія для того, чтобъ человѣкъ, накучившій жизнью, могъ легко прекратить ее, не бросаясь со скалъ» («*Historia Naturalis*», Lib. II, LXIII).

Не изучать природу, а наслаждаться поэтическимъ пониманіемъ ея,—вотъ чего хотѣлось древнимъ. Впрочемъ, обращаясь назадъ, мы встрѣчаемъ, какъ великое исключеніе, того же колоссальнаго человѣка, который по всему великій представитель древняго міра—Аристотеля. Его общій взглядъ на природу мы знаемъ, но онъ великъ и какъ наблюдатель,—онъ оставилъ превосходныя монографіи. Извѣстно, что Александръ Македонскій на походахъ своихъ не забывалъ высылать цѣлые отряды воиновъ на ловлю звѣрей и отправлялъ ихъ къ Аристотелю; такимъ образомъ онъ первый занимался сравнительной анатоміей; онъ помышлялъ уже о стройномъ рядѣ развитія животнаго царства; его раздѣленіе, какъ мы имѣли случай замѣтить, осталось до сихъ поръ. Взглядъ Аристотеля въ естествовѣдѣніи, какъ и вездѣ, спекулятивенъ и до чрезвычайности реаленъ; принимая природу за процессъ, за дѣятельность, одѣйствовворяющую возможность, заключенную въ ней. Аристотель равно далекъ отъ идеальности Платона и отъ матеріализма Эпикура, хотя въ немъ есть оба эти элемента. Въ послѣдователяхъ его, особенно занимавшихся естествовѣдѣніемъ, начинается замѣтно преобладать матеріализмъ; такъ, напримѣръ, Стратонъ стремился все сущее объяснить одними физическими средствами; онъ отвергалъ всякую за-природную причину; цѣлесообразность мірозданія казалась ему вымысломъ или, по крайней мѣрѣ, предположеніемъ, не имѣющимъ доказательствъ. Всѣ явленія и ихъ связь принималъ онъ за слѣдствіе случайнаго взаимодѣйствія основныхъ свойствъ природы, заключенныхъ въ вѣчной матеріи. Міръ чувствованій—точно также проявленіе естественной силы, особымъ образомъ опредѣленной въ организмѣ, котораго вещественные элементы сочетались первоначально безъ цѣли, а потомъ воспользовались представившимися условіями, чтобъ развиться до возможнаго предѣла; достигнувъ его, организмъ не развивается, а повторяетъ себя для сохраненія рода 2). Самыми полными пред-

1) «Обильная, кроткая, милостивая, постоянная раба смертныхъ, которая насильно производитъ».

2) Buhle, «Geschichte der Phil. seit der Wiederherstellung der Wissenschaften», 1800. Т. I.—А. И. Г.

ставителями этого возрѣнія, сдѣлавшагося подѣ концѣ общимъ возрѣніемъ древнихъ натуралистовъ, могутъ быть Лукрецій и Плиніи-Младшій. Греческая мысль сдѣлалась въ нѣкоторыхъ областяхъ общнѣе и яснѣе, перейдя на римскую почву. Лукрецій, въ началѣ своей знаменитой поэмы «De rerum natura» ¹⁾, говоритъ съ той же ироніей о темнотѣ греческихъ философовъ, съ какой нынѣ говорятъ французы о германской наукѣ. Въ самомъ дѣлѣ, Лукрецій ясенъ и увлекателенъ; въ немъ эпикурейское возрѣніе созрѣло, согрѣтое огненной кровью поэта, и пышно расцвѣло. Съ перваго взгляда кажется страннымъ сочетаніе поэзіи съ эпикурейскимъ матеріализмомъ, но вспомнимъ, что этому человѣку съ горячимъ сердцемъ и съ реальными страстями предстоялъ выборъ между падающимъ язычествомъ, темнымъ аскетизмомъ неоплатониковъ и свободнымъ взглядомъ тогдашняго матеріализма. Сказки міѳологіи граціозны и милы, особенно для насъ, знающихъ, что это сказки; во время Лукреціи онѣ становились противны; противодѣйствіе язычеству было въ модѣ, въ хорошемъ тонѣ; напрасно Цицеронъ краснорѣчиво хотѣлъ талейрановски пройти между философій и язычествомъ, примирить ихъ внѣшнимъ образомъ и сочетать въ насильственный и невозможный бракъ; Юліи Цезарь въ засѣданіи сената открыто сказалъ, что не вѣритъ въ безсмертіе души, а потому Сенека повторилъ это со сцены. Извѣстно, какъ строго былъ въ отношеніи къ мнѣніямъ древній греко-римскій міръ, особенно во время Лукреціи; спустя полвѣка послѣ него, цезари догадались, что имъ надобно поддерживать всюю властью своей язычество. Каллигула въ томъ же сенатѣ рассказывалъ о таинственныхъ видѣніяхъ и былъ горячій поклонникъ кумировъ, о rendez-vous, назначенныхъ ему луною, и проч.; Геліогабалъ—еще болѣе.

Лукрецій начинаетъ à la Hegel съ бытія и небытія, какъ съ дѣятельныхъ началъ, взаимодействующихъ и сосуществующихъ; эти логическія абстракціи выражены у него языкомъ атомистовъ: атомы и пустота—вотъ полюсы, вотъ крайности, стремящіяся къ равновѣсію. Атомы несутся въ безконечной пустотѣ, встрѣчаются, летятъ вмѣстѣ, проникаютъ другъ въ друга, сочетаются въ тѣла въ то время, какъ другіе теряются въ неизмѣримой пустотѣ ²⁾. Возникаютъ цѣлые міры тамъ, гдѣ встрѣчаются условія возникновенія, и гибнутъ міры тамъ, гдѣ эти условія нарушены; но эта ги-

¹⁾ «О природѣ вещей».

²⁾ Кстати замѣтитъ здѣсь, что древніе были самые плохіе химики (въ теоретическомъ смыслѣ); однако, они предвидѣли и догадывались о химическомъ сродствѣ; они понимали, что извѣстныя вещества съ одними соединяются, имѣютъ къ нимъ симпатію, съ другими нѣтъ (гомеомерія).—А. И. I

бель и это возникновение относятся только къ частямъ, сопокупность же всего сущаго, все обнимаю въ себѣ, вѣчна и безконечна: «стрѣла пущенная можетъ летѣть цѣлые вѣка и все такъ же быть далекою отъ конца вселенной, какъ въ первую минуту, когда она пущена»; вселенная живетъ въ этихъ видоизмѣненіяхъ, это ея жизнь, ея развитіе, которыя и составляютъ ея цѣль. Милое физическое невѣжество иногда невольно срываетъ улыбку, когда читаешь Лукреція, котораго доля лжи и истины уже очевидна изъ сказаннаго; но чаще онъ увлекаетъ пламенемъ, струящимся черезъ всю поэму: такого сочувствія съ жизнію отъ Лукреція до Гете вы не встрѣтите. Да и только въ древнемъ мірѣ могла прійти въ голову и такъ исполниться мысль—изложить космологію и физику въ поэмѣ, стихами! Это потому, что они именно съ пластической стороны смотрѣли на все,—тѣмъ болѣе, на природу. Любовь къ жизни, любовь къ наслажденію и мудрая мѣра въ нихъ, пренебреженіе смерти ¹⁾ и какой-то братски-родственный взглядъ на все живое,—вотъ философія Лукреція. Онъ бросился въ физику, потому что язычество съ своимъ фатумомъ и съ своими олимпійцами подозрительнаго поведенія не удовлетворяли; онъ торжественно въ каждой пѣснѣ провозглашаетъ, что Эпикуръ—величайшій изъ грековъ, что съ него началась нравственность,—нравственность сознательная, человѣческая, которой мѣшали всякія привидѣнія языческой религіи ²⁾; что съ тѣхъ поръ нравственность имѣетъ мѣрило въ самомъ человѣкѣ и проч. Ставъ на эту точку, гонимый своимъ огненнымъ сердцемъ, разумѣется, онъ пошелъ до всякихъ крайностей, но по дорогѣ встрѣтилъ и высказалъ бездну прекраснаго. Одно изъ лучшихъ мѣстъ въ его поэмѣ, это—его геогонія; онъ рассказываетъ развитіе планеты отъ стихійной борьбы до того уравновѣшеннаго состоянія, когда показались растенія; потомъ заставляетъ *особенно* разившіяся растенія скучать своей привязанностью къ землѣ и оторваться отъ стебля, это—животное; и, наконецъ, человѣкъ, родившійся прямо изъ земли на стеблѣ. Хотя все это нѣсколько смѣшно, но поэтичнѣе мудрено себѣ представить переходъ отъ растеній къ животнымъ, какъ представляя цвѣтокъ, оторвавшійся отъ стебля и полетѣвшій бабочкой; замѣтите,

¹⁾ Лукрецій, между прочимъ, въ утѣшеніе умирающимъ, говоритъ, что всѣ мертвые—ровесники, ибо для нихъ нѣтъ времени.—А. И. Г.

²⁾ Вспомните краснорѣчивыя страницы Августиновой *de Civitate Dei* ⁹⁾ и его обличенія всей суетности и непослѣдовательности языческой религіи, всей уродливости ея нравственности.—А. И. Г.

⁹⁾ Сочиненіе св. Августина «О государствѣ божьемъ».

что Лукрецій при этомъ упоминаетъ, что необходимыя условія возникновенія органической жизни—теплота и влага. Отвергая безсмертіе души, онъ принимаетъ какую-то эфирную душу, которая такъ легка и жидка, что какъ вылетитъ, такъ и пропадетъ въ безконечной пустотѣ; составныя части ея бываютъ разны: такъ, у льва душа захватила въ себя огню, а у оленя холоднаго вѣтра! Теперь земной шаръ старѣется, и оттого онъ утратилъ способность производить новые роды, а только поддерживаетъ прежніе. Онъ произвелъ ихъ въ свою юность, когда внутри его кипѣли въ преизбыткѣ силы; тогда даже являлись уродливыя существа, которымъ впослѣдствіи природа отказала въ правѣ на жизнь (итакъ, Лукрецій предполагалъ ископаемыя животныя?).

«Historia Naturalis» Плинія—энциклопедія, задуманная и выполненная колоссально—представляетъ общій сводъ знаній космологическихъ, физическихъ, географическихъ и проч. Это сочиненіе показало бы рубежъ, далѣе котораго знаніе природы не шло въ римскомъ мірѣ, если-бъ слѣдомъ за нимъ не явился Галенъ ¹⁾; но Галенъ занимался исключительно медициной, и потому его открытія, сверхъ собственно-патологическихъ, всѣ относятся къ физиологіи и анатоміи; о нервной системѣ до Галена имѣли очень сбивчивое понятіе, называли часто нервами связки, сухія жилы; наконецъ, и въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ узнавали ихъ, имъ приписывали невѣрно и смутно ихъ отправленія. Галенъ первый показалъ, что нервы идутъ изъ мозга, что въ нихъ и въ мозгу вся причина сочувствованія, что нервъ заставляетъ по волѣ сжиматься мышцы и, слѣдовательно, есть органъ, управляющій движеніемъ. Онъ доказалъ это тѣмъ, что мышцы лишаются свойствъ движенія, если перерѣзать управляющій нервъ, и именно лишаются ниже перерѣза, т. е. въ части, разобщенной съ мозгомъ. Съ тѣхъ поръ стали душу, т. е. ея мѣсто, искать исключительно въ головномъ мозгу ²⁾. Воззрѣніе Плинія вообще идетъ изъ тѣхъ же началъ, какъ воззрѣніе Лукреція, но онъ богаче свѣдѣніями и болѣе послѣдователенъ своему взгляду; его взглядъ опредѣленъ исчерпывающимъ образомъ имъ

¹⁾ Клавдій, знаменитый врачъ II столѣтія.

²⁾ Галенъ первый замѣтилъ, что артеріи наполнены кровью, а не воздухомъ; при разсѣченіи труповъ, разумѣется, артеріи всякій разъ представлялись пустыми, и до Галена полагали, что въ нихъ обращается воздухъ. Между прочимъ, Галенъ говоритъ: «если-бъ людямъ удалось узнать составъ воздуха, объяснилась бы животная теплота: *истиннѣ поддерживается тѣмъ же, чѣмъ жизнь*». Это предвѣдѣніе кислорода! Въ XVI вѣкѣ Цизалпинъ вздумалъ доказывать, что центръ нервной системы въ сердцѣ, а Цизалпинъ былъ очень и очень ученый докторъ. Вотъ каковы были средніе вѣка для естествовѣдѣнія!—А. И. Г.

самимъ. «Вселенная,—говоритъ онъ,—вмѣстѣ съ небомъ, покрывающимъ ее со всѣхъ сторонъ, представляется вѣчнымъ, безпредѣльнымъ существомъ, не происшедшимъ, не переходящимъ. Изслѣдованіе того, что внѣ вселенной, людямъ бесполезно, да и, сверхъ того, оно не удобопонятно для ума человѣческаго; вселенная свята, вѣчна, неизмѣрима, вся во всемъ, сама все. Она конечна и похожа на безконечное, правильна во всѣхъ явленіяхъ своихъ и похожа на лишенную правильности (необходима и, повидимому, случайна); она все обнимаетъ видимое на свѣтѣ и во тьмѣ спрятанное; она—произведеніе сущности вещей и въ то же время сама сущность вещей». Не надобно, однако, думать, что Плиніи очень глубокомысленно понималъ то, что высказалось такъ поэтически. Онъ далеко отстаетъ отъ Аристотеля, — мысль потеряла свою свѣжесть и ясность; она слишкомъ облеклась въ риторическія формы, была слишкомъ внѣшняя. Плиніи, напр., не могъ уразумѣть намека пифагорейцевъ и Аристотеля о тяготѣніи, а говоритъ, что легкія тѣла стремятся вверхъ, тяжелыя—внизъ, мѣшаютъ другъ другу и на взаимномъ противодѣйствіи остаются въ равновѣсіи: такъ, земной шаръ не падаетъ оттого, что атмосфера его поддерживаетъ. Какъ могъ обширный умъ его удовлетвориться такими жалкими объясненіями, — это столько же непонятно, какъ разные анекдоты, приводимые имъ среди дѣльныхъ зоологическихъ описаній, наприм., о рыбѣ ehineis, которая останавливаетъ корабли дѣйствіемъ своихъ мышцъ, объ андрогинахъ, переходящихъ изъ пола въ полъ, о женщинахъ, родившихъ слона, объ астомахъ, питающихся воздухомъ. Древніе съ дѣтской довѣрчивостью вѣрили и опыту и преданію, принимая фактическій міръ за такую же дѣйствительность, какъ міръ мысли, какъ міръ традиціонный, и ставя легенды въ число фактовъ. Въ самомъ дѣлѣ, единство бытія и мышленія, факта и понятія составляло непосредственное вѣрованіе ихъ, мѣшавшее рефлексіи и анализу, не позволявшее возникнуть истинной наукѣ и совершенно свойственное артистическому дилетантизму; оттого-то они такъ часто путаютъ эмпирію съ діалектикой, опытъ съ преданіемъ, ставя ихъ на одну доску, переходя произвольно отъ одного къ другому.

1844 г. Декабрь.

ПИСЬМО ПЯТОЕ.

Схоластика.

Греко-римская жизнь, дряхлѣя, отрицала мало-по-малу то тотъ основной элементъ свой, то другой; но все это были полумѣры, событія болѣе, нежели убѣжденія, или убѣжденія, не переходившія

въ событія. Философія съ Сократа, и даже до него, стремилась снять односторонность эллинскаго воззрѣнія и во многомъ отрицала его, но отрицала внутри извѣстнаго круга, за предѣлы котораго, несмотря на всю жизненность свою, она рѣдко переходила. Историческія событія вводили обычаи, прямо противоположные религіознымъ нормамъ древней жизни, но они прививались тайкомъ и безсознательно; напр., обоготвореніе цезарей фактически снимало язычество, перенося боговъ совсѣмъ на иную почву; статуя представляла мистическое сочетаніе камня съ самой всеобщей человѣческой или божественной сущностью; поклоненіе Клавдію или Нерону смѣшивало божественное съ существующимъ человѣкомъ, это—своего рода атеизмъ. Основы гражданскаго устройства древнихъ республикъ считались единими истинными и были поруганы какой-то нелѣпой пародіей на нихъ во время имперіи. Всѣ эти отрицанія, вы видите, недобросовѣстны, лукавы, отрывочны. Образованные люди видѣли нелѣпость язычества, были вольнодумцы и кощуны, но язычество оставалось, какъ офиціальная религія, и на улицѣ они поклонялись тому, надъ чѣмъ ругались дома, потому что чернь стояла за него; иначе и быть не могло: у ней только и оставалось. Ни у кого не было храбрости открыто, громогласно отрицать основанія древней жизни, да и во имя чего могла возникнуть такая высокая дерзость? Внутри римской жизни могло явиться мрачное, печальное отрицаніе Секста-эмпирика, глумливое, злое Лукіана, холодно-образованное Плинія или, наконецъ, отрицаніе разврата и безучастія, того душевнаго холода и чувственнаго огня, которому нѣтъ дѣла до религіознаго и гражданскаго порядка, но который плачетъ объ умершей Муренѣ и рукоплещетъ умирающему гладіатору, поднося къ губамъ изображеніе *божественнаю*, т. е. царствующаго на сію минуту цезаря. Отрицанія обновляющаго, созидающаго не было въ римской жизни или оно было только въ возможности принять христіанство.

Христіанство является совершенно противоположнымъ древнему порядку вещей; это не то половинное и безсильное отрицаніе, о которомъ мы говорили ¹⁾, а отрицаніе, полное мощи, на-

¹⁾ Сравните *созидающее* разрушеніе блаженнаго Августина съ *esprits forts* ^{о)} или съ ихъ отчаяннымъ скрежетомъ зубовъ. Плиній, наприм., говоритъ, что единственное утѣшеніе людямъ состоитъ въ томъ, что боги также не всемогущи, не могутъ себя сдѣлать смертными, людей безсмертными, ни того, чтобъ прошедшее не было или чтобъ два раза десять не было двадцать. Онъ съ горькимъ упрекомъ замѣчаетъ, что люди, не довольствуясь Олимпомъ и не имѣя силъ отречься отъ него, выдумали себѣ

^{о)} Свободомыслиціе.

дежды, откровенное, беспощадное и увѣренное въ себѣ. Возьмите «De Civitate Dei» Августина и полемическія сочиненія первыхъ христіанскихъ писателей,—вотъ какъ надобно отречься отъ стараго и ветхаго; но такъ можно отречься, имѣя новое, имѣя святую вѣру. Добродѣтели языческаго міра—блестящіе пороки въ глазахъ христіанина; въ статуѣ, передъ красотой которой склонялся грекъ, онъ видитъ чувственную наготу; онъ отказывается отъ прекраснаго греческаго храма и помѣщаетъ алтарь свой въ базиликѣ, лишь бы не служить Богу истинному въ тѣхъ стѣнахъ, въ которыхъ служили богамъ ложнымъ. вмѣсто гордости, христіанинъ смиряется; вмѣсто стяжанія, онъ обрекаетъ себя добровольной нищетѣ; вмѣсто упоеній чувственностью, онъ наслаждается лишениями ¹⁾. Христіанство было прямью, рѣзкимъ антинезисомъ тезису древняго міра. Многіе воображаютъ, что послѣдніе три столѣтія такъ же отдѣлены отъ среднихъ вѣковъ, какъ средніе вѣка отъ древняго міра; это несправедливо: вѣка реформаціи и образованности представляютъ послѣднюю фазу развитія католицизма и феодальности; можетъ быть, они во многомъ перешли кругъ, котораго очертаніе сдѣлано было изъ Ватикана, но тѣмъ не менѣе они представляютъ органическое продолженіе предыдущаго; всѣ основы социализма за-

новья цѣпи, склонились передъ отвлеченными страшилищами — передъ *случаемъ* и *счастьемъ* и трепещутъ безумно передъ собственными вымыслами. Лукіанъ — Вольтеръ той эпохи. Возьмите, на примѣръ, его *трагическаго Юпитера*, это — комедія-buffa на Олимпѣ. Онъ представляетъ Юпитера, растерявшагося отъ спора эпикурейца, отвергающаго боговъ, со стоикомъ; не зная, что дѣлать, Юпитеръ собираетъ совѣтъ. Начинается споръ, кому гдѣ сидѣть. Юпитеръ приказываетъ сперва усадить золотыхъ боговъ, потомъ мраморныхъ, и притомъ сперва Праксителевой работы, потомъ другихъ мастеровъ. Нептунъ тутъ же объявляетъ, что онъ не сядетъ ниже какаго-нибудь египетскаго урода изъ золота съ собачьей мордой. Велѣно быть безъ чиновъ. Вдругъ съ топотомъ и трескомъ переваливается Колоссъ родосскій и говорить, что онъ, хотя и мѣдный, но мѣди въ него пошло больше, нежели золота въ иного золотого бога. Пока они vzdорятъ и пока Юпитеръ собираетъ нелѣпныя мнѣнія, между которыми отличается мнѣніе олимпійскаго Скалозуба—Геркулеса, который проситъ позволенія покачать колонны портика, подъ которыми идетъ споръ, эпикуреецъ побѣждаетъ стоика, и Олимпъ въ дуракахъ. Можно было потрясти язычество, особенно въ извѣстномъ кругу людей, такими ѣдкими насмѣшками, но такое отрицаніе оставяло пустоту въ душѣ. И потомъ, порицая язычество, тѣ же люди видѣли въ социализмѣ древняго міра идеалъ; они хотѣли сохранить Римъ и Грецію съ ихъ гражданскимъ устройствомъ, одностороннимъ и тѣсно связаннымъ съ религіей.—А. И. Г.

¹⁾ Выраженіе, принадлежащее Григорію Назіанскому въ письмѣ къ Василію Великому: «Помнишь ли, говоритъ онъ, какъ мы наслаждались лишениями и постомъ?»—А. И. Г.

падно-европейскаго остались неприкосновенными, христіанство осталось нравственной основой жизни; новое понятіе о правѣ выросло на той же почвѣ римскаго, каноническаго и варварскаго права; различіе его состояло не въ различіи основаній, а въ иномъ (часто произвольномъ) толкованіи ихъ, болѣе сообразномъ съ новой степенью образованности. Ни Лютеръ, ни Вольтеръ не провели огненной черты между былымъ и новымъ, какъ Августинъ; у нихъ такая черта не имѣла бы смысла, точно такъ, какъ у Сократа, у Платона, переходившихъ во многомъ циклъ аѳинской жизни, но принадлежавшихъ къ ней. Противоположность христіанскаго воззрѣнія съ древнимъ требовала не *передѣлки*, а пересозданія. Древній міръ, чувственный, художественный, все принимавшій съ легкостью и съ юношескою улыбкою, вездѣ пробивался къ мысли и нигдѣ не могъ отрѣшиться отъ непосредственности, нигдѣ не умѣлъ итти до крайнихъ выводовъ. Его наука была поэма, его искусство было религіей, его понятіе о человѣкѣ не раздѣлялось съ понятіемъ гражданина, его республика поддерживалась страшно задавленной каріатидой невольничества, его нравственность состояла изъ юридическихъ обязанностей ¹⁾; онъ уважалъ въ согражданинѣ монополію, привилегію, а не человѣческую личность его. Юношескій міръ этотъ былъ увлекательно прекрасенъ и съ тѣмъ вмѣстѣ непростительно легкомысленъ; философствуя, онъ отталкивалъ важнѣйшіе вопросы, потому что они не такъ легко разрѣшались, или удовлетворялся легкими рѣшеніями ихъ; утопая въ роскоши и наслажденіяхъ, онъ не думалъ о темномъ подвалѣ, въ которомъ стонутъ въ колодкахъ рабы, возвратившіеся съ поля. Вдругъ прелестныя декорачіи, ограничившія горизонтъ древняго міра, исчезли,—открылась безконечная даль, которой и не подозрѣвалъ міръ гармонической соразмѣрности; основы его показались мелки въ этомъ безбрежии, а лицо человѣка, потерянное въ гражданскихъ отношеніяхъ древняго міра, выросло до какой-то недосягаемой высоты, искупленное словомъ божіимъ. Непосредственныя и гражданскія опредѣленія оказались второстепенными; личность христіанина стала выше сборной личности города; ей раскрылось все безконечное достоинство ея,—Евангеліе торжественно огласило права человѣка, и люди впервые услышали, *что они такое*. Какъ было не перемѣниться всему! Древняя любовь къ отечеству, высокая и прекрасная, но ограниченная и не справедливая, замѣняется любовью къ ближнему, узкая націо-

¹⁾ Если нѣкоторые мыслители стояли выше общественнаго мнѣнія о нравственности, то это только значить, что они уже перешли предѣлы древняго воззрѣнія. Въ этомъ отношеніи, можетъ быть, Сенека всѣхъ выше,—потому-то и стоитъ на самомъ краю древняго міра.—А. И. Г.

нальность — единствомъ въ вѣрѣ; Римъ съ гордостью удостваивалъ избранныхъ правомъ своего гражданства,—христіанство предлагало всѣмъ крещеніе водою. Древній міръ вѣрилъ безотчетно въ природу, въ ея дѣйствительность, принималъ ее, какъ фактъ, принималъ, потому что видѣлъ своими глазами; для него природа была все, за ея предѣлами ничего; онъ видѣлъ во временномъ естественномъ вѣчное и духовное, онъ видѣлъ въ красотѣ высшее выраженіе вышшаго, никогда не могъ оторваться отъ природы,—и оттого никогда не зналъ ея. Новый міръ именно въ матеріальную природу, въ явленія и не вѣрилъ; онъ отвергалъ дѣйствительность преходящаго, вѣрилъ событію духовному, принималъ красоту за низшее выраженіе вышшаго, не былъ пластиченъ, чувствовалъ свой разрывъ съ природой и стремился къ духовному примиренію съ ней въ мышленіи, къ искупленію природы въ себѣ. Древній міръ жилъ въ настоящемъ, вспоминалъ часто бывшее, но о будущемъ не думалъ; а если и являлась страшная мысль рока, преслѣдовавшая его безпрестанно, то это для того, чтобъ толкнуть человѣка къ наслажденіямъ совѣтомъ въ родѣ *non curiamo l'incerto domani* ¹⁾ застойной пѣсни изъ «Лукреціи» ²⁾; оттого — этотъ упоительный, чувственный *bien être* въ жизни, эта роскошь въ наслажденіяхъ, эта страстная нѣга, доходящая до поэтической увлекательности и до отвратительной животности, въ сравненіи съ которой нашъ комфортъ жалокъ и нашъ развратъ смѣшонъ. Для древняго міра, какъ будто, не было жизни за гробомъ; Ахиллъ сказалъ Улиссу въ преисподней, что онъ пошелъ бы въ рабы, лишь бы на землю; мысль о смерти иногда страшила ихъ, мысль о будущей жизни почти вовсе не занимала никого. Вѣра въ безсмертіе сдѣлалась, напротивъ, одной изъ краеугольныхъ основъ христіанства; признавая вѣчность свою и преходимость естественнаго, человѣкъ совсѣмъ иначе взглянулъ на все окружающее его. «Два града сдѣлали двѣ любви: земной градъ — любовь къ себѣ до пренебреженія Богомъ; градъ небесный—любовь къ Богу до пренебреженія собою» («De Civ. Dei»).

Въ то время, какъ проповѣдываніе Евангелія измѣняло внутренняго человѣка, дряхлое устройство государственное оставалось въ явномъ противорѣчій съ догматами религіи. Христіане приняли римское государство и римское право; побѣжденный и отходящій міръ нашель средство проникнуть въ станъ побѣдителей. Восточная имперія, принявъ во всей чистотѣ евангельское ученіе, осталась при той формѣ цезарскаго управленія, которое Діоклетіанъ, злѣйшій

¹⁾ «Не будемъ заботиться о невѣрномъ завтра».

²⁾ «Лукреція Борджія»—опера Доницетти.

гонитель христіанства, развилъ до нелѣпости. Въ Западной имперіи, съ своей стороны, явился новый элементъ, также не христіанскій,— элементъ тевтонизма, народнаго духа дикихъ полчищъ, страшныхъ въ невинной кровожадности своей, въ своей скитающейся неутомимости, въ своемъ дружинномъ братствѣ и любви къ необузданной волѣ. Надобно было усмирить, укротить дикарей; надобно было сломить ихъ желѣзную и задорную волю волей, еще болѣе желѣзной и настойчивой. Эту великую задачу задали себѣ первосвященники римскіе; разрѣшая ее, они утратили свой характеръ чуждости всему мірскому; католицизмъ сорвалъ германца съ его почвы и пересадилъ на другую, но самъ, между тѣмъ, пустилъ корни въ землю, которую стремился вытолкнуть изъ-подъ ногъ мірянъ; желая управлять жизнію, онъ долженъ былъ сдѣлаться практическимъ, пещься о мнозѣ; отвергая эти заботы, онъ принялъ ихъ. Началась безпрерывная борьба духовнаго порядка со свѣтскимъ; католицизмъ мало-по-малу побѣждалъ, побѣждалъ для того, чтобъ, наконецъ, спокойно насладиться плодомъ своихъ трудовъ въ лицѣ, наприм., Льва X, который больше похожъ на доблестнаго цезаря, нежели на намѣстника св. Петра. Въ эту борьбу послѣдовательно вовлеклись всѣ стороны тогдашней жизни; самая странная противорѣчія безпрестанно встрѣчаются въ одной и той же груди. Эта борьба Гвельфовъ и Гибелиновъ, повторявшаяся въ разныхъ видахъ, похожа на бой змѣи съ человѣкомъ, представленный Дантомъ,—бой, въ которомъ то человѣкъ дѣлается змѣей, то змѣя—человѣкомъ; въ этой борьбѣ одного нѣтъ—эгоизма и холода: все увлечено, несетя, крутится, и во всемъ элементъ безконечности и элементъ безумія.

Научный интересъ того времени сосредоточивался въ схоластикѣ. Схоластика—неловкій, жесткій и сухой амфибій,—замѣняла истинную науку до самыхъ временъ негодующаго безпокойства и освобожденія теоретической дѣятельности въ XVI вѣкѣ. Отношеніе свое къ истинѣ и къ предмету схоластика опредѣляла странно, чисто формально и совершенно не самостоятельно. Не думайте, чтобъ схоластика была вообще христіанской мудростью,—нѣтъ, ее ищите въ отцахъ церкви первыхъ вѣковъ, особенно восточныхъ. Схоластика была и не вполнѣ религіозна, и не вполнѣ наукообразна; отъ шаткости въ вѣрѣ она искала силлогизмы, отъ шаткости въ логикѣ она искала вѣрованія; она предавала свой догматъ самому щепетильному умствованію и предавала умствованіе самому буквальному приниманію догмата. Она одного боялась, какъ огня: самобытности мысли; ей лишь бы чувствовать помочи Аристотеля или другого признаннаго руководителя. О естествовѣдѣніи не можетъ быть и

рѣчи: схоластика такъ презирала природу, что не могла заниматься ею; природа страшно противорѣчила ихъ дуализму; природа не брала участія въ безконечныхъ спорахъ схоластиковъ: какого же она могла ожидать участія отъ нихъ, убѣжденныхъ, что высшая мудрость только и существуетъ въ ихъ опредѣленіяхъ, раздѣленіяхъ и проч.? Вообще они считали природу подлой рабой, готовой исполнять своевольную прихоть человѣка, потворствовать всѣмъ нечистымъ побужденіямъ, отрывать отъ высшей жизни, и въ то же время они боялись ея тайнаго, демоническаго вліянія, увѣренные, что вся вселенная находится въ личныхъ отношеніяхъ съ каждымъ человѣкомъ, непріязненныхъ или мирволящихъ. Ясно, что вмѣсто естественнѣдѣнія явились астрологія, алхимія, чародѣйство. Съ ограниченной точки зрѣнія схоластическаго дуализма, значеніе всего естественнаго опредѣлялось превратно: все хорошее отнимали у природы и ставили внѣ ея, хотя никто и не спрашивалъ, гдѣ собственно ея предѣлы; все естественное, физическое покрывали завѣсой, стыдились тѣла, въ немъ видѣли распутную наложницу духа и скорбѣли объ этой связи. Люди того времени представляли себѣ внутри земнаго шара Люцифера, жующаго Іуду и Брута, къ которымъ тяготитъ все тяжелое міра вещественнаго и все злое міра нравственнаго. Они хотѣли попать ногами, уничтожить временное, хотѣли не знать его; дуализмъ схоластики не имѣетъ въ себѣ ничего всѣхскорбящаго, примиряющаго, исполненнаго любви, хотя говоритъ объ ней очень много; это—апоѳеозъ отвлеченнаго, формальнаго мышленія, апоѳеозъ личности эгоистической, сознавшей достоинство свое, но недостойной еще понять его не правомъ пренебреженія природою, а правомъ освобожденія себя и природы въ дѣйствительномъ, вселюбящемъ мышленіи. Схоластики не уразумѣли настолько христіанства, чтобъ понять искупленіе *не отрицаніемъ конечною, а спасеніемъ ею*. Христіанство снимаетъ собственно дуализмъ, — суровое воззрѣніе католическихъ теологовъ не могло постигнуть этого ¹⁾. Замѣтите, это—одна изъ существеннѣйшихъ ошибокъ западнаго воззрѣнія, вызвавшая впослѣдствіи только сильное противодѣйствіе. Оно придало среднимъ вѣкамъ ихъ угрюмый, натянутый, темный характеръ. Міръ схоластическій печалень; это міръ искуса, міръ уничтоженія всего непосредственнаго, міръ скучнаго формализма и мертвеннаго взгляда на жизнь; мысль перестала быть «доблестною потребностью», какъ называлъ ее Аристотель; она мучитъ, терзаетъ средневѣковаго человѣка; она сознала всю

¹⁾ Апостолъ Павелъ къ коринѣянамъ говоритъ: «Вся тварь ждетъ искупленія». Этого не хотѣли понять схоластики.—А. И. Г.

мощь раздвоенія и прошла между сердцемъ и умомъ, между подлежащимъ и сказуемымъ, между духомъ и матеріей, желая все торжество предоставить внутреннему и имъ посрамить все внѣшнее. Единство бытія и мышленія шло такъ же впередъ у древнихъ, какъ ихъ противорѣчіе у схоластиковъ; иначе не возникли бы и знаменитые споры номиналистовъ и реалистовъ. Примѣръ какого-нибудь Роджера Бэкона ¹⁾, не презирающаго опыта, какого-нибудь Раймунда Луллія ²⁾, бросающагося между тысячью фантастическими и поэтическими затѣями на химію, ничего не доказываетъ; такія отрывочныя явленія не имѣютъ связи со всѣмъ окружающимъ; разсудочный, сухой спиритуализмъ, буквальныя толкованія, логическія уловки, діалектическія дерзости и раболѣпіе передъ авторитетомъ—таковъ характеръ схоластики до реформации, до XVI вѣка. Въ концѣ этого вѣка погибъ Петръ Рамюсъ ³⁾, за то, что смѣлъ возстать противъ Аристотеля; Джордано Бруно и Ванини ⁴⁾ были казнены за ихъ ученія убѣжденія: одинъ въ 1600, другой въ 1619 году. Какая же дѣйствительная наука могла развиваться въ этой душной и узкой атмосферѣ? Одна формалистика — бѣдный плющъ, выросшій на тюремной оградѣ, — прозябала въ ней; ея томный, лунный свѣтъ былъ безъ теплоты и самобытности; ея вопросы ⁵⁾ были такъ далеки отъ жизни и такъ мелочны, что ревнивая цензура папская выносила ее. Ученія занятія въ это время получили характеръ чисто книжный, котораго они въ древнемъ мірѣ не имѣли; кто хотѣлъ знать, развертывалъ книгу, отъ жизни же и отъ природы отворачивался. Схоластики искали истину позади себя, они хотѣли ей *выучиться*, они думали, что она цѣликомъ написана, и, разумѣется, не двигались впередъ. Характеръ этотъ частію перешель въ кровь нѣмецкихъ ученыхъ.

Наконецъ, послѣ тысячелѣтняго безпокойнаго сна челоувѣчество собрало новыя силы на новый подвигъ мысли; въ XV вѣкѣ пробуждаются иныя требованія, тянетъ утреннимъ воздухомъ. Настала эпоха передѣлыванія. Вниманіе людей обращалось болѣе и

¹⁾ Англійскій монахъ XIII столѣтія,—одинъ изъ немногихъ и лучшихъ представителей точной науки въ среднихъ вѣкахъ.

²⁾ Испанскій алхимикъ и писатель.

³⁾ Франц. писатель, убитый въ Варооломеевскую ночь.

⁴⁾ Лучиліо, итал. философъ, сожженный по обвиненію въ безбожии.

⁵⁾ Предметы споровъ у схоластиковъ иногда поразительны; напр.: «Адамъ въ первобытномъ состояніи зналъ ли Liber sententiarum Петра Ломбардскаго ^{о)}, или нѣтъ?»—А. И. Г.

^{о)} Знаменитый схоластикъ XII вѣка. Главное его твореніе — «Книга сентенцій», имѣвшая очень большое вліяніе.

болѣе на реальные предметы, на морскія путешествія, совершенныя тогда на новую часть земного шара, на странную и отчасти обидную для схоластикова мысль Коперника, на то тихое, незамѣтное открытіе, сдѣланное въ душевой мастерской, передъ горномъ, за станкомъ литейщика, о которомъ алхимикъ Клодъ Фролло сказалъ смиренному аббату *beati Martini*: «*ceci tuera cela*» ¹⁾; но оно убило не зодчество, а темноту. Въ Италіи всего ранѣе раздались новыя требованія: мечтатель Ріенци ²⁾ вспомнилъ древній Римъ и хотѣлъ возстановить его; ему рукоплескала Петрарка, возстановитель классическаго искусства и поэтъ на *вульгарномъ* нарѣчій ³⁾. Греки наѣзжали изъ Византіи и привозили съ собою руно, схищенное у нихъ въ продолженіе десяти вѣковъ. Другъ Козьмы Медичи, Марзілій Физинъ, превосходно переводилъ Платона, Прокла и Плотина. Самое изученіе Аристотеля получило новый характеръ; доселѣ Аристотель былъ какимъ-то подавляющимъ гнетомъ, его изучали формально, механически, по уродливымъ переводамъ; теперь взяли подлинникъ. Правда, умы были до того развращены схоластикой, что ничего не умѣли понимать просто; чувственное воззрѣніе на предметы было притуплено, ясное сознаніе казалось пошлымъ, а пошлая логомахія безъ содержанія, опертая на авторитеты, была принимаема за истину; чѣмъ узорчатѣе, щеголеватѣе, непонятнѣе были формы, тѣмъ выше ставили писателя. Томы вздорныхъ комментаріевъ писались объ Аристотелѣ; таланты, энергіи, цѣлыя жизни тратились на самую бесполезнѣйшую логомахію; но, между тѣмъ, горизонтъ расширялся; собственное изученіе древнихъ писателей поневолѣ заносило мысли, свѣжія и живыя; вліяніе ихъ было неизмѣримо. Слабая, непривычная къ самомышленію, лѣнивая и формальная способность средневѣковыхъ умовъ не могла сама собою отрѣшиться отъ безжизненной формалистики своей; у нея не было человѣческаго языка, на которомъ можно было бы говорить дѣло; наконецъ, ей было стыдно говорить о *дѣлѣ*, потому что она считала его вздоромъ.

Вдругъ найдена чужая рѣчь, готовая, стройная, выражавшая превосходно то, чего схоластическіе доктора и не умѣли, и не смѣли высказать; мало этого — чужая рѣчь опиралась на славныя имена. Чувствующіе свое несовершеннолѣтіе нашли новые авторитеты и возстали противъ старыхъ. Все заговорило цитатами изъ Виргилія, Цицерона, а отъ Аристотеля, напротивъ, стали отрекаться.

¹⁾ То будетъ убито этимъ.

²⁾ Кола (Николай), знаменитый римскій трибунъ XIV вѣка.

³⁾ Т. е. не на ученомъ латинскомъ языкѣ.

Патрици ¹⁾ представилъ, въ половинѣ XVI вѣка, папѣ Григорію XIV сочиненіе, въ которомъ обращалъ его вниманіе на противорѣчіе аристотелевскаго ученія съ церковью; этого противорѣчія не замѣтили лѣтъ пятьсотъ къ ряду добрые схоластики и доказывали догматы Аристотелемъ, Аристотеля—догматами. Наконецъ, въ одномъ изъ древнѣйшихъ средоточій схоластики и чуть ли не въ самомъ главномъ, въ Парижѣ, явился Гуссъ перипатетизма—Пьеръ la Ramée ²⁾, и объявилъ, что онъ противъ всѣхъ готовъ защищать тезисъ: «Все ученіе Аристотеля ложно». Крикъ негодованія раздался между учеными, онъ дошелъ до дворца Франсиска I; король назначилъ надъ нимъ судъ для того, чтобы *осудить* его. Рамусъ защищался, какъ левъ, но пощады не было; его прогнали, обвинили, и онъ послѣ этого пошелъ скитаться по всей Европѣ, изгоняемый и преслѣдуемый, бранясь, переѣзжая съ мѣста на мѣсто. Пятьдесятъ лѣтъ боролся этотъ человѣкъ съ Аристотелемъ и, наконецъ, погибъ въ борьбѣ. Онъ проповѣдывалъ противъ Стагирита точно такъ же, какъ гугеноты проповѣдывали противъ папы. Сходство его съ протестантами очень велико; онъ былъ прозаичнѣе,—можетъ быть, пошлѣе, плоче своихъ враговъ, плоче многихъ комментаторовъ Аристотеля (Помпонаціо ³⁾, на прим.),—но у него были практическія и своевременныя требованія; онъ гнушался фORMALИЗМОМЪ и словопреніемъ; ему хотѣлось приложенія, пользы; онъ былъ ниже Аристотеля, такъ, какъ многіе протестанты ниже католическаго воззрѣнія; но онъ боролся съ Аристотелемъ схоластики такъ, какъ протестанты съ католицизмомъ XVI вѣка. Около того же времени является торжественная и не прерывающаяся процессія людей, мощныхъ и сильныхъ, приготовившихъ пропиленіе новой наукѣ; во главѣ ихъ (не по времени, а по мощи) Джордано Бруно, потомъ Ванини, Карданъ ⁴⁾, Кампанелла ⁵⁾, Телезіо ⁶⁾, Парацельсъ ⁷⁾ и др. Главный характеръ этихъ великихъ дѣятелей состоитъ въ живомъ, вѣрномъ чувствѣ тѣсноты, неудовлетворительности въ замкнутомъ кругѣ современной имъ науки, во всепоглощающемъ стремленіи къ истинѣ, въ какомъ-то дарѣ провидѣнія ея.

Время возстанія противъ схоластики исполнено драматическаго интереса. Читая біографіи, развертывая писанія энергическихъ

¹⁾ Франческо, итал. поэтъ и философъ.

²⁾ Это было прозвище Петра Рамюса.

³⁾ Итальянскій философъ XV в.

⁴⁾ Джеромъ, итальянскій математикъ XVI вѣка.

⁵⁾ Томасо, итальянскій философъ. и одинъ изъ провозвѣстниковъ социализма, авторъ «Государство Солнца».

⁶⁾ Бернадино, итал. философъ XVI в.

⁷⁾ Первый профессоръ химіи отъ сотворенія міра.—А. И. Г.

людей, рвавшихъ цѣпи, которыя опутывали науку, вы увидите разомъ двойную борьбу, въ которую они были вовлечены. Одна совершается въ ихъ душѣ — борьба психическая, трудная, волнующая ихъ непрерывно, придающая многимъ изъ нихъ эксцентрической, почти судорожный видъ. Другая борьба — наружная, оканчивающаяся на кострѣ, въ темницѣ, ибо схоластика, устрешенная нападками, спряталась за инквизицію, смертными приговорами возражала на смѣлые тезисы противниковъ и, вырывая ихъ языкъ клещами палача, заставляла умолкать. Многихъ удивляетъ шаткая непослѣдовательность ихъ и мужественная воля, — неполнота, такъ сказать, ихъ мысли и полнота самоотверженія; но развѣ можно сразу отдѣлаться отъ историческихъ предразсудковъ? Не отъ непониманія зависитъ эта шаткость. Истина всегда бываетъ проще нелѣпости, но умъ человѣка — вовсе не одна возможность пониманія, не *tabula rasa*: онъ засоренъ со дня рожденія историческими предразсудками, повѣрjami и проч.; ему трудно возстановить нормальное отношеніе свое къ простому пониманію, особенно въ то время, о которомъ идетъ рѣчь. Что удивительнаго, что Парацельзъ вѣрилъ въ алхімію, Карданъ называлъ себя магомъ? ¹⁾ Имъ трудно было вырвать изъ груди мнѣнія, освященныя вѣками, трудно было примирить ихъ съ восходящимъ свѣтомъ сознанія. Они, впрочемъ, и не сдѣлали этого. Они были такъ восторженны, что не могли порядкомъ установиться; это — эпоха первой любви, упоенія, не знающаго мѣры, эпоха новости поражающей; не ищите у нихъ строгой, наукообразной формы; ими только открыта почва науки, ими только освобождена мысль; содержаніе ея понято больше сердцемъ и фантазіей, нежели разумомъ.

Вѣка должны были пройти прежде, нежели наука могла развить методой тѣ истины, которыя Джордано Бруно высказалъ восторженно, пророчески, вдохновенно. Это принятіе въ кровь и плоть своихъ убѣжденій придало имъ ихъ личную мощь, поддержало ихъ въ борьбѣ внѣшней: гонимые, скитальцы изъ страны въ страну, окруженные опасностями, они не зарыли изъ благоразумнаго страха истины, о которой были призваны свидѣтельствовать; они высказывали ее вездѣ; гдѣ не могли высказывать прямо, одѣвали ее въ маскарадное платье, облекали аллегоріями, прятали подъ условными знаками, прикрывали тонкимъ флеромъ, который для зоркаго, для желающаго ничего не скрывалъ, но скрывалъ отъ врага: любовь догадливѣе и пронизательнѣе ненависти. Иногда они это дѣлали,

¹⁾ Даже Бэконъ Веруламскій не могъ совершенно отдѣлаться отъ астрологіи и магіи.—А. И. Г.

чтобы не испугать робкія души современниковъ; иногда, чтобы не тотчасъ попасть на костерь. Легко въ наше время человѣку развивать свое убѣжденіе, когда онъ только и думаетъ о болѣе ясной формѣ изложенія; въ ту эпоху это было невозможно. Коперникъ скрывалъ свое открытіе авторитетами, взятыми изъ древнихъ философовъ, и, можетъ быть, одно это спасло его лично отъ гоненій, вполсѣдствіи обрушившихся на Галилея и на всѣхъ послѣдователей его. Надобно было хитрить... «Хитрость,—говоритъ одинъ мыслитель,—женственность воли, иронія дикой силы». Маккіавелли знали кой-что объ этой хитрости. Все вмѣстѣ придавало тогдашнимъ дѣятелямъ характеръ трепетнаго безпокойства и волненія. Они не были въ полномъ миру ни съ собою, ни съ окружающимъ. Истинно спокоенъ или человѣкъ, принадлежащій зоологіи, или тотъ, кто, однажды кончивъ съ собою, видитъ согласіе своихъ внутреннихъ убѣжденій съ наружнымъ міромъ. Они были безпокойны, потому что окружающій ихъ порядокъ становился пошлымъ и нелѣпымъ, а внутренній былъ потрясенъ; разглядѣвъ то и другое, они не могли скрыть своего распаденія, не могли не быть безпокойными. Такимъ людямъ, какъ Бруно, не дается великій талантъ счастливо и спокойно жить въ средѣ, прямо противоположной ихъ убѣжденіямъ.

Для живого примѣра одушевленнаго юношескаго мышленія этой эпохи, передамъ вамъ нѣсколько главныхъ мыслей Джордано Бруно, который, безъ сомнѣнія, оставляетъ далеко за собою всѣхъ товарищей своихъ ¹⁾. Главная цѣль Бруно—развить и понять жизнь, какъ единое, всемірное, безконечное начало и исполненіе всего сущаго, понять вселенную, какъ эту единую жизнь, понять самое единство это безконечнымъ единствомъ разума и бытія,—единствомъ, побѣдоносно проторгающимся черезъ ряды многообразія. Вотъ краеугольные камни всего ученія Бруно, прямо противоположнаго дуализму схоластики. Такъ какъ жизнь одна, умъ одинъ, и одно единство ихъ связуетъ, слѣдовательно, заключаетъ—Бруно,—если мы возьмемъ умъ въ цѣлости всѣхъ его моментовъ, мы все сущее подведемъ подъ него; не есть ли это прямое предвѣдѣніе логической философіи нашего времени? «Природа,—говоритъ онъ,—внутри своихъ предѣловъ можетъ все сдѣлать изъ всего, а умъ можетъ все узнать изъ всего». Природу и умъ онъ понимаетъ двумя моментами одного развитія. «Одна и та же матерія проходитъ всѣми формами: то, что было зерномъ, дѣлается травомъ, колосомъ, хлѣбомъ, питатель-

¹⁾ Самое подробное изложеніе Бруно, со множествомъ выписокъ, у Буле въ «Gesch. der neuern Philosophie», II Band, отъ 703 до 856. Въ геттингенской бібліотекѣ Буле нашель много неизвѣстныхъ сочиненій Бруно и ими пользовался.—А И. Г.

нымъ сокомъ, зародышемъ, челоуѣкомъ, трупомъ, землею... Но есть нѣчто, остающееся самимъ собою отъ этого развитія, — матерія; она безусловна, ея проявленія условны; матерія все, потому что она ничего въ особености; дѣятельная возможность формы присуща ей; она развивается жизнію до своего перегиба въ умъ; въ природѣ слѣдъ идеи (vestigium); за ея физическимъ бытіемъ (post naturalia) начинается понятіе, тѣнь идеи (umbra). Ни произведенія природы, отдѣльно взятыя, ни понятія никогда не достигаютъ полноты. Такъ, наприм., каждый челоуѣкъ въ каждую минуту — все то, что онъ можетъ быть въ эту минуту, но не все то, что онъ вообще можетъ быть по своей сущности... Вселенная же, напротивъ, дѣйствительно все, что можетъ быть на самомъ дѣлѣ и разомъ, ибо она обнимаетъ всю вещественность вмѣстѣ съ вѣчными и неизмѣнными формами ея измѣняющихся произведеній; въ этомъ состоитъ ея великое единство, себѣ-равенство. Во вселенной вездѣ средоточіе; въ ней средоточіе и окружность не раздѣлены такъ, какъ наибольшее не отдѣлено отъ наименьшаго, — на всякомъ мѣстѣ владычество божіе». «Но,—прибавляетъ Бруно,—недостаточно для истины понять единство только, какъ точку соединенія различій: надобно такъ понять его, чтобы умѣть снова вывести и всѣ противорѣчія». Представьте себѣ, какъ должны были раскрыться рты докторовъ sublissimorum dialecticorum ¹⁾, когда они услышали эту глубокую, вдохновенную рѣчь! Прибавлю еще выписку, чтобъ показать, какой поразительно вѣрный взглядъ имѣлъ онъ о злѣ. «Между тѣнями идеи нѣтъ дѣйствительнаго противорѣчія; одно понятіе соединяетъ прекрасное и уродливое, доброе и злое. Несовершенное, злое не имѣютъ собственной идеи, на которой бы они покоились, по которой бы опредѣлялись (какъ по своему идеалу); между тѣмъ, все дѣйствительное предполагаетъ идею и понятіе; но въ томъ и дѣло, что понятіе злого въ другомъ (въ противоположномъ); своего понятія у зла нѣтъ; напротивъ, понятіе, отъ котораго оно зависитъ, отрицаетъ дѣйствительность его, такъ какъ и въ самомъ дѣлѣ зло представляетъ какое-то существующее небытіе, нѣчто отрицательное (non ens in ente, vel, ut apertius dicam, defectus in effecto)». Гегель, мнѣ кажется, не отдалъ всей справедливости Бруно; не потому ли уже, что Шеллингъ поставилъ его такъ высоко? Послѣднее очень понятно. Бруно — живая, прекрасная связь между неоплатонизмомъ, котораго вліяніе на немъ весьма замѣтно, и натурфилософіей Шеллинга, на которую онъ, въ свою очередь, имѣлъ большое вліяніе. Гегель не хотѣлъ узнать въ Бруно чело-

1) Наисовершеннѣйшихъ діалектиковъ.

вѣка новаго міра такъ, какъ не хотѣлъ видѣть въ Бѣмѣ челоѣка средневѣковаго; или, можетъ быть, въ груди величайшаго германскаго мыслителя лежала народная связь съ *theosopho teutonico* ¹⁾, а романская горячая и реальная кровь итальянца не была ему такъ родственна. Бѣмѣ—великій челоѣкъ, но это не мѣшаетъ Джордано Бруно стоять подлѣ него, потому что и онъ великій челоѣкъ ²⁾. Оставляя Италію, замѣтимъ, что романскому племени былъ предоставленъ блестящій починъ новой науки. Но собственно въ *новой* философіи оно мало участвовало, какъ будто оно истощило всю умозрительную способность свою на это начало,—оно, такъ богатое способностями на все другое! Какъ будто *новая* философія, философія реформаціи, дуализмъ выше схоластическаго, но все же дуализма, обманула ожиданія живой и реальной мысли романской, которая уже въ концѣ XVI столѣтія стояла выше дуализма. Если это такъ, мысль романская, можетъ, явится завершительницею начатаго?

Въ это время возбужденности, энергіи, люди со всѣхъ сторонъ протестовали противъ средневѣковой жизни, вездѣ отрекались отъ нея, во всемъ требовали переменъ: церковь римская оканчивала борьбу съ лютеранизмомъ страдательнымъ принятіемъ протестантовъ за совершенное событіе; схоластика рѣшительно видѣла несостоятельность свою противъ напора новыхъ идей, т. е. идей древняго міра. Наука, искусство, литература,—все переменялось на античный ладъ такъ, какъ готическая церковь снова уступила мѣсто греческому периптеру и римской ротондѣ. Классическое воззрѣніе заставило людей ясно смотрѣть на вещи; латинскій языкъ Рима приучилъ къ мужественной рѣчи, къ энергическому обороту; до этого времени употреблялась латынь школы, блѣдная, искаженная, неловкая и потерявшая свою душу, такъ сказать; древніе писатели очеловѣчили неестественныхъ людей средневѣковыхъ, разбудили ихъ отъ эгоизма романтической сосредоточенности и психическихъ раздраженій. Помните, какъ Гете рассказываетъ въ «Римскихъ элегіяхъ» вліяніе итальянскаго неба на него, выросшаго въ сѣренскомъ климатѣ Германіи?—таково было дѣйствіе классической литературы на ученыхъ XVI столѣтія. «Въ сторону пошлые споры схоластическіе!—воскликнулъ средневѣковый челоѣкъ:—дайте упиться одами Горация, дайте подышать подъ этимъ свѣтлымъ лазоревымъ небомъ, насмотрѣться на роскошныя деревья, подъ тѣнью которыхъ и кубки

1) Тевтонскій богословъ.

2) Мы не минуемъ Бѣма, хотя, надобно сказать, въ исторіи науки онъ мало имѣлъ вліянія; его наукообразно поняли только въ нашемъ вѣкѣ.—
А И. Г.

съ сокомъ виноградныхъ гроздій дозволены и страстныя объятія любви перестаютъ быть преступленіемъ! «Humanitas, humaniora¹⁾ раздавалось со всѣхъ сторонъ, и человѣкъ чувствовалъ, что въ этихъ словахъ, взятыхъ отъ *земли*, звучатъ vivere memento, идущіе на замѣну memento mori, что ими онъ новыми узами соединяется съ природой; humanitas напоминало не то, что люди сдѣлаются землей, а то, что они вышли изъ земли, и имъ было радостно найти ее подъ ногами, стоять на ней; католическая строгость и германская народная наклонность къ грустной мечтѣ приготовили къ этому крутому перегибу! Конечно, если мы пристально всмотримся въ дѣйствительную жизнь среднихъ вѣковъ, то увидимъ, что она болѣе наружно покорялась велѣніямъ Ватикана и романтическому настроенію; жизнь вездѣ восполняла полутайкомъ недостаточныя и узкія основанія средневѣковаго быта, довольствуясь періодическими раскаяніями, наружными формами и потомъ, для большаго удобства, покупкою индульгенцій. Тѣмъ не менѣе тогданняя жизнь была сумрачна, натянута; сосѣдъ скрывалъ отъ сосѣда подъ условными формами и простую мысль, и мелькнувшее чувство; онъ стыдился ихъ, онъ боялся ихъ. Романтизмъ имѣлъ въ себѣ много задушевнаго, трогательнаго, но мало свѣтлаго, простаго, откровеннаго; конечно, человѣкъ и тогда предавался радости, наслажденіямъ, но онъ это дѣлалъ съ тѣмъ чувствомъ, съ которымъ мусульманинъ пьетъ вино: онъ дѣлаетъ уступку, отъ которой самъ отрекался; уступая сердцу, онъ былъ униженъ, потому что не могъ противостоятъ влеченію, котораго не признавалъ справедливымъ. Грудь человѣческая, изъ которой невозможно было изгнать реальныхъ подробностей, тяжело подымалась, рвалась къ жизни болѣе ровной; всегдашняя натянутость такъ же надоѣла человѣку, какъ всегдашнее вооруженіе рыцарю; хотѣлось міра внутренняго,—этого романтизмъ дать не могъ: онъ весь основанъ на несогласіи, на противорѣчіяхъ; его любовь—платонизмъ и ревность; его надежда—въ могилѣ; безвыходная тоска—основа его внутренней жизни; вся его поэзія—въ этой роющей тоскѣ, вѣчно сосредоточенной на своей личности, вѣчно растрavляющей мнимыя раны, изъ которыхъ текутъ слезы, а не кровь; въ этихъ мученіяхъ—вся нѣга эгоистическаго романтика, добродушно считающаго себя самоотверженнымъ мученикомъ; искомый *миръ*, искомый покой представляли на первый случай искусство древняго міра, его философія. Къ суровому готи-

¹⁾ Homo отъ humus⁰⁾.—А. И. Г.

⁰⁾ Humus—земля.

ческому воззрѣнію начали прививаться мягкіе, человѣческіе элементы древней цивилизаціи; романтикъ сталъ догадываться, что первое условіе наслажденія—забыть себя; онъ сталъ на колѣни передъ художественными произведеніями древняго міра; онъ научился поклоняться изящному безкорыстно; мысль греко-римская воскрешена для него въ блестящихъ ризахъ; въ тысячелѣтнемъ гробѣ успѣло предаться тлѣнію то, что должно было истлѣть; очищенная, вѣчно юная, какъ Ахиллъ, вѣчно страстная, какъ Афродита, явилась она людямъ,—и люди, всегда готовые увлечься, оскорбительно забыли романтическое искусство, отворачивались отъ его дѣвственныхъ красотъ и стыдливой закутанности. Поклоненіе древнему искусству—не временная прихоть; оно ему подобаешь; это единственное право, оставшееся за нимъ на вѣчную жизнь; это его истина, которая прейти не можетъ; это безсмертіе Греціи и Рима; но и готическое искусство имѣло свою истину, которую уничтожить нельзя было; въ эпоху противодѣйствія некогда дѣлать такой разборъ.

Европа приняла древнюю образованность такъ, какъ Россія во время Петра I приняла, въ свою очередь, образованность европейскую. Нельзя не замѣтить, впрочемъ, что классическое образованіе, распространившееся по всей Европѣ, было образованіемъ аристократическимъ; оно принадлежало *неопредѣленному*, но тѣмъ не менѣе дѣйствительному сословію *образованныхъ* людей (*progre sic dictum*¹⁾), легистамъ, духовнымъ, ученымъ, рыцарямъ, по мѣрѣ того, какъ они изъ вооруженной аристократіи переходили въ придворную, наконецъ, всѣмъ матеріально обезпеченнымъ и празднымъ. Крестьяне, городская *чернь*, т. е. бѣдные мѣщане, работники, пролетаріи, не только не участвовали въ этой перемѣнѣ, но рѣзче и глубже распались съ искусственно образованною средою, нежели прежде. Новые языки, вошедшіе около того же времени въ употребленіе, не сблизили ихъ; на *вульгарныхъ* нарѣчійхъ писались и говорились латинскія и греческія мысли, такъ, какъ въ среднихъ вѣкахъ по-латыни говорились, конечно, вовсе не римскія вещи. Массы отъ этого переворота пали въ грубѣйшее невѣжество; прежде для нихъ были трубадуры, легенды; проповѣдники говорили для нихъ, монахи посѣщали ихъ, была между высшимъ образованіемъ и ими связь; теперь все талантливое, образованное захватило элементы, чуждые народу, ничего не говорящіе его сердцу; и замѣтите при этомъ, что новая цивилизація не успѣла такъ переработаться въ сущность принявшихъ ее, чтобъ позволить имъ свободно, т. е. по-своему, выражаться. Поэты, воспѣвая греческихъ боговъ и рим-

¹⁾ Въ собственномъ смыслѣ слова.

скихъ heroesъ, цѣликомъ брали свои восторги у Виргилія; прозаики писали и говорили цицероновски,—печальная и безучастная толпа не слушала ихъ: она лишилась своихъ пѣвцовъ съ сказками и сагами, потрясавшими такъ сильно сердца ея знакомыми звуками и родными образами. Это распаденіе съ массаами, вырощенное не на феодальныхъ предразсудкахъ, а вышедшее полусознательно изъ самой образованности, усложнило, запутало развитіе истинной гражданственности въ Европѣ. Аристократія образованности, знанія несравненно оскорбительнѣе аристократіи крови: она не основана на непосредственности, на темной вѣрѣ, а на сознательномъ превосходствѣ, на гордомъ пренебреженіи массъ; искусственная образованность, которая шла на замѣну феодальному готизму, была надменная и смотрѣла свысока; вы можете найти эту надменность во всѣхъ ея представителяхъ, въ Вольтерѣ и Болинброкѣ ¹⁾ точно такъ, какъ въ доктринахъ революціи 30 года и въ берлинскихъ кафедральныхъ философахъ. Но геній Европы не потерялся отъ этого раздвоенія, не сталъ ходить съ понурой головой, оплакивая бывшее и приходя въ отчаяніе, что не умѣетъ переварить въ себѣ совершившагося событія. Мало ли временнаго зла проходитъ рядомъ съ вѣчнымъ благомъ, даже въ частной жизни одного семейства, не только въ сложной многоначальной жизни цѣлаго народа; зло, несчастное, но иногда необходимос условіе добра, проходитъ; добро остается; сильная натура перерабатываетъ въ себѣ зло, борется съ нимъ, побѣждаетъ; сильная натура умѣетъ выпутаться изъ затруднительныхъ обстоятельствъ, умѣетъ похоронить милое себѣ и, оставаясь вѣрною ему, итти на новое дѣйствованіе и на новые труды; а слабыя натуры теряются въ своемъ плачѣ объ утратѣ, хотятъ невозможнаго,—хотятъ прошедшаго, не умѣютъ найтись въ дѣйствительности, и, какъ этрурійскіе жрецы, поютъ однѣ похоронныя пѣсни, не имѣя смысла разглядѣть новой жизни и брачныхъ гимновъ ея.

Если классическое образованіе миновало массы и отрѣзало отъ нихъ высшія сословія, то, напротивъ, реформація съ своими расколами не миновала ихъ. Мистицизмъ и ученія, возбужденныя протестантизмомъ, его таинственная простота, явившаяся замѣнить величественный ритуалъ католицизма, его догматическіе вопросы дотронулись до совѣсти каждаго человѣка. Даже британская натура забыла свое практическое настроеніе и бросилась въ лабиринтъ теологическихъ тонкостей; про Германію и говорить нечего.

¹⁾ Лордъ Джонъ, одинъ изъ крупныхъ серьезныхъ писателей и стилистовъ Англій на рубежѣ XVII и XVIII вѣковъ.

Слѣдствія этихъ споровъ, распрей были сообразны духу народному: для Англии—Кромвель, Пенсильванія, для Германіи—Яковъ Бѣмъ; скажемъ о немъ нѣсколько словъ.

Самопознаніе раскрывается не въ одной наукѣ; логическая форма—послѣдняя, завершающая, далѣе которой, собственно, вѣдѣніе не идетъ. Наука—не только не исключительный органъ самопознанія, но она весьма долго неудобный, не готовый органъ для него; конечно, наука въ абсолютномъ смыслѣ—вѣчная органика истины; но пора согласиться, что въ дѣйствительности, т. е. во времени, въ исторіи все обусловлено и что только объ исторической наукѣ и можетъ итти рѣчь, когда говорится о дѣйствительномъ развитіи. Въ логикѣ все совершенно *sub specie aeternitatis*¹⁾; потому-то временное и не нашло еще въ ней своего тождества съ вѣчнымъ. Пока разумъ и истина раздвоены, пока форма и содержаніе противопоставлены другъ другу, до тѣхъ поръ наука не въ состояніи вывести полную истину самопознанія или полное самопознаніе истины, что все равно. Человѣкъ сознаетъ себя, пока разрабатывается высшая форма, болѣе и болѣе въ другихъ сферахъ дѣятельности, путями опытности, событій и своего взаимодѣйствія съ внѣшнимъ міромъ, путями восторженнаго поэтического предвѣдѣнія. Сначала самопознаніе человѣка—*ею инстинктъ*, несознательная разумность животнаго, темныя, непреодолимая влеченія, удовлетвореніе которыхъ, успокаивая животную сторону, возбуждаетъ сторону человѣческую; возникающій разумъ развертываетъ свое содержаніе въ два направленія. Въ практической области онъ является, какъ слагающееся общинное житье, какъ житейская мудрость поведенія, дѣйствованія, какъ многосторонняя связь трудовъ, работъ съ окружающей средою, какъ развитіе нравственной воли; мысль, вырабатывающаяся въ этихъ сферахъ, имѣетъ всю полноту и жизненность конкретнаго и всю неуловимость его въ отвлеченную форму; все практическое является частнымъ, условнымъ, единовременнымъ удовлетвореніемъ физической или нравственной потребности; высокій смыслъ ея творческой совокупности теряется отъ стука молотовъ, отъ пыли, отъ раздробленности. Между тѣмъ, какъ только человѣкъ отеръ потъ послѣ тяжкаго труда устройства, у него явилось уже требованіе на иное удовлетвореніе, его ужъ что-то беспокоитъ, и дѣтскій разумъ его, нераздѣльный съ чувствами, не понимающій всѣхъ средствъ своихъ, начинаетъ облекать природу и мысли въ пеструю, яркую одежду дѣтскаго воображенія. Необузданныя сначала фантазіи, уравновѣшиваясь, принимаютъ стройный и изящный

1) Съ точки зрѣнія вѣчности.

видъ художественнаго произведенія; въ художественномъ произведеніи дѣйствительно сочеталось содержаніе съ содержимымъ; въ немъ мысль непосредственна, и непосредственность одухотворена; въ статуѣ человѣкъ видитъ внѣ себя примиреніе, которое онъ ищетъ, поклоняется ему и называетъ его Аполлономъ или Палладой. Но это ненадолго; безпокойная мысль раздѣдаетъ художественное произведеніе, подчиняетъ себѣ форму, низводитъ ее на степень символики, а сама восходитъ на высоту вдохновеннаго, таинственнаго созерцанія. Самопознаніе находитъ въ этой символикѣ образъ; глаголь, облегчающій ему уразумѣніе невыразимой, но носящейся въ сознаніи истины; здѣсь образъ не есть уже живое и единственное тѣло идеи, какъ въ художественномъ произведеніи; символическій образъ готовъ, передавъ вамъ смыслъ свой, послуживъ сосудомъ истины, исчезнуть, распуститься въ свѣтѣ самосознающей мысли; этотъ мерцающій, полупрозрачный образъ отражаетъ человѣку его черты, но черты преображенныя, просвѣтленныя; человѣкъ узнаетъ себя въ нихъ и боится узнать себя. Символика—языкъ, вдохновенный іероглифъ мистическаго самопознанія. Языкъ Пифагора и Прокла, языкъ Якова Бѣма, принимаемые ими образы всегда могутъ быть понимаемые разнo: они, какъ зеркало, разуму отражаютъ разумъ, а чувственности—чувственность. Легкіе и одухотворенные іероглифы въ грубыхъ рукахъ чувственныхъ мистиковъ, возвращающихся къ матеріализму изувѣрствомъ, дѣлаются дивящими призраками; духъ, ихъ одушевлявшій, религіозная мысль ихъ отлетаетъ; кружевное покрывало, едва колебавшееся между человѣкомъ и истиной, превращается въ сырой, могильный саванъ, и яркая мысль, свѣтившаяся въ очахъ вдохновеннаго созерцанія, замѣняется мрачно безумнымъ взглядомъ мага и каббалиста. Я считалъ необходимымъ напомнить вамъ все это, приближаясь къ странному лицу Якова Бѣма. Его вдохновенное, мистическое созерцаніе, истекавшее изъ святаго источника, привело его къ возрѣнію такой необъятной ширины, о которой наука его времени не смѣла мечтать, къ такимъ истинамъ, которыя человѣчество узнало вчера, а Бѣмъ жилъ слишкомъ двѣсти лѣтъ тому назадъ. И то же высокое ученіе Бѣма, облакаясь въ странныя мистическія и алхимическія одежды, дало основу самымъ эксцентрическимъ, самымъ безумнымъ отклоненіямъ отъ простосердечнаго принятія истины: сведенборгианцы, Эккартсгаузенъ, Штиллингъ ¹⁾ и ихъ послѣдователи, Гогенлоэ ²⁾ и нынѣшніе германскіе духовидцы, заклин-

¹⁾ Прозвище, принятое Іоганномъ-Генрихомъ Юнгомъ, нѣмец. мистическимъ писателемъ.

²⁾ Александръ-Леопольдъ, принцъ.

натели, прокаженные, испорченные, всё эти кликуши разныхъ не читаемыхъ журналовъ и разныхъ сумасшедшихъ домовъ большую долю своего мракобѣсія почерпнули изъ Якова Бѣма.

Полнаго очерка Бѣмова ученія я не имѣю возможности передать вамъ; мы ограничимся нѣсколькими чертами; впрочемъ, *ex ungue leonem!* ¹⁾

Языкъ Бѣма темень, безграмотенъ, но его рѣзкая и оригинальная рѣчь полна сильной, огненной поэзии. Вотъ основныя мысли его философіи природы. «Все возникаетъ отъ *да* и *нѣтъ*. *Да*, взятое помимо отрицанія, помимо *нѣтъ*,—вѣчный покой, все и ничего, вѣчное молчаніе, свобода отъ всякаго мученія и, слѣдственно, отъ всякой радости, безразличіе, невозмущаемая тишина. Но *да* и не можетъ существовать безъ *нѣтъ*; оно необходимо присуще его выходу изъ безразличія. *Нѣтъ*, само по себѣ, ничего, а ничего—стремленіе къ чему-нибудь (*eine Sucht nach Etwas*) ²⁾. *Да* и *нѣтъ*—не разное, но различное: безъ различенія не было бы ни образа, ни сознанія, жизнь была бы вѣчнымъ безстрастнымъ, равнодушнымъ истеченіемъ; желаніе предполагаетъ, что чего-либо *нѣтъ*, къ чему мы стремимся. *Нѣтъ* останавливаетъ безконечную лучезарность положительнаго, и на точкѣ ихъ встрѣчи закипаетъ жизнь; это—перегибъ, удерживающій безконечное развитіе для конечной опредѣленности. Единство, выступая въ многообразіи, непремѣнно расчленяется и, развиваясь въ этомъ расчлененіи, возвращается сознаніемъ къ новому духовному единству... Свѣта не было бы, если-бъ не было тьмы, или если-бъ онъ и былъ, то, безпрепятственно разсѣиваясь, что освѣщаль бы онъ? Но свѣтъ самъ собою ставитъ тьму, тоска безразличности стремится къ различенію; на этомъ основана вѣчная потребность *быть чѣмъ-нибудь* (*Etwasseinwollen*); въ этой потребности раздвоенія проявляется *я* (т. е. субъективность) природы... Открывая собою божественную и вѣчную волю, природа—произведеніе тихой вѣчности; она образуетъ, производитъ и расчленяетъ для того, чтобъ радостно сознать себя;... что сознаніе выражаетъ словомъ, то образуетъ природа въ свойства. Первое свойство вѣчной природы (Бѣмъ отдѣляетъ вѣчныя свойства отъ временнаго проявленія ихъ; первыя онъ называетъ вѣчной природою, вторыя—физической природой)—безусловное *желаніе* сдѣлаться чѣмъ-нибудь; второе—*противодѣйствіе*, останавливающее желаніе, перегибъ, причина страданій и жизни; третье—*чувствительность*, самосознаніе свойствъ; четвертое—*огонь*, блескъ, до ко-

¹⁾ По когтямъ узнаешь льва.

²⁾ Исканіе чего-то.

торого поднялось естественное и мучительное разрушение предыдущих свойств; пятое—*любовь*; шестое—*звукъ*, гласность и понимание свойств между собою; седьмое—*сущность*, какъ носящая личность, какъ субъектъ шести предыдущихъ свойствъ, какъ ихъ душа... Все въ природѣ открываетъ себя; природа всему даетъ языкъ; самоочертаніе—глаголь, которымъ вещь проявляетъ свое внутреннее. Быть только внутреннимъ невыносимо; внутреннее стремится быть наружнымъ. Вся природа звучитъ о своихъ свойствахъ и показываетъ себя... Въ сосредоточенной жизни природы открывается *сущность* (какъ мысль человѣка), а въ желаніи (человѣка) лежитъ стремленіе одѣйствоваться (по Бѣму, обнаружиться природой). Наружная природа образуется изъ шести вѣчныхъ свойствъ; въ седьмомъ она успокаивается, какъ въ субботѣ своей... Вода, воздухъ ближе къ безразличному единству, какъ все мягкое, лишенное рѣзкости; напротивъ, твердая тѣла выше своею сложностью, расчлененіями, снятыми уже въ нихъ. По видимому міру, по солнцу, звѣздамъ, элементамъ, тварямъ можно опредѣлить ихъ причину, ибо ни одна вещь не имѣетъ основы индѣ, а основа и причина ея необходимо тамъ, гдѣ она возникла. Истинная причина всему, послѣдняя основа—божественный духъ, вездѣ сущій... «Онъ не далекъ, онъ близокъ, умѣй только видѣть его», говоритъ восторженный Бемъ: «человѣкъ тупой, скажу я невѣрующему,—если ты думаешь, что нѣтъ въ тебѣ самомъ божественнаго, то ты не образъ и не подобіе божіе; если ты разрозненъ съ Нимъ, то какъ ты сдѣлаешься однимъ изъ сыновъ Его?»

Изъ того же начала необходимаго расчлененія стремится Бѣмъ вывести зло и все дурное. Зло онъ принимаетъ за одно изъ условій феноменальнаго бытія; начало его общее съ добромъ, качество есть уже зло, какъ ограниченность, какъ эгоистическое отторженіе отъ единства, какъ обособленіе и исключеніе всѣхъ другихъ свойствъ. Латинское слово *qualitas* ¹⁾ Бѣмъ поэтически (хотя нельзя сказать, что тутъ поэзія заодно съ грамматикой) производитъ отъ нѣмецкихъ словъ *Qual*—мученіе и *Quellen*—истекать, качество мучиться (*die Qualität quält sich ab*); чтобъ освободиться во всеобщемъ единствѣ, оно чувствуетъ недостатокъ, потому что оно *ничто* физическое, алчное все усвоить себѣ, себялюбивое; но это отчужденіе побѣждается просвѣтленіемъ, и то, что было страданіемъ во тьмѣ, расцвѣтаетъ наслажденіемъ въ свѣтѣ; все, что было страхомъ, ужасомъ, трепетомъ, станетъ крикомъ радости, звономъ и лѣніемъ... Зло—необходимый моментъ въ жизни и необходимо пе-

¹⁾ Качество.

реходимый... Безъ зла все было бы гакъ же безцвѣтно, какъ безцвѣтень былъ бы человекъ, лишенный страстей; страсть, становясь самобытною,—зло, но она же—источникъ энергіи, огненный двигатель... Доброта, не имѣющая въ себѣ зла, эгоистическаго начала,—пустая, сонная доброта. Зло—врагъ самого себя, начало безпокойства, непрерывно стремящееся къ успокоенію, т. е. къ снятію самого себя...

Довольно съ васъ. Если вы желаете подъ этими странными словами понять широкія мысли, отсюду просвѣчивающія у Бѣма, вы ихъ увидите даже въ бѣдныхъ выпискахъ, сдѣланныхъ мною. Если же его слова вамъ (какъ прежде васъ многимъ) покажутся бредомъ,—я не берусь васъ разувѣрить...

Основанія реформаціоннаго возрѣнія столько же способствовали наукообразному развитію мышленія, сколько феодализмъ мѣшала ему; пытливое изслѣдованіе получило законное право; вглядываясь пристально въ споры того времени и манеру ихъ, чувствуешь отраду и грусть; вы видите, что мысль побѣждаетъ, что ей даютъ вездѣ мѣсто, что она признана, но съ тѣмъ вмѣстѣ видите, что она суха, холодна, формальна, что она убила бы жизнь, если-бъ жизнь можно было убить. Въ наукѣ побѣда надъ средневѣковымъ возрѣніемъ не была такъ торжественна, такъ полна, какъ въ области искусства: Рафаэль, Тиціанъ, Корреджіо сдѣлали невозможнымъ дуализмъ въ эстетикѣ; въ наукѣ, католическій идеализмъ, называвшійся схоластикой, былъ побѣжденъ протестантскою схоластикой, называемой идеализмомъ. Какъ художественность составляетъ управляющій характеръ греческой эпохи, такъ точно отвлеченное мышленіе является главной чертой эпохи реформаціонной,—дуализмъ школьный и до чрезвычайности прозаическій; съ развитіемъ его жизнь мелѣетъ, становится безцвѣтнѣе ¹⁾. Въ лѣтописяхъ этой науки мы не будемъ болѣе встрѣчать ни величественно-пластическія личности гражданъ-мудрецовъ древняго міра, ни строгія, мрачныя лица средневѣковыхъ докторовъ, ни энергическія, огненныя черты людей переворота въ XVI столѣтіи. Философы, какъ люди, стараются болѣе и болѣе; ихъ отвлеченныя занятія, ихъ ученые интересы дѣлаютъ ихъ чуждыми жизни; послѣ Бруно философія имѣетъ одну великую біографію del gran Ebreo ²⁾.

¹⁾ Странное дѣло: въ протестантизмѣ, какъ и въ дѣлѣ науки, романскіе народы являются только на заглавномъ листѣ съ своимъ Арнольдомъ Брешианскимъ и Джироламо Савонаролой, съ своими гугенотами; потомъ они предоставляютъ міру германическому собрать первые плоды, какъ будто выжидая чего-либо.—А. И. Г.

²⁾ Великаго еврея.

науки (Спинозы) ¹⁾. Гегель довольно странно объясняет это; онъ говоритъ, что въ новое время гражданское достигло того разумнаго совершенства, при которомъ индивидуальностямъ нечего болѣе заботиться о внѣшнемъ, и каждому указано свое мѣсто. Внутреннее и внѣшнее,—думаетъ онъ,—стоятъ самобытно и такъ, что внѣшній порядокъ идетъ самъ собою, и человѣкъ можетъ, не думая о немъ, учредить свой внутренній міръ самъ собою. Я думаю, не совсѣмъ легко доказать это германской исторіей отъ Вестфальскаго мира до нашего вѣка, но, какъ бы то ни было, Гегель высказалъ совершенно нѣмецкую мысль—*non vitia hominis* ²⁾.

ПИСЬМО ШЕСТОЕ.

Декартъ и Вѣконъ.

Hier können wir sagen, sind wir zu Hause, und können wie die Schiffer nach langer Umherfahrt auf der ungestümen See «Land!» rufen ³⁾. Такъ привѣтствуетъ Гегель Декарта ⁴⁾. «Съ Декарта,—продолжаетъ онъ,—начинается *настоящее отвлеченное* мышленіе; вотъ начала, изъ которыхъ разовьется *чистое умозрѣніе*, новая наука—наша наука».

И мы скажемъ: берегъ, но въ противоположномъ смыслѣ; для Гегеля это берегъ, къ которому приплываетъ мысль, какъ къ спокойной гавани своей, къ гавани, съ которой начинается ея царство. Мы, напротивъ, видимъ въ *новой* философіи берегъ, на которомъ мы стоимъ, готовые покинуть его при первомъ попутномъ вѣтрѣ,

¹⁾ Развѣ, прибавить Лейбница и Фихте.—А. И. Г.

²⁾ Вина—не человѣка. «Gesch. der Phil.», Th. III, p., 276 и 277. Всего лучше доказываетъ эту мысль длинная біографія Гегеля, написанная Розенкранцомъ и вышедшая съ годъ тому назадъ; въ ней есть высокаго интереса отрывки изъ Гегелевыхъ бумагъ и почти безъ всякаго интереса жизнеописаніе: нѣмецкая жизнь безъ событій, съ перемѣною каведръ, mit Spaarbüchsen für die Kinder, Geburts-Feiertagen, etc. ⁵⁾.—А. И. Г.

³⁾ Теперь мы можемъ сказать, что мы *дома*; подобно мореплавателямъ, долго носившимся по бурному морю, мы можемъ воскликнуть: «земля!» («Gesch. der Phil.», Т. III, стр. 328, и еще тамъ же, стр. 275).—А. И. Г.

⁴⁾ Рене, знаменитый французскій математикъ XVII столѣтія, создатель аналитической геометріи и авторъ другихъ замѣчательныхъ трудовъ по математикѣ и физикѣ. Между современниками и въ XVII—XVIII столѣтіяхъ славился больше, какъ философъ.

⁵⁾ Съ копилками для дѣтей, днями рожденій и пр.

готовые сказать спасибо за гостеприимство и, оттолкнувъ его, плыть къ инымъ пристанямъ. Судьба новой философіи совершенно сходна съ судьбою всего реформаціоннаго: ничего стараго не оставлено въ покоѣ, ничего новаго съ основанія не воздвигнуто; на сооруженіе новыхъ зданій шелъ старый кирпичъ, и они вышли не новыя и не старыя; все реформаціонное сдѣлало огромные шаги впередъ; все было необходимо, и все остановилось на полдорогѣ. Странно было бы, если бы наука этой эпохи начинаній совершила одна свое дѣло. Наука не имѣетъ силы отрѣшиться отъ прочихъ элементовъ исторической эпохи; напротивъ, она есть сознательная, развитая мысль своего времени; она дѣлитъ судьбы всего окружающаго. Она, съ своей стороны, громко протестуя противъ схоластики, всосала въ свои жилы схоластику. Чистое мышленіе — схоластика новой науки такъ, какъ чистый протестантизмъ есть возрожденный католицизмъ. Феодализмъ пережилъ реформацію; онъ проникъ во всѣ явленія новой жизни европейской; духъ его внѣдрился въ ополчавшихся противъ него; правда, онъ измѣнился; еще болѣе правда, что рядомъ съ нимъ возрастаетъ нѣчто, дѣйствительно новое и мощное; но это новое, въ ожиданіи совершеннлѣтія, находится подъ опекой феодализма—живого, несмотря ни на реформацію Лютера, ни на реформацію послѣднихъ годовъ прошлаго вѣка. Да и какъ ему быть не живымъ? Съ чѣмъ онъ боролся до сихъ поръ? Помните,—съ незрѣлыми начинаніями, съ неразвитыми всеобщностями, съ частными нападками, съ поправками, дѣлаемыми внутри его собственныхъ предѣловъ. Феодализмъ грубый, прямой замѣнился феодализмомъ рациональнымъ, смягченнымъ; феодализмъ вѣровавшій въ себя, — феодализмомъ, защищающимъ себя, феодализмъ крови—феодализмомъ денегъ. Схоластика занимаетъ мѣсто феодализма науки: могла ли она послѣ этого быть вполне наукой, берегомъ? можно ли ждать, что человѣкъ въ ней будетъ дома?— Нѣтъ!

Дуализмъ схоластическій не погибъ, а только оставилъ обветшалый мистико-каббалистическій нарядъ и явился чистымъ мышленіемъ, идеализмомъ, логическими абстракціями; тутъ великій прогрессъ: этимъ путемъ, т. е. возводя дуализмъ во всеобщую сферу мысли, философія поставила его на лезвіе ножа, привела прямо къ выходу изъ него. Новая наука начинается съ той задачи, на которой остановилась древняя наука,—съ той точки, такъ сказать, на которую древній міръ возвелъ мышленіе. Она подняла задачу древняго міра, но не рѣшила ее; она привела только къ рѣшенію ея и остановилась, чувствуя, можетъ быть, что рѣшеніе это будетъ съ тѣмъ вмѣстѣ ея смертный приговоръ, т. е., что она изъ существую-

щихъ дѣятельныхъ властей перейдетъ въ исторію. Гегель поступилъ, можетъ быть, откровеннѣе, нежели хотѣлъ; можетъ быть, радостныя слова «берегъ», «дома» у него вырвались невольно; этимъ восклицаніемъ онъ неразрывно сочеталъ свою судьбу съ реформаціонной наукой. Впрочемъ, стоять на одномъ берегу со Спинозой не стыдно!

Все сказанное нами никакъ не должно закрыть всю величину переворота въ мышленіи и весь прогрессъ, пріобрѣтенный наукой чрезъ него. Со времени Декарта наука не теряетъ своей почвы; она твердо стоитъ на самопознающемъ мышленіи, на самозаконности разума.

Философія древняя и новая философія составляютъ два великія основанія будущей науки; обѣ онѣ неполны, обѣ носили въ себѣ элементы не научные, обѣ были великими приготовительными моментами, безъ которыхъ, дѣйствительно, полная наука не могла бы развиться, — обѣ прошли. Вы помните, древняя философія всегда имѣла въ себѣ одинъ элементъ непосредственности, фактъ, событіе, упавшее, какъ аэролитъ, и принимаемое за истину по чувству, по довѣрію къ жизни, къ міру. Такъ она принимала самое единство бытія и мышленія; она была права въ сущности дѣла, но не права въ образѣ принятія: это было вѣрованіе, инстинктъ,—тактъ истины, если хотите,—но не сознательная мысль. Такой непосредственный элементъ прямо противоположенъ понятію науки. Средневѣковое возрѣніе было противодѣйствіемъ противъ непосредственности; но это его не спасло отъ того же недостатка; оно отрѣзало послѣднюю нить пуповины, прикрѣпившей человѣка къ природѣ, и человѣкъ, совершенно обращенный внутрь міра рефлексіи, въ немъ одномъ искалъ рѣшенія вопросовъ; но этотъ міръ духовный былъ чисто личный, онъ не имѣлъ предмета. «Дѣйствительность существа,—превосходно замѣтилъ Джордано Бруно,—обусловлена дѣйствительнымъ предметомъ». Предметъ средневѣковаго человѣка былъ онъ самъ, какъ отвлеченная сущность; отрицать непосредственность такъ же мало наукообразно, какъ принимать ее безъ мысли. Умъ, сосредоточенный въ себѣ, занимается только собою, «впалъ въ сухую, жалкую схоластику и плелъ изъ себя паутину, очень тонкую и узорчатую, но совершенно ненужную»,—какъ говоритъ Бэконъ. Довѣріе человѣка къ уму привело схоластику къ признанію дѣйствительнымъ всякой логически построенной нелѣпости и, такъ какъ у нихъ содержанія не было, то они его брали изъ фантазіи, изъ психологической непосредственности, опираясь на него точно такъ, какъ эмпирикъ опирается на опытъ. Итакъ, съ одной стороны, тяжелый камень, съ другой—ужасная пустота, населенная призраками. Люди

переворота увидѣли невозможность дойти до чего-либо схоластикой и возненавидѣли ее; но отрицаніе схоластики не есть еще чиноположеніе новой науки: поэтическое провидѣніе Джордано Бруно—такъ же мало наука, какъ дерзкія отрицанія Ванини. Первая необходимая задача, вопросъ, отъ котораго мыслящей головѣ нельзя было отвернуться,—состоялъ въ разрѣшеніи мышленіемъ отношенія самого мышленія къ бытію, къ предмету, къ истинѣ вообще. И, дѣйствительно, съ этимъ вопросомъ на устахъ является новая наука въ міръ. Отецъ ея,—безъ сомнѣнія, Декартъ. Значеніе Бэкона совсѣмъ иное, о немъ—послѣ.

Декартъ долго занимался науками такъ, какъ онѣ преподавались въ его время; потомъ бросилъ книги: онѣ ему не разрѣшили ни одного сомнѣнія, не удовлетворили его ни въ чемъ. Онъ такъ же ясно, какъ Бэконъ, увидѣлъ, что старый корабль средневѣковой жизни тонетъ и разрушается, не спорилъ съ его лоцманами, какъ дѣлали его предшественники, а бросался въ море, чтобъ достигнуть новаго берега. И такъ же, какъ Бэконъ, онъ рѣшился *начать съ начала*, начать совершенно свободно въ средѣ мышленія. Много надобно было твердости, чтобъ дерзнуть и на этотъ разрывъ съ былымъ, и на это воздвиженіе новаго. Декартъ, мучимый неувѣренностью, а, можетъ быть, и совѣстью, съ посохомъ паломника въ рукѣ, ходилъ къ Лоретской Божіей Матери просить ея помощи въ начатомъ трудѣ—и тамъ, распростертый передъ нею, молилъ примирить его сомнѣнія. Приступъ Декарта къ дѣлу—величайшая заслуга его; дѣйствительное и вѣчное начало наукообразнаго развитія онъ начинаетъ съ безусловнаго сомнѣнія—вовсе не для того, чтобъ все истинное отвергнуть, а для того, чтобъ все истинное оправдать, но оправдать, освободивъ себя. Когда онъ поднялся въ страшно изрѣженную среду, въ которую не впустилъ ничего впередъ идущаго, когда въ этомъ мракѣ, въ которомъ все исчезло, кромѣ его самого, онъ сосредоточился въ глубинѣ духа своего, сошелъ внутрь своего мышленія, повѣрялъ свое сознаніе,—у него вырвалось изъ груди знаменитое подтвержденіе своего бытія: *cogito, ergo sum* (я мыслю, слѣдовательно, существую). Отсюда неминуемо должно развиваться единство бытія и мышленія; мышленіе дѣлается аподиктическимъ доказательствомъ бытія; сознаніе сознаетъ себя неразрывнымъ съ бытіемъ,—оно невозможно безъ бытія. Вотъ программа всей будущей науки; вотъ первое слово возрѣнія, котораго послѣднее слово скажетъ Спиноза; вотъ тема, которую наукообразно разовьетъ Гегель. *Nosce te ipsum* ¹⁾ и *Cogito, ergo sum*—

¹⁾ Познай самого себя.

два знаменитые лозунга двухъ наукъ, древней и новой. Новая исполнила совѣтъ древней, и Cogito, ergo sum—отвѣтъ на Nosce te ipsum. Мышленіе—дѣйствительное опредѣленіе моего я. Но всѣ силы Декарта были потрачены на этотъ силлогизмъ, кажется, такой простой и который даже совѣмъ не силлогизмъ. Устрашенный величіемъ своего начала, глубиной своего разрыва съ былымъ и настоящимъ, онъ качается, хватается за клочья стараго; прошедшее проникаетъ въ его душу; въ немъ схоластика, уже ослабѣвающая, падающая, снова воскресаетъ сильною и преображенною. Онъ подобенъ квакерамъ, пріѣхавшимъ въ Пенсильванію и перевезшимъ въ груди своей чрезъ океанъ старый бытъ, который и развился въ новомъ государствѣ. Признавъ сущностью своей одно мышленіе, неразрывно связанное имъ съ бытіемъ, Декартъ растолкнулъ мышленіе и бытіе; онъ принялъ ихъ за двѣ разныя сущности (мышленіе и протяженіе). Вотъ и дуализмъ, вотъ и схоластика, возведенная въ логическую форму. Чувствуя неловкость, онъ бросается въ формальную логику. Для него доказательство рациональное (въ мышленіи)—полное право на дѣйствительность, на истину; а истина должна доказываться не однимъ мышленіемъ, а мышленіемъ и бытіемъ. Эрдманъ ¹⁾, добросовѣстный нѣмецкій ученый, совершенно справедливо замѣтилъ, что Декартъ не могъ миновать такого развитія, иначе онъ не жилъ бы въ то время, въ которое жилъ. Его дѣло было — поднять знамя протестантизма въ наукѣ, провозгласить новый путь, провозгласить мышленіе исчерпывающимъ опредѣленіемъ человѣка. Подвигъ, достаточный для одной личности! Отъ проницательности Декарта не ускользнуло, что мышленіе и бытіе совершенно распадаются у него, что нѣтъ моста отъ одного къ другому, что это—равнодушныя, самодовлѣющія два; онъ понялъ и то, что, доколѣ они останутся сущностями, помочь нечѣмъ, ибо сущность потому и сущность, что она сама себѣ довлѣетъ. Декартъ принимаетъ (но не выводитъ) высшее единство, связующее противопоставленные моменты; мышленіе и протяженіе въ отношеніи къ верховному существу представляютъ атрибуты его, его разныя проявленія. Какъ дошелъ онъ до этого единства? *Врожденными идеями*. Стало-быть, его протестація противъ всякаго содержанія была не глубока! Психическая, не подлежащая логикѣ непосредственность проторгается съ принятіемъ врожденныхъ идей въ его науку. Декартъ, такимъ образомъ, сдѣлался въ одно и то же время величайшимъ и послѣднимъ оплотомъ схоластики: въ немъ схоластика преобразилась въ идеа-

¹⁾ Erdmann «Versuch einer Geschichte der neuern Philosophie» 1840—42.

лизмъ, въ трансцендентный дуализмъ, отъ котораго гораздо труднѣе было отдѣлаться, нежели отъ католической схоластики. Мы увидимъ живучесть схоластическаго элемента во всю эпоху новой философіи до сегодняшняго дня. Наука протестантизма могла только быть такая; если были иныя требованія, иныя симпатіи, болѣе дѣйствительныя, — они не были наукообразны; она, начиная отъ Декарта, выработала методу, проложила дорогу, по которой изъ нея выйдутъ,—дорогу, по которой она сама потому не проѣхала, что ей нечего было везти.

Декартъ, умъ чисто математическій и отвлеченный, исключительно механически разсматривалъ природу; что-то суровое и аскетическое мѣшало ему понимать все живое. Строгая, геометрическая діалектика его безпощадна; онъ былъ идеалистъ по внутреннему строенію души. Бытіе, матерію онъ понялъ, какъ *протяженіе*. «Отъ всѣхъ другихъ свойствъ,—говоритъ онъ,—матерію можно отвлечь, но не отъ протяженія: оно одно ей существенно». Качество уступило мѣсто болѣе внѣшнему опредѣленію предмета—количеству; для математики растворялись всѣ двери въ естествовѣдніе, все подчинялось механическимъ законамъ, и вселенная сдѣлалась снарядомъ движущагося протяженія ¹⁾. Надобно замѣтить, впрочемъ, что, въ началѣ XVII вѣка интересъ естествовѣдательнаго мышленія былъ вообще поглощенъ астрономіей и механикой; величайшія открытія совершались тогда въ обѣихъ отрасляхъ; это механическое воззрѣніе, начинающееся съ Галилея и достигнувшее полноты своей въ Ньютонѣ, почти ничего не принесло конкретнымъ отраслямъ естествовѣднія; вліяніе его было благотворно (разумѣется, сверхъ астрономіи и механики) только въ физикѣ. Декартовы понятія о природѣ, которыя, по закону возмездія, до того были идеалистически спиритуальны, что перегибались въ грубѣйшій механизмъ и матеріализмъ (что тогда же замѣтили, особенно англійскіе и итальянскіе физики), почти не имѣли никакого вліянія на естественныя науки.

«Внимательно разсматривая,—говоритъ Декартъ,—мы увидимъ, что сущность вещества и тѣлъ состоитъ только въ томъ, что они имѣютъ протяженіе въ длину, ширину и глубину. Можетъ быть, тѣла не таковы, какъ намъ кажутся; можетъ, они обманываютъ наши чувства; но въ нихъ несомнѣнно истинно то, что я ясно, отчетливо понимаю и могу вывести умомъ; потому-то я признаюсь, что другой сущности тѣлесныхъ вещей, кромѣ геометрической величины, всячески дѣлимой, движимой и способной имѣть форму,

¹⁾ Объ этомъ болѣе въ слѣдующемъ письмѣ.—А. И. Г.

я не принимаю и ничего не рассматриваю въ матеріи, кромѣ дѣлимости, очертанія и движенія. Изъ математическихъ законовъ, опредѣляющихъ неотъемлемыя свойства бытія, все физическое объясняется и выводится съ величайшей строгостію; не думаю, чтобъ физикѣ нужны были иныя основанія». Въ матеріи, лишенной качествъ своихъ, понимаемой такимъ образомъ, нѣтъ внутренней силы; матерія Декарта — виртуальная пустота, нѣчто мертво-косное, — ему всегда надобно будетъ прибѣгать къ внѣшней силѣ. «Матерія во всей вселенной одна; всѣ перемѣны формъ имѣютъ свое основаніе въ движеніи. Движеніе есть дѣятельность, вслѣдствіе которой вещество изъ одного мѣста переходитъ въ другое, — перемѣщеніе частей тѣла относительно близъ лежащихъ. Движеніе и покой представляютъ разныя состоянія вещества: для движенія не болѣе силы надобно, какъ и для покоя. Надобно равно усиліе, чтобъ двинуть тѣло и чтобъ остановить его. Надобно усиліе для того, чтобъ остаться въ покоѣ. Отдаленіе тѣла есть обоюдное дѣйствіе; оба тѣла дѣятельны — одно, оставаясь на своемъ мѣстѣ, другое, отдаляясь (сила инерціи). Движеніе зависитъ отъ двигаемаго, а не отъ движущаго; нельзя сообщить движеніе одному тѣлу, не разрушивъ равновѣсія другихъ тѣлъ; отсюда цѣлыя системы движенія и сложность ихъ. Причина движенія — Богъ». За симъ идутъ общія механическія основанія динамики. Все сущее состоитъ изъ маленькихъ тѣлъ (*corpuscula*) и ихъ измѣненій въ величинѣ, мѣстѣ, сочетаніяхъ и переложеніяхъ. Жизнь органическая — одинъ ростъ, т. е. приращеніе чрезъ полученіе постороннихъ частицъ. Декартъ далъ физикамъ опасный примѣръ прибѣгать къ личнымъ гипотезамъ тамъ, гдѣ не достаетъ пониманія; такъ, на примѣръ, движеніе небесныхъ тѣлъ онъ объяснялъ вихремъ, крутящимъ ихъ около солнца; стараясь математически вывести всѣ явленія планетной жизни, онъ дѣлаетъ гипотезы, въ которыхъ самъ не увѣренъ (*quamvis ipsa nunquam sic orta esse*)¹⁾. Принимая тѣло совершенно постороннимъ духу, Декартъ никогда не могъ возвыситься до понятія жизни; свои физиологическія изысканія начинаетъ рассматриваніемъ тѣла, «какъ будто духа въ немъ нѣтъ». Но что же это за живое тѣло? кто ему далъ право такъ рассматривать его? Отсюда совершенно естественно предположеніе его, что тѣло — статуя или машина, сдѣланная изъ земли. «Если часы имѣютъ способность итти, то нѣтъ ничего труднаго понять, что и человѣкъъ двигается, будучи такъ устроенъ». За симъ анатомическій и физиологическій разборъ тѣла, натянутый

¹⁾ (Хотя она такимъ образомъ никогда не происходила). Впрочемъ, можетъ быть, такія фразы — официальная оговорка, въ родѣ тѣхъ, которыя употреблялись Коперникомъ и даже Ньютономъ. — А. И. Г.

и наводящій какое-то уныніе. Декартъ, должно быть, самъ чувствовалъ, что всего не выведешь механически въ животномъ тѣлѣ, усердно занимался зоотоміей, но, какъ всѣ систематики, былъ глухъ къ голосу истины и гнулъ факты, какъ хотѣлъ; наприм., онъ объясняетъ крикъ собаки, какъ простую реакцію *этой машины* противъ дѣйствія палки. Если-бъ была машина,—говоритъ онъ,—устроенная внутри и снаружи, какъ обезьяна или другой звѣрь, то не было бы возможности понять различіе между ними. Одинъ человѣкъ—не машина, потому что онъ имѣетъ языкъ, разумъ, душу. Разумная душа хотя и тѣсно связана съ тѣломъ, но насильственно, ибо она совершенно ему противоположна. Хотя душа собственно соединена со всѣмъ тѣломъ, однако, главное жилище ея въ мозгу и именно—въ *одной железкѣ* (Glandula Conarion), въ серединѣ большого мозга (между прочимъ потому, что остальныхъ частей въ мозгу по парѣ; слѣдовательно, недѣлимая душа въ нихъ не иначе могла бы быть, какъ преимущественно въ одной части предъ другою). Могъ ли бы этотъ пустой вопросъ возникнуть, если-бъ Декартъ сколько-нибудь понималъ жизнь организма? Онъ органы животнаго считаетъ *только* механическимъ снарядомъ, приводимымъ въ движеніе непонятной силой. Движеніе невозможно, если вещественность—только нѣмое, недѣятельное, страдательное наполненіе пространства; но это совершенно ложно: вещество носить само въ себѣ отвращеніе отъ тупого, безсмысленнаго, страдательнаго покоя; оно раздѣдаетъ себя, такъ сказать, *бродитъ* ¹⁾, и это броженіе, развиваясь изъ формы въ форму, само отрицаетъ свое протяженіе, стремится освободиться отъ него,—освобождается, наконецъ, въ сознаніи, сохраняя бытіе. Понятіе вещества не исчерпывается протяженіемъ; протяженіе не дѣятельное, не движимое взаимодействіемъ своимъ,—такое же отвлеченіе, какъ мышленіе безъ тѣла: это—противоположные, крайніе моменты жизни.

Декарту было одно великое призваніе—*начать* науку и дать ей *начало*; онъ только для постановленія начала и могъ на минуту удержать напоръ схоластики и дуализма; какъ только онъ произнесъ свое Cogito, ergo sum—плотины были прорваны. Онъ началъ съ протестаціи противъ средневѣковой науки, но она была

¹⁾ Современники Декарта замѣтили мертвенность его вещества. Генри Моръ писалъ ему письмо, въ которомъ называетъ вещество *темной жизнію*, materiam utique vitam esse quamdam obscuram, nec in sola extensione partium consistere, sed in aliqua semper actione ^o). «R. Des. Epist.» I. Ep. 4 XX.—А. И. Г.

^o) Вещество, какъ и жизнь, представляетъ собою нѣчто темное и состоитъ не въ одномъ лишь протяженіи его частей, но всегда въ какомъ либо дѣйствованіи.

уже въ его жилахъ,—онъ далъ ей сильнѣйшую опору, онъ оправдалъ ее наукообразно. Но не всѣ требованія ума того времени выразились чисто наукообразно; мы видѣли это очень ясно по Бѣму. Во Франціи, напримѣръ, гораздо ранѣ Декарта образовалось особое, практически философское воззрѣніе на вещи, не наукообразное, не имѣющее произнесенной теоріи, не покоренное ни одному абстрактному ученію, ни чьему авторитету,—воззрѣніе свободное, основанное на жизни, на самомысленіи и на отчетѣ о прожитыхъ событіяхъ, отчасти на усвоеніи, на долгомъ, живомъ изученіи древнихъ писателей; воззрѣніе это стало просто и прямо смотрѣть на жизнь, изъ нея брало матеріалы и совѣтъ; оно казалось поверхностнымъ, потому что оно ясно, человѣчно и свѣтло. Германскіе историки отзываются о немъ съ пренебреженіемъ, съ *Vornehmthuerei*,—можетъ быть, потому, что это воззрѣніе захватило отъ жизни ея неуловимость въ одну формулу; можетъ быть, потому, что оно говорило довольно понятнымъ языкомъ и часто занималось вопросами обыденной жизни. Воззрѣніе Монтеня ¹⁾, между тѣмъ, имѣло огромное вліяніе; впоследствии оно развилось въ Вольтера и энциклопедистовъ; Монтень былъ въ нѣкоторомъ отношеніи предшественникъ Бэкона, а Бэконъ—геній этого воззрѣнія.

Противоположность Бэкона съ Декартомъ рѣзка; у Декарта была метода, но не было дѣйствительнаго содержанія, кромѣ формальной способности мышленія: у Бэкона было эмпирическое содержаніе *in crudo* ²⁾, но не было науки, т. е. оно не было вполне усвоено ему, именно потому что не пришло то время, въ которое, дѣйствительно содержаніе могло быть такъ понято мышленіемъ, чтобъ развернуться въ наукообразной формѣ. Протестъ Декарта, былъ сдѣланъ отъ теоріи, отъ чистаго мышленія; протестъ Бэкона—отъ того непокорнаго элемента жизни, который, улыбаясь, смотритъ на всѣ односторонности и идетъ своей дорогой. Результатъ средневѣковой жизни, этого міра ненавидящихъ исключительностей и насильственнаго расторженія, долженъ былъ явиться раздвоеннымъ, двуглавымъ. Каждая сторона, выходя изъ односторонняго и прямо противоположнаго опредѣленія идеи, была далека отъ пониманья, что для истины равно нужны оба опредѣленія; каждая шла отъ своихъ началъ: начало Декарта—отвлеченное мышленіе: онъ хочетъ науку а priori; начало Бэкона—опытъ: для него истина только та, которая получена а posteriori. Вопросъ о мышленіи и бытіи Декартъ хочетъ рѣшить отвлеченно, трансцендентально, ло-

¹⁾ Мишель, французскій писатель-скептикъ. Авторъ знаменитой книги, «*Essais*» («Опыты»).

²⁾ Въ сыромъ видѣ.

гически; Бэконъ—въ живыхъ областяхъ опыта и наблюдений. У обоихъ мысль совершенно освобождена въ началѣ; но одинъ не можетъ оторваться отъ абстракцій, а другой—отъ природы; Декартъ все основываетъ на силлогизмѣ, принявъ за начало не силлогизмъ; Бэконъ не хочетъ силлогизмовъ, онъ хочетъ одного наведенія, какъ будто наведеніе не силлогизмъ. Одинъ все уничтожилъ, кромѣ мышленія, все отвергнулъ и съ одной вѣрою въ мысль шелъ на созданіе науки. Другой отправился отъ чувственной достовѣрности, отъ вѣры въ фактъ, отъ довѣрія къ великому посредству между природой и умозрѣніемъ, то есть къ наблюдению. Одинъ потерялъ и землю, и небо при самомъ началѣ; другой обѣими ногами стоялъ на землѣ, уцѣпился за явленіе и по внѣшности, по корѣ дошелъ до великихъ и многообъемлющихъ мыслей. Одинъ хочетъ физику подчинить математикѣ; другой математику называетъ служанкой физики. Одинъ видитъ въ матеріи только количественное опредѣленіе и думаетъ, что вещество можно отвлечь отъ качества; другой занимается однимъ качественнымъ опредѣленіемъ предмета, хотъ и зналъ мѣсто количественнаго опредѣленія. Оба, наконецъ, соединенные гругчей ненавистью къ схоластикѣ, не понимаютъ и бранятъ Аристотеля и всѣхъ древнихъ; они обернули умы современниковъ, обращенные назадъ, и указали имъ впередъ; схоластика достигла прошедшаго, Бэконъ заговорилъ о прогрессѣ и будущемъ; оба имѣли свои односторонности.

Впрочемъ, Бэкона обвинить въ односторонности трудно. Бэконъ хотѣлъ, какъ онъ самъ говоритъ, науки дѣятельной, живой,—науки о природѣ и изъ природы. Онъ хотѣлъ такой науки, которая была бы перегнана наблюдениемъ и обдумываніемъ изъ фактовъ во всеобщую мысль. Имѣя это въ предметѣ, онъ на все обращалъ взглядъ прямой и свѣтлый съ цѣлью узнать, разобрать, а не для того, чтобъ поймать въ силки систематики и затянуть узелъ. Онъ очень часто начинаетъ съ односторонности и достигаетъ результатовъ самыхъ многостороннихъ. Онъ чрезвычайно добросовѣстенъ, не дѣлаетъ изъ вопроса науки личнаго вопроса; онъ покоряется объективности истины; у него огромная ученость; онъ безпрестанно подъ влияніемъ своей памяти; все предшествующее историческое развитіе ему присуще. Ненавидя греческую науку и Аристотеля, онъ мастерски ссылается на нихъ и пользуется ими. Вовсе не поэтъ, онъ превосходно толкуетъ греческіе мифы. Нельзя себѣ представить странное ощущеніе, когда, перечитывая или перелистывая средневѣковыхъ схоластиковъ, потомъ философовъ теоретической эмансипаціи, вдругъ приходишь до Бэкона. Помните ли вы, напримеръ, какъ въ эпоху мечтательной юности, когда теорія смѣняется

теоріей, когда вѣра въ себя и друзей безгранична, когда въ мечтахъ перестраивается наука и міръ, и когда восторженные рѣчи поддерживаютъ поэтическое опьянѣніе,—вдругъ является откуда-нибудь человѣкъ практической, дѣйствительно знающій жизнь, знающій, что на отвлеченіяхъ далеко не уѣдешь, что перевороты въ наукѣ и въ исторіи дѣлаются не такъ-то легко? Помните ли вы, какъ сильно дѣйствовало появленіе такого человѣка, какъ сначала вы отталкивали скептическую и холодную мысль его, устрашенные ею, а потомъ начинали краснѣть своихъ мечтаній, подчинялись пришельцу, ловили его слова, выдавали ему заповѣднѣйшія упованія за наторѣлый, изъ жизни выстроенный, взглядъ его, который вамъ казался не погрѣшающимъ? Этотъ практической пришелецъ — Бэконъ, и, вѣроятно, случалось съ вами и то, что когда мало-по-малу вы найдете въ новомъ воззрѣніи, разсмотрите ближе, то вспомнете и о своихъ мечтахъ; онѣ, конечно, мечты, но въ нѣкоторыхъ изъ нихъ была такая ширина, которую жаль отдать за практическую мудрость; все это повторяется, переходя отъ энергическихъ реформаторовъ къ спокойному Бэкону. Это не тревожная, не огненная натура Джордано, не бѣснующійся Карданъ, не эти скитальцы, томимые мыслию, бездомные бродяги, разносившіе съ собою по всѣмъ большимъ дорогамъ Европы восходящее сознаніе и умственную дѣятельность, не эти гонимые труженики, падавшіе часто на полпути отъ внутренняго разлада и внѣшнихъ страданій,—нѣтъ: это пишетъ человѣкъ спокойный, человѣкъ огромнаго ума и огромнаго опыта, канцлеръ, привыкнущій къ государственнымъ дѣламъ, пэръ, не имѣющій занятія, потому что вычеркнутъ изъ списка пэровъ... Въ душѣ этого человѣка, послѣ разрушительнаго огня самолюбія, честолюбія, власти, почести, богатства, неудачъ, тюрьмы, униженій, все выгорѣло, но гениальный умъ остался да осталось еще воображеніе, настолько охлажденное, подвластное разуму, что оно смѣло призывалось имъ бросать пышные цвѣты поэтической рѣчи по царственному пути его ясной, широкой мысли.

Въ сочиненіяхъ Бэкона съ самаго начала поражаетъ необычайная смѣтливость, дѣльность, практическая рѣзкость и удивительная многосторонность. Бэконъ изощрилъ свой умъ общественными дѣлами; онъ на людяхъ выучился мыслить. Декартъ прятался отъ людей то въ парижскія предмѣстья, то въ Голландію; ему люди мѣшали заниматься. Оттого съ Декарта начинается чистое мышленіе, а съ Бэкона—физическія науки; идеализмъ Декарта остался при дуализмѣ; въ мышленіи Бэкона находилось демоническое начало, съ которымъ схоластика часу ужиться не могла. Бэконъ начинаетъ такъ же, какъ и Декартъ, съ отрицанія существующей, готовой

догматики, но у него это отрицаніе не *логическій маневръ*, а практическая поправка; отрицаніе Бэкона поставило человѣка, освободивъ его отъ схоластики, передъ природой; ея самозаконность онъ призналъ съ самаго начала; еще болѣе, онъ хотѣлъ ея *очевидной* объективности покорить своевольную мысль, поврежденную схоластическимъ высокоуміемъ (Декартъ, совсѣмъ напротивъ, поставилъ природу hors la loi ¹⁾ своимъ a priori). Бэконъ скромно указалъ на эмпирію, какъ на начальную степень знанія, какъ на средство по явленію, по факту добратъся до той всесвязующей сущности, изъ которой Декартъ стремился вывести явленія. Они работали другъ другу въ руку, и, если ни они, ни ихъ послѣдователи не встрѣтились, то это не отъ внутренней непримиримости, а оттого, что ни идеализмъ, ни эмпирія не были развиты ни до истинной методы, ни до дѣйствительнаго содержанія. Лейбницъ называетъ картезіанизмъ «сбѣнями истины»; мы можемъ, по всей справедливости, назвать бэконовскую эмпирію ея кладовою.

О богатствѣ и недостаткахъ этой кладовой мы поговоримъ въ слѣдующемъ письмѣ ²⁾.

С. Соколово. Іюнь 1845 г.

ПИСЬМО СЕДЬМОЕ.

Бэконъ и его школа въ Англіи.

Основная мысль Бэкона до того проста для насъ, что съ перваго взгляда мудрено понять всю ея важность. Мы не разъ имѣли случай замѣчать, что чѣмъ глубже проникаетъ наука въ дѣйствительность, тѣмъ простѣйшія истины открываются ею,—тутъ открываются ей такія истины, которыя *сами собою развиваются*; ихъ простота, какъ простота естественныхъ произведеній, понятна или безыскусственному, *прятому* воззрѣнію человѣка, не распадавшагося съ природой, или много трудившемуся разуму, который, въ награду за свой трудъ, освобождается отъ готовыхъ понятій, отъ предварительныхъ полуистинъ; человѣчество вырабатывается до про-

¹⁾ Внѣ закона.

²⁾ Бэкона необходимо читать самому; у него вездѣ неожиданно, невзначай встрѣчаете мысли поразительной вѣрности и ширины. Для доказательства и для того, чтобы больше ознакомить съ Бэкономъ, я приложу къ слѣдующему письму нѣсколько выписокъ изъ него; онъ своими словами лучше меня расскажетъ свое воззрѣніе.—А. И. Г.

стихъ истинъ тысячелѣтїями, усилїями величайшихъ генїевъ; истины замысловатыя были во всякое время. Для того, чтобъ возвратиться къ простотѣ пониманья, надобно совершить весь феноменологическій процессъ и снова стать въ естественное отношенїе къ предмету. Практическая, обыденная истина кажется пошлою; все, видимое *нами вблизи и часто*, представляется не заслуживающимъ вниманїя; намъ надобно далекое, *il n'y a pas de grand homme pour son valet de chambre*¹⁾. Чѣмъ меньше знаетъ человѣкъ, тѣмъ больше презрѣнїя къ обыкновенному, къ окружающему его. Разверните исторїю всѣхъ наукъ,—онѣ непремѣнно начинаются не наблюденїями, а магїей, уродливыми, искаженными фактами, выраженными іероглифически, и оканчиваются тѣмъ, что обличаютъ сущностью этихъ тайнъ, этихъ мудреныхъ истинъ, истины самая простая, до того извѣстная и обыкновенная, что объ нихъ вначалѣ никто и думать не хотѣлъ. Въ наше время еще не совсѣмъ искоренился предрасудокъ, заставляющїй ожидать въ истинахъ науки чего-то необыкновеннаго, *недоступнаго толпѣ*, не прилагаемаго къ жалкой юдоли нашей жизни. До Бэкона такъ думали всѣ, и онъ смѣло возсталъ противъ этого. Дуализмъ, истощенный въ предшествовавшую эпоху, перешелъ въ какое-то тихое и безнадежное безумїе въ мирѣ протестантскомъ,—Бэконъ указалъ на пустоту кумировъ и идоловъ, которыми была биткомъ набита наука его времени, и требовалъ, чтобъ люди отреклись отъ нихъ, чтобъ они возвратились къ дѣтски-простому отношенїю къ природѣ. Нелегко было возвратиться къ естественному пониманїю умамъ, искаженнымъ схоластикой. Сжатый, подавленный умъ средневѣковыхъ мыслителей питалъ подъ скромной власницей своей формалистики безумно гордое притязанїе на власть; не истинное, не святое право разума и нераздѣльная съ нимъ мощь мысли нравились имъ,—нѣтъ, они стремились къ покоренїю естественныхъ явленїй своевольному капризу, къ произвольному ниспроверженїю законовъ природы. Люди отвлеченные, книжные, затворники, они не знали ни природы, ни жизни, и, между тѣмъ, и природа, и жизнь ихъ страшили чѣмъ-то невѣдомымъ, полнымъ мощи, увлекающимъ; повидимому, они презирали и ту, и другую, но это была одна изъ безчисленныхъ лжей того времени; они понимали, что нелегко совладать съ природой, и со всѣмъ безграничнымъ властолюбіемъ скованнаго невольника стремились покорить ее своему духу. Благородный интересъ знанїя превращался въ ихъ душѣ въ нечистое упоенїе своею властью, такъ, какъ кроткое чувство любви въ душѣ Клода Фролло превра-

¹⁾ Нѣтъ великаго человѣка для его слуги.

шалось въ ядовитый порокъ. Посмотрите на алхимика передъ его горномъ, на этого человѣка, окруженнаго магическими знаками и страшными снарядами: отчего эта блѣдность щекъ, этотъ судорожный видъ, это трепетное дыханіе? Оттого, что въ этомъ человѣкѣ не цѣломудренная любовь къ истинѣ, а сладострастное пытаніе, насиліе; оттого, что онъ *дѣлаетъ* золото, гомункула въ ретортѣ. Объективность предмета ничего не значила для высокоумнаго эгоизма среднихъ вѣковъ; въ себѣ, въ сосредоточенной мысли, въ распаленной фантазіи находилъ человѣкъ весь предметъ, а природа, а событія призывались, какъ слуги, *помочь въ случай нужды и выйти вонъ*. Реформація не могла исторгнуть людей изъ этого направленія; она еще болѣе толкнула умы въ отвлеченныя сферы; она придала католической наукѣ, подчасъ страстной и энергической, какую-то холодную и мертвую обдуманность; протестантизмъ, вмѣсто сердца, развилъ свой томный и слезливый Gemüth. Самый эксцентрической, самый уродливый мистицизмъ быстро распространился въ Швеціи, Англіи и Германіи рядомъ съ совершенно формальнымъ теологическимъ направленіемъ пуританизма, пресвитеріанизма, образцы которыхъ вы имѣете въ «Вудстокѣ» и въ «Шотландскихъ пуританахъ» ¹⁾).

Среди всего этого явился человѣкъ, который сказалъ своимъ современникамъ: «Посмотрите внизъ; посмотрите на эту природу, отъ которой вы силитесь улетѣть куда-то; сойдите съ башни, на которую взобрались и откуда ничего не видать; подойдите поближе къ міру явленій,—изучите его. Вы, вѣдь, не убѣжите изъ природы: она со всѣхъ сторонъ, и ваша мнимая власть надъ ней—самообольщеніе; природу можно покорять только ея собственными орудіями, а вы ихъ не знаете; обуздайте же избалованный легкой и бесплодной логомахіей умъ вашъ настолько, чтобъ онъ занялся дѣломъ, чтобъ онъ призналъ несомнѣнное событіе вась окружающей среды, чтобъ онъ склонился предъ повсюднымъ вліяніемъ природы,—и начинайте, проникнутые уваженіемъ и любовью, трудъ добросовѣстный». Многіе, услышавъ слова эти, отложили бесполезное блужданіе по схоластическимъ топямъ словъ и, дѣйствительно, принялись за работу самоотверженно; съ легкой руки Бэкона, началось движеніе въ физическихъ наукахъ, движеніе, развившееся потомъ до Ньютона, Линнея ²⁾, Бюффона, Кювье... Другіе съ негодованіемъ услышали странную рѣчь веруламскаго лорда, и злоба ихъ

¹⁾ Романы Вальтеръ Скотта.

²⁾ Карль, знаменитый шведскій ботаникъ XVIII вѣка.

была такъ сильна, что черезъ двѣсти лѣтъ графъ де-Мэстръ ¹⁾ счелъ еще нужнымъ *уничтожить* Бэкона и показать, что ненависть къ нему еще жива въ *любящихъ* сердцахъ обскурантовъ. Но въ чемъ же существенная мысль Бэконова ученія?

До Бэкона наука начиналась общими мѣстами; откуда брались эти общія мѣста, никто не зналъ: схоластическая наука думала, что Кай смертенъ *потому*, что человѣкъ смертенъ. Бэконъ сталъ доказывать совсѣмъ напротивъ, что мы въ правѣ сказать: человѣкъ смертенъ потому, что Кай смертенъ. Тутъ не перестановка словъ, а нѣчто побольше. Событіе, эмпирическое событіе, получило право первой посылки, логическое *anterioritatis*. Вы видите тутъ главный приѣмъ Бэкона: онъ состоитъ въ томъ, чтобъ итти отъ частнаго, отъ опыта, отъ наблюдаемаго событія къ обобщенію, взаимнымъ сличеніемъ между собою всего полученнаго сознаніемъ. Опытъ у Бэкона не есть страдательное восприниманіе внѣшняго во всей случайности его; напротивъ, онъ—сознательное взаимодействіе мысли и внѣшняго, ихъ совокупная дѣятельность, при развитіи которой Бэконъ не позволяетъ ни мысли забѣгать, дѣлая заключенія, на которыя она не имѣетъ еще права, ни опытамъ оставаться механической грудой свѣдѣній, «не пережженныхъ мыслию». Чѣмъ обширнѣе и богаче сумма наблюденій, тѣмъ незыблемѣе право раскрывать общія нормы наведеніемъ; но, раскрывая ихъ, недовѣрчивый, осторожный Бэконъ требуетъ снова погруженія въ потокъ явленій, на поискъ или обобщающаго подтвержденія, или ограничивающаго опроверженія.

До Бэкона опытъ былъ случайностью; на немъ основывались даже меньше, чѣмъ на преданіи, не говоря уже объ умозрѣніи. Онъ возвелъ его и въ необходимый, начальный моментъ вѣдѣнія, и въ моментъ, сопутствующій потомъ всему развитію знанія,—въ моментъ, предлагающій на каждомъ шагу повѣрку, останавливающій своей опредѣленной непреложностью, своей конкретной многосторонностью наклонность отвлеченнаго ума подниматься въ изрѣженную среду метафизическихъ всеобщностей. Бэконъ столько же вѣрилъ разуму, сколько природѣ, но онъ болѣе всего вѣрилъ, когда они заодно, потому что провидѣлъ ихъ единство. Онъ требовалъ, чтобъ разумъ выходилъ на дорогу, опираясь на опытъ, рука въ руку съ природой, чтобъ природа вела его, какъ своего питомца, до тѣхъ поръ, пока онъ въ состояніи вести ее къ полному просвѣтлѣнію въ мысли.

¹⁾ Жозефъ, извѣстный французскій писатель, абсолютистъ и клерикалъ начала XIX вѣка.

Это было ново, чрезвычайно ново и чрезвычайно велико; это было воскресеніе реальной науки, *instauratio magna* ¹⁾). Бэконъ имѣлъ полное право дать это заглавіе своей книгѣ: его книгой началось великое возрожденіе науки. Хотя онъ и говоритъ: «мое твореніе принадлежитъ не столько моему духу, сколько духу времени», но честь и хвала тому первому, въ которомъ воплощается духъ времени и которымъ онъ передается; двойная хвала, если онъ сознаетъ себя только органомъ духа времени, а не личностью, стремящейся подавить собою современниковъ! Эта скромность не мѣшала, однако-жъ, Бэкону чувствовать мощь свою. Когда онъ началъ свой трудъ, наука, по всѣмъ отраслямъ ея, была въ самомъ жалкомъ положеніи; Бэконъ безбоязненно потребовалъ передъ собой всю современную систему свѣдѣній въ ея готическомъ нарядѣ и осудилъ ее. Помнится, кто-то сравнилъ его съ полководцемъ, дѣлающимъ смотръ войскамъ; да, именно, это—спокойный вождь, осматривающій передъ боемъ полки свои. Всѣ отрасли вѣдѣнія человѣческаго прошли мимо его, и онъ осмотрѣлъ каждую, каждой указалъ ея недостатки, каждой далъ совѣтъ, и все это съ той простотой генія, которому такое самоуправство потому естественно, что онъ довлѣетъ своею мощью исполнить то, что хочетъ. Не думайте, что Бэконъ ограничился однимъ общимъ указаніемъ на опытъ и наведеніе; онъ развертываетъ свою методу до малѣйшихъ подробностей, учитъ примѣрами, толкуетъ, объясняетъ, повторяетъ свои слова, чтобъ только достигнуть ясности, и тутъ на каждомъ шагу вы поражены богатыми средствами этого ума, страшной по тому времени ученостью и совершенной противоположностью средневѣковой манерѣ. Даже въ веселомъ тонѣ его, въ улыбкѣ, которая иногда пробивается сквозь самую серьезную матерію, вы видите что-то наше, безъ ходуль, безъ докторской шапки, безъ натянутой важности схоластиковъ.

Метода Бэкона не болѣе, какъ личное (субъективное) и внѣшнее предмету средство пониманія. Онъ самъ разомъ выразилъ и глубоко практической характеръ своего воззрѣнія и субъективность своей методы слѣдующими словами: «Достоинство хорошей методы состоитъ въ томъ, что она *уравниваетъ способности*; она вручаетъ всѣмъ средство легкое и вѣрное. Дѣлать кругъ отъ руки трудно, надобно навѣкъ и проч.; циркуль стираетъ различіе способностей и даетъ каждому возможность дѣлать кругъ, самый правильный». Съ логической точки, это глубоко человѣчественное воззрѣніе, конечно, не оправдано, но тѣмъ не менѣе его метода имѣетъ огром-

¹⁾ Великое возстановленіе.

ный, исторически объективный смысл; впрочемъ, и въ ней, какъ вообще въ реализмѣ, философскаго значенія, все-таки, болѣе, чѣмъ высказано словами. Бэконъ приковалъ своей методой науку къ природѣ, такъ что философія и естествовѣдѣніе должны или вмѣстѣ стоять, или вмѣстѣ итти; это было фактическое признаніе единства мысли и бытія. Эмпірія Бэкона проникнута, оживлена мыслию,— это всего менѣе оцѣнили въ немъ. Не изъ ограниченности держится онъ одного опыта, а потому, что онъ считаетъ его началомъ, первой ступеню, которую миновать нельзя; для него опытъ— средство раскрытія «вѣчныхъ и неизмѣнныхъ формъ природы», а форму онъ опредѣляетъ всеобщимъ, родомъ, идеей, но не отвлеченной идеей, а какъ *fons emanationis* ¹⁾, какъ *natura naturans* ²⁾, какъ животворящее начало, исполняющееся частными опредѣленіями предмета, какъ источникъ, изъ котораго истекаютъ его различія, его свойства, источникъ, не расторгаемый съ самою вещью. Субъективный эмпиризмъ у Бэкона больше на словахъ, въ неловкости языка, въ реакціонномъ страхѣ сближенія съ схоластикой; но не надобно забывать, что такой человѣкъ не могъ не выработаться не только до того, что лежитъ въ его методѣ, но и до многого, чего строго вывести по его методѣ нельзя. Декартъ далеко выше Бэкона методою и далеко ниже результатомъ, потому что Декартъ— абстрактный человѣкъ. Конечно, на Бэкона падетъ доля односторонности, въ которую впала большая часть его послѣдователей, но онъ самъ былъ далекъ отъ грубой эмпирии. Вотъ его слова: «Эмпирики непрерывно роются, ищутъ и, если найдутъ, чего искали, выдумываютъ что-нибудь новое и опять ищутъ; ихъ трудъ дробится, не обобщаясь; они ходятъ въ потемкахъ, ощупью,—лучше было бы съ самаго начала входить съ зажженной свѣчей разума». «Въ естественныхъ наукахъ преобладаетъ желаніе дѣлать, находить различія, различія различій и т. д. Этимъ путемъ невозможно изучать природу: аналогія, общія воззрѣнія, раскрывающія единство,—необходимы». «Есть умы, болѣе способные наблюдать, дѣлать опыты, изучать частности, оттѣнки; другіе, напротивъ, стремятся проникнуть въ сокровеннѣйшія сходства, обобщить полученные понятія. Первые, теряясь въ частностихъ, ничего не видятъ, кромѣ атомовъ; другіе, расплываясь во всеобщностяхъ, теряютъ все отдѣльное, замѣщая его призраками... Ни атомы, ни отвлеченная матерія, лишенная всякаго опредѣленія, не дѣйствительны; дѣйствительны *тѣла такъ, какъ они существуютъ въ природѣ...*

¹⁾ Источникъ эманацин.

²⁾ Творящая природа.

Не надобно увлѣкаться ни въ ту, ни въ другую сторону; для того, чтобъ сознание углублялось и расширялось, надобно, чтобъ эти два воззрѣнія *преимущественно переходили другъ въ друга*. Понимая это, Бэконъ устремлялъ, однако, всю умственную дѣятельность на опытъ, на изслѣдованія и наблюденія, потому что онъ считалъ опытъ началомъ науки, потому что онъ ясно видѣлъ гибельное вліяніе силогической распушенности и метафизической неосновательности, при недостаткѣ фактическихъ свѣдѣній. Онъ очень хорошо понималъ, что собраніе и сличеніе однихъ опытовъ не есть наука, но онъ понималъ и то, что нѣтъ науки безъ фактическихъ свѣдѣній. «Мы торопимся,—говоритъ онъ,—придать наукообразную форму бѣдной системѣ истинъ, узнанныхъ нами, и тѣмъ самымъ останавливаемъ ходъ открытій, приращеній. Молодые люди, сложившіеся и получившіе видъ совершеннолѣтія, перестаютъ расти. Пока наука составляетъ массу открываемыхъ свѣдѣній, все вниманіе обращено на новыя открытія». Онъ не хотѣлъ замкнутой цѣлости прежде полноты содержанія; онъ хотѣлъ лучше трудную работу, нежели незрѣлый плодъ. Метода Бэкона чрезвычайно скромна: она проникнута уваженіемъ къ предмету; она приступаетъ къ нему съ тѣмъ, чтобъ научиться, а не съ тѣмъ, чтобъ вынудить изъ предмета насильственное оправданіе впередъ заготовленной мысли; она стремится все привести къ сознанию: «то,—говоритъ Бэконъ,—что достойно существовать,—достойно быть знаемо». Онъ умѣлъ найти дѣйствительное и истинное даже тамъ, гдѣ мы обыкновенно видимъ суетную призрачность ¹⁾).

Геній Бэкона, положительный, чисто англійскій, не имѣлъ органа для схоластической метафизики; вопросы тогдашней философіи его вовсе не занимали. Онъ, какъ Декартъ, началъ съ отрицанія, но съ отрицанія практическаго; онъ отбросилъ старую догматику, потому что она была негодна; онъ возмущился противъ авторитетовъ, потому что они тѣснили самобытность ума. «Наше понятіе,—говоритъ онъ,—о древнихъ авторитетахъ поверхностно; старѣе нѣтъ эпохи, какъ та, въ которой мы живемъ. Когда жили предки наши, міръ былъ моложе; они жили въ юномъ времени, мы зрѣлѣе ихъ. Совершеннолѣтній судить основательнѣе отрока». Подрывая авторитеты прошедшаго, Бэконъ указывалъ людямъ впередъ; тамъ, въ будущемъ цѣною ихъ усилій должна раскрыться истина; онъ доказывалъ, что, оборачиваясь назадъ, по совѣту схоластиковъ, ея не найдешь, что истина—искомое, а не потерянное; отрицаніе

¹⁾ Напримѣръ, въ его «Новомъ Органонѣ» нашли себѣ мѣсто не только гимнастика, но и косметика, даже теорія роскоши.—А. И. Г.

авторитетовъ у него неразрывно съ вѣрою въ прогрессъ. Отринувъ бесплодную догматику, онъ очутился лицомъ къ лицу съ природою и тотчасъ началъ изучать ее, изслѣдовать, какъ фактъ, не подлежащій никакому сомнѣнію; отрицать природу ему и въ голову не приходило: для него отрицать природу было все равно, что отрицать свое собственное тѣло; въ такомъ отрицаніи для человѣка, какъ Бэконъ, очевидное безуміе, безвыходный, тяжелый мракъ; Бэконъ знаетъ, напр., что чувства обманчивы, но такое знаніе ведетъ его къ практической истинѣ дѣлать много опытовъ, многими лицами повѣрять другъ друга. Вѣра Бэкона въ разумъ и въ природу непоколебимы; онъ съ такимъ же отвращеніемъ говоритъ о скептицизмѣ, какъ объ метафизикѣ; это совершенно послѣдовательно въ немъ: ему надобны знанія, свѣдѣнія, а не мучительные стоны о безсиліи ума и неувимости истины; ему надобно дѣятельное развитіе, ему надобна истина и ея практическое приложеніе; онъ считаетъ *ничтожною* философію, не ведущую къ дѣлу; для него знаніе и дѣяніе—двѣ стороны одной энергіи. Чѣловѣкъ, такъ думающій, всего менѣе способенъ къ романтизму, къ мистицизму и къ схоластикѣ.

Теперь вы видите, что Бэконъ и Декартъ были въ наукѣ представителями двухъ враждебныхъ основаній средневѣковой жизни; въ нихъ и ими противорѣчіе дуализма выразилось самымъ яркимъ и рѣзкимъ образомъ. Оба направленія, идеализмъ и эмпирія, при послѣдователяхъ Декарта и Бэкона, до того доходили въ формальномъ противорѣчьи, что, по діалектической необходимости, перегибались другъ въ друга, и противоположная сторона, непосредственно заключенная въ одностороннемъ воззрѣніи, получала голосъ. Вы помните, что мысль человѣческая, при возрожденіи ея дѣятельности въ началѣ XVI вѣка, являлась совѣмъ не такъ исключительно, что, напротивъ, она снимала восторженнымъ предузнаніемъ дуализмъ схоластическаго воззрѣнія. Таковъ былъ взглядъ Джордано Бруно и его послѣдователей: они видѣли во всей природѣ, во всей вселенной одну всеобщую жизнь; все, казалось имъ, оживлено ею: былинка и планета, челоуѣкъ и трупъ—равно носители ея, и все она стрѣмится къ сознательному единству мысли, свободно пребывая и повторяясь въ многообразіи сущаго. Но ни наука не имѣла силъ развить это воззрѣніе, ни умъ средневѣковой—перейти отъ своихъ романтическихъ, мрачныхъ грезъ къ такому свѣтлому пониманію. То было пророческое указаніе, цѣль будущаго наукообразнаго развитія, явившаяся въ началѣ шествія; удержаться на этой высотѣ не было еще возможности. Въ исторіи часто бываютъ такіе примѣры; при самомъ началѣ переворота, идея его проявляется во всемъ

блескъ, но въ непереводимой всеобщности; вскорѣ, къ ужасу и отчаянію дѣятелей, это обличается; свѣтлая идея тускнетъ отъ обстоятельствъ, пропадаетъ, гибнетъ, и современники не понимаютъ, что она гибнетъ, какъ зерно, для того, чтобъ потомъ, искусившись всѣми противорѣчіями и вооружившись всѣмъ, что могла дать среда, явиться побѣдоносною и торжествующею. Ни Бэконъ, ни Декартъ не могли остановиться на одномъ провидѣніи, какъ Бруно; они хотѣли бѣльшаго и сдѣлали бѣльшее, но основная идея Бруно выше ихъ идеи. Бэконъ не былъ противъ науки *людей предчувствія*: онъ самъ, какъ мы уже говорили, былъ полонъ предугадыванія; но англичанинъ, дѣлецъ, онъ хотѣлъ опростить вопросъ, сдѣлать его какъ можно болѣе положительнымъ; онъ намѣренно отворачивался отъ нѣкоторыхъ сторонъ, чтобъ хорошенько высмотрѣть одну, именно, эмпирическую. Послѣдователи его доказали, *что они лучше ничего не просятъ*, какъ сидѣтъ въ односторонности. Недоставало только ученія прямо противоположнаго Бэкону, чтобъ старый вопросъ дуализма *переродился* въ новую борьбу, чтобъ отринутая жизнь, практическіе интересы, физическія событія стали съ одной стороны, а разумъ, какъ сущность, какъ мышленіе и самопознаніе съ пренебреженіемъ къ бытію, съ вѣрою въ свои начала—съ другой. Это направленіе явилось, какъ вы знаете, въ Декартъ. Единство мысли и жизни, начинавшее просвѣчивать со всею прелестью отрочества у Бруно, снова расторглось: дуализмъ нашелъ новый языкъ, но такой языкъ, который непременно велъ къ отчаяннѣйшей крайности идеализма и къ таковой же матеріализма, а вмѣстѣ съ тѣмъ и къ выходу изъ всякаго дуализма. Вопросъ дуализма рѣшался тутъ не въ *жизни*, не Гвельфами и Гибелинами, а въ теоретической сферѣ отвлеченнаго мышленія,—и къ этому средневѣковая мысль не могла не прійти,—иначе она не была бы вѣрна своему историческому происхожденію.

Никогда въ древнемъ мірѣ мысль не приходила къ полному сознанию своей противоположности съ бытіемъ; въ новой наукѣ она является въ зломъ междоусобіи: такой бой не могъ остаться безслѣденъ. Скажемъ просто,—и это нисколько не будетъ преувеличено,—идеализмъ стремился уничтожить вещественное бытіе, принять его за мертвое, за призракъ, за ложь, за ничто, пожалуй, потому что быть одной случайностью сущности *весьма немною*. Идеализмъ видѣлъ и признавалъ одно всеобщее, родовое, сущность, разумъ человѣческой, отрѣшенный отъ всего человѣческаго; матеріализмъ, точно также односторонній, шелъ прямо на уничтоженіе всего невещественнаго, отрицалъ всеобщее, видѣлъ въ мысли отдѣленіе мозга, въ эмпириі единственный источникъ знанія, а истину при-

знавалъ въ однѣхъ частностяхъ, въ однѣхъ вещахъ, осязаемыхъ и зримыхъ; для него былъ разумный человѣкъ, но не было ни разума, ни человѣчества. Словомъ, они были противоположны во всемъ, какъ правая и лѣвая рука; и никто не догадывался, что та и другая идутъ изъ одной груди и необходимы для цѣлости организма. Логически, обѣ стороны дѣлали ошибки поразительныя: обѣ не умѣли сдѣлать и шага изъ своихъ началъ, не захвативъ чего-либо изъ противоположнаго начала, — и по большей части дѣлали не то, чего хотѣли. Идеализмъ начинается съ *a priori*, онъ отвергаетъ опытъ, онъ хочетъ начать *cogito ergo sum*, а на самомъ дѣлѣ начинаетъ съ врожденныхъ идей, забывая, что врожденные идеи представляютъ эмпирическое событіе, которое онѣ принимаютъ, а не выводятъ, и разрушаютъ такимъ образомъ *a priori*. Идеализмъ хочетъ всю дѣйствительность, весь разумъ предоставить духу и признаетъ въ то же время матерію за имѣющую въ себѣ независимое и самобытное начало существованія, вслѣдствіе котораго протяженіе гордо становится рядомъ съ мышленіемъ, какъ чуждое ему; у идеализма всегда являются всеобщими, впередъ идущими идеями именно тѣ истины, которыя надобно вывести. Материализмъ имѣлъ у себя въ запасѣ точно такія же, впередъ идущія, истины, которыхъ вывести не могъ. Юмъ ¹⁾ совершенно правъ, говоря, что материалисты *повѣрили* достовѣрности опыта. Материализмъ ставитъ непрерывно вопросъ: «знаніе наше истинно ли?», — и отвѣчаетъ на него отвѣтомъ на совершенно другой вопросъ, на вопросъ: «откуда мы получаемъ наши знанія?» Онъ превосходно сдѣлалъ, что начиналъ всякій разъ съ феноменологии знанія, но онъ не оставался вѣренъ своему началу отчетливаго наблюденія; иначе онъ не могъ бы не видѣть, что мысль, истина имѣетъ источникомъ дѣятельность разума, а не внѣшній предметъ; дѣятельность, возбуждаемую опытомъ — это совершенно справедливо, но самобытную и развивающуюся мысль по своимъ законамъ; помимо ихъ всеобщее не могло бы развиваться, ибо частное вовсе не способно само собою обобщаться. Материалисты не поняли, что эмпирическое событіе, попадая въ сознаніе, — столько же психическое событіе. Материализмъ хотѣлъ создать чисто *эмпирическую науку*, не понимая, что тутъ *contradictio in adjecto* ²⁾, что опытъ и наблюденіе, страдательно принимаемые и приводимые въ порядокъ внѣшнимъ разсужденіемъ, даютъ дѣйствительный матеріалъ, но не даютъ формы, а наука есть именно

¹⁾ Давидъ, извѣстный англійскій историкъ и философъ XVIII столѣтія

²⁾ Противорѣчіе въ допускаемыхъ данныхъ — коренная логическая ошибка.

форма самосознанія сущаго. Всѣ хлопоты матеріализма, всѣ его тонкіе анализы умственныхъ способностей, происхожденія языка и сдѣпленія идей оканчиваются тѣмъ, что частныя явленія, событія истинны и дѣйствительны. Безспорно, что событія внѣшняго міра истинны, и неумѣние признать это со стороны идеализма—сильное доказательство его односторонности; внѣшній міръ (какъ мы сказали въ одномъ изъ прежнихъ писемъ)—«обличенное доказательство своей дѣйствительности»; онъ потому и существуетъ, что онъ истиненъ; это такъ же безспорно, какъ и то, что внутренній міръ (т. е. мышленіе), что *actus purus* разума тоже истиненъ и тоже—дѣйствительное событіе. Дѣло совсѣмъ не въ этомъ признаніи, а въ связи, въ переходѣ внѣшняго во внутреннее, въ пониманіи дѣйствительнаго единства ихъ; безъ этого мало поможетъ сознаніе, что предметъ истиненъ: человѣкъ не будетъ имѣть средствъ уловить его. Матеріализмъ со стороны сознанія, методы стоитъ несравненно ниже идеализма. Если-бъ матеріализмъ былъ философски-логиченъ, онъ перешелъ бы свои границы, пересталъ бы быть собою, а потому на видимой непослѣдовательности его воззрѣнія останавливаться нечего,—мы ее впередъ должны предполагать. Онъ имѣлъ другое великое значеніе, *чисто практическое* ¹⁾, жизненное, прикладное; въ его рукахъ была вся масса свѣдѣній человѣческихъ, имъ она разработана, имъ обслѣдована, и онъ благородно употребилъ ее на улучшеніе матеріальнаго и общественнаго благосостоянія людей, на разсѣяніе предрасудковъ, на собираніе фактовъ. Нелѣпости его ученія проходятъ и пройдутъ, истинное и благое осталось и останется; этого забывать не надобно изъ-за логическихъ ошибокъ.

Мудрено, кажется, повѣрить, а матеріализмъ и идеализмъ до нашего времени остаются при взаимномъ непониманіи. Очень хорошо знаю я, что нѣтъ брошюры, въ которой бы идеализмъ не

¹⁾ Было время, когда идеализмъ въ Германіи ставилъ себѣ въ достоинство свою *ненужность, непрактичность* и презрительно отзывался объ утилитаризмѣ филантропическихъ и моральныхъ ученій шотландскихъ, англійскихъ и французскихъ мыслителей; въ то же время идеалисты проповѣдывали противъ фактическихъ наукъ, выдавая себя за природы высшія, чуждыя міру практической дѣятельности. Имъ не приходило въ голову, что человѣкъ, считающій себя чуждымъ современности, не практическій, по большей части не высшая натура, а пустой человѣкъ, мечтатель, романтикъ, жертва искусственной цивилизаціи. Греки не поняли бы этой мысли: такъ нелѣпа она. Мысль себя-отчужденія отъ жизни могла выработаться только въ мрачныхъ и запертыхъ кабинетахъ книжныхъ ученыхъ и притомъ въ Германіи, которой общественная жизнь послѣ Вестфальскаго міра была не изъ блестящихъ.—А. И. Г.

говорилъ объ этомъ антагонизмѣ, какъ о прошедшемъ; что нѣтъ ни одного дѣльнаго эмпирика, который бы не сознался, что безъ всеобщаго взгляда, безъ умозрѣнія опыты не даютъ всей пользы,—но это вялое признаніе бѣдно и бесплодно ¹⁾). Того ли можно было ожидать послѣ плодотворныхъ, великихъ идей, брошенныхъ въ оборотъ великимъ Гете, потомъ Шеллингомъ и Гегелемъ! Порядочные люди нашего времени сознали необходимость сочетанія эмпирии съ спекуляціей, но на теоретической мысли этого сочетанія и остановились. Одна изъ отличительныхъ характеристикъ нашего вѣка состоитъ въ томъ, что мы *все знаемъ и ничего не дѣлаемъ*; на науку пенять нельзя: она, какъ мы имѣли случай замѣтить, отражаетъ очищенными, приводитъ въ сознаніе обобщенными тѣ элементы, которые находятся въ жизни, ее окружающей. Жанъ-Поль Рихтеръ говоритъ, что въ его время, чтобъ примирить противоположности, брали долю свѣта и долю тьмы и мѣшали въ банкѣ,—изъ этого выходили обыкновенно премилыя *сумерки*. Это то неопредѣленное *entre chien et loup* ²⁾ и нравится нерѣшителному и апатическому большинству современнаго міра. Но возвратимся къ Бэкону.

Вліяніе Бэкона было огромно; мнѣ кажется, что и Гегель не вполне оцѣнилъ его. Бэконъ, какъ Колумбъ, открылъ въ наукѣ новый міръ, именно тотъ, на которомъ люди стояли споконъ вѣка, но который забыли, занятые высшими интересами схоластики; онъ потрясъ слѣпую вѣру въ догматизмъ, онъ уронилъ въ глазахъ мыслящихъ людей старую метафизику. Послѣ него начинается непрерывное противодѣйствіе схоластическимъ трансцендентальнымъ теоріямъ во всѣхъ областяхъ вѣдѣнія, со всѣхъ сторонъ; послѣ него начинается трудъ, неутомимая, самоотверженная работа наблюдений, изысканій добросовѣстныхъ, посильныхъ; являются ученія общества испытателей природы въ Лондонѣ, въ Парижѣ, въ разныхъ мѣстахъ Италіи; дѣятельность натуралистовъ усугубилась; сумма событій и фактовъ росла пропорціонально съ уничтоженіемъ метафизическихъ призраковъ, «этихъ словъ,—какъ говоритъ Бэконъ,—безъ всякаго значенія, затемняющихъ простой, пытающій взглядъ, представляя ему превратное пониманіе природы». Многообъемлемость Бэкона не могла перейти къ его послѣдователямъ; ихъ односторонность очень понятна: свѣтлые и дѣльные умы, долго жившіе въ праздности, получили дѣло, предметъ живой, многосторонній,

¹⁾ Я исключаю нѣкоторыя попытки, сдѣланныя очень недавно въ Германіи и даже во Франціи.—А. И. Г

²⁾ Передъ наступленіемъ ночи (буквально: между собакой и волкомъ).

совершенно новый и притомъ платившій за трудъ вовсе неожиданными открытіями, разливавшими свѣтъ на цѣлые ряды явленій. Это не томное и сухое развитіе *hocceitatis* и *quiditatis* ¹⁾, выводимыхъ изъ-за лѣса логическихъ стропиль, уродливыхъ, не нужныхъ и перемѣшанныхъ съ цитатами, — нѣтъ, это что-то такое, въ чемъ бьется сердце, теплое при прикосновеніи руки. Испытавъ магнетическую силу занятій по части естествовѣдѣнія и вообще практическими предметами, могли ли эти люди безъ ненависти говорить о метафизикѣ? Всѣ они смолоду были пытаемы перипатетическими экзерсиціями, всѣ они изучали искаженнаго Аристотеля: могли ли они не отдаться вполнѣ, несправедливо, односторонне естествовѣдѣнію? Впрочемъ, въ ихъ отрицаніи нѣтъ той ограниченности, которая явилась вполслѣдствіи, когда матеріализмъ самъ вздумалъ оставить роль инсургента и обзавестись своей метафизической управой, своей теоріей, съ притязаніемъ на философію, логику, объективную методу, то есть на все то, отсутствіе чего составляло его силу. Эта систематика матеріализма начинается гораздо позже, съ Локка; они во многомъ ошибались, но не впадали въ самую догматику. Первые послѣдователи Бэкона были не таковы; въ числѣ ихъ Гоббзъ ²⁾—человѣкъ страшный въ своей безбоязненной послѣдовательности; ученіе этого мыслителя, о которомъ Бэконъ говорилъ, что онъ его понимаетъ лучше всѣхъ современниковъ, мрачно и сурово; онъ все духовное поставилъ внѣ своей науки; онъ отрицалъ всеобщее и видѣлъ одинъ непрерывный потокъ явленій и частностей,—потокъ въ себѣ начинающійся и въ себѣ оканчивающійся. Онъ въ законѣлой, свирѣпой мысли своей не нашелъ доказательствъ ничему божественному; печальный зритель страшныхъ переворотовъ, онъ понялъ только черную сторону событій; для него люди были врожденными врагами, изъ эгоистической пользы соединившіеся въ общества, и если-бъ ихъ не держала взаимная выгода, они бросились бы другъ на друга. На этомъ основаніи, его уста не дрогнули, съ мужествомъ цинизма, въ глаза своему отечеству, Англіи, высказать, что онъ въ одномъ деспотизмѣ находитъ условіе гражданскаго благоустройства. Гоббзъ испугалъ своихъ современниковъ, его имя наводило ужасъ на нихъ. Не такимъ встрѣчается намъ южный матеріализмъ въ странѣ, гдѣ нѣкогда жилъ Лукрецій; онъ явился тамъ въ своемъ прежнемъ уборѣ: аббатъ Гассенди воскресилъ эпикуреизмъ и ученіе объ атомахъ; но его

¹⁾ Искусственныя существительныя схоластической діалектики отъ словъ «это» и «кто», «какъ».

²⁾ Томасъ, англ. философъ XVII в., авторъ «Левіаѳана».

эпикуреизмъ былъ имъ приведенъ въ согласіе съ католической догматикой и такъ хорошо, что иезуиты находили, что его philosophia corpuscularis ¹⁾ несравненно согласнѣе съ учениемъ римской церкви о таинствахъ, нежели картезианизмъ. Атомы Гассенди очень просты: это тѣ же атомы, съ которыми мы встрѣтились у Демокрита, тѣ же *безконечно-малыя*, незримыя, *неуловимыя* и неуничтожаемыя частицы, служащія основою всѣмъ тѣламъ и всѣмъ явленіямъ; сочетаваясь, дѣйствуя другъ на друга, двигаясь и двигая, эти атомы производятъ всѣ многоразличныя физическія явленія, пребывая неизмѣнными. Нельзя не замѣтить, что Гассенди говоритъ очень положительно о несокрушимости вещества; мысль эта, сколько мнѣ извѣстно, попадаетъ впервые мелькомъ у Телезіо; она есть и у Бэкона, но Гассенди превосходно выразилъ ее: «Вещественное бытіе,— говоритъ онъ,—имѣетъ великое право за собою; вся вселенная не можетъ уничтожить существующаго тѣла». Понятно, что рѣчь идетъ только о бытіи, а не о формѣ и качественномъ опредѣленіи. У Гассенди проглядываетъ замашка натуралистовъ позднѣйшихъ временъ ссылаться на ограниченность ума человѣческаго; онъ чувствуетъ самъ недостатокъ своихъ теорій и оставляетъ ихъ, какъ были. Эти недостатки выкупаются у него (опять точно такъ же, какъ у натуралистовъ) умнымъ и дѣльнымъ изложеніемъ своихъ свѣдѣній о природѣ. Гассенди такъ, какъ потомъ Ньютона, не слѣдуетъ почти судить, какъ философъ: они великіе дѣятели науки, но не философы. Тутъ нѣтъ противорѣчій, если вы согласились, что дѣйствительное содержаніе выработывалось внѣ философской методы. Англичане, называющіе Ньютона великимъ философомъ, не знаютъ, что говорятъ. Назвавъ Ньютона, позвольте сказать объ немъ нѣсколько словъ. Его воззрѣніе на природу было чисто механическое. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, заключить, что онъ былъ картезианецъ: онъ такъ мало имѣлъ симпатіи къ Декарту, что, прочитавъ 8 страницъ въ его сочиненіяхъ (по собственному признанію), онъ сложилъ книгу и больше никогда не раскрывалъ. Механическое воззрѣніе, впрочемъ, и помимо Декарта царило тогда надъ умами. Страсть къ отвлеченнымъ теоріямъ была такъ сильна въ XVII вѣкѣ, что ни въ чемъ не соглашавшіеся между собою послѣдователи Декарта и Бэкона встрѣтились на механическомъ построеніи природы, на желаніи привести всѣ законы ея въ математическія выраженія и съ тѣмъ вмѣстѣ подвергнуть ихъ математической методѣ. Ньютонъ продолжалъ дѣло, начатое Галилеемъ. Галилей стоялъ совершенно на той же почвѣ, на которой впослѣд-

¹⁾ Философія «мельчайшихъ тѣлъ».

ствіи сталъ Ньютонъ; для Галилея тѣло, вещество было нѣчто мертвое, дѣятельное одною косностью, а сила—нѣчто иное, извнѣ приходящее. Математика необходимо должна входить во всѣ отрасли естествовѣдѣнія; количественныя опредѣленія чрезвычайно важны, почти всегда неразрывны съ качественными; измѣненіе однихъ связано съ измѣненіемъ другихъ; однѣ и тѣ же составныя части въ разныхъ пропорціяхъ даютъ все многоразличіе органическихъ тканей, все многоразличіе формъ неорудной и орудной кристаллизаціи. Ясное дѣло, что математика имѣетъ огромное мѣсто въ физиологіи, не говоря уже о болѣе отвлеченныхъ наукахъ, какъ физика, или объ исключительно количественныхъ, какъ астрономія и механика. Математика вноситъ въ естествовѣдѣніе логику аргюі, ея эмпірія признаетъ разумъ; выразивъ простымъ языкомъ ея законы, ряды явленій раскрываютъ не подозрѣваемыя соотношенія и послѣдствія, не сомнѣваясь въ дѣйствительности вывода. Все это такъ; но *одно* математическое воззрѣніе (какъ бы оно ни довлѣло себѣ) не можетъ объять всего предмета естествовѣдѣнія; въ природѣ остается *нѣчто*, ей не подлежащее. Категорія количества—одно изъ существеннѣйшихъ качествъ всего сущаго, однако, она не исчерпываетъ всего качественного и, если держаться въ изученіи природы исключительно за нее, то дойдемъ до Декартова опредѣленія животнаго гидравлико-огненной машиной, дѣйствующей рычагами и проч. Конечно, оконечности представляютъ рычаги, и мышечная система представляетъ очень сложныя машины,—однакожь, Декарту не удалось объяснить вліяніе воли, вліяніе мозга на управленіе частями машины чрезъ нервы. Понятіе живого непременно заключаетъ въ себѣ механическія, физическія и химическія опредѣленія, какъ тѣ низкія степени, которыя долженствовали быть побѣждены или сняты для того, чтобъ явился сложный процессъ жизни; но именно единство, ихъ снимающее, составляетъ новый элементъ, не подчиняющійся ни одному изъ предыдущихъ, а подчиняющій ихъ себѣ. Внутренняя присущая дѣятельность всего живого организма и каждой клѣточки его доселѣ осталась неуловима для математики, для физики, для самой химіи, хотя форма ея дѣйствій и количественныя опредѣленія совершенно подлежатъ математикѣ такъ, какъ взаимное дѣйствіе составныхъ началъ подлежитъ физико-химическимъ законамъ. Употребленіе математики, сверхъ того, гдѣ она необходима, тамъ, гдѣ ея не нужно,—весьма важный признакъ; математика поднимаетъ человѣка въ сферу хотя формальную и отвлеченную, но чисто наукообразную: это полнѣйшее внѣшнее примиреніе мышленія и бытія. Математика—одностороннее развитіе логики, одинъ изъ видовъ ея или само логическое дви-

женіе разума въ моментѣ количественныхъ опредѣленій; она сохранила ту же независимость отъ сущаго, ту же непреложность чисто умозрительнаго вывода; къ этому присовокупляется ея увлекательная ясность, которая, впрочемъ, находится въ прямомъ отношеніи съ односторонностію. Бэконъ, очень хорошо понимавшій важность математики въ естествовѣдѣніи, замѣтилъ въ свое время уже опасность подавить математикою другія стороны (онъ, между прочимъ, говоритъ, что особенное вниманіе ученыхъ къ количественнымъ опредѣленіямъ основано на ихъ легкости и поверхностности, но что, держась на однихъ ихъ, теряется внутреннее) ¹⁾. Ньютонъ, совсѣмъ напротивъ, предался исключительно механическому воззрѣнію; нельзя себѣ представить ума, менѣе философскаго, какъ Ньютонъ: это былъ великій механикъ, гениальный математикъ и вовсе не мыслитель. Теорія тяготѣнія, при всемъ величии своей простоты, при обширной прилагаемости, объемлемости,—не что иное, какъ *механическое представленіе* событія, представленіе, быть можетъ, вѣрное, но остающееся безъ логическаго оправданія, т. е. безъ полнаго пониманія, какъ предположеніе, сосредоточивающее на себѣ наиболѣе вѣроятія. Тѣламъ Ньютонъ приписываетъ свойства притяженія и отталкиванія; но въ понятіи тѣла, какъ его понималъ Ньютонъ, не видно необходимости этихъ полярныхъ проявленій; стало-быть, это фактъ гипотетическій или наглядный,—все равно, но не логическій; далѣе, путь небесныхъ тѣлъ таковъ, что механика должна его себѣ представить слѣдствіемъ двухъ силъ: одна изъ нихъ дѣлается понятною изъ предшествовавшаго предположенія, другая зато остается совершенно непонятна (сила, влекущая по тангенсу); эта сила (или толчокъ, производящій ее) не лежитъ ни въ понятіи тѣла, ни въ понятіи окружающей среды; она является à la deus ex machina ²⁾ и такъ остается до сихъ поръ. И это не заботитъ строителей небесной механики; математика дѣлается обыкновенно равнодушна ко всѣмъ логическимъ требованіямъ, кромѣ своихъ собственныхъ. Нѣкогда Коперникъ, обдумывая гениальную мысль свою, имѣлъ въ виду дать болѣе легкій способъ вычислять планетные пути; теперь Ньютонъ говоритъ, что

¹⁾ Бэконъ очень зло отозвался («De Aug. Scientiarum») объ астрономіи: «Наука о тѣлахъ небесныхъ очень не совершенна; она приноситъ людямъ нѣчто въ родѣ той жертвы, которую однажды Прометей принесъ Юпитеру: онъ пожертвовалъ бычачью кожу, набитую соломой, вмѣсто быка; такъ и астрономія толкуеть о числѣ, положеніи, движеніи, періодахъ небесныхъ тѣлъ;... небесный сводъ для нихъ бычачья шкура; во внутренность явленій они не проникаютъ».—А. И. Г.

²⁾ Произвольная развязка (буквально: какъ богъ изъ машины).

онъ предоставляетъ физикамъ рѣшить вопросъ о дѣйствительности предполагаемыхъ силъ, и выставляетъ на первый планъ удобство его теории для математическихъ выкладокъ.

Механическое разсматриваніе природы, несмотря на колоссальный успѣхъ Ньютоновой теории, не могло удержаться; первый сильный протестъ противъ исключительно механическаго воззрѣнія раздался въ химическихъ лабораторіяхъ. Химія осталась вѣрнѣе настоящей бэконовской методѣ, нежели всѣ отрасли естественныхъ наукъ; эмпирія царила въ ней,—это правда, но она оставалась почти во всемъ свободною отъ разсудочныхъ теорій и насильственныхъ притѣсненій предмета; химія добросовѣстно и самоотверженно склонялась передъ признанною ею объективною веществу и его свойствамъ.

Но протестъ, болѣе мощный, раздался съ другой стороны. Лейбницъ ¹⁾, тоже великій математикъ, но и великій мыслитель съ тѣмъ вмѣстѣ, поднялся противъ исключительнаго механико-материалистическаго воззрѣнія. Изложеніе главныхъ основаній его системы отведетъ насъ совсѣмъ въ другую сферу, а потому я попрошу позволенія окончить сперва повѣствованіе о бэконовской школѣ, довести ее до Юма, т. е. до Канта, и потомъ снова возвратиться къ Декарту и прослѣдить исторію идеализма до Канта же. Въ этой исторіи мы увидимъ только два лица, но какія! Мы увидимъ, до какой высоты можетъ дойти гениальная абстракція, до чего великое разумѣніе могло развить картезианизмъ. Спиноза положилъ предѣлъ идеализму; чтобъ итти далѣе, надобно выйти изъ идеализма, оставаясь въ немъ,—можно быть только комментаторомъ Спинозы, однимъ изъ нахлѣбниковъ его пышнаго стола. Опытъ шага впередъ сдѣлалъ Лейбницъ; въ Лейбницѣ мы встрѣчаемъ перваго идеалиста, въ которомъ что-то близкое, родственное, современное намъ. Суровость среднихъ вѣковъ и протестантское натянутое безстрастіе отражаются еще яркими чертами и на угрюмомъ Декартѣ, и на неприступно-гордомъ въ нравственной чистотѣ своей Спинозѣ, въ которомъ осталось много еврейской исключительности и много католическаго аскетизма. Лейбницъ—человѣкъ, почти совсѣмъ очистившійся отъ среднихъ вѣковъ; все знаетъ, все любитъ, всему сочувствуетъ, на все раскрытъ, со всѣми знакомъ въ Европѣ, со всѣми переписывается; въ немъ нѣтъ сацердотальной важности схоластиковъ; читая его, чувствуете, что наступаетъ *день* съ своими дѣйствительными заботами, при которомъ забудутся грезы и сно-

¹⁾ Готфидъ-Вильгельмъ, современникъ Ньютона. Также, какъ и для Декарта, его математическая слава давно уже пережила философскую.

видѣнія; чувствуете, что полно глядѣть въ телескопъ,—пора взять увеличительное стекло; полно толковать объ одной субстанціи,—пора поговорить о многомъ множествѣ монадъ ¹⁾).

С. Соколово.—1845, іюнь. 2

ПИСЬМО ВОСЬМОЕ.

Реализмъ.

Индуктивная метода Бэкона пріобрѣтала болѣе и болѣе послѣдователей. Открытія, слѣдовавшія другъ за другомъ съ поразительной быстротою въ медицинѣ, физикѣ, химіи, вовлекали умы болѣе и болѣе въ область естествовѣдѣнія, наблюденій, изысканій. Увлеченные эмпиріей, легкимъ анализомъ событій и видимой ясностью выводовъ, послѣдователи Бэкона хотѣли опытъ и наведеніе сдѣлать не только источникомъ, но и вѣнцомъ всякаго знанія; они грубый, не претворенный матеріаль, получаемый чрезъ непосредственное возрѣніе, обобщаемый сравненіемъ и разлагаемый разсудочными категоріями, считали, если не за полнѣйшую истину, то за единственно возможную для человѣческаго разумѣнія. Возрѣніе это долго оставалось мнѣніемъ, практикою, соглашеніемъ, болѣе подразумеваемымъ, нежели высказаннымъ; долго не было въ немъ стремленія выразиться систематически, ни притязанія явиться логикой и мета-

¹⁾ Мы необходимо должны пропустить явленія, чрезвычайно замѣчательныя, и нѣкоторыя сильныя личности, являвшіяся въ XVII столѣтіи, не въ главномъ руслѣ науки, а, такъ сказать, возлѣ. Сюда принадлежатъ англійскіе и французскіе мистики, протягивавшіе руку эмпиріи и мирившіеся съ нею (въ родѣ того, какъ легитимисты мирятся съ радикалами) на общемъ признаніи безсилія разума; сюда принадлежитъ рядъ скептиковъ, сомнѣвавшихся, вмѣстѣ съ мистиками, несравненно болѣе въ разумѣ, нежели въ опытѣ (такъ сильна была реакція противъ схоластической догматики), и въ числѣ ихъ знаменитый Бэль ^{o)}—защитникъ вѣротерпимости, признанной въ Россіи Великимъ Петромъ и гонимой во Франціи *Великимъ* Людовикомъ. Бэль былъ одинъ изъ неутомимѣйшихъ дѣятелей XVII вѣка; онъ замѣшанъ во всѣ дѣла, причастенъ всѣмъ горячимъ вопросамъ и вездѣ гуманенъ и ѣдокъ, уклончивъ и дерзокъ; онъ дѣйствуетъ безъ имени и всѣмъ извѣстенъ; его гонятъ иезуиты, онъ отъ нихъ спасается въ Голландію; его гонятъ точно также протестанты,—и отъ нихъ бѣжать некуда; католическій король Франціи его обогащаетъ преслѣдованіемъ его протестантскихъ брошюръ, и протестантскій король Англии чуть не лишаетъ куска хлѣба... Все это вмѣстѣ живо выражаетъ дѣятельный, кипящій и неустроенный XVII вѣкъ.—А. И. Г.

^{o)} Пьеръ, извѣстный французскій писатель-скептикъ, свободомыслящій конца XVII вѣка.

физикой; ужасъ отъ всего метафизическаго еще царилъ надъ умами; воспоминаніе о схоластическомъ идеализмѣ было свѣжо; все вниманіе ученыхъ продолжало сосредоточиваться на увеличеніи фактическихъ свѣдѣній, на знакомствѣ съ природой. Природа стала соперницею тому гордому духу, который въ средніе вѣка не удостаивалъ ее никакого вниманія; роли перемѣнились: отъ ума требовали одной страдательной восприимлемости, самодѣятельность разума считали мечтою. Въ средніе вѣка, чтобъ сказать, что предметъ не дѣйствителенъ, говорили: «это—только грубая матерія»; теперь съ тою же цѣлью стали говорить: «это—только мысль». Но когда переворотъ совершился, реализмъ бѣконовской школы не удержался отъ искушенія систематизировать свое воззрѣніе,—искушеніе, впрочемъ, совершенно естественное и свойственное всякой умственной дѣятельности. Эмпирія захотѣла имѣть свою метафизику: Локкъ ¹⁾ явился отвѣтомъ на эту потребность.

Человѣкъ долженъ (по Локку) начать обсуживаніе своего вѣдѣнія съ разбора орудій мышленія, съ разрѣшенія вопроса, способенъ ли умъ знать истину, насколько и какими средствами? Поверхностно разсуждая, кажется, что требованіе Локка справедливо, такъ какъ вообще всѣ разсудочныя требованія *на первый разъ* поразительно ясны; но стоитъ нѣсколько присмотрѣться къ нимъ, чтобъ увидѣть несостоятельность ихъ. Локкъ и его послѣдователи не догадались, что задача ихъ представляетъ логическій кругъ. Юмъ, какъ человѣкъ несравненно болѣе даровитый, спрашивалъ: чѣмъ же человѣкъ сдѣлаетъ разборъ своего разума?—Разумомъ.—Да, вѣдь, онъ-то и подсудимый; оправданное имъ можетъ быть ложнымъ, именно потому, что оно имъ оправдано. Юмъ попалъ въ шляпку гвоздя, какъ говорятъ; Юмомъ восхищались его современники, какъ острымъ скептикомъ, но глубины его отрицанья и великаго мѣста его въ развитіи новой философіи не постигли; первый понявшій его былъ Кантъ, оцѣпенѣвшій отъ медузина взгляда юмовскаго воззрѣнія. Надобно (продолжаетъ Локкъ) *себѣ представлять* человѣка такъ, чтобъ у него еще не было ни одной мысли, и посмотрѣть, какъ изъ взаимодѣйствія его чувствъ и сознанія съ внѣшнимъ міромъ образуются *идеи* (подъ словомъ «идеи» они разумѣли всякую всячину—понятіе, всеобщее, мысль, образъ, форму, даже впечатлѣніе). Для этого возьмемъ ребенка, который еще не говоритъ, или человѣка *въ естественномъ состояніи* и начнемъ наблюдать... А болѣе послѣдовательный Кондильякъ ²⁾ беретъ статую и даетъ

¹⁾ Джонъ, знаменитый англійскій философъ конца XVII вѣка.

²⁾ Этьенъ, извѣстный французскій философъ-сенсуалистъ XVIII вѣка.

ей обоняніе, потомъ слухъ... и такъ мало-по-малу доходитъ до законовъ мышленія *въ статуй*. Это называлось у нихъ наблюденіями, анализомъ,—и укоряющая тѣнь Бэкона не погрозила имъ пальцемъ съ своего кладбища! Все XVIII столѣтіе безпрестанно прибѣгало къ дикому человѣку, къ ребенку; Жанъ-Жакъ ¹⁾, желая описать будущаго человѣка, ничего не нашелъ лучше, какъ представить его самымъ прошедшимъ, доисторическимъ. Не говоря уже объ нюхающей куклѣ, ни ребенокъ, ни предполагаемый идиотъ, ни каннибалъ—не нормальные люди; все, что вы въ нихъ замѣтите, будетъ тѣмъ ложнѣе, чѣмъ лучше подмѣчено. Положимъ, что мы могли бы возстановить забытое и безсознательное развитіе начальныхъ дѣйствій ума, впервые возбужденнаго чувствами,—что же изъ этого? Мы узнали бы историческую феноменологію сознанія, узнали бы фізіологическое взаимодѣйствіе энергіи чувствъ и энергіи мышленія—больше ничего. Зоологія, ботаника берутъ нормою экземпляры, совершенно разившіеся; отчего же антропологія будетъ обращаться къ дикому человѣку? Оттого, что онъ ближе къ животному, т. е. дальше отъ человѣка? Человѣкъ не отошелъ, какъ думали мыслители XVIII вѣка, отъ своего естественнаго состоянія,—*онъ идетъ къ нему*; дикое состояніе—для него самое неестественное; оттого, какъ только являются условія выхода изъ него, онъ и выходитъ; чѣмъ глубже въ старину, тѣмъ ближе къ дикому состоянію, тѣмъ неестественнѣе человѣкъ; этого почти не приходило въ голову тогдашнимъ філософамъ. Но что же за выводы изъ наблюденій надъ *предполагаемымъ не-человѣкомъ*? Локкъ находитъ, что простыя идеи (отчетъ въ впечатлѣніяхъ, воспоминаніе о нихъ) передаются прямо въ *пустое мѣсто* разума; разумъ, принимая чувственныя воззрѣнія, страдателенъ; не прибавляетъ отъ себя ничего, а, такъ сказать, задерживаетъ ихъ въ себѣ; поэтому простыя идеи имѣютъ за себя большую достовѣрность. Но вотъ что худо: вмѣстѣ съ полученіемъ простыхъ идей люди изобрѣтаютъ знаки для нихъ; Локкъ, поймавъ человѣка на этомъ изобрѣтеніи, очень справедливо замѣчаетъ, что человѣкъ словомъ нарицаетъ не дѣйствительную вещь, а всеобщее собирательное понятіе, родъ или какой бы ни было порядокъ, къ которому принадлежитъ вещь,—слѣдовательно, нѣчто не существующее. Тутъ разборъ Локка долженъ бы былъ окончиться: если слово выражаетъ не истину, то и разумъ не имѣетъ средствъ сознать ее, ибо слово—представитель того, какъ понимаетъ разумъ. Правда, вы можете спросить: почему Локкъ узналъ, что изъ двухъ предметовъ—изъ частной вещи и всеобщаго слова—дѣйствительность,

1) Руссо.

а, слѣдственно, и истина, принадлежитъ вещи, а не слову? вѣдь, у него еще нѣтъ критериума, онъ ищетъ его? Дѣло очень просто: онъ материалистъ и потому вѣритъ въ вещь и въ чувственную достовѣрность; будь онъ идеалистъ, онъ точно съ тою же неосновательностью принялъ бы за истину слово и всеобщее; онъ не въ самомъ дѣлѣ ищетъ критериумъ; онъ очень знаетъ, чего хочетъ,— онъ только прикидывается добросовѣстнымъ пытателемъ. Далѣе, всеобщее, названное словомъ, показываетъ отношеніе дѣйствительнаго предмета къ нашему разумѣнію; стало-быть, не одни внѣшнія впечатлѣнія—источникъ знанія, но и самая дѣятельность мышленія. Локкъ не только признаетъ это, но исключительно предоставляетъ разуму право раскрытія отношеній между предметами; онъ признаетъ раскрытое разумомъ (сложныя идеи) *необходимымъ*, однако, *не такъ* (?) достовѣрнымъ, какъ простыя идеи. Вся разсудочная наука находится тутъ въ своемъ зародышѣ. Разумъ — пустое темное мѣсто, въ которое падаютъ образы внѣшнихъ предметовъ, возбуждая какую-то распорядительную, формальную дѣятельность въ немъ; чѣмъ онъ страдательнѣе, тѣмъ ближе къ истинѣ; чѣмъ дѣятельнѣе, тѣмъ подозрительнѣе его правдивость. Вотъ вамъ и знаменитое «*nihil est in intellectu, quod non fuerit in sensu*»¹⁾, поставленное гордо рядомъ или противъ «*cogito, ergo sum*»!

Что касается до самой феноменологіи Локка, то его «Опытъ» есть нѣчто въ родѣ логической исповѣди разсудочнаго движенія; онъ рассказываетъ въ немъ явленія своего сознанія въ предположеніи, что у каждаго человѣка возникаютъ идеи и развиваются одинаковымъ образомъ. Локкъ раскрываетъ, между прочимъ, что при правильномъ употребленіи умственной дѣятельности, сложныя понятія необходимо приводятъ къ идеямъ силы, *носителя свойствъ* (субстрата), наконецъ, къ идеѣ сущности (субстанціи) нами познаваемыхъ проявленій (аттрибутовъ). Эти идеи существуютъ *не только въ нашемъ умѣ, но и на самомъ дѣлѣ*, хотя мы познаемъ чувствами одно видимое проявленіе ихъ. Замѣтьте это. Очевидно, что Локкъ изъ своихъ началъ не имѣлъ никакого права дѣлать заключенія въ пользу объективности понятій силы, сущности и проч. Онъ стремился всѣми средствами доказать, что сознаніе—*tabula rasa*, наполняемая образами впечатлѣній и *имѣющая свойство* образы эти сочетать такъ, чтобъ *подобное различныхъ* составляло родовое понятіе; но идея сущности и субстрата не выходитъ ни изъ сочетанія, ни изъ переложенія эмпирическаго матеріала; стало-быть, открывается новое свойство разумѣнія да еще такое,

¹⁾ Ничего нѣтъ въ умѣ, чего не было раньше въ чувствѣ (ощущеніи).

которое имѣть, по признанію самого Локка, объективное значеніе. Какимъ ужасомъ исполнились бы послѣдователи Локка, если-бъ они узнали въ этомъ *свойствѣ* тѣ врожденные идеи идеализма, противъ которыхъ такъ неумолимо воевали всю жизнь. Не всѣ идеалисты подъ ерожденными идеями предполагали готовыя сентенціи, привидѣніе, неотразимые безсмысленные факты, чуждые сознанию и втѣсенные ему, а неминуемыя формы, присущія дѣйствіямъ разума, и притомъ такія формы, которыя сами—аподиктическое доказательство своей дѣйствительности, то есть то, что говоритъ Локкъ о понятіи сущности. Матеріалисты, соглашаясь съ Локкомъ, пренаивно спорили противъ слова «*врожденные идеи*» и доказывали неврожденность ихъ тѣмъ, что онѣ *могутъ* не развиться. Чтожъ изъ этого? Органической процессъ неминуемо долженъ развить въ животномъ кровеносную систему, нервную и проч. по родовому, пожалуй, предсуществующему и осуществляющемуся понятію, но онѣ *можетъ* и не развиться; ему нужны для этого внѣшнія условія; не будь ихъ, не будетъ и организма, а совершится какой-нибудь другой процессъ, до котораго нѣтъ дѣла органической нормѣ; если же соберутся условія, необходимыя для возникновенія организма, то неминуемо въ немъ разовьется кровеносная, нервная система по общему типу того плана, порядка и рода, къ которому принадлежитъ организмъ, и въ обоихъ случаяхъ родовое понятіе останется истиннымъ, а если угодно,—врожденнымъ, присущимъ, предсуществующимъ. Дѣло состоитъ въ томъ, что изъ этихъ формальныхъ противорѣчій, изъ этихъ непослѣдовательностей выйти, стоя на Локковой точкѣ зрѣнія, невозможно; разсудокъ (т. е. тотъ моментъ разума, которымъ эмпирическое содержаніе начинаетъ разлагаться на логическіе элементы свои) не имѣетъ въ себѣ средствъ разрѣшить противорѣчіе, самимъ имъ поставленное и условно истинное только въ отношеніи къ нему. Разумъ на этой разлагающей степени похожъ на химическій реактивъ: онъ можетъ разложить данное, но всякій разъ отдѣлить одну сторону, а съ другой—соединиться; таковъ споръ о врожденныхъ идеяхъ, о сущности и проч. Во всѣхъ подобныхъ вопросахъ есть двѣ стороны; на закраинахъ своихъ онѣ односторонни, противорѣчатъ другъ другу, на срединѣ онѣ сливаются; взятыя врозь, онѣ просто ложны и даютъ безвыходные ряды антиномій, въ которыхъ обѣ стороны неправы, пока существуютъ въ отвлеченной отдаленности, и могутъ быть истинными только при сознаніи единства. Но сознание этого единства выходитъ за предѣлы того момента мышленія, съ котораго намѣренно не сходятъ люди рефлексіи; я говорю: намѣренно,—потому что надобно много трудиться и много приобрѣсти упорной косности,

чтобъ не послѣдовать діалектическому влеченію, которое само собою выноситъ за предѣлы разсудочности. Умъ, свободный отъ принятой и возложенной на себя системы, останавливаясь на одностороннихъ опредѣленіяхъ предмета, невольно стремится къ восполняющей сторонѣ его; это—начало біенія діалектическаго сердца; повидимому, и это сердце только колышится взадъ и впередъ, а на самомъ дѣлѣ это біеніе свидѣтельствуетъ о живомъ, горячемъ потокѣ, текущемъ съ непрерывнымъ ритмомъ своимъ, и въ діалектическихъ переходахъ, съ каждымъ разомъ, съ каждымъ біеніемъ мысль становится чище, живѣе. Возьмемъ для примѣра одностороннее возрѣніе Локка на начало знаній и на сущность. Разумѣется, что опытъ возбуждаетъ сознаніе, но также разумѣется, что возбужденное сознаніе вовсе не имъ произведено, что опытъ—одно условіе, толчокъ, такой толчокъ, который никакъ не можетъ отвѣчать за послѣдствія, потому что они не въ его власти, потому что сознаніе не *tabula rasa*, а *actus purus*, дѣятельность, не внѣшняя предмету, а совсѣмъ напротивъ,—внутреннѣйшая внутренность его, такъ какъ вообще мысль и предметъ составляютъ не два разные *предмета*, а два момента чего-то единого. Примите незыблемо ту или другую сторону—и вы не выпутаетесь изъ противорѣчія. Безъ опыта нѣтъ сознанія, безъ сознанія нѣтъ опыта, ибо кто же свидѣтельствуетъ о немъ? Полагаютъ, что сознаніе имѣетъ *свойство* противодѣйствовать такимъ-то образомъ опыту, а между тѣмъ опытъ очевидно—поводъ, *grius* ¹⁾, безъ котораго это свойство не обличилось бы. Не рѣшались принять мышленіе за самобытную дѣятельность, для развитія которой необходимы опытъ и сознаніе, поводъ и *свойство*, хотѣли того или другого и впадали въ бесплодное повтореніе. Въ этихъ тавтологіяхъ, непрерывно повторяющихся противоположное, есть нѣчто, до такой степени противное человѣку, ругающееся надъ нимъ, лишенное смысла, что человѣкъ, не побѣдившій въ себѣ разсудочной точки зрѣнія, для спасенія себя отъ нихъ отрекается отъ лучшаго достоянія своего—отъ вѣры въ разумъ. Юмъ имѣлъ это мужество отрицанія, это геройское самоотверженіе, а Локкъ остановился на полдорогѣ; оттого-то Юмъ и стоитъ головою выше Локка; логическому уму легче отрицать, легче лишиться всего дорогаго, нежели остановиться, не выводя послѣдняго заключенія изъ началъ своихъ. Вопросъ о сущности и атрибутѣ, или видимомъ существованіи сущности, приводитъ къ такой же антиноміи. Разумъ, всматриваясь въ бытіе, доходитъ вскорѣ, переходя рядомъ количественныхъ и качественныхъ опре-

¹⁾ Предыдущее.

дѣлений, рядомъ отвлеченій, до понятія сущности, ставящей бытіе, вызывающей его возникнуть. Бытіе стремится отразиться въ себѣ, отречься отъ видоизмѣняющей внѣшности и раскрыть свою сущность,—въ противоположность, такъ сказать, своему наружному проявленію. Но какъ только умъ захочетъ понять основу, причину, внутреннюю силу бытія помимо бытія, онъ раскрываетъ, что сущность безъ своего проявленія—такой же *non sens* ¹⁾, какъ бытіе безъ сущности;—чего же она сущность? Дайте ей проявленіе,—тогда вы снова воротитесь въ сферу атрибутовъ бытія; восполняющій моментъ является, какъ недостающій звукъ, который невольно напрашивается, чтобъ завершить аккордъ. Но что же значитъ эта діалектическая необходимость, которая указала на сущность, когда человѣкъ хотѣлъ остановиться на бытіи, и указала на бытіе, когда онъ хотѣлъ остановиться на сущности? Это, повидимому, логическій кругъ, а на самомъ дѣлѣ—логическая *круювая порука*; это противорѣчіе ясно выражаетъ, что нельзя останавливаться на бѣдныхъ категоріяхъ разсудочнаго анализа, что ни бытіе, ни сущность, отдѣльно взятыя, не истинны. Разсудокъ,—сказалъ я выше,—похожъ на реагенцію, но еще ближе можно взять сравненіе: онъ похожъ на гальванической снарядъ, который все разлагаетъ въ извѣстномъ отношеніи на двѣ части и который не иначе отдѣляетъ одну составную часть, какъ отдѣливъ къ другому полюсу другую. Антиномія не свидѣтельствуетъ своей ложности: совѣмъ напротивъ—она мѣшаетъ только несправедливому дѣйствію ума, не позволяя ему принимать отвлеченіе за цѣлое; она вызываетъ противоположное у другого полюса, какъ улику, и показываетъ одинаковую правомѣрность его. Діалектическое движеніе сначала оскорбляетъ мыслящаго человѣка, даже исполняетъ печалью и отчаяніемъ—своими скучными рядами и неожиданнымъ возвращеніемъ къ началу; оно оскорбляетъ его, какъ видъ домашней крыши оскорбляетъ путника, потерявшаго дорогу, и который, скитаясь цѣлые часы, видитъ, что онъ воротился назадъ; но вслѣдъ за негодованіемъ должно явиться желаніе дать себѣ отчетъ, разобрать случившееся, а этотъ разборъ рано или поздно непремѣнно приводитъ къ высшимъ областямъ мышленія.

Локкъ поступилъ нелогически, признавъ объективность сущности, и также нелогически рѣшилъ, что сущность знать нельзя, потому только, что она не отдѣлима отъ проявленій, въ то время, какъ въ нихъ-то и можно узнать сущность; атрибуты—языкъ, которымъ высказывается внутреннее (вспомните Я. Бѣма). Локкъ по-

¹⁾ Безсмыслица.

ступилъ нелогически, признавъ разсужденіе за источникъ знанія въ то время, какъ все возрѣніе его основано на томъ, что въ сознаніи ничего нѣтъ, кромѣ полученнаго изъ чувствъ. Онъ на каждомъ шагу бьетъ самого себя. Скажемъ просто: «Опытъ» Локка не выдерживаетъ никакой критики; огромный успѣхъ его основанъ на одной своевременности; метафизика матеріализма не могла развиться, призваніе Бэконовой школы вовсе не было метафизическое; великое, сдѣланное ею, сдѣлано внѣ систематики; систематика ея только хороша, какъ реакція схоластикъ и идеализму, и пока она себя понимала реакціей, она была полезна, но по мѣрѣ того, какъ она изъ протестаціи переходила къ чиноположенію, къ теоріи, она дѣлалась несостоятельною. Логически все возрѣніе Локка—ошибка, такая же вопіющая ошибка, какъ всѣ построенія практическихъ областей, шедшія отъ идеализма. Вообще Локкъ въ дѣлѣ мышленія представляетъ здравый смыслъ, начинающій имѣть притязанія на догматику, разсудительное благоразуміе, равно удаленное отъ высокаго разума, какъ и отъ пошлой глупости; его метода въ философіи то, что *esprit de conduite* ¹⁾ въ дѣлѣ нравственности: по ней равно трудно спотыкнуться и сойти съ битой дороги. Изложеніе Локка умно, ровно, свѣтло, полно практическихъ замѣтокъ; выводы его очевидны, потому что онъ говоритъ объ одномъ очевидномъ; онъ вездѣ стремится удержаться въ золотой серединѣ, воздерживается отъ крайностей; но еще мало бояться прямыхъ слѣдствій изъ своихъ началъ въ ту и другую сторону, чтобъ возвыситься до разумнаго примиренія ихъ обѣихъ. Послѣдовательнѣе его, но изъ тѣхъ же началъ, вышелъ Кондильякъ. Кондильякъ отвергнулъ мысль, что разсужденіе можетъ быть источникомъ знанія, ибо оно не только предполагаетъ ощущеніе, но и есть не что иное, какъ ощущеніе. Онъ самое сочетаніе идей не принималъ за свободное дѣйствіе ума, но за необходимый результатъ ощущеній, — такимъ образомъ всѣ духовные процессы были сведены на ощущенія; съ другой стороны, тотъ же Кондильякъ доказывалъ, что «тѣлесные органы чувствъ составляютъ случайное начало знанія, чувственнаго ощущенія»; впрочемъ, это ему ни къ чему не послужило. Логика Кондильяка, какъ внѣшняя механика мышленія, не лишена достоинствъ, отчетлива, ясна, приучаетъ къ своего рода строгости и осмотрительности, но пороха не выдумаешь по его методѣ: это—метода искусственныхъ классификацій, описанія признаковъ и проч.

Матеріалисты-метафизики совсѣмъ не то писали, о чемъ хо-

¹⁾ Общее направленіе поведенія.

тѣли; они до внутренней стороны своего вопроса и не коснулись, а говорили только о внѣшнемъ процессѣ; его они изображали довольно вѣрно, и никто съ ними не спорить; но они думали, что это все, и ошиблись: теорія чувственного мышленія была своего рода механическая психологія, какъ воззрѣніе Ньютона — механическая космологія. Притомъ, никакъ не надобно терять изъ вида, что Локкова школа разсматривала мышленіе только, какъ частную, отдѣльную, личную способность одного типическаго человѣка; разумъ, какъ родовое мышленіе, пребывающее и развертывающееся въ исторіи и наукѣ, не заслужилъ ихъ вниманія; оттого у всѣхъ у нихъ недостаетъ историческаго пониманія прошлыхъ моментовъ мышленія. Ничто не можетъ быть страннѣе, какъ ихъ разборы древнихъ философовъ; даже рядомъ съ ними или почти рядомъ стоявшихъ мыслителей они никакъ не могли понять. Кондильякъ, напр., писалъ подробный разборъ Мальбранша ¹⁾, Лейбница и Спинозы; видно, что онъ много ихъ читалъ, но видно, что онъ ни разу не отдавался имъ, что онъ непріязненно началъ и искалъ только противопоставлять свое сказанному ими. Такъ разбирать философскихъ писателей невозможно ²⁾. Вообще матеріалисты никакъ не могли понять объективность разума, и оттого, само собою разумѣется, они ложно опредѣляли не только историческое развитіе мышленія, но и вообще отношенія разума къ предмету, а съ тѣмъ вмѣстѣ и отношеніе человѣка къ природѣ. У нихъ бытіе и мышленіе или распадаются или дѣйствуютъ другъ на друга внѣшнимъ образомъ. *Природа помимо мышленія—часть, а не цѣлое*; мышленіе

¹⁾ Николай, французскій писатель XVII и XVIII вѣковъ, видѣвшій источникъ всей философіи въ божественномъ откровеніи.

²⁾ Кстати, вѣроятно, многимъ казавось страннымъ, отчего большая часть мыслителей XVII и XVIII вѣка, читая Платона и Аристотеля, рѣшительно не понимала единства внутренняго и внѣшняго (Платоновой идеи, Аристотелевой энтелехія), которое довольно ясно въ воззрѣніи того и другого. Неужели это просто ограниченность?—Не думаю. Новый человѣкъ такъ распался съ природой, что не можетъ легко примириться съ нею; онъ сочетавалъ большій смыслъ съ этимъ распаденіемъ, нежели грекъ. Грекамъ легко было понимать неразрывность сущности и бытія, потому что они не понимали во всю ширину ихъ противоположности. Напротивъ, средніе вѣка именно развили до послѣдней крайности этотъ разрывъ, и мысль не токмо удовлетворилась уже греческимъ примиреніемъ, но потеряла возможность понимать его. Грекъ предавался сочувствію къ истинѣ; новому человѣку надобны были анализъ и критика; онъ убилъ въ себѣ сочувствіе рефлексіей и недоувѣріемъ. Грекъ никогда не отдѣлялъ ни человѣка, ни мысли отъ природы; для него сосуществованіе ихъ было событіе, не то, чтобъ совершенно отчетливо понимаемое, но фактически очевидное; новая наука въ обоихъ проявленіяхъ своихъ (реализмъ и идеализмъ) разрушала эту гармонію.—*А. И. Г.*

такъ же естественно, какъ протяженіе, такъ же—степень развитія, какъ механизмъ, химизмъ, органика,—только высшая. Этой простой мысли не могли понять матеріалисты; они думали, что природа безъ человѣка полна, замкнута и довлѣетъ себѣ, что человѣкъ какой-то посторонній; конечно, отдѣльно взятая естественная произведенія не имѣютъ никакой нужды въ человѣкѣ; но если вы возьмете ихъ въ связи, вы увидите, что въ нихъ все неполно, что все ихъ счастье именно въ томъ, что они не могутъ сознать этой неполноты; организмы животные, наприм., при всей цѣлости, замкнутости, конкретности, *отвлеченны*; они, сверхъ собственнаго значенія, намекаютъ на какое-то развитіе, переходящее далѣе; они исполнены указаній на нѣчто, болѣе полное и развитое; эти указанія стремятся къ человѣку; чтобъ доказать это, не нужно, пожалуй, философіи, достаточно сравнительной анатоміи. Въ природѣ, разсматриваемой помимо человѣка, нѣтъ возможности сосредоточенія и углубленія въ себя, нѣтъ возможности сознанія, обобщенія себя въ логической формѣ, потому нѣтъ помимо человѣка, что мы человѣкомъ именно называемъ это высшее развитіе. Никто не удивляется, что безъ глазъ не видать, потому что глазъ составляетъ единственное орудіе зрѣнія; мозгъ человѣка—орудіе сознанія природы. Природа, какъ вѣчное несовершеннолѣтіе, покорена закону необходимому, роковому, неясному для себя, именно по недостатку *этой* развитого себя, т. е. человѣка; въ человѣкѣ законъ проясняется, становится сознаваемой разумностью; нравственный міръ настолько свободенъ отъ внѣшней необходимости, насколько совершеннолѣтенъ, т. е. сознательнъ. Но такъ какъ въ дѣйствительности сознаніе не отдѣлено отъ бытія, не другое, а, напротивъ, есть его совершеніе, цѣль его домогательствъ, объясненіе его неясности, его истина и оправданіе, то и міръ физическій, освобожденный въ нравственномъ и оправданный въ немъ, оправданъ въ своихъ глазахъ. Природа, понимаемая помимо сознанія,—туловище, недоросль, ребенокъ, не дошедшій до обладанія всѣми органами, потому что они не всѣ готовы. Человѣческое сознаніе безъ природы, безъ тѣла,—мысль, не имѣющая мозга, который бы думалъ ее, ни предмета, который бы возбудилъ ее. Естественность мысли, логичность и ихъ круговая порука природы—камень преткновенія для идеализма и для матеріализма, только онъ попался имъ подъ ноги съ разныхъ сторонъ ¹⁾. Шеллингъ засталъ борьбу разныхъ

¹⁾ Позвольте мнѣ привести въ заключеніе сказаннаго о Локкѣ и его послѣдователяхъ слѣдующее мѣсто изъ элементарной анатоміи Генле,—Генле, прозектора, вѣчно сидящаго за микроскопомъ и, слѣдовательно, не состоящаго въ подозрѣніи идеализма. Подробно разобравъ нервную дѣятельность

взглядомъ на разумъ и на природу въ ея высшемъ и крайнемъ выраженіи, — когда, съ одной стороны, *не-я* пало подъ ударами Фихте ¹⁾, и власть разума провозгласилась въ какихъ-то безконечныхъ пространствахъ холода и пустоты; съ другой, — французы отрицали все нечувственное и, какъ черепословы, стремились истолковать мысль бугорками и углублениями, а не бугорки мыслію, и онъ первый высказалъ, хотя и не вполне, высокое единство, о которомъ мы говорили ²⁾. Но возвратимся къ Локку и его школѣ.

Локкъ былъ робокъ и болѣе добросовѣстенъ, нежели діалектикъ; онъ безъ логической необходимости съ своей точки зрѣнія отрекся отъ начала, изъ котораго пошелъ. Признаніемъ сущности за дѣйствительность онъ окончательно призналъ самозаконность разума, которая была уже отчасти признана въ принятіи разсужденія источникомъ сложныхъ идей; какъ скоро идея сущности получила право гражданства, то неминуемо открывалась возможность многообразіе сущаго привести къ единству; бытіе непосредственное

и энергію органа мышленія, онъ говоритъ: «Разбирая сложныя дѣйствія нашего духа, можно ихъ свести на простыя понятія или категоріи; но желаніе эти категоріи вывести изъ чего-либо внѣшняго было бы столько же безумно, какъ звуками объяснять краски. Всѣ такого рода попытки ставятъ впередъ то, что должно объяснить; такъ поступала Локкова школа, хотѣвшая вывести понятія изъ внѣшняго опыта. Положеніе: nihil in intellectu, quod non ante fuerit in sensu, до такой степени ложно, что, фізіологически говоря, скорѣе можно утверждать, что ничего не можетъ перейти изъ чувствъ въ разумъ. Внѣшнее не можетъ даже произвести ощущеній, не предшествующихъ, *какъ возможность*; гдѣ же ему проникнуть въ органъ мышленія? внѣшнее развиваетъ только усыпленное въ немъ. Во взаимодействіи съ внѣшнимъ міромъ энергія чувствъ обособляется (дѣлается спеціальною) соотвѣтствующими раздраженіями, которыя, развиваясь, замѣняютъ собою первоначальныя ощущенія. Органы чувствъ составляютъ соотвѣтствующее раздраженію органу мышленія. Пораженію чувствъ соотвѣтствуютъ извѣстныя чувственные понятія; степень ихъ развитія находится въ соотношеніи съ прочувствованнымъ, съ прожитымъ чувствами (von den Erlebnissen der Sinne). Мышленіе развитое относится къ первымъ дѣйствіямъ ума почти такъ же, какъ фантазія образованнаго глаза къ мерцанію и къ цвѣтнымъ пятнамъ. Возвратиться къ первоначальнымъ понятіямъ невозможно. Исторія развитія и образъ чувствованій воспитали намъ формы, которыми мы думаемъ, и проч. См. «Allgemeine Anatomie» von Henle, p. 751—2; она составляетъ VI томъ превосходнаго изданія, въ которомъ современные германскіе врачи-натураллисты почтили память своего знаменитаго учителя, S. T. Sommering, «Von Baue des menschlichen Körpers».—А. И. Г.

¹⁾ Іоаннъ-Готлибъ, ученикъ Канта и учитель Шеллинга, герм. философъ на рубежѣ XVIII и XIX столѣтій (система трансцендентальнаго идеализма).

²⁾ Фридрихъ-Вильгельмъ Шеллингъ, знаменитый герм. философъ начала XIX вѣка (система субъективнаго идеализма).

находитъ въ сущности свое посредство, явленіе получаетъ причину, каузальность неразрывна съ понятіемъ сущности. Но такъ, какъ Спинозъ ¹⁾ (мы увидимъ это въ послѣдующихъ письмахъ) ²⁾, чтобъ примирить картезіанскій дуализмъ съ требованіями своей глубокой логической природы, оставался одинъ выходъ — погубить дѣйствительность явленій въ пользу сущности, что составляло своего рода выходъ изъ дуализма, — такъ точно матеріализму надобно было послѣднимъ словомъ своимъ принять не робкое и шаткое полупризнаніе сущности, а полное отреченіе отъ нея. Сущность — та нить, которой разумъ все сдерживаетъ: перерѣжьте ее, и все разсыплется, распадется; будутъ существовать одни частныя явленія, однѣ индивидуальности, мерцающія мгновенно и мгновенно тухнушія; всеобщій порядокъ разрушится; будутъ атомы, явленія, груды фактовъ, случайности, но не будетъ стройнаго, всецѣлаго космоса, — и все это прекрасно: когда односторонность дойдетъ до такой крайности, тогда она всего ближе къ выходу изъ своей ограниченности. Нѣтъ сомнѣнія, что первый гениальный матеріалистъ Бэконо-Локкова направленія долженъ былъ дойти до этого или отречься отъ матеріализма, — этотъ гений былъ Давидъ Юмъ.

Юмъ принадлежитъ къ небольшому числу мыслителей, которые покончили съ собою, которые, взявъ начала, имѣли мужество итти до послѣдствій, не блѣднѣя ни передъ чѣмъ и твердо принимая хорошее и худое, лишь бы остаться вѣрными точкѣ отправленія и логическому пути. Такой человѣкъ можетъ, наконецъ, достигнуть успокоенія, примириться въ вѣрности своихъ выводовъ съ своими началами; пошлыхъ людей, дошедшихъ до этой невозможной тишины, много, но Юмъ былъ одаренъ необычайнымъ умомъ и необычайной діалектикой, — въ томъ-то и важность. Началъ своихъ Юмъ не избиралъ: онъ ихъ нашелъ готовыми въ современномъ ему мірѣ, въ своемъ отечествѣ; онъ къ этимъ началамъ имѣлъ симпатію, какъ человѣкъ практической, какъ англичанинъ. Самый образъ жизни велъ его къ нимъ: Юмъ былъ дипломатъ, историкъ, а прежде купецъ, несмотря на аристократическое происхожденіе. Разумѣется, начала бэконовской методы были ближе къ душѣ его, нежели Спиноза и Лейбницъ; но взявъ начала, мощный мыслитель вывелъ неумолимыя послѣдствія; онъ выставилъ то, до чего не смѣли касаться его предшественники; тамъ, гдѣ они виляли, уступали, тамъ Юмъ кротко и благородно,

¹⁾ Борухъ, нидерландскій еврей, знаменитый философъ XVII вѣка (система пантеизма).

²⁾ Они намъ неизвѣстны.

но съ невѣроятной твердостью шелъ прямымъ путемъ. Онъ спокоенъ, потому что правъ; его совѣсть чиста, онъ добросовѣстно сдѣлалъ то, за что взялся. Видали ли вы портретъ Юма? Его черты поражаютъ васъ своей невозмущаемой ясностью и кроткимъ покоемъ; весело сидитъ онъ въ щегольскомъ французскомъ кафтанѣ; лицо его полно, глаза блестятъ умомъ, всѣ черты одушевлены, благородны; онъ нѣсколько улыбается. Смотря на него, дѣлается отрадно, вспоминается, что въ жизни есть много хорошаго. Обернитесь къ портретамъ другихъ философовъ, близкихъ къ нему по времени,—совѣмъ не то. Въ сухо-моральномъ лицѣ Локка соединяется выраженіе англиканскаго проповѣдника съ строгостью материалиста-законодателя; лицо Вольтера выражаетъ одну злую иронию; въ немъ знаменіе гениальнаго разума какъ-то сочеталось съ чертами орангутанга; Кантъ съ своей маленькой головкой и огромнымъ лбомъ дѣлаетъ тягостное впечатлѣніе; въ лицѣ его, напоминающемъ Робеспьера, есть что-то болѣзненное; оно говоритъ о непрерывной, тяжелой работѣ, потребляющей все тѣло; вы видите, что у него мозгъ всосалъ лицо, чтобъ довлѣть огромному труду мысли; Лейбницъ, съ царственно величественнымъ лицомъ, какъ Гете, говоритъ всѣми чертами: *procul estote* ¹⁾! А Юмъ зоветъ къ себѣ. Это не только челоуѣкъ мысли, но челоуѣкъ жизни. Таковъ онъ и былъ; онъ умѣлъ съ высокой нравственностью и съ высокимъ умомъ сочетать качества, привязывавшія къ нему всѣхъ людей, близко къ нему подходившихъ. Онъ былъ душою небольшой кучки друзей; въ ихъ числѣ былъ и великій Адамъ Смитъ ²⁾ и нѣкогда Ж.-Ж. Руссо, бѣжавшій изъ вселего товарищества, гонимый раздражительной хандрой своей. Юмъ остался вѣренъ себѣ до конца; онъ сдѣлалъ передъ смертью пиръ и весело разстался съ жизнію, сжимая замиравшей рукой своей дружескія руки, улыбаясь прощальному тосту ихъ. Это была цѣльная натура!

Ни Локкъ, ни Кондильякъ не могли сладить своего реализма съ наукообразными требованіями; Юмъ съ перваго взгляда понялъ, что съ этой точки зрѣнія всѣ метафизическія требованія, всякая догматика будутъ нелѣпостью, и высказалъ это прямо и не обинуясь. Мы видѣли выше, что онъ опровергъ возможность опредѣлять достовѣрность знанія критикою ума; онъ достовѣрность считаетъ инстинктомъ, не подлежащимъ собственно умозаключенію, *предв-разсудкомъ*. Мы приводимъ въ сознаніе не самые предметы, а образы ихъ; эти образы мы *считаемъ* за дѣйствія внѣшнихъ

¹⁾ Оставайтесь вдали!

²⁾ Знаменитый англійскій политико-экономъ XVIII вѣка.

предметовъ; доказательствъ на это нѣтъ,—мы принимаемъ такое отношеніе впечатлѣній къ предметамъ до развитія обсуживанія: это впередъ идетъ, это дано инстинктомъ. Источникъ знанія—опытъ, впечатлѣнія; впечатлѣнія передаютъ намъ образы и вмѣстѣ съ тѣмъ *моральное убѣжденіе, вѣрованіе*, что они соотвѣтствуютъ предметамъ сущимъ, возбуждившимъ ихъ въ нашемъ сознаніи; дѣйствіями ума вывести оправданіе инстинкта невозможно: у него на это нѣтъ средствъ; изъ этого никакъ не слѣдуетъ, чтобъ инстинктъ былъ не правъ, а слѣдуетъ, что у насъ умъ ограниченъ. Чувственные впечатлѣнія, образы, собираясь въ памяти, повторяясь и сочетаясь ею различнымъ образомъ, составляютъ то, что мы называемъ идеями; всѣ идеи, все мыслимое должно быть прочувствовано. Опуская то ту, то другую сторону матеріаловъ, данныхъ впечатлѣніями, сличая ихъ, мы отвлекаемъ общее имъ, беремъ ихъ соотношенія и этимъ путемъ уравниемъ достигаемъ общихъ понятій; при этомъ обобщеніи, само собою разумѣется, впечатлѣнія теряютъ долю живости, силы и своего индивидуальнаго значенія. Вѣря въ свой инстинктъ, храня въ памяти ряды впечатлѣній, человѣкъ различныя обобщенія и слѣдствія своихъ сравненій приписываетъ предметамъ, не имѣя ни малѣйшаго права на то; опытъ даетъ одни частныя явленія, ощущенія и ничего всеобщаго. Видя нѣсколько разъ подобное послѣдующее отъ подобнаго предыдущаго, человѣкъ *привыкаетъ* связывать эти представленія и подчинять одно другому, называя первое причиной или силой, а другое—дѣйствіемъ; ни опытъ, ни умозрѣніе не оправдываютъ такого произвольнаго принятія. Опытъ даетъ преемственный порядокъ двухъ разныхъ явленій, слѣдующихъ во времени другъ за другомъ, не раскрывая иного соотношенія между ними. Умозаключеніе каузальности явнымъ образомъ не полно,—недостаетъ цѣлаго термина. В постоянно слѣдуетъ за А; слѣдственно, А—причина В,—заключеніе негодное, ибо я не вижу никакого соотношенія между двумя разными А и В, кромѣ разсказа, что сперва явилось А, а потомъ В, и это случилось нѣсколько разъ; принимая А за причину, В за дѣйствіе, мы теряемъ послѣднюю возможность ихъ сравнить, ибо сравнивать можно одноименное, тождественное по чему-нибудь, а дѣйствіе и причина—до такой степени разнородныя понятія, что сравненіе здѣсь не имѣетъ мѣста. Дѣло въ томъ, что каузальность вовсе и не основана на умозаключеніи или на прямомъ опытѣ, а *на привычкѣ*; человѣкъ привыкаетъ отъ подобныхъ причинъ ждать непременно подобныхъ дѣйствій; если-бъ эта непремѣнность была разумна, то разумъ и въ первый разъ долженъ былъ ждать того же дѣйствія; но онъ его не ждалъ, а ждалъ во второй разъ, по-

тому что началъ привыкать. То, что здѣсь говорится о каузальности, прилагается очень легко и къ понятіямъ необходимости и сущности.

Опытъ не даетъ нигдѣ и ни въ чемъ никакихъ необходимыхъ соотношеній, а даетъ совокупное и современное сосуществованіе многообразія. Слово «сущность» — собирательное имя многихъ простыхъ идей, совмѣщаемыхъ въ одно; мы никакого понятія не имѣемъ о сущности, кромѣ полученнаго изъ связи разныхъ явленій и свойствъ, схваченныхъ нами; идеи, повидимому, чрезъ соединеніе по сходству, совокупности, одновременности, каузальности становятся крѣпче, общнѣе; но если взглянуть, то всѣ эти обобщенія приводятъ къ повторенію одного и того же разными образами (дѣйствіе — раскрытая причина, причина закрытая — не обнаруженное дѣйствіе); на примѣръ, человѣческое *я*, т. е. понятіе самости, представляется въ родѣ сущности всѣхъ явленій, составляющихъ жизнь человѣка; въ основѣ понятія о нашемъ *я* не лежитъ тоже ничего дѣйствительнаго. Понятіе *я* есть признаніе непрерывно продолжающейся самости; стало-быть, и впечатлѣніе, производящее его, должно быть непрерывно; но такого впечатлѣнія нѣтъ: самость наша состоитъ изъ совокупности многихъ другъ за другомъ слѣдующихъ впечатлѣній; мы придаемъ этой совокупности вымышленную связь, называемую *я*. Мысль эта возникаетъ отъ понятія непрерывности предмета, съ одной стороны, и отъ понятія послѣдовательности разныхъ предметовъ, другъ за другомъ находящихся въ соотношеніи; чѣмъ болѣе мы замѣчаемъ характеръ постепенной послѣдовательности, тѣмъ менѣе можемъ мы ихъ отличать другъ отъ друга, и чтобъ *вскрыть* противорѣчіе, основанное на удержаніи непрерывности и послѣдовательности, человѣкъ выдумываетъ субстанцію или самость своего *я*, какъ *невѣдомое нѣчто, сохраняющее тождество съ собою въ перемѣнѣ*.

Consummatum est ¹⁾! Дѣло матеріализма, какъ логическаго момента, совершилось; далѣе итти теоретически было невозможно. Вселенная распалась на бездну частныхъ явленій, наше *я* — на бездну частныхъ ощущеній; если между явленіями и между ощущеніями раскрывается связь, то эта связь, во-первыхъ, случайна, во-вторыхъ, лишаетъ полноты и жизненности то, что связываетъ; наконецъ, тавтологически повторяетъ то же самое на другомъ языкѣ. Связь эта ни логической, ни эмпирической достовѣрности не имѣетъ. ея критеріумъ — инстинктъ и привычка. Умъ опровергаетъ инстинктъ, но очевидность за него; инстинктъ практически опровергаетъ умъ,

¹⁾ Свершилось.

хотя, съ своей стороны, доказательствъ ни на что не имѣеть. Хотѣли одною чувственной достовѣрностью дойти до истины; Юмъ привелъ *къ истинѣ чувственной достовѣрности*, остановившейся на рефлексіи, и что же случилось? Дѣйствительность разума, мысли, сущности, каузальности, сознание своего я—исчезли; Юмъ доказалъ, что этимъ путемъ только до этихъ слѣдствій и можно дойти. Но можно ли, по крайней мѣрѣ, схватиться, какъ за послѣдній якорь спасенія, за инстинктъ, за вѣру въ впечатлѣніе? Ни подъ какимъ видомъ. Вѣра въ дѣйствительность впечатлѣній—дѣло воображенія и отличается отъ прочихъ вымысловъ его только невольнымъ чувствомъ достовѣрности, основанной на большей живости впечатлѣній, происходящихъ болѣе отъ дѣйствительныхъ предметовъ, нежели отъ вымышленныхъ. Вѣра эта,—прибавляетъ Юмъ,—точно такъ же принадлежитъ звѣрямъ, какъ и человѣку; она не подлежитъ никакому оправданію умомъ! Что Декартъ сдѣлалъ въ области чистаго мышленія своей методой, то сдѣлалъ практически въ сферѣ разсудочной науки Юмъ. Онъ очистилъ входъ въ науку отъ всего даннаго, впередъ идущаго; онъ заставилъ матеріализмъ сознаться въ невозможности дѣйствительнаго мышленія съ его односторонней точки зрѣнія. Пустота, къ которой Юмъ привелъ, должна была сильно потрясти людское сознание, а выйти изъ нея нельзя было ни методою тогдашняго идеализма, ни робкимъ Локковымъ матеріализмомъ. Требовалось иное рѣшеніе; голосъ Юма вызвалъ Канта.

Но прежде, нежели мы займемся имъ и его предшественниками со стороны идеализма, взглянемъ, что дѣлала Бэконова школа по ту сторону Па-де-Калэ.

Реализмъ явнымъ образомъ перешелъ во Францію изъ Англіи; даже ироническій тонъ, легкая литературная одежда мысли, теорія себялюбивой полезности и дурная привычка кощунства, — все это перешло изъ Англіи. Что же сдѣлали французы? За что въ памяти нашей слова: реализмъ, матеріализмъ,—неразрывны съ именами французскихъ писателей XVIII вѣка? Если вы возьметесь за логическій остовъ, за теоретическую мысль въ ея всеобщности, то увидите, что французы почти ничего не сдѣлали, да и не могли собственно ничего сдѣлать: съ точки зрѣнія реализма и эмпирии одна метода—ее изложилъ Бэконъ; въ матеріализмѣ далѣе Гоббза итти некуда,—развѣ броситься въ скептицизмъ, но и тутъ все было исчерпано Юмомъ. Между тѣмъ, французы сдѣлали, дѣйствительно, очень много, и въ исторіи они не даромъ остались представителями науки XVIII столѣтія. Мы уже нѣсколько разъ имѣли случай замѣтить, что отвлеченная логическая схематика всего менѣе способна уло-

вить не наукообразную по формѣ, но богатую по содержанію, *философію* эмпирии. Здѣсь это очевидно; если вы взглянете не на нѣсколько бѣдныхъ теоретическихъ мыслей, отъ которыхъ равно отправлялись англичане и французы, но на развитіе, которое эти мысли получали у англичанъ и французовъ, — тогда увидите, что Франція несравненно болѣе совершила, нежели Англія. Британцамъ принадлежитъ только честь почина. Энциклопедисты въ области науки сдѣлали точно то же изъ Локка, что бретонскій клубъ, во время революціи, сдѣлалъ изъ англійской теории конституціонной монархіи: они вывели такія послѣдствія, которыя или не приходили англичанамъ въ голову, или отъ которыхъ они отворачивались. Это совершенно сообразно національному характеру двухъ великихъ народовъ.

Всякій общій вопросъ дѣлаютъ англичане мѣстнымъ, національнымъ; всякій мѣстный, частный вопросъ становится общечеловѣческимъ у французовъ. Какой бы перемѣны англичанинъ ни хотѣлъ, онъ хочетъ сохранить и бывшее, въ то время, когда французъ прямо и открыто требуетъ новаго; доля души англичанина въ прошедшемъ: онъ человѣкъ по преимуществу историческій, онъ привыкъ съ дѣтства благоговѣть передъ былымъ своей родины, уважать ея законы, ея обычаи, ея повѣрья, — и это очень понятно: прошедшее Англіи *достойно уваженія*; оно такъ величаво и стройно развивалось, оно такъ гордо становилось стражей человѣческаго достоинства еще во времена мрачнаго безправія, что нельзя британцу оторваться отъ святыхъ воспоминаній своихъ; это благочестіе къ прошедшему кладетъ узду на него. Англичанину кажется не деликатнымъ переходить нѣкоторые предѣлы, касаться нѣкоторыхъ вопросовъ, и онъ, до педантизма строгій читатель приличій, покоряется ихъ условнымъ законамъ. Бэконъ, Локкъ, моралисты, политическіе экономы Англіи, парламентъ, пославшій Карла I на эшафотъ, Стаффордъ ¹⁾, хотѣвшій ниспровергнуть власть парламента, — всѣ стремятся прежде всего показать себя консерваторами: всѣ двигаются спиною впередъ и не хотятъ сознаться, что идутъ по новой, не разработанной почвѣ. Въ мысли островитянина есть всегда что-то ограниченное; она опредѣленна, положительна, тверда, но съ тѣмъ вмѣстѣ видны берега, видны предѣлы. Англичанинъ перерываетъ нить своей мысли на томъ мѣстѣ, гдѣ она отклоняется отъ существующаго порядка, и порванная нить слабнетъ на всемъ протяженіи ²⁾. Уваженія къ прошедшему, обуздывавшаго англича-

1) Графъ, англійскій политическій дѣятель, реакціонеръ.

2) Только Шекспиръ и Гоббсъ не подойдутъ сюда; поэтическое созерцаніе жизни, глубина пониманія ея, дѣйствительно, безпредѣльна у Шекспира;

нина, не было у французовъ. Людовикъ XIV такъ же мало уважалъ прошедшее, какъ Мирабо ¹⁾; онъ открыто бросилъ перчатку преданію. Французы узнали свою исторію въ нашемъ вѣкѣ: въ прошломъ они дѣлали свою исторію, но не знали, что они продолжаютъ; они только знали исторію Рима и Греціи, переложенную на французскіе нравы, разуряженную, натянутую. Въ то время, о которомъ мы говоримъ, французы хотѣли *все вывести изъ разума*: и гражданскій бытъ и нравственность,—хотѣли опереться на одно теоретическое сознаніе и пренебрегали завѣщаніемъ прошедшаго, потому что оно не согласовалось съ ихъ аргіогі, потому что оно мѣшало какимъ-то непосредственнымъ, готовымъ бытомъ ихъ отвлеченной работѣ умозрительнаго, сознательнаго построенія, и французы не только не знали своего прошедшаго, но были врагами его. При такомъ отсутствіи всякой узды, при пламенно-энергическомъ характерѣ, при быстромъ соображеніи, при непрерывной дѣятельности ума, при дарѣ блестящаго, увлекательнаго изложенія, само собою разумѣется, они должны были далеко оставить за собою англичанъ.

Умозрительное движеніе, сильно возбужденное Декартомъ и его послѣдователями, потухало. Развиватели Декарта были не по характеру французамъ; они охотнѣе читали и лучше понимали Рабле ²⁾ и Монтеня, нежели Мальбранша. Самъ Вольтеръ упрекаетъ Лейбница въ томъ, что онъ *слишкомъ* глубокомысленъ. При такомъ словѣ ума, ничего не могло быть естественнѣе и своевременнѣе, какъ распространеніе во Франціи англійской философіи въ началѣ XVIII вѣка. Развитіе и опрощеніе Бэкона и Локка, развитіе и опрощеніе *самой* популярной, нравоучительной философіи англичанъ было сдѣлано во Франціи мастерскими руками; никогда такая огромная сумма всеобщихъ свѣдѣній не была приводима въ форму, болѣе общедоступную; никакое философское ученіе не имѣло такого

Гоббзъ былъ до чрезвычайности смѣлъ и консеквентенъ, но объ немъ можно сказать то, что Мирабо сказалъ о Барнавѣ ³⁾: «Твои глаза холодны, на тебѣ нѣтъ помазанія». Байронъ, Юмъ поэзіи, принадлежитъ уже къ *другой* Англии, къ той, которая, долго не переводя духа, именно съ года рожденія Байрона (1788), съ судорожнымъ вниманіемъ смотрѣла на революцію и, какъ Гаррикъ ⁴⁾, одной частью лица улыбалась, а другою плакала,—къ той Англии, которая, отправляя «Беллерофонъ», вскрикнула: «я побѣдила!» и сама покраснѣла отъ такой побѣды.—А. И. Г.

¹⁾ Онорэ-Габріель, лучший ораторъ первой франц. революціи.

²⁾ Франсуа, знаменитый французскій сатирикъ, начала XVI вѣка.

³⁾ Иосифъ, знаменитый жирондистъ, превосходный ораторъ первой франц. революціи.

⁴⁾ Давидъ, знаменитый англійскій трагикъ.

обширнаго круга примѣняемости, такого мощнаго, практическаго вліянія; труды англичанъ совершенно затмили въ изложеніемъ французовъ. Франція воспользовалась всѣмъ засѣяннымъ въ Англии: Англія имѣла Бэкона, Ньютона,—Франція рассказала всему міру ихъ мысли; Англія предложила робкій матеріализмъ Локка,—во Франціи онъ развился въ дерзость Гольбаха ¹⁾ съ товарищами; Англія вѣка жила высокою юридическою жизнію,—французъ ²⁾ написалъ «De l'esprit des lois»; Англія вѣка жила въ гордомъ сознаніи, что нѣтъ полнѣе государственной формы, какъ ея, а Франціи достаточно было двухъ лѣтъ de la Constituante ³⁾, чтобъ обличить несообразности этой формы.

Когда Гельвецій ⁴⁾ издалъ свою извѣстную книгу «De l'esprit», одна дама замѣтила: c'est un homme qui a dit *le secret de tout de monde* ⁵⁾. Можетъ быть, женщина, съ чрезвычайной вѣрностью опредѣлившая не только Гельвеція, но и всѣхъ французскихъ мыслителей XVIII столѣтія, говоря это, не вполнѣ оцѣнила, что сказать то, о чемъ другіе молчатъ, несравненно труднѣе, нежели сказать то, о чемъ другимъ въ голову не приходило. Энциклопедисты, дѣйствительно, разболтали общую тайну и за это ихъ обвинили въ безнравственности, а они, собственно, не были безнравственнѣе тогдашняго парижскаго общества,—они были только смѣлѣе его. Люди тогда начинаютъ имѣть *секреты*, когда нравственный бытъ ихъ распадается; они боятся замѣтить это распаденіе и судорожною рѣкою держатся за формы, утративъ сущность; изношеннымъ рубищемъ прикрываютъ они раны, какъ будто раны заживутъ оттого, что ихъ не видать. Въ такія эпохи всего злѣе и ревностнѣе вступаются за обличеніе тайнъ нравственнаго быта, и надобно имѣть большое мужество, чтобъ высказывать громко вещи, потихоньку извѣстныя каждому,—за подобную дерзость былъ казненъ Сократъ. Гласность и обобщеніе — злѣйшіе враги безнравственности; порокъ кроется во мракѣ, развратъ боится свѣта: для него темнота необходима, не только для скрытности, но для усиленія нечистыхъ упоеній, жаждущихъ запрещеннаго плода; порокъ, вызванный на свѣтъ, теряется; ему становится неловко при открытыхъ дверяхъ, и онъ или исчезаетъ, или очищается; та же самая гласность оправдываетъ многое, считавшееся порочнымъ по сбивчивымъ понятіямъ,

¹⁾ Поль-Анри, баронъ д'Ольбакъ, франц. философъ XVIII вѣка.

²⁾ Монтескье, Шарль де-Сэкондъ, баронъ, знаменитый франц. политическій писатель первой половины XVIII вѣка.

³⁾ Учредительнаго собранія.

⁴⁾ Клодъ-Ариенъ, франц. философъ-матеріалистъ XVIII вѣка.

⁵⁾ Это человекъ, который высказалъ секретъ, бывший у всѣхъ.

по искаженнымъ преданіямъ, и радостно расширяетъ кругъ,—скажемъ смѣло,—самимъ страстямъ, когда онѣ не противорѣчатъ призванію нравственнаго существа. Философы XVIII столѣтія раскрыли двоедушіе и лицемеріе современнаго имъ міра, они указали ложь въ жизни, противорѣчіе официальной морали съ частнымъ поведеніемъ. Общество толковало о строгихъ нравахъ, гнушалось всѣмъ чувственнымъ,—и предавалось самому нечистому распутству. Философы сказали во всеуслышаніе, что чувства имѣютъ свои права, но что одно чувственное не можетъ удовлетворить развитога челоуѣка, что высшіе интересы жизни тоже имѣютъ свои права. Эгоизмъ доходилъ до безобразія въ обществахъ и скрывался подъ личиною самоотверженія, презрѣнія къ богатству: философы доказали, что эгоизмъ — одинъ изъ необходимыхъ элементовъ всего живого, сознательнаго и, оправдывая его, раскрыли, что челоуѣческой эгоизмъ— не только чувство личной любви къ самому себѣ, но, сверхъ того, чувство любви къ роду, къ челоуѣчеству, къ ближнему ¹⁾.

Обличеніе всеобщей тайны и отрицаніе прежней морали шло быстро впередъ. При Людовикѣ XIV Фенелоновъ «Телемакъ» считался страшною книгой. Регентъ издалъ ее на свой счетъ; въ началѣ своего поприща Вольтеръ поражаетъ дерзостью; черезъ двадцать лѣтъ Гриммъ пишетъ: «патріархъ нашъ отсталъ и упорно держится за дѣтскія вѣрованія свои». Вольтеръ и Руссо—почти современники, а какое разстояніе дѣлитъ ихъ! Вольтеръ еще борется съ невѣжествомъ за цивилизацію,—Руссо клеймитъ уже позоромъ самую эту искусственную цивилизацію. Вольтеръ — дворянинъ стараго вѣка, отворяющій двери изъ раздушенной залы рококо въ новый вѣкъ; онъ въ галунахъ, онъ придворный; онъ разъ былъ на большомъ выходѣ и, когда Людовикъ XV проходилъ, церемоніймейстеръ назвалъ по имени Франсуа-Мари-Аруэта; по другую сторону двери стоитъ плебей Руссо, и въ немъ ничего ужъ нѣтъ *du bon vieux temps* ²⁾. Ёдкія шутки Вольтера напоминаютъ герцога Сень-Симона и герцога Ришелье; остроуміе Руссо ничего не напоминаетъ, а предсказываетъ остроты Комитета общественнаго благосостоянія. Въ 1720 году вышли «Lettres Persanes» ³⁾ Монтескье, и Парижъ былъ до того *скандализованъ* смѣлостью этой книги, что регентъ, смѣявшійся отъ души надъ письмами Рики,

¹⁾ Надобно видѣть, какъ живо или увлекательно дѣлаетъ именно этотъ переходъ отъ эгоизма къ любви глубокомысленнѣйшей изъ всѣхъ энциклопедистовъ, Дидро, если не ошибаюсь, въ своемъ «Essai sur le mérite et la vertu». — А. И. Г.

²⁾ Отъ добраго стараго времени.

³⁾ «Персидскія письма».

Узбека, долженъ былъ уступить общественному мнѣнію и, для приличія, немного потѣснить автора; лѣтъ черезъ пятьдесятъ напечатана въ Лондонѣ «*Système de la nature*» ¹⁾ Гольбаха et C-іе и не токмо не удивила никого, но общественное мнѣніе смѣялось надъ гоненіемъ подобныхъ книгъ. Впрочемъ, далѣе итти было некуда. Эта книга—заключеніе французскаго матеріализма, это лапласовское «*j'ai dit tout!*» ²⁾. Послѣ этой книги можно было дѣлать частныя приложенія, можно было комментировать *Système de la nature—par le Culte de la Raison* ³⁾, но далѣе итти въ дерзости отрицанія невозможно. Съ ограниченной точки зрѣнія разсудочной дѣятельности, при безбоязненномъ и послѣдовательномъ умѣ, непремѣнно надобно было дойти до Юма или до Гольбаха, Гримма, Дидро ⁴⁾, т. е. до скептицизма, оставляющаго васъ темной ночью на краю пропасти или до матеріализма, ничего не понимающаго, кромѣ вещества и тѣла, и именно потому не понимающаго ни вещества, ни тѣла въ ихъ дѣйствительномъ значеніи. Дойдя до этихъ предѣловъ, мышленіе человѣческое стало искать иныхъ путей, но ужъ не англичане, не французы нашли и расчистили ихъ, а германцы, приготовившіеся къ подвигу науки постомъ двухвѣкового бездѣйствія,—германцы, сосредоточившіеся въ думѣ, оставившіе жизнь, потому что жизнь для нихъ въ XVII и XVIII столѣтіи была невыносима ⁵⁾, германцы, хранившіе свято книги Спинозы и книги Лейбница и приученные къ страшному умственному напряженію вольфіанизмомъ ⁶⁾.

Энциклопедисты были односторонни до нелѣпости, но они не были такъ плоско-поверхностны, какъ думали объ нихъ нѣмцы, судя по общедоступному языку ихъ. Въ сказкахъ повѣствуютъ о какомъ-то скороходѣ, который, чтобъ не слишкомъ быстро бѣгать, привязывалъ себѣ ядра къ ногамъ; привыкнувъ ходить съ ядрами, я полагаю, онъ очень неловко ходилъ безъ нихъ. Нѣмцы привыкли читать въ потѣ лица тяжелые философскіе трактаты. Когда имъ попадается въ руки книга, отъ которой не трещитъ лобъ, они думаютъ (или, правильнѣе, думали лѣтъ двадцать тому назадъ), что это—пошлость.

¹⁾ «Система природы»—изложеніе матеріализма.

²⁾ «Я все сказалъ».

³⁾ Система природы—культомъ Разума.

⁴⁾ Дени, знаменитый французскій писатель и публицистъ — наиболѣе дѣятельный пропагандистъ философскихъ и освободительныхъ идей XVIII в.

⁵⁾ *Совѣтую* почитать, напр., Шлоссера «Исторію XVIII столѣтія».—
А. И. Г.

⁶⁾ Ученіе Христіана Вольфа, нѣмецкаго философа XVII и XVIII вѣковъ.

Если вы сколько-нибудь припоминаете развитие науки, изложенное нами въ письмахъ, то вамъ ясна историческая необходимость Декарта и Бэкона; вы видѣли, что средневѣковой дуализмъ, переходя изъ бытоваго устройства въ сферу теоретическую и перенося въ нее двуначалье свое, пошелъ двумя путями: путемъ идеализма и путемъ реализма. Какъ скоро вы допустите необходимость Декарта и Бэкона или, лучше, ихъ ученій, то вы должны будете ждать, что и то и другое направленіе разовьется до послѣдней крайности,—до нелѣпости, если хотите. Крайность реализма выразили энциклопедисты; они такъ же дѣйствительно, такъ же вѣрно, такъ же полно представляютъ свою сторону духа человѣческаго, какъ идеалисты свою; и такъ же, какъ они, обусловлены временемъ, послѣ котораго и тѣ и другіе должны потерять свои исключительныя притязанія и соединиться въ одно стройное пониманіе истины. Къ этому примиренію, повторяемъ, стремился Шеллингъ и всѣ послѣдователи его; ему-то обширныя основанія воздвигнулъ Гегель, остальное додѣлаетъ время. Языкъ двухъ противоположныхъ воззрѣній еще слишкомъ разенъ; недостаетъ взаимнаго уваженія, недостаетъ безпристрастія. Конечно, натуры сильныя становятся выше личныхъ мнѣній или мнѣній своей партіи. Гегель, напр., началъ въ своей исторіи говорить о бэконовскомъ воззрѣніи и его школѣ свысока; но, мало-по-малу, перелистывая сочиненія знаменитыхъ дѣятелей того времени, вживаясь въ нихъ, онъ воспламеняется, увлекается практическими мыслителями до того, что голось его дрожитъ отъ глубокаго одушевленія, рѣчь становится восторженна, какой-то трепеть пробѣгаетъ по груди, и эти люди ограниченной мысли начинаютъ ему казаться чуть ли не крестовыми рыцарями, вдохновенно идущими за развернутымъ знаменемъ разума!... И Гегель съ горькой улыбкой обращается потомъ къ родному идеализму и говоритъ: «А въ Германіи въ это время возились съ лейбницо-вольфовской философіей, съ ея опредѣленіями, аксіомами, доказательствами»¹⁾.

С. Соколово. 1845 г. Сентябрь.

◆◆ 1. Дальше слѣдовалъ переводъ не приводимой мною статьи Гете, въ которой онъ дѣлаетъ общую характеристику природы,—чудесной, художественной, таинственной, геніальной, мечтательной, любящей.

2. Дальше прилагались «Выписки изъ Бэкона»,—буквальный переводъ нѣкоторыхъ его мыслей.

1) «Geschichte der Philosophie». Т. III, р. 529.—А. И. Г.

418. Письмо къ А. А. Тучкову.

17 апрѣля 1845 г.
Москва.

Вотъ какой случился грѣхъ: Навуходоносоры ¹⁾ принесли мнѣ это письмо, чтобъ я краснорѣчіемъ моимъ вельми тронулъ ваше сердце и подвигнулъ къ исполненію ихъ просьбы, а я продержалъ письмо до 16 числа, по одной неаккуратности ²⁾. Между тѣмъ, въ Москву пріѣхалъ Кетчеръ и кланяется вамъ. Если прикажете, я имъ дамъ денегъ впередъ, но только попрошу тогда прислать черезъ меня, дабы я могъ *присовокупить* къ ихъ деньгамъ вычетъ моихъ. Мѣста нѣтъ; жаль ихъ, не прислать ли къ вамъ меньшого? Въ деньгахъ они нуждаются.

Поздравляемъ почтенное семейство ваше съ праздникомъ и прощайте.

Весь Вашъ А. Герценъ.

419. Письмо къ А. Л. Витбергу.

(Апрѣль—май 1845).

Ваше письмо, почтеннѣйшій Александръ Лаврентьевичъ, обрадовало меня безмѣрно. Отчего я молчалъ такъ давно? отчего вы сначала—такъ, а потомъ—потому, что молчали. Vous avez brisé la glace ³⁾ и вамъ честь за то, что вы напомнили мнѣ и долгъ, и собственное желаніе. Послѣдній разъ я писалъ къ вамъ съ Юріемъ Федоровичемъ Самаринимъ. Вы не пишете, получили ли это письмо?..

¹⁾ Братья Григорій и Петръ Немвродовы.

²⁾ Тучковъ управлялъ въ это время дѣлами Огарева.

³⁾ Вы сломали ледъ.

О себѣ не много могу вамъ сообщить. Живу въ Москвѣ, почти исключительно занимаюсь естествовѣдѣніемъ,—не совершенно бесплодно. Это вы можете видѣть по нѣкоторымъ статьямъ въ журналахъ ¹⁾. Въ семейномъ кругу я также счастливъ, какъ былъ въ первый день послѣ свадьбы; дѣтей у насъ теперь трое; здоровье жены хотя далеко отъ крѣпости, но, по крайней мѣрѣ, не хуже. ¹ Теперь важное дѣло предстоитъ въ воспитаніи Саши (ему около 6-ти лѣтъ) жизнью, опытомъ. Я думаю, возрѣніе мое на этотъ предметъ не будетъ совершенно совпадать съ вашимъ. Можетъ быть, я самъ побываю въ Петербургѣ до осени... До свиданія; весъ вашъ

Александръ.

◆◆ 1. «Пятый ребенокъ Герценовъ—Коля, оставшійся въ живыхъ, былъ необыкновенно понятливый мальчикъ, что тѣмъ болѣе было достойно удивленія, что онъ былъ глухонѣмой. Долго этого не подозрѣвали и прозвали его глупышемъ, потому что онъ не отзывался, когда его звали по имени. Первая была моя мать,—рассказываетъ М. К. Рейхель,—которая начала догадываться; начали дѣлать разныя пробы: звонили въ колокольчикъ, шумѣли,—Коля не оглядывался. Мудрено ли, что общая нѣжность къ нему увеличилась, когда увѣрились въ этомъ печальномъ недостаткѣ. Онъ, какъ будто чувствовалъ мою особенную къ нему привязанность: еще лежа у груди кормилицы, онъ бросалъ ее, когда я входила, и тянулся ко мнѣ рученками. Впослѣдствіи, когда онъ по ночамъ не давалъ другимъ спать, Луиза Ивановна рѣшила, что надобно его взять къ намъ въ большой домъ. Съ тѣхъ поръ онъ отданъ былъ въ мои руки, спалъ въ моей комнатѣ и, насколько я его любила, онъ на свой дѣтскій манеръ доказывалъ мнѣ свою привязанность. Я имъ жила, имъ наслаждалась, но никогда не отдалялась отъ той черты, по которой должно было итти воспитаніе, по взглядамъ его родителей. Иванъ Алексѣевичъ любилъ Колю, не хотѣлъ ни въ чемъ ему отказывать и давалъ ему все, къ чему онъ тянулся; тогда я уводила Колю изъ его комнаты. Даже при послѣобѣденномъ кофе, когда онъ хотѣлъ дать ему *canard* ²⁾ съ той же самой ложечки, съ которой самъ кушалъ, я старалась помѣшать этому,—дѣдушка былъ чахоточный,—Ив. А. и это сносилъ отъ меня... Ив. А., который такъ рѣдко, почти никогда, не смѣялся,—надъ выходками

¹⁾ О № 417.

²⁾ Кусочекъ сахара, пропитанный молокомъ, чаемъ, кофе.

Коли смѣялся до слезъ. Привязанность къ этому чудному ребенку была послѣднимъ свѣтлымъ лучемъ въ жизни дѣдушки» («Отрывки изъ воспоминаній», 30—31).

420. Письмо къ А. А. Краевскому.

29 мая 1845 г.
Москва.

Вчера отправилъ я къ вамъ черезъ Базунова ¹⁾, почтеннѣйшій Андрей Александровичъ, IV «Письмо объ изученіи природы» (Римъ); V скоро будетъ готово.

При немъ я посылаю статейку г. Кавелина ²⁾ о Синбирскомъ сборникѣ ³⁾; онъ проситъ сообщить, что готовъ прислать вамъ статью о *мѣстничествѣ*,—желаете ли? Да, сверхъ того, если вы помѣстите его разборъ, то прислать ему и за него гонораръ (я избираю это слово, какъ самое почетное по близости къ безкорыстнѣйшему въ мірѣ теченію, къ - - -).

Получили ли вы мое 3 письмо и мою повѣсть ⁴⁾? напечатаете ли послѣднюю? Я ѣду на дачу; это значитъ: примусь опять за работу. Если повѣсть пойдетъ, то я напишу къ ней еще главудругую. Напишите; адресъ тотъ же: въ Стар. Конюшенной, домъ Яковлева.

Пожалуйста, охраните хорошенько отъ кастрированія мое «письмо» о Римѣ: за это я напишу вамъ такого Бэкона, расправуламскаго. Да вотъ только не знаю, какъ быть со Спинозой: такой, право, былъ жидъ, хоть брось.

Вы, я полагаю, знаете, что Ив. Вас. Кирѣевскій сложилъ съ себя бремя «Москвитянина», и что онъ снова (не выходитъ) подъ дирекціей Погодина, который взялъ въ университетѣ отставку, получилъ пенсіонъ и *нанялся* читать исторію.

Не соблаговолите ли помѣстить опять статейку Водянскаго? онъ порывается.

Что Гр. и Коршъ вамъ еще ничего не прислали, это происходитъ оттого, что они очень заняты изданіемъ лекцій Крюкова; но статьи будутъ. Рѣдкина, еслибъ онъ былъ не въ офицерскихъ чинахъ, я велѣлъ бы наказать при полиціи: ничего не дѣлаетъ и все

¹⁾ Иванъ Васильевичъ, книгопродавецъ, у котораго помѣщалась контора «Отечественныхъ Записокъ».

²⁾ Константинъ Дмитріевичъ.

³⁾ Въ библиографической хроникѣ т. ХLI.

⁴⁾ «Кто виноватъ?»

мечтаетъ объ эротическихъ предметахъ; я, впрочемъ, надѣюсь и его заставить.

Кланяйтесь Бѣлинскому; мы вчера провожали Языкова и теперь ждемъ Панаева. Засимъ прощайте.

Весь вашъ А. Герценъ.

421. Письмо къ А. А. Краевскому.

12 іюня 1845.

Соколово.

Письмо Ваше, почтеннѣйшій Андрей Александровичъ, я получилъ въ 22 верстахъ отъ Москвы. Повѣсть я вамъ послалъ черезъ Базунова 1 мая. Заглавія ея я не помню, а подписалъ я подъ ней *Перхунувскій*; кажется, «*Похожденія одного учителя*». Если не получили, то спросите у Иванова. Также и «письмо» о Римѣ отправилъ.

«Письмо» о средневѣковой философіи готово; стараюсь теперь всѣми силами, чтобъ изложеніе новой философіи сдѣлать какъ можно популярнѣе: все обвиняютъ въ темнотѣ мои статьи. Тѣмъ болѣе постараюсь, что у меня образовался совершенно особый взглядъ: худъ ли, хорошъ ли, да судятъ читатели «От. Зап.»

Я теперь на превеликолѣпной дачѣ, гдѣ насъ навѣстилъ Некрасовъ ¹⁾, и занимаюсь съ утра до ночи: на меня вамъ пенять грѣхъ. Писать болѣе времени не имѣю, хотя его всегда довольно, чтобъ засвидѣтельствовать вамъ тѣ чувства... См. Квинтиліана ²⁾.

Весь вашъ А. Герценъ.

Статья Бѣлинскаго о «Тарантасѣ»—верхъ совершенства ³⁾.

422. Изъ „Дневника“.

1845. Іюнь.

С. Соколово.

19. Три мѣсяца пролежалъ новый журналъ, и ни одной строки не хотѣлось писать. Что же жизнь стала пуста? обстановка ея

¹⁾ Николай Алексѣевичъ.

²⁾ Знаменитый латинскій ораторъ I-го вѣка, авторъ перваго серьезнаго «руководства» къ краснорѣчію.

³⁾ Герценъ понялъ, что авторъ, разбирая повѣсть гр. В. А. Соллогуба, въ сущности написалъ полемическую статью противъ славянофиловъ.

безцвѣтна? нѣтъ. Но послѣднее время было тихо, о теоретическихъ занятіяхъ писать рѣдко хочется, да если и хочется—въ статьяхъ, а не здѣсь.

Продолжалъ писать статью объ исторіи философіи для «От. Зап.» и по этому поводу познакомился ближе съ Бэкономъ. Систематиковъ можно не читать, напр., Декарта; по самому короткому изложенію можно его знать отъ доски до доски (т. е. гуломъ); Бэконъ непремѣнно требуетъ изученія,—у него вовсе неожиданно встрѣчаете почти на каждой страницѣ поразительное новое и рѣзкое. Живя опять вдали отъ людей, они какъ-то становятся всякій разъ доступнѣе къ изученію, къ пониманію... объ этой темѣ послѣ.

423. Письмо къ А. А. Краевскому.

23 іюня 1845 г.
Соколово.

Писаніе ваше, почтеннѣйшій Андрей Александровичъ, я получилъ. Насчетъ повѣсти ¹⁾ я думаю вотъ какъ: если она не пригодится для двухъ будущихъ №, то вручите ее Бѣлинскому, а тотъ передастъ Некрасову въ альманахъ ²⁾. Мнѣ именно теперь не хочется ее продолжать. Насчетъ помѣщика Негрова вы можете успокоить: онъ рѣшительно сходитъ со сцены, отдавши Любу замужъ за учителя, и тутъ начинается совсѣмъ иная исторія; для меня повѣсть—рама для разныхъ скицовъ и кроки ³⁾.

Готово письмо о Бэконѣ и Декартѣ; мнѣ кажется, оно удачнѣе всѣхъ другихъ, и знаю одно, что тотъ взглядъ, который тутъ развитъ, не былъ такимъ образомъ развитъ ни въ одной изъ современныхъ исторій философіи. Досадно, что, при всемъ стараніи, невозможно еще болѣе опростить языкъ.

Замышляю я еще написать въ отдѣлѣ критики что-нибудь о Гумбольдтовѣ «Космосъ»; но если кто другой будетъ писать, вы помѣстите, ибо моя статья не помѣшается.

Я живу на превосходной дачѣ, которая плѣнила всѣхъ петербургскихъ гостей.

¹⁾ «Кто виноватъ?»

²⁾ «Петербургскій сборникъ».

³⁾ Schizzo (итал.) буквально—брызги; croquis (франц.)—первый набросокъ рисунка, повѣсти и пр.

Статья о «Тарантасѣ» читается всѣми съ восторгомъ; Бѣлинскій ею поднялся даже въ глазахъ нѣкоторыхъ враговъ,—о друзьяхъ и говорить ничего.

Авторъ статьи о Кантѣ исчезъ, а объ Аристофанѣ непременно общаются прислать.

Грановскій опять пролежалъ въ лихорадкѣ, но я не отчаиваюсь, т. е. въ отношеніи статьи.

Засимъ имѣю гоноръ пребыть

А. Герценъ.

Не забудьте приказать тиснуть по 50 экз. «Писемъ» объ естествовѣдѣніи.

424. Письмо къ Е. Б. Грановской.

(Лѣто 1845).

Мои глаза всегда готовы лицезрѣть Васъ, а Н. пишетъ, когда приготовлю, да и то одинъ. Сдѣлайте одолженіе отдайте поскорѣе письмоце сіе къ Рѣдкину, а если онъ отдастъ деньги 105, то оставьте ихъ у себя до приѣзда и сами мнѣ вручите. 105 руб. изъ вашихъ рукъ я приму за 1568 р.

Авдотѣ Яковлевнѣ ¹⁾ прыгаю деревянной куклой и отъ всей деревянной души жму руку.

Скажите Тимочкѣ ²⁾, чтобъ не забылъ доставить Рѣдкину.

Коршу мой зензухтъ ³⁾ его видѣть. ¹

◆◆ 1. А. Я. Панаева приѣзжала въ Москву съ мужемъ лѣтомъ 1845 г. Объ этомъ времени она оставила въ своихъ «воспоминаніяхъ» цѣлую главу, въ которой, какъ и вездѣ, многое перепутала, но сообщила и многое интересное. Она жила у Грановскихъ въ Москвѣ, нѣсколько разъ посѣтивъ Герценовъ въ Соколовѣ. Обстоятельства свиданій и встрѣчъ перепутаны до крайности, забыто даже, что Герценовъ она знала еще по Петербургу, и пр., но въ характеристикахъ и въ подробностяхъ, которыя запоминаются женщинами вообще лучше, находимъ кое-что любопытное. «Герценъ поражалъ меня блескомъ остроумія и неожиданными парадоксами въ своемъ разговорѣ. Смотри на него и на Грановскаго, я не знала,

¹⁾ Панаева.

²⁾ Т. Н. Грановскій.

³⁾ Sehnsucht—стремленіе.

кому отдать преимущество: кипучей живости и блеску остроумія Герцена или спокойной задумчивости и ясному уму Грановскаго». «Когда перешли въ гостиную, то хозяйка дома (Н. А—на—М. Л.) пригласила меня сѣсть возлѣ себя въ укромномъ уголкѣ, вдали отъ всѣхъ и своимъ плавнымъ, тихимъ голосомъ завела разговоръ о возвышенныхъ предметахъ, точно экзаменуя меня. Она прочитала мнѣ цѣлую лекцію о высокомъ назначеніи женщины... На другой день за обѣдомъ Грановскій спросилъ меня, какъ понравилась мнѣ жена Герцена? Я откровенно созналась, что нашла въ ней что-то неестественное, и мнѣ не понравилось слишкомъ явное ея самолюбіе, будто она стоитъ выше всѣхъ ее окружающихъ женщинъ... «Она—хорошая женщина, это все ей искусственно привито,—замѣтилъ Грановскій,—чрезмѣрными похвалами ея окружающихъ. Все это она сброситъ съ себя, когда будетъ имѣть столкновение съ людьми внѣ своего маленькаго кружка. Понятно, что она считаетъ себя выше другихъ женщинъ, если всѣ кругомъ стараются доказать ей, что она непогрѣшима во всѣхъ своихъ поступкахъ. А, вѣдь, это мѣшаетъ человѣку анализировать свои поступки. Мы знаемъ фактъ, гдѣ она поступила далеко не такъ, какъ рѣшились бы поступить многія женщины съ менѣе идеальнымъ взглядомъ на жизнь, а между тѣмъ окружающіе старались изъ этого факта выставить ее въ какомъ-то возвышенномъ свѣтѣ. Какъ же можно требовать отъ нея, чтобы она была естественна: скорѣе другіе виноваты въ этомъ недостаткѣ въ ней» («Русскіе писатели и артисты», 141—147).

Не легко придумать болѣе рѣзкій контрастъ, чѣмъ Панаева и Н. А—на. «Идеальность» второй была очень не по сердцу первой, совершенно не задумывавшейся ни надъ какими глубокомысленными вопросами. Кругъ женщинъ, вполне симпатичныхъ Панаевой,—à la М. Л. Огарева.

425. Письмо къ А. А. Краевскому.

Авг. 1845 г.
Соколово.

Пятое «письмо» совершенно готово и на дняхъ отправится къ Базунову для доставленія къ Вамъ, почтеннѣйшій Андрей Александровичъ, а если переписчикъ поспѣетъ, то я рукопись отдамъ Горбунову ¹⁾, который доставитъ это письмо. Шестое «письмо»

¹⁾ Кирилль Антоновичъ, художникъ.

также близко къ концу (въ немъ рѣчь о Локкѣ, Юмѣ и XVIII столѣтіи). Объ «Космосѣ» писать не буду: книга эта оказывается просто компиляціей,—жалъ на выписки тратить время.

Вы скоро получите отрывокъ изъ «Древней исторіи» покойнаго Крюкова, редакція Грановскаго и Корша; отрывокъ этотъ они препровождаютъ къ вамъ безденежно: помѣстите его поскорѣе. Въ началѣ будущаго года выйдетъ курсъ; не знаю, каковъ онъ будетъ весь, но то, что я читалъ, удивительно хорошо: мнѣ не случилось ничего подобнаго читать даже у нѣмцевъ.

Теперь, обращаясь къ вещественному капиталу, то есть не къ тому, о которомъ Полевой писалъ рѣчь ¹⁾, попрошу васъ вручить Горбунову 350 руб. асс., въ полученіи которыхъ онъ нарисуетъ вамъ расписку. Да кстати, увѣдомьте черезъ него или письмецомъ, сколько еще остается мнѣ получить.

Повѣсть рѣшительно не пишется; я паки совѣтую помѣстить ее отрывкомъ: въ подстрочномъ примѣчаніи можно сказать, что такой-то женится на такой-то. Если же вамъ очень не хочется ее помѣщать такъ, то фізіологъ Мажанди Петербурга ²⁾ подзываетъ ее въ свой альманахъ.

Здѣсь былъ Панаевъ ³⁾ и былъ у меня на дачѣ, и мы вмѣстѣ глубокомысленно пили Клико и запивали коньякомъ, причемъ я замѣтилъ, что европейскій воздухъ нисколько не испортилъ химическое сродство знаменитаго автора повѣстей съ горячительными прохладженіями.

Что за милая статья въ послѣднемъ № о Савельевѣ и славянахъ; прелесть да и только ⁴⁾. Представьте себѣ, что Шевыревъ, пользуясь каникулами, отростилъ себѣ брану и ходить въ шелковой рубахѣ, подпоясанной кушакомъ. И это дѣлаетъ не Аксаковъ, а человекъ съ сѣдиною, чуть не деканъ и пр.

Отпечатанные экзем. второй статьи получилъ. Жду экзем. четвертаго «письма».

Еще, быть можетъ, я пришлю къ вамъ статью одного натуралиста по части фізіологіи: должно полагать, что будетъ нѣчто очень хорошее.

¹⁾ Вѣроятно, намекъ на рецензію романа Э. В. Булгарина «Счастье лучше богатства» въ «Библ. для Чтенія».

²⁾ Псевдонимъ Н. А. Некрасова, выпустившаго подъ своей редакціей двѣ части сборника «Физиологія Петербурга». Мажанди—знаменитый франц. фізіологъ.

³⁾ Иванъ Ивановичъ.

⁴⁾ Критическій разборъ «Славянскаго сборника» Н. В. Савельева-Ростиславича въ XLI томѣ «Отечественныхъ Записокъ» 1845 г. написанъ Бѣлинскимъ.

Засимъ остаюсь усердный богомолецъ вашъ *А. Герценъ*.

Пожалуйста, не забудьте написать, сколько слѣдуетъ Кавелину получить за статейку: я готовъ отдать, но вы не написали сколько. А прогос, онъ на дняхъ бракосочетается и потому ему не до мѣстничества, а до другихъ болѣе современныхъ дѣлъ ¹⁾).

Переписчикъ у меня теперь славный, а опечатокъ таки довольно: въ будущемъ письмѣ я выставлю нѣсколько, совершенно измѣняющихъ смыслъ, и попрошу ихъ напечатать въ подстрочномъ замѣчаніи.

426. Письмо къ А. А. Краевскому.

Сент. 1845 г.

Почтеннѣйшій Андрей Александровичъ, вотъ вамъ еще два «письма». Отпечатанные экземпляры я получилъ; вы получите отъ меня письмо съ Горбуновымъ: я васъ попрошу ему теперь же вручить 350 руб. асс. въ счетъ моей поденщины.

Слѣдующее письмо будетъ о реализмѣ въ Англии, потомъ еще объ реализмѣ во Франціи въ XVIII. Симъ на 1845 годъ я и заключаю. Если вы желаете, то съ будущаго начну продолженіе этихъ писемъ, но ужъ тамъ пойдетъ рѣчь о Германіи.

Сдѣлайте одолженіе: воззрите троху на опечатки, главное—на тѣ, которыя мѣняютъ смыслъ,—объ остальныхъ мнѣ дѣла нѣтъ.

«Письма» мои здѣсь находятъ много доброжелателей. Я не знаю, можно ли живѣе изложить исторію философіи, да и въ такомъ видѣ, *кажется*, у насъ она не часто излагалась.

Что же съ повѣстью? Отдайте-ка мнѣ за нее 350 руб. асс., такъ ужъ я и поминать не буду. Я начинаю отъ души любить деньги; и эта любовь только перевѣшивается любовью ихъ тратить.

Рабъ вашъ *А. Герценъ*.

Какъ хорошо, что «Инвалидъ» желаетъ, чтобъ, по примѣру баварцевъ, никто не ѣздилъ въ лейпцигскій университетъ: онъ пре-скверный (зри «Инвал.» отъ 26 августа) ²⁾).

¹⁾ Кавелинъ женился на сестрѣ Е. Ф. Корша, Антонинѣ Федоровнѣ.

²⁾ Въ № 191 «Русскаго Инвалида» 1845 г. было напечатано: «Лейпцигскій университетъ, вслѣдствіе повелѣнія баварскаго короля, не можетъ быть посѣщаемъ ни однимъ баварцемъ. Желательно, чтобъ этому примѣру послѣдовали и прочіе германскіе владѣтели».

427. Письмо къ А. А. Краевскому.

16 окт. 1845 г.

Препровождаю вамъ, почтеннѣйшій Андрей Александровичъ, окончаніе «письма» о Бэконѣ и статью Кавелина о превосходной диссертациі Соловьева ¹⁾. Кавелинъ поручилъ сказать Вамъ, что за разборы онъ желалъ бы получать по сто ассиг. руб. съ листа, а потому напишите, что ему слѣдуетъ за эту статью и за прошлую (о Сборникѣ).

Повѣсть моя окончена и переписывается; вы ее можете помѣстить въ декабрьскую книжку. Прикажете ужъ и ее отпечатать особо 50 экз. Здѣсь она произвела фуроръ; не знаю, какъ у васъ.

Отдали ли вы Горбунову 350?

Повѣсть явится къ вамъ черезъ недѣлю.

Алек. Герценъ.

428. Письмо къ А. А. Краевскому.

Октяб. 24. 1845.

Москва.

Повѣсть я окончилъ, т. е. до женитьбы, и посылаю ее къ Вамъ, почтеннѣйшій Андрей Александровичъ, черезъ Бабунова. Я думаю мѣсяца черезъ два окончить и вторую часть, но для этого мнѣ предварительно необходимо узнать, какъ понравится публикѣ 1-я часть.

Весьма благодаренъ вамъ за то, что вы приняли на себя трудъ отдать Горбунову деньги.

Хотя я прежде и писалъ, но попрошу васъ приказать отпечатать и ея 50 эк.

Читали ли вы объявленіе объ удивительномъ «Москвитянинѣ ²⁾»?

Я написалъ небольшую статейку для некрасовскаго сборника ³⁾; не зная, какъ ее переслать, я попрошу позволенія вашего прислать ее на ваше имя. Если она ему покажется серьезною, пусть скажетъ,—

¹⁾ Разборъ диссертациі С. М. Соловьева «Объ отношеніяхъ Новгорода къ великимъ князьямъ» напечатанъ въ XLIII томѣ «Отеч. Записокъ» 1845 г.

²⁾ Текстъ этого курьезнаго объявленія объ изданіи журнала въ 1846 г. напечатанъ въ VIII т. «Жизни и трудовъ М. П. Погодина».

³⁾ «Капризы и раздумье».

и тогда ее обратимъ въ море, въ которое втекають труды наши, т. е. въ «Отеч. Записки».

Засимъ усердно кланяюсь.

Весь вашъ А. Герценъ.

У повѣсти попрошу заглавіе перемѣнить и поставить: «КТО ВИНОВАТЪ?» съ эпиграфомъ: «А дѣло оное предать суду божию и, почисливъ его оконченнымъ, передать при отношеніи въ архивъ».

«Протоколь уголовной палаты»

Вмѣсто подписи я поставилъ только букву *И*; такъ и прикажите напечатать.

429. Письмо къ А. А. Краевскому.

(Конецъ октября) 1845 г.

Извините меня, что я беспокою Васъ, почтеннѣйшій Андрей Александровичъ, просьбою передать тетрадку, здѣсь приложенную, Некрасову. Прочтите ее; если вы желаете, я такую же, т. е. въ томъ же родѣ, пришлю для «От. Зап.».

Ну, все ли рассказалъ Панаевъ или еще продолжаетъ сто и одинъ рассказъ о Москвѣ?

Слѣайте милость: ругните подлеца Булгарина за Распайля ¹⁾; ну, какъ это можно позволять себѣ ругать знаменитаго и великаго химика?! А Гречъ пишетъ, зачѣмъ нѣтъ тѣлесныхъ наказаній во Франціи ²⁾,—по глубокому чувству негодованія, что проѣхалъ всю Европу и нигдѣ ему не дали сотню розогъ; разумѣется, обидно.

Читали ли вы мою статейку «Умъ хорошо, а два лучше»? Я ее послалъ Бѣлинскому.

430. Письмо къ А. А. Краевскому.

27 ноября 1845.
Москва.

Я только что расположился творить панегирикъ удивительной точности вашей, почтеннѣйшій Андрей Александровичъ, какъ дол-

¹⁾ Его отзывъ о Распайлѣ помѣщенъ въ № 243 «Сѣверной Пчелы», (27 октября), въ статьѣ подъ заглавіемъ «Журнальная всякая всячина».

²⁾ «Парижское письмо» въ № 233 «Сѣверной Пчелы».

женъ былъ принять духовной камфоры для уменьшенія восторговъ, а именно: за что вы мнѣ не прислали 50 особыхъ экземпляровъ моего «письма» о схоластикѣ (которое едва ли не интереснѣе прочихъ)? А посему напоминаю съ просьбою.

Общанные отрывки изъ Бэкона ѣдутъ къ вамъ черезъ Базунова; я попрошу ихъ напечатать съ тѣмъ окончаніемъ письма о Декартѣ, которое еще не напечатано.

Письмо о Локкѣ, Юмѣ и энциклопедистахъ готово. Теперь вопросъ—и прошу отвѣчать откровенно. Самое живое изложеніе исторіи философіи не можетъ побѣдить нѣкоторую абстрактность языка, говоря о Спинозѣ, о Лейбницѣ, и потому я полагаю, что забастую на энциклопедистахъ и примусь за что-нибудь другое для «От. Зап.», или продолжать?—Пожалуйста, напишите.

Не забудьте черкнуть, сколько слѣдуетъ Кавелину за статью; я охотно отдамъ ему, а съ вами потомъ сочтемся.

Да вотъ еще просьба. Не знакомы ли Вы или Панаевъ съ гр. Толстымъ ¹⁾, который въ академіи? нельзя ли ему сказать, чтобы посовѣтовалъ Захарову ²⁾, писавшему пор. Грановскаго, быть поосторожнѣе? Онъ написалъ ко мнѣ грубое письмо, требуетъ 1500 руб. (т. е. ровно 1000 лишнюю) и грозитъ продать; да что же Гранов., натурщикъ что ли? Онъ, т. е. Захаровъ, черкесь и, вѣрно, за одно съ Шамилемъ. ¹

Жду теперь Анненкова ³⁾ портрета и собираюсь тогда писать ко всѣмъ знакомымъ.

Курсъ Гранов. начинается въ будущ. среду; вездѣ толки, крики pro и contra; партія «рубашка сверхъ портокъ» ⁴⁾ приумолкла, Шевыревъ выжилъ изъ ума, а Погодинъ—изъ тѣла.

Прощайте, не забудьте выслать статью или велѣть напечатать ее.

Весь вашъ *А. Герценъ.*

◆◆ 1. Въ это время Грановскій писалъ Н. Г. Фролову: «Жаль, что ты мало знаешь Герцена. Встрѣча и близкое знакомство съ такимъ человѣкомъ доставили бы тебѣ много радости. Это—одна изъ самыхъ чистыхъ, умныхъ и твердыхъ натуръ, какія мнѣ встрѣтились, несмотря на его наружное легкомысліе» («Грановскій», II, 420—421).

¹⁾ Федоръ Петровичъ, вице-президентъ академіи художествъ.

²⁾ Семень Логгиновичъ, художникъ-граверъ.

³⁾ Павелъ Васильевичъ.

⁴⁾ Славянофилы.

431. КТО ВИНОВАТЪ?

РОМАНЪ ВЪ ДВУХЪ ЧАСТЯХЪ.

«А случай сей за неоткрытіемъ виновныхъ предать волѣ божіей, дѣло же, почисливъ рѣшеннымъ, сдать въ архивъ».

Протоколъ.

Натальѣ Александровнѣ Герценъ,

въ знакъ глубокой симпатіи

Москва
1846.

отъ писавшаю.

«Кто виноватъ?» была первая повѣсть, которую я напечаталъ. Я началъ ее во время моей новгородской ссылки (въ 1841 г.) и окончилъ гораздо позже въ Москвѣ.

Правда, еще прежде я дѣлалъ опыты писать что-то въ родѣ повѣстей; но одна изъ нихъ не *написана*¹⁾, а другая—не *повѣсть*²⁾. Въ первое время моего переѣзда изъ Вятки во Владимір³⁾, мнѣ хотѣлось повѣстью смягчить укоряющее воспоминаніе, примириться

¹⁾ «Тамъ», или «Елена».

²⁾ «Записки одного молодого человѣка»,

³⁾ Невѣрно: повѣсть начата и закончена въ Вяткѣ и только отдѣлана во Владимірѣ.

съ собою и забросать цвѣтами одинъ женскій образъ ¹⁾, чтобъ на немъ не было видно слезъ ²⁾.

Разумѣется, что я не сладилъ съ своей задачей, и въ моей не оконченной повѣсти было бездна натянутого и, можетъ, двѣ-три порядочныя страницы. Одинъ изъ друзей моихъ ³⁾ въ послѣдствіи страдалъ меня, говоря: «Если ты не напишешь новой статьи, — я напечатаю твою повѣсть, она у меня!». По счастью, онъ не исполнилъ своей угрозы.

Въ концѣ 1840 г. были напечатаны въ «Отечественныхъ Запискахъ» отрывки изъ «Записокъ одного молодого человѣка»; «Городъ Малиновъ и малиновцы» ⁴⁾ нравились многимъ; что касается до остального, въ нихъ замѣтно сильное вліяніе гейневскихъ «Reisebilder».

Зато «Малиновъ» чуть не навлекъ мнѣ бѣдъ.

Одинъ вятскій совѣтникъ хотѣлъ жаловаться министру внутреннихъ дѣлъ и просить начальственной защиты, говоря, что лица чиновниковъ въ г. Малиновѣ до того похожи на почтенныхъ сослуживцевъ его, что отъ этого можетъ пострадать уваженіе къ нимъ отъ подчиненныхъ. Одинъ изъ моихъ вятскихъ знакомыхъ спрашивалъ, какія у него доказательства на то, что малиновцы — *пашквилъ* на вятичей. Совѣтникъ отвѣчалъ ему: «Тысячи! напри- мѣръ, *авкторъ* прямо говоритъ, что у жены директора гимназіи бальное платье брусничнаго цвѣта, — ну, развѣ не такъ?» Это дошло до директорши, — та взбѣсилась, да не на меня, а на совѣтника. «Что онъ слѣпъ или изъ ума шутитъ?—говорила она;—гдѣ онъ видѣлъ у меня платье брусничнаго цвѣта? у меня, дѣйствительно, было темное платье, но цвѣту *пансэ*» ⁵⁾. Этотъ оттѣнокъ въ колоритѣ сдѣлалъ мнѣ истинную услугу. Раздосадованный совѣтникъ бросилъ дѣло, а будь у директорши въ самомъ дѣлѣ платье брусничнаго цвѣта да напиши совѣтникъ, такъ въ тѣ прекрасныя времена брусничный цвѣтъ надѣлалъ бы мнѣ, навѣрное, больше вреда, чѣмъ брусничный сокъ Лариныхъ могъ повредить Онѣгину.

Успѣхъ «Малинова» заставилъ меня приняться за «Кто виновать?»

¹⁾ П. П. Медвѣдева.

²⁾ «Былое и думы», «Пол. Звѣз.» III, стр. 95—98 ^{о)}.—А. И. Г.

³⁾ Н. Х. Кетчеръ.

⁴⁾ «Патріархальные нравы города Малинова» въ «Еще изъ записокъ одного молодого человѣка».

⁵⁾ Pensée — сине-фіолетовый цвѣтъ, какъ въ трехцвѣтной фіалкѣ («Анютины глазки»).

Первую часть повѣсти я привезъ изъ Новгорода въ Москву. Она не понравилась московскимъ друзьямъ, и я бросилъ ее. Нѣсколько лѣтъ спустя мнѣніе объ ней измѣнилось, но я и не думалъ ни печатать, ни продолжать ее. Бѣлинскій взялъ у меня какъ-то потомъ рукопись, и съ своей способностью увлекаться онъ, совсѣмъ напротивъ, переоцѣнилъ повѣсть въ сто разъ больше ея достоинства и писалъ ко мнѣ: «Если бы я не цѣнилъ въ тебѣ чело-вѣка, такъ же много или еще и больше, нежели писателя, я, какъ Потемкинъ Фонъ-Визину послѣ представленія «Бригадира», ска-залъ бы тебѣ: умри, Герценъ!». Но Потемкинъ ошибся: Фонъ-Фи-зинъ не умеръ и потому написалъ «Недоросля». Я не хочу оши-баться и вѣрю, что послѣ «Кто виноватъ?» ты напишешь такую вещь, которая заставитъ всѣхъ сказать о тебѣ: «Правъ, собака! Давно бы ему приняться за повѣсти!». Вотъ тебѣ и комплиментъ, и посильный каламбуръ».

Цензура сдѣлала разныя урѣзыванія и вырѣзыванія; жаль что у меня нѣтъ ея обрѣзковъ. Нѣсколько выражений я вспомнилъ (они напечатаны курсивомъ) и даже цѣлую страницу (и то когда листъ былъ отпечатанъ, и прибавилъ его къ стр. 38). Это мѣсто мнѣ особенно памятно потому, что Бѣлинскій выходилъ изъ себя за то, что его не пропустили.

8 іюня 1859 года.
Park-House, Fulham.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

I.

Отставной генераль и учитель, опредѣляющійся къ мѣсту.

Дѣло шло къ вечеру. Алексѣй Абрамовичъ стоялъ на балконѣ; онъ еще не могъ прійти въ себя послѣ двухчасового послѣобѣден-наго сна; глаза его лѣниво раскрывались, и онъ время отъ времени зѣвалъ. Вошелъ слуга съ какимъ-то докладомъ, но Алексѣй Абра-мовичъ не считалъ нужнымъ его замѣтить, а слуга не смѣлъ по-тревожить барина. Такъ прошло минуты двѣ-три, по окончаніи ко-торыхъ Алексѣй Абрамовичъ спросилъ:

— Что ты?

— Покамѣстъ ваше превосходительство изволили почивать, учителя привезли изъ Москвы, котораго докторъ нанялъ

— А? (что собственно тутъ слѣдуетъ: вопросительный знакъ (?) или восклицательный (!),—обстоятельства не рѣшили).

— Я его провелъ въ комнату, гдѣ жилъ нѣмецъ, что изволили отпустить.

— А!

— Онъ просилъ сказать, когда изволите проснуться.

— Позови его.

И лицо Алексѣя Абрамовича сдѣлалось доблестнѣе и величественнѣе. Черезъ нѣсколько минутъ явился казачекъ и доложилъ;

— Учитель вошелъ-съ.

Алексѣй Абрамовичъ помолчалъ, потомъ, грозно взглянувъ на казачка, замѣтилъ:

— Что у тебя, у дурака, мука во рту, что-ли? мямлетъ, ничего не поймешь; впрочемъ,—прибавилъ, не дожидаясь повторенія:— позови учителя,—и тотчасъ сѣлъ.

Молодой человѣкъ, лѣтъ двадцати трехъ-четыреухъ, жиденькій, блѣдный, съ бѣлокурыми волосами и въ довольно узкомъ черномъ фракѣ, робко и смѣшавшись, явился на сцену.

— Здравствуйте, почтеннѣйшій! — сказалъ генералъ, благоклонно улыбаясь и не вставая съ мѣста.—Мой докторъ очень хорошо отзывался объ васъ; я надѣюсь, мы будемъ другъ другомъ довольны. Эй, Васька!—(при этомъ онъ свиснулъ)—что жъ ты стула не подаешь? Думаешь, учитель, такъ и не надо. У-у! когда васъ оболванишь и сдѣлаешь похожими на людей! Прошу покорно. У меня, почтеннѣйшій, сынъ-съ: мальчикъ добрый, со способностями, хочу его въ военную школу приготовить. По-французски онъ у меня говорить, по-нѣмецки не то, чтобъ говорилъ, а понимаетъ. Нѣмчура попался пьяный, не занимался имъ, да и, признаться, я больше его употреблялъ по хозяйству, — вотъ онъ жилъ въ той комнатѣ, что вамъ отвели; я прогналъ его. Скажу вамъ откровенно, мнѣ не нужно, чтобъ изъ моего сына вышелъ магистръ или филозофъ; однако, почтеннѣйшій, я хоть и, слава Богу, но двѣ тысячи пятьсотъ рублей платить даромъ не стану. Въ наше время, сами знаете, и для военной службы требуютъ всѣ эти грамматики, ариѳметики... Эй, Васька, позови Михайла Алексѣича!

Молодой человѣкъ все это время молчалъ, краснѣлъ, перебиралъ носовой платокъ и что-то собирался сказать; у него шумѣло въ ушахъ отъ прилива крови; онъ даже не вовсе отчетливо понималъ слова генерала, но чувствовалъ, что вся его рѣчь вмѣстѣ дѣлаетъ ощущеніе, похожее на то, когда рукою ведешь по моржовой кожѣ противъ шерсти. По окончаніи воззванія, онъ сказалъ:

— Принимая на себя обязанность быть учителемъ вашего сына, я поступлю, какъ совѣсть и честь... разумѣтся, насколько силы мои... впрочемъ, я употреблю всѣ старанія, чтобъ оправдать довѣріе ваше... вашего превосходительства.

Алексѣй Абрамовичъ перебилъ его:

— Мое превосходительство, любезнѣйшій, лишняго не потребуетъ. Главное—умѣнье заохотить ученика, этакъ, шутя,—понимаете? Вѣдь, вы кончили ученье?

— Какъ же, я кандидатъ.

— Это какой-то новый чинъ?

— Ученая степень.

— А, позвольте, здравствуютъ ваши родители?

— Живы-сь.

— Духовнаго званія?

— Отецъ мой уѣздный лѣкаръ.

— А вы по медицинской части шли?

— По физико-математическому отдѣленію.

— По-латынски знаете?

— Знаю-сь.

— Это совершенно не нужный языкъ; для докторовъ, конечно, нельзя же при больномъ говорить, что завтра ноги протянетъ; а намъ зачѣмъ? помилуйте!

Не знаемъ, долго ли бы продолжалась ученая бесѣда, если-бъ ее не перервалъ Михайло Алексѣевичъ, т. е. Миша, тринадцатилѣтній мальчикъ, здоровый, краснощекій, упитанный и загорѣвшій; онъ былъ въ курткѣ, изъ которой умѣлъ въ нѣсколько мѣсяцевъ вырасти, и имѣлъ видъ, общій всѣмъ дюжиннымъ дѣтямъ богатыхъ помѣщиковъ, живущихъ въ деревнѣ.

— Вотъ твой новый учитель,—сказалъ отецъ.

Миша шаркнулъ ногой.

— Слушайся его, учись хорошенько; я не жалѣю денегъ,—твое дѣло умѣть пользоваться.

Учитель всталъ, учтиво поклонился Мишѣ, взялъ его за руку и съ кроткимъ, добрымъ видомъ сказалъ ему, что онъ сдѣлаетъ все, что можетъ, чтобъ облегчить занятія и заохотить ученика.

— Онъ уже кой-чему учился,—замѣтилъ Алексѣй Абрамовичъ,—у мадамы, живущей у насъ; да попъ училъ его—онъ изъ семинаристовъ, нашъ сельскій попъ. Да вотъ, милый мой, пожалуйте, позкаменуйте его.

Учитель сконфузился, долго думалъ, что бы спросить и, наконецъ, сказалъ:

— Скажите мнѣ, какой предметъ грамматики?

Миша посмотрѣлъ по сторонамъ, поковырялъ въ носу и сказалъ:

— Россійской грамматики?

— Все равно, вообще.

— Этому мы не учились.

— Что жъ съ тобой дѣлалъ попъ?—спросилъ грозно отецъ.

— Мы, папашенька, учили россійскую грамматику до дѣпричастія и катехизецъ до таинствъ.

— Ну, поди, покажи классную комнату... Позвольте, какъ васъ зовутъ?

— Дмитріемъ,—отвѣчалъ учитель, покраснѣвъ.

— А по батюшкѣ?

— Яковлевымъ.

— А, Дмитрій Яковличъ! Вы не хотите ли съ дороги перекусить, выпить водки?

— Я ничего не пью, кромѣ воды.

Притворяется! — подумалъ Алексѣй Абрамовичъ, чрезвычайно уставшій послѣ продолжительнаго ученаго разговора, и отправился въ диванную къ женѣ. Глафира Львовна почивала на мягкомъ турецкомъ диванѣ. Она была въ блузѣ: это ея любимый костюмъ, потому что всѣ другіе тѣснятъ ее; пятнадцать лѣтъ истинно-благополучнаго замужества пошли ей въ прокъ: она сдѣлалась *Adansonia boabab*¹⁾ между бабами. Тяжелые шаги Алексиса разбудили ее, она подняла заспанную голову, долго не могла прійти въ себя и, какъ будто отъ роду въ первый разъ уснула не во-время, съ удивленіемъ воскликнула: «Ахъ, Боже мой! вѣдь я, кажется, уснула? представь себѣ!». Алексѣй Абрамовичъ началъ ей отдавать отчетъ о своихъ трудахъ на пользу воспитанія Миши. Глафира Львовна была всѣмъ довольна и, слушая, выпила полграфина квасу. Она всякій день передъ чаемъ кушала квась.

Не всѣ бѣдствія кончились для Дмитрія Яковлевича аудіенціей у Алексѣя Абрамовича. Онъ сидѣлъ, молчаливый и взволнованный, въ классной комнатѣ, когда вошелъ человекъ и позвалъ его къ чаю. Доселѣ нашъ кандидатъ никогда не бывалъ въ дамскомъ обществѣ; онъ питалъ къ женщинамъ какое-то инстинктуальное чувство уваженія; онѣ были для него окружены какимъ-то нимбомъ; видѣлъ онъ ихъ или на бульварѣ разряженными и неприступными, или на сценѣ московскаго театра,—тамъ всѣ уродливыя фигурантки казались ему какими-то феями, богинями. Теперь его поведутъ представлять къ генеральшѣ, да и одна ли она будетъ? Миша успѣлъ ему разказать, что у него есть сестра, что у нихъ живетъ ма-

¹⁾ Баобабъ.

дамъ да еще какая-то Любонька. Дмитрію Яковлевичу чрезвычайно хотѣлось узнать, какихъ лѣтъ сестра Миши; онъ начиналъ объ этомъ рѣчь раза три, но не смѣлъ спросить, боясь, что лицо его вспыхнетъ. «Что-же? пойдѣте-съ!» сказалъ Миша, который съ дипломатіей, общей всѣмъ избалованнымъ дѣтямъ, былъ чрезвычайно скромнень и тихъ съ постороннимъ. Кандидатъ, вставая, не надѣялся, поднимуть ли его ноги; руки у него охолодѣли и были влажны; онъ сдѣлалъ гигантское усиліе и вошелъ, близкій къ обмороку, въ диванную; въ дверяхъ онъ почтительно раскланялся съ горничной, которая выходила, поставивъ самоваръ. «Глаша,—сказалъ Алексѣй Абрамовичъ,—рекомендую тебѣ—новый менторъ нашего Миши». Кандидатъ кланялся.—«Мнѣ очень пріятно»,—сказала Глафира Львовна, прищуривая немного глаза и съ нѣкоторой ужимкой, когда-то ей удававшейся. «Нашъ Миша такъ давно нуждается въ хорошемъ наставникѣ; мы, право, не знаемъ, какъ благодарить Семена Иваныча, что онъ доставилъ намъ ваше знакомство. Прошу васъ быть безъ церемоніи; не угодно ли вамъ сѣсть?»

— Я все сидѣлъ, — пробормоталъ кандидатъ, истинно самъ не зная, что говорилъ.

— Не стоя же ѣхать въ кибиткѣ!—сострилъ генералъ.

Это замѣчаніе окончательно погубило кандидата; онъ взялъ стулъ, поставилъ его какъ-то эксцентрически и чуть не сѣлъ возлѣ. Глазъ онъ боялся поднять, какъ пуцаго несчастія: можетъ быть, дѣвицы тутъ въ комнатѣ, а если онъ ихъ увидитъ, надобно будетъ поклониться,—какъ? Да и потомъ, вѣроятно, надобно было, не сядившись, поклониться.

— Я тебѣ говорилъ,—сказалъ генералъ вполслова:—красная дѣвка!

— Le pauvre, il est à plaindre ¹⁾,—замѣтила Глафира Львовна, кусая жирныя губки свои.

Глафирѣ Львовнѣ съ перваго взгляда понравился молодой человекъ; на это было много причинъ. Во-первыхъ, Дмитрій Яковлевичъ съ своими большими голубыми глазами былъ *интересенъ*; во-вторыхъ, Глафира Львовна, кромѣ мужа, лакеевъ, кучеровъ да старика-доктора, рѣдко видала мужчинъ, особенно молодыхъ, интересныхъ, а она, какъ мы послѣ узнаемъ, любила, по старой памяти, платоническія мечтанія; въ-третьихъ, женщины въ нѣкоторыхъ лѣтахъ смотрятъ на юношу съ тѣмъ непонятно-влекущимъ чувствомъ, съ которымъ обыкновенно мужчины смотрятъ на дѣвушекъ. Кажется, будто это чувство близко къ состраданію,—чув-

¹⁾ Бѣдняжка, онъ достоинъ жалости.

ство материнское,—что имъ хочется взять подъ свое покровительство беззащитныхъ, робкихъ, неопытныхъ, ихъ полелѣять, полазгать, отогрѣть; это кажется всего болѣе имъ самимъ. Мы не такъ думаемъ объ этомъ, но не считаемъ нужнымъ говорить, какъ думаемъ... Глафира Львовна сама подвинула чашку чая кандидату; онъ сильно прихлебнулъ и обварилъ языкъ и нѣбо, но скрылъ боль съ твердостію Муція Сцеволы. Это обстоятельство было благотворно для него: сдѣлалось отвлеченіе, и онъ немного успокоился. Мало-помалу онъ начиналъ даже подымать взоры. На диванѣ сидѣла Глафира Львовна; передъ нею стоялъ столъ, и на столѣ огромный самоваръ возвышался, какъ какой-нибудь памятникъ въ индійскомъ вкусѣ. Противъ нея—для того ли, чтобъ пользоваться милымъ *vis-à-vis*, или для того, чтобъ не видать его за самоваромъ, вдавливалъ въ полъ какія-то дѣдовскія кресла Алексѣй Абрамовичъ; за креслами стояла дѣвочка лѣтъ десяти съ чрезвычайно глупымъ видомъ; она выглядывала изъ-за отца на учителя,—ея-то трепеталъ храбрый кандидатъ! Миша находился также за столомъ; передъ нимъ миска кислаго молока и толстый ломоть рѣшетнаго хлѣба. Изъ-подъ салфетки, покрывавшей столъ и на которой былъ представленъ довольно удачно городъ Ярославль, оканчивавшійся со всѣхъ сторонъ медвѣдемъ, высывалась голова легавой собаки; драпри скатерти придавали ей какой-то египетскій видъ: она неподвижно вперила два жиромъ заплывшіе глаза на кандидата. У окна, на креслахъ, съ чулкомъ въ рукѣ, — миниатюрная старушка, съ веселымъ и сморщившимся видомъ, съ повисшими бровями и тоненькими блѣдными губами. Дмитрій Яковлевичъ догадался, что это французенка-мадамъ. У дверей стоялъ казачокъ, подававшій Алексѣю Абрамовичу трубку; возлѣ него — горничная, въ ситцевомъ платьѣ съ холстинными рукавами, ожидавшая съ какимъ-то благоговѣніемъ, когда господа окончатъ церемонію питія чая. Еще одно лицо присутствовало въ комнатѣ, но его Дмитрій Яковлевичъ не видалъ, потому что оно было наклонено къ пьальцамъ. Лицо это принадлежало бѣдной дѣвушкѣ, которую воспитывалъ добрый генераль. Разговоръ долго не клеился, да и когда склеился, былъ какъ-то отрывчатъ, не нуженъ и утомителенъ для кандидата.

Странно было это столкновеніе жизни бѣднаго молодого человека съ жизнью семьи богатаго помѣщика. Кажется, эти люди могли бы преспокойно прожить до скончанія вѣка, не встрѣчаясь. Вышло иначе. Жизнь нѣжнаго и добраго юноши, образованнаго и занимающагося, какимъ-то диссонансомъ попала въ тучную жизнь Алексѣя Абрамовича и его супруги, попала, какъ птица въ клѣтку. Все для него измѣнилось, и можно было предвидѣть, что такая

перемѣна не пройдетъ безъ вліянія на молодого человѣка, совершенно не знавшаго практическаго міра и неопытнаго.

Но что это за люди такіе: генеральская чета, блаженствующая и преуспѣвающая въ счастливомъ бракѣ, этотъ юноша, назначенный для выдѣлки Мишиной головы настолько, чтобъ мальчикъ могъ вступить въ какую-нибудь военную школу?

Я не умѣю писать повѣстей: можетъ быть, именно потому мнѣ кажется вовсе не излишнимъ предварить рассказъ нѣкоторыми біографическими свѣдѣніями, почерпнутыми изъ очень вѣрныхъ источниковъ. Разумѣется, сначала:

II.

Біографія ихъ превосходительствъ.

Алексѣй Абрамовичъ Негровъ, отставной генераль-майоръ и кавалеръ, толстый, рослый мужчина, который послѣ прорѣзыванія зубовъ ни разу не былъ боленъ, могъ служить лучшимъ и полнѣйшимъ опроверженіемъ на знаменитую книгу Гуфеланда: «О продолженіи жизни человѣческой»¹⁾. Онъ велъ себя діаметрально противоположно каждой страницѣ Гуфеланда—и былъ постоянно здоровъ и румянь. Одно правило гігіены онъ исполнялъ только: не разстраивалъ пищеваренія умственными напряжениями, и, можетъ быть, этимъ стяжалъ право не исполнять всего остального. Строгій, вспыльчивый, жесткій на словахъ и часто жестокой на дѣлѣ,—нельзя сказать, чтобъ онъ былъ злой человѣкъ отъ природы; всматриваясь въ рѣзкія черты его лица, не совсѣмъ уничтожившіяся въ мясныхъ дополненіяхъ, въ густыя черныя брови и блестящіе глаза, можно было предполагать, что жизнь задавила въ немъ не одну возможность. Четырнадцать лѣтъ, воспитанный природой и французской, жившей у его сестры, Негровъ былъ записанъ въ кавалерійскій полкъ; получая много денегъ отъ нѣжной родительницы, онъ лихо проводилъ свою юность. Послѣ кампаніи 1812 года Негровъ былъ произведенъ въ полковники; полковничьи эполеты упали на его плечи тогда, когда они уже были утомлены мундиромъ; военная служба начала ему надоѣдать, и онъ, прослуживъ еще немного и «находя себя неспособнымъ продолжать службу по разстроенному здоровью», вышелъ въ отставку и вынесъ съ собою генераль-

¹⁾ Кристофъ-Вильгельмъ, знаменитый врачъ, оставившій книгу: «Искусство продленія человѣческой жизни».

майорскій чинъ, усы, на которыхъ оставались всегда частицы всѣхъ блюдъ обѣда, и мундиръ для важныхъ оказій. Когда отставной генераль поселился въ Москвѣ, которая успѣла уже обстроиться послѣ пожара, передъ нимъ открылась безконечная анфилада дней и ночей однообразной, пустой, скучной жизни. Не было занятія, которымъ бы онъ умѣлъ или хотѣлъ заняться. Онъ ѣздилъ изъ дома въ домъ, поигрывалъ въ карты, обѣдалъ въ клубѣ, являлся въ первомъ ряду кресель въ театрѣ, являлся на балахъ, завелъ себѣ двѣ четверки прекрасныхъ лошадей, холилъ ихъ, училъ денно и ношно, словами и руками, кучера, самъ преподавалъ тайну конной ѣзды фореитору... Такъ прошло года полтора; наконецъ, кучеръ выучился сидѣть на козлахъ и держать вожжи, фореиторъ выучился сидѣть на лошади и держать поводья; скука одолѣла Негрова: онъ рѣшился ѣхать въ деревню хозяйничать и увѣрилъ себя, что эта побѣдка необходима для предупрежденія важнаго разстройства. Теорія его хозяйства была очень не сложна: онъ бранилъ всякій день приказчика и старосту, ѣздилъ за зайцами и ходилъ съ ружьемъ. Не привыкнувъ рѣшительно ни къ какому рода дѣламъ, онъ не могъ сообразить, что надобно дѣлать, занимался мелочами и былъ доволенъ. Приказчикъ и староста были, съ своей стороны, довольны бариномъ; о крестьянахъ не знаю, — они молчали. Мѣсяца черезъ два въ окнахъ господскаго дома показалось прекрасное женское личико, сначала съ заплаканными, а потомъ просто съ прелестными голубыми глазками. Въ то же самое время староста, нисколько не занимавшійся устройствомъ деревни, доложилъ генералу, что у Емельки Барбаша изба плоха и что не со- благоволить ли Алексѣй Абрамовичъ явить отеческую милость и дать ему лѣску. Лѣсъ былъ пунктъ помѣшателства Алексѣя Абрамовича; онъ себѣ на гробъ не скоро бы рѣшился срубить дерево. Но... но тутъ онъ былъ въ добромъ расположеніи духа и разрѣшилъ Барбашу нарубить лѣса на избу, прибавивъ старостѣ: «да ты смотри у меня, рыжая бестія, за лишнее бревно—ребро». Староста сбѣгалъ на заднее крыльцо и доложилъ Авдотѣ Емельяновнѣ о полномъ успѣхѣ, называя ее «матушкой и заступницей». Бѣдняжка краснѣла до ушей, но въ простотѣ душевной была рада, что у отца ея будетъ новая изба. Мы находимъ въ источникахъ нашихъ мало свѣдѣній о завоеваніи голубыхъ глазокъ, о встрѣчѣ съ ними. Я полагаю потому, что эти побѣды дѣлаются очень просто.

Какъ бы то ни было, сельская жизнь, въ свою очередь, надѣла Негрову; онъ увѣрилъ себя, что исправилъ всѣ недостатки по хозяйству и, что еще важнѣе, далъ такое прочное направленіе ему, что оно и безъ него итти можетъ, и снова собрался ѣхать

въ Москву. Багажъ его увеличился: прелестные голубые глазки, кормилица и грудной ребенокъ ѣхали въ особой бричкѣ. Въ Москвѣ ихъ помѣстили въ комнатку, окнами на дворъ. Алексѣй Абрамовичъ любилъ малютку, любилъ Дуню, любилъ и кормилицу, — это было эротическое время для него! У кормилицы испортилось молоко, ей было безпрестанно тошно,—докторъ сказалъ, что она не можетъ больше кормить, Генераль жалѣлъ объ ней: «вотъ попалась рѣдкая кормилица: здоровая, и усердная такая, услужливая, да молоко испортилось... досадно!» Онъ подарилъ ей двадцать рублей, отдалъ повойникъ и отпустилъ для излѣченія къ мужу. Докторъ совѣтовалъ замѣнить кормилицу козю,—такъ было и сдѣлано; коза была здорова. Алексѣй Абрамовичъ ее очень любилъ, давалъ ей собственно-ручно черный хлѣбъ, ласкалъ ее, но это не помѣшало ей выкормить ребенка. Образъ жизни Алексѣя Абрамовича былъ такой же, какъ и въ первый прѣздъ; онъ его выдержалъ около двухъ лѣтъ, но далѣе не могъ. Совершенное отсутствіе всякой опредѣленной дѣятельности невыносимо для человѣка. Животное полагаетъ, что все его дѣло—жить, а человѣкъ жизнь принимаетъ только за возможность что-нибудь дѣлать. Хотя Негровъ съ двѣнадцати часовъ утра и до двѣнадцати ночи не бывалъ дома, но все же скука мучила его; на этотъ разъ ему и въ деревню не хотѣлось; долго владѣла имъ хандра, и онъ чаще обыкновеннаго давалъ отеческіе уроки своему камердинеру и рѣже бывалъ въ комнатѣ, окнами на дворъ. Однажды, воротившись домой, онъ былъ въ необыкновенномъ состояніи духа, чѣмъ-то занятъ, то морщилъ лобъ, то улыбался, долго ходилъ по комнатѣ и вдругъ остановился съ рѣшительнымъ видомъ. Замѣтно было, что дѣло внутри кончено. Кончивъ внутри, онъ свиснулъ,—свиснулъ такъ, что спавшій въ другой комнатѣ на стулѣ казачекъ отъ испуга бросился въ противоположную сторону отъ двери и насилу послѣ сыскалъ. «Спишь все, щенокъ»,—сказалъ ему генераль, но не тѣмъ громовымъ голосомъ, послѣ котораго сыпались отеческія молніи, а такъ, просто:—«поди, скажи Мишкѣ, чтобъ завтра чѣмъ-свѣтъ сходилъ къ нѣмцу-каретнику и привелъ бы». Видно было, что камень свалился съ плечъ Алексѣя Абрамовича, и онъ могъ спокойно опочить. На другой день, въ восемь часовъ утра, явился каретникъ-нѣмецъ, а въ десять окончилась конференція, въ которой съ большою отчетливостью и подробностью заказана была четверомѣстная карета, кузовъ мордоре-фонсе ¹⁾, гербы золотые, сукно пунцовое, басонъ кокликко ²⁾, парадные козлы о трехъ чехлахъ.

¹⁾ Темно-красный цвѣтъ съ металлическимъ отгѣнкомъ.

²⁾ Coquelicot—красный макъ.

Четверомѣстная карета значила ни болѣе, ни менѣе, какъ то, что Алексѣй Абрамовичъ намѣренъ жениться. Намѣреніе это вскорѣ обнаружилось недвусмысленными признаками. Послѣ каретника онъ позвалъ своего камердинера. Въ длинной и довольно нескладной рѣчи (что служить къ большой чести Негрова, ибо въ этой нескладности отразилось что-то въ родѣ того, что у людей называется совѣстью) онъ изъявилъ ему свое благоволеніе за его службу и намѣреніе наградить его примѣрнымъ образомъ. Камердинеръ понять не могъ, куда это идетъ, кланялся и говорилъ учтивости въ родѣ: «кому-жъ намъ угождать, какъ не вашему превосходительству; вы—наши отцы, мы—ваши дѣти». Комедія эта надоѣла Негрову, и онъ въ краткихъ, но выразительныхъ словахъ объявилъ камердинеру, что онъ позволяетъ ему жениться на Дунькѣ. Камердинеръ былъ человѣкъ умный и сметливый, и хотя его очень поразила нежданная милость господина, но въ два мига онъ расчелъ всѣ шансы pro и contra и попросилъ у него поцѣловать ручку за милость и неоставленіе. Нареченный женихъ понялъ, въ чемъ дѣло; однакожъ, думалъ онъ, не совѣмъ же въ немилость посылаютъ Авдотью Емельяновну, коли за меня отдають; я человѣкъ близкій, да и бариновъ нравъ знаю; да и жену имѣтъ такую красивую—недурно. Словомъ, женихъ былъ доволенъ. Дуня удивилась, когда ей сказали, что она — невѣста, поплакала, погрустила, но, имѣя въ виду или ѣхать въ деревню къ отцу, или быть женою камердинера, рѣшилась на послѣднее. Она безъ содроганія не могла вздумать, какъ бывшія ея подруги будутъ надъ ней смѣяться; она вспомнила, что и во времена ея силы и славы онѣ ее называли вполслуха *полубарыней*. Черезъ недѣлю ихъ обвѣнчали. Когда, на другое утро, молодые пришли съ конфетами на поклонъ, Негровъ былъ веселъ, подарилъ новобрачнымъ сто рублей и сказалъ повару, случившемуся тутъ: «учись, осель; люблю наказать, люблю и жаловать; служилъ хорошо, и ему хорошо». Поваръ отвѣчалъ: «слушаю, ваше превосходительство», но на лицѣ его было написано: «вѣдь, я же тебя надуваю при всякой покупкѣ, а ужъ тебѣ меня не провести: дурака нашелъ!». Вечеромъ камердинеръ давалъ пиръ, отъ котораго вся дворня двое сутокъ пахла водкой, и, точно, онъ расходовъ не пожалѣлъ. Была, впрочемъ, мучительно-горькая минута для бѣдной Дуни: маленькую кроватку, а съ нею и дочь ея велѣли перенести въ людскую. Дуня безмѣрно любила малютку всей простой, безыскусственной душой. Алексѣя Абрамовича она боялась, остальные въ домѣ боялись ея, хотя она никогда никому не сдѣлала вреда; обреченная томному гаремному заключенію, она всю потребность любви, всѣ требованія на жизнь сосредоточила въ ре-

бенкѣ; не развитая, подавленная душа ея была хороша; она, безотвѣтная и робкая, не оскорблявшаяся никакими оскорбленіями, не могла вынести одного,—жестокаго обращенія Негрова съ ребенкомъ, когда тотъ чуть ему надоѣдалъ; она поднимала тогда голосъ, дрожащій не страхомъ, а гнѣвомъ; она презирала въ эти минуты Негрова, и Негровъ, какъ будто чувствуя свое унижительное положеніе, осыпалъ ее бранью и уходилъ, хлопнувъ дверью. Когда надобно было перенести кроватку, Дуня заперла дверь и, рыдая, бросилась на колѣни передъ иконой, схватила ручонку дочери и крестила ее. «Молись,—говорила она:— молись, мое сокровище, идемъ мы съ тобою мыкать горе; Пресвятая Богородица, заступись за ребенка малаго, ни въ чемъ невиноватаго... А я-то, глупая, думала: вырастетъ она, моя сердечная, будетъ ѣздить въ каретѣ да ходить въ шелковыхъ платьяхъ; изъ-за двери въ щелочку посмотрѣла бы на тебя тогда; спряталась бы отъ тебя, мой ангелъ,—что тебѣ за мать крестьянка!.. А теперь вырастешь ты не на радость себѣ: сдѣлають тебя, пожалуй, прачкой новой барыни, и ручки-то твои мыломъ объѣсть... Господи, Боже мой! чѣмъ предъ Тобой согрѣшилъ младенецъ?»... И Дуня, рыдая, бросилась на полъ; сердце ея раздиралось на части; испуганная малютка уцѣпилась за нее руками, плакала и смотрѣла на нее такими глазами, какъ будто все понимала... Черезъ часъ кроватка была въ людской, и Алексѣй Абрамовичъ приказалъ камердинеру приучать ребенка называть себя «тятей».

Но кто же счастливая избранная? Въ Москвѣ есть особая *varietas* ¹⁾ рода человѣческаго; мы говоримъ о тѣхъ полубогатыхъ дворянскихъ домахъ, которыхъ обитатели совершенно сошли со сцены и скромно проживаютъ цѣлыми поколѣніями по разнымъ переулкамъ; однообразный порядокъ и какое-то затаенное озлобленіе противъ всего новаго составляетъ главный характеръ обитателей этихъ домовъ, глубоко стоящихъ на дворѣ съ покривившимися колоннами и не чистыми сѣнями; они воображаютъ себя представителями нашего національнаго быта, потому что имъ «квасъ нуженъ, какъ воздухъ», потому что они въ саняхъ ѣздятъ, какъ въ каретѣ, берутъ за собой двухъ лакеевъ и цѣлый годъ живутъ на запасахъ, привозимыхъ изъ Пензы и Симбирска. Въ одномъ изъ такихъ домовъ жила графиня Мавра Ильинична. Нѣкогда она кружилась въ вихрѣ аристократіи, была кокетка, хороша собой, была при дворѣ, любезничала съ Кантемиромъ, и онъ писалъ ей въ альбомъ силлабическимъ размѣромъ мадригалъ, «сирѣчь виршную

1) Разновидность.

хвалебницу», въ которой одинъ стихъ оканчивался словами: «богиня Минерва», а другой рифмующей стихъ — словами: «толь протерва». Но отъ природы чрезвычайно холодная и надменная своей красотой, она отказывала женихамъ, ожидая какой-то блестящей партіи. Между тѣмъ, отецъ ея умеръ, а братъ, управлявшій нераздѣльнымъ имѣніемъ, лѣтъ въ десять пропилъ и проигралъ почти все достояніе. Столичная жизнь стала слишкомъ дорога; надобно было жить скромнѣе. Когда графиня вполнѣ поняла затруднительное положеніе свое, ей было за тридцать лѣтъ, и она разомъ открыла двѣ ужасныя вещи: состояніе разстроено, а молодость миновала. Тутъ она сдѣлала нѣсколько отчаянныхъ опытовъ выйти замужъ,—они не удались; тогда, запрятавъ страшную злобу внутри своей груди, она переселилась въ Москву, говоря, что ей шумъ большого свѣта опротивѣлъ и что она ищетъ одного покоя. Сначала въ Москвѣ ее носили на рукахъ, считали за особенную рекомендацію на свѣтское значеніе ѣздить къ графинѣ, но мало-помалу желчный языкъ ея и нестерпимая надменность отучили отъ ея дома почти всѣхъ. Брошенная, оставленная всѣми, старая дѣва еще болѣе исполнилась негодованіемъ и ненавистью, окружила себя разными приживающими старухами, полунабожными и полубродячими, собирала сплетни со всѣхъ концовъ города, ужасалась развратному вѣку и ставила себѣ въ высокое достоинство свое безконечное дѣвство. Графъ-братецъ, окончательно промотавшій свое имѣніе, для поправки состоянія рѣшился на геройскій подвигъ для того времени, — женился на купеческой дочери, четыре года ежедневно упрекалъ ее происхожденіемъ, проигралъ до копѣйки приданое, согналъ ее со двора, опился и умеръ. Годъ спустя умерла и жена, оставивъ послѣ себя пятилѣтнюю дочь безъ всякаго состоянія. Мавра Ильинична взяла ее къ себѣ на воспитаніе. Мудрено сказать, что побудило ее къ этому: фамильная гордость, участіе къ ребенку или ненависть къ брату,—какъ бы то ни было, жизнь маленькой дѣвочки была некрасива: она была лишена всѣхъ радостей своего возраста, застрашена, запугана, притѣснена. Эгоизмъ старухъ-дѣвицъ ужасенъ: онъ хочетъ выместить на всемъ окружающемъ пробѣлы, оставшіяся въ ихъ вымороженномъ сердцѣ. Безотрадно и скучно подростала маленькая графиня; по несчастію, она не принадлежала къ тѣмъ натурамъ, которыя развиваются отъ внѣшняго гнета; начавъ приходить въ сознаніе, она нашла въ себѣ два сильныя чувства: непреодолимое желаніе внѣшнихъ удовольствій и сильную ненависть къ образу жизни тетки. Оба чувства были простительны. Мавра Ильинична не только не доставляла племянницѣ никакого разсѣянія, но убивала претщательно всѣ удовольствія

и невинныя наслажденія, которыя она сама находила; она думала, что жизнь молодой дѣвушки только для того и назначена, чтобъ читать ей вслухъ, когда она спитъ, и ходить за нею остальное время; она хотѣла поглотить всю юность ея, высосать всѣ свѣжіе соки души ея въ благодарность за воспитаніе, котораго она ей не давала, но которымъ упрекала ее ежеминутно. Время шло. Графиня сдѣлалась невѣстой, и весьма невѣстой,—ей было уже двадцать три года. Она чувствовала вполнѣ тягостную скуку и однообразіе своего положенія, и все существо ея вертѣлось около одной мысли— вырваться изъ ада теткина дома. Могила казалась ей лучше; она пила уксусъ, чтобъ получить чахотку, но онъ не помогаль ей; она хотѣла итти въ монастырь, но въ ней не было довольно рѣшимости. Вскорѣ мысли ея приняли другой оборотъ. Старинныя французскіе романы, которые она, не знаю какъ, открыла въ теткинскомъ гардеробѣ, пояснили ей, что есть, кромѣ смерти и монастыря, значительныя утѣшенія; она оставила Адамову голову и начала придумывать голову живую, съ усами и кудрями. Тысячи романическихъ картинъ мучили ее и день, и ночь; она сочиняла себѣ цѣлыя повѣсти: онъ ее увозитъ, ихъ преслѣдуютъ, «любить имъ не велятъ», раздаются выстрѣлы... «Ты моя навѣки!» говоритъ онъ, сжимая пистолетъ, и проч. На эту тему съ безчисленными вариациями сводились всѣ мечты, всѣ помыслы ея, всѣ сновидѣнія, и бѣдная съ ужасомъ просыпалась каждое утро, видя, что никто ее не увозитъ, никто не говоритъ: «ты моя навѣки», — и тяжело подымалась ея грудь, и слезы лились на ея подушки, и она съ какимъ-то отчаяніемъ пила, по приказу тетки, сыворотку, и еще съ большимъ — шнуровалась потомъ, зная, что некому любоваться на ея станъ. Такое состояніе духа не могло быть вполнѣ побѣждено сывороткой, а вело прямо къ сентиментальности и экзальтаціи. Графиня начала покровительствовать всѣхъ горничныхъ и прижимать къ сердцу засаленныхъ дѣтей кучера, — періодъ, послѣ котораго дѣвушкѣ или тотчасъ надобно итти замужъ, или начать нюхать табакъ, любить кошекъ и стриженныхъ собаченокъ и не принадлежать ни къ мужескому, ни къ женскому полу. По счастью, на долю графини выпало первое. Она была недурна собой, и въ эту именно эпоху должна была поразить нашего героя: *зовущее* всего существа ея, ея томные глаза, ея неровно подымающая грудь побѣдили Негрова. Онъ увидѣлъ ее разъ у Стараго Вознесенья,— и судьба его жизни была рѣшена. Генеральъ вспомнилъ корнетскіе годы, началъ искать всевозможныхъ случаевъ увидѣть графиню, ждалъ часы цѣлыя на паперти и нѣсколько конфузился, когда изъ допотопной кареты, тащимой высокими, тощими клячами, потеряв-

шими способность умереть, вытаскивали два лакея старую графиню съ видомъ вороны въ чепчикѣ и мѣшали выпрыгнуть молодой графинѣ съ видомъ центифольной розы. У генерала была въ Москвѣ двоюродная сестра... У кого есть въ Москвѣ двоюродная сестра, осѣдлая и довольно богатая, тотъ можетъ жениться почти на всякой невѣстѣ, если онъ имѣетъ чинъ и деньги, а она не имѣетъ еще жениха. Генераль ввѣрилъ свою тайну кузинѣ, та приняла истинно сестринское участие. Мѣсяца два бѣдная пропадала отъ скуки, и вдругъ, какъ съ неба, свалилось сватовство. Она тотчасъ послала дрожки за женой одного титулярнаго совѣтника. Титулярная совѣтница пріѣхала; кухня выгнала изъ ближней комнаты горничныхъ, чтобъ никто не могъ подслушать. Черезъ часъ времени титулярная совѣтница съ раскраснѣвшимъ лицомъ выбѣжала отъ кухни и, наскоро рассказавъ въ дѣвичьей, въ чемъ дѣло, бросилась со двора. На другой день утромъ, въ девять часовъ, двоюродная сестра сердилась на неаккуратность титулярной совѣтницы, которая хотѣла быть въ одиннадцать часовъ и еще не приходила; наконецъ, желанная гостя явилась, и съ нею другая особа, въ чепчикѣ; словомъ, дѣло кипѣло съ необычайною быстротою и съ достоюльнымъ порядкомъ. У графини въ домѣ начались исподволь важныя перемѣны: съ оконъ сняли шторы изъ равендука и велѣли вымыть, замки было велѣно вычистить кирпичемъ съ квасомъ (суррогатъ уксуса); въ передней, гдѣ ужасно пахло кожей, оттого что четыре лакея шили подтяжки, выставили зимнюю раму. Оставленная всѣми, Мавра Ильинична была въ восхищеніи, что за ея племянницу сватается генераль да еще пребогатый; но, храня свое достоинство, она едва снизошла до позволенія начать сватовство. Однажды утромъ графиня приказала племянницѣ одѣться повнимательнѣе, открыть больше шею, и сама осматривала ее съ ногъ до головы.

— Да для чего это, татап, вы мнѣ приказываете одѣваться? развѣ будутъ гости?

— Не твое дѣло, душечка, — отвѣчала графиня, но добрымъ, привѣтливымъ голосомъ.

Кисейное платье племянницы чуть не вспыхнуло отъ огня, пробѣжавшаго по ея жиламъ; она догадывалась, подозрѣвала, не смѣла вѣрить, не смѣла не вѣрить... Она должна была выйти на воздухъ, чтобъ не задохнуться. Въ сѣняхъ горничныя донесли ей, что сегодня ждуть генерала, что генераль этотъ сватается за нее... Вдругъ вѣхала карета.

— Палашка, я умру, я умираю!—говорила молодая графиня.

— И, полноте, ваше сіятельство, кто жъ умираетъ, когда сва-

таются, да еще такіе женихи... Я, вотъ, всегда говорила: нашей графинѣ быть за генераломъ,— извольте всѣхъ спросить.

Чье перо въ состояніи описать все, что перечувствовала бѣдная дѣвушка во время *показа и смотра!*.. Когда она нѣсколько пришла въ себя, первое, что поразило ее, это—фракъ Алексѣя Абрамовича: она такъ твердо вѣрила въ его мундиръ и эполеты... Впрочемъ, Негровъ и безъ мундира могъ тогда еще нравиться; хотя ему было подъ сорокъ, но, благодаря доброму здоровью, онъ сохранилъ себя удивительно, и отъ природы не слишкомъ рѣчистый, онъ имѣлъ ту развязность, которую имѣютъ всѣ военные, особенно служившіе въ кавалеріи; остальные недостатки, какіе могла въ немъ открыть невѣста, богато искупались прекрасными усами, щегольски отдѣланными на тотъ разъ. Свадьба ладилась. Черезъ недѣлю послѣ смотра, графиню Мавру Ильиничну явились поздравлять ея знакомые: люди, которые считались давно умершими, выползли изъ своихъ норъ, гдѣ они лѣтъ тридцать упорно сражались со смертью и не сдались, гдѣ они лѣтъ тридцать капризничали и собирали деньги, хилые, разбитые параличемъ, съ удушьемъ и глухотой. Графиня всѣмъ говорила одно: «Новость эта меня удивила не меньше васъ; я и не думала свою Коко такъ рано отдавать замужъ: дитя еще; ну да, батюшка, божья воля! Человѣкъ онъ солидный и честный, отцомъ можетъ служить ей: она такъ неопытна. А генеральство его и богатство—не важная вещь: и черезъ золото слезы текутъ. Да и нечего сказать, я вкусила плодъ благочестиваго воспитанія моего (при этомъ она прикладывала къ глазамъ платокъ); истинно, что дѣлаетъ воспитаніе! Можно ли было ждать отъ такого отца развращеннаго—царство ему небесное—и отъ купчихи такого дѣтища? Не повѣрите: вѣдь, она съ нимъ четырехъ словъ не молвила, а я только посовѣтовала, а она, моя голубушка, хоть бы слово противъ: если вамъ, татап, угодно, говорить, такъ я, говорить, охотно пойду, говорить...» — Это истинно рѣдкая дѣвица въ нашъ развращенный вѣкъ!—отвѣчали на разные манеры знакомые и друзья Мавры Ильиничны, и потомъ начинались сплетни и безсовѣстное черненіе чужихъ репутаций. Словомъ, немного прошло времени, какъ къ пышно убранной квартирѣ цугъ вороныхъ лошадей привезъ въ четверомѣстной каретѣ мордоре-фонсе генерала Негрова, одѣтаго въ мундиръ съ ментикомъ, и супругу его Глафиру Львовну Негрову, въ вѣнчальномъ платьѣ изъ воздуха съ лентами. Хоръ пѣвчихъ, парадные шаферы, плошки, музыка, золото, блескъ, духи встрѣтили молодую; вся дворня стояла въ сѣняхъ, добиваясь увидѣть молодыхъ,—камердинерова жена въ томъ числѣ; ея мужъ, какъ высшій сановникъ передней, распоряжался въ кабинетѣ и спальнѣ. Такого

богатства графиня никогда не видала вблизи, и все это—ея, и самъ генералъ ея, и молодая была счастлива отъ маленькаго пальца на ногѣ до конца длиннѣйшаго волоса въ косѣ: такъ или иначе, мечты ея сбылись.

Спустя нѣсколько недѣль послѣ свадьбы Глафира Львовна, цвѣтущая, какъ развернувшійся кактусъ, въ бѣломъ пеньюарѣ, обшитомъ широкими кружевами, наливала утромъ чай; супругъ ея, въ позолоченномъ халатѣ изъ тармаламы и съ огромнымъ янтаремъ въ зубахъ, лежалъ на кушеткѣ и думалъ, какую заказать коляску къ Святой: желтую или синюю; хорошо бы желтую, однако, и синюю не дурно. Глафиру Львовну также что-то очень занимало; она забыла чайникъ и *мечтательно* склонила голову на руку; иногда румянецъ пробѣгалъ по ея щекамъ, иногда она показывала явное безпокойство. Наконецъ, мужъ замѣтилъ необыкновенное расположение ея и сказалъ:

— Ты что-то не въ духѣ, Глашенька; нездоровится, что ли, тебѣ?

— Нѣтъ, я здорова, — отвѣчала она, и при этомъ подняла глаза къ нему съ видомъ челоуѣка, просящаго помощи.

— Какъ хочешь, а что-нибудь да есть у тебя на умѣ.

Глафира Львовна встала, подошла къ мужу, обняла его и сказала голосомъ трагической актрисы:

— Алексисъ, дай слово, что ты исполнишь мою просьбу!

Алексисъ началъ удивляться:

— Посмотримъ, посмотримъ,—отвѣчалъ онъ.

— Нѣтъ, Алексисъ, поклянись исполнить мою просьбу могой твоей матери.

Онъ вынулъ чубукъ изо рта и посмотрѣлъ на нее съ изумленіемъ.

— Глашенька, я не люблю такихъ дальнихъ обходовъ; я солдатъ: что могу—сдѣлаю, только скажи мнѣ просто.

Она спрятала лицо на его груди и пропищала въ слезахъ:

— Я все знаю, Алексисъ, и прощаю тебя. Я знаю, у тебѣ есть дочь, дочь преступной любви... Я понимаю неопытность, пылкость юности (Любонькѣ было три года!). Алексисъ, она твоя, я ее видѣла: у ней твой носъ, твой затылокъ... О, я ее люблю! пусть она будетъ моей дочерью; позволь мнѣ взять ее, воспитать... и дай мнѣ слово, что не будешь мстить, преслѣдовать тѣхъ, отъ кого я узнала. Другъ мой, я обожаю твою дочь; позволь же, не отринь моей просьбы! — И слезы текли обильнымъ ручьемъ по тармаламѣ халата.

Его превосходительство растерялся и сконфузился до высо-

чайшей степени и прежде, нежели успѣлъ прійти въ себя, жена вынудила его дать позволеніе и поклясться могилой матери, прахомъ отца, счастиемъ ихъ будущихъ дѣтей, именемъ ихъ любви, что не возьметъ назадъ своего позволенія и не будетъ доискиваться, какъ она узнала. Разжалованная въ дворовыя, малютка снова была произведена въ барышни, и кровать опять переѣхала въ бель-этажъ. Любоньку, которую сначала отучили отца звать отцомъ, начали отучать теперь звать мать—матерью: хотѣли ее вырастить въ мысли, что Дуня—ея кормилица. Глафира Львовна сама купила въ магазинѣ на Кузнецкомъ Мосту дѣтское платье, разодѣла Любоньку, какъ куклу, потомъ прижала ее къ сердцу и заплакала. «Сиротка», говорила она ей: «у тебя нѣтъ папаши, нѣтъ мамы, я тебѣ буду все... Папаша твой тамъ!—и она указала на небо.—«Папа съ крылышками»—пролепеталъ ребенокъ, и Глафира Львовна вдвое заплакала, восклицая: «о, небесная простота!». А дѣло было очень просто: на потолокѣ, по давнопрошедшей модѣ, былъ представленъ амуръ, дрыгавшій ногами и крыльями и завязывавшій какой-то бантъ у чернаго желѣзнаго крюка, на которомъ висѣла люстра. — Дуня была на верху счастья; она на Глафиру Львовну смотрѣла, какъ на ангела; ея благодарность была безъ малѣйшей примѣси какого бы то ни было непріязненнаго чувства; она даже не обижалась тѣмъ, что дочь отучали быть дочерью; она видѣла ее въ кружевахъ, она видѣла ее въ барскихъ покояхъ и только говорила: «да отчего это моя Любонька уродилась такая хорошая? кажись, ей и нельзя надѣть другого платица; красавица будетъ!» Дуня обходила всѣ монастыри и вездѣ служила заздравные молебны о доброй барынѣ.

Многіе сочтутъ эксъ-графиню героиней. Я полагаю, что ея поступокъ самъ въ себѣ былъ величайшею необдуманностью, — по крайней мѣрѣ, равною необдуманности выйти замужъ за человѣка, о которомъ она только и знала, что онъ мужчина и генералъ. Причина, очевидно, — романическая экзальтація, предпочитающая всему на свѣтѣ трагическія сцены, самопожертвованія, натянуто благородные поступки. Справедливость требуетъ присовокупить, что Глафира Львовна не имѣла при этомъ никакой хитрой мысли, ни даже тщеславія; она сама не знала, для чего она хотѣла воспитывать Любоньку: ей нравилась патетическая сторона этого дѣла. Алексѣй Абрамовичъ, позволивъ однажды, нашель очень естественнымъ странное положеніе ребенка и не далъ даже себѣ труда подумать, хорошо или худо онъ сдѣлалъ, согласившись на это... Въ самомъ дѣлѣ, хорошо или худо онъ сдѣлалъ? Можно многое сказать и за, и противъ. Кто считаетъ высшей цѣлью жизни человѣ-

ческой развитіе, во что бы оно ни стало, какія бы оно послѣдствія ни привело,—тотъ будетъ со стороны Глафиры Львовны. Кто счѣтаетъ высшей цѣлью жизни счастье, довольство, въ какомъ бы кругу оно ни было и на счетъ чего бы оно ни досталось,—тотъ будетъ противъ нея. Любонька въ людской, если-бъ и узнала со временемъ о своемъ рожденіи, понятія ея были бы такъ тѣсны, душа спала бы такимъ непробуднымъ сномъ, что изъ этого ничего бы не вышло; вѣроятно, Алексѣй Абрамовичъ, чтобы вполне примириться съ совѣстью, далъ бы ей отпускную и, можетъ быть, тысячу-другую приданаго; она была бы при своихъ понятіяхъ чрезвычайно счастлива, вышла бы замужъ за купца третьей гильдіи, носила бы шелковый платокъ на макушкѣ, пила бы по двѣнадцати чашекъ цвѣточнаго чаю и народила бы цѣлую семью купчиковъ; иногда приходила бы она въ гости къ дворечихѣ Негрова и видѣла бы съ удовольствіемъ, какъ на нее съ завистью смотрятъ ея бывшія подруги. Такъ она могла бы прожить до ста лѣтъ и надѣяться, что сто извозчичихъ дрожекъ проводятъ ее на Ваганьковское кладбище. Любонька въ гостиню — совѣмъ иное дѣло: какъ бы глупо ее ни воспитывали, она получала возможность образоваться; самая даль отъ грубыхъ понятій людской — своего рода воспитаніе. Съ тѣмъ вмѣстѣ она должна была понять всю несообразную нелѣпость своего положенія; оскорбленія, слезы, горести ждали ее въ бель-этажѣ, и все это вмѣстѣ способствовало бы дальнѣйшему развитію духа, а, можетъ быть, съ тѣмъ вмѣстѣ, развитію чахотки. Итакъ, выбирайте сами, хорошо или худо сдѣлала m-me Негрова.

Брачная жизнь Алексѣя Абрамовича потекла, какъ по маслу; на всѣхъ каретныхъ гуляньяхъ являлась его четверня и блестящій экипажъ, и пышущая счастьемъ чета въ этомъ экипажѣ. Ихъ навѣрное можно было встрѣтить и въ Сокольникахъ 1-го мая, и въ Дворцовомъ саду въ Вознесенье, и на Прѣсненскихъ прудахъ въ Духовъ день, и на Тверскомъ бульварѣ почти всякій день. Зимой ѣздили они въ собраніе, давали обѣды, имѣли абонированную ложу. Но страшное однообразіе убиваетъ московскія гулянья: какъ было въ прошломъ году, такъ въ нынѣшнемъ и въ будущемъ; какъ тогда съ вами встрѣтился толстый купецъ въ великолѣпномъ кафтанѣ съ чернозубой женой, увѣшанной всякими драгоцѣнными, такъ и нынче непременно встрѣтится—только кафтанъ постарше, борода побѣлѣе, зубы у жены почернѣе, — а все встрѣтится; какъ тогда встрѣтился хватъ съ убійственными усами и въ шутовскомъ сюртукѣ, такъ и нынче встрѣтится, нѣсколько исхудалый; какъ тогда водили на гуляньѣ подагрика, покрытаго нюхательнымъ табакомъ,

такъ и нынче его поведутъ... Отъ одного этого можно запереться у себя въ комнатѣ. Алексѣй Абрамовичъ былъ человѣкъ выносливый, однако, силы человѣческія сочтены: дольше десяти лѣтъ онъ не могъ протянуть: надоѣло и ему, и Глашѣ. Въ это десятилѣтіе у нихъ родились сынъ и дочь, и они начали тяжелѣть не по днямъ, а по часамъ; одѣваться не хотѣлось имъ больше, и они начали дѣлаться домосѣдами и—не знаю, какъ и для чего, а полагаю, больше для всесовершеннѣйшаго покоя—рѣшили ѣхать на житье въ деревню. Это случилось года четыре прежде ученаго разговора генерала съ Дмитріемъ Яковлевичемъ.

III.

Біографія Дмитрія Яковлевича.

Разумѣется, біографія бѣднаго молодого человѣка не можетъ имѣть той занимательности, какъ біографія Алексѣя Абрамовича съ домочадцами. Мы должны изъ міра каретъ мордоре-фонсе перейти въ міръ, гдѣ заботятся о завтрашнемъ обѣдѣ, изъ Москвы переѣхать въ дальній губернскій городъ, да и въ немъ не останавливаться на единственной мощеной улицѣ, по которой иногда можно ѣздить и на которой живетъ аристократія, а удалиться въ одинъ изъ не мощеныхъ переулковъ, по которымъ почти никогда нельзя ни ходить, ни ѣздить, и тамъ отыскать почернѣвшій, перекосившійся домикъ о трехъ окнахъ,—домикъ уѣзднаго лѣкаря Круциферскаго, скромно стоящій между почернѣвшими и перекосившимися своими товарищами. Всѣ эти домики скоро развалятся, замѣстятся новыми, и никто объ нихъ не помянетъ; а между тѣмъ, во всѣхъ нихъ развивалась жизнь, кипѣли страсти, поколѣнія смѣнялись поколѣніями, и обо всѣхъ этихъ существованіяхъ столько извѣстно, сколько о дикихъ въ Австраліи, какъ будто они челоувѣчествомъ оставлены внѣ закона и не признаны имъ. Но вотъ домикъ, который мы искали. Въ немъ лѣтъ тридцать жилъ добрый, честный старикъ съ своей женою. Жизнь его была постоянною битвою со всевозможными нуждами и лишеніями; правда, онъ вышелъ довольно побѣдоносно, т. е. не умеръ съ голода, не застрѣлился съ отчаянія, но побѣда досталась не даромъ: въ пятьдесятъ лѣтъ онъ былъ и сѣдъ, и худъ, и морщины покрыли его лицо, а природа одарила его богатымъ запасомъ силъ и здоровья. Не бур-

ные порывы, не страсти, не грозные перевороты истощили это тѣло и придали ему видъ преждевременной дряхлости, а непрерывная, тяжелая, мелкая оскорбительная борьба съ нуждою, дума о завтрашнемъ днѣ, жизнь, проведенная въ недостаткахъ и заботахъ. Въ этихъ низменныхъ сферахъ общественной жизни душа вянетъ, сохнетъ въ вѣчномъ безпокойствѣ, забываетъ о томъ, что у нея есть крылья, и, вѣчно наклоненная къ землѣ, не подымаетъ взора къ солнцу. Жизнь лѣкаря Круциферскаго была огромнымъ продолжительнымъ геройскимъ подвигомъ на не освѣщенномъ поприщѣ, награда—насущенный хлѣбъ въ настоящемъ и надежда не имѣть его въ будущемъ. Онъ учился на казенный счетъ въ московскомъ университетѣ и, выпущенный лѣкаремъ, прежде назначенія женился на нѣмкѣ, дочери какого-то провизора; приданое ея, сверхъ доброй и самоотверженной души, сверхъ любви, которую она, по нѣмецкому обычаю, сохранила на всю жизнь, состояло изъ нѣсколькихъ платьевъ, пропитанныхъ запахомъ розоваго масла съ ребарбаромъ. Страстно влюбленному студенту въ голову не приходило, что онъ не имѣетъ права ни на любовь, ни на семейное счастье, что и для этихъ правъ есть свой цензъ, въ родѣ французскаго электоральнаго ценза. Черезъ нѣсколько дней послѣ свадьбы его назначили полковымъ лѣкаремъ въ дѣйствующую армію. Восемь лѣтъ номадной жизни вынесъ онъ, на девятый усталъ и началъ просить постоянного мѣста. Ему дали одну изъ открывшихся ваканцій. И Круциферскій потащился съ женой и дѣтьми съ одного края Россіи въ другой и поселился въ губернскомъ городѣ NN. Сначала онъ имѣлъ кой-какую практику. Хотя сановники и помѣщики въ губернскихъ городахъ предпочитаютъ лѣчиться у нѣмцевъ, но, по счастью, нѣмца (кромѣ часовщика) подъ рукой не находилось. Это былъ счастливѣйшій періодъ жизни Круциферскаго; тогда онъ купилъ свой домикъ о трехъ окнахъ, а Маргарита Карловна сюрпризомъ мужу, ко дню Іакова, брата Господня, ночью обила старый диванъ и кресла ситцемъ, купленнымъ на деньги, собранныя по копѣйкѣ. Ситецъ былъ превосходный; на диванѣ Авраамъ три раза изгонялъ Агарь съ Измаиломъ на полъ, а Сара грозилась; на креслахъ съ правой стороны были ноги Авраама, Агари, Измаила и Сары, а съ лѣвой—ихъ головы. Но эта счастливая эпоха не долго продолжалась. Одинъ богатый помѣщикъ, село котораго было подъ самымъ городомъ, привезъ съ собою домашнего доктора, отбившаго всю практику у Круциферскаго. Молодой докторъ былъ мастеръ лѣчить женскія болѣзни; паціентки были отъ него безъ ума; лѣчилъ онъ отъ всего півяками и краснорѣчиво доказывалъ, что не только всѣ болѣзни—воспаленіе, но и жизнь есть не что иное,

какъ воспаленіе матеріи; о Круциферскомъ онъ отзывался съ убійственнымъ снисхожденіемъ; словомъ, онъ вошелъ въ моду. Весь городъ шилъ ему по канвѣ подушки и кисеты, сувениры и сюрпризы, а о старомъ лѣкарѣ старались забыть. Правда, купцы и духовные остались вѣрными Круциферскому, но купцы никогда не бывали больны,—всегда, слава Богу, здоровы,—а когда и случалось прихворнуть, то по собственному усмотрѣнію терлись и мазались въ банѣ всякой дрянью,—скипидаромъ, дегтемъ, муравьинымъ спиртомъ—и всегда выздоравливали или умирали черезъ нѣсколько дней. Въ обоихъ случаяхъ Круциферскому не приходилось ничего дѣлать, а смерть падала на его счетъ, и молодой докторъ всякій разъ говорилъ дамамъ: «странная вещь, вѣдь Яковъ Ивановичъ очень хорошо знаетъ свое дѣло, а какъ не догадался употребить *t—gae opii Sydenhamii* капель X, *solutum in aqua distillata* ¹⁾, да не поставилъ подъ ложечку 45 пявокъ; вѣдь, человѣкъ то бы былъ живъ». Слыша латинскія слова, сама губернаторша вѣрила, что человѣкъ бы былъ живъ. Итакъ, мало-по-малу Круциферскій былъ сведенъ на одно жалованье: оно состояло, кажется, изъ четырехсотъ рублей; у него было пять человѣкъ дѣтей; жизнь становилась тяжелѣе и тяжелѣе. Яковъ Ивановичъ не зналъ, какъ прокормиться; scarlatina указала ему выходъ: трое изъ дѣтей умерли другъ за другомъ, остались старшая дочь и меньшой сынъ. Мальчикъ, кажется, избѣгнулъ смерти и болѣзни своею чрезвычайною слабостью: онъ родился преждевременно и былъ не болѣе, какъ живъ; слабый, худой, хилый и нервный, онъ иногда бывалъ не боленъ, но никогда не былъ здоровъ. Несчастія этого ребенка начались прежде его рожденія. Въ то время, какъ Маргарита Карловна была тяжела имъ, надъ ними готово было разразиться ужасное несчастье. Губернаторъ возненавидѣлъ Круциферскаго за то, что онъ не далъ свидѣтельства о естественной смерти застрѣленному кучеру одного помѣщика ²⁾. Яковъ Ивановичъ былъ на вершокъ отъ гибели и съ какой-то кроткой геройской грустью самоотверженно ждалъ страшнаго удара,—ударъ прошелъ мимо головы его. Въ это тревожное время непрерывныхъ слезъ родился Митя,—единственный наказанный въ дѣлѣ о найденномъ тѣлѣ кучера. Дитя это было идоломъ Маргариты Карловны: чѣмъ болѣзненнѣе, чѣмъ слабѣе оно казалось, тѣмъ упорнѣе хотѣла мать сохранить его; она, кажется, дѣлилась съ нимъ своей силой, любовь оживляла его и исторгла его у смерти. Она будто чувствовала, что онъ останется у нихъ одинъ,—опора, на-

¹⁾ Сиденгэмовой настойки опія 10 капель въ дистиллированной водѣ.

²⁾ Эти строки были выпущены цензурой.—А. И. Г.

дежда, утѣшеніе. А что же случилось съ его сестрой? Ей было лѣтъ семнадцать, когда въ NN. стоялъ пѣхотный полкъ; когда онъ ушелъ, ушла и лѣкарская дочь съ какимъ-то подпоручикомъ; черезъ годъ писала она изъ Кіева, просила прощенья и благословенія и извѣщала, что подпоручикъ женился на ней; черезъ годъ еще писала она изъ Кишинева, что мужъ ее оставилъ, что она съ ребенкомъ въ крайности. Отецъ послалъ ей двадцать пять рублей. Послѣ этого, не было объ ней и вѣсти. Когда Митя подросъ, его отдали въ гимназію; онъ учился хорошо; вѣчно застѣнчивый, кроткій и тихій, онъ былъ даже любимъ инспекторомъ, который считалъ не вовсе сообразнымъ съ своей должностью любить дѣтей. Отецъ хотѣлъ послѣ курса записать его въ канцелярію гражданскаго губернатора, въ чемъ ему обѣщаль протезировать секретарь, у котораго онъ лѣчилъ безвозмездно дѣтей, вѣчно золотушныхъ. Вдругъ Митѣ открылась другая дорога. Какой-то ¹⁾ меценатъ и тайный совѣтникъ проѣзжалъ по городу NN., отправляясь изъ деревни въ Москву ²⁾. Директоръ гимназіи, имѣвшій талантъ узнавать ясно приближеніе тайныхъ совѣтниковъ, тотчасъ отправился просить удостоительной чести посѣщенія вертограда и разсадника отечественнаго просвѣщенія. Меценату не хотѣлось, но онъ любилъ радушные приемы и съ тѣмъ вмѣстѣ почтительные. Директоръ, въ мундирѣ и подерживая шляпой шпау, объяснилъ меценату подробно, отчего стѣны сыры и лѣстница покривилась (хотя меценату до этого дѣла не было); ученики были развернуты правильной колонной; учителя, сильно причесанные и съ крѣпко повязанными галстуками, озабоченно ходили, глазами показывали что-то ученикамъ и сторожу, всею манерою потерявшемуся. Учитель физики просилъ позволенія ея превосходительства убить кролика подъ колпакомъ пневматической машины и юлубя лейденской банкой. Меценатъ просилъ ихъ пощадить, причемъ директоръ, тронутый, посмотрѣлъ на встѣхъ учителей и на встѣхъ учениковъ, какъ бы говоря: «Величіе всегда сопровождается кротостью». Голубь и кроликъ послѣ этого жили въ залавкѣ у сторожа до самаго акта, когда неумолимый учитель, все-таки, къ большому удовольствію всею юрода, принесъ ихъ на жертву наукѣ и образованію. Затѣмъ одинъ изъ учениковъ вышелъ впередъ, и учитель французскаго языка спросилъ его: «Не имѣетъ ли онъ имѣ что-нибудь сказать по поводу высокаго посѣщенія разсадника наукъ?» Ученикъ тотчасъ же началъ на какомъ-то франко-

¹⁾ Отсюда начинается стр. 38—А, о которой Герценъ говорить въ предисловіи 1859 г. и которая продолжена страницю 38—В.

²⁾ Эти строки были выпущены цензурой.—А. И. Г.

церковномъ нарѣчїи: «Команъ пувоннъ ну поверъ анфанъ ремер-сїеръ лилюстръ визитеръ» ¹⁾).

Глядя по сторонамъ во время этой кельто-славянской рѣчи, меценатъ обратилъ какъ-то вниманіе на болѣзненный и нѣжный видъ Мити, подозвалъ его къ себѣ, поговорилъ, приласкалъ. Директоръ сказалъ, что это отличнѣйшій ученикъ, что онъ пошелъ бы далеко, но что отецъ его не имѣетъ, чѣмъ содержать его въ Москвѣ и пр. Меценатъ былъ меценатъ и сказалъ Митѣ, что черезъ мѣсяць или два поѣдетъ его управитель, что, если его родители согласны, то онъ ему прикажетъ привезти Митю въ Москву и велитъ дать ему уголокъ въ своемъ флигелѣ вмѣстѣ съ дѣтьми управляющаго. Директоръ послалъ тотчасъ письмоводителя за Яковомъ Ивановичемъ. Яковъ Ивановичъ засталъ мецената, уже садящагося въ дормезъ. Старикъ былъ истинно тронутъ, плакалъ, какъ дитя, и простымъ языкомъ, нескладнымъ и прерывистымъ, благодарилъ его. Меценатъ указалъ на плечистаго мужчину, помогавшаго застегивать какіе-то ремешки у кареты, и сказалъ: «Это мой управляющій, онъ повезетъ вашего сына», сказалъ и уѣхалъ, милостиво улыбнувшись. Черезъ мѣсяць кибитка съ бубенчиками выѣхала изъ воротъ Круциферскаго, и въ ней сидѣлъ Митя, покрытый одѣяломъ, увязанный и одѣтый матерью, и приказчикъ въ одномъ сюртукѣ, потому что онъ въ пути предпочиталъ нагрѣваться изнутри. И вотъ отъ чего зависитъ судьба человѣка! Если-бъ меценатъ не проѣзжалъ черезъ городъ NN., Митя поступилъ бы въ канцелярію, и рассказа нашего не было бы, а былъ бы Митя со временемъ старшій помощникъ правителя дѣлъ и кормилъ бы онъ своихъ стариковъ, Богъ знаетъ, какими, доходами,—и отдохнули бы Яковъ Ивановичъ и Маргарита Карловна. Отъѣздъ Мити былъ переломомъ жизни стариковъ, — они остались одни: тишина, грусть еще болѣе овладѣли ихъ домикомъ. Управляющій мецената, человѣкъ не слабо-нервный, почувствовалъ что-то, въ родѣ слезъ, когда старики разставались съ сыномъ. Бѣдный отецъ прощается не такъ, какъ богатый; онъ говорилъ сыну: «Иди, другъ мой, ищи себѣ хлѣба; я болѣе для тебя ничего не могу сдѣлать; пролагай свою дорогу и вспоминай насъ!» И увидятся ли они, найдетъ ли онъ себѣ хлѣбъ,— все покрыто черной, тяжкой завѣсой... Хочетъ отецъ дать сыну на дорогу побольше, и нѣтъ возможности; онъ десять разъ разсчитываетъ, сколько можно удѣлить изъ наличныхъ восьмидесяти рублей, и все ему кажется мало. А мать—сколько слезъ прольетъ надъ

¹⁾ «Comment pouvons nous, pauvres enfants, remercier l'illustre visiteur»
Какъ можемъ мы, бѣдныя дѣти, отблагодарить знаменитаго посѣтителя.

убогимъ узелкомъ, въ который она положила необходимѣйшія свои вещи, но понимаетъ, что всего не достаетъ, и знаетъ, что негдѣ взять... Это сцены, неизвѣстныя, мѣщанскія, скрываемаыя тщательно отъ посторонняго глаза, но вопіющія и раздирающія сердце! Хорошо, что онѣ скрыты!

Молодой Круциферскій черезъ четыре года сдѣлался кандидатомъ. Не одаренный ни особенно блестящими способностями, ни чрезвычайной быстротою соображенія, онъ любовью къ наукѣ, постояннымъ прилежаніемъ вполне заслужилъ полученную имъ степень. Глядя на его кроткое лицо, можно было подумать, что изъ него разовьется одно изъ милыхъ германскихъ существованій,—существованій тихихъ, благородныхъ, счастливыхъ въ немножко ограниченной, но чрезвычайно трудолюбивой учено-педагогической дѣятельности, въ немножко ограниченномъ семейномъ кругу, въ которомъ черезъ двадцать лѣтъ мужъ еще влюбленъ въ жену, а жена еще краснѣетъ отъ каждой двусмысленной шутки. Это—существованія маленькихъ патриархальныхъ городковъ въ Германіи, пасторскихъ домиковъ, семинарскихъ учителей, чистыя, нравственныя и незамѣтныя внѣ своего круга... Но будто у насъ возможна такая жизнь? Я рѣшительно думаю, что нѣтъ,—нашей душѣ несвойственна эта среда; она не можетъ утолять жажду такимъ жиденькимъ винцомъ; она или гораздо выше этой жизни, или гораздо ниже, но въ обоихъ случаяхъ шире. Сдѣлавшись кандидатомъ, Круциферскій сначала попытался получить мѣсто при университетѣ; потомъ думалъ пробиться частными уроками,—но всѣ попытки были напрасны: онъ унаслѣдовалъ отъ отца удачу во всѣхъ предпріятіяхъ...

Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ того, какъ при звукахъ литавръ и трубъ было возвѣщено о кандидатствѣ Круциферскаго, онъ получилъ письмо отъ старика, извѣщавшее его о болѣни матери и мимоходомъ намекавшее на тѣсныя обстоятельства. Зная характеръ отца, онъ понялъ, что одна страшная крайность заставила его сдѣлать такой намекъ. Послѣднія деньги были прожиты Круциферскимъ,—одно средство оставалось: у него былъ патронъ, профессоръ какой-то *инози*, принимавшій въ немъ сердечное участіе; онъ написалъ къ нему письмо открыто, благородно, трогательно и просилъ взаймы 150 рублей. Профессоръ отвѣчалъ учтивѣйшимъ образомъ, тронулся запиской, но денегъ не прислалъ; въ *postscriptum*'ѣ ученый мужъ упрекалъ самымъ милымъ образомъ Круциферскаго, что онъ не приходитъ никогда къ нему обѣдать. Записка поразила молодого человѣка,—такъ мало зналъ онъ цѣну людямъ или, лучше сказать, деньгамъ! Ему было очень тяжело; онъ бросилъ милую записку добраго профессора на столъ, прошелся

раза два по комнаткѣ и, совершенно уничтоженный горестью, бросился на свою кровать; слезы потихоньку скатывались со щекъ его; ему такъ живо представлялась убогая комната, и въ ней его мать страждущая, слабая, можетъ быть, умирающая, — возлѣ старикъ, печальный и убитый. Больной хочется чего-нибудь, хочется, но она скрываетъ, чтобъ не увеличить горести мужа, а тотъ догадывается и тоже скрываетъ, боясь, что придется отказать ей... Читатель, если вы богаты, или, по крайней мѣрѣ, *обезпечены*, — принесемте глубокую благодарность небу, и да здравствуетъ полученное нами наслѣдство! да здравствуетъ родовое и благопріобрѣтенное!

Въ эту тяжелую минуту для кандидата отворилась дверь его комнатки, и какая-то фигура, явнымъ образомъ не столичная, вошла, снимая темный картузь съ огромнымъ козырькомъ. Козырекъ этотъ бросалъ тѣнь на здоровое, краснощекое и веселое лицо человѣка пожилыхъ лѣтъ; черты его выражали эпикурейское спокойствіе и добродушіе. Онъ былъ въ поношенномъ коричневомъ сюртукѣ съ воротникомъ, какого именно тогда не носили, съ бамбуковой палкой въ рукахъ, и, какъ мы сказали, съ видомъ рѣшительнаго провинціала.

— Вы — господинъ Круциферскій, кандидатъ здѣшняго университета?

— Я, — отвѣчалъ Дмитрій Яковлевичъ, — къ вашимъ услугамъ.

— А вотъ, господинъ кандидатъ, позвольте мнѣ сперва сѣсть; я постарше васъ, да и пришелъ пѣшкомъ.

Съ этими словами онъ хотѣлъ, было, сѣсть на стулъ, на которомъ висѣлъ вицъ-мундирный фракъ; но оказалось, что этотъ стулъ можетъ только выносить тяжесть фрака безъ человѣка, а не человѣка въ сюртукѣ. Круциферскій, сконфузившись, просилъ его помѣститься на кровать, а самъ взялъ другой (и послѣдній) стулъ.

— Я, — началъ посѣтитель съ убійственною медленностью: — инспекторъ врачебной управы NN., докторъ медицины Круповъ, и пришелъ къ вамъ вотъ по какому дѣлу...

Инспекторъ былъ человѣкъ методическій, остановился, вынулъ большую табакерку, положилъ ее возлѣ себя, потомъ вынулъ красный платокъ и положилъ его возлѣ табакерки, потомъ бѣлый платокъ, которымъ отеръ себѣ потъ, и, нюхая табакъ, продолжалъ такимъ образомъ:

— Вчерашняго числа я былъ у Антона Фердинандовича... Мы съ нимъ одного выпуска... нѣтъ, извините, онъ вышелъ годомъ ранѣе... да, годомъ ранѣе, точно, — все же были товарищи и остались добрыми знакомыми. Вотъ-съ я и прошу его, не можетъ ли онъ мнѣ ука-

зять хорошаго учителя въ отъѣздъ, де, въ нашу губернію, кондиціи, молъ, такія и такія, и вотъ, молъ, требуютъ то и то. Антонъ-агъ Фердинандовичъ и далъ мнѣ вашъ адресъ и, признаюсь, очень лестно отзывается объ васъ; а потому, если вы желаете имѣть кондицію въ отъѣздъ, то я могъ бы съ вами дѣло покончить.

Антонъ Фердинандовичъ былъ именно профессоръ-патронъ: онъ въ самомъ дѣлѣ любилъ Круциферскаго, но только не рисковалъ своими деньгами, какъ мы видѣли, а рекомендацію всегда былъ готовъ дать.

Тяжелый докторъ Круповъ показался Круциферскому небеснымъ посланникомъ; онъ откровенно рассказалъ ему свое положеніе и заключилъ тѣмъ, что ему выбора нѣтъ, что онъ обязанъ принять мѣсто. Круповъ вытащилъ изъ кармана что-то среднее между бумажникомъ и чемоданомъ и вынулъ письмо, покоившееся въ обществѣ кривыхъ ножницъ, ланцетовъ и зондовъ, и прочель: «Предложите такому 2.000 рублей въ годъ и никакъ не болѣе 2.500, потому что за 3.000 рублей у моего сосѣда живетъ французъ изъ Швейцаріи. Особая комната, утромъ чай, прислуга и мытье бѣлья, какъ обыкновенно. Обѣдать за столомъ».

Круциферскій не дѣлалъ никакихъ требованій, краснѣя, говорилъ о деньгахъ, спрашивалъ о занятіяхъ и откровенно сознавался, что боится смертельно вступить въ посторонній домъ, жить у чужихъ людей. Круповъ былъ тронутъ, уговаривалъ его не бояться Негровыхъ... «Вѣдь, вамъ съ ними не дѣтей крестить; будете учить мальчика, а съ отцомъ, съ матерью видаться за обѣдомъ. Генералъ денежно васъ не обидитъ, за это я вамъ отвѣчаю; жена его вѣчно спитъ; стало, и она васъ не обидитъ, развѣ, во снѣ. Домъ Негрова, повѣрьте мнѣ, не хуже... признаться, и не лучше всѣхъ помѣщичьихъ домовъ». Словомъ, торгъ сладился: Круциферскій шелъ въ наемъ за 2,500 рублей въ годъ. Инспекторъ былъ облѣбленный въ провинціальной жизни человѣкъ, но, однако, человѣкъ. Узнавъ рядомъ горькихъ опытовъ, что всѣ прекрасныя мечты, великія слова остаются до поры до времени мечтами и словами, онъ поселился на вѣки вѣковъ въ NN и мало-по-малу научился говорить съ разстановкой, носить два платка въ карманѣ: одинъ красный, другой бѣлый. Ничто въ мірѣ не портитъ такъ человѣка, какъ жизнь въ провинціи. Но онъ не совсѣмъ еще вымеръ: въ глазахъ его еще попрыгивали огоньки. Многое встрепенулось въ душѣ Крупова при видѣ благороднаго, чистаго юноши; ему вспомнилось то время, когда онъ съ Антономъ Фердинандовичемъ мечталъ сдѣлать переворотъ въ медицинѣ, итти пѣшкомъ въ Геттингенъ... И онъ горько улыбнулся при этихъ воспоминаніяхъ. Когда

торгъ кончился, ему пришло въ голову: «хорошо ли я дѣлаю, всталквивая этого юношу въ глухую жизнь полустепного помѣщика?» Даже мысль дать ему своихъ денегъ и уговорить его не покидать Москвы пришла ему въ голову; лѣтъ пятнадцать тому назадъ онъ такъ бы и сдѣлалъ, но старыми руками ужасно трудно развязывать кошелекъ. «Судьба!» подумалъ Круповъ и утѣшился. Странно, что въ этомъ случаѣ онъ поступилъ точь въ точь, какъ съ древнѣйшихъ временъ поступаетъ человѣчество: Наполеонъ говаривалъ, что судьба—слово, не имѣющее смысла,—оттого-то оно такъ и утѣшительно.

— Итакъ, мы дѣло сладили,—сказалъ, наконецъ, инспекторъ послѣ маленькаго молчанія;—я ѣду черезъ пять дней и буду очень радъ, если вы раздѣлите со мною тарантасъ.

IV.

Житье-бытье.

Давно извѣстно, что человѣкъ вездѣ можетъ оклиматиться: въ Лапландіи и Сенегалии. Потому дивиться собственно нечему, что Круциферскій мало-по-малу началъ привыкать къ дому Негрова. Образъ жизни, сужденія, интересы этихъ людей сначала поражали его, потомъ онъ сталъ равнодушнѣе, хотя и былъ далекъ отъ примиренія съ такою жизнью. Странное дѣло: въ домѣ Негрова ничего не было ни разительнаго, ни особеннаго; но свѣжему человѣку, юношѣ, какъ-то неловко, трудно было дышать въ немъ. Пустота всесовершеннѣйшая, самая многосторонняя царила въ почтенномъ семействѣ Алексѣя Абрамовича. Зачѣмъ эти люди вставали съ постели, зачѣмъ двигались, для чего жили,—трудно было бы отвѣчать на эти вопросы. Впрочемъ, и нѣтъ нужды на нихъ отвѣчать. Добрые люди эти жили, потому что родились, и продолжали жить по чувству самосохраненія. Какія тутъ цѣли да заднія мысли?... Это все изъ нѣмецкой философіи! Генералъ вставалъ въ 7 часовъ утра и тотчасъ появлялся въ залу съ толстымъ черешневымъ чубукомъ; вошедшій незнакомецъ могъ бы подумать, что проекты, соображенія первой важности бродятъ у него въ головѣ: такъ глубоко-мысленно курилъ онъ; но бродилъ одинъ дымъ, и то не въ головѣ, а около головы. Глубокомысленное куреніе продолжалось часъ. Алексѣй Абрамовичъ все это время тихо ходилъ по залѣ, часто останавливаясь передъ окномъ, въ которое онъ превнимательно

всматривался, щуриль глаза, морщиль лобъ, дѣлалъ недовольную мину, даже кряхтѣлъ, но и это былъ такой же оптической обманъ, какъ задумчивость. Управитель долженъ былъ въ это время стоять у дверей, рядомъ съ казачкомъ. Окончивъ куренье, Алексѣй Абрамовичъ обращался къ управителю, бралъ у него изъ рукъ рапортчку и начиналъ его ругать не на животь а на смерть, присовокупляя всякій разъ, что «кончено, что онъ его знаетъ, что онъ умѣетъ учить мошенниковъ и для примѣра справедливости отдастъ его сына въ солдаты, а его заставитъ ходить за птицами!». Была ли это мѣра нравственной гигиены въ родѣ ежедневныхъ обливаній холодной водой, — мѣра, посредствомъ которой онъ поддерживалъ страхъ и повиновеніе своихъ вассаловъ, или просто патриархальная привычка, — въ обоихъ случаяхъ постоянство заслуживало похвалы. Управитель слушалъ отеческія наставленія съ безмолвнымъ самоотверженіемъ: слушать ихъ казалось ему такою же существенною обязанностью, сопряженной съ его должностью, какъ красть пше-ницу и ячмень, сѣно и солому. «Ахъ, ты разбойникъ!» кричалъ генераль: «да тебя мало трехъ разъ повѣсить!» — «Воля вашего превосходительства», отвѣчалъ съ величайшимъ спокойствіемъ управитель и смотрѣлъ своими плутовскими глазами какъ-то косвенно внизъ. Бесѣда эта продолжалась до появленія дѣтей здороваться; Алексѣй Абрамовичъ протягивалъ имъ руку; съ ними являлась ми-ніатюрная *французенка*-мадамъ, которая какъ-то уничтожалась, уходя сама въ себя, присѣдала á la Pompadour; она возвѣщала, что чай готовъ, и Алексѣй Абрамовичъ отправлялся въ диванную, гдѣ Глафира Львовна уже дожидалась его передъ самоваромъ. Разговоръ обыкновенно начинался жалобою Глафиры Львовны на свое здоровье и на бессонницу; она чувствовала въ правомъ вискѣ непонятную, живую боль, которая переходила въ затылокъ и въ темя и не давала ей спать. Алексѣй Абрамовичъ слушалъ бюллетень о здоровьи супруги довольно равнодушно, потому ли, что онъ одинъ во всемъ родѣ человѣческомъ очень хорошо и основательно знаетъ, что она ночью никогда не просыпается, или потому, что ясно видѣлъ, какъ эта хроническая болѣзнь полезна здоровью Глафиры Львовны, — не знаю. Зато Элиза Августовна приходила въ ужасъ, жалѣла о страдальцѣ и утѣшала ее тѣмъ, что и княгиня Р***, у которой она жила, и графиня М***, у которой она могла бы жить, если-бъ хотѣла, точно такъ же страдаютъ живою болью и называютъ ее *tic douloureux* ¹⁾. Во время чая приходилъ поваръ; благородная чета начинала заниматься заказомъ обѣда и бранить за

1) Судорожное подергиваніе мышцъ лица.

вчерашній, хотя блюда и были вынесены пусты. Поваръ имѣлъ то преимущество передъ приказчикомъ, что его ежедневно бранилъ баринъ, какъ и приказчика, да, сверхъ того, бранила барыня. Послѣ чая Алексѣй Абрамовичъ отправлялся по полямъ. Нѣсколько лѣтъ живъ безвыѣздно въ деревнѣ, онъ не много успѣлъ въ агрономіи, нападалъ на мелкіе беспорядки, пуще всего любилъ дисциплину и видъ безусловной покорности. Воровство, самое наглое, совершалось почти передъ глазами, и онъ большей частію не замѣчалъ, а когда замѣчалъ, то такъ неловко принимался за дѣло, что всякій разъ оставался въ дуракахъ. Какъ настоящій глава и отецъ общины, онъ часто говаривалъ: «вору спущу, мошеннику спущу, но ужъ дерзости не могу стерпѣть»,—въ этомъ у него состоялъ патріархальный point d'honneur! Глафира Львовна, кромѣ чрезвычайныхъ случаевъ, никогда не выходила изъ дома пѣшкомъ, разумѣется, исключая стараго сада, который отъ запущенности сдѣлался хорошимъ и который начинался отъ самаго балкона; даже собирать грибы ѣздила она всегда въ коляскѣ. Это дѣлалось слѣдующимъ образомъ. Съ вечера отдавался приказъ старостѣ, чтобъ собрать легионъ мальчишекъ и дѣвчонокъ съ кузовками, корзинками, плетушками и проч. Глафира Львовна съ французенкой ѣхала шагомъ по просѣкѣ, а саранча босыхъ, полуголыхъ и полусытыхъ дѣтей, подъ предводительствомъ старухи-птичницы, барченка и барышни, нападала на масленки, волвянки, сыроѣжки, рыжики, бѣлые и всякіе грибы. Грибъ удивительной величины или чрезвычайной малости приносился птичницей къ матушкѣ-енаральшѣ; имъ изволили любоваться и ѣхали далѣе. Возвратившись домой, она всякій разъ жаловалась на усталъ и ложилась уснуть передъ обѣдомъ, употребивъ для возстановленія силъ какой-нибудь остатокъ вчерашняго ужина—барашка, теленка, поеннаго однимъ молокомъ, индѣйку, кормленную грецкими орѣхами, или что-нибудь въ этомъ родѣ, легкое и пріятное. Между тѣмъ, ужъ и Алексѣй Абрамовичъ хватилъ горькой, закусилъ, *повторилъ* и отправился прогуляться въ саду; онъ, особенно въ это время, любилъ пройтись по саду и заняться оранжереей, разспрашивая обо всемъ садовникову жену, которая во всю жизнь не умѣла отличить грушъ отъ яблокъ, что не мѣшало ей имѣть довольно пріятную наружность. Въ это время, то есть часа за полтора до обѣда, французенка занималась образованіемъ дѣтей. Что она имъ преподавала, какъ—это покрывалось непроницаемой тайной. Отецъ и мать были довольны: кто же имѣетъ право мѣшаться въ семейныя дѣла послѣ этого? Въ два часа подавался обѣдъ. Каждое блюдо было достаточно, чтобъ убить человѣка, привыкнущаго къ европейской пищѣ. Жиръ, жиръ и жиръ, едва

смягчаемый капустой, лукомъ и солеными грибами, перерабатывался, при помощи достаточнаго количества мадеры и портвейна, въ упругое тѣло Алексѣя Абрамовича, въ расплывшееся—Глафиры Львовны и въ сморщившееся тѣльце, едва покрывавшее косточки, Элизы Августовны. Кстати, Элиза Августовна не отставала отъ Алексѣя Абрамовича въ употребленіи мадеры (и замѣтимъ притомъ—шагъ впередъ XIX вѣка: въ XVIII вѣкѣ нанимавшейся мадамъ не было бы предоставлено право пить вино за столомъ); она увѣряла, что въ ея родинѣ (въ Лозаннѣ) у нихъ былъ виноградникъ, и она дома всегда вмѣсто кваса пила мадеру изъ своихъ лозъ и тогда еще привыкла къ ней. Послѣ обѣда генералъ ложился на полчаса уснуть на кушеткѣ въ кабинетѣ и спалъ гораздо долѣе, а Глафира Львовна отправлялась съ мадамой въ диванную. Мадамъ говорила непрерывно, и Глафира Львовна засыпала подъ ея безконечные рассказы. Иногда для разнообразія Глафира Львовна посылала за женой сельскаго священника. Та являлась,—какое-то дикое, несвязное существо, вѣчно испуганное и всего боящееся. Глафира Львовна цѣлые часы проводила съ ней и потомъ говорила мадамъ: «ah, comme elle est bête, insupportable!»¹⁾ И, въ самомъ дѣлѣ, попадья была непроходимо глупа. Потомъ чай, потомъ ужинъ около десяти часовъ, послѣ ужина семья начинала зѣвать всѣми ртами. Глафира Львовна замѣчала, что въ деревнѣ надобно жить по-деревенски, т. е. раньше ложиться спать,—и семья расходилась. Въ одиннадцать часовъ домъ храпѣлъ отъ конюшни до чердака. Изрѣдка наѣзжалъ какой-нибудь сосѣдъ,—Негровъ подъ другой фамиліей, или старуха-тетка, проживавшая въ губернскомъ городѣ и поврежденная на желаніи отдать дочерей замужъ. Тогда на мигъ порядокъ жизни измѣнялся; но гости уѣзжали,—и все шло попрежнему. Разумѣется, что за всѣми этими занятіями все еще оставалось довольно времени, которое не знали, куда дѣть, особенно въ ненастную осень, въ долгіе зимніе вечера. Весь талантъ француженки былъ употребляемъ на то, чтобъ конопатить эти дыры во времени. Надобно замѣтить, что ей было чтò поразказать. Она приѣхала въ послѣдніе годы царствованія покойной императрицы Екатерины портнихой при французской труппѣ; мужъ ея былъ *второй любовникъ*, но, по несчастію, климатъ Петербурга оказался для него гибеленъ, особенно послѣ того, какъ, оберегая съ большимъ усердіемъ, чѣмъ нужно женатому человѣку, одну изъ артистокъ труппы, онъ былъ гвардейскимъ сержантомъ выброшенъ изъ окна второго этажа на улицу. Вѣроятно, падая, онъ не взялъ достаточныхъ предосторожностей

¹⁾ Ахъ, какъ она глупа, невыносима!

отъ сырого воздуха, ибо съ той минуты сталъ кашлять, кашлялъ мѣсяца два, а потомъ пересталъ по очень простой причинѣ,—потому что умеръ. Элиза Августовна овдовѣла именно въ то время, когда мужъ всего нужнѣе, т. е. лѣтъ въ тридцать... Поплакала, заплакала и пошла сначала въ сестры милосердія къ одному подагрику, а потомъ въ воспитательницы дочери одного вдовца, очень высокаго ростомъ, отъ него перешла къ одной княгинѣ и т. д.,—всего не перескажешь. Довольно, что она умѣла чрезвычайно хорошо прилаживаться къ нравамъ дома, въ которомъ находилась, вкрадывалась въ довѣренность, дѣлалась необходимой, исполняла тайныя и явныя порученія, хранила на всѣхъ дѣйствіяхъ какую-то печать кліентизма и униженія, уступала мѣсто, предупреждала желанія. Словомъ, чужія лѣстницы были для нея не круты, чужой хлѣбъ не горекъ ¹⁾. Она, хохотавъ и вязавъ чулокъ, жила себѣ беззаботно и припѣваючи; ей, вѣчно втянутой во всѣ маленькія исторіи, совершающіяся между дѣвичьей и спальней, никогда не приходило въ голову о жалкомъ ея существованіи. Итакъ, въ скучное время, Элиза Августовна тѣшила своими разсказами, тогда какъ Алексѣй Абрамовичъ раскладывалъ грань-пасьянсъ, а Глафира Львовна, ничего не дѣлая, сидѣла на диванѣ. Элиза Августовна знала тысячи похожденій и интригъ о своихъ *благодѣтеляхъ* (такъ она называла всѣхъ, у кого жила при дѣтяхъ); повѣствовала ихъ она съ значительными добавленіями и приписывая себѣ во всякомъ разсказѣ главную роль, худшую или лучшую—все равно. Алексѣй Абрамовичъ еще съ большимъ интересомъ, нежели его жена, слушалъ скандальныя хроники воспитательницы своихъ дѣтей и хохоталъ отъ всего сердца, находя, что это—кладъ, а не мадамъ. Почти такъ тянулся день за днемъ, а время проходило, напоминая себя иногда большими праздниками, постами, уменьшеніями дней, увеличеніемъ дней, именинами и рожденіями, а Глафира Львовна, удивляясь, говорила: «Ахъ, Боже мой, вѣдь послѣ завтра Рождество, а кажется, давно ли выпалъ снѣгъ!».

Но гдѣ же во всемъ этомъ Любонька, бѣдная дѣвушка, которую воспитывали добрые Негровы? Мы ее совсѣмъ забыли. Въ этомъ она больше насъ виновата: она являлась, большею частью, молча, въ кругу патріархальной семьи, не принимая почти никакого участія во всемъ происходившемъ и принося самымъ этимъ явный диссонансъ въ слаженный аккордъ прочихъ лицъ семейства. Въ этой дѣвицѣ было много страннаго: съ лицомъ, полнымъ энергіи, сопрягались апатія и холодность, ничѣмъ не возмущаемыя, повидимому;

¹⁾ Заимствованіе изъ «Божественной комедіи» Данте («Рай», XVII, 55).

она до такой степени была равнодушна ко всему, что самой Глафирѣ Львовнѣ было это невыносимо подчасъ, и она звала ее ледяной англичанкой, хотя андалузскія свойства генеральши тоже подлежали большому сомнѣнію. Лицомъ она была похожа на отца, только темноглубые глаза наслѣдовала она отъ Дуни; но въ этомъ сходствѣ была такая необъятная противоположность, что два лица эти могли бы послужить Лафатеру предметомъ новаго тома кудрявыхъ фразъ: жесткія черты Алексѣя Абрамовича, оставаясь тѣми же, искуплялись, такъ сказать, въ лицѣ Любоньки; по ея лицу можно было понять, что въ Негровѣ могли быть хорошія возможности, задавленныя жизнію и погубленныя ею; ея лицо было объясненіемъ лица Алексѣя Абрамовича: человекъ, глядя на нее, примирялся съ нимъ. Но отчего же она всегда была задумчива? отчего немного веселило ее? отчего она любила сидѣть одна у себя въ комнатѣ? Много было на это причинъ, и внутреннихъ и внѣшнихъ,—начнемъ съ послѣднихъ.

Положеніе ея въ домѣ генерала не было завидно не потому, чтобы ее хотѣли гнать или тѣснить, а потому что, исполненные предразсудковъ и лишенные деликатности, которую даетъ одно развитіе, эти люди были безсознательно грубы. Ни генераль, ни его супруга не понимали страннаго положенія Любоньки у нихъ въ домѣ и усугубляли тягость его безъ всякой нужды, касаясь до нѣжныхъ фибръ ея сердца. Жесткая и отчасти надменная натура Негрова часто вовсе безъ намѣренія глубоко оскорбляла ее, а потому онъ оскорблялъ ее и съ намѣреніемъ, но вовсе не понимая, какъ важно вліяніе иного слова на душу, болѣе нѣжную, нежели у его управителя, и какъ надобно было быть осторожнымъ ему съ беззащитной дѣвушкой, дочерью и не-дочерью, живущей у него по праву и по благодѣянію. Эта деликатность была невозможна для такого человека, какъ Негровъ; ему и въ голову не приходило, чтобъ эта дѣвочка могла обидѣться его словами: что *она такое*, чтобъ обижаться? Алексѣй Абрамовичъ, желая укрѣпить болѣе и болѣе любовь Любоньки къ Глафирѣ Львовнѣ, часто повторялъ ей, что она всю жизнь обязана Богу молить за его жену; что ей одной обязана она всѣмъ своимъ счастіемъ, что безъ нея она была бы не барышней, а горничной. Онъ въ самыхъ мелочныхъ случаяхъ давалъ ей чувствовать, что, хотя она воспитывалась такъ же, какъ его дѣти, но что между ними огромная разница. Когда ей миновало шестнадцать лѣтъ, Негровъ смотрѣлъ на всякаго не женатаго человека, какъ на годнаго жениха для нея. Засѣдатель ли пріѣзжалъ съ бумагой изъ города, доходилъ ли слухъ о какомъ-нибудь мелкопомѣстномъ сосѣдѣ, Алексѣй Абрамовичъ говорилъ при бѣд-

ной Любонькѣ: «Хорошо, кабы посватался засѣдатель за Любу, право, хорошо: и мнѣ бы съ руки да и ей чѣмъ не партія? Ей не графа же ждать!» Глафира Львовна еще менѣе не тѣснила Любоньки, даже въ иныхъ случаяхъ по своему баловала ее: заставляла сытую ѣсть, давала не во время варенье и проч.; но и отъ нея бѣдная много терпѣла. Глафира Львовна считала себя обязанною каждой вновь знакомившейся дамѣ представлять Любоньку, присовокупляя: «это сиротка, воспитывающаяся съ моими малютками», потомъ начинала шептать... Любонька догадывалась, о чемъ рѣчь, блѣднѣла, сгорала отъ стыда, особенно, когда провинціальная барыня, выслушавъ тайное поясненіе, устремляла на нее дерзкій взглядъ, сопровождая его двусмысленной улыбкой. Въ послѣднее время Глафира Львовна немного перемѣнилась къ сироткѣ; ее начала посѣщать мысль, которая впослѣдствіи могла развиться въ ужасныя гоненія Любонькѣ: несмотря на всю материнскую слѣпоту, она какъ-то разглядѣла, что ея Лиза—толстая, краснощекая и очень похожая на мать, но съ какимъ-то прибавленіемъ глупаго выраженія,—будетъ всегда стерта благородной наружностью Любоньки, которой, сверхъ красоты, самая задумчивость придавала что-то такое, почему нельзя было пройти мимо ея. Увидѣвъ это, она совершенно была согласна съ Алексѣемъ Абрамовичемъ, что, если подвернется какой-нибудь секретарикъ добренькій или засѣдатель, тоже добренькій, то и отдать ее. Всего этого Любонька не могла не видать. Сверхъ сказаннаго, ее тѣснило и все окружающее. Ея отношенія къ дворнѣ, среди которой жила *ея кормилица*, были неловки. Горничныя смотрѣли на нее, какъ на выскочку, и, преданныя аристократическому образу мыслей, считали барышней одну столбовую Лизу. Когда же онѣ убѣдились въ чрезвычайной кротости Любоньки, въ ея невзыскательности, когда увидѣли, что она никогда не ябедничаетъ на нихъ Глафирѣ Львовнѣ, тогда она была совершенно потеряна въ ихъ мнѣніи, и онѣ почти вслухъ, въ минуты негодованія, говорили: «Холопку какъ ни одѣвай, все будетъ холопка: осанки, виду барственного совѣмъ нѣтъ». Все это мелочи, не стоящія вниманія съ точки зрѣнія вѣчности, но прошу того сказать, кто испыталъ на себѣ рядъ ничтожныхъ, нечистыхъ названій, оскорбленій, — тотъ, или, лучше, та пусть скажетъ, легки они или нѣтъ. Къ довершенію бѣдствій Любоньки пріѣзжала иногда проживавшая въ губернскомъ городѣ тетка Алексѣя Абрамовича съ тремя дочерьми. Старуха—злая, полубезумная и ханжа—не могла видѣть несчастную дѣвушку и обращалась съ нею возмутительно. «Съ какой стати, матушка», — говорила она, покачивая головой, — «принарядилась такъ? а? Скажите, пожалуйста! Да васъ, сударыня, можно принять за равную

моимъ дочерямъ! Глафира Львовна, для чего вы ее такъ балуете? Вѣдь Марѳушка, родная тетка ея, у меня птичницей,—рабыня моя; а это съ какой стати, право? Да и Алексѣй-то, старый грѣшникъ, постыдился бы добрыхъ людей!» Эти ругательныя замѣчанія она заключала всякій разъ молитвою, чтобъ господь Богъ простилъ ея племяннику грѣхъ рожденія Любоньки. Дочери тетки,—три провинціальныя граціи, изъ которыхъ старшая года два-три уже стояла на роковомъ двадцать девятомъ году,—если не говорили съ такою патріархальною простотою, то давали въ каждомъ словѣ чувствовать Любѣ всю снисходительность свою, что онѣ удостаиваютъ ее своей лаской. Любонька при людяхъ не показывала, какъ глубоко ее оскорбляютъ подобныя сцены, или, лучше, люди, окружавшіе ее, не могли понять и видѣть прежде, нежели имъ было указано и растолковано; но, уходя въ свою комнату, она горько плакала... Да, она не могла стать выше такихъ обидъ,—да и врядъ ли это возможно дѣвушка въ ея положеніи. Глафирѣ Львовнѣ было жаль Любоньку, но взять ее подъ защиту, показать свое неудовольствіе ей и въ голову не приходило; она ограничивалась обыкновенно тѣмъ, что давала Любонькѣ двойную порцію варенья, и потомъ, проводивъ съ чрезвычайной лаской старуху и тысячу разъ повторивъ, чтобъ *chère tante* ¹⁾ ихъ не забывала, она говорила французенкѣ, что она ее терпѣть не можетъ и что всякій разъ послѣ ея посѣщенія чувствуетъ нервное разстройство и живую боль въ лѣвомъ вискѣ, готовую перейти въ затылокъ.

Нужно ли говорить, что воспитаніе Любоньки было сообразно всему остальному? Кромѣ Элизы Августовны, никто не училъ ее; сама же Элиза Августовна занималась съ дѣтьми одной французской грамматикой, несмотря на то, что тайна французскаго правописанія ей не далась, и она до сѣдыхъ волосъ писала съ большими промахами. Кромѣ грамматики, она и не бралась ни за что, хотя, впрочемъ, рассказывала, что у какой-то княгини приготовила двухъ сыновей въ университетъ. Книгъ въ домѣ Негрова водилось немного. У самого Алексѣя Абрамовича—ни одной; зато у Глафиры Львовны была бібліотека; въ диванной стоялъ шкафъ; верхній этажъ его былъ занятъ никогда не употреблявшимся параднымъ чайнымъ сервизомъ, а нижній—книгами; въ немъ было съ полсотни французскихъ романовъ; часть ихъ тѣшила и образовывала въ незапамятныя времена графиню Мавру Ильиничну, остальные купила Глафира Львовна въ первый годъ послѣ выхода замужъ,—она тогда все покупала: кальянъ для мужа, портфель съ видами Берлина, отличный

¹⁾ Милая тетя.

ошейникъ съ золотымъ замочкомъ... Въ числѣ этихъ ненужностей купила она десятка четыре модныхъ книгъ; между ними попались двѣ-три англійскія, также переѣхавшія въ деревню, несмотря на то, что не только въ домѣ Негрова, но на четыре географическія мили кругомъ никто не зналъ по-англійски. Ихъ она взяла за лондонскій переплетъ: переплетъ былъ, дѣйствительно, очень хорошъ. Глафира Львовна охотно позволяла Любонькѣ брать книги, даже поощряла ее къ этому, говоря, что и она страстно любитъ чтеніе и очень жалѣетъ, что многосложныя заботы по хозяйству и воспитанію не оставляютъ ей времени почитать. Любонька читала охотно, внимательно, но особеннаго пристрастія къ чтенію у ней не было: она не настолько привыкла къ книгамъ, чтобъ онѣ ей сдѣлались необходимы; ей что-то все казалось вяло въ нихъ, даже Вальтеръ Скоттъ наводилъ подчасъ на Любоньку страшную скуку. Однакожь, бесплодность среды, окружавшей молодую дѣвушку, не подавила ея развитія,—совсѣмъ напротивъ; пошлыя обстоятельства, въ которыхъ она находилась, скорѣе способствовали усиленію мощнаго роста. Какъ? Это тайна женской души. Дѣвушка или съ самаго начала такъ прилаживается къ окружающему ее, что ужъ въ четырнадцать лѣтъ кокетничаетъ, сплетничаетъ, дѣлаетъ глазки проѣзжающимъ мимо офицерамъ, замѣчаетъ, не крадутъ ли горничныя чай и сахаръ, и готовится въ почтенныя хозяйки дома и въ строгія матери, или съ необычайною легкостью освобождается отъ грязи и сора, побѣждаетъ внѣшнее внутреннимъ благородствомъ, какимъ-то откровеніемъ постигаетъ жизнь и пріобрѣтаетъ тактъ, хранящій, напутствующій ее. Такое развитіе почти неизвѣстно мужчинамъ: нашего брата учатъ, учатъ и въ гимназіяхъ, и въ университетахъ, и въ бильярдныхъ, и въ другихъ болѣе или менѣе педагогическихъ заведеніяхъ, а все не ближе, какъ лѣтъ въ тридцать пять пріобрѣтаемъ, вмѣстѣ съ потерей волосъ, силъ, страстей, ту степень развитія и пониманія, которая у женщины впередъ идетъ, идетъ объ руку съ юностью, съ полнотою и свѣжестью чувствъ.

Любонькѣ было двѣнадцать лѣтъ, когда нѣсколько словъ, изъ рукъ вонъ жесткихъ и грубыхъ, сказанныхъ Негровымъ въ минуту отеческой досады, въ нѣсколько часовъ воспитали ее, дали ей толчекъ, послѣ котораго она не останавливалась. Съ двѣнадцати лѣтъ эта головка, покрытая темными кудрями, стала работать; кругъ вопросовъ, возбужденныхъ въ ней, былъ не великъ, совершенно личень, тѣмъ болѣе она могла сосредоточиваться на нихъ; ничто внѣшнее, окружающее не занимало ее: она думала и мечтала, мечтала для того, чтобъ облегчить свою душу, и думала для того, чтобъ понять свои мечты. Такъ прошло пять лѣтъ. Пять лѣтъ въ

развитіи дѣвушки—огромная эпоха; задумчивая, скрытно-пламенная, Любонька въ эти пять лѣтъ стала чувствовать и понимать такія вещи, о которыхъ добрые люди часто не догадываются до гробовой доски; она иногда боялась своихъ мыслей, упрекала себя за свое развитіе,—но не усыпила дѣятельности своего духа. Некому было ей сообщить все занимавшее ее, все собиравшееся въ груди; подѣ конецъ, не имѣя силы носить всего въ себѣ, она попала на мысль, очень обыкновенную у дѣвушки: она стала записывать свои мысли, свои чувства. Это было нѣчто въ родѣ журнала; для того, чтобъ познакомить васъ съ нею, выписываемъ изъ этого журнала слѣдующія строки:

«Вчера вечеромъ сидѣла я долго подѣ окномъ; ночь была теплая, въ саду такъ хорошо... Не знаю, отчего мнѣ все дѣлалось грустнѣе и грустнѣе, будто темная туча поднялась изъ глубины души; мнѣ было такъ тяжело, что я плакала, горько плакала... У меня есть отецъ и мать, но я сирота: я одна одиноконька на всемъ бѣломъ свѣтѣ; я съ ужасомъ чувствую, что *никого не люблю*. Это страшно! На кого ни посмотришь, всѣ любятъ кого-нибудь: мнѣ всѣ чужіе,—хочу любить и не могу. Мнѣ иногда кажется, что я люблю Алексѣя Абрамовича, Глафиру Львовну, Мишу, сестру,—но я себя обманываю. Алексѣй Абрамовичъ такъ жестоко обращается со мной,—онъ мнѣ больше чужой, нежели Глафира Львовна; но онъ отецъ мой: развѣ дѣти судятъ своего отца? развѣ они любятъ его за что-нибудь; его любятъ за то, что онъ отецъ,—я не могу. Сколько разъ давала я себѣ слово съ кротостью слушать его несправедливые упреки, не могу привыкнуть... Какъ только Алексѣй Абрамовичъ становится жестокъ, мое сердце бьется сильнѣе, и, кажется, если-бъ я дала себѣ волю, то отвѣчала бы ему съ той же жестокостью... Любовь мою къ матери у меня испортили, отняли; едва четыре года, какъ я узнала, что она—моя мать; мнѣ было поздно привыкнуть къ мысли, что у меня есть мать: я ее любила, какъ кормилицу... Ее-то я люблю, но, боюсь признаться: мнѣ неловко съ ней; я должна многое скрывать, говоря съ нею: это мѣшаетъ, это тяготитъ; надобно все говорить, когда любишь; мнѣ съ нею не свободно; добрая старушка, она больше дитя, нежели я; да къ тому же, она привыкла звать меня барышней, говорить мнѣ *вы*,—это почти тяжелѣе грубаго языка Алексѣя Абрамовича. Я молилась о нихъ и о себѣ, просила Бога, чтобъ Онъ очистилъ мою душу отъ гордости, смирилъ бы меня, ниспослалъ бы любовь, но любовь не снизошла въ мое сердце».

Черезъ недѣлю.—«Неужели всѣ люди похожи на *нихъ*, и вездѣ такъ живутъ, какъ въ этомъ домѣ? Я никогда не оставляла дома

Алексѣя Абрамовича, но мнѣ кажется, что можно лучше жить даже въ деревнѣ; иногда мнѣ невыносимо тяжело съ ними,—или я одичала, сидя все одна? То ли дѣло, какъ уйду въ липовую аллею да сяду на лавочкѣ въ концѣ ея и смотрю въ даль,—тогда мнѣ хорошо; я забываю ихъ; не то, чтобъ весело, скорѣе грустно, но хорошо грустно... Подъ горою село; люблю я эти бѣдныя избы крестьянъ, рѣчку, текущую возлѣ, и рошу вдали; я цѣлые часы смотрю, смотрю и прислушиваюсь: то пѣсня раздастся вдали, то стукъ цѣповъ, то лай собакъ и скрипъ телѣгъ... А тутъ, лишь только увидятъ мое бѣлое платье, бѣгутъ ко мнѣ крестьянскіе мальчики, приносятъ мнѣ землянику, рассказываютъ всякій вздоръ; и я слушаю ихъ, и мнѣ не скучно. Какія славныя лица у нихъ: открытыя, благородныя! кажется, если-бъ ихъ воспитать такъ, какъ Мишу, что за люди изъ нихъ вышли бы! Они приходятъ иногда къ Мишѣ на господскій дворъ, только я прячусь тамъ отъ нихъ: наши дворовые и сама Глафира Львовна такъ грубо обращаются съ ними, что у меня сердце кровью обливается; они, бѣдняжки, стараются всѣмъ на свѣтѣ услужить брату, бѣгаютъ, ловятъ ему бѣлокъ, птицъ, а онъ обижаетъ ихъ... Странно, Глафира Львовна пречувствительная, плачетъ, когда рассказываютъ что-нибудь печальное, а иногда я удивлялась ея жестокости; она, какъ будто стыдась, всегда говорить: «они этого не понимаютъ, съ ними нельзя обходиться по-человѣчески, тотчасъ забудутся». Мнѣ не вѣрится: видно, крестьянская кровь моей матери осталась въ моихъ жилахъ! Я всегда съ крестьянками говорю, какъ съ другими, какъ со всѣми, и онѣ меня любятъ, носятъ мнѣ топленое молоко, соты; правда, онѣ мнѣ не кланяются въ поясъ, какъ Глафирѣ Львовнѣ, зато встрѣчаютъ всегда съ веселымъ видомъ, съ улыбкой... Не могу никакъ понять, отчего крестьяне нашей деревни лучше всѣхъ гостей, которые ѣздятъ къ намъ изъ губернскаго города и изъ сосѣдства, и гораздо умнѣе ихъ, а, вѣдь, тѣ учились и все—помѣщики, чиновники, а такіе все противные...»

Вѣроятно ли, чтобъ дѣвушка, воспитанная въ патріархальной семьѣ Негрова, лѣтъ семнадцати отъ роду, никуда не выѣзжавшая, мало читавшая, еще менѣе видѣвшая, такъ чувствовала? За фактическую достовѣрность журнала отвѣчаетъ совѣсть собиравшаго документы; за психическую—позвольте вступитья мнѣ. Странное положеніе Любоньки въ домѣ Негрова вы знаете; она, отъ природы одаренная энергіей и силой, была оскорбляема со всѣхъ сторонъ двусмысленнымъ отношеніемъ ко всей семьѣ, положеніемъ своей матери, отсутствіемъ всякой деликатности въ отцѣ, считавшемъ, что вина ея рожденія падаетъ не на него, а на нее, наконецъ, всей

дворней, которая, съ свойственнымъ лакеямъ аристократическимъ направлениемъ, съ ироніей смотрѣла на Дуню. Куда же было дѣться Любонькѣ, отовсюду отталкиваемой? Она, можетъ быть, бѣжала бы въ полкъ или не знаю куда, если-бъ она была мужчиной; но дѣвушкой она бѣжала въ самоё себя; она годы выносила свое горе, свои обиды, свою праздность, свои мысли; когда мало-по-малу часть бродившаго въ ея душѣ стала осѣдять, когда не было удовлетворенія естественной, сильной потребности высказаться кому-нибудь, — она схватила перо, она стала писать, то есть высказывать, такъ сказать, самой себѣ занимавшее ее и тѣмъ облегчить свою душу.

Немного надо проницательности, чтобъ предвидѣть, что встрѣча Любоньки съ Круциферскимъ при тѣхъ обстоятельствахъ, при которыхъ они встрѣтились, даромъ не пройдетъ. Едва многолѣтнія усилія воспитанія и свѣтская жизнь достигаютъ до притупленія въ молодыхъ людяхъ способности и готовности любить. Любонька и Круциферскій не могли не замѣтить другъ друга: они были одни, они были въ степи... Долгое время застѣнчивый кандидатъ не смѣлъ сказать съ Любонькой двухъ словъ; судьба ихъ познакомила молча. Первое, что сблизило молодыхъ людей, была отеческая простота въ обращеніи Негрова съ своими домашними и съ прислугой. Любонька цѣлой жизнью, какъ сама высказала, не могла привыкнуть къ грубому тону Алексѣя Абрамовича; само собою разумѣется, что его выходки дѣйствовали еще сильнѣе въ присутствіи посторонняго; ея пылающія щеки и собственное волненіе не помѣшали, однакожь, ей разглядѣть, что патріархальныя манеры дѣйствуютъ точно такъ же и на Круциферскаго. Спустя долгое время, и онъ, въ свою очередь, замѣтилъ то же самое; тогда между ними устроилось тайное пониманье другъ друга; оно устроилось прежде, нежели они помѣнялись двумя-тремя фразами. Какъ только Алексѣй Абрамовичъ начиналъ *шпынять* надъ Любонькой или поучать уму и нравственности какого-нибудь шестидесятилѣтняго Спирьку или сѣдого, какъ лунь, Матюшку, страдающій взглядъ Любоньки, долго прикованный къ полу, невольно обращался на Дмитрія Яковлевича, у котораго дрожали губы и выходили пятна на лицѣ. Онъ точно также, чтобъ облегчить тяжело-неприятное чувство, искалъ украдкой прочитать на лицѣ Любоньки, что дѣлается въ душѣ ея. Они сначала не думали, куда поведутъ эти симпатическіе взгляды — ихъ, больше нежели кого-нибудь, потому что во всемъ ихъ окружавшемъ не было ничего, что могло бы не только перевѣсить, но держать въ предѣлахъ, развлекать возникавшую симпатію; совсѣмъ напротивъ, совершенная чуждость остальныхъ лицъ способствовала ея развитію.

Я никакъ не намѣренъ рассказывать вамъ слово въ слово по-вѣсть любви моего героя: мнѣ музы отказали въ способности описывать любовь;

О, ненависть, тебя пою!

Скажу вамъ вкратцѣ, что черезъ два мѣсяца послѣ водворенія въ домѣ Негрова, Круциферскій, отъ природы нѣжный и восторженный, былъ безумно, страстно влюбленъ въ Любоньку. Любовь его сдѣлалась средоточіемъ, около котораго расположились всѣ элементы его жизни; ей онъ подчинилъ все: и свою любовь къ родителямъ, и свою науку, словомъ, онъ любилъ, какъ можетъ любить нервная, романтическая натура, любилъ, какъ Вертеръ, какъ Владиміръ Ленскій. Долго не признавался онъ самъ себѣ въ новомъ чувствѣ, охватившемъ всю грудь его, еще долѣе не высказывалъ его ей, даже не смѣлъ объ этомъ думать,—по большей части и не слѣдуетъ думать: такія вещи дѣлаются сами собою.

Однажды послѣ обѣда, когда Негровъ въ кабинетѣ, а Глафира Львовна въ диванной, отдыхали, въ залѣ сидѣла Любонька, и Круциферскій читалъ ей вслухъ стихотворенія Жуковскаго. До какой степени опасно и вредно для молодого человѣка читать молодой дѣвицѣ что-нибудь, кромѣ курса чистой математики, это рассказала на томъ свѣтѣ Франческа-да-Римини Данту, вертясь въ проклятомъ вальсѣ *della bufera infernale* ¹⁾: она рассказала, какъ перешла отъ чтенія къ поцѣлюю и отъ поцѣлюя къ трагической развязкѣ. Наши молодые люди этого не знали и уже нѣсколько дней раздували свою любовь Жуковскимъ, котораго привезъ кандидатъ.. Поки они читали «Ивиковы журавли», все шло хорошо, но, открывъ убійцу по этому дѣлу, они перешли къ «Алинѣ и Альсиму»,—тогда случилось вотъ что. Круциферскій, прочитавъ дрожащимъ голосомъ первую строфу, отеръ съ лица своего потъ и, задыхаясь, осилилъ, еще слѣдующіе стихи:

«Когда случится жизни въ цвѣтѣ
Сказать душой
Ему: ты будь моя на свѣтѣ»,—

остановился и зарыдалъ въ три ручья... Книга выпала у него изъ рукъ, голова склонилась,—и онъ рыдалъ, рыдалъ безумно, рыдалъ, какъ только можетъ рыдать человѣкъ, въ первый разъ влюбленный. «Что съ вами?» спросила Любонька, у которой тоже сердце

¹⁾ Адскій вихрь.

билося сильно, и слезы навернулись на глазахъ. «Что съ вами?» повторила она, боясь всей душой отвѣта. Круциферскій схватилъ ея руку и, одушевленный какой-то новой, невѣдомой силой, не смѣя, впрочемъ, поднять глазъ, сказалъ ей: «Будьте, будьте моею Алиной!.. я... я...» Больше онъ не могъ ничего вымолвить. Любонька тихо отдернула свою руку; ея щеки пылали, она заплакала и вышла вонъ. Круциферскій не сдѣлалъ ничего, чтобъ остановить ее; врядъ ли даже желалъ онъ этого. Боже мой!—думалъ онъ,—что я надѣлалъ... Но она такъ тихо, такъ кротко вынула свою руку... И онъ опять плакалъ, какъ ребенокъ.

Вечеромъ въ тотъ день Элиза Августовна сказала шутя Круциферскому: «Вы вѣрно влюблены? разсѣяны, печальны...» Круциферскій покраснѣлъ до ушей. «Видите, какая я мастерица отгадывать; не хотите ли, я вамъ загадаю на картахъ?» Дмитрій Яковлевичъ испыталъ все, что можетъ испытать злѣйшій преступникъ, не знающій, что извѣстно производящему слѣдствие и на что онъ намекаетъ. «Ну, что же, хотите?» спрашивала неотвязчивая французенка.

— Сдѣлайте одолженіе,—отвѣчалъ молодой человекъ.

И вотъ Элиза Августовна начала съ какой-то демонической улыбкой раскладывать карты, приговаривая: «А вотъ дама de vos pensées! ¹⁾... да вы пресчастливый: она легла возлѣ вашего сердца!.. Поздравляю, поздравляю... возлѣ червонный тузъ... Она васъ очень любить... Это что?—не смѣетъ вамъ сказать. Да вы что за жестокий кавалеръ, заставляете ее страдать!» и проч. При каждомъ словѣ Элиза Августовна устремляла на него пронизательные глазки свои и радовалась отъ всей души пыткой, которой подвергала несчастнаго молодого человекъ. «Pauvre jeune homme ²⁾, она васъ не заставитъ такъ страдать,—ну, гдѣ же найти такую каменную душу...—Да вы говорили ли когда-нибудь ей о вашей любви? Вѣрно, нѣтъ!»—Круциферскій блѣднѣлъ, краснѣлъ, синѣлъ, желтѣлъ и, наконецъ, спасся бѣгствомъ. Пришедши къ себѣ въ комнату, онъ схватилъ листъ бумаги; сердце его билось; онъ восторженно, увлекательно изливалъ свои чувства; это было письмо, поэма, молитва; онъ плакалъ, былъ счастливъ, словомъ, писавши, онъ испыталъ мгновенія полного блаженства. Эти мгновенія, обыкновенно рѣющія, какъ молнія,—лучшее, прекраснѣйшее достояніе нашей жизни, котораго мы не умѣемъ цѣнить, и вмѣсто того, чтобъ упиваться имъ, мы торопимся, тревожные, ожидающіе все чего-то въ будущемъ...

Окончивъ посланіе, Круциферскій сошелъ внизъ. Пили чай.

¹⁾ Вашихъ мыслей.

²⁾ Бѣдный молодой человекъ.

Любонька не выходила изъ своей комнаты: у нея болѣла голова. Глафира Львовна была особенно очаровательна, но на нее никто не обратилъ вниманія. Алексѣй Абрамовичъ глубокомысленно курилъ свою трубку (вы, вѣроятно, не забыли, что его видъ былъ оптической обманъ). Элиза Августовна, проходя за своей чашкой, нашла случай сказать Круциферскому, что ей нужно съ нимъ поговорить. Разговоръ не вязался; Миша дразнилъ собаку, она лаяла, Негровъ велѣлъ еѣ выгнать; наконецъ, горничная съ холстинными рукавами унесла самоваръ, Алексѣй Абрамовичъ раскладывалъ гранъ-пасьянсъ, Глафира Львовна жаловалась на боль въ головѣ. Круциферскій вышелъ въ залу; начинало смеркаться. Элиза Августовна была ужъ тамъ. «Когда смеркнется, выйдите на балконъ; васъ будутъ ждать»,—сказала она. Круциферскій былъ ни живъ, ни мертвъ... Вѣрить ли, нѣтъ ли?.. Ему назначено свиданье; можетъ быть, она, негодующая, хочетъ высказать ему свой гнѣвъ, можетъ... И онъ выбѣжалъ въ садъ; ему показалось, что вдали, въ липовой аллеѣ, мелькнуло бѣлое платье, но итти туда онъ не смѣлъ, онъ не зналъ даже, пойдетъ ли онъ на балконъ, да развѣ для того, чтобъ отдать письмо, на одну минуту—только отдать... Но страшно вздумать, какъ взойти на балконъ... Онъ посмотрѣлъ наверхъ: въ углу балкона виднѣлось, несмотря на то, что совсѣмъ смерклося, бѣлое платье. Это она, она, грустная, задумчивая,—она, быть можетъ, любящая!.. И онъ сталъ на первую ступеньку лѣстницы, которая вела изъ сада на балконъ. Какъ онъ достигнулъ, наконецъ, верхней, я не берусь вамъ передать.

— Ахъ, это вы?—спросила *Любонька* шопотомъ.

Онъ молчалъ, захлебываясь воздухомъ, какъ рыба.

— Какой вечеръ прекрасный!—продолжала *Любонька*.

— Простите меня, простите, Бога ради!—отвѣчалъ Круциферскій и рукою мертвеца взялъ ея руку.

Любонька не отдергивала.

— Прочтите эти строки,—сказалъ онъ,—и вы узнаете то, о чемъ мнѣ говорить такъ трудно...

Снова потокъ слезъ оросилъ его пылающія щеки. *Любонька* жала его руку; онъ облилъ слезами ея руку и осыпалъ поцѣлуями. Она взяла письмо и спрятала на груди своей. Одушевленіе его росло и не зная, какъ случилось, но уста его коснулись ея устъ; первый поцѣлуй любви,—горе тому, кто не испыталъ его! *Любонька* увлеченная, сама напечатлѣла страстный, долгій, трепещущій поцѣлуй... Никогда Дмитрій Яковлевичъ не былъ такъ счастливъ; онъ склонилъ голову себѣ на руку, онъ плакалъ... и вдругъ, поднявъ ее, вскрикнулъ:

— Боже мой, что я надѣлалъ!

Онъ тутъ только разглядѣлъ, что это была вовсе не *Любовька*, а Глафира Львовна.

— Другъ мой, успокойся!—сказала умирающая отъ избытка жизни Негрова. Но Дмитрій Яковлевичъ давно уже сбѣжалъ съ лѣстницы; сойдя въ садъ, онъ пустился бѣжать по липовой аллеѣ, вышелъ вонъ изъ сада, прошелъ село и упалъ на дорогѣ, лишенный силъ, близкій къ удару. Тутъ только вспомнилъ онъ, что письмо осталось въ рукахъ Глафиры Львовны. Что дѣлать? Онъ рвалъ свои волосы, какъ разсерженный звѣрь, и катался по травѣ.

Для поясненія страннаго *qui pro quo* ¹⁾ намъ надобно пріостановиться и сказать нѣсколько пояснительныхъ словъ. Маленькіе глазки Элизы Августовны, очень наблюдательные и пріобученные къ дѣлу, замѣтили, что съ тѣхъ поръ, какъ семья Негрова увеличилась вступленіемъ въ нее Круциферскаго, Глафира Львовна сдѣлалась нѣсколько внимательнѣе къ своему туалету; что блуза ея какъ-то иначе надѣвалась; появились всякіе воротнички, разные чепчики, обращено было вниманіе на волосы, и густая коса Палашки, имѣвшая несчастіе подходить подъ цвѣтъ остатковъ шевелюры Глафиры Львовны, снова начала привязываться, несмотря на то, что ее уже немножко подѣла моль. Въ самомъ мягкомъ и дородномъ лицѣ почтенной матери семейства оказались какія-то новыя черты, доселѣ тихо скрывавшіяся въ полнотѣ ея ланитъ; то улыбка—и глаза сдѣлаются масляные, то вздохъ—и глаза сдѣлаются медовые... Элиза Августовна не проронила ни одной изъ этихъ перемѣнъ; когда же она, случайно зашедши въ комнату Глафиры Львовны во время ея отсутствія и случайно отворивъ ящикъ туалета, нашла въ немъ початую баночку *rouge végétal* ²⁾, которая лѣтъ пятнадцать покоилась рядомъ съ какой-то глазной примочкой въ кладовой,—тогда она воскликнула внутри своей души: «теперь пора и мнѣ выступить на сцену!». Въ тотъ же вечеръ, оставшись наединѣ съ Глафирой Львовной, мадамъ начала рассказывать о томъ, какъ одна, — разумѣется, княгиня — *интересовалась* однимъ молодымъ человѣкомъ, какъ у нея (т. е. у Элизы Августовны) сердце изныло, видя, что ангель-княгиня сохнетъ, страдаетъ; какъ княгиня, наконецъ, пала на грудь къ ней, какъ къ единственному другу, и живописала ей свои волненія, свои сомнѣнія, прося ея совѣта; какъ она разрѣшила ея сомнѣнія, дала совѣты, какъ потомъ княгиня перестала сохнуть и страдать, напротивъ, начала толстѣть и веселиться. Глафира Львовна сгорала вечернимъ огнемъ своимъ

¹⁾ Недоразумѣніе.

²⁾ Румяна.

отъ этихъ розказней. Обыкновенно думаютъ, что толстые люди неспособны ни къ какой страсти, — это неправда: пожаръ бываетъ очень продолжителенъ тамъ, гдѣ много жирныхъ веществъ, лишь бы разгорѣться. А Элиза Августовна, какъ видите, заняла должность раздувательныхъ мѣховъ и раздула маленькія эротическія искорки, бѣгавшія по Глафирѣ Львовнѣ, въ довольно большой огонекъ. Она не дошла, правда, до того, чтобъ Глафира Львовна ей повѣрила свою тайну; она имѣла даже великодушіе не вынуждать у нея признанія, потому что это было вовсе не нужно: она хотѣла имѣть Глафиру Львовну въ своей власти, — и успѣхъ былъ несомнѣненъ. Глафира Львовна въ продолженіе двухъ недѣль сдѣлала ей два подарка: купавинской фабрики платокъ и одно изъ своихъ шелковыхъ платьевъ.

Круциферскій, чистый и дѣвственный не только въ поступкахъ, но и въ самыхъ мечтахъ, не догадывался, что значить предупредительная услужливость французенки, ея двусмысленные намеки и, наконецъ, двусмысленные взгляды Глафиры Львовны. Эта недогадливость его, застѣнчивая разсѣянность и потупленные взоры раздували болѣе и болѣе страсть сорокалѣтней женщины; странное ниспроверженіе обыкновеннаго отношенія половъ придавало особый интересъ; въ самомъ дѣлѣ, Глафира Львовна играла роль завоевателя и соблазнителя, а Дмитрій Яковлевичъ — невинной дѣвушки, около которой злонамѣрный паукъ началъ плести свою паутину. Добрый Негровъ ничего не замѣчалъ, ходилъ попрежнему разспрашивать садовникову жену о состояніи фруктовыхъ деревьевъ, и тотъ же миръ и совѣтъ царилъ въ патріархальномъ домѣ Алекскія Абрамовича. Теперь мы можемъ возвратиться на балконъ.

Глафира Львовна, не понимая хорошенько бѣгства своего Юсифа и прохладивъ себя нѣсколько вечернимъ воздухомъ, пошла въ спальню, и, какъ только осталась одна, т. е. вдвоемъ съ Элизой Августовной, она вынула письмо; ея обширная грудь волновалась; она дрожащими перстами развернула письмо, начала читать и вдругъ вскрикнула, какъ будто, ящерица или лягушка, завернутая въ письмо, скользнула ей за пазуху. Три горничныя вбѣжали въ комнату; Элиза Августовна схватила письмо. Глафира Львовна требовала одеколонъ, испуганная горничная подала ей летучей мази, она велѣла себѣ лить ее на голову... «Ah, le traître, le scélérat! ¹⁾... можно ли было ожидать отъ этой скромницы!.. Англичанка-то наша... нѣтъ, этого хамова поколѣнія ничѣмъ не облагородишь: ни искры благодарности, ничего!.. Я отогрѣла змѣю на груди своей!»

¹⁾ «Ахъ измѣнникъ, злодѣй».

Элиза Августовна была въ положеніи одного моего знакомаго чиновника, который, всю жизнь успѣшно плутовавъ, подалъ въ отставку, будучи увѣренъ что его не кѣмъ замѣнить; подалъ въ отставку, чтобъ остаться на службѣ,—и получилъ отставку: обманывая цѣлый вѣкъ, онъ кончилъ тѣмъ, что обманулъ самого себя. Какъ женщина смѣтливая, она поняла, въ чемъ дѣло, поняла, какого маху она дала, да съ тѣмъ вмѣстѣ сообразила, что она и Глафира Львовна столько же въ рукахъ Круциферскаго, сколько онъ въ ихъ, сообразила, что, если ревность Глафиры Львовны раздражитъ его, онъ можетъ уличить Элизу Августовну и, если не имѣетъ средства доказать, то все же бросить недовѣріе въ душу Алексѣя Абрамовича. Пока она обдумывала, какъ укротить гнѣвъ оставленной Дидоны, вошелъ въ спальню Алексѣй Абрамовичъ, зѣвая и осѣняя крестомъ ротъ свой... Элиза Августовна была въ отчаяніи.

— Алексисъ!—воскликнула негодующая супруга,—никогда бы въ голову мнѣ не пришло, что случилось; представь себѣ, мой другъ: этотъ скромный-то учитель,—онъ въ перепискѣ съ Любонькой да въ какой перепискѣ,—читать ужасно; погубилъ беззащитную сироту!.. Я тебя прошу, чтобъ завтра его нога не была въ нашемъ домѣ. Помилуй, передъ глазами нашей дочери... она, конечно, еще ребенокъ, но это можетъ подѣйствовать на имагинацію.

Алексисъ не былъ одаренъ способностью особенно быстро понимать дѣла и обсуживать ихъ. Къ тому же онъ былъ удивленъ не менѣе, какъ въ медовый мѣсяцъ послѣ свадьбы, когда Глафира Львовна заклинала его могилой матери, прахомъ отца позволить ей взять дитя преступной любви. Сверхъ всего этого, Негровъ хотѣлъ смертельно спать; время для доклада о перехваченной перепискѣ было дурно выбрано: человекъ сонный можетъ только сердиться на того, кто ему мѣшаетъ спать,—нервы дѣйствуютъ слабо, все находится подъ вліяніемъ устали.

— Что такое? Какая переписка у Любы?

— Да, да, переписка у Любоньки съ этимъ студентомъ... Благодравница-то наша... Ужъ признаться, отъ такого рожденія всегда бывають такіе плоды!..

— Ну, что же въ этой перепискѣ? Стакнулись что ли? А? Поди, береги дѣвку въ семнадцать лѣтъ; не даромъ все одна сидитъ, голова болитъ да то, да сѣ... Да я его, мошенника, жениться на ней заставлю. Что онъ, забылъ что ли, у кого въ домѣ живетъ! Гдѣ письмо? Фу, ты пропасть какая, какъ мелко писано! Учитель, а самъ писать не умѣетъ, выводитъ мышинья лапки. Прочти-ка, Глаша.

— Я и читать не стану такихъ скандалей.

— Вздоръ какой несеть! сорокъ лѣтъ бабѣ, а все еще туда же! Дашка, принеси очки изъ кабинета.

Дашка, хорошо знавшая дорогу въ кабинетъ, принесла очки. Алексѣй Абрамовичъ сѣлъ къ свѣчкѣ, зѣвнулъ, приподнялъ верхнюю губу, что придадо его носу очень почтенное выраженіе, прищурилъ глаза и началъ съ большимъ трудомъ, съ какимъ-то тяжело книжнымъ произношеніемъ читать: «...Да, будьте моей Алиной. Я безумно, страстно, восторженно люблю васъ; ваше имя Любовь...»

— Экой балясникъ какой!—прибавилъ генераль.

«...Я ничего не надѣюсь, я не смѣю и мечтать объ вашей любви; но моя грудь слишкомъ тѣсна, я не могу не высказать вамъ, что я васъ люблю. Простите мнѣ, у вашихъ ногъ прошу васъ, простите...»

— Фу ты вздоръ какой! Это еще начало первой страницы... Нѣтъ, братъ, довольно! Покорный слуга читать белиберду такую!... Предупредить было не ваше дѣло! чего смотрѣли? зачѣмъ дали имъ стакнуться?.. Ну, да бѣда-то не велика: у бабы волосъ дологъ, да умъ коротокъ. Что нашли въ письмѣ? враки; а, то есть, на счетъ того ничего нѣтъ... А замужъ Любу пора, и онъ чѣмъ не женихъ? Докторъ говоритъ, что онъ десятаго класса. Попробуй-ка позаартачиться у меня... Утро вечера мудренѣе; пора спать; прощай, Лизавета Августовна... Глаза зорки, а не доглядѣла... Ну, да завтра поговоримъ!

И генераль сталъ раздѣваться и черезъ минуту захрапѣлъ, уснувъ съ мыслью, что Круциферскій у него не отвертится, что онъ его женить на Любѣ,—ему наказанье, а ее пристроить къ мѣсту.

Это былъ день неудачъ. Глафира Львовна никакъ не ожидала, что въ умѣ Негрова дѣло это приметъ такой оборотъ; она забыла, какъ въ послѣднее время сама безпрестанно говорила Негрову о томъ, что пора Любу отдать замужъ; съ бѣшенствомъ влюбленной старухи бросилась она на постель и готова была кусать наволочки, а, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ кусала ихъ.

Бѣдный Круциферскій все это время лежалъ на травѣ; онъ такъ искренно, такъ отъ души желалъ умереть, что будь это во время дамскаго управленія Парокъ, онъ бы не вытерпѣли и перерѣзали бы его ниточку. Удрученный тягостными чувствами, преданный отчаянію и страху, страху и стыду, изнеможенный, онъ кончилъ тѣмъ, чѣмъ началъ Алексѣй Абрамовичъ, т. е. уснулъ. Не будь у него *febris erotica* ¹⁾, какъ выражался насчетъ любви

¹⁾ Любовная лихорадка.

докторъ Круповъ, у него непременно сдѣлалось бы febris cathargalis ¹⁾; но тутъ холодная роса была для него благотворна: сонъ его, сначала тревожный, успокоился, и, когда онъ проснулся часа черезъ три, солнце всходило... Гейне совершенно правъ, говоря, что это — старая штука: отсюда оно всходитъ, а тамъ садится; тѣмъ не менѣе, эта старая штука недурна; какова она должна быть для влюбленнаго, — и говорить нечего. Воздухъ былъ свѣжъ, полонъ особаго внутренняго запаха: роса тяжелыми, бѣловатыми массаами подавалась назадъ, оставляя за собою миллионы блестящихъ капель; пурпуровое освѣщеніе и непривычныя тѣни придавали что-то новое, странно изящное, деревьямъ, крестьянскимъ избамъ, всему окружающему; птицы пѣли на разные голоса, небо было чисто. Дмитрій Яковлевичъ всталъ, и на душѣ у него сдѣлалось легче; передъ нимъ вилась и пропадала дорога; онъ долго смотрѣлъ на нее и думалъ: не уйти ли ему по ней, не убѣжать ли отъ этихъ людей, поймавшихъ его тайну, его святую тайну, которую онъ самъ уронилъ въ грязь? Какъ онъ воротится домой, какъ встрѣтится съ Глафирой Львовной?!.. Лучше бы бѣжать: но какъ же оставить ее, гдѣ найти силы разстаться съ нею?... И онъ тихими шагами пошелъ назадъ.

Вошедши въ садъ, онъ увидѣлъ въ липовой аллеѣ бѣлое платье; яркій румянецъ выступилъ у него на щекахъ при воспоминаніи о страшной ошибкѣ, о первомъ поцѣлуѣ, но на этотъ разъ тутъ была Любонька. Она сидѣла на своей любимой лавочкѣ и задумчиво, печально смотрѣла въ даль. Дмитрій Яковлевичъ прислонился къ дереву и съ какимъ-то вдохновеннымъ упоеніемъ смотрѣлъ на нее. Въ самомъ дѣлѣ, въ эту минуту она была поразительно хороша; какая-то мысль сильно занимала ее; ей было грустно, и грусть эта придавала нѣчто величественное чертамъ ея, энергическимъ, рѣзкимъ, юно-прекраснымъ. Молодой человекъ долго стоялъ, погруженный въ созерцаніе; его взглядъ былъ полонъ любви и благочестія; наконецъ, онъ рѣшился подойти къ ней. Необходимость съ нею поговорить была велика; ее надобно было предупредить на счетъ письма. Любонька нѣсколько смутилась, увидя Круциферскаго, но тутъ не было никакой натяжки, ничего театральнаго; бросивъ быстро взглядъ на утренній нарядъ свой, въ которомъ она не ожидала встрѣчи ни съ кѣмъ, и также быстро оправивъ его, она подняла спокойный, благородный взглядъ на Дмитрія Яковлевича. Дмитрій Яковлевичъ стоялъ передъ нею, сложивъ руки на груди; она встрѣтила взоръ его, умоляющій, исполненный любви,

¹⁾ Катарральная лихорадка.

страданія, надежды, упоенія, и протянула ему руку; онъ сжалъ ее со слезами на глазахъ... Господа, какъ въ юности хорошъ человѣкъ!..

Признаніе, вырвавшееся по поводу «Алины и Альсима», сильно потрясло Любоньку. Она гораздо прежде, съ той женской пронизательностью, о которой мы говорили, чувствовала, что она любима, но это было нѣчто подразумѣваемое, не названное словомъ; теперь слово было произнесено, и она вечеромъ писала въ своемъ журналѣ:

«Едва могу сколько-нибудь привести въ порядокъ мои мысли. Ахъ, какъ онъ плакалъ! Боже мой, Боже мой! я никогда не думала, чтобъ мужчина могъ такъ плакать. Его взглядъ одаренъ какой-то силой, заставившей меня трепетать, и не отъ страха; его взглядъ такъ нѣженъ, такъ кротокъ, кротокъ, какъ его голосъ... Мнѣ такъ жаль его было; кажется, если-бъ я послушалась моего сердца, я бы сказала ему, что люблю его, поцѣловала бы для того, чтобъ утѣшить. Онъ былъ бы счастливъ... Да, онъ любитъ меня; я это вижу, я сама люблю его. Какая разница между нимъ и всѣми, кого я видала! Какъ онъ благороденъ, нѣженъ! Онъ мнѣ рассказывалъ о своихъ родителяхъ: какъ онъ ихъ любитъ! Зачѣмъ онъ мнѣ сказалъ: «будь моей Алиной!»? У меня есть свое имя, оно хорошо; я его люблю, я могу быть его, оставаясь собою... Достойна ли я любви его? Мнѣ кажется, что не могу такъ сильно любить! Опять эта черная мысль, вѣчно терзающая меня...»

— Прощайте,—сказала Любонька:—да перестаньте же такъ бояться письма; я ничего не боюсь, я знаю ихъ.

Она пожала ему руку такъ дружески, такъ симпатично и скрылась за деревьями. Круциферскій остался. Они долго говорили. Куциферскій былъ больше счастливъ, нежели вчера несчастливъ. Онъ вспоминалъ каждое слово ея, носился мечтами, Богъ знаетъ, гдѣ, и одинъ образъ переплетался со всѣми. Вездѣ она, она... Но мечтамъ его положилъ предѣлъ казачокъ Алексѣя Абрамовича, пришедшій звать его къ нему. Утромъ въ такое время его ни разу не требовалъ Негровъ.

— Что?—спросилъ его Круциферскій съ видомъ человѣка, которому на голову вылили ушатъ холодной воды.

— Да то-съ, что къ барину пожалуйте,—отвѣчалъ казачокъ довольно грубо.

Видно было, что исторія письма проникла въ переднюю.

— Сейчасъ,—сказалъ Круциферскій, полумертвый отъ страха и стыда.

Чего было бояться ему? Кажется, не было никакого сомнѣнія, что Любонька его любитъ: чего ему еще? Однако, онъ былъ ни

живъ, ни мертвъ отъ страха да и былъ ни живъ, ни мертвъ отъ стыда; онъ никакъ не могъ сообразить, что роль Глафиры Львовны вовсе не лучше его роли. Онъ не могъ себѣ представить, какъ встрѣтится съ нею. Извѣстное дѣло, что совершались преступленія для поправки неловкости...

— А что, любезнѣйшій?!—сказалъ Негровъ, съ видомъ величественнымъ и приличнымъ важному дѣлу, его занимавшему. — А что, это у васъ въ университетѣ что ли обучаютъ цидулки-то любовныя писать?

Круциферскій молчалъ; онъ былъ такъ взволнованъ, что тонъ Негрова его не оскорблялъ. Этотъ видъ, растерянный и страдающій, пришпорилъ храбраго Алексѣя Абрамовича, и онъ чрезвычайно громко продолжалъ, глядя прямо въ лицо Дмитрію Яковлевичу:

— Какъ же вы, милостивый государь, осмѣлились въ моемъ домѣ заводить такія шашни? Да что же вы думаете объ моемъ домѣ? Да и я-то что, болванъ что ли? Стыдно, молодой человекъ, и безнравственно совращать бѣдную дѣвушку, у которой ни родителей, ни защитниковъ, ни состоянія... Вотъ нынѣшній вѣкъ! оттого что всему учать вашего брата—грамматикѣ, ариѳметикѣ, а морали не учать... Ославить дѣвушку, лишить добраго имени...

— Да помилуйте,—отвѣчалъ Круциферскій, у котораго мало-малу негодованіе побѣдило сознаніе нелѣпаго своего положенія:— что же я сдѣлалъ? я люблю Любовь Александровну (ее звали Александровной, вѣроятно, потому, что отца звали Алексѣемъ, а камердинера, мужа ея матери, Аксѣномъ) и осмѣлился высказать это. Мнѣ самому казалось, что я никогда не скажу ни слова о моей любви,—я не знаю, какъ это случилось; но что же вы находите преступнаго? почему вы думаете, что мои намѣренія порочны?

— А вотъ почему: если-бъ вы имѣли честныя намѣренія, такъ вы бы не стали съ толку сбивать дѣвушку своими билье-ду, а пришли бы ко мнѣ. Вы знаете, по плоти я ей отецъ, такъ вы бы и пришли ко мнѣ, да и попросили бы моего согласія и позволенія; а вы заднимъ крыльцомъ пошли да и попались,—прошу на меня не пенять: я у себя въ домѣ такихъ романовъ не допущу; мудреное ли дѣло дѣвкѣ голову вскружить! Нѣтъ, не ожидалъ я отъ васъ; вы мастерски прикидывались скромникомъ; и она-то отличилась, поблагодарила за воспитаніе и за попеченіе! Глафира Львовна всю ночь проплакала.

— Письмо въ вашихъ рукахъ,—замѣтилъ Круциферскій,— вы изъ него можете увидѣть, что оно первое.

— Первый блинъ, да комомъ. А что, въ этомъ первомъ письмѣ вы просите ея руки, что ли?

— Я не смѣлъ и думать.

— Какъ это на одно такъ смѣлы, а на другое робки? Съ какою же цѣлью вы писали мышиныя лапки на цѣломъ почтовомъ листѣ кругомъ?

— Я, право,—отвѣчалъ Круциферскій, пораженный словами Негрова:—не смѣлъ и думать о рукѣ Любви Александровны: я былъ бы счастливѣйшій изъ смертныхъ, если-бъ могъ надѣяться...

— Краснорѣчіе! Вотъ васъ этому-то тамъ учать, морочить словами! А позвольте васъ спросить: если-бъ я и позволилъ вамъ сдѣлать предложеніе и былъ бы не прочь выдать за васъ Любу, чѣмъ же вы станете жить?

Негровъ, конечно, не принадлежалъ къ особенно умнымъ людямъ, но онъ обладалъ вполнѣ нашей національной сноровкой,—этимъ особымъ складомъ практическаго ума, который такъ рѣзко называется «себѣ на умѣ». Выдать Любу замужъ за кого бы то ни было,—было его любимую мечтою, особенно послѣ того, какъ почтенные родители замѣтили, что при ней милая Лизанька теряетъ очень много. Гораздо прежде письма Алексѣю Абрамовичу приходило въ голову женить Круциферскаго на Любонькѣ да и пристроить его гдѣ-нибудь въ губернской службѣ. Мысль эта явилась на томъ основаніи, на которомъ онъ говорилъ, что если секретарикъ добренькій подвернется, то Любу и отдать за него. Первое, что ему пришло въ голову, когда онъ открылъ любовь Круциферскаго,—заставить его жениться; онъ думалъ, что письмо было шалостью, что молодой человекъ не такъ-то легко надѣнетъ на себя ярмо брачной жизни. Изъ отвѣтовъ Круциферскаго Негровъ ясно видѣлъ, что тотъ жениться не прочь, и потому онъ тотчасъ перемѣнилъ сторону атаки и завелъ рѣчь о состояніи, боясь, что Круциферскій, рѣшась на бракъ, спроситъ его о приданомъ.

Круциферскій молчалъ; вопросъ Негрова придавилъ чугунной плитою его грудь.

— Вы,—продолжалъ Негровъ:—вы не ошибаетесь ли насчетъ ея состоянія? У нея ничего нѣтъ и ждать не откуда; конечно, изъ моего дома я выпущу ее не въ одной юбкѣ, но, кромѣ тряпья, я не могу ничего дать: у меня своя невѣста растетъ.

Круциферскій замѣтилъ, что вопросъ о приданомъ совершенно чуждъ для него. Негровъ былъ доволенъ собою и думалъ про себя: «вотъ настоящая овца, а еще ученый!»

— Вотъ то-то, любезнѣйшій; съ конца добрые люди не начинаютъ. Прежде, нежели цидулки писать да сбивать съ толку, надобно бы подумать, что впередъ; если вы въ самомъ дѣлѣ ее лю-

бите, да хотите руки просить, отчего же вы не позаботились о будущемъ устройствѣ?

— Что мнѣ дѣлать?!—спросилъ Круциферскій голосомъ, который потрясъ бы всякаго человѣка съ душою.

— Что дѣлать? Вѣдь, вы — классный чиновникъ да еще, кажется, десятаго класса. Ариѳметику-то да стихи—въ сторону; попроситесь на службу царскую; полно баклуши бить,—надобно быть полезнымъ; подите-ка на службу въ казенную палату: вице-губернаторъ намъ свой человѣкъ; со временемъ будете совѣтникомъ, — чего вамъ больше? и кусокъ хлѣба обезпечень, и почетное мѣсто.

Отроду Круциферскому не приходило въ голову итти на службу въ казенную или въ какую бы то ни было палату; ему было такъ же мудрено себя представить совѣтникомъ, какъ птицей, ежомъ, шмелемъ или не знаю чѣмъ. Однако, онъ чувствовалъ, что въ основѣ Негровъ правъ; онъ такъ былъ непроницателенъ, что не сообразилъ оригинальной патріархальности Негрова, который увѣрялъ, что у Любоньки ничего нѣтъ, и что ей ждать не откуда, и вмѣстѣ съ тѣмъ распоряжался ея рукой, какъ отецъ.

— Я могъ бы лучше занять мѣсто учителя гимназіи,—сказалъ, наконецъ, Дмитрій Яковлевичъ.

— Ну, это будетъ поплоче. Что такое учитель гимназіи? Чиновникъ и нѣтъ, и къ губернатору никогда не приглашаютъ,—развѣ одного директора,—жалованье бѣдное.

Послѣдняя рѣчь была произнесена обыкновеннымъ тономъ; Негровъ совершенно успокоился на счетъ негоціаціи и былъ увѣренъ, что Круциферскій изъ его рукъ не ускользнетъ.

— Глаша!—закричалъ Негровъ въ другую комнату:—Глаша! Круциферскій помертвѣлъ: онъ думалъ, что послѣдній поцѣлуй любви для Глафиры Львовны такъ же былъ важенъ и поразителенъ, какъ для него первый поцѣлуй, попавшійся не по адресу.

— Что тебѣ?—отвѣчала Глафира Львовна.

— Поди сюда.

Глафира Львовна вошла, придавая себѣ гордую и величественную мину, которая, разумѣется, къ ней не шла и которая худо скрывала ея замѣшательство. По несчастію, Круциферскій не могъ этого замѣтить: онъ боялся взглянуть на нее.

— Глаша!—сказалъ Негровъ:—вотъ Дмитрій Яковлевичъ проситъ Любонькиной руки. Мы ее всегда воспитывали и держали, какъ дочь родную, и имѣли право располагать ея рукою: ну, а все же не мѣшаетъ съ нею поговорить; это—твое женское дѣло.

— Ахъ, Боже мой! вы сватаетесь? какія новости!—сказала съ горечью Глафира Львовна.—Да это сцена изъ «Новой Элоизы!»¹⁾

Если-бъ я былъ на мѣстѣ Круциферскаго, то сказалъ бы, чтобъ не отстать въ учености отъ Глафиры Львовны: «Да-съ, а вчерашнее происшествіе на балконѣ — сцена изъ «Фоблаза»²⁾). Круциферскій промолчалъ.

Негровъ всталъ, въ ознаменованіе конца засѣданія, и сказалъ:

— Только прошу не думать о Любонькиной рукѣ, пока не получите мѣста. Послѣ всего, совѣтую, государь мой, быть осторожнымъ: я буду имѣть за вами глаза да глаза. Вамъ почти и оставаться-то у меня въ домѣ неловко. Навязали и мы себѣ работу съ этой Любонькой!

Круциферскій вышелъ. Глафира Львовна съ величайшимъ пренебреженіемъ отзывалась о немъ и заключила свою рѣчь тѣмъ, что такое холодное существо, какъ Любонька, пойдетъ за всякаго, но счастья не можетъ доставить никому.

На другой день утромъ, Круциферскій сидѣлъ у себя въ комнатѣ, погруженный въ глубокую думу. Едва прошли двое сутокъ послѣ чтенія «Алины и Альсима», и вдругъ онъ—почти женихъ, она—его невѣста, онъ идетъ на службу... Что за странная власть рока, которая такъ распоряжается его жизнью, подняла его наверхъ человѣческаго благополучія, и чѣмъ же? подняла тѣмъ, что онъ поцѣловалъ одну женщину вмѣсто другой, отдалъ ей чужую записку. Не чудеса ли, не сонъ ли все это? Потомъ онъ припоминалъ опять и опять всѣ слова, всѣ взгляды Любоньки въ липовой аллеѣ, и на душѣ у него становилось широко, торжественно.

Вдругъ слышались чьи-то тяжелые шаги по корабельной лѣстницѣ, которая вела къ нему въ комнату. Круциферскій вздрогнулъ и съ какимъ-то полустрахомъ ждалъ появленія лица, поддерживаемаго такими тяжелыми шагами. Дверь отворилась, и вошелъ нашъ старый знакомый,—докторъ Круповъ. Появленіе его весьма удивило кандидата. Онъ всякую недѣлю ѣздилъ разъ, а иногда и два къ Негрову, но въ комнату Круциферскаго никогда не ходилъ. Его посѣщеніе предвѣщало что-то особенное.

— Этакая проклятая лѣстница! — сказалъ онъ, задыхаясь, и обтирая *бѣлыми* платкомъ потъ съ лица. — Нашелъ же Алексѣй Абрамовичъ для васъ комнату.

— Ахъ, Семень Ивановичъ,—произнесъ быстро кандидатъ и покраснѣлъ, Богъ знаетъ почему.

¹⁾ Романъ Ж.-Ж. Руссо.

²⁾ Старинный романъ Луве де-Куврэ, считавшійся прежде скабреснымъ.

— Ба!—продолжалъ докторъ:—да какой видъ изъ оконъ... Это вонъ вдали-то виднѣтся дубасовская церковь что ли, вотъ вправо-то?

— Кажется; навѣрное, впрочемъ, не знаю,—отвѣчалъ Крциферскій, пристально посмотрѣвъ налѣво.

— Студентъ, неизлѣчимый студентъ! Ну, какъ живете вы здѣсь мѣсяцы и не знаете, что изъ окна видно! Охъ, молодость!.. Ну, дайте-ка вашу руку пощупать.

— Я, слава Богу, здоровъ, Семень Ивановичъ.

— Вотъ вамъ и слава Богу,—продолжалъ докторъ, подержавъ руку Крциферскаго: — я зналъ это: усиленный и неравномѣрный. Позвольте-ка... разъ, два, три, четыре... лихорадочный, жизненная дѣятельность сильно поднята. Вотъ съ такимъ-то пульсомъ человѣкъ и рѣшается на всякія глупости; бейся пульсъ ровно: тукъ, тукъ, тукъ,—никогда бы вы не дошли до этого. Мнѣ тамъ, внизу, почтеннѣйшій мой, говорятъ: «хочеть-де жениться», — ушамъ не вѣрю; ну, вѣдь малый, думаю, не глупый, я же его изъ Москвы привезъ... не вѣрю; пойду, посмотрю. Такъ и есть: усиленный и неравномѣрный; да при этомъ пульсъ не только жениться, а чортъ знаетъ какихъ глупостей можно надѣлать. Ну, кто же въ лихорадочномъ состояніи рѣшится на такой важный шагъ? Подумайте. Полѣчитесь прежде, приведите органъ мышления, т. е. мозгъ, въ нормальное состояніе, чтобъ кровь-то ему не мѣшала. Хотите, я пришлю фельдшера пустить вамъ кровь, ну, такъ,—чайную чашечку съ половинкой?

— Покорнѣйше благодарю, я не чувствую никакой нужды.

— Гдѣ же вамъ знать, что нужно и что нѣтъ: вѣдь, вы медицинѣ совсѣмъ не учились, а я выучился. Ну, не хотите кровопусканья, примите глауберовой соли; аптечка со мной, я, пожалуй, дамъ.

— Я вамъ очень благодаренъ за участіе, но долженъ предупредить васъ, что я здоровъ и вовсе не шутя, а въ самомъ дѣлѣ хочу (здѣсь онъ запнулся)... жениться и не понимаю, что вы имѣете противъ моего благополучія.

— Очень многое! — Старикъ сдѣлалъ пресерьезное лицо.— Я васъ люблю, молодой человѣкъ, и потому жалѣю. Вы, Дмитрій Яковлевичъ, на закатѣ моихъ дней напомнили мнѣ мою юность, много прошедшаго напомнили; я вамъ желаю добра и молчать теперь мнѣ показалось преступленіемъ. Ну, какъ вамъ жениться въ вашъ лѣта? Вѣдь, это Негровъ васъ надуль... Вотъ видите ли, какъ вы взволнованы, вы не хотите меня слушать, я это вижу, но я васъ заставляю выслушать меня: лѣта имѣютъ свои права...

— О, нѣтъ, Семень Ивановичъ,—сказалъ молодой человѣкъ,

нѣсколько смѣшавшись отъ словъ старика:—я понимаю, что изъ любви ко мнѣ, изъ желанія добра вы высказываете свое мнѣніе; мнѣ жаль только, что оно нѣсколько излишне, даже поздно.

— О, если-бъ только то вы имѣли противъ моего мнѣнія, это—сущая бездѣлица; никогда не поздно остановиться. Бракъ... у-у какое тяжелое дѣло! Бѣда въ томъ, что одни тѣ и не думаютъ, что такое бракъ, которые вступаютъ въ него, то есть послѣ-то и раздумаютъ на досугѣ, да поздненько: это все — febris egotica; гдѣ человѣку обсудить такой шагъ, когда у него пульсъ бьется, какъ у васъ, любезный другъ мой? Вы понтируете на все свое состояніе: можетъ быть, и удастся сорвать банкъ, можетъ... да какой же умный человѣкъ будетъ рисковать? Ну, да въ картахъ самъ виновать, самъ и наказанъ: по дѣломъ вору мука. А въ женитьбѣхъ непременно съ собою топишь еще человѣка. Эй, Дмитрій Яковлевичъ, подумай! Я вѣрю, что вы ее любите, что и она васъ любитъ, но это ничего не значить. Будьте увѣрены, что любовь пройдетъ въ обоихъ случаяхъ: уѣдете куда-нибудь—пройдетъ; женитесь—еще скорѣе пройдетъ; я самъ былъ влюбленъ и не разъ, а разъ пять, но Богъ спасъ; и я, возвращаясь теперь домой, спокойно и тихо отдыхаю отъ своихъ трудовъ; день я весь принадлежу моимъ больнымъ, вечеркомъ въ вистикъ сыграешь да и ляжешь себѣ безъ заботы... А съ женою—хлопоты, крикъ, дѣти... да весь міръ погибай, кромѣ моей семьи! Трудно жить на мѣстѣ, трудно перебираться; пойдутъ мелкія сплетни, вертись около своего очага, книгу подъ лавку; надобно думать о деньгахъ, о запасахъ. Теперь, хоть бы объ васъ молвить: придетъ иной разъ нужда,—что за бѣда, всякое бываетъ! Мы, бывало, съ Антономъ Фердинандовичемъ,—знакомый вамъ человѣкъ:—денегъ какой-нибудь рубль, а ѣсть и курить хочется; купимъ четверку «фалеру», такъ ужъ, кромѣ хлѣба, ничего не ѣдимъ, а купимъ фунтъ ветчины, такъ ужъ и не куримъ, да оба и хохочемъ надъ этимъ, и все ничего; а съ женой не то: жену жаль, жена будетъ ревѣть...

— О, нѣтъ! Эта дѣвушка, навѣрное, найдетъ силы перенести нужду. Вы ее не знаете!

— Это-то, любезнѣйшій, еще хуже; какъ бы очень-то начала кричать,—разсердить, по крайней мѣрѣ, плюнешь да и прочь пойдешь; а какъ будетъ молчать да худѣть, а ты-то себѣ: «бѣдная, за что я тебя стащилъ на Антоніеву пищу»... Поломаешь голову, какъ бы достать денегъ. Ну, честнымъ путемъ, братъ, не разживешься, плутовать не станешь,—вотъ ты подумаешь, подумаешь да для освѣженія головы ихватишь горькенькаго; оно ничего—я самъ употребляю желудочную, — а знаешь, какъ вторую съ горя-то да

третью... понимаешь? Ну, да положимъ, что и будетъ кусокъ хлѣба... то есть не больше; вѣдь, она хоть и дочь Негрову, а Негровъ-то хоть и богатъ, да, вѣдь, я его знаю—не разгуляется! Вотъ за дочерью-то онъ приготовилъ пятьсотъ душъ, ну, а Любонькѣ развѣ пять тысячъ рублей дастъ: что за капиталъ?.. Охъ, жаль мнѣ тебя, Дмитрій Яковлевичъ! Ну, пусть другіе, которые лучшаго ничего изъ себя не сдѣлаютъ,—ты-то бы поберегъ себя. Я бы предложилъ вамъ другое мѣсто; поскорѣе отсюда вонъ—любовь-то и поразсѣялась бы; у насъ въ гимназіи открылась хорошая ваканція. Не ребячься, будь мужчина!

— Право, Семень Ивановичъ, я благодаренъ вамъ за участіе; но все это совершенно лишнее, что вы говорите: вы хотите застраховать меня, какъ ребенка. Я лучше разстанусь съ жизнью, нежели откажусь отъ этого ангела. Я не смѣлъ надѣяться на такое счастье; самъ Богъ устроилъ это дѣло.

— Экъ его!—сказалъ неумолимый Круповъ:—а все я его погубилъ: ну, зачѣмъ было рекомендовать въ этотъ домъ! Богъ устроилъ—какъ же! Негровъ тебя надулъ да твоя молодость. Такъ и быть, не хочу ничего утаивать. Я, любезный Дмитрій Яковлевичъ, долго жилъ на свѣтѣ и не похвастаюсь умомъ, а много наметался. Знаете, наша должность медика ведетъ насъ не въ гостиную, не въ залу, а въ кабинетъ да въ спальню. Я много видѣлъ на своемъ вѣку людей и ни одного не пропускалъ, чтобъ не разсмотрѣть его на обѣ корки. Вы, вѣдь, все людей видите въ ливреяхъ да въ ма-скарадныхъ платьяхъ,—а мы за кулисы ходимъ; наглядѣлся я на семейныя картины; стыдиться-то тутъ некого, люди тутъ на распашку, безъ церемоніи. Homo sapiens ¹⁾! какой sapiens, къ чорту! ferus ²⁾),—звѣрь, самый дикій, въ своей берлогѣ кротокъ, а человѣкъ въ берлогѣ-то своей и дѣлается хуже звѣря... Къ чему, бишь, я это началъ?.. да... да... ну, такъ я привыкъ такіе характеры разбирать. Не пара тебѣ твоя невѣста, ужъ что ты хочешь,—эти глаза, этотъ цвѣтъ лица, этотъ трепеть, который иногда пробѣгаетъ по лицу,—она тигренокъ, который еще не знаетъ своей силы; а ты—да что ты? Ты—невѣста; ты, братецъ,—нѣмка; ты будешь жена,—ну годно ли это?

Круциферскій обидѣлся послѣдней выходкой и, противъ своего обыкновенія, довольно холодно и сухо сказалъ:

— Есть случаи, въ которыхъ принимающіе участіе помогаютъ, а не читаютъ диссертациі. Можетъ быть, все то, что вы говорите,

¹⁾ Человѣкъ разумный.

²⁾ Дикій.

правда,—я не стану возражать; будущее — дѣло темное; я знаю одно: мнѣ теперь два выхода,—куда они ведутъ, трудно сказать, но третьяго нѣтъ: или броситься въ воду, или быть счастливѣйшимъ человѣкомъ.

— Лучше броситься въ воду: разомъ конецъ!—сказалъ Круповъ, тоже нѣсколько оскорбленный, и вынулъ *красный* платокъ.

Разговоръ этотъ, само собою разумѣется, не принесъ той пользы, которой отъ него ждалъ докторъ Круповъ; можетъ быть, онъ былъ хорошій врачъ тѣла, но за душевныя болѣзни принимался неловко. Онъ, вѣроятно, по собственному опыту судилъ о силѣ любви: онъ сказалъ, что былъ нѣсколько разъ влюбленъ, и, слѣдственно, имѣлъ большую практику, но именно потому-то онъ и не умѣлъ обсудить такой любви, которая бываетъ одинъ разъ въ жизни.

Круповъ ушелъ разсерженный и вечеромъ того дня за ужиномъ у вице-губернатора декламировалъ полтора часа на свою любимую тему: бранилъ женщинъ и семейную жизнь, забывъ, что вице-губернаторъ былъ женатъ на третьей женѣ и отъ каждой имѣлъ по нѣсколько человѣкъ дѣтей. Слова Крупова почти не сдѣлали никакого вліянія на Круциферскаго,—я говорю *почти*, потому что неопредѣленное, неясное, но тяжелое впечатлѣніе осталось, какъ послѣ зловѣщаго крика ворона, какъ послѣ встрѣчи съ покойникомъ, когда мы торопимся на веселый пиръ. Все это изгладилось, само собою разумѣется, при первомъ взглядѣ Любоньки.

— Повѣсть, кажется, близка къ концу,—говорите вы, разумѣется, радуясь.

— Извините, она еще не начиналась,—отвѣчаю я съ должнымъ почтеніемъ.

— Помилуйте, остается послать за священникомъ!

— Да-съ, но, вѣдь, я считаю концомъ, когда за священникомъ посылаютъ, чтобъ онъ соборовалъ масломъ, да и то иной разъ не конецъ. А когда служитель церкви является съ тѣмъ, чтобъ вѣнчать, то это начало совсѣмъ новой повѣсти, въ которой только тѣ же лица. Они не замедлятъ явиться передъ вами.

V.

Владиміръ Бельтовъ.

Въ ***,—впрочемъ, нѣтъ никакой необходимости астрономически и географически точно опредѣлять мѣсто и время,—въ XIX столѣтіи были въ губернскомъ городѣ NN дворянскіе выборы. Городъ оживлялся; часто были слышны бубенчики и скрипъ дорожныхъ экипажей; часто были видны помѣщичьи зимнія повозки, кибитки, возки всѣхъ возможныхъ видовъ, набитые внутри всякою всячиною и украшенные снаружи цѣлой дворней, въ шинеляхъ и тулупахъ, подвязанныхъ полотенцами; часть ея обыкновенно городомъ шла пѣшкомъ, кланялась съ лавочниками, улыбалась стоящимъ у воротъ товарищамъ; другая спала во всѣхъ положеніяхъ человѣческаго тѣла, въ которыхъ не удобно спать. Мало-по-малу помѣщичьи лошади перевозили почти всѣхъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ въ *губернію*, и отставной корнетъ Дрягаловъ былъ ужъ на-лицо и украшалъ пунцоваго цвѣта занавѣсами окна своей квартиры, нанятой на послѣдніи деньги; онъ ѣздилъ въ пять губерній на всѣ выборы и на главнѣйшія ярмарки и нигдѣ *не проиhrивался*, несмотря на то, что съ утра до ночи игралъ въ карты, и не наживался, несмотря на то, что съ утра до ночи выигрывалъ. И отставной генералъ Хрящовъ, славившійся музыкантами, богачъ, наѣздникъ, несмотря на 65 лѣтъ, былъ на лицо; онъ являлся на выборы давать четыре бала и всякій разъ отказываться болѣзною отъ мѣста губернскаго предводителя, которое всякій разъ предлагали ему благодарные дворяне. Въ гостиныхъ начали появляться странные фраки, покоившіеся цѣлое трехлѣтіе, переложенные табачнымъ листомъ, съ бархатными воротниками, измѣнившимися въ цвѣтѣ и сохранившими какую-то отчаянную форму; вмѣстѣ съ ними явились и странные мундиры всѣхъ временъ: и милиціонные, и съ двумя рядами пуговиць, и однобортные, и съ одной эполетой, и совѣмъ безъ эполетъ. Съ утра до ночи дѣлались визиты; три года часть этихъ людей не видалась и съ тяжелымъ чувствомъ замѣчала, глядя другъ на друга, умноженіе сѣдыхъ волосъ, морщинъ, худобы и толщины; тѣ же лица, а будто не тѣ: геній разрушенія оставилъ на каждомъ свои слѣды; а со стороны, съ чувствомъ еще болѣе тяжелымъ можно было замѣтить совѣмъ противоположное: и эти три года такъ же прошли, какъ и тринадцать, какъ и тридцать лѣтъ, предшествовавшіе имъ...

Во всемъ городѣ только и говорили о кандидатахъ, объѣдахъ, уѣздныхъ предводителяхъ, балахъ и судьяхъ. Правитель канцеляріи гражданскаго губернатора третій день ломалъ голову надъ проектомъ рѣчи; онъ испортилъ двѣ дести бумаги, писавъ: «Милостивые государи, благородное NN—ское дворянство!..» тутъ онъ останавливался, и его брало раздумье, какъ начать: «Позвольте мнѣ снова въ средѣ вашей» или: «Радуюсь, что я въ средѣ вашей снова»... И онъ говорилъ старшему помощнику:

— Ахъ, Купріянь Васильевичъ, самое запутанное уголовное дѣло легче въ семьсотъ разъ разобрать, нежели написать рѣчи!

— Вы бы попросили у Антона Антоновича «Образцовыя сочиненія»; тамъ, я помню, есть рѣчи.

— Славная мысль!—сказалъ правитель дѣлъ, страшно больно хлопнувъ по плечу своего помощника. — Ай-да Купріянь Купріяновичъ!

Правитель дѣлъ думалъ, что очень остро называть человѣка разъ по батюшкѣ да разъ по самому себѣ. И онъ въ тотъ же вечеръ составилъ нѣсколько строкъ, руководствуясь рѣчью князя Холмскаго изъ «Марѳы Посадницы» Карамзина.

Среди этихъ всеобщихъ и трудныхъ занятій вдругъ вниманіе города, уже столь напряженное, обратилось на совершенно неожиданное, никому неизвѣстное лицо, — лицо, котораго никто не ждалъ, ни даже корнетъ Дрягаловъ, ждавшій всѣхъ, лицо о которомъ никто не думалъ, которое было вовсе ненужно въ патріархальной семьѣ общинныхъ главъ, которое свалилось, какъ съ неба, а въ самомъ дѣлѣ пріѣхало въ прекрасномъ англійскомъ дормезѣ. Лицо это было отставной губернской секретарь, Владиміръ Петровичъ Бельтовъ. Чего у него не довѣшивало со стороны чина, испу-палось довольно хорошо 3.000 душъ не заложеннаго имѣнія; это-то имѣніе, Бѣлое-Поле, очень подробно знали избираемые и избиратели; но владѣтель Бѣлаго-Поля былъ какой-то миѳъ, сказочное, темное лицо, о которомъ повѣствовали иногда всякія несбыточности такъ, какъ повѣствуютъ о далекихъ странахъ, о Камчаткѣ, о Калифорніи, вещи странныя для насъ, невѣроятныя. Нѣсколько лѣтъ тому назадъ, говорили, на примѣръ, что Бельтовъ, только что вышедшій изъ университета, попалъ въ милость къ министру; потомъ, вслѣдъ за тѣмъ, говорили, что Бельтовъ разссорился съ нимъ. и вышелъ въ отставку на зло своему покровителю. Этому не вѣрили. Есть лица, о которыхъ въ провинціяхъ составлено окончательное и опредѣленное понятіе; съ этими лицами ссориться нельзя, а можно и должно имъ свидѣтельствовать почтеніе; вѣроятно ли, что Бельтовъ осмѣлился?... Нѣтъ, развѣ навлекъ на себя справед-

ливый гнѣвъ, развѣ проигрался въ карты, или спился, или увезъ у кого-нибудь дочь, т. е. не у особы какой-нибудь, а такъ, дочь чью-нибудь... Потомъ сказывали, что онъ уѣхалъ во Францію; къ этому догадливые и ученые прибавляли, что онъ никогда не воротится, что онъ принадлежитъ къ масонской ложѣ въ Парижѣ, и что ложа назначила его совѣстнымъ судьей въ Америку. «Весьма вѣроятно!» говорили многіе: «онъ съ малыхъ лѣтъ былъ, какъ брошенный; отецъ его умеръ, кажется, въ тотъ годъ, въ который онъ родился; мать, вы знаете, какого происхожденія; притомъ женщина пустая, *экзальте*, да и гувернеръ имъ попался преразвращенный, никому не умѣлъ оказывать должнаго». Сверхъ того, этимъ объясняли, почему онъ такъ запустилъ хозяйство, хотя мужики его славятся богатствомъ и ходятъ въ сапогахъ. Наконецъ, года три совсѣмъ о немъ не говорили, и вдругъ это странное лицо, совѣстный судья отъ парижской масонской ложи въ Америкѣ, человѣкъ, ссорившійся съ тѣми, которымъ надобно свидѣтельствовать глубочайшее почтеніе, уѣхавшій во Францію на вѣки вѣковъ, явился передъ NN-скимъ обществомъ, какъ листъ передъ травой, и явился для того, чтобъ прискивать себѣ голоса на выборахъ. Во всемъ этомъ было чрезвычайно много непонятнаго для NN-скихъ жителей. Что за странное предпочтеніе губернской службы столичной? Что за странное предпочтеніе службы по выборамъ? Потомъ: Парижъ и дворянское депутатское собраніе, 3.000 душъ и чинъ губернскаго секретаря... Ну, было надъ чѣмъ потрудиться и безъ того занятымъ NN-цамъ.

Сильнѣйшая голова въ городѣ былъ, безспорно, предсѣдатель уголовной палаты; онъ рѣшалъ окончательно, безапелляціонно всѣ вопросы, занимавшіе общество; къ нему ѣздили совѣщаться о семейныхъ дѣлахъ; онъ былъ очень ученъ, литераторъ и философъ. У него былъ только одинъ соперникъ — инспекторъ врачебной управы, Круповъ, и предсѣдатель какъ-то дѣйствительно конфузился при немъ; но авторитетъ Крупова далеко не былъ такъ всеобщъ, особенно послѣ того, какъ одна дама губернской аристократіи, очень чувствительная и не менѣе образованная, сказала при многихъ свидѣтеляхъ: «Я уважаю Семена Ивановича, но можетъ ли человѣкъ понять сердце женщины, можетъ ли понять нѣжные чувства души, когда онъ могъ смотрѣть на мертвья тѣла и, можетъ быть, касался до нихъ рукою?» Всѣ дамы согласились, что не можетъ, и рѣшили единогласно, что предсѣдатель уголовной палаты, не имѣющій такихъ свирѣпыхъ привычекъ, одинъ способенъ рѣшать вопросы нѣжные, гдѣ замѣшано сердце женщины, не говоря уже о всѣхъ прочихъ вопросахъ. Само собою разумѣется,

что одна мысль блеснула почти у всѣхъ, когда явился Бельтовъ: что-то скажетъ Антонъ Антоновичъ насчетъ его приѣзда? Но Антонъ Антоновичъ былъ не такой человѣкъ, къ которому можно было такъ вдругъ адресоваться: что вы думаете о г. Бельтовѣ? Далеко нѣтъ; онъ даже, какъ нарочно (а весьма можетъ быть, что и въ самомъ дѣлѣ нарочно) три дня не былъ видимъ ни на вистѣ у вице-губернатора, ни на чаѣ у генерала Хряцова. Всѣхъ любопытнѣе, съ своей стороны, и всѣхъ предприимчивѣе въ городѣ былъ одинъ совѣтникъ съ Анною въ петлицѣ, употреблявшій чрезвычайно ловко свой орденъ: такъ, что какъ бы онъ ни сидѣлъ или ни стоялъ, орденъ можно было видѣть со всѣхъ точекъ комнаты. Этотъ носитель ордена св. Анны въ петлицѣ рѣшился въ воскресенье, отъ губернатора (у котораго онъ не могъ не быть въ воскресные и праздничные дни) заѣхать на минуту въ соборъ и, если предсѣдателя тамъ нѣтъ, ѣхать прямо къ нему. Подъѣзжая къ собору, совѣтникъ спросилъ квартальнаго поручика: тутъ ли предсѣдательскія сани? — «Никакъ нѣтъ-съ», отвѣчалъ квартальный: «да, должно быть, ихъ высокородіе и не будутъ, потому что сейчасъ я видѣлъ, ихъ кучеръ, Пафнушка, шелъ въ питейный». Послѣднее обстоятельство показалось очень важнымъ совѣтнику: не побѣдетъ же Антонъ Антоновичъ въ каедральный соборъ, подумалъ онъ, на одной лошади, а гдѣ же Никешкѣ-форейтору справиться съ парой буланыхъ! И онъ, не заходя ужъ въ соборъ, отправился къ предсѣдателю.

Предсѣдатель, вовсе не ожидая посѣщенія, сидѣлъ въ своемъ домашнемъ костюмѣ, состоявшемъ изъ какой-то длинной вязаной куртки, изъ широкихъ панталонъ и валеныхъ сапогъ на ногахъ. Онъ былъ не великъ ростомъ, широкоплечъ и съ огромной головой (умъ любить просторъ); всѣ черты лица его выражали какую-то важность, что-то торжественное и исполненное сознанія своей силы. Онъ обыкновенно говорилъ протяжно, съ удареніемъ, такъ, какъ слѣдуетъ говорить мужу, вершающему окончательно всѣ вопросы; если какой-нибудь дерзновенный перебивалъ его, онъ останавливался, ждалъ минуту-двѣ и потомъ повторялъ снова съ нажимомъ послѣднее слово, продолжая фразу точно въ томъ духѣ и характерѣ, въ какомъ началъ. Возраженій онъ не могъ терпѣть да и не приходилось никогда ихъ слышать ни отъ кого, кромѣ доктора Крупова; остальнымъ въ голову не приходило спорить съ нимъ, хотя многіе и не соглашались. Самъ губернаторъ, чувствуя внутри себя все превосходство умственныхъ способностей предсѣдателя, отзывался о немъ, какъ о человѣкѣ, необыкновенно умномъ, и говорилъ: «Помилуйте, ему не предсѣдателемъ быть уголовной па-

латы, повыше бы могъ подняться. Какія свѣдѣнія! Да и потомъ вы послушайте его разсужденія,—это просто Массильонъ! 1) Онъ много по службѣ потерялъ, посвящая большую часть времени чтенію и наукамъ». Итакъ, этотъ-то господинъ, много потерявшій изъ любви къ наукамъ, сидѣлъ въ курткѣ передъ своимъ письменнымъ столомъ; подписавъ разные протоколы и выставивъ въ пустомъ мѣстѣ достодолжное число ударовъ за корчемство, за бродяжничество и т. п., онъ досуха обтеръ перо, положилъ его на столъ, взялъ съ полочки книгу, переплетенную въ сафьянъ, раскрылъ ее и началъ читать. Мало-по-малу у него по лицу распространилось какое-то сладкое, невыразимое чувство довольства. Но чтеніе продолжалось не долго: явился на сцену совѣтникъ съ Анной въ петлицѣ.

— А я-съ какъ безпокоился на вашъ счетъ, ей-Богу! Къ губернатору поздравить съ праздникомъ пріѣхалъ, — васъ, Антонъ Антоновичъ, нѣтъ; вчера не извоили на вистѣ быть; въ соборъ—вашихъ саней нѣтъ; думаю,—неровенъ часть, вѣдь могли и занемочь; всякій можетъ занемочь... Отъ слова ничего не сдѣлается. Что съ вами? Ей Богу, я такъ встревожился!

— Покорнѣйше васъ благодарю; я, слава Всевышнему, не жалясь на здоровье; а васъ прошу занять мѣсто, почтеннѣйшій господинъ совѣтникъ,

— Ахъ, Антонъ Антоновичъ! я, кажется, помѣшалъ вамъ:— вы извоили читать.

— Ничего, мой почтеннѣйшій, ничего; у меня есть время для музъ и есть для добрыхъ пріятелей.

— Вотъ-съ, Антонъ Антоновичъ! я полагаю, на счетъ новенькихъ книжекъ можно теперь вамъ поснабдиться...

— Не люблю новыхъ,—прервалъ предсѣдатель дипломата-совѣтника:—не люблю-съ новыхъ книгъ. Вотъ и теперь перечитывалъ «Душеньку» въ сотый разъ и, истинно увѣряю васъ, съ новымъ удивительнымъ наслажденіемъ. Какая легкость, какое *востроуміе!*... Да, Ипполитъ Ѳедоровичъ 2) не завѣщаль никому таланта.

Тутъ предсѣдатель прочелъ:

«Коварна ненависть, судя повсюду строго,

Очей имѣетъ много,

И видитъ сквозъ покровъ закрытыя дѣла.

Вотще отъ сестръ своихъ царевна ихъ скрывала.

1) Жанъ-Батистъ, знаменитый франц. проповѣдникъ.

2) Богдановичъ, авторъ «Душеньки».

И день, и два, и три притворство продолжала,
 Какъ будто бы она супруга въявь ждала.
 Сестры темнили видь, подъ чѣмъ онъ былъ неявенъ,
 Чего не вымыслить коварная хула?
 Онъ былъ, по ихъ рѣчамъ, и страшень, и злонравень».

— Вотъ-съ,—перебилъ въ свою очередь совѣтникъ:—это точно слово въ слово, какъ у насъ теперь говорятъ объ вояжёрѣ, посѣтившемъ нашъ городъ; охота, право, пустословить.

Предсѣдатель посмотрѣлъ на него строго и, какъ будто ничего не видалъ и не слыхалъ, продолжалъ:

«Онъ былъ, по ихъ рѣчамъ, и страшень и злонравень.
 И вѣрно Душенька съ чудовищемъ жила.
 Совѣты скромности въ сей часъ она забыла,
 Сестры ли въ томъ виной, судьба ли то, иль рокъ,
 Иль Душенькинъ то былъ порокъ,
 Она, вздохнувъ, сестрамъ открыла,
 Что только тѣнь одну въ супружествѣ любила,
 Открыла, какъ и гдѣ приходитъ тѣнь на срокъ,
 И происшествія подробно рассказала,
 Но только лишь сказать не знала,
 Каковъ и кто ея супругъ,
 Колдунъ, иль змѣй, иль богъ, иль духъ».

— Вотъ эти стихи—не звукъ пустой, а стихи съ душою и съ сердцемъ. Я, мой почтеннѣйшій господинъ совѣтникъ, по слабости ли моихъ способностей, или по недостатку свѣтскаго образованія, не понимаю новыхъ книгъ, съ Василія Андреевича Жуковского начиная.

Совѣтникъ, который отъ роду ничего не читалъ, кромѣ резолюцій губернскаго правленія,—и то только своего отдѣленія,—по прочимъ онъ считалъ себя обязаннымъ высшей деликатностью подписывать, не читая,—замѣтилъ:

— Безъ сомнѣнія; а вотъ я полагаю, что пріѣзжіе изъ столицы не такъ думаютъ.

— Что намъ до нихъ!—отвѣтилъ предсѣдатель:—знаю и очень знаю, всѣ *повременныя* изданія нынѣ хвалятъ Пушкина; читалъ я и его. Стихи гладенькіе, но мысли нѣтъ, чувства нѣтъ, а для меня, когда здѣсь нѣтъ (онъ ошибкою показалъ на правую сторону груди), такъ одно пустословіе.

— Я самъ чрезвычайно люблю чтеніе,—прибавилъ совѣтникъ, которому никакъ не удавалось овладѣть предметомъ разговора,— да времени совсѣмъ не имѣю: утро провозишься съ проклятыми бумагами,—въ дѣлахъ правленія истинно мало пищи уму и сердцу, а вечеромъ бостончикъ, вистикъ.

— Кто хочетъ читать,—возразилъ, воздержно улыбаясь, председатель,—тотъ не будетъ всякій вечеръ сидѣть за картами.

— Конечно, такъ-съ; вотъ, на примѣръ, говорятъ объ этомъ-съ Бельтовъ, что онъ въ руки картъ не беретъ, а все читаетъ.

Председатель промолчалъ.

— Вы, вѣрно, изволили слышать объ его прїѣздѣ?

— Слышалъ что-то подобное, — отвѣчалъ небрежно фило-софъ-судія.

— Говорятъ, страшной учености; вотъ-съ будетъ вамъ подъ пару, право-съ; говорятъ, что даже по-итальянски умѣетъ.

— Гдѣ намъ,—возразилъ съ чувствомъ собственнаго достоинства председатель, — гдѣ намъ! Слыхали мы о г. Бельтовѣ: и въ чужихъ краяхъ былъ, и въ министерствахъ служилъ; куда намъ, провинціальнымъ медвѣдямъ! А, впрочемъ, посмотримъ. Я лично не имѣю чести его знать,—онъ не посѣщалъ меня.

— Да онъ и у его превосходительства не былъ-съ, а, вѣдь, прїѣхалъ, я думаю, дней пять тому назадъ... Точно, сегодня въ обѣдъ будетъ пять дней. Я съ Максимомъ Ивановичемъ обѣдалъ у полицмейстера, и, какъ теперь помню, за *пудиномъ* услышали мы колокольчикъ. Максимъ Иванычъ,—знаете его слабость,—не вытерпѣлъ: матушка, говоритъ, Вѣра Васильевна, простите; подбѣжалъ къ окну и вдругъ закричалъ: карета шестерней да какая карета! Я къ окну: точно карета шестерней, отличнѣйшая,—Юхима, должно быть, работы, ей Богу. Полицмейстеръ сейчасъ унтера... «Бельтовъ, де, изъ Петербурга».

— Мнѣ, сказать откровенно,—началъ председатель нѣсколько таинственно,—этотъ господинъ подозрителенъ: онъ или промотался, или въ связяхъ съ полиціей, или самъ подъ надзоромъ полиціи. Помилуйте, тащится 900 верстъ на выборы, имѣя 3.000 душъ!

— Конечно-съ, сомнѣнія нѣтъ. Признаюсь, дорого далъ бы я, чтобъ вы его увидѣли: тогда бы тотчасъ узнали, въ чемъ дѣло. Я вчера послѣ обѣда прогуливался, — Семень Ивановичъ для здоровья приказываетъ, — прошелъ такъ раза два мимо гостиницы; вдругъ выходитъ въ сѣни молодой человекъ,—я такъ и думалъ, что это онъ, спросилъ полового, говоритъ: это — камердинеръ; одѣтъ, какъ нашъ братъ, нельзя узнать, что человекъ... Ахъ, Боже мой, да у вашего подвѣзда остановилась карета!

— Что-жъ васъ это удивляетъ?—возразилъ стоическій предсѣдатель,—меня не рѣдко посѣщаютъ добрые знакомые.

— Да-съ; но, можетъ быть...

Въ эту минуту вошла въ комнату толстая, румяная горничная, въ глубокомъ дезабилье, и сказала: «Пріѣхалъ какой-то помѣщикъ въ каретѣ; я его не видала прежде, принимать, что ли?»

— Подай мнѣ халатъ,—сказалъ предсѣдатель,—и проси...

Что-то въ родѣ улыбки показалось на лицѣ его въ то время, какъ онъ облакался въ свой шелковый халатъ цвѣта лягушечьей спинки. Совѣтникъ всталъ со стула и былъ въ сильномъ волненіи.

Человѣкъ лѣтъ тридцати, прилично и просто одѣтый, вошелъ, учтиво кланяясь хозяину. Онъ былъ строенъ, худощавъ, и въ лицѣ его какъ-то странно соединялись добродушный взглядъ съ насмѣшливыми губами, выраженіе порядочнаго человѣка съ выраженіемъ баловня, слѣды долгихъ и скорбныхъ думъ съ слѣдами страстей, которыя, кажется, не обуздывались. Предсѣдатель, не теряя чувства своей доблести, приподнялся съ кресель и показывалъ, стоя на одномъ мѣстѣ, видъ, будто онъ идетъ на встрѣчу.

— Я—здѣшній помѣщикъ Бельтовъ; пріѣхалъ сюда на выборы и счелъ себя обязаннымъ познакомиться съ вами.

— Чрезвычайно радъ,—сказалъ предсѣдатель,—чрезвычайно радъ и прошу покорнѣйше, милостивый государь, занять мѣсто. Всѣ сѣли.

— Недавно изволили пріѣхать?

— Дней пять тому назадъ.

— Откуда?

— Изъ Петербурга.

— Ну, вамъ послѣ столичнаго шума будетъ очень скучно въ монотонной жизни маленькаго провинціального городка.

— Не знаю, но, право, не думаю; мнѣ какъ-то въ большихъ городахъ было очень скучно.

Оставимте на нѣсколько минутъ, или на нѣсколько страницъ, предсѣдателя и совѣтника, который, послѣ полученія Анны въ петлицу, ни разу не былъ въ такомъ восторгѣ, какъ теперь: онъ пожиралъ сердцемъ, умомъ, глазами и ушами пріѣзжаго; онъ все высмотрѣлъ: и то, что у него жилетъ былъ не застегнутъ на послѣднюю пуговицу, и то, что у него въ нижней челюсти съ правой стороны зубъ былъ выдернутъ, и проч., и проч. Оставимте ихъ и займемте, какъ NN—цы, исключительно страннымъ гостемъ.

VI.

Мы уже знаемъ, что отецъ Бельтова умеръ вскорѣ послѣ его рожденія, и что мать его была *экзальте* и обвинялась въ дурномъ поведеніи Бельтова. По несчастію, нельзя не согласиться, что она одна изъ главныхъ причинъ всѣхъ неудачъ въ карьерѣ своего сына. Исторія этой женщины сама по себѣ очень замѣчательна. Она родилась крестьянкой; лѣтъ пяти ее взяли во дворъ; у ея барыни были двѣ дочери и мужъ; мужъ заводилъ фабрики, дѣлалъ агрономическіе опыты и кончилъ тѣмъ, что заложилъ все имѣніе въ Воспитательный Домъ. Вѣроятно, считая, что этимъ исполнилъ свое экономическое призваніе въ мірѣ семъ, онъ умеръ. Разстройство дѣлъ ужаснуло вдову: она плакала, плакала, наконецъ, утерла слезы и съ мужествомъ великаго человѣка принялась за поправку имѣнія. Только умъ женщины, только сердце нѣжной матери, желающей приданого дочерямъ, можетъ изобресть всѣ средства, употребленныя ею для достиженія цѣли. Отъ сушенія грибовъ и малины, отъ сбора талекъ и обвѣшиванья масломъ до порубки въ чужихъ рощахъ и *продажи парней въ рекруты, не стѣсняясь очередью*,—все было употреблено въ дѣйствіе (это было очень давно и что теперь рѣдко встрѣчается, то было еще въ обычаѣ тогда) и, надобно правду сказать, помѣщица села Засѣкина пользовалась всеобщей репутаціей несравненной матери. Между разными бумагами покойнаго агронома она нашла вексель, данный ему содержательницей какого-то пансіона въ Москвѣ, списалась съ нею, но, видя, что деньги мудрено выручить, она уговорила ее принять къ себѣ трехъ-четырехъ дворовыхъ дѣвочекъ, предполагая изъ нихъ сдѣлать гувернантокъ для своихъ дочерей или для постороннихъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ возвратились доморощенные гувернантки къ барынѣ съ громкимъ аттестатомъ, въ которомъ было написано, что онѣ знаютъ законъ божій, ариѳметику, російскую пространную и всеобщую краткую исторію, французскій языкъ и проч., въ ознаменованіе чего при актѣ ихъ наградили золотообрѣзными экземплярами «Paul et Virginie» ¹⁾. Барыня велѣла очистить для нихъ особую комнату и ждала случая ихъ пристроить. Тетка отца нашего Бельтова искала именно въ это время воспитательницу для своихъ дочерей и, узнавъ, что сосѣдка ея имѣетъ гувернантокъ, ей принадлежавшихъ, адресовалась

¹⁾ Извѣстный идиллическій романъ Бернардена де Сенъ-Пьера, имѣвшій необыкновенный успѣхъ во Франціи и переведенный на всѣ европейскіе языки.

къ ней; потолковали о цѣнѣ, поспорили, посердились, разошлись и, наконецъ, поладили. Барыня позволила теткѣ выбрать любую, и выборъ палъ на будущую мать нашего героя. Года черезъ два-три приѣхалъ въ свою деревню отецъ Владиміра. Онъ былъ молодецъ, развратенъ, игрокъ, въ отставкѣ, охотникъ пить, ходить съ ружьемъ, показывать ненужную удаль и волочиться за всѣми женщинами моложе тридцати лѣтъ и безъ значительныхъ недостатковъ въ лицѣ. Со всѣмъ этимъ нельзя сказать, чтобъ онъ былъ рѣшительно пропащій человекъ: праздность, богатство, неразвитость и дурное общество нанесли на него «семь футовъ грязи», какъ выражается одинъ мой знакомый, но къ чести его должно сказать, что грязь не вовсе приросла къ нему. Бельтовъ былъ рѣдко чѣмъ-нибудь занятъ и потому часто посѣщалъ свою тетку; имѣніе его было въ пяти верстахъ отъ теткиной усадьбы. Софи (такъ звали гувернантку) приглянулась ему: ей было лѣтъ двадцать,—высокая ростомъ, брюнетка, съ темными глазами и пышной косою юности. Долго думать казалось Бельтову смѣшнымъ; онъ, вопреки Вобановой ¹⁾ системѣ, не повелъ *дальнихъ апрошей*, а какъ-то, оставшись съ ней одинъ въ комнатѣ, обнялъ ее за талію, расцѣловалъ и звалъ очень усердно пройтись вечеромъ по саду. Она вырвалась изъ его рукъ, хотѣла, было, кричать, но чувство стыда, но боязнь гласности остановили ее; безъ памяти бросилась она въ свою комнату и тутъ въ первый разъ вымѣрила всю длину, ширину и глубину своего двусмысленнаго положенія. Раздраженный отказомъ, Бельтовъ началъ ее преслѣдовать своей любовью, дарилъ ей брильянтовый перстень, который она не взяла, обѣщалъ брегетовскіе часы, которыхъ у него не было, и не могъ надивиться, откуда идетъ неприступность красавицы; онъ и ревновать принимался, но не могъ найти къ кому; наконецъ, раздосадованный Бельтовъ прибѣгнулъ къ угрозамъ, къ брани, и это не помогло. Тогда ему пришла другая мысль въ голову: предложить теткѣ большія деньги за Софи,—онъ былъ увѣренъ, что алчность побѣдитъ ея выставяемое цѣломудріе; но какъ человекъ, вѣчно поступававшій очертя голову, онъ намекнулъ о своемъ намѣреніи бѣдной дѣвушкѣ. Разумѣется, это ее испугало болѣе всего прочаго, она бросилась къ ногамъ своей барыни, обливаясь слезами, рассказала ей все и умоляла позволить ѣхать въ Петербургъ. Не знаю, какъ это случилось, но она барыню застала врасплохъ; старуха, не зная Талейранова правила «никогда не слѣдовать первому побужденію сердца, потому что оно всегда хорошо»,

¹⁾ Себастьянъ ле-Претръ де-Вобанъ, знаменитый франц. военный инженеръ и маршалъ.

тронулась ея судьбою и предложила ей отпускную за небольшой взносъ двухъ тысячъ рублей. «Я сама, — сказала она ей, — заплатила за тебя эти деньги; а кормъ и платье, съ тѣхъ поръ потраченные на тебя? Ну, а пока выплатишь деньги, присылай мнѣ какой-нибудь небольшой оброкъ, — рублей сто двадцать, — и я велю Платошкѣ написать паспортъ; онъ, вѣдь, у меня дуракъ, испортитъ, пожалуй, листъ, а нынче куда дорога гербовая бумага». Софи согласилась на все, благодарила, обливаясь слезами, барыню и нѣсколько успокоилась. Черезъ недѣлю Платошка написалъ паспортъ, замѣтилъ въ немъ, что у ней лицо обыкновенное, носъ обыкновенный, ростъ средній, ротъ умѣренный и что особыхъ примѣтъ не оказалось, кромѣ *по-французски говоритъ*; а черезъ мѣсяць Софи упросила жену управляющаго сосѣднимъ имѣніемъ, уѣхавшую въ Петербургъ положить въ ломбардъ деньги и отдать въ гимназію сына, взять ее съ собою; кибитку нагрозили грибами, вареньемъ, медомъ, мочеными и сушеными ягодами, назначенными въ подарки; жена управляющаго оставила только мѣсто для себя; Софи помѣстилась на какой-то кадкѣ, которая въ продолженіе девятисотъ верстъ напоминала ей, что она сдѣлана не изъ лебяжьего пуха. Гимназиста усадили на козлахъ; онъ былъ долговязый малый, лѣтъ четырнадцати, курившій нѣжинскіе корешки и болѣе развитой, нежели казалось; онъ всю дорогу ухаживалъ за Софи, и если-бъ не помойнаго цвѣта прищуренные глаза его матери, то онъ, можетъ быть, перещеголялъ бы Бельтова. А прогос, Бельтовъ сдѣлалъ опытъ увезти Софи, когда она переѣзжала отъ тетки къ управительшѣ, и, вѣроятно бы, увезъ, если-бъ кучеръ не нарѣзался пьянъ и не сбился съ дороги. Съ досады и въ первую минуту горькаго сознанія о кислотѣ винограда Бельтовъ разболталъ свой романъ не совсѣмъ въ томъ видѣ, какъ онъ былъ, компаніи игроковъ. Онъ представилъ, что тетка его ревнивая, какъ всѣ старухи, насильно услала Софью, влюбленную въ него болѣе, нежели по уши; впрочемъ, онъ отчасти былъ радъ, что она уѣхала и увезла съ собой кой-какіе знаки его вниманія. Извѣстно, что изъ кочующихъ племенъ въ Европѣ цыгане и игроки никогда не ведутъ осѣдлой жизни, и потому нѣтъ ничего удивительнаго, что одинъ изъ слушателей Бельтова черезъ нѣсколько дней былъ уже въ Петербургѣ. Онъ находился въ самой тѣсной дружбѣ съ француженкой Жукуръ, содержательницей пансіона. Жукуръ, шнуровавшаяся ежедневно до сорока лѣтъ и носившая платья съ высокимъ воротомъ изъ стыдливости, была неумолимо строга къ нравственности ближняго. Говоря о томъ, о семъ, она рассказала своему другу, что у ней нанялось классной дамой престранное существо, принадлежащее NN-ской госпожѣ и

говорящее прекрасно по-французски. Кочующій другъ расхохотался. «Ба! старая знакомая! это прекрасно! это превосходно—ха, ха, ха, ха,—помилуйте, да я ее тысячу разъ видалъ у Бельтова, куда она таскалась по ночамъ, когда у тетки въ домѣ всѣ спали». Потомъ, ревнуя о репутаціи заведенія, онъ предупредилъ мадамъ Жукуръ насчетъ положенія Софи. Жукуръ была внѣ себя отъ испуга, кричала: «*quelle démoralisation dans ce pays barbare!*» ¹⁾ забыла отъ негодованія все на свѣтѣ, даже и то, что у привилегированной повивальной бабки, на углу ихъ улицы, воспитывались два ребенка, разомъ родившіеся, изъ которыхъ одинъ былъ похожъ на Жукуръ, а другой—на кочующаго друга. Сгоряча она хотѣла послать за квартальнымъ, потомъ ѣхать къ французскому консулу, но разсудила, что это вовсе не нужно, и просто-на-просто прогнала Софи изъ дома самымъ грубымъ образомъ, забывъ второпяхъ отдать ей слѣдующія деньги. Жукуръ рассказала тремъ другимъ содержательницамъ страшную исторію, эти—всѣмъ остальнымъ въ Петербургѣ. Куда ни адресовалась бѣдная дѣвушка, вездѣ ей указывали дверь. Она стала искать частнаго мѣста, но гдѣ найти? знакомыхъ нѣтъ. Вышло, было, какое-то мѣсто въ отъѣздѣ, и довольно выгодное, но мать прежде, нежели кончила, съѣздила освѣдомиться къ мадамъ Жукуръ и потомъ благодарила провидѣніе за спасеніе дочери. Софи подождала еще недѣлю, пересчитала свои деньги,—у ней было тридцать пять рублей и никакихъ надеждъ; квартира, которую она наняла, была ей не по карману, и она, долго искавъ, переѣхала, наконецъ, въ пятый, если не шестой, этажъ огромнаго дома въ концѣ Гороховой, набитаго всякой сволочью. Двумя грязными двориками, имѣвшими видъ какого-то дна не вовсе просохнувашаго озера, надобно было дойти до маленькой двери, едва замѣтной въ колоссальной стѣнѣ; оттуда вела сырая, темная каменная, съ изломанными ступенями, безконечная лѣстница, на которую отворялись, при каждой площадкѣ, двѣ-три двери. Въ самомъ верху, на финскомъ небѣ, какъ выражаются петербургскіе остряки, нанимала комнатку нѣмка-старуха; у нея параличъ отнялъ обѣ ноги, и она полутрупомъ лежала четвертый годъ у печки, вязала чулки по буднямъ и читала Лютеровъ переводъ библіи по праздникамъ. Комнатка была шага въ три; изъ нихъ два казались бѣдной нѣмкѣ совершенной роскошью, и она отдавала ихъ въ наемъ вмѣстѣ съ окномъ, отъ котораго на поларшина вызвышалась боковая, не крашенная кирпичная стѣна другого дома. Софи поговорила съ нѣмкой и наняла этотъ будуаръ; въ этомъ будуарѣ было грязно, черно, сыро и чадно; дверь отворя-

¹⁾ «Какая деморализація въ этой варварской странѣ!».

лась въ холодный коридоръ, по которому ползали какія-то дѣти, жалкія, оборванныя, блѣдныя, рыжія, съ глазами, заплывшими золотухой; кругомъ все было биткомъ набито пьяными мастеровыми. Лучшую квартиру въ этомъ этажѣ занимали швеи; никогда не было, по крайней мѣрѣ, днемъ, замѣтно, чтобъ онѣ работали, но по образу жизни видно было, что онѣ далеки отъ крайности; кухарка, жившая у нихъ, ежедневно разъ пять бѣгала въ полпивную съ кувшиномъ, у котораго былъ отбитъ носъ... Всѣ старанія найти мѣсто были тщетны; добрая нѣмка просила и хлопотала черезъ единственную свою знакомую и соотечественницу, жившую у кого-то при дѣтяхъ, поразвѣдать, нѣтъ ли какого мѣста? Та обѣщала, но ничего не представилось. Софи рѣшилась на послѣднее: она стала искать мѣста горничной и нашла, было, одно; въ цѣнѣ сошлись, но *особая прилѣтъа* въ паспортѣ такъ удивила барыню, что она сказала: «Нѣтъ, голубушка, мнѣ не по состоянію имѣть горничную, которая говоритъ по-французски». Софи принялась шить бѣлье. Начальница швей была очень довольна ея строчкой, заплатила ей почти все, что слѣдовало по уговору, и звала къ себѣ выпить чаю, вмѣсто котораго потчевала розовымъ пивомъ; она очень приглашала бѣдную дѣвушку переѣхать къ себѣ, но какой-то внутренній ужасъ остановилъ Софи, и она отказалась. Это очень оскорбило начальницу, и она, съ гордостью захлопнувъ дверь, когда Софи ушла, сказала: «Сама придешь заискивать, дворянка какая важная! У насъ нѣмка изъ Риги живетъ не хуже тебя собой». Вечеромъ начальница съ колкой ироніей отзывалась о бѣдной дѣвушкѣ комиссару, приходившему иногда вечеромъ отдохнуть въ пріятномъ обществѣ отъ дневныхъ трудовъ, и такъ заинтересовала его, что онъ немедленно отправился въ комнату нѣмки и спросилъ ее:

— Что, фрау-мадамъ, какъ живете-можете? А? пора бы, вѣдь, за ногами!

Нѣмка, торопливо надѣвая чепчикъ, который всегда лежалъ возлѣ нея для непредвидимыхъ случаевъ, отвѣчала:

— Што тѣлить, Богъ не перебирай!»

— Ну, а гдѣ же эта Телебеевой дѣвка, Софья Нѣмчинова?

— Здѣсь,—отвѣчала Софи.

— Гдѣ это тебя угораздило выучиться по-французски, а? плуть-дѣвка, должно-быть; нутка, поговори по-французски.

Софи молчала.

— Видно не умѣешь? Ну, что-нибудь скажи-ка.

Софи молчала, и ея глаза были полны слезъ.

— Фрау-мадамъ, что, умѣетъ она по вашему?

— Ошень карашо!

— Небось, какъ ты—въ присядку плясать... а что вы этакъ настоечки не держите? я что-то прозябъ.

— Нѣтъ,—отвѣчала нѣмка.

— Плохо. Ну, а это яблоко чье? (яблоко это принесла зна-
комая нѣмка старухѣ, и она его берегла со среды, чтобъ заку-
сить имъ Лютеровъ переводъ библии въ воскресенье).

— Мой,—отвѣчала нѣмка.

— Ну, гдѣ тебѣ его раскусить; вотъ, вѣдь, французенка эта съѣсть у тебя; ну, прощайте,—сказалъ комиссаръ, не сдѣлавшій, впрочемъ, никакого вреда, и, очень довольный собою, отправился съ яблокомъ въ карманѣ къ швеямъ.

Томно, страшно тянулись дни; несчастная дѣвушка потухала въ этой грязи, оскорбляемая, унижаемая всѣмъ и всѣми. Не будь она такъ развита, можетъ быть, она сладила бы какъ-нибудь, на-
шлась бы и тутъ; но воспитаніе раскрыло въ ней столько нѣжнаго, деликатнаго, что на нее все окружающее дѣйствовало въ десять разъ сильнѣе. Были минуты такого изнуренія, такого онѣмѣнія силъ, что она, вѣроятно, упала бы глубоко, если-бъ не была защищена отъ паденія той грязной, будничной наружностью, подъ которой порокъ выказывался ей. Были минуты, въ которыя мысль принять яду приходила ей въ голову, она хотѣла себя казнить, чтобъ выйти изъ безвыходнаго положенія; она тѣмъ ближе была къ отчаянію, что не могла себя ни въ чемъ упрекнуть. Были минуты, въ которыя злоба, ненависть наполняли и ея сердце; въ одну изъ такихъ минутъ она схватила перо и, сама не давая себѣ отчета, что дѣлаетъ и для чего, написала въ какомъ-то торжественномъ гнѣвѣ письмо къ Бельтову. Вотъ оно:

«Я не хочу удерживаться болѣе. Пишу къ вамъ, пишу для того только, чтобъ имѣть послѣднюю, можетъ быть, радость въ моей жизни—высказать вамъ все презрѣнное мое; я охотно заплачу послѣднія копѣйки, назначенныя на хлѣбъ, за отправку письма; я буду жить мыслію, что вы прочтете его. Ваши поступки со мной, въ домѣ вашей тетушки, показали мнѣ въ васъ безнравственнаго шалуна, бездушнаго развратника; я еще, разумѣется, по неопытности, извиняла васъ дурнымъ воспитаніемъ, кругомъ, въ которомъ вы тратите свою жизнь; я извиняла васъ тѣмъ, что мое странное положеніе вызывало васъ на это. Но клевета, которой вы совершили ихъ, гнусная, подлая клевета, показала мнѣ всю мѣру вашей низости—даже не злодѣйства, а именно низости. Вы рѣшились изъ мести, изъ мелкаго самолюбія погубить беззащитную дѣвушку, налгать на нее. И за что? развѣ вы, въ самомъ дѣлѣ, любили меня? Спросите свою совѣсть... Радуйтесь же,—вамъ удалось: вашъ прія-

тель очернилъ меня здѣсь, меня выгнали, на меня смотрѣли съ презрѣніемъ, мои уши должны были слышать страшныя оскорбленія; наконецъ, я безъ куска хлѣба, а потому выслушайте отъ меня, что я сама гнушаюсь вами, потому что вы мелкій, презрѣнный человѣкъ; выслушайте это отъ горничной вашей теткы... Какъ мнѣ пріятно думать о безсильной злобѣ, о бѣшенствѣ, съ которыми вы будете читать эти строки; а, вѣдь, вы слышите за порядочнаго человѣка и, вѣроятно, послали бы пулю въ лобъ, если-бъ кто-нибудь изъ равныхъ вамъ сказалъ это».

Бельтовъ, проигравшійся въ пухъ, раздосадованный, валялся передъ чаемъ на диванѣ, когда посланный въ городъ привезъ ему, между прочимъ, и письмо отъ Софи. Онъ не зналъ ея руки; слѣдовательно, не догадался по адресу, отъ кого письмо, и прехладнокровно развернулъ его. При первой строчкѣ рука его задрожала, но онъ дочиталъ письмо спокойно, всталъ, бережно сложилъ его, потомъ сѣлъ на стулъ и обернулся головою къ окну. Два часа просидѣлъ онъ въ этомъ положеніи; чай давно уже стоялъ на столѣ, и онъ не хлебнулъ еще изъ своего стакана; трубка его давнымъ давно докурилась, и онъ не кликалъ казачка. Когда онъ совершенно пришелъ въ себя, ему показалось, что онъ вынесъ тяжкую, долгую болѣзнь; онъ чувствовалъ слабость въ ногахъ, усталъ, шумъ въ ушахъ; провелъ раза два рукою по головѣ, какъ будто шупая, тутъ ли она; ему было холодно, онъ былъ блѣденъ, какъ полотно; пошелъ въ спальню, выслалъ человѣка и бросился на диванъ, совсѣмъ одѣтый... Черезъ часъ онъ позвонилъ; а на другой день, чѣмъ свѣтъ, по плотинѣ, возлѣ мельницы, простучала дорожная коляска, и четверка сильныхъ лошадей дружно подымала ее въ гору; мельники, вышедшіе посмотреть, спрашивали: куда это нашъ баринъ? «Да, говорятъ, въ Питеръ», отвѣчалъ одинъ изъ нихъ. А черезъ полгода по тому же мосту простучала та же коляска назадъ: баринъ воротился съ барыней. Сельскій священникъ, ходившій поздравить Бельтова съ пріѣздомъ, возвратясь домой, съ величайшимъ удивленіемъ говорилъ женѣ:

— Попадья! а, попадья! знаешь, кто барыня? вотъ что была учительница-то, бывшая у Вѣры Васильевны отъ засѣкинской барыни. Чудны дѣла твои, Господи!

— Что? небось,—отвѣчала попадья,—приступу нѣтъ?

— Нѣтъ, не хочу лжесвидѣтельствовать,—отвѣчалъ священникъ:—словоохотна и благодушна.

Тетка, двое сутокъ сердившаяся на Бельтова за его первый пассажъ съ гувернанткой, цѣлую жизнь не могла забыть несноснаго брака своего племянника и умерла, не пуская его на глаза;

она часто говорила, что дожила бы до ста лѣтъ, если-бъ этотъ несчастный случай на лишилъ ее сна и аппетита. Видно, ужъ таково устройство женскаго сердца: сама Бельтова не могла изжить страшнаго опыта, перенесеннаго ею до замужества. Есть нѣжныя и тонкія организаціи, которыя именно отъ нѣжности не перерываются горемъ, уступаютъ ему, повидимому, но искажаются, но принимаютъ въ себя глубоко, ужасно глубоко испытанное и въ продолженіе всей жизни не могутъ отдѣлаться отъ его вліянія; выстраданный опытъ остается какой-то злоторной матеріей, живетъ въ крови, въ самой жизни и то скроется, то вдругъ обнаруживается съ страшною силой и разлагаетъ тѣло. Именно такая натура была у Бельтовой: ни любовь мужа, ни благотворное вліяніе на него, которое было очевидно, не могли исторгнуть горькаго начала изъ души ея. Она боялась людей, была задумчива, дика, сосредоточена въ себѣ, была худа, блѣдна, недовѣрчива, все чего-то боялась, любила плакать и сидѣла молча цѣлые часы на балконѣ. Года черезъ три Бельтовъ простудился и дней въ пять умеръ: тѣло его, изнуренное прежней жизнью, не имѣло достаточныхъ силъ побѣдить горячку. Онъ умеръ въ безпамятствѣ. Софи поднесла къ нему двухгодового мальчика: онъ дико взглянулъ на него, и испуганный ребенокъ потянулся ручонками въ другую комнату. Ударъ этотъ сильно потрясъ Бельтову: она любила этого человѣка за его страстное раскаяніе; она узнала благородную натуру изъ-за грязи, которая къ ней пристала отъ окружавшаго ее; она оцѣнила его перемѣну; она любила даже иногда возвращавшіеся порывы буйнаго разгула и дикой необузданности избалованнаго нрава.

Со всей своей болѣзненной раздражительностью обратилась Бельтова, послѣ потери мужа, на воспитаніе малютки; если онъ дурно спалъ ночью,—она вовсе не спала; если онъ казался нездоровымъ,—она была больна; словомъ, она имъ жила, имъ дышала, была его нянькой, кормилицей, люлькой, лошадкой. Но и эта судорожная любовь къ сыну была смѣшана у ней съ чернымъ началомъ ея души. Мысль, что она потеряетъ ребенка, почти безпрестанно вплеталась въ мечты ея; она часто съ отчаяніемъ смотрѣла на спящаго младенца, и, когда онъ былъ очень покоенъ, робко подносила трепещущую руку къ устамъ его. Но, вопреки внутреннему голосу матери,—какъ она называла болѣзненные грезы свои,—ребенокъ росъ и, если не былъ очень здоровъ, то не былъ и боленъ. Она не выѣзжала изъ Бѣлаго-Поля; мальчикъ былъ совершенно одинъ и, какъ всѣ одинокія дѣти, развился не по лѣтамъ; впрочемъ, и помимо внѣшнихъ вліяній, въ ребенкѣ были видимы несомнѣнные признаки рѣзкихъ способностей и энергическаго харак-

тера. Настало время ученія. Бельтова отправилась съ сыномъ въ Москву для того, чтобъ найти гувернера. У ея покойнаго мужа жилъ въ Москвѣ дядя, оригиналь большой руки, ненавидимый всей роднею, капризный холостякъ, преумный, препраздный и, въ самомъ дѣлѣ, пренесносный своей своеобычностью.

Не могу никакъ удержаться, чтобъ не сказать нѣсколько словъ и объ этомъ чудакѣ: меня ужасно занимаютъ біографіи всѣхъ встрѣчающихся мнѣ лицъ. Кажется, будто жизнь людей обыкновенныхъ однообразна,—это только кажется: ничего на свѣтѣ нѣтъ оригинальнѣе и разнообразнѣе біографій неизвѣстныхъ людей, особенно тамъ, гдѣ нѣтъ двухъ человекъ, связанныхъ одной общей идеей, гдѣ всякій молодецъ развивается на свой образецъ, безъ задней мысли—куда вынесетъ! Если-бъ можно было, я составилъ бы біографическій словарь, по азбучному порядку, всѣхъ, напри- мѣръ, бреющихъ бороду, сначала; для краткости можно бы выпустить жизнеописанія ученыхъ, литераторовъ, художниковъ, отличившихся воиновъ, государственныхъ людей, вообще людей, занятыхъ общими интересами: ихъ жизнь однообразна, скучна; успѣхи, таланты, гоненія, рукоплесканія, кабинетная жизнь или жизнь внѣ дома, смерть на полдорогѣ, бѣдность въ старости,—ничего своего, а все принадлежащее эпохѣ. Вотъ поэтому-то я нисколько не избѣгаю біографическихъ отступленій: они раскрываютъ всю роскошь мірозданія. Желаящій можетъ пропускать эти эпизоды, но съ тѣмъ вмѣстѣ онъ пропуститъ и повѣсть. Итакъ, біографія дя- дяшки.

Отецъ его—степной помѣщикъ, прикидывавшійся всегда разореннымъ, ходилъ всю жизнь въ нагольномъ тулупѣ, самъ ѣздилъ продавать въ губернскій городъ рожь, овесъ и гречиху, при чемъ, какъ водится, обмѣривалъ и былъ за это прочаемъ иногда. Однако, сына своего, несмотря на разстроеныя обстоятельства, онъ отправилъ въ гвардію и съ нимъ—двѣ четверки лошадей, двухъ поваровъ, камердинера, лакея-гиганта и четырехъ мальчиковъ, какъ *hors d'œuvre* ¹⁾). Въ Петербургѣ находили, что молодой офицеръ прекрасно воспитанъ, то есть имѣетъ восемь лошадей, не меньшее число людей, двухъ поваровъ и пр. Все шло сначала, какъ по маслу; будущій дядюшка сдѣлался гвардіи поручикомъ, какъ вдругъ произошло важное событіе въ его жизни: оно случилось въ семидеся- тыхъ годахъ. Въ прекрасный зимній день ему вздумалось прокатиться въ саняхъ по Невскому; за Аничковымъ мостомъ его нагнали большія сани тройкой, поравнялись съ нимъ, хотѣли обо-

¹⁾ Добавочное къ главному.

гнать. Вы знаете сердце русскаго,—поручикъ закричалъ кучеру: «пошелъ!»—«Пошелъ!» закричалъ львинымъ голосомъ высокій, статный мужчина, закутанный въ медвѣжью шубу и сидѣвшій въ другихъ саняхъ. Поручикъ обогналъ. Задыхаясь отъ бѣшенства, при поворотѣ, господинъ въ медвѣжьей шубѣ, державшій въ рукѣ арапникъ, вытянулъ имъ поручичьяго кучера, нарочно зацѣпивъ за барина.

— Не перегоняй, бестія!

— Что вы съ ума сошли?—спросилъ офицеръ.

— Я хочу отучить вашего дурака, чтобъ онъ не смѣлъ перегонять.

— Я ему велѣлъ скакать, милостивый государь, и вы понимаете, что я слишкомъ уважаю мундиръ моей государыни, чтобъ позволить запятнать его.

— Ба, какой молодчикъ! Да кто ты такой?

— Да ты кто?—спросилъ поручикъ, готовый броситься на него, какъ звѣрь.

Статный мужчина посмотрѣлъ на него съ презрѣніемъ, показалъ ему свой кулакъ величиною въ слоновью ногу и сказалъ:

— Въ рукопашный? Нѣтъ, братъ, отстанешь!—потомъ закричалъ кучеру:—пошелъ!

— Ступай за нимъ!—вскрикнулъ поручикъ своему кучеру, прибавивъ слова два, до того всѣмъ извѣстныя, что ихъ и въ лексиконѣ не помѣщаютъ.

Офицеръ, дѣйствительно, узналъ, гдѣ живетъ этотъ господинъ, однако, итти къ нему раздумалъ; онъ рѣшилъ написать ему письмо и началъ, было, довольно удачно; но ему, какъ нарочно, помѣшали: его потребовалъ генералъ, велѣлъ за что-то арестовать; потомъ его перевели въ гарнизонъ Орской крѣпости. Орская крѣпость вся стоитъ на яшмѣ и на благороднѣйшихъ горнокаменныхъ породахъ, тѣмъ не менѣе тамъ очень скучно. Офицеръ взялъ съ собою экземпляръ Кребильоновыхъ ¹⁾ романовъ и съ такимъ назидательнымъ чтеніемъ отправился на границу Уфимской провинціи. Года черезъ три его опять перевели въ гвардію, но онъ возвратился изъ Орской крѣпости, по замѣчанію знакомыхъ, нѣсколько поврежденнымъ; вышелъ въ отставку, потомъ уѣхалъ въ имѣніе, доставшееся ему послѣ разореннаго отца, который, кряхтя и ходя въ нагольномъ тулупѣ,—для одного, впрочемъ, скругленія,—прикупилъ двѣ тысячи пятьсотъ душъ окольныхъ крестьянъ. Тамъ новый помѣщикъ посорился со всѣми родными и уѣхалъ въ чужіе края. Года три про-

¹⁾ Клодъ Кребильонъ, авторъ многихъ романовъ, считавшихся порнографическими въ XVIII вѣкѣ.

падалъ онъ въ англійскихъ университетахъ, потомъ объѣхалъ почти всю Европу, минуя Австрію и Испанію, которыхъ не любилъ; былъ въ связяхъ со всѣми знаменитостями, просиживалъ вечера съ Боннэ ¹⁾, толкуя объ органической жизни, и цѣлыя ночи съ Бомарше, толкуя о его процессахъ за бокалами вина; дружески переписывался съ Шлёцеромъ, который тогда издавалъ свою знаменитую газету; ѣздилъ нарочно въ Эрменонвиль къ угасавшему Жанъ-Жаку ²⁾ и гордо проѣхалъ мимо Фернея, не заѣзжая къ Вольтеру. Возвратившись лѣтъ черезъ десять изъ путешествія, онъ попробовалъ пожить въ Петербургѣ. Ему пришлось не по вкусу петербургская жизнь, и онъ поселился въ Москвѣ. Сначала находилъ онъ все страннымъ; [потомъ всѣ его стали находить страннымъ. И въ самомъ дѣлѣ, онъ какъ-то потерялся... сталъ читать однѣ медицинскія книги, видимо опускался, становился озлобленнымъ, капризнымъ, чужимъ всему и ко всему охладѣвшимъ...

Къ нему пріѣхалъ около того времени, какъ Бельтова искала гувернера, рекомендованный однимъ изъ его швейцарскихъ друзей женевецъ, желавшій опредѣлиться въ воспитатели. Женевецъ былъ человѣкъ лѣтъ сорока, сѣдой, худощавый, съ юными голубыми глазами и съ строгимъ благочестіемъ въ лицѣ. Онъ былъ человѣкъ отлично образованный, славно зналъ по-латыни, былъ хорошій ботаникъ. Въ дѣлѣ воспитанія мечтатель съ юношескою добросовѣстностью видѣлъ исполненіе долга, страшную отвѣтственность; онъ изучилъ всевозможные трактаты о воспитаніи и педагогіи отъ «Эмиля» и Песталоцци до Базедова ³⁾ и Николаи ⁴⁾; одного онъ не вычиталъ въ этихъ книгахъ,—что важнѣйшее дѣло воспитанія состоитъ въ приспособленіи молодого ума къ окружающему, что воспитаніе должно быть климатологическое, что для каждой эпохи,—такъ, какъ для каждой страны, еще болѣе для каждаго сословія, а можетъ быть, и для каждой семьи,—должно быть свое воспитаніе. Этого женевецъ не могъ знать: онъ сердце человѣческое изучалъ по Плутарху, онъ зналъ современность по Мальтъ-Брѣну ⁵⁾ и статистикамъ; онъ въ сорокъ лѣтъ безъ слезъ не умѣлъ читать «Донъ-Карлоса», вѣрилъ въ полноту самоотверженія, не могъ простить Наполеону, что онъ не освободилъ Корсики, и возилъ съ собой портретъ Паоли ⁶⁾. Правда, и онъ имѣлъ горькія столкновенія

¹⁾ Шарль, естествоиспытатель и философъ.

²⁾ Руссо.

³⁾ Юганъ-Бернгардъ, нѣмецкій педагогъ.

⁴⁾ Людвигъ-Генрихъ, нѣмец. писатель и педагогъ, воспитатель Павла I.

⁵⁾ Знаменитый франц. географъ.

⁶⁾ Паскаль, знаменитый борецъ за независимость Корсики.

съ міромъ практическимъ: бѣдность, неудачи крѣпко давили его, но онъ отъ этого еще менѣе узналъ дѣйствительность. Печальный бродилъ онъ по чуднымъ берегамъ своего озера, негодующій на свою судьбу, негодующій на Европу, и вдругъ воображеніе указало ему на сѣверъ—на новую страну, которая, какъ Австралія въ физическомъ отношеніи, представляла въ нравственномъ что-то слагающееся въ огромныхъ размѣрахъ, что-то иное, новое, возникающее... Женевецъ купилъ себѣ исторію Левека ¹⁾, прочелъ Вольтерова «Петра I-го» и черезъ недѣлю пошелъ пѣшкомъ въ Петербургъ. При дѣвственномъ взглядѣ своемъ на міръ женевецъ имѣлъ какую-то незыблемую основательность, даже своего рода холодность. Холодный мечтатель неисправимъ: онъ останется навѣки вѣковъ ребенкомъ.

Бельтова познакомилась съ нимъ у дяди; она едва смѣла надѣяться найти идеальнаго гувернера, который сложился у ней въ фантазіи, но женевецъ былъ близокъ къ нему. Она предложила ему (по-тогдашнему очень много) четыре тысячи рублей въ годъ. Женевецъ сказалъ, что ему надобно только тысячу двѣсти, и согласился. Бельтова изъявила свое удивленіе, но онъ хладнокровно возразилъ, что онъ съ нея беретъ не менѣе и не болѣе, какъ сколько нужно, что онъ составилъ себѣ бюджетъ въ восемьсотъ рублей да на непредвидѣнные случаи полагаетъ четыреста; «къ роскоши,—прибавилъ онъ,—я приучаться не хочу, а собирать капиталъ считаю дѣломъ безчестнымъ». И этому-то безумцу ввѣрила мать воспитаніе будущаго обладателя Бѣлымъ-Подемъ съ пустошами и угодыями.

Одинъ старикъ-дядя, всѣмъ на свѣтѣ недовольный, былъ и этимъ недоволенъ, и въ то время, какъ Бельтова была внѣ себя отъ радости, дядя (одинъ изъ всѣхъ родныхъ ея мужа, принимавшій ее), говорилъ: «Охъ, Софья, Софья, все ты вздоръ дѣлаешь; женевецъ остался бы преспокойно у меня чтецомъ; что онъ за гувернеръ? За нимъ надо еще няньку, да и что онъ сдѣлаетъ изъ Володи? Швейцарца? Такъ ужъ лучше, по моему, просто тебѣ везти его куда-нибудь въ Веве или Лозанну»... Софья видѣла въ этихъ словахъ эгоизмъ старика, полюбившаго женевца, и, не желая сердить его, молчала; а потомъ, спустя недѣли двѣ, отправилась съ Володей и съ юношею въ сорокъ лѣтъ назадъ въ свое имѣніе. Дѣло было весною. Женевецъ началъ съ того, что развилъ въ Володѣ страсть къ ботаникѣ. Съ ранняго утра отправлялись они гербаризировать, и живой разговоръ замѣнялъ скучные уроки: всякій

¹⁾ Пьеръ-Шарль, франц. историкъ, авторъ «Histoire de la Russie».

предметъ, попавшійся на глаза, былъ темою, и Володя съ чрезвычайнымъ вниманіемъ слушалъ объясненія женеваца. Послѣ обѣда сидѣли, обыкновенно, на балконѣ, выходившемъ въ садъ, и женеваецъ рассказывалъ біографіи великихъ людей, дальнія путешествія, иногда позволялъ въ видѣ награды читать самому Володѣ Плутарха... И время шло, и два выбора прошли, и пришло время везти Володю въ университетъ. Матери что-то не хотѣлось: она въ эти годы болѣе сдружилась съ кроткимъ счастіемъ, нежели во всю жизнь; ей было такъ хорошо въ этой безмятежной, созвучной жизни, что она боялась всякой переменъ; она такъ привыкла и такъ любила ждать на своемъ завѣтномъ балконѣ Володю съ дальнихъ прогулокъ; она такъ наслаждалась имъ, когда онъ, отирая потъ съ своего лица, раскраснѣвшійся и веселый, бросался къ ней на шею; она съ такою гордостью, съ такимъ наслажденіемъ смотрѣла на него, что готова была заплакать. Въ самомъ дѣлѣ, видъ Володи имѣлъ въ себѣ что-то трогательное: онъ былъ такъ благороденъ,—что-то такое прямое, открытое, довѣрчивое, было въ немъ,—что смотрящему на него становилось отрадно для себя и грустно за него. Какъ очевидно было, что на этого стройнаго, гибкаго отрока съ свѣтлымъ взоромъ, жизнь не клала ни одного ярма, что чувство страха не посѣщало этой груди, что ложь не переходила чрезъ эти уста, что онъ совсѣмъ не зналъ, что ожидаетъ его съ лѣтами. Женеваецъ привязался къ своему ученику почти такъ же, какъ мать; онъ иногда, долго смотрѣвъ на него, опускалъ глаза, полные слезъ, думая: «и моя жизнь не погибла; довольно, довольно сознанія, что я способствовалъ развитію такого юноши,—меня совѣсть не упрекнетъ».

Какъ все перепутано, какъ все странно на бѣломъ свѣтѣ! Ни мать, ни воспитатель, разумѣется, не думали, сколько горечи, сколько искуса они готовятъ Володѣ этимъ отшельническимъ воспитаніемъ. Они сдѣлали все, чтобъ онъ не понималъ дѣйствительности; они рачительно завѣсили отъ него, что дѣлается на сѣромъ свѣтѣ, и вмѣсто горькаго посвященія въ жизнь передали ему блестящіе идеалы; вмѣсто того, чтобъ вести на рынокъ и показать жадную нестройность толпы, мечущейся за деньгами, они привели его на прекрасный балетъ и увѣрили ребенка, что эта грація, что это музыкальное сочетаніе движеній съ звуками — обыкновенная жизнь; они приготовили своего рода нравственнаго Каспара Гаузера ¹⁾). Таковъ былъ и женеваецъ; но какая разница: онъ—бѣдный ученый, готовый переходить съ края на край земного шара съ небольшой котомкой, съ портретомъ Паоли, съ своими заповѣдными

¹⁾ Извѣстная загадочная личность.

мечтами и съ привычкой довольствоваться малымъ, съ презрѣніемъ къ роскоши и съ готовностью на трудъ; что же въ немъ было схожаго съ назначеніемъ Володи и съ его общественнымъ положеніемъ?..

Но какъ ни сдружилась Бельтова съ своей отшельнической жизнію, какъ ни было больно ей оторваться отъ тихаго Бѣлаго-Поля, она рѣшилась ѣхать въ Москву. Приѣхавъ, Бельтова повезла Володю тотчасъ къ дядѣ. Старикъ былъ очень слабъ; она застала его полулежащаго въ вольтеровскихъ креслахъ; ноги были закутаны шальями изъ козьяго пуху; сѣдые и рѣдкіе волосы длинными космами падали на халатъ; на глазахъ былъ зеленый зонтикъ.

— Ну, ты чѣмъ занимаешься, Владиміръ Петровичъ? — спросилъ старикъ.

— Готовлюсь въ университетъ, дѣдушка, — отвѣчалъ юноша.

— Въ какой?

— Въ московскій.

— Что тамъ дѣлать? Я самъ знакомъ былъ съ Матеи ¹⁾, да и съ Геймомъ, — ну, а все, кажется бы, въ Оксфордъ лучше; а, Софья? право лучше. А по какой части хочешь ты итти?

— По юридической, дѣдушка.

Дѣдушка сдѣлалъ презрительную мину.

— Ну, чтожъ! выучишь *le droit naturel, le droit des gens, le code de Justinien* ²⁾, — потомъ что?

— Потомъ, — отвѣчала мать, улыбаясь, — потомъ въ Петербургъ служить.

— Ха, ха, ха! очень нужно знать *Pandectes* и всѣ эти *Glosses* ³⁾! Или, можетъ быть, вы, Владиміръ Петровичъ, въ юрисконсульты собираетесь? Ха, ха, ха! въ адвокаты? Дѣлайте, какъ знаете, а по моему, братецъ, иди по дохтурской части; я тебѣ бібліотеку свою оставлю — большая бібліотека: я ее держалъ въ хорошемъ порядкѣ и все новое выписывалъ; медицинская наука теперь лучше всѣхъ; ну, вѣдь ближнему будешь полезенъ, изъ за денегъ тебѣ лѣчить стыдно, даромъ будешь лѣчить, — а совѣсть-то спокойна.

Зная упорность мнѣній старика, ни Володя, ни мать его не возражали, но женевецъ не вытерпѣлъ и сказалъ:

— Конечно, поприще врача прекрасно, но я не знаю, отчего же Владиміру Петровичу не итти по гражданской части, когда всѣми средствами стараются, чтобъ образованные молодые люди шли въ службу?

¹⁾ Христіанъ-Фридрихъ, филологъ, профессоръ московскаго университета.

²⁾ Естественное право, международное право, кодексъ Юстиніана.

³⁾ Пандекты и толкованія (римскаго права).

— Онъ выучить васъ да кстати и меня; а я былъ въ Женевѣ, когда онъ еще ползаль на четверенькахъ, — отвѣчалъ капризный старикъ, — мой милый citoyen de Genève! ¹⁾. А знаете ли вы, — прибавилъ онъ, смягчившись, — у насъ въ какомъ-то переводѣ изъ Жанъ-Жака было написано: «Сочиненіе женевского *мѣщанина* Руссо»... и старикъ закашлялъ отъ смѣха.

Онъ тысячу разъ рассказывалъ объ этомъ переводѣ, и ему всегда казалось, что его слушатель еще не знаетъ.

— Володя, — продолжалъ уже онъ въ веселомъ расположеніи, — не пишешь ли ты виршей?

— Пробовалъ, дѣдушка, — отвѣчалъ Владиміръ, покраснѣвъ.

— Пожалуйста, не пиши, любезный другъ; одни пустые люди пишутъ вирши; вѣдь, это *futilité* ²⁾, — надобно дѣломъ заниматься.

Только послѣдній совѣтъ Владиміръ и исполнилъ: стиховъ онъ не писалъ. Вступилъ же онъ не въ оксфордскій университетъ, а въ московскій, и не по медицинской части, а по этико-политической. Университетъ довершилъ воспитаніе Бельтова. Доселѣ онъ былъ одинъ; теперь попалъ въ шумную семью товарищества. Здѣсь онъ узналъ свой удѣльный вѣсъ, здѣсь онъ встрѣтилъ горячую симпатію юныхъ друзей и, раскрытый ко всему прекрасному, сталъ усердно заниматься науками. Самъ деканъ не былъ равнодушенъ къ нему, находя, что ему недостаетъ только покороче волосъ и побольше почтительнаго благонавія, чтобъ быть отличнымъ студентомъ. Кончился, наконецъ, и курсъ; роздали на актѣ юношамъ подорожныя въ жизнь. Бельтова стала собираться въ Петербургъ; сына она хотѣла отправить впередъ, потомъ, устройвъ свои дѣла, ѣхать за нимъ. Прежде, нежели университетскіе друзья разбрелись по бѣлу-свѣту, собрались они у Бельтова, накануне его отъѣзда; всѣ были еще полны надеждъ; будущность раскрывала свои объятія, манила, отчасти какъ Клеопатра, предоставляя себѣ право казни за восторги. Молодые люди чертили себѣ колоссальные планы... Никто не подозревалъ, что одинъ кончитъ свое поприще начальникомъ отдѣленія, проигрывающимъ все достояніе свое въ преферансъ; другой зачерствѣетъ въ провинціальной жизни и будетъ себя чувствовать нездоровымъ, когда не выпьетъ трехъ рюмокъ зорной настойки передъ обѣдомъ и не проспигъ трехъ часовъ послѣ обѣда; третій — на такомъ мѣстѣ, на которомъ онъ будетъ сердиться, что юноши — не старики, что они не похожи на его экзекутора ни манерами, ни нравственностью, а все пустые мечтатели. Въ ушахъ Бельтова

¹⁾ Женевскій гражданинъ.

²⁾ Ничтожная мелочь.

еще раздавались клятвы въ дружбѣ, въ вѣрности мечтавъ, звуки чокающихся бокаловъ,— какъ женевецъ въ дорожномъ платьѣ будилъ его.

Мечтатель мой съ восторгомъ ѣхалъ въ Петербургъ. Дѣятельность, дѣятельность!.. Тамъ-то совершатся его надежды, тамъ-то онъ разовьетъ свои проекты, тамъ узнаетъ дѣйствительность,— въ этомъ средоточіи, изъ котораго выходитъ вся новая жизнь Россіи! Москва, думалъ онъ, совершила свой подвигъ, свела въ себя, какъ въ горячее сердце, всѣ вены государства; она бьется за него; но Петербургъ, Петербургъ, это—мозгъ Россіи, онъ вверху, около него ледяной и гранитный черепъ; это — возмужалая мысль имперіи... И рядъ подобныхъ мыслей и метафоръ тянулся въ его головѣ безъ малѣйшей натяжки и съ святою искренностью. А дилижансъ, между тѣмъ, катился отъ станціи до станціи и везъ, сверхъ нашихъ мечтателей, отставного конно-егерскаго полковника, съ сѣдыми усами, архангельскаго чиновника, возившаго съ собою окаменѣлую шамаю, ромашку на случай разстройства здоровья и лакея, одѣтаго въ плѣшивый тулупъ; да свѣтло-бѣлокураго юнкера, у котораго щеки были темнѣе волосъ и который гордился своимъ вліяніемъ на кондуктора. Для Владиміра всѣ эти лица имѣли новость, праздничный видъ. Онъ добродушно смѣялся надъ архангелогородцемъ, когда тотъ его угощалъ ископаемой шамаей, и улыбался надъ его неловкостью, когда онъ такъ долго шарилъ въ кошелекѣ, чтобъ найти приличную монету отдать за порцію щей, что нетерпѣливый полковникъ платилъ за него; онъ не могъ довольно нарадоваться, что архангельскій житель говорилъ полковнику: «ваше превосходительство», и что полковникъ не могъ рѣшительно выразить ни одной мысли, не начавъ и не окончивъ ее словами, далеко не столь почтительными; ему даже былъ смѣшонъ неуклюжій старичокъ, служившій у архангельскаго проѣзжаго или, правильнѣе, не умиравшій у него въ услуженіи и переплетенный въ cuir russe¹⁾, несмотря на холодъ. Юноша на все смотрѣлъ добродушно!

Пріѣздъ его въ Петербургъ и первое появленіе въ свѣтѣ было чрезвычайно успѣшно. Онъ имѣлъ рекомендательное письмо къ одной старой дѣвицѣ съ вѣсомъ; старая дѣвица, увидя прекраснаго собой юношу, рѣшила, что онъ очень образованъ и знаетъ прекрасно языки. Ея братъ былъ начальникомъ какой-то отрасли гражданскаго управленія. Она представила ему Владиміра. Тотъ поговорилъ съ нимъ нѣсколько минутъ и, въ самомъ дѣлѣ, былъ пораженъ его простою рѣчью, его многостороннимъ образованіемъ и

¹⁾ Русская кожа.

пылкимъ, пламеннымъ умомъ. Онъ ему предложилъ записать его въ свою канцелярію, самъ поручилъ директору обратить на него особенное вниманіе. Владиміръ принялся рьяно за дѣла; ему понравилась бюрократія, разсматриваемая сквозь призму 19 лѣтъ,—бюрократія хлопотливая, занятая, съ нумерами и регистратурой, съ озабоченнымъ видомъ и кипами бумагъ подъ рукой; онъ видѣлъ въ канцелярії мельничное колесо, которое заставляетъ двигаться массы людей, разбросанныхъ на половинѣ земного шара,—онъ все поэтизировалъ.

Пріѣхала, наконецъ, и Бельтова въ Петербургъ. Женевецъ все еще жилъ у нихъ; въ послѣднее время онъ порывался нѣсколько разъ оставить Бельтовыхъ, но не могъ; онъ такъ сжился съ этимъ семействомъ, такъ много удѣлил своего Владимиру и такъ глубоко уважалъ его мать, что ему трудно было переступить за порогъ ихъ дома; онъ становился угрюмъ, боролся съ собою,—онъ, какъ мы сказали, былъ холодный мечтатель и, слѣдовательно, неисправимъ. Какъ-то, вечеромъ, вскорѣ послѣ опредѣленія Владиміра на службу, маленькая семья сидѣла у камина. Молодой Бельтовъ, у котораго и самолюбіе было развито, и юное сознаніе силъ и готовности — мечталъ о будущемъ; у него въ головѣ бродили разныя надежды, планы, упованія; онъ мечталъ объ обширной гражданской дѣятельности, о томъ, какъ онъ посвятитъ всю жизнь ей... И среди этихъ увлеченій будущимъ, пылкой юноша вдругъ бросился на шею къ женецу: «И какъ много обязанъ я тебѣ, истинный добрый другъ нашъ, — сказалъ онъ ему, — въ томъ, что я сдѣлался человѣкомъ: тебѣ и моей матери я обязанъ всѣмъ, всѣмъ; ты больше для меня, нежели родной отецъ!» Женевецъ закрылъ рукою глаза, потомъ посмотрѣлъ на мать, на сына, хотѣлъ что-то сказать, ничего не сказалъ, всталъ и вышелъ вонъ изъ комнаты.

Пришедши въ свой небольшой кабинетъ, женевецъ заперъ дверь, вытащилъ изъ-подъ дивана свой пыльный чемоданчикъ, обтеръ его и началъ укладывать свои сокровища, съ любовью пересматривая ихъ. Эти сокровища обличали какъ-то въявь всю безконечную нѣжность этого человѣка. У него хранился бережно завернутый портфель; портфель этотъ, криво и косо сдѣланный, склеилъ для женеца 12-лѣтній Володя къ новому году, тайкомъ отъ него, ночью; сверху онъ налѣпилъ выданный изъ какой-то книги портретъ Вашингтона. Далѣе, у него хранился акварельный портретъ 14-лѣтняго Володи; онъ былъ нарисованъ съ открытой шеей, загорѣлый, съ пробивающейся мыслью въ глазахъ и съ тѣмъ видомъ, полнымъ упованія надежды, который у него сохранился еще лѣтъ

на пять, а потомъ мелькалъ въ рѣдкія минуты, какъ солнце, въ Петербургѣ, какъ что-то прошедшее, не прилаживающееся ко всѣмъ прочимъ чертамъ. Еще были у него серебряные математическіе инструменты, подаренные ему старикомъ-дядей; его же огромная черепаховая табакерка, на которой было вытиснено изображеніе праздника при федерализаціи, принадлежавшая старику, и лежавшая всегда возлѣ него,—ее женевецъ купилъ послѣ смерти старика у его камердинера. Уложивъ всѣ эти драгоценности и еще кой-какія въ томъ же родѣ, онъ отобралъ книгъ пятнадцать, остальные отложилъ. Потомъ, раннимъ утромъ, вышелъ онъ осторожно въ Морскую, призвалъ ломового извозчика, вынесъ съ человѣкомъ чемоданчикъ и книги и поручилъ ему сказать, что онъ поѣхалъ дня на два за городъ, надѣлъ длинный сюртукъ, взялъ трость и зонтикъ, пожалъ руку лакею, который служилъ при немъ, и пошелъ пѣшкомъ съ извозчикомъ; крупныя слезы капали у него на сюртукъ.

Дня черезъ два Бельтова, чрезвычайно удивленная поѣздкой женевца, но ожидавшая его возвращенія, получила слѣдующее письмо:

«Милостивая государыня! Вчера вечеромъ я получилъ полную награду за труды мои. Повѣрьте, эта минута останется мнѣ памятною; она проводитъ меня до конца жизни, какъ утѣшеніе, какъ мое оправданіе въ моихъ собственныхъ глазахъ,—но съ тѣмъ вмѣстѣ она торжественно заключила мое дѣло, она ясно показала, что учитель долженъ оставить уже собственному развитію воспитанника, что онъ уже скорѣе можетъ повредить своимъ вліяніемъ самобытности, нежели быть полезнымъ. Человѣкъ долженъ цѣлую жизнь воспитываться, но есть эпоха, послѣ которой его не должно воспитывать. Да и что я могу сдѣлать теперь для вашего сына?—онъ опередилъ меня.

«Давно собирался я оставить вашъ домъ, но моя слабость мѣшала мнѣ, — мѣшала мнѣ любовь къ вашему сыну; если-бъ я не бѣжалъ теперь, я никогда бы не сумѣлъ исполнить этотъ долгъ, возлагаемый на меня честью. Вы знаете мои правила: я не могъ ужъ и потому остаться, что считаю унизительнымъ даромъ ѣсть чужой хлѣбъ и, не трудясь, брать ваши деньги на удовлетвореніе своихъ нуждъ. Итакъ, вы видите, что мнѣ слѣдовало оставить вашъ домъ. Разстанемся друзьями и не будемъ болѣе говорить объ этомъ.

«Когда вы получите это письмо, я буду по дорогѣ въ Финляндію; оттуда я намѣренъ отправиться въ Швецію; буду путешествовать, пока проживу свои деньги; потомъ примусь опять за работу: силы у меня еще найдутся.

«Въ послѣднее время я не бралъ у васъ денегъ; не дѣлайте опыта мнѣ ихъ пересылать, а отдайте половину человѣку, который ходилъ за мною, а половину—прочимъ слугамъ, которымъ прошу васъ дружески отъ меня поклониться: я подчасъ доставлялъ много хлопотъ этимъ бѣднымъ людямъ. Оставшіяся книги приметъ отъ меня въ подарокъ Вольдемаръ. Къ нему я пишу особю.

«Прощайте, прощайте, благороднѣйшая и глубокоуважаемая женщина! Да будетъ благословеніе на домъ вашемъ; впрочемъ, чего желать вамъ, имѣя такого сына? Желая одного: чтобъ вы и онъ жили долго, очень долго. Вашу руку».

Письмо его къ Владиміру начиналось такъ:

«Не совѣты учителя, а совѣты друга будутъ послѣднею рѣчью къ тебѣ, Вольдемаръ. Ты знаешь,—у меня нѣтъ родныхъ, которые мнѣ были бы близки, да нѣтъ и постороннихъ ближе тебя, несмотря на безмѣрное разстояніе лѣтъ. На твоемъ челѣ покоятся мои упованія и надежды. Я стяжалъ, Вольдемаръ, право дать тебѣ дружескій совѣтъ, уѣзжая. Иди дорогой, которую тебѣ указала судьба: она прекрасна; я не боюсь неудачъ и несчастій: они найдутъ въ тебѣ отпоръ и силу,—я боюсь успѣховъ и счастья: ты стоишь на скользкой дорогѣ. Служи дѣлу, но смотри, чтобъ не вышло обратнаго: чтобъ дѣло не служило тебѣ. Не смѣшай, Вольдемаръ, средства съ цѣлью. Одна любовь къ ближнему, одна любовь къ благу должна быть цѣлью. Если любовь изсякнетъ въ душѣ твоей, ты ничего не сдѣлаешь, ты будешь обманывать себя; только любовь созидаетъ прочное и живое, а гордость бесплодна, потому что ей ничего не нужно внѣ себя...»

Всего письма не перепишешь: оно въ три почтовые листа.

Такъ исчезъ въ жизни Владиміра. этотъ свѣтлый и добрый образъ воспитателя. «Гдѣ-то нашъ monsieur Joseph?» — часто говорили мать или сынъ, и они оба задумывались, и въ воображеніи у нихъ носилась его кроткая, спокойная и нѣсколько монашеская фигура, въ своемъ длинномъ дорожномъ сюртукѣ, пропадая за гордыми и независимыми норвежскими горами.

VII.

Азаисъ ¹⁾ доказывалъ (очень скучно), что все въ мірѣ навѣрстывается; разумѣется, чтобъ вѣрить этому, не надобно быть слишкомъ строгимъ и придирается къ мелочамъ. Основываясь на этомъ,

¹⁾ Французскій философъ.

мы просимъ позволенія, въ видѣ возмездія за потерю мсьё Жозефа, представить Осипа Евсѣича. Осипъ Евсѣичъ былъ худенькій, сѣдненькій старичокъ, лѣтъ шестидесяти, въ потертомъ виць-мундирномъ фракѣ, всегда съ довольнымъ видомъ и красными щеками. Онъ тридцать лѣтъ управлялъ четвертымъ столомъ въ той канцеляріи, куда поступилъ Бельтовъ; пятнадцать лѣтъ до того времени онъ провель на дворѣ канцеляріи въ почетномъ званіи швейцарова сына, дававшимъ ему аристократическій вѣсъ передъ дѣтьми всѣхъ сторожей. Этотъ человекъ всего лучше могъ служить доказательствомъ, что не дальнія путешествія, не университетскія лекціи, не широкій кругъ дѣятельности образуютъ человека: онъ былъ чрезвычайно опытенъ въ дѣлахъ, въ знаніи людей и къ тому же такой дипломатъ, что конечно, не отсталъ бы ни отъ Остермана, ни отъ Талейрана. Отъ природы сметливый, онъ имѣлъ полную возможность и досугъ развить и воспитать свой практической умъ, сидя съ пятнадцати лѣтъ въ канцеляріи; ему не мѣшали ни науки, ни чтеніе, ни фразы, ни несбыточные теоріи, которыми мы изъ книгъ развращаемъ воображеніе, ни блескъ свѣтской жизни, ни поэтическія фантазіи. Онъ, переписывая набѣло бумаги и рассматривая въ то же время людей начерно, пріобрѣталъ ежедневно болѣе и болѣе глубокое знаніе дѣйствительности, вѣрное пониманіе окружающаго и вѣрный тактъ поведенія, спокойно проведеній его между канцелярскихъ омутовъ, не казистыхъ, но тинистыхъ и чрезвычайно опасныхъ. Мѣнялись главные начальники, мѣнялись директора, мелькали начальники отдѣленія, а столоначальникъ четвертаго стола оставался тотъ же, и всѣ его любили, потому что онъ былъ необходимъ, и потому что онъ тщательно скрывалъ это. Всѣ отличали его и отдавали ему справедливость, потому что онъ старался совершенно стереть себя; онъ все зналъ, все помнилъ по дѣламъ канцеляріи; у него справлялись, какъ въ архивѣ, и онъ не лѣзъ впередъ: ему предлагалъ директоръ мѣсто начальника отдѣленія,—онъ остался вѣренъ четвертому столу; его хотѣли представить къ кресту,—онъ на два года отдалилъ отъ себя крестъ, прося замѣнить его годовымъ окладомъ жалованья,—единственно потому, что столоначальникъ третьяго стола могъ позавидовать ему. Таковъ онъ былъ во всемъ: никогда никто изъ постороннихъ не жаловался на его лихоимство; никогда никто изъ его сослуживцевъ не подозрѣвалъ его въ безкорыстіи. Вы можете себѣ представить, сколько разныхъ дѣлъ прошло въ продолженіе сорока пяти лѣтъ черезъ его руки, и никогда никакое дѣло не вывело Осипа Евсѣича изъ себя, не привело въ негодованіе, не лишило веселаго расположенія духа. Онъ отроду не переходилъ мысленно отъ дѣлопроиз-

водства на бумагѣ къ дѣйствительному существованію обстоятельство и лицъ; онъ на дѣла смотрѣлъ какъ-то отвлеченно, какъ на сцѣпленіе большого числа отношеній, сообщеній, рапортовъ и запросовъ, въ извѣстномъ порядкѣ расположенныхъ и по извѣстнымъ правиламъ разросшихся. Продолжая дѣло въ своемъ столѣ, или *сообщая ему движеніе*, какъ говорятъ романтики-столоначальники, онъ имѣлъ въ виду, само собою разумѣется, одну очистку своего стола, и оканчивалъ дѣло у себя, какъ удобнѣе было: справкой въ Красноярскѣ, которая не могла ближе двухъ лѣтъ возвратиться, или заготовленіемъ окончательнаго рѣшенія, или—это онъ любилъ всего больше—пересылкою дѣла въ другую канцелярію, гдѣ уже другой столоначальникъ оканчивалъ по тѣмъ же правиламъ этотъ гранпасьянсъ. Онъ до того былъ безпристрастенъ, что вовсе не думалъ, напримѣръ, что могутъ быть лица, которая пойдутъ по міру прежде, нежели воротится справка изъ Красноярска,—Омеида должна быть слѣпа...

Вотъ этотъ-то почтеннѣйшій сослуживецъ Владиміра, мѣсяца черезъ три послѣ его опредѣленія, окончивъ пересмотръ перебѣленныхъ бумагъ и задавъ новаго корма перьямъ четырехъ писцовъ, вынулъ свою серебряную табакерку съ чернью, поднесъ ее помощнику и прибавилъ:

— Попробуйте-ка, Василій Васильевичъ, ворошатинскаго: пріятель привезъ изъ Владиміра.

— Славный табакъ! — возразилъ помощникъ чрезъ минуту, которую онъ провелъ между жизнью и смертью, нюхнувъ большую щепотку сухой, свѣтло-зеленой пыли.

— Что? забираетъ-съ?—сказалъ столоначальникъ, очень довольный тѣмъ, что испортилъ носовую перепонку своего помощника.

— А что, Осипъ Евсѣевичъ,—спросилъ помощникъ, болѣе и болѣе приходившій въ себя послѣ паралича отъ ворошатинскаго табаку и утиравшій синимъ платкомъ глаза, носъ, лобъ и даже подбородокъ,—я васъ еще не спросилъ, какъ вамъ понравился вновь опредѣляющійся молодой человекъ,—изъ Москвы, что-ли?

— Малый, кажется, бойкій; говорятъ, его *самъ* опредѣлилъ.

— Да-съ, точно, малый умный,—отнять нельзя. Я вчера слышалъ, онъ спорилъ съ Павль Павлычемъ; тотъ, знаете, не любитъ возраженій, а Бельтовъ этотъ не въ карманъ за словами ходитъ. Павла Павлычъ началъ сердиться: я, говоритъ, вамъ говорю такъ и такъ,—а Бельтовъ: да помилуйте, вотъ такъ и такъ. Порадовался я, со стороны глядя. Послѣ, какъ Бельтовъ отошелъ, Павла Павлычъ, знаете, пріятелю-то своему говоритъ: «вотъ и держи въ порядкѣ канцелярію, какъ этакихъ насажаютъ; да я, впрочемъ,

самъ—университетъ; я его отучу своевольничать; мнѣ дѣла нѣтъ, черезъ кого опредѣленъ».

— Эки дѣла!—сказалъ столоначальникъ, на котораго рассказъ, повидимому, сдѣлалъ тоже радостное впечатлѣніе,—такъ кто бы ни опредѣлилъ, все равно? Ай-да Павлычъ! Ну, а что жъ, онъ ему въ глаза-то сказалъ это?

— Нѣтъ, подъ конецъ онъ что-то по-французски только вернулъ. Признаюсь, какъ я посмотрѣлъ на эту выходку,—такъ знаете, что пришло въ голову: вотъ мы съ Осипомъ Евсѣичемъ будемъ все еще также сидѣть на перекоски у четвертаго стола, а онъ переѣдетъ вонъ туда,—онъ показалъ на директорскую.

— Эхъ, голова, голова ты, Василій Васильичъ!—возразилъ столоначальникъ,—умнѣй тебя, кажется, въ трехъ столахъ не найдешь, а и ты мелко плаваешь. Я, братъ, на своемъ вѣку довольно видѣлъ матеріала, изъ котораго выходятъ настоящіе дѣловые люди да правители канцеляріи; въ этомъ фертикѣ на волосъ нѣтъ того, что нужно. Что умень-то да рьянъ,—а на долго ли хватить и ума, и рьяности его? Хочешь объ закладъ на бутылку полыннаго, что онъ до столоначальника не дотянетъ?

— Пари держать не хочу, а я вчера читалъ бумаги, имъ писанныя: прекрасно пишетъ, ей-Богу; только въ «Сынѣ Отечества» удавалось читать такой штиль.

— Видѣлъ и я—у меня глазъ-то, правда, и старъ, ну, да не совсѣмъ, однако, и слѣпъ: формы не знаетъ, да кабы не зналъ по глупости, по непривычкѣ—не велика бѣда, когда-нибудь научился бы, а то изъ ума не знаетъ; у него изъ дѣла выходитъ романъ, а главное-то между пальцевъ идетъ; отъ кого сообщено, должно ли теченіе, кому переслать, ему все равно; это называется по-русски: вершки хватать; а спроси его—онъ насъ, стариковъ, пожалуй, поучить. Нѣтъ, братъ, дѣльнаго малаго сразу узнаешь; я сначала самъ, было, подумалъ: «кажется, не глупъ; можетъ, будетъ путь; ну, не привыкъ къ службѣ, обойдется, привыкнетъ», а теперь, три мѣсяца всякій день ходитъ и со всякой дрянью носитъ, горячится, точно отца родного, прости Господи, рѣжутъ, а онъ спасаетъ,—ну, куда уйдешь съ этимъ? Видали мы такихъ молодцовъ, не онъ первый, не онъ послѣдній, всѣ они только на словахъ выѣзжаютъ: я, де, злоупотребленія искореню, а самъ не знаетъ, какія злоупотребленія и въ чемъ они... Покричитъ, покричитъ да такъ на всю жизнь чиновникомъ *безъ всякихъ порученій* и останется, а съ дуру надъ нами будетъ подсмѣивать: это, де, канцелярскіе, чернорабочіе; а чернорабочіе-то все и дѣлаютъ; въ гражданскую палату просьбу по своему дѣлу надо подать—не умѣетъ,

давай чернорабочаго... Трутни! — заключилъ краснорѣчивый столоначальникъ.

Въ самомъ дѣлѣ, столоначальникъ разсуждалъ основательно, и событія, какъ нарочно, торопились ему на подтвержденіе. Бельтовъ вскорѣ охладѣлъ къ занятіямъ канцеляріи, сталъ раздражителенъ, небреженъ. Управлявшій канцелярією призывалъ его къ себѣ и говорилъ, какъ нѣжная мать,—не помогло. Его призвалъ министръ и говорилъ, какъ нѣжный отецъ,—такъ трогательно и такъ хорошо, что экзекуторъ, случившійся при этомъ, прослезился, несмотря на то, что его не легко было тронуть, что знали всѣ сторожа, служившіе подъ его начальствомъ,—и это не помогло. Бельтовъ началъ до того забываться, что оскорблялся именно этимъ родственнымъ участіемъ постороннихъ, именно этими отеческими желаніями его исправить. Словомъ, черезъ три мѣсяца послѣ краснорѣчиваго разговора столоначальника съ его помощникомъ, Осипъ Евсѣичъ гнѣвался на одного писца, что-то недоумѣвавшаго, и приговаривалъ: «Да когда же ты научишься? Ну, сколько разъ приходилось тебѣ писать, и всякій разъ для тебя всю черновую составь; все отъ того, что не служба на умѣ, а въ сюртучкѣ по Адмиралтейскому бульвару шляться за мамзелями,—не разъ видалъ... Ну, пиши: «И для свободнаго въ Россійской Имперіи прожитія данъ ему, отставному губернскому секретарю Бельтову, сей паспортъ, за надлежащимъ подписаніемъ и съ приложеніемъ казенной печати... Кончилъ? давай!» И онъ бормоталъ: «изъ двор... душъ... уѣзда... курсъ... штатъ... 18 сентября... православнаго... хорошо!» И внизу Осипъ Евсѣичъ скрѣпилъ мельчайшимъ шрифтомъ на самомъ краешкѣ листа. «Поди же, снеси сейчасъ и подай, а когда подпишетъ—въ регистратуру; вотъ печать поставили бы сбоку, видишь, гдѣ написано: «у сего паспорта». Онъ завтра за нимъ придетъ».

— Что, Василій Васильичъ, не хотѣли на полыннюю-то держать, а вотъ оно теперь бы и зашли. Нечего сказать, проворенъ!

— Ровно четырнадцать лѣтъ и шесть мѣсяцевъ не дослужилъ до пряжки,—остроумно замѣтилъ помощникъ.

Столоначальникъ и за нимъ весь столъ его расхохотались.

Этимъ олимпическимъ смѣхомъ окончилось служебное поприще добраго пріятеля нашего, Владиміра Петровича Бельтова. Это было ровно за десять лѣтъ до того знаменитаго дня, когда въ то самое время, какъ у Вѣры Васильевны за столомъ подавали пундигъ, раздался колокольчикъ,—Максимъ Ивановичъ не вытерпѣлъ и побѣжалъ къ окну.

Что же дѣлалъ Бельтовъ въ продолженіе этихъ десяти лѣтъ? Все или почти все.

Что онъ сдѣлалъ?

Ничего или почти ничего.

Кто не знаетъ старинной примѣты, что дѣти, слишкомъ много общающія, рѣдко много исполняютъ. Отчего это? Неужели силы у человѣка развиваются въ такомъ опредѣленномъ количествѣ, что если онѣ потребятся въ молодости, такъ къ совершеннолѣтію ничего не останется? Вопросъ премудреный. Я его не умѣю и не хочу разрѣшать, но думаю, что рѣшеніе его надобно скорѣе искать въ атмосферѣ, въ окружающемъ, въ вліяніяхъ и соприкосновеніяхъ, нежели въ какомъ-нибудь нелѣпомъ психическомъ устройствѣ человѣка. Какъ бы то ни было, но примѣта исполнилась надъ головой Бельтова. Бельтовъ съ юношеской запальчивостью и съ неосновательностью мечтателя сердился на обстоятельства и съ внутреннимъ ужасомъ доходилъ во всемъ почти до того же послѣдствія, которое такъ краснорѣчиво выразилъ Осипъ Евсѣичъ: «а дѣлають-то одни чернорабочіе», и дѣлають оттого, что барсуки и фараоновы мыши не умѣютъ ничего дѣлать и приносятъ на жертву человечеству одно желаніе, одно стремленіе, часто благородное, но почти всегда безплодное...

Однимъ, если не прекраснымъ, то совершенно петербургскимъ утромъ,—утромъ, въ которомъ соединились неудобства всѣхъ четырехъ временъ года, мокрый снѣгъ хлесталъ въ окна и въ одиннадцать часовъ утра еще не разсвѣтало, а, кажется, ужъ смеркалось,—сидѣла Бельтова у того же камина, у котораго была послѣдняя бесѣда съ женевцемъ; Владиміръ лежалъ на кушеткѣ съ книгою въ рукѣ, которую читалъ и не читалъ, наконецъ,—рѣшительно не читалъ, а положилъ на столъ и, долго просидѣвъ въ лѣнливой задумчивости, сказалъ:

— Маменька, знаете, что мнѣ въ голову пришло? вѣдь, дя-дюшка-то былъ правъ, совѣтуя мнѣ итти по медицинской части. Какъ вы думаете, не заняться ли мнѣ медициной?

— Какъ хочешь, мой другъ,—отвѣчала съ обычной кротостью Бельтова;—одно страшно, Володя: надобно будетъ тебѣ подходить къ больнымъ, а есть прилипчивыя болѣзни.

— Маменька,—сказалъ Владиміръ, нѣжно взявъ ея руку и улыбаясь,—какой вы эгоистъ, преисполненный любви! Жить, сложа руки, конечно, безопаснѣе; но я полагаю, что на бездѣйствіе надобно такъ же имѣть призваніе, какъ и-на дѣятельность. Не всякій, кто захочетъ, можетъ ничего не дѣлать.

— Попробуй,—отвѣчала мать.

На другой день утромъ Владиміръ явился въ залѣ анатомическаго театра и съ тѣмъ усердіемъ, съ которымъ принялся за

дѣла канцеляріи, сталъ заниматься анатоміей. Но онъ въ эту аудиторію не принесъ той чистой любви къ наукѣ, которая его сопровождала въ московскомъ университетѣ; какъ онъ ни обманывалъ себя, но медицина была для него мѣстомъ бѣгства: онъ въ нее шелъ отъ неудачъ; шелъ отъ скуки, отъ нечего дѣлать; много легло уже разстоянія между веселымъ студентомъ и отставнымъ чиновникомъ, дилетантомъ медицины. Одаренный быстрымъ умомъ, онъ очень скоро наткнулся въ новыхъ занятіяхъ своихъ на тѣ вопросы, на которые медицина учено молчитъ, и отъ разрѣшенія которыхъ зависитъ все остальное. Онъ остановился передъ ними и хотѣлъ ихъ взять приступомъ, отчаянной храбростью мысли; онъ не обратилъ вниманія на то, что разрѣшенія эти бываютъ плодомъ долгихъ, постоянныхъ, неутомимыхъ трудовъ; на такіе труды у него не было способности, и онъ примѣтно охладѣлъ къ медицинѣ, особенно къ медикамъ: онъ въ нихъ нашелъ опять своихъ канцелярскихъ товарищей; ему хотѣлось, чтобъ они посвящали всю жизнь разрѣшенію вопросовъ, его занимавшихъ; ему хотѣлось, чтобъ они къ кровати больного подходили, какъ къ высшему священнодѣйствію, а имъ хотѣлось вечеромъ играть въ карты, а имъ хотѣлось практики, а имъ было недосугъ.

«Нѣтъ,—думалъ Владиміръ,—нѣтъ, не хочу быть докторомъ! что я за безсовѣстный человѣкъ, что осмѣлюсь лѣчить больного при современной разноголосицѣ во всѣхъ фізіологическихъ вопросахъ. Все практическое въ сторону! Что я за чиновникъ, что я за ученый? Я... я..., не смѣю признаться, я—артистъ!» Срисовывая изображенія черепа, Бельтовъ догадался, что онъ художникъ. Вздумано—сдѣлано. Нижнія стекла у оконъ его кабинета завѣсили непроницаемыми тканями, возлѣ двухъ череповъ явилась небольшая Венера; вездѣ выросли, какъ изъ земли, гипсовые головы съ выраженіемъ ужаса, стыда, ревности, доблести—такъ, какъ ихъ понимаетъ ученое ваяніе, т. е. такъ, какъ эти страсти не являются въ натурѣ. Владиміръ пересталъ стричь волосы и ходилъ цѣлое утро въ блузѣ: этотъ костюмъ пролетарія ему сшилъ аристократъ-портной на Невскомъ проспектѣ. Владиміръ сталъ ходить всякую недѣлю въ Эрмитажъ и усердно сидѣть за мольбертомъ... Мать входила иногда на цыпочкахъ, боясь помѣшать будущему Тиціану въ его занятіяхъ. Онъ начиналъ поговаривать объ Италіи и объ исторической картинѣ въ современномъ и сильномъ вкусѣ: онъ обдумывалъ встрѣчу Бирона, ѣдущаго изъ Сибири, съ Минихомъ, ѣдущимъ въ Сибирь; кругомъ зимній ландшафтъ, снѣгъ, кибитки и Волга...

Само собою разумѣется, что и живопись не совѣмъ удовле-

творила Бельтова: въ немъ не доставало довольства занятіемъ; внѣ его не доставало той артистической среды, того живого взаимодѣйствія и обмѣна, который поддерживаетъ художника. Ничто не вызывало его дѣятельности; она была вовсе не нужна и обуславливалась только его личнымъ желаніемъ. Но всего болѣе мѣшали ему прежнія мечты о службѣ, о гражданской дѣятельности. Ничто въ мірѣ не заманчиво такъ для пламенной натуры, какъ участіе въ текущихъ дѣлахъ, въ этой, воочію совершающейся, исторіи; кто допустилъ въ свою грудь мечты о такой дѣятельности, тотъ испортилъ себя для всѣхъ другихъ областей; тотъ, чѣмъ бы ни занимался, вездѣ будетъ гостемъ,—его безусловная область не тамъ: онъ внесетъ гражданскій споръ въ искусство, онъ мысль свою нарисуетъ, если будетъ живописецъ,—пропоетъ, если будетъ музыкантъ. Переходя въ другую сферу, онъ будетъ себя обманывать такъ, какъ человекъ, оставляющій свою родину, старается увѣрить себя, что все равно, что его родина вездѣ, гдѣ онъ полезень,—старается,... а внутри его неотвязный голосъ зоветъ въ другое мѣсто и напоминаетъ инья пѣсни, иную природу. Темно и отчетливо бродили эти мысли по душѣ Бельтова, и онъ съ завистью смотрѣлъ на какого-нибудь германца, живущаго въ фортепьянахъ, счастливаго Бетховеномъ и изучающаго современность *ex fontibus*, т. е. по древнимъ писателямъ.

Къ тому же, длинные петербургскіе вечера, въ которые нельзя рисовать... Эти вечера Владиміръ проводилъ очень часто у одной вдовы, страстной любительницы живописи. Вдова была молода, хороша собой, со всей привлекательностью роскоши и высокаго образованія; у нея-то въ домѣ Владиміръ робко проговорилъ первое слово любви и смѣло подписалъ первый вексель на огромную сумму, проигранную имъ въ тотъ счастливый вечеръ, когда, онъ, разсѣянный и упоенный, игралъ, не обращая никакого вниманія на игру; да и до игры ли было? Противъ него сидѣла она, и онъ такъ ясно читалъ въ ея глазахъ любовь, вниманіе!

Не буду вамъ теперъ рассказывать всю исторію моего героя; событія ея очень обыкновенны, но они какъ-то не совѣмъ обыкновенно отражались въ его душѣ. Скажу вкратцѣ, что послѣ опыта любви, на который потратилось много жизни, и послѣ нѣсколькихъ векселей, на которые потратилось довольно много состоянія, онъ уѣхалъ въ чужіе края искать разсѣянья, искать впечатлѣній, занятій и проч.; а его мать, слабая и состарѣвшаяся не по лѣтамъ, поѣхала въ Бѣлое-Поле поправлять бреши, сдѣланныя векселями, да уплачивать годовыми заботами своими минутныя увлеченія сына, да копить новыя деньги, чтобъ Володя на чужой сторонѣ ни въ чемъ

не нуждался. Все это для Бельтовой было совсѣмъ не легко; она, хотя любила сына, но не имѣла тѣхъ способностей, какъ засѣкинская барыня, всегда готовая къ снисхожденію, всегда позволявшая себя обманывать не по небрежности, не по недогадкѣ, а по какой-то нѣжной деликатности, воспрещавшей ей обнаружить, что она видитъ истину. Крестьяне Бѣлаго-Поля молили Бога за свою барыню и платили оброкъ на славу. Бельтовъ писалъ часто къ матери, и тутъ бы вы могли увидѣть, что есть другая любовь, которая не такъ горда, не такъ притязательна, чтобъ исключительно присваивать себѣ это имя, но любовь, не охлаждающаяся ни лѣтами, ни болѣзнями, которая и въ старыхъ лѣтахъ дрожащими руками открываетъ письмо и старыми глазами льетъ горькія слезы на дорогія строчки. Письма сына были для Бельтовой источникомъ жизни; они ее подкрѣпляли, тѣшили, и она сто разъ перелистывала каждое письмо. А письма его были грустны, хотя и полны любви, хотя и много было утаено отъ слабаго сердца матери. Видно было, что скука снѣдаетъ молодого человѣка, что роль зрителя, на которую обрекаетъ себя путешественникъ, стала надоѣдать ему; онъ досмотрѣлъ Европу,—ему ничего не оставалось дѣлать; всѣ возлѣ были заняты, какъ обыкновенно люди дома бываютъ заняты; онъ увидѣлъ себя гостемъ, которому предлагаютъ стулъ, котораго осыпаютъ вѣжливостью, но въ семейныя тайны не посвящаютъ, которому, наконецъ, бываетъ пора итти къ себѣ. Но при одномъ воспоминаніи петербургскихъ походовъ на Бельтова находила хандра, и онъ, не зная за чѣмъ, переѣзжалъ изъ Парижа въ Лондонъ. За нѣсколько мѣсяцевъ передъ пріѣздомъ Бельтова, мать получила отъ него письмо изъ Монпелье; онъ извѣщалъ, что ѣдетъ въ Швейцарію, что нѣсколько простудился въ Пиренейскихъ горахъ и потому пробудетъ еще дней пять въ Монпелье; обѣщалъ писать, когда выѣдетъ; о возвращеніи въ Россію ни слова. «Нѣсколько простудился»; и мать уже начала тревожиться и ждать письма съ дороги. Но проходятъ двѣ недѣли,—письма нѣтъ; проходитъ около мѣсяца,—письма нѣтъ. Бѣдная женщина, она была лишена даже послѣдняго утѣшенія въ разлукѣ—возможности писать съ достовѣрностью, что письмо дойдетъ,—и, не зная, дойдутъ ли, для одного облегченія, послала два письма въ Парижъ *confiées aux soins de l'ambassade russe* ¹⁾. Ложась спать, она всякій разъ приказывала Дунѣ пораньше отправить кучера верхомъ въ уѣздный городъ справиться, нѣтъ ли письма, хотя она и очень хорошо знала, что почта приходитъ въ недѣлю разъ. Уѣздный почтмейстеръ былъ добрый старикъ, душою предан-

¹⁾ Довѣренныя попеченіямъ русскаго посольства.

ный Бельтовой; онъ всякій разъ приказывалъ ей доложить, что писемъ нѣтъ, что какъ только будутъ, онъ самъ привезетъ или пришлетъ съ эстафетой,—и съ какимъ тупымъ горемъ слушала мать этотъ отвѣтъ послѣ тревожнаго ожиданія въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ. Мысль ѣхать самой начинала мелькать въ головѣ ея; она хотѣла уже послать за сосѣдомъ, отставнымъ артиллеріи капитаномъ, къ которому обращалась со всѣми важными юридическими вопросами, напримѣръ, о составленіи учтиваго объясненія, почему нѣтъ запаснаго магазина, и т. п.; она хотѣла теперь выспросить у него, гдѣ берутъ заграничные паспорта: въ казенной палатѣ или въ уѣздномъ судѣ... И тѣмъ скучнѣе шли дни ожиданія, что на дворѣ была осень, что липы давно пожелтѣли, что сухой листь хрустѣлъ подъ ногами, что дни цѣлые дождь шелъ, будто нехотя, но безпрестанно. Какъ-то разъ подъ вечеръ, дѣвушка, ходившая за Бельтовой, попросилась у нея итти ко всенощной.

— Ступай; да что такое завтра?

— Неужели вы изволили забыть, что завтра 17-е сентября, день вашего ангела, богомудрой Софіи и дочерей ея—Любви, Вѣры и Надежды?

— Ступай, Дуня, да помолись и объ Володѣ,—сказала Бельтова, и слезы навернулись на глазахъ ея.

Человѣкъ до ста лѣтъ—дитя, да если-бъ онъ и до пятисотъ лѣтъ жилъ, все былъ бы одной стороною своего бытія дитя. И жаль, если-бъ онъ утратилъ эту сторону,—она полна поэзіи. Что такое именины? Почему въ этотъ день ярче чувствуется горе и радость, нежели наканунѣ, нежели потомъ? Не знаю почему, а оно такъ. Не только именины, а всякая годовщина сильно потрясаетъ душу. «Сегодня, кажется, 3-е марта»,—говоритъ одинъ, боясь пропустить срокъ продажи имѣнія съ публичнаго торга, — «3-е марта, да, 3-е марта»,—отвѣчаетъ другой, и его дума ужъ за восемь лѣтъ; онъ вспоминаетъ первое свиданіе послѣ разлуки, онъ вспоминаетъ всѣ подробности, и съ какимъ-то торжественнымъ чувствомъ прибавляетъ: ровно восемь лѣтъ! и онъ боится осквернить этотъ день, и онъ чувствуетъ, что это праздникъ, и ему не приходитъ на мысль, что 13-е марта будетъ ровно восемь лѣтъ и десять дней, и что всякій день своего рода годовщина. Такъ было съ Бельтовой. Мысль разлуки, мысль о томъ, что нѣтъ писемъ, стала горче, стала тягостнѣе при мысли, что Володя не придетъ поздравить ее, что онъ, можетъ быть, забудетъ и тамъ ее поздравить... Она впадала въ задумчивую мечтательность: то воображенію ея представлялось, какъ, лѣтъ за пятнадцать, она въ завтрашній день нашла всю чайную комнату убранную цвѣтами; какъ Володя не пускалъ ее туда,

обманывалъ; какъ она догадывалась, но скрыла отъ Володи; какъ мсьё Жозефъ усердно помогалъ Володѣ дѣлать гирлянды; потомъ, ей представлялся Володя въ Монпелье, больной, на рукахъ жаднаго трактирщика, и тутъ она боялась дать волю воображенію, итти далѣе, и торопилась утѣшить себя тѣмъ, что, можетъ быть, мсьё Жозефъ съ нимъ встрѣтился тамъ и остался при немъ. Онъ такъ нѣженъ, такъ добръ, такъ любитъ Володю; онъ за нимъ будетъ ходить, онъ строго исполнить приказы доктора, онъ будетъ смотрѣть на него, когда онъ уснетъ. Да зачѣмъ же Жозефъ въ Монпелье? Что же? Володя могъ его выписать, какъ друга... Но... И ей опять становилось невыносимо тяжело, и рядъ мрачныхъ картинъ, переплетенныхъ съ свѣтлыми воспоминаніями, тянулся въ душѣ ея всю ночь.

На другой день разные хлопоты заняли и, насколько могли, развлекли Бельтову. Съ ранняго утра передняя была полна аристократами Бѣлаго-Поля; староста стоялъ впереди въ синемъ кафтанѣ и держалъ на огромномъ блюдѣ страшной величины куличъ, за которымъ онъ посылалъ десятскаго въ уѣздный городъ; куличъ этотъ издавалъ запахъ коноплянаго масла, готовый остановить всякое дерзновенное покушеніе на цѣлость его; около него, по бортику блюда, лежали апельсины и куриныя яйца; между красивыми и величавыми головами нашихъ бородачей одинъ только земскій отличался костюмомъ и видомъ: онъ не только былъ обрить, но и порѣзанъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ, оттого что рука его (не знаю, отъ многого ли письма, или оттого, что онъ никогда не встрѣчалъ прелестное сельское утро, не выпивши на мірской счетъ въ питейномъ домѣ кружечки сивухи) имѣла престранное обыкновеніе трястись, что ему значительно мѣшало отчетливо нюхать табакъ и бриться; на немъ былъ длинный синій сюртукъ и плисовые панталоны въ сапоги, т. е. онъ напоминалъ собою извѣстнаго звѣря въ Австрали, орниторинкса, въ которомъ преотвратительно соединены звѣрь, птица и амфибія. На дворѣ жалобно кричалъ время отъ времени юный теленокъ, поеный шесть недѣль молокомъ: это была гекатомба, которую тоже приготовили крестьяне барынѣ для дня *менинг*. Бельтова не умѣла съ достоюлжною важностью дѣлать выходы; она это знала сама и всегда какъ-то терялась въ этихъ случаяхъ. Послѣ выхода — обѣдня; служили молебенъ; въ самое это время пріѣхалъ артиллерійскій капитанъ; на этотъ разъ онъ явился не юрисконсультомъ, а въ прежнемъ воинственномъ видѣ. Когда шли изъ церкви домой, Бельтова была очень испугана какимъ-то трескомъ. Сосѣдъ привезъ съ собою въ кибиткѣ маленькій фальконетъ и велѣлъ выстрѣлить изъ него въ ознаменованіе радости;

леговая собака Бельтовой, случившаяся при этомъ, какъ глупое животное, никакъ не могла понять, чтобъ можно было безъ цѣли стрѣлять, и изстрадалась вся, бѣгая и отыскивая зайца или терева. Воротились домой. Бельтова велѣла подать закуску,—вдругъ раздался звонкій колокольчикъ, и отличнѣйшая почтовая тройка летѣла черезъ мостъ, загнула за гору, исчезла и, минуты двѣ спустя, показалась вблизи; ямщикъ правилъ прямо къ господскому дому и, лихо подѣхавъ, мастерски осадилъ лошадей у подѣзда. Самъ старикъ-почтмейстеръ (это былъ онъ), вылѣзая изъ кибитки, не вытерпѣлъ, чтобъ не сказать ямщику:

— Ай-да, Богдашка! собака, истинно собака, можно чести приписать.

Богдашка былъ, разумѣется, доволенъ комплиментами почтмейстера, шурилъ правый глазъ и поправлялъ шляпу, приговаривая:

— Ужъ если намъ вашему благородію не сусердствовать, такъ ужъ это—хуже не надо.

Съ торжественно таинственнымъ видомъ, съ просасывающимся довольствомъ во всѣхъ чертахъ, вошелъ почтмейстеръ въ гостиную и отправился учинить цѣлованіе руки.

— Честь имѣю, матушка Софья Алексѣевна, поздравить съ высокоторжественнымъ днемъ ангела и желаю вамъ добраго здравія... Здравствуйте, Спиридонъ Васильевичъ! (это относилось къ капитану).

— Василью Логиновичу наше почтенье, — отвѣчалъ артиллеристъ.

Василій Логиновичъ продолжалъ:

— А я-съ для вашего ангела осмѣлился подарочекъ привезти вамъ; не взыщите, чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ: подарокъ не дорогой—всего портовыхъ и страховыхъ рубль пятнадцать копѣекъ, да вѣсовыхъ восемь гривенъ. Вотъ вамъ, матушка, два письмеца отъ Владиміра Петровича: одно, кажись, изъ Монтраше ¹⁾, а другое изъ Женева, по штемпелю судя. Простите, матушка, грѣшный человекъ: недѣльки двѣ первое письмецо, да и другое деньковъ пять поберегъ ихъ къ нынѣшнему дню; право, только и думалъ: утѣшу, молъ, Софью Алексѣевну для тезоименитства, такъ утѣшу.

Софья Алексѣевна поступила съ почтмейстеромъ точно такъ, какъ знаменитый актеръ Офрень съ Тераменомъ ²⁾ рассказомъ: она не слушала всей части рѣчи послѣ того, какъ онъ вынулъ письма; она судорожной рукой сняла пакетъ, хотѣла, было, тутъ читать, встала и вышла вонъ.

¹⁾ Городокъ во Франціи, близъ Дижона.

²⁾ Велерѣчивый рассказъ Терамена о смерти Ипполита изъ трагедіи Расина «Федра».

Почтмейстеръ былъ очень доволенъ, что чуть не убилъ Бельтову сначала горемъ, потомъ радостью; онъ такъ добродушно потиралъ себѣ руки, такъ вкушалъ успѣхъ сюрприза, что нѣтъ въ мірѣ жестокаго сердца, которое нашло бы въ себѣ силы упрекнуть его за эту шутку и которое бы не предложило ему закусить. На этотъ разъ, послѣднее сдѣлалъ сосѣдъ:

— Вотъ, Василій Логинычъ, оконтузили письмомъ-то,—одолжили, нечего сказать! Однако, знаете, пока Софья Алексѣевна бѣсѣдуетъ съ письмами, оно, вѣдь, не мѣшаетъ и употребить: я очень рано встаю.

Они употребили...

Одно письмо было съ дороги, другое изъ Женева. Оно оканчивалось слѣдующими строками: «Эта встрѣча, любезная маменька, этотъ разговоръ потрясли меня,—и я, какъ уже писалъ въ началѣ, рѣшился возвратиться и начать службу по выборамъ. Завтра я ѣду отсюда, пробуду съ мѣсяцъ на берегахъ Рейна, оттуда—прямо въ Таурогенъ, не останавливаясь... Германія мнѣ страшно надоѣла. Въ Петербургѣ, въ Москвѣ я только повिдаюсь съ знакомыми и тотчасъ къ вамъ, милая матушка, къ вамъ въ Бѣлое-Поле».

— Дуня, Дуня, подай поскорѣ календарь! Ахъ, Боже мой, ты гдѣ его ищешь: какая безтолковая! вотъ онъ.

И Бельтова бросилась сама за календаремъ и начала отсчитывать, разсчитывать, переводить числа съ новаго стиля на старый, со стараго на новый, и при всемъ этомъ она уже обдумывала, какъ учредить комнату... Ничего не забыла, кромѣ гостей своихъ; по счастью, они сами вспомнили о себѣ и употребили *по второй*.

— Странное и престранное дѣло! продолжалъ предсѣдатель: кажется, жизнь резиденціи представляетъ столько увеселительныхъ разсѣяній, что молодому человѣку, особенно безбѣдному, трудно соскучиться.

— Что дѣлать, — отвѣчалъ Бельтовъ съ улыбкой и всталъ, чтобы проститься.

— А, впрочемъ, поживите и съ нами. Если не встрѣтите здѣсь того блеска и образованія, то, навѣрное, найдете добрыхъ и простыхъ людей, которые гостепріимно примутъ васъ въ средѣ своихъ мирныхъ семействъ.

— Это ужъ, конечно-съ,—прибавилъ развязный совѣтникъ съ Анной въ петлицѣ, — нашъ городокъ-съ, чего другого нѣтъ, а на счетъ гостепріимства—Москвы уголокъ-съ!

— Я въ этомъ увѣренъ,—сказалъ Бельтовъ, откланиваясь.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I.

Вы знаете уже сильную и продолжительную сенсацию, которую произвелъ Бельтовъ на почтенныхъ жителей NN; позвольте же сказать и о сенсации, которую произвелъ городъ на почтеннаго Бельтова. Онъ остановился въ гостиницѣ «Кересбергъ», названной такъ, вѣроятно, не въ отличіе отъ другихъ гостиницъ, потому что она одна и существовала въ городѣ, но скорѣе изъ уваженія къ городу, который вовсе не существовалъ. Гостиница эта была надежда и отчаяніе всѣхъ мелкихъ гражданскихъ чиновниковъ въ NN, утѣшительница въ скорбяхъ и мѣсто разгула въ радостяхъ. Направо отъ входа, вѣчно на одномъ мѣстѣ, стоялъ безстрастный хозяинъ за конторкой и передъ нимъ его приказчикъ въ бѣлой рубашкѣ, съ складистой бородой и съ отчаяннымъ пробормомъ противъ лѣваго глаза; въ этой конторкѣ хоронилось, въ первые числа мѣсяца, больше половины жалованья, полученнаго всѣми столоначальниками, ихъ помощниками и помощниками ихъ помощниковъ (секретари рѣдко ходили,—по крайней мѣрѣ, на свой счетъ; съ секретарства у чиновниковъ къ страсти получать присовокупляется страсть хранить,—они дѣлаются консерваторами). Хозяинъ серьезно и важно пощелкиваетъ на счетахъ; проклятая конторка приподнимала свою верхнюю доску, поглощала синенькія и цѣлковые, выбрасывая за нихъ гривенники, пятаки и копѣйки, потомъ щелкала ключомъ, — и деньги были схоронены. Только въ двухъ случаяхъ притворялась она мертвою: когда къ ея страшной загородкѣ являлся Яковъ Потапычъ, частный приставъ, разумѣется, для того, чтобъ отдать свой долгъ... Иногда заѣзжали въ гостиницу и совѣтники—поиграть на бильярдѣ, выпить пуншу, откупорить одну, другую *бутылку*, словомъ, погулять на холостую ногу, потихоньку отъ супруги (холостыхъ совѣтниковъ такъ же не бываетъ, какъ женатыхъ аббатовъ); для достиженія послѣдняго, они недѣли двѣ рассказывали направо и налѣво о томъ, какъ кутнули. Мелкіе чиновники при появленіи такихъ сановниковъ прятали трубки свои за спину (но такъ, чтобъ было замѣтно, ибо дѣло состояло не въ томъ, чтобъ спрятать трубку, но чтобъ показать достоюжное уваженіе), низко кланялись и, выражая мимикой большое смущеніе, уходили въ другія комнаты, даже не окончивши партіи на бильярдѣ,—на бильярдѣ, на которомъ,

въ часы досужіе отъ картъ, корнетъ Дрягаловъ удивлялъ поразительно смѣлыми шарами и невѣроятными клопшtosами.

Содержатель, разбогатѣвшій крестьянинъ изъ подгородняго села, зналъ, что такое Бельтовъ и какое имѣніе у него, а потому онъ тотчасъ рѣшилъ отдать ему одну изъ лучшихъ комнатъ трактира; комната эта только давалась особамъ важнымъ, генераламъ, откупщикамъ,—и *потому* повелъ его въ другія. Другія были до такой степени черны и гадки, что, когда хозяинъ привелъ Бельтова въ ту, которую назначилъ, и замѣтилъ: «Кабы эта была не проходная, я бы съ нашимъ удовольствіемъ»,—тогда Бельтовъ сталъ съ жаромъ убѣждать, чтобъ онъ уступилъ ему ее; содержатель, тронутый его краснорѣчіемъ, согласился и цѣну взялъ не обидную себѣ. Учтивость къ Бельтову усугубилъ почтенный содержатель грубостью всѣмъ прочимъ посѣтителемъ. Комната была, дѣйствительно, проходная; онъ заперъ дверь и отрѣзалъ парадное сообщеніе между залой и бильярдной, предоставивъ желающимъ ходить черезъ кухню. Большая часть посѣтителей молча подверглась этому испытанію такъ, какъ прежде подвергались всѣмъ прочимъ испытаніямъ, которыми судьба считала за нужное награждать ихъ; впрочемъ, нашлись и такіе, которые явно кричали противъ грубо пристрастнаго поступка содержателя. Одинъ засѣдатель, лѣтъ десять тому назадъ служившій въ военной службѣ, собирался сломить кій объ спину хозяина и до того оскорблялся, что логически присовокуплялъ къ ряду энергическихъ выраженій: «Я самъ дворянинъ; ну, чортъ его возьми, отдалъ бы генералу какому-нибудь,—что тутъ дѣлать станешь, — а то молокососу: видите,—изъ Парижа пріѣхалъ; да позвольте спросить, чѣмъ я хуже его? я самъ дворянинъ, старшій въ родѣ, медаль 1812!..»—«Да полно ты, полно, горячая голова!»—говорилъ ему корнетъ Дрягаловъ, имѣвшій свои виды насчетъ Бельтова. Какъ бы то ни было, но хозяинъ, молча и отшучиваясь, съ апатической твердостью, съ уступчивой непреклонностью русскаго купца поставилъ на своемъ. Комната, до которой достигнулъ Бельтовъ съ оскорбленіемъ щекотливаго point d'honneur многихъ, могла, впрочемъ, нравиться только послѣ четырехъ ужасныхъ номеровъ, которыми ловко застращаль хозяинъ пріѣзжаго; въ сущности она была грязна, неудобна и время отъ времени наполнялась запахомъ подоженнаго масла, который, переплетаясь съ постоянной табачной атмосферой, составлялъ нѣчто такое, что могло бы произвести тошноту у иного эскимоса, взлелѣяннаго на тухлой рыбѣ.

Первая суета пріѣзда улеглась. Каретныя вещи, сакъ, шкатулка были принесены, и за всѣми тяжестями явился, наконецъ, Григорій Ермолаевичъ, камердинеръ Бельтова, съ послѣдними остатками путе-

выхъ снадобій, съ кисетомъ, съ неполною бутылкою бордо, съ остаткомъ фаршированной индѣйки; разложивъ все принесенное по столамъ и стульямъ, камердинеръ отправился выпить водки въ буфетъ, увѣряя буфетчика, что онъ въ Парижѣ привыкъ, по окончаніи всякаго дѣла, выпивать большой птиверь ¹⁾ (такъ, какъ въ Россіи начинаютъ тѣмъ же самымъ всѣ дѣла). Толпа чиновниковъ, желавшихъ изъ самаго источника узнать подробности о пріѣзжемъ, облѣпила его, но нельзя не замѣтить, что камердинеръ не очень поддавался и обращался съ ними немного свысока; онъ жилъ нѣсколько лѣтъ за границей и гордо сознавалъ это достоинство. Бельтовъ, между тѣмъ, былъ одинъ; посидѣвши недолго на диванѣ, онъ подошелъ къ окну, изъ котораго видно было полгорода. Прелестный видъ, представившійся глазамъ его, былъ общій, губернской, форменный: плохо выкрашенная каланча съ подвижнымъ полицейскимъ солдатомъ наверху первая бросилась въ глаза; соборъ древней постройки виднѣлся изъ-за длиннаго и, разумѣется, желтаго зданія присутственныхъ мѣстъ, воздвигнутаго въ извѣстномъ стилѣ; потомъ двѣ-три приходскія церкви, изъ которыхъ каждая представляла двѣ-три эпохи архитектуры; древнія византійскія стѣны украшались греческимъ порталомъ или готическими окнами, или тѣмъ и другимъ вмѣстѣ; потомъ домъ губернатора съ сѣнями, украшенными жандармомъ и двумя-тремя просителями изъ бородачей; наконецъ, обывательскіе дома, совершенно тѣ же, какъ во всѣхъ нашихъ городахъ, съ чахоточными колоннами, прилѣпленными къ самой стѣнѣ, съ мезониномъ, не обитаемымъ зимою отъ итальянскаго окна во всю стѣну, съ флигелемъ, закопченнымъ, въ которомъ помѣщается дворня, съ конюшней, въ которой хранятся лошади; дома эти, какъ водится, были куплены вѣжливыми кавалерами на дамскія имена; немного наискось тянулся гостинный дворъ, бѣлый снаружи, темный внутри, вѣчно сырой и холодный; въ немъ можно было все найти—коленкоры, кисеи, пиконеты,—все, кромѣ того, что нужно купить. Нѣсколько тронутый картиной, развернувшейся передъ его глазами, Бельтовъ закурилъ сигару и сѣлъ у окна; на дворѣ была оттепель; оттепель всегда похожа на весну: вода капала съ крышъ, по улицамъ бѣжали ручьи талаго снѣга. Будто чувствовалось, что вотъ-вотъ и природа оживетъ изъ-подо льда и снѣга, но это такъ чувствовалось новичку, который суетно надѣялся въ первыхъ числахъ февраля видѣть весну въ NN. Улица, видно, знала, что опять придутъ морозы, вьюги, и что до 15/27 мая не будетъ признаковъ листа,—она не радовалась. Сонное бездѣй-

¹⁾ Petit verre—маленькій стаканчикъ, ромочка.

ствие царило на ней; двѣ-три грязныя бабы сидѣли у стѣны гостинаго двора съ рѣзанью и грушей; онѣ, пользуясь тѣмъ, что пальцы не мерзнутъ, вязали чулки, считали петли и изрѣдка только обращались другъ къ другу, ковыряя въ зубахъ спицами, вздыхая, зѣвая и осѣняя ротъ свой знаменіемъ креста. Недалеко отъ нихъ старикъ-купецъ, лѣтъ подь семьдесятъ, съ сѣдою бородой, въ высокой собольей шапкѣ, спалъ сладкимъ сномъ на складномъ стулѣ. Изрѣдка сидѣльцы перебѣгали изъ лавки въ лавку; нѣкоторые начинали за-пирать ихъ. Никто, кажется, ничего не покупалъ; даже почти никто не ходилъ по улицамъ; правда, прошелъ квартальный надзиратель, завернувшись въ шинель съ мѣховымъ воротникомъ, быстрымъ дѣловымъ шагомъ, съ озабоченнымъ видомъ и съ бумагой, свернутой въ трубку; сидѣльцы сняли почтительно шляпы, но квартальному было не до нихъ. Потомъ проѣхала какая-то коляска странной формы, похожей на тыкву, изъ которой вырѣзана ровно четверть; тыкву эту везли четыре потертыхъ лошади; гайдукъ-форейторъ и сѣдой сморщившійся кучеръ были одѣты въ сермягахъ, а сзади трясся лакей въ шинели съ галунами цвѣта верь-антикъ. Въ тыквѣ сидѣла другая тыква—добрый и толстый отецъ семейства и помѣщикъ, съ какой-то спеціальной ландкартой изъ синихъ жилъ на носу и щекахъ; возлѣ—неразрывная спутница его жизни, не похожая на тыкву, а скорѣе на стручекъ перцу, спрятанный въ какой-то тафтяной шалашъ, надѣтый вмѣсто шляпки; противъ нихъ—пріятный букетъ изъ сельскихъ трехъ грацій,—вѣроятно, сладостная надежда маменьки и папеньки, сладостная, но исполняющая заботой ихъ нѣжныя сердца. Проѣхалъ и этотъ подвижной огородъ... Опять настала тишина... Вдругъ изъ переулка раздалась лихая русская пѣсня, и черезъ минуту трое бурлаковъ, въ коротенькихъ красныхъ рубашкахъ, съ разукрашенными шляпами, съ атлетическими формами и съ тою удалью въ лицѣ, которую мы всѣ знаемъ, вышли обнявшись на улицу; у одного была балалайка, не столько для музыкальнаго тона, сколько для тона вообще; бурлакъ съ балалайкой едва удерживалъ свои ноги; видно было по движенію плечъ, какъ ему хочется пуститься въ присядку, — за чѣмъ же дѣло? А вотъ за чѣмъ: изъ-подъ земли, что ли, или изъ-подъ арокъ гостинаго двора явился какой-то хожалый или будочникъ съ палочкой въ рукахъ, и пѣсня, разбудившая на минуту скучную дремоту, разомъ подрѣзанная, остановилась, только балалайка показалъ палецъ будочнику; почтенный блюстителъ тишины гордо отправился подь арку, какъ паукъ, возвращающійся въ темный уголъ, закусивши мушиными мозгами. Тутъ тишина еще болѣе водворилась; стало смеркаться. Бельтовъ поглядѣлъ, — и ему сдѣлалось страшно; его

давило чугунной плитой, ему явнымъ образомъ не доставало воздуха для дыханія, можетъ быть, отъ подоженного масла съ табакомъ, который проходилъ изъ нижняго этажа. Онъ схватилъ свой картузь, надѣлъ пальто, заперъ за собой дверь и вышелъ на улицу. Городъ былъ не великъ, и пройти его съ конца въ конецъ было не трудно. Та же пустота вездѣ; разумѣтся, ему и тутъ попадались кой-какія лица; изнуренная работница съ коромысломъ на плечѣ, босая и выбившаяся изъ силъ, поднималась въ гору по гололедицѣ, задыхаясь и останавливаясь; толстый и привѣтливой наружности попъ въ домашнемъ подрясникѣ сидѣлъ передъ воротами и посматривалъ на нее; попадались еще или поджарые подьячіе, или толстый совѣтникъ, — и все это было такъ засалено, дурно одѣто, — не отъ бѣдности, а отъ нечистоплотности, — и все это шло съ такою претензіей, такъ непросто: титулярный совѣтникъ выступалъ такъ важно, какъ будто онъ сенаторъ римскій, ... а коллежскій регистраторъ — будто онъ титулярный совѣтникъ; проскакалъ еще на санкахъ полицмейстеръ; онъ съ величайшей граціей кланялся совѣтникамъ, показывая озабоченно на бумагу, вдѣтую между петлицъ, — это значило, что онъ ѣдетъ съ *дневнымъ* къ его превосходительству... Прошли, наконецъ, двѣ толстыя купчихи; кухарка несла за ними вѣники и узелокъ; красныя щеки доказывали, что вѣники не напрасно были взяты. Больше никакихъ встрѣчъ не было.

«Что значить эта тишина, — думалъ Бельтовъ: — глубокую думу или глубокое бездумье, грусть или просто лѣнь? Не поймешь. И отчего мнѣ эта тишина такъ тягостна, что хоть бы повернуть оглобли; отчего она меня такъ давитъ? Я люблю тишину. Тишина на морѣ, въ селѣ, даже просто на полѣ, на ровномъ, вдаль идущемъ полѣ, наполняетъ меня особымъ поэтическимъ благочестіемъ, кроткимъ самозабвеніемъ. Здѣсь не то. Тамъ — ширь съ этимъ безмолвіемъ, а здѣсь все давитъ, а здѣсь тѣсно, мелко: кругомъ жалкія строенія, еще бы развалины, а то подкрашенные, подбѣленные... да гдѣ же жители? Приступомъ, что ли, взяла вчера этотъ городъ? Морь, что ли, посѣтилъ его?» Ничего не бывало: жители — дома, жители отдыхаютъ; да когда же они трудились?.. И Бельтовъ невольно переносился въ шумныя, кипящія народомъ улицы другихъ городковъ, не столько патріархальныхъ и болѣе преданныхъ суетѣ мірской. Онъ началъ ощущать ту неловкость, которая обыкновенно сопровождаетъ ложный шагъ въ жизни, особенно, когда мы начинаемъ сознать его, и печально отправился домой. Когда онъ подходилъ къ гостиницѣ, густой протяжный звукъ колокола раздался изъ подгородняго монастыря; въ этомъ звонѣ напомнилось Владиміру что-то давно прошедшее, — онъ пошелъ, было, на звонъ, но вдругъ

улыбнулся, покачалъ головой и скорыми шагами отправился домой. Бѣдная жертва вѣка, полного сомнѣніемъ, не въ NN тебѣ сыскать покой!

Черезъ нѣсколько дней, которые Бельтовъ провелъ въ глубоко-мысленномъ чтеніи и изученіи устава о дворянскихъ выборахъ, онъ, одѣвшись съ нѣкоторой тщательностью, отправился дѣлать нужнѣйшіе визиты. Часа черезъ три онъ возвратился съ сильной головной болью, примѣтно разстроенный и утомленный, спросилъ мятной воды и примочилъ голову одеколономъ; одеколонъ и мятная вода привели немного въ порядокъ его мысли, и онъ одинъ, лежа на диванѣ, то морщился, то чуть не хохоталъ. У него въ головѣ шла репетиція всего видѣннаго,—отъ передней начальника губерніи, гдѣ онъ очень пріятно провелъ нѣсколько минутъ съ жандармомъ, двумя купцами первой гильдіи и двумя лакеями, которые здоровались и прощались со всѣми входящими и выходящими весьма оригинальными привѣтствіями, говоря: «съ прошедшимъ праздничкомъ», при чемъ они, какъ гордые британцы, протягивали руку, ту руку, которая имѣла счастье ежедневно подсаживать генерала въ карету,—до гостиной губернскаго предводителя, въ которой почтенный представитель блестящаго NN-скаго дворянства увѣрялъ, что нельзя нигдѣ такъ научиться гражданской формѣ, какъ въ военной службѣ, что она даетъ человѣку главное; конечно, имѣя главное, остальное пріобрѣсти ничего не значитъ. Потомъ онъ признался Бельтову, что онъ истинный патриотъ, строить у себя въ деревнѣ каменную церковь и терпѣть не можетъ эдакихъ дворянъ, которые, вмѣсто того, чтобъ служить въ кавалеріи и заниматься устройствомъ имѣнія, играютъ въ карты, держатъ французенокъ и ѣздятъ въ Парижъ; все это вмѣстѣ должно было представить нѣчто въ родѣ колкости Бельтову. Рядъ лицъ, видѣнныхъ Бельтовымъ, не выходилъ у него изъ головы. То ему представлялся губернской прокуроръ, который въ три минуты успѣлъ ему шесть разъ сказать: «вы сами человѣкъ съ образованіемъ, вы понимаете, что для меня г. губернаторъ—постороннее лицо: я пишу прямо къ министру юстиціи, министр юстиціи, это—генераль-прокуроръ. Губернаторъ хорошъ—и я для его пр—ва все, что могу, «читалъ, читалъ, читалъ», да и кончено; онъ иначе,—и я ему съ полнымъ уваженіемъ, какъ слѣдуетъ высокому сану; ну да ужъ больше ничего, меня заставить нельзя; я не совѣтникъ губернскаго правленія». При этомъ онъ каждый разъ нюхалъ изъ кольчатой серебряной табакерки рульный ¹⁾ табакъ, наружностью разительно похожій на

¹⁾ Roulé—свернутый пачкою.

французскій, но отличавшійся отъ него сквернымъ запахомъ. То предсѣдатель гражданской палаты, худой, высокій, тощій, скупой и нечистый, доказывавшій грязью свое безкорыстіе. То генераль Хрящовъ, окруженный двумя отрѣшенными отъ должности исправниками, бѣдными помѣщиками, легавыми собаками, псарями, дворней, тремя племянницами и двумя сестрами; генераль у него въ воспоминаніяхъ кричалъ такъ же, какъ у себя въ комнатѣ, высвистывалъ изъ передней Митьку и съ величайшимъ челоуѣколюбіемъ обходился съ легавой собакой. То нашъ знакомый предсѣдатель уголовной палаты, Антонъ Антоновичъ, въ халатѣ цвѣта лягушечьей спинки, съ своимъ совѣтникомъ съ Анной въ петлицѣ... Когда мало-по-малу это почтенное общество лицъ отступило въ головѣ Бельтова на второй планъ, и всѣ они слились въ одно фантастическое лицо какого-то колоссальнаго чиновника, накупившаго брови, нерѣчистаго, уклончиваго, но который постоитъ за себя, Бельтовъ увидѣлъ, что ему не совладать съ этимъ Голиаѣомъ и что его не только не собьешь съ ногъ обыкновенной пращей, но и гранитнымъ утесомъ, стоящимъ подъ монументомъ Петра I.

Странное дѣло, Бельтовъ, съ тѣхъ поръ, какъ отправился въ чужіе края, жилъ много и мыслью, и страстями, раздраженіемъ мозга и раздраженіемъ чувствъ. Жизнь даромъ не проходитъ для людей, у которыхъ пробудилась хоть какая-нибудь сильная мысль... Все ничего, сегодня идетъ, какъ вчера, все очень обыкновенно, а вдругъ обернешься назадъ и съ изумленіемъ увидишь, что разстояніе пройдено страшное, нажито, прожито бездна. Такъ и было съ Бельтовымъ: онъ нажилъ и прожилъ бездну, но не установился. Бельтовъ во второй разъ встрѣтился съ дѣйствительностью при тѣхъ же условіяхъ, какъ въ канцеляріи,—и снова струсилъ передъ ней. У него не доставало того практическаго смысла, который выучиваетъ челоуѣка разбираться связанный почеркъ живыхъ событій; онъ былъ слишкомъ разобщенъ съ міромъ, его окружавшимъ. Причина этой разобщенности Бельтова понятна: Жозефъ сдѣлалъ изъ него челоуѣка вообще, какъ Руссо изъ Эмиля; университетъ продолжалъ это общее развитіе; дружескій кружокъ изъ пяти-шести юношей, полныхъ мечтами, полныхъ надеждами,—настолько большими, насколько имъ еще была неизвѣстна жизнь за стѣнами аудиторіи,—болѣе и болѣе поддерживалъ Бельтова въ кругу идей не свойственныхъ, чуждыхъ средѣ, въ которой ему приходилось жить. Наконецъ, двери школы закрылись, и дружескій кругъ, вѣчный и домогильный, блѣднѣлъ, блѣднѣлъ и остался только въ воспоминаніяхъ или воскресалъ при случайныхъ и ненужныхъ встрѣчахъ да при бокалахъ вина. Открылись другія двери, немного со скри-

помѣ. Бельтовъ прошелъ въ нихъ и очутился въ странѣ, совершенно ему неизвѣстной, до того чуждой, что онъ не могъ приладиться ни къ чему; онъ не сочувствовалъ ни съ одной дѣйствительной стороны около него кипѣвшей жизни; онъ не имѣлъ способности быть хорошимъ помѣщикомъ, отличнымъ офицеромъ, усерднымъ чиновникомъ,—а затѣмъ въ дѣйствительности оставались только мѣста празднующихся, игроковъ и кутящей братіи вообще. Къ чести нашего героя должно признаться, что къ послѣднему сословію онъ имѣлъ побольше симпатіи, нежели къ первымъ, да и тутъ ему нельзя было распахнуться: онъ былъ слишкомъ развитъ, а развратъ этихъ господъ—слишкомъ грязень, слишкомъ грубъ. Побился онъ съ медициной да съ живописью, покутилъ, поигралъ да и уѣхалъ въ чужіе края. Дѣла, само собою разумѣется, и тамъ ему не нашлось; онъ занимался безсистемно, занимался всѣмъ на свѣтѣ, удивлялъ нѣмецкихъ спеціалистовъ многосторонностью русскаго ума; удивлялъ французовъ глубокомысліемъ, и въ то время, какъ нѣмцы и французы дѣлали много, онъ—ничего; онъ тратилъ свое время, стрѣляя изъ пистолета въ тирѣ, просиживая до поздней ночи у ресторановъ и отдаваясь тѣломъ, душою и кошелькомъ какой-нибудь лореткѣ. Такая жизнь не могла, наконецъ, не привести къ болѣзненной потребности дѣла. Несмотря на то, что среди видимой праздности, Бельтовъ много жилъ и мыслью и страстями, онъ сохранилъ отъ юности отсутствіе всякаго практическаго смысла въ отношеніи своей жизни. Вотъ причина, по которой Бельтовъ, гонимый тоскою по дѣятельности, во-первыхъ, принялъ прекрасное и достохвальное намѣреніе служить по выборамъ и, во-вторыхъ, не только удивился, увидѣвъ людей, которыхъ онъ долженъ былъ знать со дня рожденія или о которыхъ ему слѣдовало бы справиться, вступая съ ними въ такія близкія сношенія, но былъ до того ошеломленъ ихъ языкомъ, ихъ манерами, ихъ образомъ мыслей, что готовъ былъ безъ всякихъ усилій, безъ боя отказаться отъ предположенія, занимавшаго его нѣсколько мѣсяцевъ. Счастливъ тотъ человѣкъ, который продолжаетъ начатое, которому преемственно передано дѣло: онъ рано приучается къ нему, онъ не тратитъ полжизни на выборъ, онъ сосредоточивается, ограничивается для того, чтобъ не расплыться,—и производитъ. Мы чаще всего начинаемъ вновь, мы отъ отцовъ своихъ наслѣдуемъ только движимое и недвижимое имѣніе, да и то плохо хранимъ; оттого по большей части мы ничего не хотимъ дѣлать, а если хотимъ, то выходимъ на необозримую степь: иди, куда хочешь, во всѣ стороны—воля вольная, только никуда не дойдешь: это наше многостороннее бездѣйствіе, наша дѣятельная лѣнь. Бельтовъ совершенно

принадлежалъ къ подобнымъ людямъ; онъ былъ лишень совершенно-лѣтія, несмотря на возмужалость своей мысли; словомъ, теперь, за тридцать лѣтъ отроду, онъ, какъ шестнадцатилѣтній мальчикъ, *готовился* начать свою жизнь, не замѣчая, что дверь, ближе и ближе открывавшаяся, не та, черезъ которую входятъ гладіаторы, а та, въ которую выносятъ ихъ тѣла.—«Конечно, Бельтовъ во многомъ виноватъ».—Я совершенно съ вами согласенъ; а другіе думаютъ, что есть за людьми вины лучше всякой правоты. Такъ на свѣтѣ все превратно.

Не прошло и мѣсяца послѣ водворенія Бельтова въ NN, какъ онъ успѣлъ уже пріобрѣсти ненависть всего помѣщичьяго круга, что не мѣшало, впрочемъ, и чиновникамъ, съ своей стороны, его ненавидѣть. Въ числѣ ненавидѣвшихъ были такіе, которые его въ глаза не знали; другіе, если и знали, то не имѣли никакихъ сношеній съ нимъ; это была съ ихъ стороны ненависть чистая, безкорыстная, но и самыя безкорыстныя чувства имѣютъ какую-нибудь причину. Причину нелюби къ Бельтову разгадать нетрудно. Помѣщики и чиновники составляли свои, болѣе или менѣе замкнутые круги, но круги близкіе, родственные; у нихъ были свои интересы, свои ссоры, свои партіи, свое общественное мнѣніе, свои обычаи,—общіе, впрочемъ, помѣщикамъ, всѣхъ губерній и чиновникамъ всей имперіи. Пріѣзжай въ NN совѣтникъ изъ RR, онъ въ недѣлю былъ бы дѣятельный и уважаемый членъ и собратъ; пріѣзжай уважаемый другъ нашъ, Павелъ Ивановичъ Чичиковъ, и полицмейстеръ сдѣлалъ бы для него попойку, и другіе пошли бы плясать около него и стали бы его называть «мамочкой»,—такъ, очевидно, поняли бы они родство свое съ Павломъ Ивановичемъ. Но Бельтовъ... Бельтовъ—человѣкъ, вышедшій въ отставку, не дослуживши четырнадцати лѣтъ и шести мѣсяцевъ до знака,—какъ замѣтилъ помощникъ столоначальника,—любившій все то, чего эти господа терпѣть не могутъ, читавшій вредныя книжонки все то время, когда они занимались полезными картами, скиталець по Европѣ, чужой дома, чужой и на чужбинѣ, аристократическій по изяществу манеръ и человѣкъ XIX вѣка по убѣжденіямъ,—какъ его могло принять провинціальное общество? Онъ не могъ войти въ ихъ интересы, ни они—въ его, и они его ненавидѣли, понявъ чувствомъ, что Бельтовъ—протестъ, какое-то обличеніе ихъ жизни, какое-то возраженіе на весь порядокъ ея. Ко всему этому присовокупилось множество важныхъ обстоятельствъ. Онъ сдѣлалъ мало визитовъ, онъ сдѣлалъ ихъ поздно, онъ всюду ѣздилъ по утрамъ въ сюртукѣ, онъ губернатору рѣже обыкновеннаго говорилъ «ваше превосходительство», а предводителю, отставному драгунскому ротмистру, и

вовсе не говорилъ, несмотря на то, что онъ по мѣсту былъ временно превосходительный; онъ съ своимъ камердинеромъ обращался такъ вѣжливо, что это оскорбляло гостя; онъ съ дамами говорилъ, какъ съ людьми, и вообще изъяснялся «слишкомъ вольно». Присовокупите къ этому, что въ низшемъ слою бюрократіи онъ былъ потерянь въ первый день пріѣзда вмѣстѣ съ прямымъ ходомъ въ бильярдную. Само собою разумѣется, ненависть къ Бельтову была настолько учтива, что давала себѣ волю за глаза, въ глаза же она окружала свою жертву такимъ тупымъ и грубымъ вниманіемъ, что ее можно было принять за простую любовь. Всякій старался имѣть пріѣзжаго въ своемъ домѣ, чтобъ похвастаться знакомствомъ съ нимъ, чтобъ стяжать право десять разъ въ разговорѣ вернуть: «вотъ, когда Бельтовъ былъ у меня... я съ нимъ...» ну, и, какъ водится, въ заключеніе какая-нибудь невинная клевета.

Всѣ мѣры были взяты добрыми NN-цами, чтобъ на выборахъ прокатить Бельтова *на вороныхъ* или почтить его избраніемъ въ такую должность, которую добровольно мудрено принять. Онъ сначала не замѣчалъ ни ненависти къ себѣ, ни этихъ парламентскихъ козней, потомъ сталъ догадываться и рѣшился самоотверженно итти до конца... Но не бойтесь,—по причинамъ, очень мнѣ извѣстнымъ, но которыя, изъ авторской уловки, хочу скрыть,—я избавляю читателей отъ дальнѣйшихъ подробностей и описаній выборовъ NN; на этотъ разъ меня манятъ другія событія—частныя, а не служебныя.

II.

Вы, вѣрно, давнымъ давно забыли о существованіи двухъ юныхъ лицъ, оттертыхъ на далекое разстояніе длиннымъ эпизодомъ,—о Любонькѣ и о скромномъ, миломъ Круциферскомъ. А между тѣмъ, въ ихъ жизни совершилось очень много; мы ихъ оставили почти женихомъ и невѣстой, мы ихъ встрѣтимъ теперь мужемъ и женою; мало этого, они ведутъ за руку трехлѣтняго *barbino*, маленькаго Яшу.

Разсказывать объ этихъ четырехъ годахъ нечего; они были счастливы; свѣтло, тихо шло ихъ время; счастье любви, особенно любви полной, увѣнчанной, лишенной тревожнаго ожиданія—тайна, тайна, принадлежащая двоимъ; тутъ третій—лишній, тутъ свидѣтель не нуженъ; въ этомъ исключительномъ посвященіи только двоихъ лежитъ особая прелесть и невыразимость любви взаимной. Разсказывать внѣшнюю исторію ихъ жизни можно, но не стоитъ труда: ежедневныя заботы, недостатокъ въ деньгахъ, ссоры съ кухаркой,

покупка мебели, — вся эта внѣшняя пыль садилась на нихъ, какъ и на всѣхъ, досаждала собою, но была безслѣдно стерта черезъ минуту и едва сохранялась въ памяти. Круциферскій получилъ черезъ Крупова мѣсто старшаго учителя въ гимназіи, давалъ уроки, попадалъ, разумѣется, и на такихъ родителей, которые платили сполна, — скромно, стало-быть, они могли жить въ NN, а иначе имъ и жить не хотѣлось. Алексѣй Абрамовичъ, сколько его ни убѣждалъ Круповъ, болѣе десяти тысячъ не далъ въ приданое, но зато рѣшительно взялъ на себя обзаведеніе молодыхъ; эту трудную задачу онъ разрѣшилъ довольно удачно: онъ перевезъ къ нимъ все то изъ своего дома и изъ кладовой, что было для него совершенно не нужно, полагая, вѣроятно, что именно это-то и нужно молодымъ. Такимъ образомъ, историческая коляска, о которой думалъ Алексѣй Абрамовичъ въ то самое время, въ которое Глафира Львовна думала о несчастной дочери преступной любви, состарѣвшаяся, осунувшаяся, порыжѣвшая, со сломанной рессорой и съ значительной раной на боку, была доставлена съ большими затрудненіями на маленькій дворикъ Круциферскаго; сарая у него не было, и коляска долго служила пріютомъ кроткихъ куръ. Алексѣй Абрамовичъ и лошадь отправилъ, было, къ нему, но она на дорогѣ скоропостижно умерла, чего съ нею ни разу не случалось въ продолженіе двадцатилѣтней безпорочной службы на конюшнѣ генерала; время ли ей пришло, или ей обидно показалось, что крестьянинъ, выѣхавъ изъ виду барскаго дома, заложилъ ее въ корень, а свою на пристяжку, — только она умерла; крестьянинъ былъ такъ пораженъ, что мѣсяцевъ шесть находился въ бѣгахъ. Но одинъ изъ лучшихъ подарковъ былъ сдѣланъ утромъ въ день отъѣзда молодыхъ. Алексѣй Абрамовичъ велѣлъ позвать Николашку и Палашку — молодого чахоточнаго малаго лѣтъ 25 и молодую дѣвку, очень рябую. Когда они вошли, Алексѣй Абрамовичъ принялъ важный и даже грозный видъ: «Кланяйтесь въ ноги!» сказалъ генераль: «и поцѣлуйте ручку у Любови Александровны и у Дмитрія Яковлевича». Послѣднее порученіе не легко было исполнить: сконфуженная молодая чета прятала руки, краснѣла, цѣловалась и не знала, что начать. Но глава общины продолжалъ: «Это ваши новые господа» — слова эти онъ произнесъ громко, голосомъ, приличнымъ такому важному извѣщенію: — «служите имъ хорошо, и вамъ будетъ хорошо (вы помните, что это ужъ повтореніе)! Ну, а вы ихъ жалуйте да будьте къ нимъ милостивы, если хорошо себя поведутъ, а зашалятъ, пришлите ко мнѣ: у меня такая гимназія для баловней, — возвращаю шелковыми. Баловать тоже не надобно. Вотъ моя хлѣбъ-соль на дорогу; а то я знаю, вы къ хозяйству люди не пріобьк-

шіе, гдѣ вамъ ладить съ вольными людьми; да и вольный человекъ у насъ, бестія, знаетъ, что съ нимъ ничего, что возьметъ паспортъ, да какъ баринъ какой и пойдетъ по переднимъ искать другого мѣста.— Ну, кланяйтесь же, и вонъ!» краснорѣчиво заключилъ генераль. Николашка съ Палашкой чебурахнулись еще разъ въ ноги и вышли. Тѣмъ и окончилась исторія вступленія ихъ въ новое владѣніе. Въ тотъ же день перебрались наши молодые въ городъ въ сопровожденіи кашлявшаго Николашки и барельефной Палашки.

Жизнь Крциферскихъ устроилась прекрасно. Они такъ мало дѣлали требованій на внѣшнее, такъ много были довольны собою, такъ проникались взаимной симпатіей, что ихъ трудно было не принять за иностранцевъ въ NN; они вовсе не были похожи на все, что окружало ихъ. Очень замѣчательная вещь, что есть добрые люди, считающіе насъ вообще, и провинціаловъ въ особенности, патріархальными, по преимуществу семейными, а мы нашу семейную жизнь не умѣемъ перетащить черезъ порогъ образованія, и еще замѣчательнѣе, можетъ быть, что, остывая къ семейной жизни, мы не пристаемъ ни къ какой другой; у насъ не личность, не общіе интересы развиваются, а только семья гложетъ. Въ семейной жизни у насъ какая-то формальная официальность; то только въ ней и есть, что показывается, какъ въ театральной декорации, и ни брани мужъ свою жену да ни притѣсній родители дѣтей, нельзя было бы и догадаться, что общаго имѣютъ эти люди и зачѣмъ они надѣдаютъ другъ другу, а живутъ вмѣстѣ. Кто хочетъ у насъ радоваться на семейную жизнь, тотъ долженъ искать ее въ гостиной, а въ спальню не ходить; мы не нѣмцы, добросовѣстно счастливые во всѣхъ комнатахъ лѣтъ тридцать сряду. Бываютъ исключенія, и такое-то исключеніе представляла наша чета. Они учредились просто, скромно, не знали, какъ другіе живутъ, и жили по крайнему разумѣнію; они не тянулись за другими, не бросали послѣднія тощія средства свои, чтобъ оставить себя въ подозрѣніи богатства, они не натягивали двадцать, тридцать ненужныхъ знакомствъ; словомъ, часть искусственныхъ веригъ, взаимныхъ ланкастерскихъ гоненій, называемыхъ «общежитіемъ», надъ которымъ всѣ смѣются и выше котораго никто не смѣетъ стать, миновала домикъ скромнаго учителя гимназіи; зато самъ Семень Ивановичъ Круповъ мирился съ семейной жизнью, глядя на «милыхъ дѣтей» своихъ.

Нѣсколько дней послѣ того, какъ Бельтовъ, недовольный и мучимый какимъ-то предчувствіемъ и дѣйствительнымъ отсутствіемъ жизни въ городѣ, бродилъ съ мрачнымъ видомъ и съ руками, засунутыми въ карманы, въ одномъ изъ домиковъ, мимо которыхъ онъ шелъ, полный негодованія и горечи, онъ могъ бы увидѣть тогда,

какъ и теперь, одну изъ тѣхъ успокаивающихъ, прекрасныхъ семейныхъ картинъ, которыя всѣми чертами доказываютъ возможность счастья на землѣ. Въ картинѣ этой было что-то похожее на лѣтній вечеръ въ саду, когда нѣтъ вѣтру, когда прудъ стелется, какъ металлическое зеркало, золотое отъ солнца; небольшая деревенька видна вдали, между деревьевъ, роса поднимается, стадо идетъ домой съ своимъ перемѣшаннымъ хоромъ крика, топанья, мычанья... И вы готовы отъ всего сердца присягнуть, что ничего лучшаго не желали бы во всю жизнь... И какъ хорошо, что вечеръ этотъ пройдетъ черезъ часъ, т. е. смѣнится въ-время ночью, чтобъ не потерять своей репутаціи, чтобъ заставить жалѣть о себѣ прежде, нежели надоѣсть.

Въ небольшой чистенькой комнаткѣ сидѣлъ на диванѣ Семень Ивановичъ Круповъ почетнымъ и единственнымъ гостемъ. Молодая женщина, улыбаясь, набивала ему трубку; ея мужъ сидѣлъ на креслахъ и поглядывалъ съ безмятежнымъ спокойствіемъ и любовью то на жену, то на старика. Черезъ минуту вошелъ въ комнату трехлѣтній ребенокъ, переваливаясь съ ноги на ногу, и отправился прямымъ путемъ, т. е. не обходя столъ, а туннелемъ между ножекъ къ Крупову, котораго очень любилъ за часы съ репетиціей и за двѣ сердоликовыя печатки, висѣвшія у него изъ-подъ жилета.

— Яша, здравствуй!—сказалъ Семень Ивановичъ, вытаскивая своего пріятеля изъ-подъ стола и усаживая его къ себѣ на колѣни.

Яша ухватилъ за печатку и вытягивалъ часы.

— Онъ вамъ мѣшаетъ чай пить и курить, дайте его мнѣ,—сказала мать, убѣжденная твердо, что Яша никому и никогда мѣшать не можетъ.

— Оставьте, сдѣлайте одолженіе; я самъ его спроважу, когда надоѣсть,—и Семень Ивановичъ вынулъ часы, и заставилъ ихъ бить; Яша съ восхищеніемъ слушалъ бой, поднесъ потомъ часы къ уху Семена Ивановича, потомъ къ уху матери и, видя несомнѣнные знаки ихъ удивленія, поднесъ ихъ къ собственному рту.

— Дѣти — большое счастье въ жизни! — сказалъ Круповъ: — особенно нашему брату, старику, какъ-то отрадно ласкать кудрявыя головки ихъ и смотрѣть въ эти свѣтлые глазенки. Право, не такъ грубѣешь, не такъ падаешь въ ячность, глядя на эту молодую травку. Но, скажу вамъ откровенно, я не жалѣю, что у меня своихъ дѣтей нѣтъ... да и на что? Вотъ далъ же Богъ мнѣ внучка; со-старѣюсь, пойду къ нему въ няни.

— Няня тамъ,—замѣтилъ Яша, указывая на дверь съ предовольнымъ видомъ.

— Возьми меня въ няни.

Яша приготовился, было, возразить на это страшнымъ крикомъ, но мать предупредила это, обративъ вниманіе его на золотую пуговицу на фракѣ Крупова.

— Я люблю дѣтей, — продолжалъ старикъ: — да, я вообще люблю людей, а былъ помоложе, любилъ и хорошенькое личико и, право, былъ разъ пять влюбленъ, но для меня семейная жизнь противна. Человѣкъ можетъ жить только одинъ спокойно и свободно. Въ семейной жизни, какъ нарочно, все сдѣлано, чтобъ живущіе подъ одной кровлей надѣдали другъ другу, — поневолѣ разойдутся; не живи вмѣстѣ, — вѣчная нескончаемая дружба, а вмѣстѣ тѣсно.

— Полноте, Семень Ивановичъ, — возразилъ Круциферскій, — что вы это говорите! Цѣлая сторона жизни, — лучшая, полная счастья и блаженства, вамъ осталась неизвѣстна. И что вамъ въ этой свободѣ, состоящей въ отсутствіи всякихъ ощущеній, въ эгоизмѣ?

— Вотъ, вѣдь, и пошелъ. А сколько разъ я говорилъ тебѣ, Дмитрій Яковлевичъ, что ты меня словомъ «эгоизмъ» не запугаешь. Какая гордость! «Безъ всякихъ ощущеній», — какъ будто только на свѣтѣ и ощущеній, что идолопоклонство мужа женѣ, жены мужу да ревнивое желаніе такъ поглотить другъ друга для самихъ себя, чтобъ ближнему ничего не досталось, — плакать только о своемъ горѣ, радоваться своему счастью. Нѣтъ, батюшка, знаемъ мы самоотверженную любовь вашу; вотъ, не хочу хвастаться, да такъ ужъ къ слову пришлось, — какъ придешь къ больному и сердце замираетъ: плохъ былъ, не ловко такъ подходишь къ кровати — ба, ба, ба! пульсъ-то лучше, а больной смотритъ слабыми глазами да жметъ тебѣ руку, — ну, это, братъ тоже ощущеніе. Эгоизмъ? — Да, кромѣ безумныхъ, кто-жъ не эгоистъ? Только одни просто, а другіе, знаете, по пословицѣ: та же щука, да подъ хрѣномъ. А на то пошло, такъ нѣтъ уже и ограниченнѣе эгоизма, какъ семейный.

— Я не знаю, Семень Ивановичъ, что васъ такъ страшаетъ въ семейной жизни; я теперь ровно четыре года замужемъ, мнѣ свободно, я вовсе не вижу ни съ моей стороны, ни его — ни жертвъ, ни тягости, — сказала Круциферская.

— Удалось сорвать банкъ, такъ и похваливаетъ игру: мало ли чудесъ бываетъ на свѣтѣ; вы исключенье — очень радъ: да это ничего не доказываетъ. Два года тому назадъ у нашего портного — да вы знаете его: портной Панкратовъ, на Московской улицѣ, — у него ребенокъ упалъ изъ окна второго этажа на мостовую; какъ, кажется, не расшибиться? — хоть бы что-нибудь! разумѣется, синія пятна, царапины, — больше ничего. Ну, извольте, выбросить другого ребенка. Да и тутъ еще вышла вещь плохая: ребенокъ-то чахнетъ.

— Это ужъ не дурное ли пророчество намъ?—спросила Крuciфepская, дружески положивъ руку на плечо Семену Ивановичу.— Я вашихъ пророчествъ не боюсь съ тѣхъ поръ, какъ вы предсказывали моему мужу страшныя послѣдствія нашего брака.

— Какъ вы злопамятны, не стыдно ли? Да и этотъ болтунъ все рассказалъ, экой мужчина! Ну, слава Богу, слава Богу, что я солгалъ; прошу забыть: кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ, хотя бы онъ былъ такъ удивительно хорошъ, какъ вотъ этотъ.— Онъ указалъ пальцемъ.

— Каковъ Семень Ивановичъ, онъ еще и комплименты говоритъ!

— Я вамъ и получше, и побольше комплиментъ скажу: глядя на ваше житье, я, дѣйствительно, нѣсколько примирился съ семейной жизнью; но не забудьте, что, проживши лѣтъ шестьдесятъ, я въ вашемъ домѣ въ первый разъ увидѣлъ не въ романѣ, не въ стихахъ, а на самомъ дѣлѣ осуществленіе семейнаго счастья. Не слишкомъ же часты примѣры.

— По чему знать,—отвѣчала Крuciфepская:— можетъ быть, возлѣ васъ прошли не замѣченными другія пары; любовь истинная вовсе не интересуется выказываться; да и искали ли вы, и какъ искали? Наконецъ, просто случайность, что вамъ мало встрѣчалось людей семейно-счастливыхъ. А, можетъ быть, Семень Ивановичъ,—прибавила она съ той насмѣшливой злобой и даже съ тою неделикатностью, которая всегда присуща людямъ счастливымъ,—вамъ ужъ кажется, что надобно выдержать характеръ, что если вы теперь признаетесь, что были неправы, то осудите всю жизнь свою и должны будете съ тѣмъ вмѣстѣ узнать, что поправить ее нельзя.

— О, нѣтъ!—возразилъ съ жаромъ старикъ,—объ этомъ не беспокойтесь, никогда не раскаюсь въ быломъ; во-первыхъ, потому, что глупо горевать о томъ, чего не воротишь, во-вторыхъ, я, холостой старикъ, доживаю спокойно вѣкъ мой, а вы прекрасно начинаете вашу жизнь.

— Не знаю цѣли,—замѣтилъ Крuciфepскій,—съ которой вы сказали послѣднее замѣчаніе, но оно сильно отозвалось въ моемъ сердцѣ; оно навело меня на одну изъ безотвязныхъ и очень скорбныхъ мыслей,—такихъ, которыхъ присутствіе въ душѣ достаточно, чтобъ отравить минуту самаго пылкаго восторга. Подчасъ мнѣ становится страшно мое счастье: я, какъ обладатель огромныхъ богатствъ, начинаю трепетать передъ будущимъ. Какъ бы...

— Какъ бы не вычли потомъ? Ха, ха, ха, эки мечтатели! Кто мѣрилъ ваше счастье, кто будетъ вычитатъ? Что это за ребяческій взглядъ! Случай и вы сами устроили ваше счастье, и потому оно

ваше, и наказывать васъ за счастье было бы нелѣпостью. Разумѣется, тотъ же случай,—неразумный, неотразимый,—можетъ разрушить ваше счастье, но мало ли что можетъ быть. Можетъ быть, балки этого потолка подгнили; можетъ быть, онъ провалится; ну, начнемъ-те выбираться; да, какъ выбираться? На дворѣ встрѣтится бѣшенная собака, на улицѣ лошадь задавить... Да если допустить въ себѣ боязнь возможнаго зла, такъ лучше опіуму выпить да и уснуть навѣки вѣковъ.

— Я всегда дивился, Семень Ивановичъ, легкости, съ которой вы принимаете жизнь: это счастье, большое счастье, но оно не всѣмъ дано. Вы говорите: случай—и успокаиваетесь, а я нѣтъ. Мнѣ отъ того не легче, что я неизвѣстную, но подозрѣваемую связь событій моей жизни назову случаемъ. Все въ жизни не даромъ, и все имѣеть высокій смыслъ; не даромъ вы нашли меня на моемъ чердакѣ; мало ли учителей въ Москвѣ,—почему именно меня? Не для того ли, что во мнѣ лежало орудіе для освобожденія этого высокаго, чистаго существа, и то, о чемъ я боялся мечтать, боялся думать, вдругъ совершилось,—и счастьемъ моему нѣтъ мѣры? Да гдѣ же справедливость, если это такъ и пойдетъ на всю жизнь? Я покоряюсь моему счастью такъ, какъ другіе покоряются несчастью, но не могу отдѣлаться отъ страха передъ будущимъ.

— То есть, передъ тѣмъ, чего нѣтъ. И я, съ своей стороны, скажу, что всю жизнь не понималъ да и не пойму эти болѣзненные воображенія, находящія наслажденіе въ томъ, чтобы мучить себя грезами и придумывать бѣды и впередъ грустить. Такой характеръ—своего рода несчастье. Ну, пришибетъ бѣдою, разразится горе надъ головой,—поневолѣ заплачешь и повѣсишь носъ; но думать, когда надобно пить прекрасное вино, что за это завтра судьба подастъ пресквернаго квасу, это — своего рода безуміе. Неумѣнье жить въ настоящемъ, цѣнить будущее, отдаваться ему, это — одна изъ моральныхъ эпидемій, наиболѣ развитыхъ въ наше время. Мы все еще похожи на тѣхъ жидовъ, которые не пьютъ, не ѣдятъ, а откладываютъ копѣйку на черный день; и какой бы черный день ни пришелъ, мы не раскроемъ сундуковъ,—что это за жизнь?!

— Я совершенно согласна съ вами, Семень Ивановичъ! — съ жаромъ сказала Круциферская, — я часто говорю объ этомъ съ Дмитріемъ. Если мнѣ хорошо, зачѣмъ я стану думать о будущемъ? Для меня его хоть бы совсѣмъ не было. Онъ самъ со мною часто соглашается, но тайная грусть такъ глубоко вкоренилась въ него, что онъ не можетъ ее побѣдить. Да и зачѣмъ, впрочемъ,—прибавила она свѣтло и симпатично улыбаясь мужу, — я и грусть эту люблю въ немъ: въ ней столько глубокаго. Я думаю, мы съ вами

оттого не понимаемъ или, по крайней мѣрѣ, не сочувствуемъ этой грусти, что у насъ нравъ поверхностнѣе, удобовпечатлительнѣе, что насъ занимаетъ и увлекаетъ внѣшность.

— Начали за здравіе, свели за упокой; начали такъ, что я хотѣлъ поцѣловать вашу ручку и сказать мужу: «вотъ человѣческое пониманье жизни», а кончили тѣмъ, что его грезы—глубокомысліе; хорошо глубокомысліе — мучиться, когда надобно наслаждаться, и горевать о вещахъ, которыхъ, можетъ быть, и не будетъ.

— Семень Ивановичъ, на что вы такъ исключительны? Есть нѣжныя организаціи, для которыхъ нѣтъ полного счастья на землѣ, которая самоотверженно готовы отдать все, но не могутъ отдать печальный звукъ, лежащій на днѣ ихъ сердца, звукъ, который ежеминутно готовъ сдѣлаться... Надобно быть поглубѣе для того, чтобы быть посчастливѣе; мнѣ это часто приходится въ голову; посмотрите, какъ невозмущаемо счастливы, напр., птицы, звѣри, оттого, что они меньше насъ понимаютъ.

— Однако, довольно непріятно,—замѣтилъ неумолимый Круповъ,—имѣть высшую натуру для существа, назначеннаго жить не выше и не ниже, какъ на землѣ. Признаюсь, эту высоту я принимаю за физическое разстройство, за нервный припадокъ; обливайтесь холодной водой да дѣлайте больше движенія, — половина надзвѣздныхъ мечтаній пройдетъ. Вы, Дмитрій Яковлевичъ, отъ рожденія слабы физическими силами: въ слабыхъ организаціяхъ часто умственныя способности чрезвычайно развиты, но почти всегда, эдакъ, вкось, куда-нибудь въ отвлеченье, въ фантазію, въ мистицизмъ. Вотъ отчего древніе говорили: *mens sana in corpore sano* ¹⁾. Посмотрите на блѣдныхъ, бѣлокурыхъ нѣмцевъ, отчего они мечтатели, отчего они держатъ голову на сторону, часто плачутъ? Отъ золотухи и отъ климата; отъ этого они готовы цѣлые вѣка бредить о мистическихъ контроверзахъ, а дѣла никакого не дѣлаютъ.

— Не даромъ говорятъ, что медицинскія занятія прививаютъ человѣку какой-то сухой матеріальный взглядъ на жизнь; вы такъ коротко знакомитесь съ вещественной стороной человѣка, что изъ-за нея забыли другую сторону, ускользящую отъ скальпеля и которая одна и даетъ смыслъ грубой матеріи.

— Охъ, эти мнѣ идеалисты!—сказалъ Семень Ивановичъ, который примѣтно началъ сердиться,—вѣчно подъѣзжаютъ съ вздоромъ. Да кто же это имъ сказалъ, что вся медицина только и состоитъ изъ анатоміи? сами придумали и тѣшатся; какая-то грубая

¹⁾ Здоровая душа въ здоровомъ тѣлѣ.

матерія... Я не знаю ни грубой матеріи, ни учтивой, а знаю живую. Мудрецы вы, нынѣшніе ученые, а мелко плавааете! Это нашъ старый споръ, онъ никогда не кончится, лучше перестать. — Посмотрите, какъ Яшу мы убаюкали нашими пустяками,—спитъ себѣ спокойно. Спи малютка! тебя еще папаша не научилъ презирать землю да матерію, не увѣрилъ еще тебя, что эти милыя ножки, эти ручонки—кусочки грязи, приставшей къ тебѣ. Любовь Александровна, пожалуйста, не развивайте въ немъ этихъ пустяковъ; ну, вы мужу даете поблажку, Богъ съ нимъ! Невиннаго ребенка, по крайности, не развращайте этимъ бредомъ съ малыхъ лѣтъ. Ну, что сдѣлаете изъ него? Мечтателя. Будетъ до старости искать жаръ-птицу, а настоящая-то жизнь въ это время уйдетъ между пальцевъ. Ну, хорошо ли это? Возмите-ка его.

Старикъ отдалъ Яшу матери, взялъ свой картузь и, медленно застегивая фракъ, сказалъ:

— Ахъ, я забылъ вамъ рассказать: на-дняхъ какъ-то я познакомился съ преинтереснымъ человѣкомъ.

— Вѣрно, съ Бельтовымъ?—спросила Круциферская.—Его пріѣздъ до того надѣлалъ шуму, что я узнала объ немъ отъ директорши.

— Именно. Они шумятъ потому, что онъ богатъ, а дѣло въ томъ, что онъ — дѣйствительно замѣчательный человѣкъ: все на свѣтѣ знаетъ, все видѣлъ, умница такой; избалованъ немножко, ну, знаете, матушкинъ сынокъ; нужда не воспитывала его по-нашему,—жилъ спустя рукава, а теперь умираетъ здѣсь отъ скуки, хандритъ; можете себѣ представить, какво послѣ Парижа.

— Бельтовъ! Да позвольте,—сказалъ Дмитрій Яковлевичъ,—фамилія знакомая; да не былъ ли онъ въ мое время въ московскомъ университетѣ? Бельтовъ оканчивалъ курсъ, когда я вступилъ; про него и тогда говорили, что онъ страшно уменъ; еще его воспитывалъ какой-то женевецъ.

— Тотъ самый, тотъ самый.

— Я помню его, мы были немного знакомы.

— Я увѣренъ, что онъ былъ бы очень радъ васъ видѣть; въ этой глуши встрѣтить образованнаго человѣка — всякому кладъ: а Бельтовъ вовсе не умѣетъ быть одинъ, сколько я замѣтилъ. Ему надобно говорить, ему хочется обмѣна, и онъ боленъ отъ одиночества.

— Если вы не находите ничего противъ этого, я, пожалуй, пойду.

— Пойдемте-ка, доброе дѣло... Нѣтъ постой; вотъ я и старъ, да опрометчивъ; онъ слишкомъ, братъ, богатъ, чтобъ тебѣ пер-

вому итти къ нему; я завтра ему скажу: захочетъ, прїѣдемъ съ нимъ къ тебѣ. Прощай, любезный спорщикъ. Прощайте.

— Привозите же завтра вашего Бельтова, — сказала Любовь Александровна. — Намъ до того наговорили объ немъ, что и мнѣ захотѣлось его видѣть.

— Стоитъ, право, стоитъ, — сказалъ старикъ, выходя въ переднюю.

Круповъ всякій разъ спорилъ съ Круциферскимъ, всякій разъ сердился и говорилъ, что онъ все болѣе и болѣе расходится съ нимъ, что не мѣшало нисколько тому, что они сближались ежедневно тѣснѣе и тѣснѣе. Для Крупова семья Круциферскаго была его семья; онъ туда шелъ пожить сердцемъ, которое у него еще было тепло, отдохнуть, глядя на счастье ихъ. Для Круциферскихъ Круповъ представлялъ дѣйствительно старшаго въ семьѣ, — отца, дядю, но такого дядю, которому любовь, а не права крови дали власть иногда пожурить и погрубить, — что оба простили ему отъ души, и имъ было грустно, когда не видали его дня два.

На другой день, часовъ въ семь послѣ обѣда, Семень Ивановичъ привезъ въ своихъ пошевняхъ, покрытыхъ желтымъ ковромъ, и на парѣ обвинокъ, свѣтлосаврасой шерсти, Бельтова къ Круциферскому. Разумѣется, Бельтовъ былъ радъ-радехонекъ познакомится съ порядочнымъ человѣкомъ, и ему вовсе не пришло въ голову, что онъ сдѣлаетъ первый визитъ. Хозяева немного сконфузились; похвалы Семена Ивановича, слухъ о его заграничной жизни, даже его богатство, — все это смутно вспомнилось, когда онъ вошелъ въ комнату, и сдѣлало встрѣчу нѣсколько натянутой; но это тотчасъ прошло. Въ прїемахъ и рѣчахъ Бельтова было столько открытаго, простого, и притомъ въ немъ было столько такта, — этой высокой принадлежности людей съ развитой и нѣжной душою, — что не прошло получаса, какъ тонъ бесѣды сдѣлался прїятельскимъ. Даже Круциферская, такъ не привыкнущая къ постороннимъ, невольно была вовлечена въ разговоръ. Съ Дмитріемъ Яковлевичемъ Бельтовъ вспомнилъ университетскіе годы, бездну тогдашнихъ анекдотовъ, тогдашнія мечты, надежды... Давно ему не было такъ отрадно, и онъ дружески благодарилъ Крупова за это знакомство, когда тотъ подвезъ его къ подъѣзду гостиницы «Кересбергъ».

— Ну, что? — спрашивалъ потомъ Семень Ивановичъ у Круциферскихъ, — какъ вамъ нравится новый знакомый?

— Этого и спрашивать не слѣдуетъ, — отвѣчалъ Круциферскій.

— Онъ мнѣ очень понравился, — сказала Любовь Александровна.

Семень Ивановичъ, чрезвычайно довольный, что доставилъ всѣмъ удовольствіе, шутливо погрозилъ пальцемъ.

Любовь Александровна покраснѣла.

Семейныя картины увлекательны, и теперь, докончивши одну, я не могу удержаться, чтобъ не начать другую. Тѣсная связь ихъ, увѣряю васъ, раскроется послѣ.

III.

У дубасовскаго уѣзднаго предводителя была дочь,—и въ этомъ еще не было бы большого зла ни для почтеннѣйшаго Карпа Кондратьича, ни для милой Варвары Карповны; но у него, сверхъ дочери, была жена, а у Вавы, какъ звали ее дома, была, сверхъ отца, милая маменька, Марья Степаповна, — это измѣняло существенно положеніе дѣла. Карпъ Кондратьичъ былъ образецъ кротости въ семейныхъ дѣлахъ; странно было видѣть, какъ измѣнялся онъ, переходя изъ конюшни въ столовую, съ гумна въ спальню или въ диванную. Если-бъ мы не имѣли достовѣрныхъ документовъ отъ извѣстныхъ путешественниковъ, свидѣтельствующихъ о томъ, что одинъ и тотъ же англичанинъ можетъ быть отличнѣйшимъ плантаторомъ и прекраснымъ отцомъ семейства, то мы сами усомнились бы въ возможности такой двойственности. Впрочемъ, разсуждая глубже, можно замѣтить, что это такъ и должно быть. Внѣ дома, т. е. на конюшнѣ и на гумнѣ, Карпъ Кондратьичъ велъ войну, былъ полководцемъ и наносилъ врагу наибольшее число ударовъ; врагами его, разумѣется, являлись непокорные крамольники: лѣнь, несовершенная преданность его интересамъ, несовершенное посвященіе себя четверкѣ гнѣдыхъ и другія преступленія. Въ залѣ своей, напротивъ, Карпъ Кондратьичъ находилъ рыхлыя объятія вѣрной супруги и милое чело дочери для поцѣлуя; онъ снималъ съ себя тяжелый панцырь помѣщичьихъ заботъ и становился не то, чтобы добрымъ человѣкомъ, а добрымъ Карпомъ Кондратьичемъ. Жена его находилась вовсе не въ такомъ положеніи; она лѣтъ двадцать вела маленькую партизанскую войну въ стѣнахъ дома, рѣдко дѣлая небольшія вылазки за крестьянскими куриными яйцами и тальками; дѣятельная перестрѣлка съ горничными, поваромъ и буфетчикомъ поддерживала ее въ безпрестанно раздраженномъ состояніи, но къ чести ея должно сказать, что душа ея не могла совсѣмъ наполниться этими мелочными непріятельскими дѣйствіями, и она со слезами на глазахъ прижала къ своему сердцу семнадцатилѣтнюю Ваву, когда ее привезла двоюродная тетка изъ Москвы, гдѣ она кончила свое ученье въ институтѣ или въ пансіонѣ. Это ужъ не повару чета, не горничной—родная дочь; одна кровь течетъ

въ жилахъ да и священная обязанность. Сначала дали Вавѣ отдохнуть, побѣгать по саду, особенно въ лунныя ночи; для дѣвочки, воспитанной въ четырехъ стѣнахъ, все было ново, «очаровательно, плѣнительно», она смотрѣла на луну и вспоминала о какой-нибудь изъ обожаемыхъ подругъ и твердо вѣрила, что и та теперь вспомнить объ ней; она вырѣзывала вензеля ихъ на деревьяхъ... Это было то время, которое холоднымъ людямъ просто смѣшно, а у насъ оно срываетъ улыбку, но не улыбку презрѣнія, а ту улыбку, съ которой мы смотримъ на играющихъ дѣтей; намъ нельзя играть, пусть они поиграютъ. Натянутость, экзальтація, въ которой обыкновенно обвиняютъ дѣвушекъ, только что оставившихъ пансіонъ, несправедлива, совершенно несправедлива. Во всѣхъ мечтахъ, во всѣхъ самопожертвованіяхъ этого возраста, въ его готовности любить, въ его отсутствіи эгоизма, въ его преданности и самоотверженіи—святая искренность; жизнь пришла къ перелому, а занавѣсъ будущаго еще не поднялась; за ней страшныя тайны, тайны привлекательныя; сердце дѣйствительно страдаетъ по чѣмъ-то неизвѣстномъ, и организмъ складывается въ то же время, и нервная система раздражена, и слезы готовы безпрестанно литься. Пройдетъ пять, шесть лѣтъ, все перемѣнится; замужъ выйдетъ—и говорить нечего; не выйдетъ, да если только есть искра здоровой природы, дѣвушка не станетъ ждать, чтобъ кто-нибудь отдернулъ таинственную завѣсу,—сама ее отдернетъ и иначе взглянетъ на жизнь. Смѣшно смотрѣть институткой на міръ двадцатипятилѣтними глазами, и печально, если институтка смотритъ на вещи двадцатипятилѣтними глазами.

Варвара Карповна не была красавица, но въ ней была богатая замѣна красоты, это *нѣчто*, ce quelque chose, которое, какъ букетъ хорошаго вина, существуетъ только для понимающаго, и это *нѣчто*, еще не развитое, пророческое, предсказывающее, въ соединеніи съ юностью, которая все румянитъ, все краситъ, придавало ей особую, тонкую, нѣжную, не всѣмъ доступную прелесть. Глядя на довольно худое, смуглое лицо ея, на юную нестройность тѣла, на задумчивые глаза съ длинными рѣсницами, поневолѣ приходило въ голову, какъ преобразятся всѣ эти черты, какъ онѣ устроятся, когда и мысль, и чувство, и эти глаза,—все получить опредѣленіе, смыслъ, отгадку, и какъ хорошо будетъ тому, на плечо котораго склонится эта головка! Марья Степановна, впрочемъ, была очень недовольна наружностью дочери, называла ее «дурняшкой» и приказывала всякое утро и всякій вечеръ мыться огуречной водой, въ которую прибавлялся какой-то порошокъ, чтобъ прошелъ загаръ, какъ она называла ея смуглость. Поведеніе Вавы при гостяхъ за-

ставило мать обратить серьезное вниманіе на нее! Вава была застѣнчива, уходила въ садъ съ книжкой, не любезничала, не дѣлала глазки. Книжка, какъ ближайшая причина, была отнята; потомъ пошли родительскія поученія, вовѣки нескончаемыя; Марья Степановнѣ показалось, что Вава ей повинуется не совсѣмъ съ радостью, что она даже хмуритъ брови и иногда смѣетъ *отвѣчать*; противъ такихъ вещей, согласитесь сами, надобно было взять рѣшительныя мѣры. Марья Степановна скрыла до поры до времени свою теплую любовь къ дочери, и начала ее гнать и тѣснить на всякомъ шагу. Она ей не позволяла гулять, когда той хотѣлось; она ее посылала, когда та хотѣла сидѣть дома. Она ее заставляла нехотя ѣсть и всякій день упрекала, что она не толстѣетъ. Гоненія матери сдѣлали нравъ Вавы сосредоточеннымъ; она стала еще дичѣе, худѣла еще больше. Карпу Кондратьичу иногда приходило въ голову, что жена его напрасно гонитъ бѣдную дѣвушку; онъ пробовалъ даже заговаривать съ нею объ этомъ издалика, но какъ только рѣчь подходила къ большей опредѣлительности, онъ чувствовалъ такой ужасъ, что не находилъ въ себѣ силы преодолѣть его и отправлялся поскорѣе на гумно, гдѣ за минутный страхъ вознаграждалъ себя долгимъ страхомъ, внушаемымъ всемъ вассаламъ. Поле оставалось свободно за Марьей Степановной, и она, съ величайшей ревностью скупая ткацкія полотна, скатерти и салфетки для будущаго приданаго и заставляя семерыхъ горничныхъ слѣпить глаза за кружевными коклюшками и трехъ вышивать въ пяльцахъ разныя ненужности для Вавы, въ то же самое время съ невѣроятной упорностью гнала и тѣснила ее, какъ личнаго врага.

Когда они пріѣхали въ NN на выборы, и Карпъ Кондратьичъ напялилъ на себя съ большимъ трудомъ дворянскій мундиръ, ибо въ три года предводителя прибыло очень много, а мундиръ, напротивъ, какъ-то съезжился, и поѣхалъ какъ къ начальнику губерніи, такъ и къ губернскому предводителю, котораго онъ, въ отличеніе отъ губернатора, остроумно называлъ «наше его превосходительство»,—Марья Степановна занялась распоряженіями касательно убранства гостиной и выгрузки разнаго хлама, привезеннаго на четырехъ подводахъ изъ деревни; ей помогали трое не чесанныхъ отъ колыбели лакеевъ, одѣтыхъ въ полуфраки изъ какой-то сѣрой не то байки, не то сукна; дѣло шло горячо впередъ; вдругъ барыня, какъ бы пораженная нечаянной мыслью, остановилась и закричала своимъ звучнымъ голосомъ:

— Вава, Вава, гдѣ ты это прячешься, а?

Бѣдная дѣвушка, чувствуя, что это не къ добру, робко вошла въ комнату.

— Я здѣсь, маман!

— Что это у тебя за видъ, больна что-ли ты? право, по-смотришь на васъ со стороны,—покажется, что вамъ дурно жить въ родительскомъ домѣ; вотъ эти пансіоны! къ матери подходитъ съ какимъ лицомъ!—Тутъ Марья Степановна передразнила томный видъ дѣвушки.—Я сама была дочь; бывало, маменька позоветъ, бѣгу къ ней съ открытымъ видомъ.—Тутъ она представила открытый видъ улыбочку.—А ты все изъ подлобья... Дуракъ, разобьешь! чему обрадовался? тащитъ, мужикъ! никогда не выучишь... Ну, милая моя, полно шутить, я тебѣ въ послѣдній разъ скажу добрымъ порядкомъ, что твое поведение меня огорчаетъ; я еще молчала въ деревнѣ, но здѣсь этого не потерплю; я не за тѣмъ тащила такую даль, чтобъ про мою дочь сказали: дикая дурочка; здѣсь я тебѣ не позволю въ углу сидѣть. Какъ не умѣешь заинтересовать ни одного кавалера? Да мнѣ было пятнадцать лѣтъ, а ужъ отбою не было отъ нихъ. Тебя пора пристроить, слышишь ли?.. Ахъ, ты, мерзавецъ, вѣдь, говорила, что сломаетъ! поди сюда, поди, тебѣ говорятъ, покажи. Вишь, дуракъ, какъ сломалъ, совсѣмъ на двѣ части; ну, я тебя угощу: дай барину воротиться; я сама бы оттакала тебя за волосы, да гадко до тебя дотронуться: масломъ какъ намазался,—это воръ Митька на кухнѣ даетъ господское масло; вотъ, погоди, я и до него доберусь... Да-съ, Варвара Карповна, вы у меня на выборахъ извольте замужъ выйти; я найду жениховъ,—ну, а вамъ поблажки больше не дамъ; что ты о себѣ думаешь? красавица что-ли какая, что тебя очень будутъ искать? ни лица, ни тѣла, да и шагу не хочешь сдѣлать, одѣться не умѣешь, слова молвить не умѣешь, а еще училась въ Москвѣ. Нѣтъ, голубушка, книжки въ сторону: довольно начиталась, очень довольно, пора, матушка, за дѣло приниматься. Я тебя съ глазъ сгоню, если не поправишь поведения.

Вава стояла, какъ приговоренная къ смерти; послѣднія слова матери казались ей утѣшеніемъ.

— Какъ тебѣ не найти жениха! 350 душъ какихъ крестьянъ!—каждая душа двѣ души сосѣдскія стоитъ, да приданище какое!.. Что, что — да ты, кажется, плакать начинаешь, — плакать, чтобъ глаза сдѣлались красными; такъ ты эдакъ за материнскія попеченія!..

Она такъ близко подошла къ ней, а у Вавы волосы были такъ мягки и сухи, что неизвѣстно, чѣмъ кончилась бы эта исторія, если-бъ медвѣженокъ въ полуфракѣ не уронилъ въ самое это время десертную тарелку. Марья Степановна перенесла на него всю ярость.

— Кто разбилъ тарелку?—кричала она хриплымъ голосомъ.

— Сама разбилась — отвѣчалъ, повидимому, вышедшій изъ терпѣнія слуга.

— Какъ сама! сама?! и ты смѣешь мнѣ говорить это—сама!—
Остальное она договорила руками, находя, вѣроятно, что мимика сильнѣе выражаетъ взволнованное состояніе души, чѣмъ слово.

Измученная дѣвушка не могла больше вынести: она вдругъ зарыдала и въ страшномъ истерическомъ припадкѣ упала на диванъ. Мать испугалась, кричала: «Люди! дѣвка! воды! капель! за докторомъ, за докторомъ!». Истерическій припадокъ былъ упоренъ, докторъ не ѣхалъ; второй гонецъ, посланный за нимъ, привезъ тотъ же отвѣтъ: «велѣлъ, де, сказать, что немножко, де, повременить надо: на очень, дескать, трудныхъ родахъ».

— Тьфу, ты, проклятый! да кому это такъ приспичило родить?

— Прокуроровой кухаркѣ-съ,—отвѣчалъ посланный.

Только этого и недоставало, чтобъ довершить трагическое положеніе Марьи Степановны. Она побагровѣла; лицо ея, всегда непривлекательное, сдѣлалось отвратительнымъ.

— У кухарки?! у кухарки?!..—больше она не могла вымолвить ни слова.

Вошелъ Карпъ Кондратьичъ съ веселымъ и довольнымъ видомъ: губернаторъ дружески жалъ ему руку, ея превосходительство водила показывать коверъ, присланный для гостиной изъ Петербурга, и онъ, посмотрѣвши на коверъ, съ видомъ патріархальной простоты, подъ которую мы умѣемъ прятать лесть и униженіе, сказалъ: «У кого же, матушка Анна Дмитріевна, и быть такимъ коврамъ, какъ не у вашихъ превосходительствъ». Онъ всѣмъ этимъ былъ очень доволенъ, особенно—ловкимъ отвѣтомъ своимъ. И вдругъ семейная сцена обрушилась на его голову: дочь въ истерикѣ, жена въ изступленіи, разбитая тарелка на полу; у Марьи Степановны лица нѣтъ, и правая ручка какъ-то очень красна,—почти такъ же, какъ лѣвая щека у Терешки.

— Что за исторія? Что съ Вавой?

— Извѣстно, съ дороги; дѣло дѣвичье, — отвѣтила нѣжно мать—гдѣ ей вынести 120 верстъ; говорила—отложить до середины, ну такъ нѣтъ; теперь и лѣчи.

— Помилуй, въ среду не меньше бы было верстъ.

— Ты все лучше знаешь. А вотъ этого убійцу, Крупова, въ домъ больше не пускай; вотъ масонъ-то, мерзавецъ! Два раза посылала,—вѣдь, я не послѣдняя персона въ городѣ... Отчего? отъ того, что ты не умѣешь себя держать: ты себя держишь хуже за сѣдателя; я посылала, а онъ изволить тѣшиться надо мной; ви-

дишь, у прокурорской кухарки на родинахъ; моя дочь умираетъ, а онъ у прокурорской кухарки... Якобинецъ!

— Подлецъ и мерзавецъ!—заклучилъ предводитель.

Горячій потокъ словъ Марьи Степановны не умолкалъ еще, какъ растворилась дверь изъ передней, и старикъ Круповъ, съ своимъ нѣсколько методическимъ видомъ и съ тростью въ рукѣ, вошелъ въ комнату; видъ его былъ тоже довольнѣе обыкновеннаго; онъ какъ-то улыбался глазами и, не замѣчая того, что хозяева не кланяются ему, спросилъ:

— Кому нужна здѣсь моя помощь?

— Моей дочери!

— А! Вѣрѣ Михайловнѣ? что съ ней?

— Дочь мою зовутъ Варварой, а меня Карпомъ,—не безъ достоинства замѣтилъ предводитель.

— Извините, извините; да, ну что же у Варвары Кирилловны?

— Да прежде, батюшка, — перебила дрожащимъ отъ бѣшенства голосомъ Марья Степановна:—успокойте: что, кухарка-то прокурорская родила ли?

— Хорошо, очень хорошо,—возразилъ съ энергіей Круповъ.— Это такой случай, какого въ жизнь не видалъ. Истинно думалъ, что мать и ребенокъ пропадутъ: бабка пренеловкая, у меня руки стары, и вижу нынче плохо. Представьте, пуповина...

— Ахъ, батюшки, да онъ съ ума сошелъ! стану я такія мерзости слушать! да съ чего вы это взяли! У меня въ деревнѣ своихъ бабъ круглымъ числомъ пятьдесятъ родятъ ежегодно, да я не узнаю всѣхъ гадостей.—При этомъ она плюнула.

Круповъ насилиу сообразилъ, въ чемъ дѣло. Онъ всю ночь провозился съ бѣдной родильницей, въ душевой кухнѣ, и такъ еще былъ весь подъ вліяніемъ счастливой развязки, что не понялъ сначала тона предводительши. Она продолжала:

— Да что, прокуроръ-то платитъ вамъ, что ли, такъ ужъ густо, что вы не могли бабы его оставить на минуту, когда съ моей дочерью чуть смерть не приключилась?

— Ни на одну минуту, сударыня, ни на одну минуту не могъ ни для вашей дочери, ни для кого другого. Да, видно, она не очень больна: вы не торопитесь вести меня къ ней. Я зналъ это.

Это замѣчаніе озадачило нѣжныхъ родителей, но мать скоро оправилась и возразила:

— Ей лучше, да я и не подпущу васъ теперь къ моей дочери, и рукъ-то, вѣрно, вы не вымыли.

— Признаюсь, г. докторъ,—прибавилъ предводитель,—такого

дерзкаго поступка и такого дерзкаго объясненія я отъ васъ не ожидалъ, отъ стараго, заслуженнаго доктора. Если бы не уваженіе мое къ кресту, украшающему грудь вашу, то я, можетъ быть, не остался бы въ тѣхъ предѣлахъ, въ которыхъ нахожусь. Съ тѣхъ поръ, какъ я предводителемъ — шесть лѣтъ минуло — меня никто такъ не оскорблялъ.

— Да, помилуйте, если въ васъ нѣтъ искры человѣколюбія, такъ вы, по крайней мѣрѣ, сообразите, что я здѣсь инспекторъ врачебной управы, блюститель законовъ по медицинской части, и я-то брошу умирающую женщину для того, чтобъ бѣжать къ здоровой дѣвушкѣ, у которой мигрень, истерика или что-нибудь такое—домашняя сцена! Да это противно законамъ, а вы сердитесь!

Карпъ Кондратьичъ, въ дополненіе, былъ трусъ величайшій; ему показалось, что въ словахъ доктора лежитъ обвиненіе въ вольнодумствѣ; у него въ глазахъ поглубѣло, и онъ поторопился отвѣтить:

— Не зналъ, видить Богъ, не зналъ; передъ властью закона я нѣмѣю. Да вотъ Вава сама встаетъ.

Круповъ подошелъ къ ней, посмотрѣлъ, взялъ руку, покачалъ головой, сдѣлалъ два-три вопроса и, зная, что безъ этого его не выпустятъ, написалъ какой-то вздорный рецептъ и, прибавивши: «пуще всего спокойствіе, а то можетъ быть худо», ушелъ.

Испуганная истерикой, Марья Степановна немного сдѣлалась помягче; но когда до нея дошелъ слухъ о Бельтовѣ, у нея сердце такъ и стукнуло, и стукнуло съ такой силой, что болонка, лежавшая у нея постоянно шестой годъ на колѣняхъ вмѣстѣ съ носовымъ платкомъ и съ маленькой табакеркой, заворчала и начала нюхать и отыскивать, кто это прыгаетъ.—Бельтовъ—вотъ женихъ! Бельтовъ—его-то намъ и надо.

Разумѣется, Бельтовъ сдѣлалъ Карпу Кондратьичу визитъ; на другой день Марья Степановна протурила мужа платить почтеніе, а черезъ недѣлю Бельтовъ получилъ засаленную записку, съ сильнымъ запахомъ бараняго тулупа, пріобрѣтеннымъ на груди кучера, принесшаго ее; содержаніе ея было слѣдующее:

«Дубасовскій уѣздный предводитель дворянства и супруга его покорнѣйше просятъ Владиміра Петровича сдѣлать имъ честь откушаніемъ у нихъ обѣденнаго стола завтра, въ три часа».

Бельтовъ съ ужасомъ прочелъ приглашеніе и, бросивъ его на столъ, думалъ: что имъ за охота звать? Денегъ стоитъ много; всѣ они скупы, какъ кощеи, скука будетъ смертная... а дѣлать нечего, надобно ѣхать, а то обидится.

За два дня до обѣда начались репетиціи и приготовленія Вавы;

мать наряжала ее съ утра до ночи, хотѣла даже заставить ее явиться въ какомъ-то красномъ бархатномъ платьѣ, потому что оно будто бы было ей къ лицу, но уступила совѣту своей кузины, ѣздившей запросто къ губернаторшѣ и которая думала, что она знаетъ всѣ моды, потому что губернаторша общала ее взять на будущее лѣто съ собой въ Карлсбадъ. Съ вечера Марья Степановна приказала принести миндальныя отруби, оставшіяся отъ приготовления на завтра бланъ-манже, а, показавши дочери, какъ надобно этими отрубями тереть шею, плечи и лицо, начала торжественнымъ тономъ, сдерживая очевидное желаніе перейти къ брани:

— Вава, — говорила она, — если Богъ мнѣ поможетъ выдать тебя за Бельтова, всѣ мои молитвы услышаны: я тогда тебѣ цѣны не буду знать; утѣшь же ты мать свою; ты не безчувственная какая-нибудь, не каменная, неужели этого не можешь сдѣлать?—Какъ не понравится мужчинѣ, молодому? Да и что здѣсь дѣвицъ, что ли очень много? двѣ, три, да и обчелся; красавицы-то хваленыя—предсѣдательскія дочки, по мнѣ, прегадкія да и, говорятъ, перемигиваются съ какими-то секретаришками. А потомъ, что за фамилія ихъ? отецъ выслужился изъ повытчиковъ казенной палаты. Кабы у тебя амбиціи было хоть на волосъ, то на смѣхъ имъ надобно бы... Онѣ, безстыдницы, мимо его квартиры въ открытой коляскѣ шныряютъ, да нѣтъ, — надежда плоха: вотъ теперь я распинаюсь, а, вѣдь, она смотритъ, какъ деревянная; наградилъ же меня Господь за мои погрѣшенія куклой вмѣсто дочери.

— Маменька, маменька, — говорила полушопотомъ Вава съ какимъ-то отчаяніемъ во взглядѣ:—что жѣ мнѣ дѣлать, я не могу иначе; да разсудите сами, я не знаю совсѣмъ этого человѣка да и онъ, можетъ быть, на меня не обратитъ вовсе никакого вниманія. Не броситься же мнѣ къ нему на шею.

— Грубіянка эдакая! да кто тебѣ говоритъ -- броситься на шею... Такъ ты эдакъ хочешь исполнить волю матери... не видала никогда! Что, у тебя мать дура или пьяная какая, что не умѣетъ выбрать тебѣ жениха. Царевна какая!..

Она остановилась, боясь разобидѣть ее до слезъ, отъ которыхъ завтра глаза будутъ красны.

Пришелъ, наконецъ, день испытанія; съ двѣнадцати часовъ Ваву чесали, помадили, душили; сама Марья Степановна затянула ее, и безъ того худенькую, корсетомъ и придала ей видъ осы; зато, съ премудрой распорядительностью она умѣла кое-гдѣ подшить ваты—и все была не вполне довольна: то ей казался воротъ слишкомъ высокъ, то, что у Вавы одно плечо ниже другого; при всемъ этомъ она сердилась, выходила изъ себя, давала поощрительные

толчки горничнымъ, бѣгала въ столовую, учила дочь дѣлать глазки и буфетчика накрывать столъ и пр. Трудень былъ этотъ день для Марьи Степановны, но много можетъ любовь матери!

Понятно, что все это очень хорошо и необходимо въ домашнемъ обиходѣ; какъ ни мечтай, но надобно же подумать о судьбѣ дочери, о ея благосостояніи; да то жаль, что эти приговорительныя, закулисныя мѣры лишаютъ дѣвушку прекраснѣйшихъ минутъ первой, откровенной, неожиданной встрѣчи, разоблачаютъ при ней тайну, которая не должна еще быть разоблачена, и показываютъ слишкомъ рано, что для успѣха надобна не симпатія, не счастье, а крапленныя карты. Эти приготовленія опошляютъ отношенія, которыя только тогда и могутъ быть истинны и святы, когда они не опошлены. Строгіе моралисты, пожалуй, прибавятъ, что всѣ подобныя мѣры болѣе могутъ развратить сердце дѣвушки, нежели такъ называемыя паденія,—въ такую глубь мы не пускаемся. Да и притомъ, какъ ни толкуй, а дочерей надобно замужъ выдавать,—онѣ только для этого и родятся: въ этомъ, я думаю, согласны всѣ моралисты.

Въ три часа убранная Вава сидѣла въ гостиной, гдѣ ужъ съ половины третьяго было нѣсколько гостей, и поднось, стоявшій передъ диваномъ, утратилъ уже половину икры и балыка, какъ вдругъ вошелъ лакей и подаль Карпу Кондратьичу письмо. Карпъ Кондратьичъ досталъ изъ кармана очки, замаралъ ихъ стеклами грязнымъ платкомъ и, какъ-то, должно быть, по складамъ, судя по времени, прочитавши записку въ двѣ строки, возвѣстилъ голосомъ, явно не спокойнымъ:

— Маша, Владиміръ Петровичъ проситъ извинить его; онъ нездоровъ, простудился и при всемъ желаніи не можетъ пріѣхать. Человѣку скажи, что очень, дескать, жаль.

Марья Степановна измѣнилась въ лицѣ и бросила на дочь такой взглядъ, какъ будто она простудила Бельтова. Вава торжествовала. Никогда Марья Степановна не казалась смѣшнѣе: она до того была смѣшна, что ея становилось жаль. Она возненавидѣла Бельтова отъ всего сердца и отъ всего помышленія. «Это просто афронтъ», бормотала она про себя.

— Кушанье подано,—сказалъ лакей.

Губернскій предводитель повелъ Марью Степановну въ столовую.

Недѣли черезъ двѣ послѣ этого происшествія, Марья Степановна занималась чаемъ; она, оставаясь одна или при близкихъ друзьяхъ, любила чай пить продолжительно, сквозь кусочекъ, съ блюдечка, что ей нравилось, между прочимъ, и тѣмъ, что сахару

выходило по этой методѣ гораздо меньше. Передъ нею сидѣла на стулѣ какая-то длинная, сухая женская фигура въ чепчикѣ, съ головою, нѣсколько качавшеюся, что сообщало оборкѣ на чепцѣ безпрерывное колебаніе; она вязала шерстяной шарфъ на двухъ огромныхъ спицахъ, глядя на него сквозь тяжелыя очки, которыхъ обкладка, сдѣланная, впрочемъ, изъ серебра, скорѣе напоминала пушечный лафетъ, чѣмъ вещь, долженствующую покоиться на носу человѣка; затасканный темный капоть, огромный ридикюль, изъ котораго торчали еще какія-то спицы, показывали, что эта особа—свой человѣкъ, и притомъ—не богатый человѣкъ; послѣднее всего яснѣе можно было замѣтить по тону Марьи Степановны. Старуху эту звали Анной Якимовной. Она была хорошаго дворянскаго происхожденія и съ молодыхъ лѣтъ вдова; имѣніе ея состояло изъ четырехъ душъ крестьянъ, составлявшихъ четырнадцатую часть наслѣдства, выдѣленного ей родственниками ея, людьми очень богатыми, которые, взойдя въ ея вдовье положеніе, щедрой рукой нарѣзали для нея и для ея крестьянъ болото, обильное дупелями и бекасами, но не совѣмъ удобное для мирныхъ занятій хлѣбопашествомъ. При всѣхъ стараніяхъ Анны Якимовны большого оброку съ такого имѣнія получить было невозможно. Наслѣдство, полученное ею отъ своего супруга, было тоже не велико: оно состояло изъ подполковничьяго чина, изъ единственнаго сына и изъ собранія рецептовъ, какъ лѣчить лошадей отъ шпата, сапа и пр.; на каждомъ рецептѣ былъ написанъ поразительный примѣръ успѣха. Сынъ былъ отправленъ лѣтъ девятнадцати въ какой-то полкъ, но воротился вскорѣ въ родительскій домъ, высланный изъ службы за пьянство и буйные поступки. Съ тѣхъ поръ онъ жилъ во флигелѣ дома Анны Якимовны, тянулъ сивуху, настоенную на лимонныхъ коркахъ, и безпрестанно дрался то съ людьми, то съ хорошими знакомыми; мать боялась его, какъ огня, прятала отъ него деньги и вещи, клялась передъ нимъ, что у нея нѣтъ ни гроша, особенно послѣ того, какъ онъ топоромъ разломалъ крышку у шкатулки ея и вынулъ оттуда семьдесятъ два рубля денегъ и кольцо съ бирюзой, которое она берегла пятьдесятъ четыре года въ знакъ памяти одного искренняго пріятеля покойника ея. Сверхъ крестьянъ и рецептовъ, у Анны Якимовны были три молодыя горничныя, одна старая и два лакея. Молодыхъ дѣвокъ она никогда не одѣвала, а, что всего замѣчательнѣе, онѣ были всегда хорошо одѣты. Анна Якимовна съ удовольствіемъ видѣла, что онѣ успѣваютъ выработывать себѣ на платье, несмотря на то, что съ утра до ночи сама занимала ихъ работой, и благоразумно молчала, замѣчая кой-какіе непорядки. Лакеи—два уродливые старика, жившіе единственно

вину, были въ половинѣ съ горничными и, сверхъ того, шили на полгорода козловые башмаки съ сильнымъ запахомъ. Разумѣется, Якимъ Осиповичъ также не упускалъ случая сводить свои счеты, пользуясь слабостями человѣческой природы.

Почтенная глава этого патріархальнаго фаланстера допивала четвертую чашку чаю у Марьи Степановны; она успѣла уже повторить въ сотый разъ, какъ за нее сватался грузинскій князь, умершій генераль-аншефомъ, какъ она въ 1809 году ѣздила въ Питеръ къ роднымъ, какъ всякій день у ея родныхъ собирался весь генералитетъ и какъ она единственно потому не осталась тамъ жить, что невская вода ей не по вкусу и не по желудку. Закончивши аристократическія воспоминанія вмѣстѣ съ четвертой чашкой чаю, она вдругъ начала, громко опрокидывая чашку (это былъ фальшивый сигналъ) и положивши на донышко крошечный кусочекъ сахару:

— Да, матушка Марья Степановна, вотъ кабы меня Господь сподобилъ увидѣть Варвару Карповну вашу пристроенною, — такъ хоть бы, какъ вы, Марья Степановна; не могу болѣе желать; сердце радуется на ваше семейство: домъ — полная чаша, уваженіе такое отовсюду. Право, хорошо бы, успокоило бы васъ!

— Что вы это опрокинули чашку?—выкушайте еще.

— Право, довольно; я обыкновенно пью три чашки, а у васъ четыре выпила; покорнѣйше благодарю: чай у васъ отмѣнный.

— Да, я ужъ всегда говорю, по моему, рубль передать на фунтъ—ничего не значить, да ужъ только, чтобъ былъ чай. Берите-ка чашку.—И Анна Якимовна принялась за пятую.

— Конечно, все въ божіей власти, Анна Якимовна, но, вѣдь, Вава очень молода, куда ей замужъ теперь; да и, признаться, какіе женихи? погубятъ дѣвку; а когда подумаю, какъ съ ней разстаться, я не переживу,—истинно не переживу.

— И, матушка, Господь съ тобой. Кто же не отдавалъ дочерей, да и товаръ это не таковъ, чтобъ на рукахъ держать: заложится, пожалуй. Нѣтъ, по моему, коли мать пресвятая Богородица благословить, такъ хорошо бы составить авантажную партію. Вотъ Софьи-то Алексѣевны сынокъ пріѣхалъ; онъ, вѣдь, намъ доводится въ дальнемъ свойствѣ; ну, да, вѣдь, нынче родныхъ-то плохо знаютъ, а ужъ особенно бѣдныхъ; а, должно быть, состоянище хорошее: тысячи двѣ душъ въ одномъ мѣстѣ, имѣніе устроенное.

— Да человѣкъ-то каковъ? Вамъ все деньги дались, а богатство больше обуза, чѣмъ счастье—заботы да хлопоты; это все издали кажется хорошо,—одна рука въ меду, другая въ патокѣ; а посмотрите—богатство только здоровью переводъ. Знаю я Софьи Але-

ксѣвны сына; тоже совался въ знакомство съ Карпомъ Кондратьевичемъ; мы разумѣтся, приняли учтиво,—чтожъ намъ его учить,—ну, а ужъ на лицѣ написано: преразвращенный! Что за манеры! Въ дворянскомъ домѣ держитъ себя точно въ рестораціи. Вы видѣли его?

— Видала издали, на улицѣ: онъ частенько ѣздитъ мимо меня и пѣшкомъ проахаживаетъ.

— Да куда же это мимо васъ онъ ходитъ?

— Не знаю, матушка; мнѣ ли въ мои лѣта и при тяжкихъ болѣзняхъ моихъ (при этомъ она глубоко вздохнула) заниматься, кто куда ходитъ,—своей кручины довольно... Предъ вами, какъ передъ Богомъ, не хочу таить: Якиша-то опять зашалилъ,—въ гробъ меня сведеть...—Тутъ она заплакала.

— Что бы вамъ посовѣтоваться съ крестовоздвиженскимъ церковнымъ старостою: удивительно лѣчить. Возьметъ простого пѣннаго, поговорить надъ нимъ, дастъ хлебнуть больному и самъ остальное выпьетъ,—больше ничего,—а тому такъ и начнутъ бѣсеныя казаться и разныя адскія навожденія,—ну, какъ рукой и сниметъ!

— Да, вѣдь, небось, дорого попроситъ; знаете наше состояніе.

— Нѣтъ, онъ лѣчилъ нашего повара,—всего дали синенькую.

— Да помочь ли?

— Помочь-то помочь; онъ, было, опять сталъ припадать, такъ Карпъ Кондратьичъ другого лѣкарства закатилъ: «ты, говорить, боярскихъ милостей не понимаешь; я пять рублей пролѣчилъ на тебя, а ты не выздоровѣлъ, мошенникъ!». Ну, и, знаете, по-русски,—съ тѣхъ поръ и не пьетъ. Я вамъ пришлю старосту. Ну, а ужъ я не вытерпѣла бы, узнала бы, куда это шляется этотъ молодчикъ.

— Да и я сама какъ-то спросила свою Василиску,—вѣдь, она такая бойкая у меня... Такъ, отъ бездѣлья, молвила, куда, молъ, ѣздитъ вотъ этотъ баринъ мимо насъ? а она на другой же день мнѣ и докладываетъ: «изволили мнѣ вчера молвить, куда бельтовскій баринъ ѣздитъ: онъ все съ дохтуромъ, съ старикомъ, къ учителю негровскому ѣздитъ.

— Съ Круповымъ къ негровскому учителю?—спросила Марья Степановна, едва скрывая пріятное волненіе, въ которомъ сама себѣ не могла дать отчета.

— Да, матушка, онъ, вѣдь, здѣсь въ этой въ гимназіи служить, этому учить...

— А, такъ вотъ куда онъ поахаживаетъ. Я съ самага начала его считала преразвращеннымъ,—и чему дивить? Учитель его съ малолѣтства постригъ въ масонскую вѣру,—ну, какому же быть

пути? Мальчишка безъ надзору жилъ во французской столицѣ, ну, ужъ по имени можете разсудить, какая моральность тамъ... Такъ это онъ за негровской-то воспитанницей ухаживаетъ,—прекрасно! Экій вѣкъ какой!

— Жаль, вчужѣ жаль, Марья Степановна, бѣднаго мужа; говорятъ, человекъ солидный. А она, ужъ такое происхожденіе! Сколькихъ я видала на своемъ вѣку,—холопская кровь скажется!

— Ну, и Семень-то Ивановичъ: роля очень хороша! прекрасно! Старый грѣшникъ, Бога бѣ побоялся; да и онъ-то масонишка такой же, однокорытнику и помогаетъ; да, вѣдь, чай, какія беретъ съ него денежки! За что? Чтобъ погубить женщину. И на что, скажите, Анна Якимовна, на что этому скареду деньги? Одинъ, какъ перстъ, ни ближнихъ, никого; нищему копѣйки не подастъ; алчность проклятая! Иуда искаріотскій! И куда? Умреть, какъ собака,—въ казну возьмутъ!

Разговоръ продолжался еще съ четверть часа въ томъ же духѣ и направленіи, послѣ чего Анна Якимовна, въ жару разговора выпившая еще три чашки чаю, стала собираться домой, сняла очки, уложила ихъ въ футляръ и послала въ переднюю спросить, пришелъ ли Максютка проводить ее, и, узнавши, что Максютка тутъ, встала. Давно Марья Степановна не принимала ее такъ ласково; она проводила ее даже до самой передней, гдѣ небритый Максютка, пресмѣшной старикъ лѣтъ шестидесяти, грязный и пропахнувшій простымъ виномъ, одѣтый въ фризovou шинель съ чернымъ воротникомъ, держалъ одной рукой заячій салопъ Анны Якимовны, а другой укладывалъ въ карманъ тавлинку. Максютка былъ очень не въ духѣ: онъ только, было, готовился запереть дамку и ужъ поставилъ грязный палецъ на шашку, чтобъ ее двинуть, какъ барыня отворила дверь. «Ворона проклятая»,—бормоталъ онъ грубо, надѣвая салопъ на сухія плечи вдовствующей Анны Якимовны.

— Вотъ у меня дурачокъ, не могу научить салопа подать,—замѣтила барыня.

— Пора насъ со двора, наберите себѣ ученыхъ,—бормоталъ Максютка.

— Вотъ, матушка, вдовье положеніе; ото всего терплю, отъ послѣдняго мальчишки. Что сдѣлаешь,—дѣло женское; если-бъ былъ покойникъ живъ, что бы я сдѣлала съ эдакимъ негодяемъ... себя бы не узналъ... Горькая участь; не суди вамъ Богъ испытать ее!

Рѣчь эта не тронула Максютку; онъ, ведя подъ руку свою барыню съ лѣстницы, успѣлъ обернуться къ провожавшимъ людямъ и подмигнуть, указывая на Анну Якимовну, что доставило истинное и продолжительное удовольствіе дворнѣ дубасовскаго предводителя.

Предоставляю читателямъ вообразить всю радость и все удовольствіе доброй Марьи Степановны, услышавшей такую новость и получившей явную возможность пустить скандальную исторію не только о Бельтовѣ, но и о Круповѣ. По дорогѣ приходилось, правда, раздавить репутацію женщины,—какъ-то жаль, но что дѣлать? Есть важные случаи, въ которыхъ личности человѣческія приносятся на жертву великимъ планамъ!

IV.

Въ то самое время, когда почтенная вдова Анна Якимовна кушала чай у не менѣе почтенной Марьи Степановны, и онъ съ нѣжнымъ вниманіемъ, свойственнымъ одному женскому сердцу, занимались Бельтовымъ, Бельтовъ, чрезвычайно грустный, сидѣлъ, съ своей стороны, въ своемъ номерѣ, тоскливо думая о чемъ-то, очень грустномъ и тяжеломъ. Будь онъ одаренъ ясновидѣніемъ, ему было бы легко утѣшиться: онъ ясно услышалъ бы, что не далѣе, какъ чрезъ большую и нечистую улицу да черезъ нечистый и маленькій переулокъ, двѣ женщины оказывали родственное участіе къ судьбамъ его, и изъ нихъ одна, конечно, безъ убійственнаго равнодушія слушала другую. Но Бельтовъ не обладалъ ясновидѣніемъ; по крайней мѣрѣ, если-бъ онъ былъ не испорченный западнымъ нововведеніемъ русскій, онъ сталъ бы икать, и икота удостовѣрила бы его, что тамъ,—тамъ, гдѣ-то... вдали, втиши его поминаютъ; но въ нашъ вѣкъ отрицанья икота потеряла свой мистическій характеръ и осталась жалкимъ гастрическимъ явленіемъ.

Хандра Бельтова, впрочемъ, не имѣла ни малѣйшей связи съ извѣстнымъ разговоромъ за шестой чашкой чаю. Онъ въ этотъ день всталъ поздно, съ тяжелой головой; съ вечера онъ долго читалъ, но читалъ невнимательно, въ полудремотѣ,—въ послѣдніе дни въ немъ болѣе и болѣе развивалось какое-то болѣзненное *не по себѣ*, не приходившее въ ясность, но располагавшее къ тяжелымъ думамъ; ему все чего-то недоставало, онъ не могъ ни на чемъ сосредоточиться. Около часу онъ докурилъ сигару, допилъ кофе, и долго думая, съ чего начать день,—съ чтенія или съ прогулки,—онъ рѣшился на послѣднее, сбросилъ туфли, но вспомнилъ, что далъ себѣ слово по утрамъ читать новѣйшія произведенія по части политической экономіи, и потому надѣлъ туфли, взялъ новую сигару и совсѣмъ расположился заняться политической экономіей, но, по несчастію, возлѣ ящика съ сигарами лежалъ Байронъ; онъ легъ на диванъ и до пяти часовъ читалъ «Донъ-Жуана». Когда онъ по-

смотрѣлъ на часы, окончивши чтеніе, онъ очень удивился, что такъ поздно, позвалъ своего камердинера, велѣлъ приготовить одѣваться, какъ можно скорѣе; впрочемъ, и удивленіе, и приказъ были больше инстинктивны, потому что онъ никуда не собирался, и ему было совершенно все равно—6 ли часовъ утра, или 12 ночи. Одѣвшись съ тою тщательностью и чистотою, къ которой мы привыкаемъ, долго живши за границей, и отъ которой скоро отвыкаемъ въ провинціи, онъ, твердый въ намѣреніи заняться политической экономіей, легъ на то же мѣсто и развернулъ какую-то англійскую брошюру объ Адамѣ Смитѣ. А камердинеръ развернулъ небольшой столъ и началъ его накрывать. Судьба улыбнулась камердинеру больше, нежели его патрону; Григорій преспокойно накрылъ столъ, поставилъ графинъ съ водою и бутылку съ лафитомъ, поставилъ на другой столъ графинчикъ съ абсентомъ и сыръ, потомъ спокойно осмотрѣлъ сдѣланное и, убѣдившись, что все поставлено на мѣстѣ, отправился за супомъ и черезъ минуту принесъ, только не супъ, а письмо.

— Откуда?—спросилъ Бельтовъ, не сводя глазъ съ брошюрки объ Адамѣ Смитѣ.

— Должно быть, изъ чужихъ краевъ: штемпель не нашъ, да еще объявленіе на посылку.

— Дай сюда,—и Бельтовъ бросилъ брошюрку.—Отъ кого-бъ это было?—думалъ онъ,—не понимаю; изъ Женева... развѣ... нѣтъ—скорѣе... нѣтъ...

Конечно, легче было бы распечатать письмо и на концѣ четвертой странички прочесть, отъ кого оно, нежели отгадывать. Безъ сомнѣнія. Отчего же всѣ дѣлаютъ подобныя гаданія надъ письмомъ? Это—тайна сердца человѣческаго, основанная, впрочемъ, на томъ, что лестно человѣку признать себя догадливымъ и проицательнымъ.

Наконецъ, Бельтовъ снялъ пакетъ и сталъ читать письмо; съ каждой строчкой его лицо дѣлалось блѣднѣе, и слезы навернулись на глазахъ его.

Письмо это было отъ племянника m-г Жозефъ; онъ извѣщалъ Бельтова о смерти старика. Жизнь этого простого, благороднаго существа такъ, какъ текла тихо и ясно, такъ и потухла. Онъ былъ много лѣтъ главнымъ учителемъ въ сельской школѣ, не далеко отъ Женева. Дня два ему нездоровилось, на третій казалось лучше; едва переставляя ноги, онъ отправился въ учебную залу; тамъ онъ упалъ въ обморокъ, его перенесли домой, пустили ему кровь; онъ пришелъ въ себя, былъ въ полной памяти, простился съ дѣтьми, которыя молча стояли, испуганныя и растеряныя, около его кро-

вати, звалъ ихъ гулять и прыгать на его могилу, потомъ спросилъ портретъ Вольдемара, долго съ любовью смотрѣлъ на него и сказалъ племяннику: «Какой бы человѣкъ могъ изъ него выйти... да, видно, старикъ-дядя лучше зналъ... отошли этотъ портретъ къ Вольдемару послѣ... адресъ у меня въ портфельчикѣ, въ старомъ, на которомъ портретъ Вашингтона... Жаль Вольдемара... очень жаль...»

«Тутъ,—писалъ племянникъ,—больной началъ бредить, лицо его приняло задумчивое выраженіе послѣднихъ минутъ жизни; онъ велѣлъ себя приподнять и, открывши свѣтлые глаза, хотѣлъ что-то сказать дѣтямъ, но языкъ не повиновался. Онъ улыбнулся имъ, и сѣдая голова его упала на грудь. Мы схоронили его на нашемъ сельскомъ кладбищѣ между органистомъ и кистеромъ».

Бельтовъ прочиталъ письмо, положилъ его на столъ, отеръ слезу, прошелся по комнатѣ, постоялъ у окна, снова взялъ письмо, прочелъ его отъ доски до доски. «Удивительный человѣкъ! Удивительный человѣкъ!»—бормоталъ онъ сквозь зубы,—«пресчастливый человѣкъ, умѣлъ довольствоваться, умѣлъ трудиться, быть полезнымъ на всякомъ мѣстѣ, куда судьба его ни бросала... Теперь на всемъ земномъ шарѣ у меня мать и болѣе никого... никого... Хоть изрѣдка дойдетъ, бывало, вѣсть о старикѣ, и хорошо,—ну, просто, я бывалъ доволенъ сознаніемъ, что онъ существуетъ. И его нѣтъ! Фу, какъ тяжело все это. Право, если-бъ впередъ говорили условія, мало нашлось бы дураковъ, которые рѣшились бы жить».

— Супъ простынетъ, Владиміръ Петровичъ,—доложилъ камердинеръ, съ участіемъ видѣвшій, что содержаніе письма было не изъ пріятныхъ.

— Григорій,—спросилъ Бельтовъ,—помнишь учителя, который жилъ у насъ?

— Какъ не помнить-съ швейцарца то-съ.

— Онъ скончался,—сказалъ Бельтовъ и отвернулся отъ Григорія, чтобъ скрыть волненіе.

— Царство ему небесное!—прибавилъ Григорій,—добрый былъ человѣкъ и съ нашимъ братомъ простъ; мы вотъ недавно говорили съ Максимомъ Ѳедоровымъ, что у маеньки служитъ въ буфетчикахъ, т. е. о васъ. Признаться доложить, Максимъ Ѳедоровичъ не надивится на васъ; я, по вашей милости, насмотрѣлся на разныя націи и на тамошніе порядки, ну, а онъ больше все въ губерніи проживалъ, ему и удивительно. «Конечно, говорить, добрая душа у нихъ, врожденная, барынина. Ну и, т. е. и отъ учителя, было чему заняться; бывало, я помню, передъ деревенскимъ мальчишкой, который поклонится, приказываетъ Владиміру Петровичу картузикъ снять: такой же, де, образъ и подобіе божіе есть».

Бельтовъ промолчалъ и грустно принялся за супъ.

Вѣсть о смерти Жозефа естественнымъ образомъ вызвала въ памяти Бельтова всю его юность, а за нею—и всю жизнь. Онъ вспомнилъ поученія Жозефа,—какъ жадно внималъ онъ имъ, какъ вѣрилъ и какъ все оказалось въ жизни совсѣмъ не такъ, какъ въ словахъ Жозефа,—и... Странное дѣло! все говоренное имъ было прекрасно; истинно, истинно направо и налево и совершенно ложно для него, Бельтова. Онъ сравнивалъ себя тогдашняго и себя настоящаго: ничего не было общаго, кромѣ нити воспоминаній, связывавшихъ эти два разные лица. Тотъ — полный упованій, съ религіей самоотверженія, съ готовностью на тяжкіе подвиги, на безвозмездные труды, и *тотъ*, уступившій внѣшнимъ обстоятельствамъ, безъ надеждъ, ищущій чего-нибудь для развлеченія. Когда Григорій принесъ портретъ съ почты, Бельтовъ разрѣзалъ поскорѣе клеенку и съ большимъ нетерпѣніемъ вынулъ его... Онъ перемѣнился въ лицѣ, взглянувъ на черты, бывшія нѣкогда его чертами,—онъ чуть не отвернулся отъ нихъ. Тутъ было представлено все, что бродило у него въ головѣ. Какъ свѣжо, свѣтло было отроческое лицо это: шея раскрыта, воротникъ отъ рубашки лежалъ на плечахъ, и какая-то невыразимая черта задумчивости пробѣгала по устамъ и взору, той неопредѣленной задумчивости, которая предупреждаетъ будущую мощную мысль; «какъ много выйдетъ изъ этого юноши»—сказалъ бы каждый теоретикъ,—такъ говорилъ мсье Жозефъ,—а изъ него вышелъ праздный туристъ, который, какъ за послѣдній якорь, схватился за мѣсто по дворянскимъ выборамъ въ NN. «Тогда,—думалъ Бельтовъ, глядя съ упрекомъ на портретъ,—тогда мнѣ было 14 лѣтъ, теперь мнѣ за тридцать—и что впереди? Одна сѣрая мгла, скучное, однообразное продолженіе впредь; начать новую жизнь поздно, продолжать старую невозможно. Сколько начинаній, сколько встрѣчъ... и все окончилось праздностью и одиночествомъ...

Нить горькихъ мыслей прервалъ Семень Ивановичъ; онѣ продолжались въ формѣ разговора.

— Что состояніе здоровья, Владиміръ Петровичъ?

— А! здравствуйте, Семень Ивановичъ; очень радъ васъ видѣть; такая тоска, такая скука, что мочи нѣтъ. Я, право, нездоровъ; во мнѣ что-то въ родѣ лихорадки, очень небольшой, но безпрерывно поддерживающей меня въ какомъ-то напряженномъ состояніи.

— Вы ведете неправильный образъ жизни, — возразилъ Круповъ, заворачивая длинный рукавъ на сюртукѣ, чтобъ основательно пощупать пульсъ. — Пульсъ не хорошъ. Вы живете вдвое скорѣе,

чѣмъ надобно, не жалѣете ни колесъ, ни смазки,—долго такъ ѣхать нельзя.

— Я самъ чувствую, что морально и физически разрушаюсь.

— Раненько. Нынѣшнее поколѣніе быстро живетъ; надобно бы вамъ, впрочемъ, серьезно позаняться здоровьемъ, взять свои мѣры.

— Какія тутъ мѣры?

— Очень много. Ложитесь во-время спать, вставайте раньше, меньше чтенія, меньше думать, больше гулять, разгоняйте печальныя мысли, вина пить не много, крѣпкій кофе совсѣмъ бросить.

— Вамъ кажется все это легко,—особенно разгонять мысли... И на долго ли вы меня обрекаете такой діэтѣ?

— На всю жизнь.

— Покорнѣшій слуга!—это и скучно, и противно да и хлопотать не изъ чего.

— Какъ не изъ чего? мнѣ кажется, что стоитъ принести кой-какую жертву для того, чтобъ достигнуть глубокой старости, для того, чтобъ долѣе прожить.

— Ну, а для чего же долго жить?

— Станный вопросъ! Ну, да какъ для чего? я не знаю, для чего; ну, жить,—все же лучше жить, нежели умереть; всякое животное имѣетъ любовь къ жизни.

— Если жъ найдется такое, которое не имѣетъ?—замѣтилъ, горько улыбаясь, Бельтовъ,—Байронъ очень справедливо сказалъ, что порядочному человѣку нельзя жить больше тридцати пяти лѣтъ. Да и зачѣмъ долгая жизнь? Это должно быть очень скучно.

— Вы все изъ проклятыхъ нѣмецкихъ философовъ начитались такихъ софизмовъ.

— Въ этомъ случаѣ позвольте мнѣ защитить нѣмцевъ; я человекъ русскій и жизнью обучился думать, а не думаю жить. Благо мы дошли съ вами до этого вопроса; скажите добросовѣстно, подумавши, что будетъ пользы, если я проживу не десять, а пятьдесятъ лѣтъ? кому нужна моя жизнь, кромѣ моей матери, которая сама очень ненадежна? По слабости ли силъ, по недостатку ли характера, но дѣло въ томъ, что я—безполезный человекъ, и, убѣдившись въ этомъ, я полагаю, что я одинъ хозяинъ надъ моею жизнью; я еще не настолько разлюбилъ жизнь, чтобъ застрѣлиться, и ужъ не люблю ее настолько, чтобъ жить на діэтѣ, водить себя на помочахъ, устранять сильныя ощущенія и вкусныя блюда для того, чтобъ продлить на долгое время эту жизнь больничнаго паціента.

— Вы предпочитаете хроническое самоубійство, — возразилъ Круповъ, начинавшій уже сердиться.—Понимаю, вамъ жизнь на-

дошла отъ праздности,—ничего не дѣлать должно быть очень скучно; вы, какъ всѣ богатые люди, не привыкли къ труду. Дай вамъ судьба опредѣленное занятіе да отними она у васъ Бѣлое-Поле, вы бы стали работать,—положимъ, для себя, изъ хлѣба,—а польза-то вышла бы для другихъ; такъ-то все на свѣтѣ и дѣлается.

— Помилуйте, Семень Ивановичъ, неужели вы думаете, что кромѣ голода, нѣтъ довольно сильнаго побужденія на трудъ? Да просто желаніе обнаружиться, высказаться заставить трудиться. Я изъ одного хлѣба, напротивъ, не сталъ бы работать: работать цѣлую жизнь, чтобъ не умереть съ голоду, и не умирать съ голоду, чтобъ работать,—умное и полезное препровожденіе времени.

— Что же вы, съ вашей сытостью и желаніемъ высказаться, много надѣлали? — спросилъ совсѣмъ уже разсерженный старикъ.

— Тутъ-то и запятая. Ужъ, конечно, я не по охотѣ избралъ жизнь праздную и утомительную для меня. Ученымъ спеціалистомъ я не родился, такъ, какъ не родился музыкантомъ; а остальные дороги, кажется, для меня не родились...

— То есть вы себя этимъ утѣшаете; земля вамъ коротка, мало мѣста; воли-то твердой нѣтъ, настойчивости нѣтъ, gutta cavat ¹⁾...

— Lapidem ²⁾,—окончилъ Бельтовъ.—Вы человѣкъ положительный, а туда же толкуете о волѣ.

— Красно-то вы говорите, красно,—замѣтилъ Круповъ,—а все мнѣ сдается, что хорошій работникъ безъ работы не останется.

— Да что же вы думаете, эти лионскіе работники, которые умираютъ голодной смертью съ готовностью трудиться, за недостаткомъ работы, не умѣютъ ничего дѣлать или изъ ума шутятъ? Охъ, Семень Ивановичъ! не торопитесь осуждать и не торопитесь прописывать душевное спокойствіе и конскій щавель: первое невозможно, а второе не можетъ помочь. Мало болѣзней хуже сознанія бесполезныхъ силъ. Какая тутъ діета! Вспомните Наполеоновъ отвѣтъ доктору Антоммарки ³⁾. «Это не ракъ, взошедшій внутрь, а Ватерлоо, взошедшее внутрь». У cadaго есть свое Waterloo rentré! Пойдемте-ка, Семень Ивановичъ, къ Круциферскимъ; у нихъ я раза два вылѣчивался отъ хандры: подобныя средства помогаютъ лучше всѣхъ декоктовъ.

— Вотъ и жди отъ васъ спасибо да признанія! А кто вамъ прописалъ ихъ домъ?

¹⁾ Капля точить.

²⁾ Камень.

³⁾ Франческо, врачъ Наполеона I.

— Виновать, виновать, забылъ! О, вы величайшій изъ сыновъ Гиппократъ, Семень Ивановичъ! — отвѣчалъ Бельтовъ, накладывая сигары и добродушно улыбаясь доктору.

Да что же, наконецъ,—спросимъ мы вмѣстѣ съ Марьей Степановной,—что влекло Бельтова въ скромный домъ учителя? Нашелъ ли онъ друга въ немъ, человѣка симпатичнаго, или, въ самомъ дѣлѣ, не влюбленъ ли онъ въ его жену? Ему самому отвѣчать на эти вопросы, при всемъ желаніи сказать истину, было бы очень трудно. Его многое сблизило съ этимъ домомъ. Выборы кончились съ своими обѣдами и балами. Бельтова, какъ разумѣется, ни во что не избрали, и онъ оставался въ NN только для окончанія какаго-то процесса въ гражданской палатѣ. Предоставляемъ вамъ оцѣнить всю величину скуки для этого человѣка въ NN, если-бъ онъ не былъ знакомъ съ Круциферскими. Тихая, безмятежная жизнь Круциферскихъ представляла нѣчто новое и привлекательное для Бельтова; онъ провелъ всю жизнь въ общихъ вопросахъ, въ наукѣ и теоріи, въ чужихъ городахъ, гдѣ такъ трудно сблизаться съ домашнею жизнью, и въ Петербургѣ, гдѣ ея немного. Онъ домашнее довольство считалъ вымысломъ или достояніемъ людей пошлыхъ и мелкихъ. Круциферскіе не были таковы. Характеръ Круциферскаго опредѣлить трудно: натура нѣжная и любящая до высшей степени, натура женская и поддающаяся, онъ имѣлъ столько простосердечія и столько чистоты, что его нельзя было не полюбить, хотя чистота его и сбивалась на неопытность, на невѣдѣніе ребенка. Трудно было бы сыскать человѣка, болѣе не знающаго практическую жизнь; онъ все, что зналъ, зналъ изъ книги, и оттого зналъ невѣрно, романтически, риторически; онъ свято вѣрилъ въ дѣйствительность міра, воспѣтаго Жуковскимъ, и въ идеалы, витающіе надъ землею. Изъ затворничества студентской жизни, въ продолженіе которой онъ выходилъ въ міръ страстей и столкновеній только въ райкѣ московскаго театра, онъ вышелъ въ жизнь тихо, въ сѣренькій осенній день; его встрѣтила жизнь подавляющей нуждой; все казалось ему непріязненнымъ, чуждымъ, и молодой кандидатъ пріучался болѣе и болѣе находить всю отраду и все успокоеніе въ мірѣ мечтаній, въ который онъ убѣгалъ отъ людей и отъ обстоятельствъ. Та же внѣшняя нужда загнала его въ домъ Негрова; эта встрѣча съ дѣйствительностью еще болѣе сосредоточила его. Кроткій отъ природы, онъ и не думалъ вступить въ борьбу съ дѣйствительностью,—онъ отступалъ отъ ея напора, онъ просилъ только оставить его въ покоѣ; но явилась любовь такъ, какъ она является въ этихъ организаціяхъ: не бѣшено, не безумно, но навѣки вѣковъ, но съ такимъ отданіемъ себя, что ужъ въ груди не остается ничего не от-

даннаго. Нервная раздражительность поддерживала его непрерывно въ какомъ-то восторженно-меланхолическомъ состояніи; онъ всегда готовъ былъ плакать, грустить; онъ любилъ въ тихіе вечера долго-долго смотрѣть на небо и, кто знаетъ, какія видѣнія чудились ему въ этой тишинѣ; онъ часто жалъ руку своей женѣ и смотрѣлъ на нее съ невыразимымъ восторгомъ; но къ этому восторгу примѣшивалась такая глубокая грусть, что Любовь Александровна сама не могла удержаться отъ слезъ. Во всѣхъ его дѣйствіяхъ была та же кротость, что и на лицѣ, то же спокойствіе, та же искренность и та же робкая задумчивость. Нужно ли говорить, какъ такой чловѣкъ долженъ былъ любить свою жену? Любовь его росла непрерывно, тѣмъ болѣе, что ничто не развлекало его; онъ не могъ двухъ часовъ провести, не выдавши темно-голубыхъ глазъ своей жены, онъ трепеталъ, когда она выходила со двора и не возвращалась въ назначенный часъ; словомъ, ясно было видно, что всѣ корни его бытія были въ ней. Къ этому много способствовалъ міръ, въ который онъ попалъ.

Учителя NN гимназіи были, какъ это бывало въ старину въ нашихъ школахъ, люди большею частью облѣнившіеся, огрубѣвшіе въ провинціальной жизни, отданные тяжелымъ матеріальнымъ привычкамъ и усыпившіе всякое желаніе знать что-нибудь. Не думаемъ, чтобъ Круциферскій имѣлъ призваніе вести далѣе науку, отдаться ея вопросамъ вполне и сдѣлать изъ нихъ свои жизненные вопросы, но онъ имъ сочувствовалъ, ему было многое доступно... кромѣ средствъ. Самому выписывать книги нечего было и думать,—гимназія пріобрѣтала, но не такія, которыя могли бы поддержать интересъ въ молодомъ ученомъ. Провинціальная жизнь вообще гибельна для тѣхъ, которые хотятъ сохранить не одно недвижимое имѣніе, и для тѣхъ, которые не хотятъ дѣлать неудободвижимымъ свое тѣло; при совершенномъ отсутствіи всякаго теоретическаго интереса, кто не заснетъ, если не сладкимъ, то долгимъ сномъ въ этой обители душевной дремоты?.. Человѣку необходимы внѣшнія раздраженія; ему нужна газета, которая бы всякій день приводила его въ соприкосновеніе со всѣмъ міромъ; ему нуженъ журналъ, который бы передавалъ каждое движеніе современной мысли; ему нужна бесѣда, нуженъ театръ; разумѣется, отъ всего этого можно отвыкнуть: покажется, будто все это и не нужно, потомъ сдѣлается въ самомъ дѣлѣ совершенно не нужно, т. е. въ то время, какъ самъ этотъ чловѣкъ уже сдѣлался совершенно не нуженъ. Круциферскій далеко не принадлежалъ къ тѣмъ сильнымъ и настойчивымъ людямъ, которые создаютъ около себя то, чего нѣтъ; отсутствіе всякаго чловѣческаго интереса около него дѣйствовало на него

болѣе отрицательно, нежели положительно, между прочимъ потому, что это было въ лучшую эпоху его жизни, т. е. тотчасъ послѣ брака. А потомъ онъ привыкъ, остался при своихъ мечтахъ, при нѣсколькихъ широкихъ мысляхъ, которымъ ужъ прошло нѣскольколѣтъ, при общей любви къ наукѣ, при вопросахъ, давно рѣшенныхъ. Удовлетворенія болѣе дѣйствительнымъ потребностямъ души онъ искалъ въ любви, и въ сильной натурѣ своей жены онъ находилъ все. Споры съ Круповымъ, продолжавшіеся года четыре, получили тотъ же характеръ провинціальной стоячести: они въ эти годы переговаривали ежедневно одно и то же. Круциферскій являлся на защиту спиритуализма, и старикъ Круповъ грубо и съ негодованіемъ билъ его своимъ медицинскимъ матеріализмомъ. Этимъ-то тихимъ русломъ журчала жизнь нашихъ пріятелей, когда вдругъ возшло въ нее лицо совѣмъ новаго закала, лицо чрезвычайно дѣятельное внутри, раскрытое всѣмъ современнымъ вопросамъ, энциклопедическое, одаренное смѣлымъ и рѣзкимъ мышленіемъ. Круциферскій невольно покорился энергической сущности новаго пріятеля; зато Бельтовъ, съ своей стороны, далеко не остался изъять отъ вліянія жены Круциферскаго. Сильной натурѣ, не занятой ничѣмъ особенно, почти невозможно оборониться отъ вліянія энергической женщины; надобно быть или очень ограниченнымъ, или очень ячнымъ, или совершенно безхарактернымъ, чтобъ тупо отстоять свою независимость передъ нравственной властью, являющейся въ прекрасномъ образѣ юной женщины,—правда, что пылкій отъ природы, увлекающійся отъ непривычки къ самообузданію, Бельтовъ давалъ легкій призъ надъ собою всякой кокеткѣ, всякому хорошенькому лицу. Онъ много разъ былъ до безумія влюбленъ то въ какую-нибудь примадонну, то въ танцовщицу, то въ двусмысленную красавицу, уединившуюся у минеральныхъ водъ, то въ какую-нибудь краснощекую и бѣлокурую нѣмку съ притязаніемъ на мечтательность, готовую всегда любить по Шиллеру и поклясться при пѣніи соловья въ вѣчной любви здѣсь и *тамъ*, то въ огненную французенку, вѣрную наслажденію и разгулу безъ лицепріятія... Но такого вліянія Бельтовъ не испыталъ.

Съ начала знакомства Бельтовъ вздумалъ пококетничать съ Круциферской; онъ пріобрѣлъ на это богатые средства,—его трудно было залугать аристократической обстановкой или ложной строгостью; увѣренный въ себѣ, потому что имѣлъ дѣло съ очень нетрудными красотою; ловкій и опасно дерзкій на языкъ, онъ имѣлъ все, чтобъ оглушить совѣсть провинціалки, но догадливый Бельтовъ тотчасъ оставилъ пошлое ухаживаніе, понявъ, что на такого звѣря тенета слишкомъ слабы. Женщина, явившаяся передъ нимъ въ этой

глуши, была такъ проста, такъ наивно естественна и такъ полна силы и ума, что у Бельтова прошла очень скоро охота интриговать ее. Трудно было на нее сдѣлать нападеніе, потому что она вовсе не оборонялась, не становилась en garde ¹⁾; другое отношеніе, болѣе человѣчественное, быстро сблизило Круциферскую съ Бельтовымъ. Круциферская поняла его грусть, поняла ту острую закваску, которая бродила въ немъ и мучила его; она поняла и шире и лучше въ тысячу разъ, нежели Круповъ, напримѣръ; понявши, она не могла болѣе смотрѣть на него безъ участія, безъ симпатіи, а глядя на него такъ, она его болѣе и болѣе узнавала; съ каждымъ днемъ раскрывались для нея новыя и новыя стороны этого человѣка, обреченнаго уморить въ себѣ страшное богатство силъ и страшную ширь пониманія. Бельтовъ тотчасъ оцѣнилъ разницу добросовѣстно-нравоучительнаго участія Крупова, романтическаго сочувствія, готоваго раздѣлить слезу Дмитрія Яковлевича, съ тѣмъ вѣрнымъ тактомъ, который онъ видѣлъ въ Круциферской. Много разъ, когда они четверо сидѣли въ комнатѣ, Бельтову случалось говорить внутреннѣйшія убѣжденія свои; онъ ихъ,—по привычкѣ утаивать, по склонности,—почти всегда приправлялъ ироніей или бросалъ ихъ вскользь; его слушатели по большей части не отзывались, но когда онъ бросалъ тоскливый взглядъ на Круциферскую, легкая улыбка пробѣгала у него по лицу,—онъ видѣлъ, что понять; они незамѣтно становились,—досадно сравнить, а нечего дѣлать,—въ то положеніе, въ которомъ находились нѣкогда Любонька и Дмитрій Яковлевичъ въ семьѣ Негрова, гдѣ прежде, нежели они другъ другу успѣли сказать два слова, понимали, что понимаютъ другъ друга. Этого рода симпатій нечего ни развивать, ни подавлять; онѣ просто выражаютъ фактъ братственнаго развитія въ двухъ лицахъ, гдѣ бы и какъ бы ни встрѣтились эти лица; если они узнаютъ другъ друга, если они поймутъ родство свое, то каждый жертвуетъ, если обстоятельства потребуютъ, всѣми низшими степенями родства въ пользу высшаго.

— Отгадайте, кто это?—сказалъ Бельтовъ, подавая портретъ свой Любви Александровнѣ.

— Да это вы!—почти вскрикнула Любовь Александровна и вся вспыхнула въ лицѣ: — ваши глаза, вашъ лобъ... Какъ вы были хороши юношей! Какое беззаботное и смѣлое лицо...

— Много надобно хитрости, чтобъ рѣшиться самому для сличенія принести женщинѣ свой портретъ, дѣланный болѣе, нежели за пятнадцать лѣтъ, но мнѣ смертельно хотѣлось его показать вамъ, чтобъ вы сами увидѣли:

1) Насторожѣ.

«Таковъ ли былъ я, расцвѣтая?»

Я, право, удивляюсь, какъ вы узнали: ни одной черты не осталось.

— Узнать можно,—отвѣчала Круциферская, не сводя глазъ съ портрета.—Какъ это вы его давно не принесли!

— Я сегодня только получилъ его; мой добрый Жозефъ умеръ съ мѣсяцъ тому назадъ; его племянникъ прислалъ мнѣ этотъ портретъ съ письмомъ.

— Ахъ, бѣдный Жозефъ! Я считаю его въ числѣ близкихъ знакомыхъ, по вашимъ рассказамъ.

— Старикъ умеръ среди кроткихъ занятій своихъ, и вы, которые не знали его въ глаза, и толпа дѣтей, которыхъ онъ училъ, и я съ матерью помянемъ его съ любовью и горестью. Смерть его многимъ будетъ тяжелый ударъ. Въ этомъ отношеніи я счастливѣе его: умри я, послѣ кончины моей матери, и я увѣренъ, что никому не доставлю горькой минуты, потому что до меня нѣтъ никому дѣла.

Говоря это очень искренно, Бельтовъ немного и пококетничалъ: ему хотѣлось вызвать Любовь Александровну на какой-нибудь теплый отвѣтъ.

— Вы этого не думаете сами,—отвѣчала Круциферская, пристально взглянувъ на Бельтова; онъ опустилъ глаза.

— Ну, вотъ ужъ послѣ смерти мнѣ совершенно все равно, кто будетъ плакать и кто хохотать,—замѣтилъ Круповъ.

— Я съ вами не согласенъ,—присовокупилъ Круциферскій:—я очень понимаю весь ужасъ смерти, когда не только у постели, но и въ цѣломъ свѣтѣ нѣтъ любящаго человѣка, и чужая рука холодно бросить горсть земли и спокойно положить лопатку, чтобъ взять шляпу и итти домой. Любонька, когда я умру, приходи почаще ко мнѣ на могилу, мнѣ будетъ легко...

— Да, очень легко, это правда, — съ досадой ввернулъ Круповъ,—такъ что и на химическихъ вѣсахъ не свѣшаешь...

— И будто у васъ нѣтъ другихъ друзей, кромѣ Жозефа?—спросила Круциферская.—Можетъ ли это быть?

— Было множество самыхъ пламенныхъ, самыхъ преданныхъ, мало ли что было! У меня лицо было вотъ какое, а теперь совсѣмъ другое. Да, впрочемъ, друзей не нужно: дружба—милая, юношеская болѣзнь; бѣда тому, кто не умѣетъ самъ себѣ довлѣть.

— Однакоже, Жозефъ, сколько я знаю, остался до конца жизни близокъ съ вами.

— Потому что мы жили далеко другъ отъ друга; мы съ нимъ

были дружны, потому что разъ видѣлись въ пятнадцать лѣтъ. И при этомъ мелькнувшемъ свиданіи я заслонилъ воспоминаніями замѣченную мною разность нашу.

— Такъ вы видѣли его послѣ того, какъ онъ отправился въ Швецію?

— Одинъ разъ.

— Гдѣ?

— Въ мѣстахъ, гдѣ онъ кончилъ жизнь.

— И давно?

— Съ годъ тому назадъ.

— Вотъ, вмѣсто вашихъ мрачныхъ словъ, лучше расскажите намъ ваше свиданіе съ старикомъ.

— Съ большимъ удовольствіемъ; мнѣ хочется имъ заниматься, мнѣ весело говорить объ немъ. Дѣло было вотъ какъ. Въ началѣ прошлаго года я пріѣхалъ изъ южной Франціи въ Женеву. Зачѣмъ? Трудно объяснить. Мнѣ не хотѣлось ѣхать въ Парижъ, потому что я тамъ ничего не успѣвалъ дѣлать и потому что я тамъ постоянно страдалъ завистью: всѣ кругомъ заняты, хлопочутъ изъ дѣла, изъ вздора, а я читаю въ кофейныхъ газеты и хожу благосклоннымъ, но постороннимъ зрителемъ. Въ Женевѣ я прежде не былъ; городъ тихій, въ сторонѣ, а потому я и избралъ ее зимней квартирой; я собирався тамъ заняться политической экономіей и на досугъ обдумать, что дѣлать на будущее лѣто и куда ѣхать. Само собой разумѣется, что на другой или на третій день я уже справлялся у лонлакеевъ, у банкировъ, вездѣ, не знаетъ ли, не слышалъ ли кто о г. Жозефѣ. Никто не имѣлъ о немъ понятія; одинъ старикъ-чашовщикъ говорилъ, что онъ точно зналъ Жозефа, который учился съ нимъ вмѣстѣ и ушелъ въ Петербургъ, но что послѣ этого онъ не видалъ его.

Раздосадованный, я бросилъ мои поиски; занятія не клеились; дѣло было ранней весною, погода стояла ясная и прохладная; скитальческая жизнь моя оставила во мнѣ страсть къ бродяжничеству: я рѣшился сдѣлать нѣсколько маленькихъ путешествій пѣшкомъ по окрестностямъ Женевы. Дорога имѣетъ на меня страшное вліяніе: я оживаю на дорогѣ, особенно пѣшкомъ или верхомъ. Экипажъ стучитъ, развлекаетъ, присутствіе возчика разрушаетъ одиночество; но одинъ, верхомъ или съ палкой въ рукѣ, идешь, идешь; дорога ниткой вьется передъ глазами, куда-то пропадая, и никого вокругъ, кромѣ деревьевъ да ручья, да птицы, которая спорхнетъ и пересядетъ... Удивительно хорошо! Иду я разъ такимъ образомъ въ нѣсколькихъ миляхъ отъ Женевы; долго шелъ я одинъ... вдругъ съ боковой дороги вышли на большую человѣкъ двадцать крестьянъ;

у нихъ былъ чрезвычайно жаркій разговоръ, съ сильной мимикой; они такъ близко шли отъ меня и такъ мало обращали вниманія на посторонняго, что я могъ очень хорошо слышать ихъ разговоръ: дѣло шло о какихъ-то кантональных выборахъ; крестьяне раздѣлялись на двѣ партіи,—завтра надобно было подать окончательные голоса; видно было, что вопросъ, ихъ занимавшій, поглощалъ ихъ совершенно: они махали руками, бросали вверхъ шапки. Я сѣлъ подъ дерево, ватага избирателей прошла, и долго еще доносились до меня отрывки демагогическихъ рѣчей и консерваторскихъ возраженій. Меня всегда терзаетъ зависть, когда я вижу людей, занятыхъ чѣмъ-нибудь, имѣющихъ дѣло, которое ихъ поглощаетъ... А потому я уже былъ совершенно не въ духѣ, когда появился на дорогѣ новый товарищъ, стройный юноша въ толстой блузѣ, въ сѣрой шляпѣ съ огромными полями, съ котомкой за плечами и съ трубкой въ зубахъ; онъ сѣлъ подъ тѣнь того же дерева; садясь, онъ дотронулся до края шляпы; когда я ему откланялся, онъ снялъ свою шляпу совсѣмъ и сталъ обтирать потъ съ лица и съ прекрасныхъ каштановыхъ волосъ. Я улынулся, понявъ осторожность моего сосѣда: онъ потому не снялъ прежде шляпы, чтобъ я не подумалъ, что это для меня. Посидѣвши, молодой человекъ обратился ко мнѣ и спросилъ:

— Куда идетъ ваша дорога?

— Мнѣ труднѣе отвѣчать вамъ, нежели вы думаете; я просто иду, куда глаза глядятъ.

— Вы, вѣрно, иностранецъ?

— Я русскій.

— У! изъ какой дали... чай, у васъ теперь страшные морозы?..

Извѣстное дѣло, что ни одинъ иностранецъ не можетъ говорить о Россіи, не упомянувъ о морозѣ и о скорой почтовой ѣздѣ, несмотря на то, что пора было убѣдиться, что ни особенно страшныхъ морозовъ нѣтъ, ни сказочной ѣзды.

— Да, теперь въ Петербургѣ зима.

— А какъ вамъ нравится нашъ климатъ?—спросилъ швейцарецъ съ гордостью.

— Хорошъ,—отвѣчалъ я.—Вы здѣшній уроженецъ?

— Да, я родился недалеко отсюда и иду теперь изъ Женевы на выборы въ нашемъ мѣстечкѣ; я еще не имѣю права подать голосъ въ собраніи, но зато у меня остается другой голосъ, который не пойдетъ въ счетъ, но который, можетъ быть, найдетъ слушателей. Если вамъ все равно, пойдѣте со мной; домъ моей матери къ вашимъ услугамъ,—съ сыромъ и виномъ; а завтра посмотрите, какъ наша сторона одержитъ верхъ надъ стариками.

«Ого, да это радикалы!»—подумалъ я, снова окинувъ глазами моего сосѣда.

— Пойдемте къ вамъ,—сказалъ я ему, подавая руку, — мнѣ все равно.

— Вамъ, чай, любопытно посмотрѣть на выборы: вѣдь, у васъ дома выборовъ нѣтъ?

— Кто это вамъ сказалъ?—отвѣчалъ я.—У васъ въ школѣ, вѣрно, былъ прескверный учитель географіи; очень много, напротивъ: и дворянскіе, и купеческіе, и мѣщанскіе, и сельскіе, даже въ помѣщичьихъ деревняхъ начальникъ называется выборнымъ.

Юноша покраснѣлъ,

— Я учился географіи давно,—сказалъ онъ,—и не очень долго. А учитель нашъ, несмотря на все уваженіе, которое имѣю къ вамъ, отличнѣйшій человѣкъ; онъ самъ былъ въ Россіи, и, если хотите, я познакомлю васъ съ нимъ; онъ такой философъ,—могъ бы быть Богъ знаетъ чѣмъ и не хочетъ, а хочетъ быть нашимъ учителемъ.

— Очень благодаренъ,—отвѣчалъ я, не имѣя ни малѣйшаго желанія увидѣться съ какимъ-нибудь полевымъ педантомъ.

— А онъ точно былъ въ вашей сторонѣ.

— Гдѣ же?

— Въ Петербургѣ и въ Москвѣ.

— А какъ его фамилія?

— Мы его зовемъ père Joseph!

— Père Joseph!—повторилъ я, не вѣря ушамъ своимъ.

— Ну да, что-жъ тутъ удивительнаго?—возразилъ мой товарищъ.

Довольно сказать: послѣ двухъ-трехъ вопросовъ я совершенно убѣдился, что père Joseph—именно мой Жозефъ. Мы удвоили шаги. Молодой человѣкъ не могъ довольно нарадоваться, что доставилъ мнѣ такое неожиданное удовольствіе, и еще болѣе тому, что онъ доставитъ его и Жозефу, котораго любилъ и уважалъ безмѣрно. Я разспрашивалъ его объ образѣ жизни старика и изъ всѣхъ подробностей увидѣлъ, что онъ остался тотъ же простой, благородный, восторженный, юный; я понялъ изъ разсказа, что я обогналъ Жозефа въ совершеннѣйшій, что я старѣе его. Прошло пять лѣтъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ принялъ на себя должность старшаго учителя и завѣдывателя школы; онъ дѣлалъ втрое больше, нежели требовали его обязанности, имѣлъ небольшую библіотеку, открытую для всего селенія, имѣлъ садъ, въ которомъ копался въ свободное время съ дѣтьми. Когда мы остановились передъ чистенькимъ домикомъ школьнаго учителя, ярко освѣщеннымъ заходящими лучами солнца и удвоеннымъ отраженіемъ высокой горы, къ которой до-

микъ прислонялся,—я послалъ впередъ моего товарища, чтобъ не слишкомъ взволновать старика нечаянностью, и велѣлъ сказать, что одинъ русскій желаетъ его видѣть. Père Joseph былъ въ саду и отдыхалъ на скамеечкѣ, опираясь на заступъ. Онъ встрепенулся при словѣ Россія и поспѣшными шагами шелъ мнѣ на встрѣчу; я бросился въ его объятія. Первое, что поразило меня, это—оскорбительная сила разрушенія, лежащая во времени: десяти лѣтъ не прошло съ тѣхъ поръ, какъ я его не видалъ,—и какая перемѣна! Онъ потерялъ почти всѣ волосы, лицо его осунулось, походка не была такъ тверда, и онъ уже ходилъ сгорбившись,—одни глаза были такъ же юны, какъ и въ прежнее время. Не могу вамъ выразить радости, съ которой онъ встрѣтилъ меня: старикъ плакалъ, смѣялся, дѣлалъ наскоро бездну вопросовъ, спрашивалъ, жива ли у меня ньюфаундлендская собака, вспоминалъ шалости; привелъ меня, говоря, въ бесѣдку, усадилъ отдыхать и отправилъ Шарля, т. е. моего спутника, принести изъ погреба кружку лучшаго вина. Признаюсь, что я врядъ когда-либо пилъ съ такимъ наслажденіемъ отличнѣйшее клико, съ какимъ я поглощалъ стаканъ за стаканомъ кисленькое винцо Жозефа. Я былъ одушевленъ, юнъ, счастливъ, но старикъ вскорѣ окончилъ мое превосходное расположеніе духа вопросомъ: — Что же ты дѣлалъ все это время, Вольдемаръ?

Я рассказалъ ему всю исторію моихъ неудачъ и заключилъ тѣмъ, что, конечно, жизнь моя могла бы лучше разыгратъся, но я не раскаиваюсь: если я потерялъ юношескія вѣрованія, зато приобрѣлъ взглядъ трезвый,—можетъ, безотрадный, грустный, но зато истинный.

— Вольдемаръ,—возразилъ старикъ,—бойся предаваться слишкомъ трезвому взгляду: какъ бы онъ не охладилъ твоего сердца, не потушилъ бы въ немъ любви! Многаго я не предвидѣлъ въ твоей жизни; тяжело тебѣ было, но не должно же тотчасъ класть оружіе; достоинство жизни человѣческой—въ борьбѣ... награду надобно выстрадать.

Я ужъ тогда смотрѣлъ: попроще на дѣла житейскія, однако, слова старика сильно подѣйствовали на меня.

— Скажите-ка, père Joseph, лучше что-нибудь о себѣ, какъ вы провели эти годы? Моя жизнь не удалась,—по боку ее. Я, точно герой нашихъ народныхъ сказокъ, которыя я, бывало, переводилъ вамъ, ходилъ по всѣмъ распутьямъ и кричалъ: «есть ли въ полѣ живъ-человѣкъ?» Но живъ-человѣкъ не откликнулся... мое несчастіе!.. а одинъ въ полѣ не ратникъ... Я и ушелъ съ поля, и пришелъ къ вамъ въ гости.

— Рано, рано сдася, — замѣтилъ старикъ, качая головой.—

Что я могу рассказать о себѣ? Моя жизнь идетъ тихонько. Оставивши вашъ домъ, я жилъ въ Швеціи, потомъ уѣхалъ съ однимъ англичаниномъ въ Лондонъ, года два училъ его дѣтей; но мой образъ мыслей такъ расходился съ мнѣніями почтеннаго лорда, что я оставилъ его. Мнѣ захотѣлось домой, и я прямо оттуда приѣхалъ въ Женеву; въ Женевѣ я не нашель никого, кромѣ мальчика, сестрина сына. Думалъ, думалъ, что начать подъ конецъ жизни, — а тутъ открылось мѣсто учителя въ здѣшней школѣ, и я принялъ его, и чрезвычайно доволенъ моими занятіями. Нельзя, да и не нужно всѣмъ выступать на первый планъ; дѣлай каждый свое въ своемъ кругу, — дѣло вездѣ найдется, а послѣ работы спокойно заснешь, когда придетъ время послѣдняго отдыха. Наша жажда видныхъ и громкихъ общественныхъ положеній показываетъ великое несовершенство наше, отчасти неуваженіе къ самому себѣ, которыя приводятъ человѣка въ зависимость отъ внѣшней обстановки. Повѣрь, Вольдемаръ, что это такъ.

Въ этомъ тонѣ разговоръ нашъ продолжался съ часъ.

Тронутый свиданьемъ, я былъ чрезвычайно воспримчивъ, чрезвычайно хорошо настроенъ; мнѣ были доступны всѣ юныя, полузабытыя мечты. Я смотрѣлъ на лицо Жозефа, совершенно спокойное, безмятежное, и мнѣ стало тяжело за себя, меня давило мое совершенство, и какъ онъ былъ хорошъ! Старость имѣетъ свою красоту, разливающую не страсти, не порывы, но умиряющую, успокоивающую; остатки сѣдыхъ волосъ его колыхались отъ вечерняго вѣтра; глаза, одушевленные встрѣчею, горѣли кротко; юно, счастливо я смотрѣлъ на него и вспоминалъ католическихъ монаховъ первыхъ вѣковъ—такъ, какъ ихъ представляли маэстро итальянской школы. И тѣ были юны, думалъ я, съ сѣдинами своими, и онъ юнъ, а я старъ; зачѣмъ же я узналъ такъ много, чего они не знали? Жозефъ взялъ меня за руку, вставая, чтобъ итти въ комнату, и съ глубокой любовью повторилъ: «Пора домой, Вольдемаръ, пора домой!» Я остался у него ночевать. Всю ночь меня мучили тысячи проектовъ и плановъ. Примѣръ Жозефа былъ слишкомъ силенъ: онъ безъ средствъ, старикъ, создалъ себѣ дѣятельность, онъ былъ покоенъ въ ней, а я, *par dépit* ¹⁾, оставилъ отечество, шляюсь чужимъ, ненужнымъ по разнымъ странамъ и ничего не дѣлаю... На другое утро я объявилъ старику, что отправляюсь прямо въ NN служить по выборамъ. Старикъ расплакался и, положивши руку свою мнѣ на голову, сказалъ: «Ступай, другъ мой, ступай. Ты увидишь,—человѣкъ, прямо и благородно идущій на

¹⁾ Изъ досады.

дѣло, много сдѣлаеть, и—прибавилъ старикъ дрожащимъ голосомъ— да будетъ спокойствіе на душѣ твоей». Мы разстались; я отправился въ NN, а онъ—на тотъ свѣтъ. Вотъ и все. Это было послѣднее юношеское увлеченіе; съ тѣхъ поръ я покончилъ мое воспитаніе.

Любовь Александровна смотрѣла на него съ глубокимъ участіемъ; въ его глазахъ, на его лицѣ, дѣйствительно, выражалась тягостная печаль; грусть его особенно поражала, потому что она не была въ его характерѣ, какъ, напримѣръ, въ характерѣ Круциферскаго; внимательный человѣкъ понималъ, что внѣшнее, что обстоятельства, долго сгнетая эту свѣтлую натуру, насильственно втѣснили ей мрачные элементы и что они разъѣдаютъ ее по нескромности.

— Зачѣмъ вы пріѣхали сюда? —спросила тихимъ голосомъ Круциферская.

— Благодарю васъ, душевно благодарю за этотъ вопросъ,— отвѣтилъ Бельтовъ.

— Конечно, странно,—замѣтилъ Дмитрій Яковлевичъ,—просто непонятно, зачѣмъ людямъ даются такія силы и стремленія, которыхъ некуда употребить. Всякій звѣрь ловко приспособленъ природой къ извѣстной формѣ жизни. А человѣкъ... не ошибка ли тутъ какая-нибудь? Просто сердцу и уму противно согласиться въ возможности того, чтобъ прекрасныя силы и стремленія давались людямъ для того, чтобъ они разъѣдали ихъ собственную грудь. На что же это?

— Вы совершенно правы,—съ жаромъ возразилъ Бельтовъ,— и съ этой точки вы не выпутаетесь изъ вопроса. Дѣло въ томъ, что силы сами по себѣ непрерывно развиваются, подготавливаются, а потребности на нихъ опредѣляются исторіей. Вы, вѣрно, знаете, что въ Москвѣ всякое утро выходитъ толпа работниковъ, поденщиковъ и наемныхъ людей на вольное мѣсто; однихъ берутъ, и они идутъ работать; другіе, долго ждавши, съ понурыми головами плетутся домой, а всего чаще въ кабакъ. Точно такъ и во всѣхъ дѣлахъ человѣческихъ: кандидатовъ на все довольно—занадобится исторіи, она беретъ ихъ; нѣтъ—ихъ дѣло, какъ промаячить жизнь. Оттого-то это забавное à proposъ всѣхъ дѣятелей. Занадобились Франціи полководцы,—и пошли Дюмурье, Гошъ, Наполеонъ со своими маршалами... конца нѣтъ; пришли времена мирныя,—и о военныхъ способностяхъ ни слуху, ни духу.

— Но что же дѣлается съ остальными?—спросила грустнымъ голосомъ Любовь Александровна.

— Какъ случится; часть ихъ потухаетъ и дѣлается толпой,

часть идетъ населять далекія страны, галеры, доставляютъ практику палачамъ; разумѣтся, это не вдругъ,—сначала они дѣлаются трактирными удалцами, игроками, потомъ, смотря по призванію, туристами по большимъ дорогамъ или по маленькимъ переулкамъ. Случится по дорогѣ услышать кличъ,—декораціи перемѣняются; разбойника нѣтъ, а есть Ермакъ, покоритель Сибири. Всего рѣже выходятъ изъ нихъ тихіе, добрые люди; ихъ беспокоятъ у домашняго очага ѣдкія мысли. Дѣйствительно, странныя вещи приходятъ въ голову человѣку, когда у него нѣтъ выхода, когда жажда дѣятельности бродитъ болѣзненнымъ началомъ въ мозгу, въ сердцѣ и надобно сидѣть, сложа руки... а мышцы такъ здоровы, а крови въ жилахъ такая бездна... Одно можетъ спасти тогда человѣка и поглотить... его это встрѣча... встрѣча—съ...

Онъ не договорилъ.

Любовь Александровна вздрогнула.

— Экая безпорядочная голова!—замѣтилъ Круповъ.—Чего онъ тутъ ни наговорилъ; хаосъ, истинно хаосъ! Ну, нечего сказать, славный кандидатъ въ засѣдатели или въ уѣздные судьи!

Всѣ улыбнулись.

V.

Между прочими достопримѣчательностями города NN особеннаго вниманія заслуживаетъ публичный садъ. Въ богатой природѣ средней полосы нашего отечества публичные сады — совершенная роскошь; отъ этого ими никто не пользуется, т. е. въ будни, а что касается до воскресныхъ и праздничныхъ дней, то вы можете встрѣтить весь городъ отъ 6 часовъ вечера до 9 въ саду; но въ это время публика собирается не для сада, а другъ для друга. Если начальникъ губерніи въ хорошихъ отношеніяхъ съ полковымъ командиромъ, то въ эти дни являются трубы или большой барабанъ съ товарищами, смотря по тому, какое войско стоитъ въ губерніи; и увертюра изъ «Лодоиски» и «Калифа багдадскаго» вмѣстѣ съ французскими кадрилими, напоминающими незапамятныя времена греческаго освобожденія и «Московскаго Телеграфа», увеселяютъ слухъ купчихъ, одѣтыхъ по лѣтнему—въ атласъ и бархатъ, и тѣхъ провинціальныхъ барынь, за которыми никто не ухаживаетъ, какихъ, впрочемъ, моложе сорока лѣтъ почти не бываетъ. Въ будни, какъ мы сказали, сады бываютъ пусты; развѣ какой-нибудь заѣзжій въ отчаяніи, что нѣтъ лошадей, въ отчаяніи, что и *этотъ* городъ похожъ на всѣ остальные, отправится въ садъ въ надеждѣ найти

хоть какой-нибудь посредственный видъ. Давно замѣчено поэтами, что природа до отвратительной степени равнодушна къ тому, что дѣлаютъ люди на ея спинѣ, не плачетъ надъ стихами и не хохочетъ надъ прозой, а дѣлаетъ свое дѣло по крайнему разумѣнію. Природа точно такъ поступила и въ NN и вовсе не смотрѣла на то, что по саду никто не гулялъ; а кто и гулялъ, тотъ обращалъ вниманіе не на деревья, а на превосходную бесѣдку въ китайско-греческомъ вкусѣ; дѣйствительно, бесѣдка была прекрасна въ своемъ родѣ: начальница губерніи весьма удачно ее назвала Монрепо ¹⁾. Она была особенно успокоительна тѣмъ, что вырѣзанная изъ жести пряничная лошадка, состоявшая въ должности дракона и посаженная на спицѣ, безпрестанно вертѣлась, издавая какой-то жалобный вопль, располагавшій къ мечтамъ и подтверждавшій, что вѣтеръ, который снесъ на лѣвую сторону шляпу, дѣйствительно, дуетъ съ правой стороны; сверхъ дракона, между колоннами были придѣланы нечесанныя и пресердитыя львиныя головы изъ алебастра, растрескавшіяся отъ дождя и всегда готовые уронить на черепъ входящему свое ухо или свой носъ. Несмотря на этотъ плачь дракона и на эту опасность погибнуть отъ львовъ, какъ въ Даниловой пещерѣ, равнодушная природа превосходно разрослась, особенно по боковымъ аллеямъ, и это не отъ скромности, а оттого, что прежній губернаторъ велѣлъ подрѣзать на большой аллеѣ старыя липы; ему казалось несомнѣннымъ съ буквальнымъ исполненіемъ обязанности такое своеволие липовыхъ сучьевъ. Лишенныя верхушекъ своихъ, липы, съ торчащими къ небу вѣтвями, сбивались на колодниковъ, которымъ обрили полголовы въ предупрежденіе побѣга, и, казалось, титановски повторяли стихъ Озера:

«Есть боги,—а земля злодѣямъ предана».

Но зато по маленькимъ дорожкамъ деревьямъ была воля вольная расти, сколько душѣ угодно или сколько соку хватить. На одной-то изъ нихъ, въ теплый апрѣльскій день, пришедшій, вѣроятно, для того въ NN, чтобъ жители потомъ поняли весь холодъ мая, слѣдующаго за нимъ, какая-то дама въ бѣломъ бурнусѣ прогуливалась съ кавалеромъ въ черномъ пальто. Садъ былъ разбитъ по горѣ; на самомъ высокомъ мѣстѣ стояли двѣ лавочки, обыкновенно иллюстрированныя довольно отчетливыми политипажами неизвѣстной работы; частный приставъ, сколько ни старался, не могъ никакъ поймать виновниковъ и самоотверженно посылалъ передъ всякимъ праздникомъ пожарнаго солдата (какъ привычнаго къ разрушеніямъ)

¹⁾ Мон репо—мой отдыхъ.

уничтожать художественныя произведенія, періодически высыпавшія на скамейкѣ. Дама и кавалеръ сѣли на нее. Видъ былъ недуренъ. Большая (и съ большою грязью) дорога шла каймою около сада и впадала въ рѣку; рѣка была въ разливѣ; на обоихъ берегахъ стояли телѣги, повозки, тарантасы, отложенныя лошади, бабы съ узелками, солдаты и мѣщане; два досчаника ходили непрерывно взадъ и впередъ; биткомъ набитые людьми, лошадьми и экипажами, они медленно двигались на веслахъ, похожіе на какихъ-то ископаемыхъ многоножныхъ раковъ, послѣдовательно поднимавшихъ и опускавшихъ свои ноги; разнообразныя звуки доносились до ушей сидѣвшихъ: скрипъ телѣгъ, бубенчики, крикъ перевозчиковъ и едва слышный отвѣтъ съ той стороны; брань торопящихся пассажировъ, топотъ лошадей, устанавливаемыхъ на досчаникѣ, мычаніе коровы, привязанной за рога къ телѣгѣ, и громкій разговоръ крестьянъ на берегу, собравшихся около разложеннаго огня... Дама и кавалеръ прервали свои рѣчи и, молча, смотрѣли и слушали даль... Отчего все это издали такъ сильно дѣйствуетъ на насъ, такъ потрясаетъ,— не знаю, но знаю, что, дай Богъ Віардо и Рубини, чтобъ ихъ слушали всегда съ такимъ біеніемъ сердца, съ какимъ я много разъ слушалъ какую-нибудь протяжную и безконечную пѣснь бурлака, сторожащаго ночью барки,—пѣснь унылую, перерываемую плескомъ воды и вѣтромъ, шумящимъ между прибрежнымъ ивнякомъ. И мало ли что мнѣ чудилось, слушая монотонныя, унылыя звуки... Мнѣ казалось, что этой пѣснью бѣднякъ рвется изъ душевной сферы въ иную; что онъ, не давая себѣ отчета, оглашаетъ свою печаль; что его душа звучитъ, потому что ей грустно, потому что ей тѣсно, и пр., и пр. Это было въ мою молодость!

— Какъ хорошо здѣсь...—сказала, наконецъ, дама въ бѣломъ бурнусѣ.—Сознайтесь, что и сѣверная природа прекрасна.

— Какъ вездѣ. Гдѣ бы ни взглянулъ человѣкъ и когда бы ни взглянулъ на природу, на жизнь съ раскрытой душой, прямо, безкорыстно,—онѣ дадутъ бездну наслажденія.

— Это правда. Всѣмъ на свѣтѣ можно любоваться, если только хочешь. Мнѣ часто приходитъ въ голову странный вопросъ: отчего человѣкъ умѣетъ всѣмъ наслаждаться, во всемъ находить прекрасное, кромѣ въ людяхъ?

— Понять можно отчего, но отъ этого не легче будетъ. Мы вносимъ въ нашихъ отношеніяхъ съ людьми заднюю мысль, которая тотчасъ убиваетъ самой дрянной прозой поэтическое отношеніе. Человѣкъ въ человѣкѣ всегда видитъ непріятеля, съ которымъ надобно драться, лукавить и спѣшить опредѣлить условія перемирія. Какое-жъ тутъ наслажденіе? Мы съ этимъ выросли и отдѣлаться

отъ этого почти невозможно; въ насъ во всѣхъ есть мѣщанское самолюбіе, которое заставляетъ оглядываться, осматриваться; съ природой человѣкъ не соперничаетъ, не боится ея и оттого намъ такъ легко, такъ свободно въ одиночествѣ; тутъ совершенно отдаемся впечатлѣніямъ; пригласите съ собой самаго близкаго прія-теля, и—уже не то.

— Я вообще мало встрѣчаю людей, особенно такихъ, которые бы мнѣ были близки; но думаю, что есть, что можетъ быть, по крайней мѣрѣ, такое сочувствіе между лицами, что всѣ внѣшнія препятствія непониманія пали между ними, они не могутъ помѣ-шать другъ другу ни въ какомъ случаѣ жизни.

— Я сомнѣваюсь въ продолжительной полнотѣ такого сочув-ствія; это все говорится только. Люди, совершенно сочувствующіе, еще не договорились до тѣхъ предметовъ, гдѣ они противоположны; но рано или поздно они договорятся.

— Все же, пока они не договорились, могутъ быть минуты полной симпатіи, гдѣ они не мѣшаютъ другъ другу наслаждаться и природой, и собой.

— Въ эти-то минуты я только и вѣрю. Это святая минуты душевной расточительности, когда человѣкъ не скупъ, когда онъ все отдаетъ и самъ удивляется своему богатству и полнотѣ любви. Но эти минуты очень рѣдки; по большей части мы не умѣемъ ни оцѣнить ихъ въ настоящемъ, ни дорожить ими, даже пропускаемъ ихъ чаще всего сквозь пальцы, убиваемъ всякой дрянью, и онѣ проходятъ человѣка, оставляя послѣ себя болѣзненное щемленіе сердца и тупое воспоминаніе чего-то такого, что могло бы быть хорошо, но не было. Надобно признаться, человѣкъ очень глупо устроилъ свою жизнь: девять десятыхъ ея проводить въ вздорѣ и мелочахъ, а послѣдней долей онъ не умѣетъ пользоваться.

— Зачѣмъ же терять такія минуты, когда человѣкъ знаетъ имъ цѣну? На васъ лежитъ двойная отвѣтственность,—замѣтила Крuciфeрская, улыбаясь,—вы такъ ясно видите и понимаете.

— Я не только такими мгновеніями: я дорожу каждымъ наслажденіемъ; но, вѣдь, это легко сказать: не теряйте такія мгновенія; одна фальшивая нота, — и оркестръ погибъ. Какъ отдаться вполнѣ, когда тутъ же рядомъ видишь всякія привидѣнія, грозящія пальцемъ, ругающіяся...

— Какія? Не собственные ли это капризы?—замѣтила Крuciфeрская.

— Какія?—повторилъ Бельтовъ, котораго голосъ мало-по-малу измѣнялся отъ внутренняго движенія.—Трудно мнѣ вамъ объяснить, а для меня это очень ясно; человѣкъ такъ себя забилъ, что не

смѣетъ дать воли ни одному чувству. Послушайте, такъ и быть, я скажу вамъ примѣръ, именно тотъ, который не слѣдовало бы говорить, — но я его скажу... начавши, я не въ силахъ остановить себя. Съ первыхъ дней нашего знакомства я полюбилъ васъ... Дружба ли это, любовь ли, просто ли сочувствіе?.. Но знаю, что вы, ваше присутствіе сдѣлались для меня необходимостью. Знаю то, что цѣлая утра я проводилъ въ дѣтскомъ нетерпѣніи, въ болѣзненномъ ожиданіи вечера... Приходилъ, наконецъ, вечеръ, я бѣжалъ къ вамъ, задыхаясь отъ мысли, что я увижу васъ; лишенный всего, окруженный со всѣхъ сторонъ холодомъ, я на васъ смотрѣлъ, какъ на послѣднее утѣшеніе... Повѣрьте, что на сію минуту я всего далѣе отъ фразъ... Съ волненіемъ переступалъ я порогъ вашего дома и входилъ хладнокровно, и говорилъ о постороннемъ, и такъ проходили часы... Для чего эта глупая комедія?.. Скажу больше: вы не остались равнодушны ко мнѣ; вѣроятно, иной вечеръ и вы меня ждали, я видѣлъ радость въ вашихъ глазахъ при моемъ появленіи, и сердце у меня билось въ эти минуты до того, что я задыхался,—и вы меня встрѣчали съ притворной учтивостью, и вы садились издали, и мы представляли постороннихъ... Зачѣмъ?.. Развѣ на днѣ моей души, на днѣ вашей души было что-нибудь такое, чего надобно стыдиться, прятать отъ глазъ людей? Нѣтъ! — Чего отъ глазъ людей?.. Еще смѣшнѣе: мы скрывали другъ отъ друга нашу близость; теперь въ первый разъ говоримъ мы объ этомъ, да и тутъ, кажется, вполнину скрываемъ. Самое свѣтлое чувство дѣлается острымъ, жгучимъ, дѣлается темнымъ, чтобъ не сказать другого слова, если его бояться, если его прячутъ; оно начнетъ вѣрить, что оно преступно, и тогда оно сдѣлается преступнымъ; въ самомъ дѣлѣ, наслаждаться чѣмъ-нибудь, какъ воръ краденымъ, съ запертыми дверями, прислушиваясь къ шороху, унижаетъ и предметъ наслажденья, и человѣка.

— Вы несправедливы, — отвѣчала Круциферская дрожащимъ голосомъ, — я никогда не скрывала моей дружбы къ вамъ, я не имѣла въ этомъ нужды...

— Такъ отчего же, скажите, — возразилъ Бельтовъ, схвативъ ея руку и крѣпко ее сжимая, — отчего же измученный, съ душою, переполненною желаніемъ исповѣди, обнаруженія, съ душою, полной любви къ женщинѣ, я не имѣлъ силы прійти къ ней и взять ее за руку, и смотрѣть въ глаза, и говорить... и говорить... и склонить свою усталую голову на ея грудь... Отчего она не могла меня встрѣтить тѣми словами, которыя я видѣлъ на ея устахъ, но которыя никогда ихъ не переходили.

— Оттого, — отвѣчала Круциферская съ какой-то отчаянной

энергіей,—оттого, что эта женщина принадлежит другому и любить его... Да, да! любить его отъ души.

Бельтовъ бросилъ ея руку.

— Представьте себѣ, что я именно этого отвѣта и не ждалъ, а теперь мнѣ кажется, что другого и сдѣлать нельзя. Однако, позвольте, развѣ непременно вы должны отвернуться отъ одного сочувствія другому? какъ будто любви у человѣка дается извѣстная мѣра?

— Можетъ быть, но я не понимаю любви къ двоимъ. Мужъ мой, сверхъ всего другого, одной своей безпредѣльной любовью стяжалъ огромныя, святыя права на мою любовь.

— Зачѣмъ вы начали защищать права вашего мужа? Никто не нападаетъ на нихъ. Къ тому же вы дурно начали ихъ защищать. Да, если его любовь дала ему такія права, отчего же любовь другого, искренняя, глубокая, не имѣетъ никакихъ правъ? Это странно!.. Послушайте, Любовь Александровна: откровенность, откровенность разъ въ жизни, потомъ, пожалуй, я совсѣмъ не буду ничего говорить, даже уѣду, если вы хотите. Вы говорите, что не понимаете возможности любить вашего мужа и еще любить; не понимаете? Сойдите поглубже въ душу вашу и посмотрите, что тамъ дѣлается теперь, сейчасъ. Ну, имѣйте же духъ признанья, что я правъ, скажите, по крайней мѣрѣ, что вы все это переувчувствовали, передумали,—вѣдь, я знаю, я видѣлъ эти думы на вашемъ челѣ, въ вашихъ глазахъ.

— Ахъ, Бельтовъ, Бельтовъ, зачѣмъ все это, зачѣмъ этотъ разговоръ?—говорила Круциферская голосомъ, исполненнымъ мрачной грусти.—Намъ было такъ хорошо... Теперь не будетъ такъ... Вы увидите.

— То есть пока мы не назвали вещей своими именами? Какое ребячество!

Бельтовъ грустно качалъ головою и щурилъ глаза; лицо его, за минуту вдохновенное и выражавшее безконечную нѣжность, приняло свою насмѣшливую мину.

Со слезами, съ ужасомъ смотрѣла на него испуганная женщина... Круциферская была поразительно хороша въ эту минуту; шляпку она сняла; черные волосы ея, развитые отъ сырого вечера воздуха, разбросались; каждая черта лица была оживлена, говорила, и любовь струилась изъ ея синихъ глазъ; дрожавшая рука то жала платокъ, то покидала его и рвала ленту на шляпкѣ; грудь по временамъ поднималась высоко, но, казалось, воздухъ не могъ проникнуть до легкихъ. Чего хотѣлъ этотъ гордый человѣкъ отъ нея? Онъ хотѣлъ слова, онъ хотѣлъ торжества, какъ будто это слово было нужно; если-бъ онъ былъ юнѣ сердцемъ, если-бъ въ

головѣ его не обжились такъ долго мысли горькія и странныя, онъ не спросилъ бы этого слова.

— Вы ужасный человѣкъ,—промолвила, наконецъ, блѣдная Круциферская и подняла робкій взглядъ на него.

Онъ выдержалъ этотъ взглядъ и спросилъ:

— Куда это Семенъ Ивановичъ запропастился? Хотѣлъ тотчасъ прійти. Не ищетъ ли онъ насъ въ другихъ аллеяхъ? Пойдемте къ нему навстрѣчу, а то совсѣмъ смеркается.

Она не трогалась съ мѣста, обиженная тономъ послѣднихъ словъ. Помолчавши нѣсколько, она опять подняла взоръ свой на Бельтова и тихимъ, умоляющимъ голосомъ сказала ему:

— Я стала ниже въ вашихъ глазахъ; вы забыли, что я простая, слабая женщина — и слезы лились изъ глазъ ея.

Тутъ, какъ всегда, любовь и теплота женщины побѣдили гордую требовательность мужчины. Бельтовъ, тронутый до глубины души, взялъ ея руку и приложилъ къ своей груди; она слышала бѣненіе его сердца, она слышала, какъ горячія капли слезъ падали на ея руку... Онъ былъ такъ хорошъ, такъ увлекателенъ въ своей гордой страсти... У ней самой такъ волновалась кровь, такъ смутно было въ головѣ и такъ хорошо, такъ богато чувствами на сердцѣ, что она въ какомъ-то безотчетномъ порывѣ бросилась въ его объятія, и ея слезы градомъ лились на пестрый парижскій жилетъ Владиміра Петровича. Почти въ ту же минуту раздался голосъ Семена Ивановича:

— Гдѣ вы?—кричалъ онъ—тутъ, что ли?

— Здѣсь,—отвѣчалъ Бельтовъ и подалъ руку Любви Александровнѣ.

Бельтовъ былъ упоенъ своимъ счастьемъ; его дремавшая душа вдругъ воскресла со всѣми своими силами. Любовь, доселѣ сдерживаемая, распахнулась въ немъ: онъ чувствовалъ невыразимое блаженство во всемъ бытіи своемъ. Какъ будто онъ вчера, третьяго дня не зналъ, что онъ любитъ и любимъ. Отъ дома Круциферскаго онъ воротился въ садъ, бросился на ту же скамью; грудь его была такъ полна, и слезы текли изъ глазъ; онъ удивлялся, что нашелъ и столько юности и столько свѣжести въ себѣ... Правда, вскорѣ примѣшалось что-то неловкое къ радостному чувству, что-то такое, что заставляло его морщить лобъ; но, воротившись домой, онъ велѣлъ Григорію подать за закуской бутылку шампанскаго, и неловкое потонуло въ немъ, а радостное стало еще звонче.

Круциферская, блѣдная, какъ смерть, простилась съ Бельтовымъ у своего дома, куда ихъ проводилъ и Семенъ Ивановичъ. Она не смѣла понять, не смѣла ясно вспомнить, что было... Но одно какъ-то страшно помнилось само собою, всѣмъ организмомъ, это—

горячій, пламенный, продолжительный поцѣлуй въ уста, и ей хотѣлось забыть его, и такъ хорошъ онъ былъ, что она ни за что въ свѣтѣ не могла бы отдать воспоминанія о немъ. Семень Ивановичъ хотѣлъ итти, Крuciферская испугалась; она просила его зайти, она боялась одна переступить за порогъ: ей было страшно.

Они вошли. Дмитрій Яковлевичъ сидѣлъ передъ столомъ и внимательно читалъ какой-то журналъ; видъ его былъ, кажется, покойнѣе и безмятежнѣе, нежели обыкновенно. Добродушно улыбаясь входящимъ, онъ закрылъ журналъ и, протягивая руку женѣ, спросилъ:

— Гдѣ вы это загулялись? Я ждалъ, ждалъ тебя, даже грустно сдѣлалось.

Рука жены была холодна и покрыта потомъ, какъ бываетъ у при смерти больныхъ.

— Мы были въ саду,—отвѣчала Круповъ за нее.

— Что съ тобою?—спросилъ Крuciферскій:—какая у тебя рука! да на тебѣ, мой другъ, лица нѣтъ.

— У меня что-то кружится голова; не безпокойся, Дмитрій, я пойду въ спальню и выпью воды, это сейчасъ пройдетъ.

— Позвольте, позвольте; куда торопиться? дайте-ко посмотрѣть; вы забыли что ли, что я докторъ... Что это? да ей дурно. Дмитрій Яковлевичъ, посадимте ее на диванъ; держите такъ, подъ руку, подъ руку... такъ, такъ. Я что-то на дорогѣ замѣтилъ, что ей не по себѣ. Весенній воздухъ, кровь остра, талый ледъ испаряется, всякая дрянь оттаиваетъ... Кабы была подъ рукой англійская горчица, сдѣлать бы синапизмики,—маленькіе, въ ладонь, съ чернымъ хлѣбомъ и уксусомъ... Кухарка ваша дома?.. Пошлите-ка къ моему Карпу; онъ знаетъ... просто, такъ спросить горчицы... такъ и привязать къ икрамъ, а не поможетъ,—еще парочку, пониже плечъ, гдѣ мясное мѣсто.

— Я не больна, я не больна.—повторяла слабымъ голосомъ Любовь Александровна, приходя въ себя и дрожа всѣмъ тѣломъ;—Дмитрій, поди сюда ко мнѣ, Дмитрій... я не больна, дай мнѣ твою руку.

— Что съ тобою, что съ тобою, мой ангелъ?—спрашивалъ ее мужъ, который самъ уже успѣлъ занемочь и расплакаться.

Она посмотрѣла какимъ-то странно грустнымъ взглядомъ на него, но не могла сказать, зачѣмъ его звала. Онъ опять спросилъ ее.

— Дай мнѣ воды да немножко уснуть, и я буду здорова, мой другъ.

Часа черезъ два или три Любовь Александровна, наказанная

угрызениями совѣсти внутри и горчишниками снаружи за поцѣлуй Бельтова, лежала на постели въ глубокомъ летаргическомъ снѣ или въ забытіи. Потрясеніе было слишкомъ сильно, организмъ не выдержалъ.

А въ гостиной на диванѣ лежалъ совѣмъ одѣтый Круповъ, оставшійся сколько для больной, столько и для Круциферскаго, растеряннаго и испуганнаго. Круповъ, чрезвычайно сердясь на пружины дивана, которыя, нисколько не способствуя эластичности его, придавали ему свойства, очень близкія той бочкѣ, въ которой караегеняне прокатили Регула, — въ четверть часа сладко захрапѣлъ съ спокойствіемъ человѣка, равно не обременявшаго себѣ ни совѣсти, ни желудка.

Возлѣ кровати больной горѣлъ ночникъ, сдѣланный въ блюдечкѣ, который бросалъ довольно яркій кругъ свѣта на потолокъ, безпрестанно измѣнявшій величину, колебавшійся и вторившій всѣмъ движеніямъ маленькаго пламени, сожигавшаго маленькую свѣтильню. Блѣдный и потерянный Круциферскій сидѣлъ за столикомъ, на которомъ стоялъ ночникъ. Кому случалось проводить ночи у изголовья трудно больного друга, брата, любимой женщины, особенно въ нашу полнолѣсную зимнюю ночь, тотъ пойметъ, что было на душѣ нервнаго Круциферскаго. Тупое, глупое чувство безсилія помочь вмѣстѣ съ страхомъ будущаго и съ горячешной напряженностью отъ бессонницы и устали привели его въ какое-то раздраженное состояніе. Онъ безпрестанно приподнимался и смотрѣлъ на нее, клалъ ей руку на лобъ, находилъ, что жаръ уменьшился, и начиналъ думать, что не хуже ли это, не бросилась ли болѣзнь внутрь. Онъ вставалъ, переставлялъ ночникъ и склянку съ лѣкарствомъ, смотрѣлъ на часы, подносилъ ихъ къ уху и, не выдавши, который часъ, клалъ ихъ опять, потомъ опять садился на свой стулъ и начиналъ вперять глаза въ колеблющійся кружокъ свѣта на потолокъ, думать, мечтать, — и воспаленное воображеніе чуть не доходило до бреда. «Нѣтъ, — думалъ онъ, — это нельзя, это невозможно, ну, просто невозможно; какъ это? она одна у меня на свѣтѣ, она такъ молода. Богъ видитъ мою любовь: онъ сжалится надъ нами. Это пустяки, пройдетъ; такъ, холодный, сырой вѣтеръ, кровь остра, ледъ испаряется, да только весеннія простуды страшны, нервная горячка, чахотка... Какъ это до сихъ поръ не умѣютъ лѣчить чахотки? Страшная болѣзнь! впрочемъ, она опасна до 18 лѣтъ... а вотъ у нашего французскаго учителя жена 30 лѣтъ, а въ чахоткѣ умерла, да, умерла; ну, если...» И ему такъ живо представился гробъ въ гостиной, покрытъ покровомъ, грустное чтеніе раздается, Семень Ивановичъ стоитъ печальный возлѣ, Яшу держитъ нянька,

повязанная бѣлымъ платкомъ. А потомъ еще что-то страшнѣе почудилось ему, что и гроба нѣтъ, въ комнатѣ такъ прибрано, полы вымыты... только пахнетъ ладаномъ. Онъ всталъ, близкій къ обмороку, и подошелъ къ женѣ. Щеки ея пылали, она тяжело дышала, болѣзненно сонъ сковалъ ее. Крциферскій скрестилъ руки на груди и горько заплакалъ... Да! этотъ человѣкъ умѣлъ любить,— стоило взглянуть на него; онъ опустилсѣ на колѣни, взялъ горячую руку жены и приложилъ ее къ губамъ своимъ.

— Нѣтъ,—говорилъ онъ вслухъ,—нѣтъ, Онъ не возьметъ ее, она не оставитъ меня; что же со мной будетъ безъ нея?

И, поднявши глаза къ небу, онъ молился.

Тутъ вошелъ Семень Ивановичъ съ сильно заспаннымъ видомъ: лѣвый глазъ у него вовсе не хотѣлъ открываться, сколько онъ ни нудилъ мускулъ, нарочно затѣмъ приставленный къ глазу, чтобъ его раскрывать.

— Что, начала бредить? а?

— Нѣтъ, она спитъ спокойно.

— Я самъ, братецъ, слышалъ; во снѣ, что ли, мнѣ показалось?

— Должно быть, Семень Ивановичъ, вамъ показалось во снѣ,—возразилъ Дмитрій Яковлевичъ съ видомъ пойманнаго школьника. Круповъ подошелъ къ постели.

— Жарокъ есть, а впрочемъ, кажется, ничего; да вы бы прилегли, Дмитрій Яковлевичъ,—ну, что пользы себя мучить?

— Нѣтъ-съ, я не лягу,—отвѣчалъ Дмитрій Яковлевичъ.

— Вольному воля,—замѣтилъ Круповъ, зѣвая и направляя стопы свои къ рельефному дивану, на которомъ преспокойно проспалъ до половины восьмого,—часъ, въ который онъ вставалъ ежедневно, несмотря на то, въ десять ли вечера онъ ложился, или въ семь по утру.

Осмотрѣвши больную, Семень Ивановичъ рѣшилъ, что это легонькая простудная горячечка, какъ онъ выразался, и прибавилъ, что теперь это въ повѣтріи.

Что было послѣ горячечки, пусть расскажетъ сама Любовь Александровна; вотъ отрывокъ изъ ея журнала.

«*Мая 18.* Какъ давно я не писала въ этой книгѣ: больше мѣсяца... больше мѣсяца! а иной разъ подумаешь, будто годы прошли съ того дня, какъ я занемогла. Теперь, кажется, все прошло, и жизнь опять пойдетъ тихо, спокойно. Вчера я первый разъ вышла изъ дому. Какъ я рада была подышать воздухомъ! Погода была прекрасная... Однако, я очень ослабѣла во время болѣзни; два или три раза прошла я по нашему палисаднику и до того»

устала, что у меня закружилась голова. Дмитрій перепугался, но это тотчасъ прошло. Господи! какъ онъ меня любитъ! Добрый, добрый Дмитрій, какъ онъ ходилъ за мной! Стоило мнѣ ночью раскрыть глаза, пошевелиться, — онъ уже стоялъ тутъ, спрашивалъ, что мнѣ надобно, предлагалъ пить... Бѣдный, онъ самъ похудѣлъ, какъ будто послѣ болѣзни. Какая способность любви! Надобно имѣть каменное сердце, чтобъ не любить такого человѣка. О! я люблю его, — мнѣ было бы невозможно не любить его. То происшествіе въ саду, оно ничего не значитъ: болѣзнь уже приготовлялась, и я была въ особомъ расположеніи, нервы у меня были раздражены. Вчера я *его* видѣла въ первый разъ послѣ болѣзни... Его голосъ я слыхала, какъ сквозь сонъ, но его не видала. Онъ былъ очень взволнованъ, хотя и скрывалъ это; голосъ у него дрожалъ, когда онъ мнѣ сказалъ: «Наконецъ-то, наконецъ-то вамъ лучше». Потомъ онъ мало говорилъ, какая-то мысль его занимала; онъ раза два провелъ рукою по лбу, какъ будто желалъ стереть ее, но она снова проступала. Ни одного малѣйшаго намека о бывшемъ: онъ, вѣрно, понялъ, что это было болѣзненное опьяненіе. Зачѣмъ я не рассказала всего Дмитрію? Въ тотъ вечеръ, когда онъ такъ кротко протянулъ мнѣ руку, мнѣ хотѣлось броситься къ нему и все рассказать, но я не имѣла силы, мнѣ сдѣлалось дурно. Сверхъ того, Дмитрій такъ нѣженъ, — его это страшно бы огорчило. Послѣ я ему скажу непременно.

«20 мая. Вчера мы были съ Дмитріемъ въ саду; онъ хотѣлъ сѣсть на той скамейкѣ, я сказала, что боюсь вѣтра съ рѣки, — мнѣ эта скамейка сдѣлалась страшна; мнѣ казалось, что для Дмитрія будетъ оскорбительно сидѣть на ней. Будто это правда, что можно любить двоихъ? Не понимаю. Можно и не двоихъ, а нѣсколькихъ любить, но тутъ игра словъ; любить любовью можно одного, и ею я люблю моего мужа. А потомъ я люблю Крупова, и не боюсь признаться, что и Бельтова люблю; это такой сильный человѣкъ, что я не могу не любить его. Это человѣкъ, призванный на великое, необыкновенный человѣкъ; изъ его глазъ свѣтится геній. Та любовь и не нужна такому человѣку. Что для него женщина? Она пропадаетъ въ безпредѣльной душѣ его... Ему нужна любовь иная. Онъ страдаетъ, глубоко страдаетъ, и нѣжная дружба женщины могла бы облегчить эти страданія; ее онъ всегда найдетъ во мнѣ; онъ слишкомъ пламенно понимаетъ эту дружбу, онъ все пламенно понимаетъ; сверхъ того, онъ такъ не привыкъ къ вниманію, къ симпатіи; онъ всегда былъ одинокъ; душа его, огорченная, озлобленная, вдругъ встрепенулась отъ голоса сочувствующаго. Это очень натурально.

«23 мая. Бываютъ иногда странныя минуты какого-то безо-

койнаго желанія жизни, еще полнѣйшей. Неблагодарность ли это къ судьбѣ, или ужъ человѣкъ такъ устроенъ, а я чувствую часто, особенно съ нѣкотораго времени, стремленіе... очень мудрено это выразить. Я искренно люблю Дмитрія, но иногда душа требуетъ чего-то другого, чего я не нахожу въ немъ. Онъ такъ кротокъ, такъ нѣженъ, что я готова раскрыть ему всякую мечту, всякую дѣтскую мысль, пробѣгающую по душѣ; онъ все оцѣнитъ, онъ не улыбнется съ насмѣшкой, не оскорбитъ холоднымъ словомъ или ученымъ замѣчаніемъ, но это не все; бываютъ совсѣмъ иныя требованія,—душа ищетъ силы, отвагу мысли; отчего у Дмитрія нѣтъ этой потребности добиваться до истины, мучиться мыслью? Я, бывало, обращаюсь къ нему съ тяжелымъ вопросомъ, съ сомнѣніемъ, а онъ меня успокаиваетъ, утѣшаетъ, хочетъ убавить, какъ дѣлаютъ съ дѣтьми... а мнѣ совсѣмъ не того хотѣлось бы... Онъ и себя убавкиваетъ тѣми же дѣтскими вѣрованіями, а я не могу.

«24 мая. Яша боленъ. Два дня онъ лежалъ въ жару, сегодня показалась сыпь; Семень Ивановичъ меня обманываетъ. Въ десять разъ лучше сказать прямо; надобно испугать воображеніе, а не предоставить ему волю: оно само выдумаетъ еще страшнѣе, еще хуже. Я не могу прямо въ глаза посмотреть Яшѣ: сердце обливается кровью, страданія ребенка ужасны. Какъ онъ похудѣлъ, бѣдняжка, какъ блѣденъ!.. и туда же,—чуть выйдетъ минута полегче, улыбается, проситъ мячикъ. Что это за непрочность всего, что намъ дорого,—страшно вздумать! Такъ какой-то вихрь несетъ, кружитъ всякую всячину, хорошее и дурное, и человѣкъ туда попадаетъ, и броситъ его на верхъ блаженства, а потомъ внизъ. Человѣкъ воображаетъ, что онъ самъ распоряжается всѣмъ этимъ, а онъ, точно щепка въ рѣкѣ, повертывается въ маленькомъ кружочкѣ и плыветъ вмѣстѣ съ волной, куда случится,—прибьетъ къ берегу, унесетъ въ море или увязнетъ въ тинѣ... Скучно и обидно!

«26 мая. У него скарлатина. У Дмитрія умерло трое братьевъ отъ скарлатины. Семень Ивановичъ печаленъ, сердитъ, грубъ и не отходитъ отъ Яши. Боже мой, Боже мой! что это такое дѣлается надъ нами? Дмитрій самъ едва ходитъ; это-то счастье я тебѣ принесла?

«27 мая. Время тащится тихо, все то же; смертный приговоръ или милость... Поскорѣй бы... Что у меня за страшное здоровье, какъ я могу выносить все это! Семень Ивановичъ только и говорить: подождите, подождите... Яша, ангелъ мой, прощай... прощай, малютка!

«29 мая. Полтора сутокъ прошло поспокойнѣе, кризисъ миновалъ. Но тутъ-то и надобно беречь. Все это время я была въ

какомъ-то натянутомъ состояніи, теперь начинаю чувствовать страшную душевную усталъ. Хотѣлось бы много поговорить отъ души. Какъ весело говорить, когда насъ умѣютъ вѣрно, глубоко понимать и сочувствовать.

«1 іюня. Все идетъ хорошо... Кажется, на этотъ разъ туча прошла мимо головы. Яша игралъ со мной сегодня часа два на своей постелькѣ. Онъ такъ ослабѣлъ, что не можетъ держаться на ногахъ. Добрый, добрый Семень Ивановичъ,—что за человекъ!»

«6 іюня. Все успокоилось, Яшѣ гораздо лучше, но я больна, больна, это я чувствую. Сижу иногда у его кровати, и вмѣсто радости вдругъ, безъ всякой внѣшней причины, поднимается со дна души какая-то давящая грусть, которая растеть, растеть и вдругъ становится нѣмою, жестокой болью; готова бы, кажется, умереть. Я въ этой суетѣ не имѣла времени остаться наединѣ съ собою; моя болѣзнь, болѣзнь Яши, хлопоты не давали мнѣ ни минуты углубиться въ себя. Лишь стало поспокойнѣе и лучше, какой-то скорбный, мучительный голосъ звалъ меня заглянуть въ свое сердце, и я не узнала себя. Вчера, послѣ обѣда я что-то чувствовала себя дурно, сидѣла у Яши, положила голову на его подушечку и уснула... Не знаю, долго ли я спала: но вдругъ мнѣ сдѣлалось какъ-то тяжело, я раскрыла глаза,—передо мною стоялъ Бельтовъ, и никого не было въ комнатѣ... Дмитрій пошелъ давать уроки... Онъ смотрѣлъ на меня, и глаза его были полны слезъ; онъ ничего не сказалъ, онъ протянулъ мнѣ руку, онъ сжалъ мою руку крѣпко, больно... и ушелъ... Зачѣмъ же онъ не сказалъ ничего?.. Я хотѣла его остановить, но у меня не было голоса въ груди.

«9 іюня. Онъ былъ весь вечеръ у насъ и ужасно весель, сыпалъ остротами, колкостями, хохоталъ, шумѣлъ, но я видѣла, что все это натянуто; мнѣ даже казалось, что онъ выпилъ много вина, чтобъ поддержать себя въ этомъ состояніи. Ему тяжело. Онъ обманываетъ себя, онъ очень не весель. Неужели я, вмѣсто облегченія, принесла новую скорбь въ его душу?

«15 іюня. День былъ сегодня удушливый, я изнемогала отъ жара. Къ обѣду собралась гроза, и проливной дождь освѣжилъ меня,—можетъ, больше, нежели траву и деревья. Мы пошли въ садъ; на дворѣ необычайно было хорошо: деревья благоухали какой-то укрѣпляющей, влажной свѣжестью; мнѣ стало легко... Я первый разъ вспомнила о *тогдашнемъ* днѣ иначе,—въ немъ много прекраснаго... Можетъ ли быть что-нибудь преступное полно прелести, упоенія, блаженства?.. Мы шли по той же дорожкѣ. На лавочкѣ кто-то сидѣлъ, мы подошли: это былъ онъ; я чуть не вскрикнула отъ радости. Онъ былъ очень печалень, всѣ слова его были грустны,

исполнены горечи и ироніи. Онъ правъ — люди сами себѣ выдумываютъ терзанія; ну, если-бъ онъ былъ мой братъ, развѣ я не могла бы его любить открыто, говорить объ этомъ Дмитрію, всѣмъ?.. И никому не показалось бы это странно. А онъ братъ мнѣ, я это чувствую... Какъ мы могли бы прекрасно устроить нашу жизнь, нашъ маленькій кружокъ изъ четырехъ лицъ; кажется, и довѣріе взаимное есть, и любовь, и дружба, а мы дѣлаемъ уступки, жертвы, не договариваемъ. Когда мы шли домой, было поздно; мѣсяцъ взошелъ. Бельтовъ шелъ возлѣ меня. Что за странная, магнетическая власть взгляда у этого человѣка! Взглядъ Дмитрія тихъ и спокоенъ, какъ небо голубое, а его волнуетъ, такъ дѣлается безпокойно, — и потомъ нѣтъ.

«Мы мало говорили... только, прощаясь, онъ мнѣ сказалъ: «Я много думалъ объ васъ все это время и... мнѣ очень бы хотѣлось поговорить, такъ на душѣ много».—И я думала объ васъ... прощайте, Вольдемаръ... Я сама не знаю, какъ у меня сорвались эти слова; я никогда его такъ не называла, но мнѣ казалось, что я не могу его иначе назвать. Онъ содрогнулся, услышавъ это названіе; онъ наклонился ко мнѣ и съ тою нѣжностью, которая минутами является у него, сказалъ: «Вы третью меня такъ назвали; это меня можетъ тѣшить, какъ ребенка, я буду этимъ счастливъ дня на два».— Прощайте, прощайте, Вольдемаръ,—повторила я. Онъ хотѣлъ что-то сказать, подумалъ, пожалъ мнѣ руку, посмотрѣлъ въ глаза и ушелъ.

«20 іюня. Я много измѣнилась, возмужала послѣ встрѣчи съ Вольдемаромъ; его огненная, дѣятельная натура, безпрестанно занятая, трогаешь всѣ внутреннія струны, касается всѣхъ сторонъ бытія. Сколько новыхъ вопросовъ возникло въ душѣ моей! Сколько вещей простыхъ, обыденныхъ, на которыя я прежде вовсе не смотрѣла, заставляютъ меня теперь думать. Много, о чемъ я едва смѣла предполагать, теперь ясно. Конечно, при этомъ приходится часто жертвовать мечтами, къ которымъ привыкла, которыя такъ береглись и лелѣялись; горька бываетъ минута разставанія съ ними, а потомъ становится легче, вольнѣе. Мнѣ было бы очень тяжело, если-бъ онъ уѣхалъ. Я не искала его, но случилось такъ; наши жизни встрѣтились, — совѣмъ врозь онѣ итти не могутъ; онъ открылъ мнѣ новый міръ внутри меня. И не странно ли, что этотъ человѣкъ, не нашедшій себѣ нигдѣ ни труда, ни покоя, одиноко объѣздившій весь свѣтъ, вдругъ здѣсь, въ маленькомъ городишкѣ, нашелъ симпатію въ женщинѣ мало образованной, бѣдной, далекой отъ его круга! Онъ можетъ слишкомъ любить меня, — да развѣ это зависитъ отъ воли? къ тому же, онъ столько вынесъ холода и безучастія, что готовъ платить сторицею за всякое

теплое чувство. Оставить его тѣмъ же одинокимъ, сдѣлаться чужою ему я не могла бы, это было бы просто грѣшно... Да! онъ правъ,—и его любовь имѣетъ права!

«Послѣднее время Дмитрій особенно не въ духѣ: вѣчно задумчивъ, болѣе обыкновеннаго разсѣянъ; у него это есть въ характерѣ, но страшно, что все это растетъ; меня беспокоитъ его грусть и подчасъ я дурно объясняю ее...

«22 іюня. И, кажется, не ошиблась. Вчера Дмитрій былъ до того мраченъ, что я не вынесла и спросила, что съ нимъ? «У меня болитъ голова,—отвѣтилъ онъ,—мнѣ надобно походить», и взялъ свою шляпу. Пойдемъ вмѣстѣ,—сказала я.— «Нѣтъ, другъ мой, не теперь; я пойду очень скоро, ты устанешь»,—и онъ ушелъ со слезами на глазахъ. Я не вынесла этого и горько проплакала все время, пока онъ ходилъ; онъ меня засталъ на томъ же мѣстѣ у окна, видѣлъ, что я плакала, грустно пожалъ мнѣ руку и сѣлъ. Мы молчали. Потомъ, спустя нѣсколько минутъ, онъ мнѣ сказалъ: «Любонька, знаешь ли о чемъ я думаю? Какъ хорошо бы въ такую теплую лѣтнюю ночь, гдѣ-нибудь въ роцѣ, положить голову тебѣ на колѣни и уснуть навѣки».—Помилуй, Дмитрій,—сказала я ему,— что это за мрачныя мысли; неужели тебѣ не жаль никого покинуть здѣсь? «Жаль», отвѣчалъ онъ: «очень жаль и тебя, и Яшу; но Семень Ивановичъ говоритъ, что я только могу повредить воспитанію Яши, да я и самъ согласенъ, что ты лучше воспитаешь его, нежели я. Къ тому же, другъ мой, и тамъ, какъ здѣсь, вѣчная молитва о васъ,—молитва, полная вѣры и упованья,—найдетъ доступъ... Тебѣ будетъ меня жаль,—я это знаю, другъ мой,—ты такъ добра; но ты найдешь силы перенести этотъ ударъ, признайся сама». Мнѣ было невыносимо больно слушать его; я изъ этихъ словъ слышала и видѣла чувство нехорошее, слезы лились у меня изъ глазъ. Что это такое? Мнѣ начинаетъ казаться, что я созвала какія-то бѣдствія на нашу жизнь. А, между тѣмъ, совѣсть моя чиста... Неужели я довела его до такого состоянія недостаткомъ любви или... У него нѣтъ прежней вѣры въ меня, это я вижу! Неужели въ его благородной душѣ есть мѣсто чувству, котораго назвать не хочу? Неужели онъ подозрѣваетъ, что я разлюбила его и люблю другого! Господи! какъ мнѣ объяснить это ему? Я не другого люблю, а люблю его и люблю Вольдемара; симпатія моя съ Вольдемаромъ совсѣмъ иная... Странно, мнѣ казалось, что жизнь наша успокоилась, что она пойдетъ широко, полно,—и вдругъ какая-то пропасть раскрылась подъ ногами... лишь бы удержаться на краю... Тяжело... Если-бъ я умѣла хорошо, очень хорошо играть на фортепьяно, я извлекла бы тѣ звуки изъ души, которые не умѣю высказать;

Дмитрій понялъ бы меня, онъ понялъ бы, что внутри меня все чисто. Бѣдный Дмитрій! ты страдаешь за безпредѣльную любовь твою; я люблю тебя, мой Дмитрій! Если-бъ я съ самаго начала была откровенна съ нимъ, этого бы никогда не было; что за нечистая сила остановила меня? Какъ только онъ успокоится, я поговорю съ нимъ и все, все расскажу ему...

«23 *іюня*. Семень Ивановичъ, кажется мнѣ, тоже перемѣнился со мной; да что же сдѣлала я?.. Я ничего не понимаю, — ни что сдѣлала, ни что сдѣлалось. Дмитрій поспокойнѣе сегодня; я многое говорила съ нимъ, но не все; были минуты, въ которыя мнѣ казалось, что онъ понимаетъ меня, но черезъ минуту я ясно видѣла, что мы совершенно разное смотрѣли на жизнь. Я начинаю думать, что Дмитрій и прежде не вполнѣ понималъ меня, не вполнѣ сочувствовалъ,—это страшная мысль!

«24 *іюня*. *Вечеромъ, поздно*. Жизни! жизни! Среди тумана и грусти, середь болѣзненныхъ предчувствій и настоящей боли вдругъ засяетъ солнце, и такъ сдѣлается свѣтло, хорошо... Сейчасъ пошелъ Вольдемаръ; долго говорили мы съ нимъ... Онъ тоже грустенъ и много страдаетъ, и какъ понятно мнѣ каждое слово его! Зачѣмъ люди, обстоятельства придають какой-то иной характеръ нашей симпатіи, портятъ ее? Зачѣмъ они все это дѣлають?

«25 *іюня*. Вчера былъ Ивановъ день. Дмитрій былъ на именинахъ у одного учителя. Онъ воротился поздно и нетрезвый; я никогда не видала его въ такомъ положеніи. Блѣдный, съ растрепанными волосами, невѣрными шагами ходилъ онъ по спальнѣ. «Тебѣ дурно, мой другъ?» сказала я: «не дать ли тебѣ воды?»—Да,—говорилъ онъ голосомъ, задыхающимся отъ волненія, и съ выраженіемъ, совершенно чуждымъ его характеру: — если-бъ ты столько принесла воды, чтобъ утопиться можно, я бы поблагодарилъ тебя.— Я глядѣла прямо въ глаза ему, онъ смѣшался.— «Не слушай, Бога ради, что я вру»,—сказалъ онъ, испугавшись, вѣроятно, моего взгляда;— «самъ не знаю, какъ выпилъ лишній стаканъ вина, отъ этого жаръ, бредъ... Прощай, мой другъ, я отдохну здѣсь немного»,—и онъ бросился, совсѣмъ одѣтый, на диванъ и скоро заснулъ тяжелымъ сномъ. Я не спала всю ночь; глубокое страданіе выражалось на сонномъ лицѣ его; иногда онъ улыбался, но не своей улыбкой... Нѣтъ, Дмитрій, меня не обманешь! ты не случайно выпилъ лишній стаканъ вина, ты не въ бреду говорилъ твои слова, а вино только придало тебѣ жестокости, которой вовсе нѣтъ въ твоей душѣ. Что это дѣлается надъ нашими головами, Боже милосердый! Это свыше силъ человѣческихъ! Тяжело тебѣ, бѣдный Дмитрій! А мнѣ-то видѣть его страданія и знать, что причиною всего я!

«*Через три часа.* Не могу еще ничего привести въ порядокъ; въ душѣ такъ все смутно, какъ послѣ бури волны не могутъ улечься. Кровь стучить въ вискахъ, сердце бьется до того, что держу грудь. Дмитрій! и тебѣ не грѣшно такъ жалко меня понимать?! и какъ ты, бѣдный, страдаешь за это! Облегченье ему, облегченье!... Ахъ, какъ кружится голова и горитъ! Не опять ли горячка! Я говорила съ Дмитриемъ, я требовала отъ него объясненія его грусти, его поступковъ, его словъ. Да! онъ утратилъ вѣру въ меня, онъ никогда не пойметъ, что во мнѣ дѣлается. Это страшно, потому что я не могу ничего переменить... Все покрывается туманомъ, въ груди трепеть, боль. Зачѣмъ я встрѣтилась съ Вольдемаромъ?..

«*26 июня.* Какъ все странно и перепутано въ людскихъ понятіяхъ! Подумаешь иногда и не знаешь: сердиться ли, или хохотать. Мнѣ сегодня пришло въ голову, что самоотверженнѣйшая любовь — высочайшій эгоизмъ, что высочайшее смиреніе, что кротость—страшная гордость, скрытая жесткость; мнѣ самой дѣлается страшно отъ этихъ мыслей,—такъ, какъ бывало, маленькой дѣвочкой я считала себя уродомъ, преступницей за то, что не могла любить Глафиры Львовны и Алексѣя Абрамовича; что же мнѣ дѣлать, какъ оборониться отъ своихъ мыслей и зачѣмъ? Я не ребенокъ. Дмитрій не обвиняетъ меня, не упрекаетъ, ничего не требуетъ; онъ сдѣлался еще нѣжнѣе. *Еще!* вотъ въ этомъ-то *еще* и видно, что все это неестественно, не такъ; въ этомъ столько гордости и униженія для меня и такая даль отъ пониманія. Онъ очень страдаетъ, но что же сказать о той женщинѣ, которая за любовь платитъ отравой? Да, Боже мой, хотѣла ли я этого! Я говорила съ нимъ откровеннѣе, нежели бы это сдѣлала другая женщина; онъ, видимо, уступаетъ, но въ то же время у него накапливается совѣмъ другое въ душѣ, и онъ не совладаетъ съ этимъ другимъ.

«*27 июня.* Его грусть принимаетъ видъ безвыходнаго отчаянія. Въ тѣ дни послѣ грустныхъ разговоровъ являлись минуты, нѣсколько посвѣтлѣе. Теперь нѣтъ. Я не знаю, что мнѣ дѣлать. Я изнемогаю. Много надобно было, чтобъ довести этого кроткаго человѣка до отчаянія,—я довела его, я не умѣла сохранить эту любовь. Онъ не вѣритъ больше словамъ моей любви, онъ гибнетъ. Умереть бы мнѣ теперь... сейчасъ, сейчасъ бы умерла!

«Я начинаю себя презирать; да, хуже всего, непонятнѣе всего, что у меня совѣсть покойна; я нанесла страшный ударъ человѣку, котораго вся жизнь посвящена мнѣ, котораго я люблю, и я сознаю себя только несчастной; мнѣ кажется, было бы легче, если-бъ я поняла себя преступной,—о, тогда бы я бросилась къ его ногамъ, я обвила бы моими руками его колѣни, я раскаяніемъ своимъ загла-

дила бы все: раскаяніе выводитъ всѣ пятна на душѣ. Онъ такъ нѣ-женъ, онъ не могъ бы противиться, онъ меня бы простилъ, и мы, выстрадавши другъ друга, были бы еще счастливыѣ. Что же это за проклятая гордость, которая не допускаетъ раскаянія въ душу? Мнѣ хотѣлось бы теперь быть одной, гдѣ-нибудь вдали,—только бы Яшу взяла съ собой; я бродила бы гдѣ-нибудь между чужими людьми и окрѣпла бы... Ты не найдешь, Дмитрій, примиренія въ своей душѣ. Ахъ, другъ мой, я отдала бы всю кровь мою до послѣдней капли, если-бъ ты могъ, хотѣлъ понять меня,—какъ тебѣ было бы хорошо! Ты падешь жертвой твоего восторженного непониманія, я пойду за тобой въ эту пропасть, пойду, потому что люблю тебя, потому что подземныя силы меня избрали для твоей гибели. Подчасъ мнѣ кажется, что два-три слова съ Вольдемаромъ облегчили бы меня, и я боюсь искать случая съ нимъ видѣться. Вотъ что сдѣлали толки! Они успѣли бросить страхъ и въ меня, успѣли отравить свѣтлое и благородное чувство. Да отпустится имъ! Семень Ивановичъ ко-венно читалъ мнѣ мораль... О, добрый Семень Ивановичъ! Мнѣ такъ жаль его было: ничего не понимаетъ, говоритъ о святыхъ обязанностяхъ матери... Неужели ему не приходитъ въ голову, что я иногда думала объ этомъ? Участіе людское оскорбительнѣе людского холода... Дружба считаетъ лучшимъ правомъ своимъ привязать друга къ позорному столбу... Потомъ требовать исполненія совѣтовъ, какъ бы они ни были противны тому, которому совѣтуютъ... Ахъ, какъ все это мелко! Фу, душно, какъ въ маленькой комнаткѣ, когда всѣ окна закрыты да еще мухи летаютъ!..»

Если-бъ Бельтовъ не пріѣзжалъ въ NN, много бы прошло счастливыхъ и покойныхъ лѣтъ въ тихой семьѣ Дмитрія Яковлевича, — конечно, но это не утѣшительно; идучи мимо обгорѣлаго дома, почернѣвшаго отъ дыма, безъ рамъ, съ торчащими трубами, мнѣ самому приходило иной разъ въ голову: если-бъ не запала искра да не раздулась бы въ пламень, домъ этотъ простоялъ бы много лѣтъ и въ немъ бы пировали, веселились, а теперь онъ — груда камней.

Повѣсть наша, собственно, кончена; мы можемъ остановиться, предоставляя читателю разрѣшить: *кто виноватъ?* Но есть еще нѣсколько подробностей, которыя кажутся намъ довольно занимательными; позвольте ими подѣлиться. Обращаемся сначала къ бѣдному Круциферскому.

Круциферскій, вскорѣ послѣ болѣзни своей жены, замѣтилъ, что какая-то мысль ее сильно занимаетъ; она была задумчива,

безпокойна... Въ ея лицѣ было что-то, болѣе гордое и сильное, нежели всегда. Крциферскому приходили разныя объясненія въ голу, странныя, невѣроятныя; онъ внутренно смѣялся надъ ними, но они возвращались.

Разъ какъ-то она сидѣла съ Яшей; вдругъ въ передней стукнула дверь, и кто-то спросилъ: дома? «Это Бельтовъ»,—сказалъ Крциферскій, поднимая глаза, и глаза его встрѣтили легкій румянецъ на лицѣ Любови Александровны и оживленный взглядъ, который, кажется, былъ не для него такъ оживленъ. Онъ содрогнулся и промолчалъ. Онъ очень хорошо зналъ, что жена его была въ большой дружбѣ съ Бельтовымъ, и нисколько не удивлялся этому; но этотъ взглядъ, но эта краска, пробѣжавшая по ея лицу? Неужели?—думалъ онъ,—и снова посмотрѣлъ на то, что дѣлалось. Бельтовъ ласкалъ Яшу; но что за взоръ, исполненный нѣжности и страсти, онъ остановилъ на матери! Въ этомъ взорѣ одинъ слѣпой не прочелъ бы любви, любви пламенной и еще болѣе—любви счастливой. Она стояла, потупивши глаза; руки ея немного дрожали; ей, кажется, было очень хорошо. Дмитрій Яковлевичъ, сказавши нѣсколько словъ, вышелъ въ другую комнату. Неужели это правда?—спрашивалъ онъ себя, испуганный; у него въ головѣ сдѣлался такой сумбуръ, въ ушахъ такой стукъ, что онъ поскорѣе сѣлъ на кровать; посидѣвши минутъ пять, въ которыя онъ ничего не думалъ, а чувствовалъ какое-то нелѣпо-тяжелое состояніе, онъ вошелъ въ комнату; они разговаривали такъ дружески, такъ симпатично,—ему показалось, что имъ вовсе его не нужно. Онъ сталъ ходить по комнатѣ и вспоминать разныя мелочи, едва обратившія въ свое время вниманіе, но являвшіяся теперь, какъ доказательства, какъ подтвержденія. Когда Бельтовъ пошелъ, она его проводила, она ему улыбнулась, и какъ улыбнулась! Да, она его любитъ. Сознавшись въ этомъ, онъ съ ужасомъ сталъ отталкивать эту мысль, но она была упорна, она всплыла; мрачное, безумное отчаяніе овладѣло имъ; «вотъ они, мои предчувствія! что мнѣ дѣлать? и ты, и ты не любишь меня!» И онъ рвалъ волосы на головѣ, кусалъ губы, и вдругъ въ его душѣ, мягкой и нѣжной, открылась страшная возможность злобы, ненависти, зависти и потребность отмстить, и въ дополненіе онъ нашелъ силу все это скрыть. Настала ночь; ему очень хотѣлось плакать, но не было слезъ; минутами сонъ смыкалъ его глаза, но онъ тотчасъ просыпался, облитый холоднымъ потомъ: ему снился Бельтовъ, ведущій за руку Любовь Александровну, съ своимъ взглядомъ любви; и она идетъ, и онъ понимаетъ, что это навсегда,—потомъ опять Бельтовъ, и она улыбается ему, и все такъ страшно; онъ всталъ. На дворѣ разсвѣтало; она спала,

лицо ея было покойно; лицо спящаго имѣетъ иногда особенную трогательную прелесть,—таково, дѣйствительно, въ эту минуту было лицо Любви Александровны, и вдругъ улыбка показалась на устахъ. «Она видитъ его во снѣ»,—подумалъ Круциферскій и посмотрѣлъ на нее съ такою ненавистью, съ такимъ звѣрствомъ, что, не имѣй онъ миролюбивыхъ привычекъ нашего вѣка, онъ задушилъ бы ее не хуже венеціанскаго мавра; у насъ трагедіи оканчиваются не такъ круто. «За эту безпредѣльную любовь, чѣмъ она заплатила? О, Боже мой, Боже мой!—за такую любовь!»—повторялъ онъ и, какъ будто, желалъ уйти отъ себя и отъ страшныхъ искушеній; онъ подошелъ къ кроваткѣ. Яша разбросался, подложилъ ручонку подъ щеку и крѣпко спалъ. «Ты скоро останешься сиротой»,—думалъ, стоя передъ нимъ, Дмитрій Яковлевичъ:—«бѣдный Яша!.. Я тебѣ больше не отецъ, не могу и не хочу перенести этого, бѣдный ребенокъ! поручаю тебя Заступнику всѣхъ сиротъ... Какъ онъ похожъ на нее!»—Онъ заплакалъ. Слезы, молитва и покойный видъ спящаго Яши нѣсколько облегчили страдальца; толпа совѣмъ иныхъ мыслей явилась въ размягченной душѣ его. «Да правъ ли я, что обвиняю ее? Развѣ она хотѣла его полюбить? И притомъ онъ... я чуть ли самъ не влюбленъ въ него...»—И нашъ восторженный мечтатель, сейчасъ безумный ревнивецъ, карающій мужъ, вдругъ рѣшился самоотверженно молчать. «Пусть она будетъ счастлива, пусть она узнаетъ мою самоотверженную любовь, лишь бы мнѣ ее видѣть, лишь бы знать, что она существуетъ; я буду ея братомъ, ея другомъ!»... И онъ плакалъ отъ умиленія, и ему стало легче, когда онъ рѣшился на гигантскій подвигъ, на безпредѣльное пожертвованіе собою,—и онъ тѣшился мыслию, что она будетъ тронута его жертвой. Но это были минуты душевной натянутости: онъ менѣе, нежели въ двѣ недѣли, изнемогъ, палъ подъ бременемъ такой ноши.

Не станемъ винить его; подобныя противоестественныя добродѣтели, преднамѣренныя самозакланія вовсе не по натурѣ чело-вѣка и бываютъ большею частью только въ воображеніи, а не на дѣлѣ. На нѣсколько дней его стало; но первая мысль, ослабившая его героизмъ, была холодная и узкая: «она думаетъ, я ничего не вижу, она хитритъ, она притворяется».—О комъ думалъ онъ это? О женщинѣ, которую онъ такъ любилъ, такъ уважалъ, которую долженъ бы былъ знать, да не зналъ. Потомъ внутренняя тоска, снѣдавшая его сама по себѣ, стала прорываться въ словахъ, потому что слова облегчаютъ грусть,—это повело къ объясненіямъ, въ которыхъ ни онъ не умѣлъ остановиться, ни Любовь Александровна не захотѣла бы. Тяжело ему стало послѣ разговоровъ съ нею; онъ миновалъ быть съ глазу на глазъ, и между тѣмъ въ от-

шельнической жизни своей они почти всегда были вдвоемъ. Онъ пробовалъ больше заниматься, но ему наука не шла въ голову, книга не читалась или пока глаза его читали, воображеніе вызывало свѣтлыя воспоминанія былого, и часто слезы лились градомъ на листы какого-нибудь ученаго трактата. Въ душѣ его открылась какая-то пустота, которой предѣлы, словно, раздвигались съ каждымъ часомъ и жить съ которой было невозможно. Онъ сталъ искать разсѣянія. Мы видѣли въ журналѣ, какъ онъ возвратился въ Ивановъ день съ вечера ученаго друга своего, Медузина.

Кстати, для отдыха отъ патетическихъ мѣстъ, пойдете въ ученую бесѣду Медузина и начнемъ съ того, безъ чего войти въ нее нельзя: познакомимся съ почтеннымъ хозяиномъ. Знакомство это такъ пріятно, что мы отдѣлимъ его въ новую главу.

VI.

Иванъ Аѳанасьевичъ Медузинъ, учитель латинскаго языка и содержатель частной школы, былъ прекраснѣйшій человѣкъ и вовсе не похожъ на Медузу,—снаружи потому, что онъ былъ плѣшивъ, внутри потому, что онъ былъ полонъ не злобой, а настойкой. Медузинымъ его назвали въ семинаріи, во-первыхъ, потому, что надобно было какъ-нибудь назвать, а, во-вторыхъ, потому, что у будущаго ученаго мужа волосы торчали всѣ врознь и отличались необыкновенной толщиной, такъ что ихъ можно было принять за проволоки, но сокрушающая сила времени «и вѣтеръ ихъ разнесъ». Изъ семинаріи Иванъ Аѳанасьевичъ, сверхъ пріятной мифологической фамилии, вынесъ то прочное образованіе, которое обыкновенно сопровождаетъ семинаристовъ до послѣдняго дня ихъ жизни и кладетъ на нихъ ту самобытную печать, по которой вы узнаете бывшаго семинариста во всѣхъ нарядахъ. Аристократическія манеры не были отличительнымъ свойствомъ Медузина: онъ никогда не могъ рѣшиться ученикамъ говорить «вы» и не прибавлять въ разговорѣ словъ, мало употребляемыхъ въ высшемъ обществѣ. Ивану Аѳанасьевичу было лѣтъ пятьдесятъ. Сначала онъ былъ учителемъ въ разныхъ домахъ, наконецъ, дошелъ до того, что завелъ свою собственную школу. Однажды пріятель его, учитель, тоже изъ семинаристовъ, по прозванію Кафернаумскій, отличавшійся тѣмъ, что у него съ самаго рожденія не проходилъ потъ и что онъ въ 30 градусовъ мороза безпрестанно утирался, а въ 30° жара у него просто открывалась капель съ лица,—встрѣтивъ Ивана Аѳанасьича въ классѣ, сказалъ ему, нарочно при свидѣтеляхъ:

— А вѣдь, кажется, Иванъ Аѳанасьичъ, день тезоименитства вашего, если не ошибаюсь, приближается. Конечно, мы отпразднуемъ его и нынѣ по принятому уже вами обыкновенію?

— Увидимъ, почтеннѣйшій, увидимъ, — отвѣчалъ Иванъ Аѳанасьевичъ съ усмѣшкой и на этотъ разъ рѣшился почему-то великолѣпнѣе обыкновеннаго отпраздновать свои именины.

Хозяйство Ивана Аѳанасьевича не было *монтировано*. Онъ жилъ лѣтъ пятнадцать безвыѣздно въ NN, но можно было думать, что онъ только вчера пріѣхалъ въ городъ и не успѣлъ ничего завести. Это было не столько отъ скупости, сколько отъ совершеннаго невѣдѣнія вещей, потребныхъ для человѣка, живущаго въ гражданскомъ обществѣ. Приготовляясь дать балъ, онъ осмотрѣлъ свое хозяйство: оказалось, что у него было шесть чайныхъ чашекъ, изъ нихъ двѣ превратились въ стаканчики, потерявъ единственныя ручки свои; при нихъ всѣхъ состояли три блюдечка; былъ у него самоваръ, нѣсколько тарелокъ, колеблющихся на столѣ, потому что кухарка накупила ихъ изъ брака, два стаканчика на ножкахъ, которые Медузинъ скромно называлъ «своими водочными рюмками», три чубука, заткнутыхъ какой-то грязью, — вѣроятно, чтобъ не было сквозного вѣтра внутри нихъ. Вотъ и все. А онъ называлъ всѣхъ школьныхъ учителей; долго думалъ онъ, какъ быть, и наконецъ, позвалъ кухарку свою, Пелагею (замѣтьте, что онъ никогда не называлъ Палагеей, а, какъ слѣдуетъ, Пелагеей; равно слово «четвертокъ» и «пятюкъ» онъ не замѣнялъ изнѣженными «четвергъ» и «пятница»).

Пелагея была супруга одного храбраго воина, ушедшаго черезъ недѣлю послѣ свадьбы въ милицію и съ тѣхъ поръ не сыскавшаго времени ни воротиться, ни написать вѣсть о смерти своей, чѣмъ самымъ онъ оставилъ Пелагею въ весьма непріятномъ положеніи вдовы, состоящей въ подозрѣніи, что ея мужъ живъ. Я имѣю тысячу причинъ думать, что толстая, высокая, повязанная платкомъ и украшенная бородавками и очень темными бровями, Пелагея имѣла въ завѣдованіи своемъ не только кухню, но и сердце Медузина, но я вамъ ихъ не скажу потому, что тайны частной жизни для меня священны. Она явилась. Онъ объяснилъ ей свое затруднительное положеніе.

— Экъ, вѣдь, лукавый-то васъ, — отвѣчала Пелагея, — а туда же ученые! Какъ, прости Господи, мальчишка, точно не разумный: эдакую ораву назвать, а другой разъ десяти копѣекъ на портомойное не выпросишь! Что теперь станемъ дѣлать? Передъ людьми-то срамъ: точно погорѣлое мѣсто.

— Пелагея! — возразилъ громкимъ голосомъ Медузинъ, — не

употребляя во зло терпѣніе мое; именины править съ друзьями хочу и сдѣлаю; возраженій бабьихъ не терплю.

Вліяніе Цицерона было бы замѣтно каждому, но Пелагея, взволнованная вѣстью о праздникѣ, не думала о Цицеронѣ.

— Конечно, мы и замолчимъ; дѣло ваше,—хоть въ окно бросайте деньги, коли блесирь доставляетъ. Дайте пятьдесятъ рублей,— всего искуплю, кромѣ напитковъ.

Пелагея очень хорошо знала, что Медузину не понравится ея отвѣтъ, а потому, сказавши это, она съ глубокимъ чувствомъ собственного достоинства подперла одну руку другой, а первой рукой щеку и спокойно ожидала дѣйствія своихъ словъ.

— Пятьдесятъ рублей на эту дрянь! Да ты—того,хватила, что ли, черезъ край? Пятьдесятъ рублей безъ напитковъ! Вздоръ какой! баба глупая! никакого совѣта не умѣетъ дати! Такъ ступай же къ отцу Іоанникію пригласить его ко мнѣ 24 числа и попроси у него посуды на вечеръ.

— Куда хорошо по дворамъ шляться за посудой!

— Пелагея! знакомый тебѣ это человекъ? — спросилъ Медузинъ, указывая на сучковатую трость въ углу.

Пелагея, увидѣвшись съ знакомымъ, пошла въ кухню надѣтъ капотъ, шелковый платокъ и потомъ съ ворчаніемъ отправилась къ отцу Іоанникію; а Медузинъ сѣлъ за письменный столъ и просидѣлъ съ часъ въ глубокой задумчивости; потомъ вдругъ «обошелся посредствомъ руки», схватилъ бумагу и написалъ,—вы думаете, комментарий къ «Энеидѣ» или къ Евтропѣевой ¹⁾ краткой исторіи, и ошибается... Вотъ онъ что написалъ:

1. Россійская грамматика и логика	много употребл.
2. Исторія и географія	употребляетъ довольно
3. Чистая математика.	плохъ
4. Французскій языкъ	виноградн. много
5. Нѣмецкій языкъ . . .	пива очень много
6. Рисованіе и чистописаніе	одну настойку
7. Греческій языкъ ²⁾ .	все употребляетъ

Послѣ этихъ антропологическихъ отмѣтокъ Иванъ Аѳанасьевичъ написалъ соотвѣтственную имъ программу:

Ведро сантуринскаго	16 руб. — коп.
¹ / ₂ ведра настойки .	8 » — »
¹ / ₂ ведра пива	4 » — »

¹⁾ Евтропій, римскій историкъ.

²⁾ У меня было написано «отецъ законоучитель»... цензура замѣнила его греческимъ учителемъ!—А. И. Г

2 бутылки меду .	— руб. 50 коп.
Судацкаго 10 бутылокъ.	10 » — »
3 бутылки ямайскаго .	4 » —
Сладкой водки штофъ	. . 2 » 50 »
<hr/>	
Итого: 45 руб. — коп.	

Медузинъ былъ доволенъ смѣтой: не то, чтобъ очень дорого, а выпить довольно; сверхъ того, онъ ассигновалъ значительныя деньги на покупку вязиги для пироговъ, ветчины, паюсной икры, лимоновъ, селедокъ, курительнаго табаку и мятныхъ пряниковъ,— послѣднее уже не по необходимости, а изъ роскоши.

Гости собрались въ седьмомъ часу. Въ девять съ Кафернаумскаго шелъ уже проливной дождь; въ десять учитель географіи, разговаривая съ учителемъ французскаго языка о кончинѣ его супруги, померъ со смѣху и не могъ никакъ понять, что собственно смѣшного было въ кончинѣ этой почтенной женщины, но всего замѣчательнѣе то, что и французъ, неутѣшный вдовецъ, глядя на него, расхохотался, несмотря на то, что онъ употреблялъ одно виноградное. Медузинъ показывалъ самъ примѣръ гостямъ: онъ пилъ безпрестанно и все, что ни подавала Пелагея,—пуншъ и пиво, водку и сантуринское, даже успѣлъ хватить стаканъ меду, котораго было только двѣ бутылки; ободренные такимъ примѣромъ гости не отставали отъ хозяина. Одинъ Круциферскій, приглашенный хозяиномъ для почета, потому что онъ принадлежалъ къ высшему ученому сословію въ городѣ, одинъ Круциферскій не бралъ участія въ общемъ шумѣ и гамѣ: онъ сидѣлъ въ углу и курилъ трубку. Зоркій взглядъ хозяина добрался, наконецъ, до него.

— Дмитрій Яковлевичъ, вы-то что же пуншику-то съ лимончикомомъ!?. ну, что, право, сидите, голову повѣся, сами не пьете, другимъ мѣшаете.

— Вы знаете, Иванъ Аванасьевичъ, что я никогда не пью.

— И знать, любезнѣйшій мой, не хочу такого вздору! пьешь не пьешь, а съ друзьями выпить надобно; дружеская бесѣда, да... Пелагея, подай стаканъ пуншу да гораздо покрѣпче.

Послѣднее замѣчаніе, вѣроятно, хозяинъ основалъ на томъ, что Круциферскій и послабже не хотѣлъ.

Принесла Пелагея стаканъ кизлярки, въ которой лежалъ, должно быть, мертво-пьяный кусокъ лимону и въ которой безслѣдно пропали нѣсколько чайныхъ ложекъ кипятку. Круциферскій взялъ стаканъ, чтобы отдѣлаться отъ хозяина въ надеждѣ, что найдеть случай три четверти выплеснуть за растворенное окно. Это было не такъ легко, потому что Медузинъ, посадивши кого-то за себя поиграть въ бостонъ, подсѣлъ къ Круциферскому.

— Вотъ, Дмитрій Яковлевичъ, я тебѣ искренно скажу, ты меня обязалъ, истинно дружески обязалъ, а то какъ въ твои лѣта сидишь дома на заперти; конечно, у тебя есть тамъ хозяйюшка молодая, ну, да, вѣдь, надобно же и въ свѣтъ-то иной заглянуть. Ну, дай же, Дмитрій Яковлевичъ, я тебя за это поцѣлую,—и не дожидаясь разрѣшенія и несмотря на то, что отъ него пахло точно изъ растворенной двери питейнаго дома, вылитографировалъ довольно отчетливо толстыя губы свои на щекѣ Круциферскаго. А вслѣдъ затѣмъ, не говоря худого слова, обнялъ Дмитрія Яковлевича и Кафернаумскій, съ котораго потъ лился ручьями. Желая просушить лицо, безъ явной обиды собрату по просвѣщенію юношества, Круциферскій отошелъ въ уголъ и вынулъ платокъ. Спиною къ нему стоялъ неутѣшный вдовецъ и учитель французскаго языка съ Густавомъ Ивановичемъ, учителемъ нѣмецкаго языка, который въ сію минуту былъ налить пивомъ до конца ногтей и курилъ трубку съ перышкомъ. Ни тотъ, ни другой не замѣтили Круциферскаго и продолжали въ полголоса разговоръ. Само собою разумѣется, что Круциферскому вовсе не хотѣлось подслушать, что они говорятъ, но фамилія Бельтова, произнесенная довольно громко, рядомъ съ его собственной, заставила его вздрогнуть и инстинктивно прислушаться.

— Это старый штука, — говорилъ французъ, посладивши какъ-то всѣ русскія буквы:—и если Аданъ не носилъ рокъ, то это отъ того, что онъ билъ одна мушина въ Эденъ.

— Та,—отвѣчалъ Густавъ Ивановичъ:—та! этотъ Пельгтофъ, это точна Тонъ-Шуанъ, — и черезъ минуту громко расхохотался; минуту эту, по нѣмецкому обычаю, онъ провелъ въ глубокомысленномъ обсуживаніи, что сказалъ французскій учитель объ Адамѣ; добравшись, наконецъ, до смысла, Густавъ Ивановичъ громко расхохотался и, вынимая изъ чубука перышко, совершенно разгрызенное его германскими зубами, присовокупилъ съ большимъ довольствомъ: «ich habe die Pointe, sehr gut!».

Но наибольшее дѣйствіе этотъ рассказъ сдѣлалъ не на Густава Ивановича, а на человѣка, который почти не слыхалъ его, т. е. на Круциферскаго. Что это значить,—эти двѣ фамиліи, рядомъ поставленныя? Да какъ же это? неужели страшная тайна, которую онъ едва подозрѣвалъ, въ которой онъ себѣ не смѣлъ признаться, сдѣлалась площадною сплетней? Да точно ли они говорили это? Конечно, говорили,—и вотъ они стоятъ еще на томъ же мѣстѣ и Густавъ Ивановичъ продолжаетъ хохотать... Круциферскому показалось, что у него въ груди что-то оборвалось и что грудь наполняется горячей кровью, и все она подступаетъ выше и выше, и скоро хлынетъ ртомъ... Голова у него кружилась, передъ глазами

прыгали огоньки, онъ боялся встрѣтиться съ кѣмъ-нибудь взглядомъ, онъ боялся упасть на полъ и прислонился къ стѣнѣ... Вдругъ чья-то тяжелая рука схватила его за рукавъ; онъ весь содрогнулся; что еще будетъ?—думалъ онъ.

— Нѣтъ, любезный Дмитрій Яковлевичъ, честные люди такъ не поступаютъ,—говорилъ Иванъ Аванасьевичъ, держа одной рукой Круциферскаго за рукавъ, а другою стаканъ пуншу; — нѣтъ, дружище! припрятался къ сторонкѣ да и думаешь, что правъ. У меня такой законъ: бери, не бери,—твоя воля, а взялъ, такъ пей.

Круциферскій, долго всматриваясь и вслушиваясь — въ родѣ того, какъ Густавъ Ивановичъ изучалъ замѣчаніе французскаго учителя,—наконецъ, смутно понялъ, въ чемъ дѣло, взялъ стаканъ, выпилъ его разомъ и расхохотался.

— Вотъ люблю,—можно чести приписать; каковъ? а говорить, не пью,—экой хитрецъ! Ну, Дмитрій Яковлевичъ, Митя, выпей еще стаканчикъ... Пелагея, — присовокупилъ Медузинъ, вытаскивая изъ стакана Круциферскаго собственнымъ (обходительнымъ) пальцемъ своимъ кусокъ лимона:—еще пуншу да покрѣпче... Выпьешь?

— Давайте.

— Bravo, bravo!

И Медузинъ только потому не поцѣловалъ Круциферскаго, что ротъ его былъ занятъ лимономъ, который онъ съѣлъ съ кожей и съ косточками, прибавляя въ видѣ объяснительнаго комментарія: «кисленькое-то славно, когда фундаментъ выведенъ».

Пуншъ принесли, Круциферскій выпилъ его, какъ стаканъ воды. Никто не замѣтилъ, что онъ былъ блѣденъ, какъ воскъ, и что посинѣлыя губы у него дрожали,—можетъ, потому что гостямъ казалось, что весь земной шаръ дрожить.

Между тѣмъ, какъ дѣло шло на пулюку, неумолимая Пелагея принесла на маленькій столикъ подносъ съ графиномъ и стаканчиками на ножкахъ, потомъ тарелку съ селедками, пересыпанными лукомъ. Селедки хотя и были нарублены поперекъ, но, впрочемъ, не лишены ни позвоночнаго столба, ни реберъ, что имъ придавало особенную, очень пріятную остроту. Игра кончилась мелкимъ проигрышемъ и крупнымъ ругательствомъ между людьми, жившими вмѣстѣ цѣлый бостонъ. Медузинъ былъ въ выигрышѣ, а, слѣдовательно, въ самомъ лучшемъ расположеніи духа.

— Полноте, полноте!—кричалъ онъ.—Пойдемте-ка лучше, да съ божьимъ благословеніемъ хватимте кантафреснаго.

Иванъ Аванасьевичъ постоянно называлъ настойку кантафреснымъ, почему,—не знаю, но полагаю, по достаточнымъ и вѣрнымъ латинскимъ источникамъ.

Гости отправились къ столу.

— Дмитрій Яковлевичъ! ужь, вѣрно, ты не откажешься и отъ кантафреснаго?

— Давайте и кантафреснаго!—отвѣчалъ Круциферскій и опрокинулъ въ горло огромную рюмку пѣнника, испорченнаго разными травами, отвратительными на вкусъ и полезными, какъ думаютъ легковѣрные люди, для желудка.

Восторгъ гостей былъ неописанный, но Пелагея принесла баснословной величины пирогъ съ вязигой... Я, впрочемъ, полагаю, что мы довольно ознакомились съ характеромъ валтасаровскаго праздника, которымъ Медузинъ праздновалъ свое тезоименитство; тѣмъ болѣе не считаю нужнымъ описывать продолженіе его, что могу увѣрить читателей въ томъ, что праздникъ продолжался совершенно въ томъ же направленіи и на тѣхъ же основаніяхъ.

На другой день Круциферскій имѣлъ длинный разговоръ съ Любовью Александровной; она поднялась въ его глазахъ опять такъ высоко, такъ недосыгаемо высоко; онъ былъ способенъ понять и оцѣнить ее... Но что-то отлетѣло между ними, и страшная мысль: «объ этомъ говорятъ»—уничтожала его. Онъ, впрочемъ, насчетъ этого не сказалъ ей ни слова; ему было тяжело съ ней говорить и онъ торопился въ гимназію; пришедши туда прежде окончанія другой лекціи, онъ стоялъ у окна въ рекреационной залѣ. Давно ли онъ такъ спокойно смотрѣлъ изъ этого окна, давно ли на верху человеческого счастья онъ такъ торопился бѣжать домой? И вдругъ все переѣнилось: онъ хотѣлъ бы бѣжать изъ дому... И между тѣмъ онъ былъ подавленъ ея величіемъ и силой, онъ понималъ, что она страдаетъ не меньше его, но что она скрываетъ эти страданія изъ любви къ нему... Изъ любви ко мнѣ! Но развѣ она любитъ меня, развѣ можно любить бревно, лежащее на дорогѣ къ счастью?... За чѣмъ я не умѣлъ скрыть, что все знаю? если-бъ я былъ осторожнѣе, она не столько бы страдала, а я все сдѣлалъ бы, чтобъ она была счастлива; но что же дѣлать? бѣжать, бѣжать—куда?.

Его остановилъ Анемподистъ Кафернаумскій. Онъ, видимо, еще не оправился отъ вчерашняго раута; глаза у него были красны и окружены какимъ-то пухлымъ кругомъ, какъ бываетъ луна зимою въ морозные дни, на щекахъ и носу проступали сизыя пятна.

— Что, почтеннѣйшій,—сказалъ Кафернаумскій, отирая потъ съ лица,—трещить?

Круциферскій промолчалъ.

— Я самъ едва живъ.

«Видала ль ты обломки корабля?

«Видала, но почто? Се жизнь теперь моя...

— Каковъ-сь Медузинъ-то? Старый песь, расходился какъ! Да вы, Дмитрій Яковлевичъ, поправлялись? То есть, клинь клиномъ-то...

— Какъ, поправлялся ли?

— А вотъ, я вамъ покажу какъ; и видно, что еще новичокъ! Пойдемте-ка ко мнѣ. Я, вѣдь, тутъ возлѣ живу—

«Ради рома и арака

«Посѣти домишко мой.

Круциферскій отправился къ Кафернаумскому. Зачѣмъ? Этого онъ самъ не зналъ. Кафернаумскій вмѣсто рома и арака предложилъ рюмку пѣннику и огурцы. Круциферскій выпилъ и, къ удивленію, увидѣлъ, что, въ самомъ дѣлѣ, у него на душѣ стало легче; такое открытіе, разумѣется, не могло быть болѣе кстати, какъ въ то время, когда безвыходное горе развѣдало его.

Часовъ въ десять съ небольшимъ Семень Ивановичъ Круповъ явился въ небольшую залу «города Кересбергъ» и принялся прохаживаться взадъ и впередъ, съ лицомъ озабоченнымъ и сердитымъ. Минуть черезъ пять дверь изъ комнаты Бельтова отворилась, и вышелъ Григорій, со щеткой въ рукѣ и съ пальто на рукѣ.

— Что, небось, еще спитъ?

— Сейчасъ проснулись,—отвѣчалъ Григорій.

— Скажи ему, что я пришелъ и имѣю до него дѣло.

— Семень Ивановичъ!—закричалъ Бельтовъ.—Семень Ивановичъ! милости просимъ,—и показался въ дверяхъ.

— Имѣете вы,—спросилъ онъ,—полчаса времени для меня?

— Хоть цѣлый день!—отвѣчалъ Бельтовъ.

— Да не помѣшалъ ли я вамъ? Вы, кажется, по утрамъ занимаетесь политической экономіей, что ли?

Старикъ нисколько не скрылъ ироническій тонъ вопроса.

— Вы, кажется, сегодня и рано встали съ постели, да только лѣвой ногой,—замѣтилъ Бельтовъ, до высочайшей степени кротко принимавшій замѣчанія стараго ворчуна.

— Стало, я всталъ съ той ноги, съ которой хотѣлъ.

— Итакъ,—сказалъ Бельтовъ, указывая на дверь.

Круповъ молча вошелъ въ нее.

— Владиміръ Петровичъ!—началъ Круповъ, и сколько онъ ни

хотѣлъ казаться холоднымъ и спокойнымъ, не могъ,—я пришелъ съ вами поговорить не сбрызгу, а очень подумавши о томъ, что дѣлаю. Больно мнѣ вамъ сказать горькія истины, да, вѣдь, не легко и мнѣ было, когда я ихъ узналъ. Я на старости лѣтъ остался въ дуракахъ; такъ ошибся въ человѣкѣ, что мальчику въ шестнадцать лѣтъ надобно было бы краснѣть.

Бельтовъ смотрѣлъ на старика съ удивленіемъ.

— Коли я ужъ началъ говорить, такъ буду, какъ македонскій солдатъ, вещи называть своимъ именемъ, а тамъ, что будетъ,— не мое дѣло; я старъ, однако, трусомъ меня никто не назоветъ, да и я изъ трусости не назову неблагороднаго поступка благороднымъ.

— Послушайте, Семень Ивановичъ! я увѣренъ, что вы не трусь, да еще болѣе увѣренъ въ томъ, что и меня вы не считаете за труса, но мнѣ бы очень было непріятно стать въ необходимость доказывать это вамъ, котораго я искренно уважаю; я вижу, вы раздражены, а потому, что бы ни было, сдѣлаемте условіе не употреблять грубыхъ выраженій; они имѣютъ странное свойство надомной: они меня заставляють забыть все хорошее въ томъ, кто унижается до ругательствъ. Бранью вы ничего не объясните, а потому къ дѣлу и извините за aviso ¹⁾).

— Хорошо-съ; я буду, милостивый государь, вѣжливъ, чрезвычайно вѣжливъ. Позвольте мнѣ имѣть смѣлость, Владиміръ Петровичъ, васъ спросить: знаете вы или нѣтъ, что вы разрушили счастье семьи, на которую я четыре года ходилъ радоваться, которая мнѣ замѣняла мою собственную семью? вы отравили ее, вы сдѣлали разомъ четырехъ несчастныхъ. Изъ сожалѣнія къ вашему одиночеству я ввелъ васъ въ эту семью; васъ приняли, какъ родного, васъ отогрѣли тамъ, а вы чѣмъ отблагодарили? Извольте знать, мужъ не нынче, завтра повѣсится или утопится,—не знаю, въ водѣ или винѣ; она будетъ въ чахоткѣ,—за это я вамъ отвѣчаю; ребенокъ останется сиротою на чужихъ рукахъ,—и, въ довершеніе, весь городъ трубитъ о вашей побѣдѣ. Позвольте же и мнѣ васъ поздравить!

Благородный старикъ дрожалъ отъ гнѣва, говоря послѣднія слова.

— А, можетъ, вамъ это ничего съ высшей точки зрѣнія?—прибавилъ онъ, погода немного.

Бельтовъ всталъ съ дивана и быстро ходилъ по комнатѣ; потомъ онъ вдругъ остановился передъ старикомъ.

¹⁾ Предупрежденіе.

— Позвольте мнѣ васъ теперь спросить, кто вамъ далъ право такъ дерзко и такъ грубо дотрогиваться до святѣйшей тайны моей жизни? Почему вы знаете, что я не вдвое несчастнѣе другихъ? Но я забываю вашъ тонъ; извольте, я буду говорить. Что вамъ отъ меня надобно знать? Люблю ли я эту женщину? Я люблю ее! Да, да! тысячу разъ повторяю вамъ: я люблю всѣми силами души моей эту женщину! Я ее люблю, слышите?

— Такъ зачѣмъ же вы ее губите? Если-бъ вы были чело-вѣкъ съ душою, вы остановились бы на первой ступени, вы не дали бы замѣтить своей любви! Зачѣмъ вы не оставили ихъ домъ? Зачѣмъ?

— Вы проще спросите: зачѣмъ я живу вообще? Дѣйствительно, не знаю! Можетъ, для того, чтобъ сгубить эту семью, чтобъ погубить лучшую женщину, которую я встрѣчалъ. Вамъ все это легко и спрашивать, и осуждать. Видно, въ васъ сердце-то смолоду было тихо, а то бы осталось хоть что-нибудь въ воспоминаніи. Извольте, я буду отвѣчать на ваши вопросы. Да! я чувствую теперь потребность не оправдываться,—я не признаю надъ собою суда, кромѣ меня самого,—а говорить; да сверхъ того, вамъ нечего больше мнѣ сказать: я понялъ васъ; вы будете только пробовать тѣ же вещи облекать въ болѣе и болѣе оскорбительную форму; это, наконецъ, раздражитъ насъ обоихъ, а, право, мнѣ не хотѣлось бы поставить васъ на барьеръ, между прочимъ, потому, что вы нужны, необходимы для этой женщины.

— Говорите, говорите, я буду слушать.

— Я пріѣхалъ сюда въ одну изъ самыхъ тяжелыхъ эпохъ моей жизни. Въ послѣднее время я разстался съ заграничными друзьями; здѣсь не было ни одного чело-вѣка, близкаго мнѣ; я толкнулся къ нѣкоторымъ въ Москвѣ—ничего общаго! Это укрѣпило меня еще болѣе въ намѣреніи ѣхать въ NN. Вы знаете, что здѣсь было, и весело ли я жилъ? Вдругъ я встрѣчаю эту женщину... Вы ее любите, уважаете, но вы ее совсѣмъ не знаете,—такъ точно, какъ не знаете меня. Вы дорого оцѣнили ея семейное счастье, ея любовь къ мужу, къ ребенку,—только, не сердитесь,—есть минуты, въ которыя говорятъ не однѣ сладкія истины... Не думайте, чтобы внѣшняя близость или число лѣтъ распечатавали душу одного другому,—нисколько! Очень часто людей, жившихъ лѣтъ двадцать вмѣстѣ, въ гробъ кладутъ чужими, а иногда они и любятъ другъ друга, да не знаютъ, а братственное сочувствіе въ одинъ мигъ раскрываетъ въ десять разъ больше. Къ тому же, по вашей привычкѣ морализировать, вы на нее смотрѣли докторально, сверху внизъ, а я, изумленный необычайной силой ея, я склонялся передъ

ней. Удивительное существо! Какъ это сдѣлалось въ ней, что тѣ результаты, за которые я пожертвовалъ полжизнью, до которыхъ добился трудами и мученіями и которые такъ новы мнѣ казались, что я ими дорожилъ, принималъ ихъ за нѣчто выработанное, были для нея простыми, само собою понятными истинами: они ей казались обыкновенны. Не знаю, я со многими людьми встрѣчался; у каждаго рано или поздно дойдешь до его горизонта, дойдешь до рва, чрезъ который онъ пересадить не можетъ; въ ней я не видѣлъ этого горизонта. Какія мгновенія истиннаго блаженства я испыталъ въ эти вечера, когда мы долго бесѣдовали!...—Я отдохнулъ за весь холодъ, испытанный въ моей жизни. Первый разъ человѣкъ узналъ, что такое любовь, что такое счастье, и зачѣмъ онъ не остановился? Это, наконецъ, становится смѣшно, столько благоразумія у меня нѣтъ. Да и потомъ это вовсе было не нужно. Когда я отдалъ отчетъ, когда я самъ понялъ—было поздно.

— Да скажите, наконецъ, какая же у васъ цѣль? Ну, что же дальше?

— Я не думалъ объ этомъ и ничего не могу сказать вамъ.

— Вотъ вамъ передъ глазами зато и лежатъ плоды необдуманности.

— Вы думаете, что я равнодушно смотрю на эти плоды, что я ждалъ, чтобы вы пришли мнѣ рассказать? Прежде васъ я понялъ, что мое счастье потускло, что эпоха, полная поэзіи и упоенія, прошла, что эту женщину затерзають..., потому что она удивительно высоко стоитъ. Дмитрій Яковлевичъ хорошій человѣкъ, онъ ее безумно любитъ, но у него любовь—манія; онъ себя погубитъ этой любовью, что-жъ съ этимъ дѣлать?... Хуже всего, что онъ и ее погубитъ.

— Какъ же, по-вашему,—ему слѣдовало бы хладнокровно смотреть на то, что его жена любитъ другого?

— Я этого не говорю. Вѣроятно, ему слѣдовало то дѣлать, что онъ сдѣлалъ; каждая натура очень вѣрна себѣ, особенно въ критическія минуты. А знаете, чего ему не слѣдовало дѣлать?—сочетать свою жизнь съ женщиной такой силы, какъ она.

— По несчастью, это я ему говорилъ передъ свадьбой, но согласитесь, что теперь поздно объ этомъ толковать и что до вашего пріѣзда она была счастлива.

— Семень Ивановичъ, это бы такъ не осталось навсегда. Такого рода недоразумѣнія рано или поздно всплываютъ; какъ это вы такъ непослѣдовательны!?

— Право, это дѣло мудреное! Охъ, то-то не даромъ всегда говорилъ я, что семейная жизнь—вещь преопасная, да проповѣдо-

валь, какъ Іоаннъ въ пустынь: никто меня не слушалъ. Хоть бы вы изъ состраданія просто...

— Я, право, не знаю, чего вы отъ меня хотите. Послѣ ея болѣзни я сталъ замѣчать ея грусть и его нѣмое безвыходное отчаяніе. Я почти пересталъ ходить къ нимъ,—вы это знаете,—а чего мнѣ это стоило, знаю я; двадцать разъ принимался я писать къ ней и, боясь ухудшить ея состояніе, не писалъ; я бывалъ у нихъ и молчалъ; въ чемъ же вы меня упрекаете? что вы хотите отъ меня? надѣюсь, что не простое желаніе бросить въ меня нѣсколько оскорбительныхъ выраженій привело васъ ко мнѣ?

— Владиміръ Петровичъ, ну, докажите же, что вы сильный человѣкъ; я вѣрю, что вамъ это трудно, ну, все же принесите жертву, большую жертву... А мы, можетъ, спасемъ эту женщину; Владиміръ Петровичъ, уѣзжайте отсюда!...

И какая-то нѣжность въ тонѣ замѣнила натянутую жесткость... Голосъ у старика дрожалъ. Онъ любилъ Бельтова.

Бельтовъ открылъ свой портфель, порылся въ бумагахъ и подалъ ему начатое письмо.

— Прочтите,—сказалъ онъ.

Письмо было къ матери; онъ извѣщалъ ее о своемъ твердомъ намѣреніи опять ѣхать за границу и притомъ очень скоро.

— Вы видите, я ѣду. И вы думаете, что вы спасете ее этимъ,—спросилъ онъ грустно, качая головой,—добрѣйшій Семень Ивановичъ?

— Да что же дѣлать?—спросилъ Круповъ съ какимъ-то отчаяніемъ.

— Не знаю,—отвѣчалъ Бельтовъ.—Семень Ивановичъ, я напишу къ ней письмо и принесу его къ вамъ, вы отдадите, честное слово?

— Отдамъ,—отвѣчалъ Круповъ.

Бельтовъ проводилъ Семена Ивановича, печальнаго и разстроеннаго, до дверей.

Потомъ онъ воротился къ своему столику и бросился на диванъ въ какомъ-то совершенномъ безсиліи; видно было, что разговоръ съ Круповымъ нанесъ ему страшный ударъ; видно было, что онъ не могъ еще овладѣть имъ, сообразить, осилить. Часа два, лежалъ онъ съ потухнувшей сигарой, потомъ взялъ листъ почтовой бумаги и началъ писать. Написавши, онъ сложилъ письмо, одѣлся, взялъ его съ собою и пошелъ къ Крупову.

— Вотъ письмо,—сказалъ Бельтовъ:—можете вы, Семень Ивановичъ, доставить мнѣ случай съ ней видѣться при васъ на двѣ минуты или нѣтъ?

— Да зачѣмъ?

— Что вамъ до этого: хуже отъ этого не будетъ. Если въ васъ когда-нибудь была малѣйшая привязанность ко мнѣ, вы это сдѣлаете.

— Когда вы ѣдете?

— Завтра утромъ.

— Будьте въ восемь часовъ въ саду.

Бельтовъ пожалъ ему руку.

— А я видѣлъ сегодня *ею* въ самомъ жалкомъ положеніи.

— Перестаньте; ни слова, Семень Ивановичъ, умоляю васъ.

Блѣдная, исхудавшая, съ заплаканными глазами, шла несчастная Любовь Александровна подъ руку съ Круповымъ; она была въ лихорадкѣ, выраженіе ея глазъ было страшно. Она знала, куда она шла, и знала зачѣмъ. Они пришли къ завѣтной лавочкѣ и сѣли на нее; она плакала, въ рукахъ ея было письмо; Семень Ивановичъ, не находившій даже нравоучительныхъ замѣчаній, обтиралъ слезу за слезою.

Подошелъ Бельтовъ; все свѣтлое въ лицѣ его исчезло, въ каждой чертѣ видно было нестерпимое страданіе. Онъ взялъ ея руку,— онъ былъ похожъ на мертвеца.

— Прощайте,—сказалъ онъ ей едва внятнымъ голосомъ,— я опять скитаться; но наша встрѣча, но вашъ образъ сохранится во мнѣ... Онъ меня утѣшитъ въ послѣднюю минуту жизни.

— Навсегда?—спросила она.

Онъ молчалъ.

— Боже мой!—сказала она и умолкла. — Прощайте, Вольдемаръ,—прибавила она шопотомъ, и потомъ вдругъ, какъ будто силы ея разомъ удесятерилась, она встала и, сжимая руку его, сказала громко и ясно: — Вольдемаръ, помните, что вы любимы безпредѣльно... Безпредѣльно любимы, Вольдемаръ!

Она встала, онъ не удерживалъ ее; въ ней достало духу итти болѣе твердымъ шагомъ, нежели какъ она пришла.

Онъ смотрѣлъ имъ вслѣдъ, провожалъ до-нельзя мельканіе бѣлаго бурнуса между березками. Она не имѣла силы обернуться. Вольдемаръ остался. Да неужели,—думалъ онъ,—я долженъ оставить ее и навсегда! Онъ положилъ голову на руку, закрылъ глаза и съ полчаса сидѣлъ уничтоженный, задавленный горемъ, какъ вдругъ кто-то его назвалъ по имени; онъ поднялъ голову и едва узналъ общее совѣтничье лицо совѣтника; Бельтовъ сухо поклонился ему.

— Вы, кажется, Владиміръ Петровичъ, приходите сюда отдаваться мечтаніямъ и размышленіямъ?

— Да, и поэтому люблю быть одинъ.

— Это точно-съ, доложу вамъ, что можетъ быть пріятнѣе для образованнаго человѣка, какъ одиночество,—замѣтилъ совѣтникъ, садясь на лавку,—а впрочемъ, есть и компанія иногда не хуже одиночества. Я сейчасъ встрѣтилъ Крупова, Семена Ивановича,—онъ такую себѣ подцѣпилъ дамочку.

Бельтовъ всталъ въ ту же минуту, какъ совѣтникъ сѣлъ, и хотѣлъ итти, но онъ его остановилъ послѣдними словами. Насмѣшливый видъ совѣтника очень хорошо показывалъ, съ какою цѣлью онъ это говорилъ. Всего вѣроятнѣе, что онъ и въ садъ попалъ по тайному порученію какой-нибудь Марьи Степановны.

— Я знаю даму, съ которой шелъ Круповъ,—сказалъ Бельтовъ, задыхаясь отъ ярости.

— Да, какъ, чай, вамъ не знать, ха, ха, ха!—замѣтилъ развязный совѣтникъ.—Ужъ вы, молодые люди, знаете всѣхъ хорошенькихъ.

— Вы—или сумасшедшій, или дуракъ! Въ обоихъ случаяхъ прощайте,—сказалъ Бельтовъ и отправился по аллеѣ.

— Какъ вы осмѣлились меня такъ назвать!?!—вскричалъ совѣтникъ, покраснѣвши, какъ піонъ, и вскакивая съ лавки.

Бельтовъ остановился.

— Что вы хотите отъ меня?—спросилъ онъ совѣтника.—Стрѣляться съ вами? Извольте! Какъ ни гадко, я стану; если-жъ нѣтъ, вы меня извините,—я имѣю скверную привычку отгонять тростью тѣхъ, которые мнѣ мѣшаютъ гулять.

— Какъ тростью?—спросилъ совѣтникъ:—да кто вы такой, что смѣете тростью угрожать?

Во всякомъ другомъ случаѣ Бельтовъ расхохотался бы отъ всего сердца надъ милымъ совѣтникомъ, но въ эту минуту, когда онъ и безъ него былъ такъ сильно раздраженъ и врядъ ли хорошо помнилъ, что дѣлаетъ, онъ показалъ совѣтнику *какъ*. Совѣтникъ удивился; Бельтовъ ушелъ.

На другой день утромъ, пока Григорій укладывалъ и хлопоталъ, Бельтовъ ходилъ по комнатѣ; у него въ умѣ и въ груди была какая-то пустота, точно полжизни, полсуществованія кануло въ воду и нѣтъ ея, такъ что-то страшно и больно, какой-то трепетъ,—и вдругъ навернутся слезы. Десять разъ Григорій обращался къ нему съ вопросомъ, и онъ отвѣчалъ: «все равно», и дѣйствительно въ эту минуту ему было не только все равно, какое пальто надѣтъ на дорогу, а даже по какой дорогѣ ѣхать: въ Парижъ или Тобольскъ. Вошелъ Семенъ Ивановичъ, совсѣмъ не такъ, какъ вчера: на глазахъ его видны были слѣды слезъ, онъ какъ-то вошелъ тихо, чистилъ шляпу рукавомъ, постоялъ у окна, замѣтилъ Гри-

горю, что вага у дормеза не хорошо привязана, и вообще былъ не въ своей тарелкѣ.

— Довольны мною, Семень Ивановичъ? — сказалъ со смѣхомъ и со слезами Бельтовъ.

— Я оскорбилъ васъ вчера; ну, что дѣлать, простите меня... если вы такъ уѣдете...

И у старика голосъ замеръ.

— Полноте, полноте, Семень Ивановичъ, что вы это?

И Бельтовъ протянулъ ему обѣ руки.

— Вотъ еще что: примите отъ меня въ знакъ памяти, я истинно васъ любилъ, и хочу вамъ...—И онъ ему подаль довольно большой сафьяновый портфель.—Хочу вамъ отдать вещь дорогую, очень дорогую мнѣ.

Бельтовъ развернулъ портфель, взглянулъ на старика и бросился къ нему на шею. Старикъ рыдалъ и приговаривалъ: «Самому смѣшно, право, изъ ума выживаю. Экая глупость,—подъ старость плаксою сталъ».

Бельтовъ бросился на стулъ и держалъ передъ собою портфель... Это былъ акварельный портретъ Любви Александровны.

Круповъ стоялъ передъ нимъ и, чтобъ окончательно увѣрить Бельтова, что онъ вовсе ничего не чувствуетъ, дѣлалъ слѣдующіе комментаріи, отирая украдкой слезы:

— Года два тому назадъ здѣсь проѣзжалъ англичанинъ-живописецъ, хорошій живописецъ; онъ большіе масляные портреты дѣлалъ; вотъ губернаторшинъ портретъ, что виситъ въ кабинетѣ, онъ писалъ; я уговорилъ Любовь Александровну посидѣть,—всего три сеанса... думала ли она?..

Бельтовъ не слушалъ его, а потому бѣда была не велика, когда рѣчь Крупова перервалъ хозяинъ трактира, который запыхавшись возвѣстилъ пріѣздъ г. полицмейстера.

— Что ему надобно?—спросилъ Бельтовъ.

— Имѣть до вашей милости дѣло,—отвѣчалъ трактирщикъ.

— Скажи, что я дома.

Полицмейстеръ вошелъ, страшно гремя саблюю; вдали сквозь растворенную дверь видѣлся тощій комиссаръ и половой, державшій въ страхѣ въ рукахъ шинель полицмейстера.

Бельтовъ всталъ и всею фигурою своей выразилъ вопросъ, такъ что словъ не нужно было. Вопросъ былъ естественно тотъ: *за комъ діаволомъ?*

— Мнѣ очень жаль, Владиміръ Петровичъ, что я долженъ остановить васъ на нѣсколько минутъ; вы, кажется, намѣрены отбыть изъ нашего города.

— Да.

— Генералъ васъ просить побывать къ нему. Фирсъ Петровичъ Елканевичъ подалъ на васъ партикулярнымъ письмомъ жалобу его превосходительству насчетъ оскорбленія его чести. Мнѣ очень совѣстно; согласитесь сами,—долгъ службы; сами изволите знать, мое дѣло—неумытное исполненіе.

— Это чрезвычайно не ко времени. Позвольте васъ спросить, это надолго можетъ меня остановить?

— Это будетъ зависѣть отъ васъ; г. Елканевичъ человекъ благородный: онъ навѣрное дѣла не затянетъ вдаль, если вы, изволите знать, объяснитесь.

— Да какъ тутъ объясняться?

— Охъ, Владиміръ Петровичъ, что мнѣ это съ тобою дѣлать? ничего право не понимаешь, — замѣтилъ Круповъ. — Ну, хотите, я съ г. полицмейстеромъ буду посредникомъ и кончимъ въ четверть часа?

— Очень бы обязали, истинно обязали бы.

— Помилуйте, — замѣтилъ полицмейстеръ, — это священная обязанность наша, и самая пріятная обязанность, — когда можно эдакъ мирнымъ образомъ и къ общему удовольствію.

Такъ и случилось.

* * *

Черезъ двѣ недѣли по той дорогѣ, по которой нѣкогда мчалась мимо мельницы коляска, запряженная четверкой лихихъ лошадей, и которая шла отъ Бѣлаго-Поля на большую дорогу, подымался дорожный дормезъ; Григорій сидѣлъ на козлахъ и закуривалъ трубку, ящикъ убѣждалъ лошадей итти дружнѣе и, чтобъ ближе поддѣлаться къ ихъ понятіямъ, произносилъ однѣ гласныя: о... о... о... у... у... у... а... а... а... и т. д. А по сю сторону рѣки стояла старушка въ бѣломъ чепцѣ и бѣломъ капотѣ; опираясь на руку горничной, она махала платкомъ, тяжелымъ и мокрымъ отъ слезъ, человекъ, высунувшемуся изъ дормеза, и онъ махалъ платкомъ. Дорога шла немного вправо; когда карета заворотила туда, видна была только задняя сторона, но и ее скоро закрыло облакомъ пыли, и пыль эта разсѣялась и, кромѣ дороги, ничего не было видно, а старушка все еще стояла, поднимаясь на цыпочки и стараясь что-то разглядѣть.

Скучно и пусто сдѣлалось старушкѣ въ Бѣломъ-Полѣ. Бывало, все же въ недѣлю разъ-другой пріѣдетъ Вольдемаръ; она такъ привыкла слышать издали, еще съ горы, бубенчики и выходить къ нему навстрѣчу на тотъ балконъ, на которомъ она нѣ-

когда ждала его, загорѣлаго отрока съ свѣтлымъ лицомъ. Ее что-то звало въ NN: тамъ жила женщина, любимая ея сыномъ, несчастная жертва любви къ нему. И въ самомъ дѣлѣ, старушка переѣхала туда къ зимѣ. Она застала Любовь Александровну потухающею, не надежною; Семень Ивановичъ, сдѣлавшійся вдвое угрюмѣе, качалъ головою, когда его спрашивали объ ней; Дмитрій Яковлевичъ, задавленный горемъ, *молился Богу* и пилъ. Софья Алексѣевна просила позволенія ходить за больной и дни цѣлые проводила у ея кровати, и что-то высоко-поэтическое было въ этой группѣ умирающей красоты съ прекрасной старостью, въ этой увядающей женщинѣ со впавшими щеками, съ огромными блестящими глазами, съ волосами, небрежно падающими на плечи, — когда она, опирая свою голову на исхудалую руку, съ полуотверстымъ ртомъ и со слезою на глазахъ внимала безконечнымъ разговорамъ старушки-матери объ ея сынѣ, объ ихъ Вольдемарѣ, который теперъ такъ далеко отъ нихъ.

432. Публичныя чтенія г-на профессора Рудье.

Незнаніе природы—величайшая
неблагодарность.

Плиній Стар.

Одна изъ главныхъ потребностей нашего времени—обобщеніе истинныхъ, дѣльныхъ свѣдѣній объ естествознаніи. Ихъ много въ наукѣ, ихъ мало въ обществѣ; надобно втолкнуть ихъ въ потокъ общественнаго сознанія, надобно ихъ сдѣлать доступными, надобно дать имъ форму живую, какъ жива природа, надобно дать имъ языкъ откровенный, простой, какъ ея собственный языкъ, которымъ она развертываетъ безконечное богатство своей сущности въ величественной и стройной простотѣ. Намъ кажется почти невозможнымъ безъ естествовѣдѣнія воспитать дѣйствительно мощное умственное развитіе; никакая отрасль знаній не приучаетъ такъ ума къ твердому, положительному шагу, къ смиренію передъ истиной, къ добросовѣстному труду и, что еще важнѣе, къ добросовѣстному принятію послѣдствій *такими, какими они выйдутъ*, какъ изученіе природы; имъ бы мы начинали воспитаніе для того, чтобы очистить отроческій умъ отъ предрассудковъ, дать ему возмужать на этой здоровой пищѣ и потомъ уже раскрыть для него, окрѣпнувшаго и вооруженнаго, міръ человѣческой, міръ исторіи, изъ котораго двери отворяются прямо въ дѣятельность, въ собственное участіе въ современныхъ вопросахъ. Мысль эта, конечно, не нова. Рабле ¹⁾, очень живо понимавшій страшный вредъ схоластики на развитіе ума, положилъ въ основу воспитанія Гаргантюа естественныя науки. Бэконъ хотѣлъ ихъ положить въ основу воспитанія всего человѣчества: *Instauratio magna* ²⁾ основана на возвращеніи ума къ

¹⁾ Франсуа, франц. писатель, одинъ изъ величайшихъ сатириковъ; Гаргантюа—герой его знаменитаго романа того же имени.

²⁾ Великое возстановленіе.

природѣ, къ наблюденію; исключительнымъ предпочтеніемъ естествовѣдѣнія стремился Бэконъ возстановить нормальное отправленіе мышленія, забитаго средневѣковой метафизикой,—онъ не видалъ иного средства для очищенія современныхъ умовъ отъ ложныхъ образовъ и предразсудковъ, наслоенныхъ вѣками, какъ обращая вниманіе на природу съ ея непреложными законами, съ ея непокорностью схоластическимъ приемамъ и съ ея готовностью раскрываться логическому мышленію. Ученый міръ, особенно въ Англии и Франціи, понялъ вызовъ лорда Верулама, и съ него начинается непрерывный рядъ великихъ дѣятелей, разработавшихъ во всѣхъ направленіяхъ обширное поле естествовѣдѣнія.

Но плоды этого изученія, результаты долгихъ и великихъ трудовъ не перешли академическихъ стѣнъ, не принесли той *ортопедической* пользы свихнутому пониманію, которой можно было ожидать ¹⁾. Воспитаніе образованныхъ сословій во всей Европѣ мало захватило изъ естественныхъ наукъ; оно осталось по-прежнему подъ вліяніемъ какой-то риторико-филологической (въ самомъ тѣсномъ смыслѣ слова) выучки; оно осталось воспитаніемъ памяти болѣе, нежели разума, воспитаніемъ словъ, а не понятій, воспитаніемъ слога, а не мысли, воспитаніемъ авторитетами, а не самодѣятельностью; риторика и формализмъ по-прежнему вытѣсняють природу. Такое развитіе ведетъ почти всегда къ надменности ума, къ презрѣнію всего естественнаго, здороваго и къ предпочтенію всего лихорадочнаго, натянутаго; мысли, сужденія по-прежнему прививаются, какъ оспа, во время духовной неразвитости; приходя въ сознаніе, человекъ находитъ слѣдъ раны на рукѣ, находитъ сумму готовыхъ истинъ и, отправляясь съ ними въ путь, добродушно принимаетъ и то, и другое за событіе, за дѣло конченное. Противъ этого-то ложнаго и вреднаго въ своей односторонности образованія нѣтъ средства сильнѣе всеобщаго распространенія естествовѣдѣнія, съ той точки зрѣнія, до которой оно выработалось теперь; но, по несчастію, великія истины, великія открытія, слѣдующія быстро другъ за другомъ въ естественныхъ наукахъ, не переходятъ въ общій потокъ кругообращающихся истинъ, а если доля ихъ и получаетъ гласность, то въ такой бѣдной и въ такой неправильной формѣ, что люди и эти выработанные для нихъ истины принимаютъ такими же втѣсненными въ память событіями, какъ и все остальное схоластическое достояніе. Французы сдѣлали больше всѣхъ для популяризаціи естественныхъ

¹⁾ Само собою разумѣется, что здѣсь вовсе нѣтъ рѣчи о техническихъ приложеніяхъ.—А. И. Г.

наукъ, но ихъ усилія постоянно разбивались объ толстую кору предразсудковъ; полного успѣха не было, между прочимъ, потому, что большая часть опытовъ популярнаго изложенія исполнена уступокъ, риторики, фразъ и дурнаго языка.

Предразсудки, съ которыми мы выросли, образъ выраженія, образъ пониманія, самыя слова подкладываютъ намъ представленія, не токмо неточныя, но прямо противоположныя дѣлу. Наше воображеніе такъ развращено и такъ напитано метафизикой, что мы утратили возможность безхитростно и просто выражать событія міра физическаго, не вводя самымъ выраженіемъ и совершенно безсознательно ложныхъ представленій,—принимая метафору за самое дѣло, раздѣляя словами то, что соединено дѣйствительностью. Этотъ ложный языкъ приняла сама наука: оттого такъ трудно и запутано все, что она рассказываетъ. Но наукѣ языкъ этотъ не такъ вреденъ,—весь вредъ достается обществу; ученый принимаетъ глоссологию за знакъ, подъ которымъ онъ, какъ математикъ подъ условной буквой, сжимаетъ цѣлый рядъ явленій, вопросовъ. Общество имѣетъ слѣбую довѣренность къ слову, и въ этомъ—свидѣтельство прекраснаго довѣрія къ рѣчи, такъ что человѣкъ и при злоупотребленіи слова полонъ вѣры къ нему и полонъ вѣры къ наукѣ, принимая высказываемое ею не за косноязычный намекъ, а за выраженіе, вполнѣ исчерпывающее событіе. Для примѣра вспомнимъ, что всякій порядокъ физическихъ явленій, которыхъ причина неизвѣстна, наука принимаетъ за проявленіе особой силы и, по схоластической діалектикѣ, олицетворяетъ ее до такой самобытности, что она совершенно распадается съ веществомъ (такова модная метаболическая сила, каталитическая). Математикъ поставилъ бы тутъ добросовѣстно x , и всякій зналъ бы, что это—искомое, а новая сила даетъ подозрѣвать, что оно *сыскано*, и для полного смѣшенія понятій къ этимъ ложнымъ выраженіямъ присоединяются еще ложныя сентенціи, повторяемая изъ вѣка въ вѣкъ безъ анализа, безъ критики и которыя представляютъ всѣ предметы подъ совершенно неправильнымъ освѣщеніемъ.

Позвольте для ясности прибѣгнуть къ примѣру. Линней,—великій человѣкъ въ полномъ значеніи слова, но находившійся, какъ всѣ великіе и невеликіе люди, подъ вліяніемъ своего вѣка,—сдѣлалъ двѣ противоположныя ошибки, увлекаемый двумя схоластическими предразсудками. Онъ опредѣлилъ человѣка, какъ видъ рода *обезьянъ*, и возлѣ него поставилъ нетопыря; послѣднее—непростительная зоогностическая ошибка, первое—еще болѣе непростительная логическая ошибка. Линней, какъ мы сейчасъ увидимъ, и не думалъ унижить человѣка родствомъ съ обезьяной; онъ подъ вліяніемъ

схоластики до того отдѣлялъ человѣка отъ его тѣла, что ему казалось возможнымъ безпощадно обращаться съ формою и наружностью человѣка; поставивъ человѣка по тѣлу на одну доску съ летучими мышами, Линней восклицаетъ: «Какъ презрителенъ былъ бы человѣкъ, если-бъ онъ не сталъ выше *всего человѣческаго*»... Это уже не Эпиктетовъ: «я—человѣкъ, и ничто человѣческое мнѣ не чуждо». Эта фраза Линнея, какъ всѣ фразы вообще, когда онѣ *только* фразы, могла бы преспокойно быть забыта, задвинутая великими заслугами его, но, по несчастію, она совершенно сообразна съ схоластико-романтическимъ воззрѣніемъ: она и темна, и непонятна, и спиритуальна, а потому-то именно и повторяется изъ рода въ родъ, и не далѣе еще, какъ въ прошедшемъ году, одинъ изъ извѣстныхъ французскихъ профессоровъ, Флуранъ, приходилъ въ восторгъ отъ патетической выходки Линнея и говорилъ, что одной этой фразы достаточно, чтобы признать Линнея величайшимъ гениемъ. Мы признаемся откровенно, что видѣли въ этой фразѣ только угрызеніе совѣсти и желаніе загладить вину грубаго матеріализма грубымъ спиритуализмомъ; но два противоположныя заблужденія, оставленныя не примиренными, далеки отъ того, чтобы составить истину. Безъ всякаго сомнѣнія, человѣкъ долженъ отбросить все *человѣческое*, если человѣческое ничего другого не значитъ, какъ отличительную особность обезьяны двурукой, безхвостой, называемой homo; но кто же далъ Линнею право человѣка сдѣлать животнымъ потому только, что у него *есть все, что у животнаго*? Зачѣмъ онъ, назвавши его sapiens, не отдѣлилъ его во имя *того, чего нѣтъ* у животнаго, а есть у человѣка? И что за ребячья логика! Если человѣкъ, чтобъ быть тѣмъ, чѣмъ можетъ быть, долженъ оставить все *человѣческое*, что же человѣческаго въ этомъ оставляемомъ? Тутъ или ошибка, или невозможность: то, что должно оставить,—вѣроятно не человѣческое, а животное, и какъ подняться надъ самимъ собою? Это что-то въ родѣ того, какъ поднять самого себя, чтобы быть выше ростомъ.

Сентенція Линнея взята нами случайно изъ тысячи подобныхъ и худшихъ; всѣ онѣ пробрались въ наукообразное изложеніе и повторяются какъ будто по обязанности или изъ учтивости, мѣшая ясному и прямому пониманію исторической фантазмагоріей. Совокупность подобныхъ сужденій и предразсудковъ составляетъ цѣлую теорію нелѣпаго пониманія природы и ея явленій. Обыкновенные опыты популяризаціи вмѣсто того, чтобы на каждомъ шагѣ обличать нелѣпость этихъ понятій, поддѣлываются къ нимъ такъ, какъ необразованныя няньки говорятъ съ дѣтьми ломанымъ языкомъ. Но всему этому приближается конецъ: недаромъ А. Гум-

больдтъ, какъ нѣкогда Плиній, издаетъ оглавленіе къ оконченному тому подъ названіемъ «Космосъ».

Если мы, хоть издали, нѣсколько присмотримся къ тому, что дѣлается теперь въ естественныхъ наукахъ, насъ поразитъ вѣяніе какого-то новаго, отчетливаго, глубокомысленнаго духа, равно далекаго отъ нелѣпаго матеріализма, какъ и отъ мечтательнаго спиритуализма. Рассказъ общедоступный новаго воззрѣнія на жизнь, на природу чрезвычайно важенъ: вотъ почему намъ пришло желаніе поговорить о публичныхъ чтеніяхъ г. Рулье ¹⁾, къ которымъ теперь и обращаемся.

Г. Рулье избралъ предметомъ своихъ публичныхъ чтеній образъ жизни и нравы животныхъ, т. е., какъ онъ самъ выразился, *психологію животныхъ*. Зоологія въ высшемъ своемъ развитіи должна непременно перейти въ психологію. Главный отличительный, существенный характеръ животнаго царства состоитъ въ развитіи психическихъ способностей, сознанія, произвола. Нужно ли говорить о высокой занимательности рассказа послѣдовательныхъ и разнообразныхъ проявленій внутренняго начала жизни, отъ грубаго, необходимаго инстинкта, отъ темнаго влеченія къ отыскиванію пищи и невольнаго чувства самосохраненія до низшей степени разсудка, до соображенія средствъ съ цѣлью, до нѣкотораго сознанія и наслажденія собою; при этомъ рассказъ сами собою отовсюду тѣсняются и просятся интереснѣйшіе вопросы, наблюденія, изслѣдованія, глубочайшія истины естествовѣдѣнія и даже философіи. Выборъ такого предмета свидѣтельствуетъ живое пониманіе науки и большую смѣлость: здѣсь надобно часто прокладывать новую дорогу: психологія животныхъ несравненно менѣе обращала на себя вниманіе ученыхъ естествоиспытателей, нежели ихъ форма. Животная психологія должна завершить, увѣнчать сравнительную анатомію и физиологію; она должна представить до-человѣческую феноменологію развертывающагося сознанія; ея конецъ—при началѣ психологіи человѣка, въ которую она вливается, какъ венозная кровь въ легкія, для того, чтобы одухотвориться и сдѣлаться алою кровью, текущею въ артеріяхъ исторіи. Прогрессъ животнаго — прогрессъ его тѣла; его исторія—пластическое развитіе органовъ отъ полипа до обезьяны; прогрессъ человѣка—прогрессъ содержанія мысли, а не тѣла: тѣло дальше итти не можетъ. Но врядъ возможно ли наукообразное изложеніе психологіи животныхъ при современномъ состояніи естествознанія; тѣмъ болѣе должно уважить всякую попытку, особенно, если она такъ хорошо выполнена, какъ чтенія г. Рулье.

1) Карлъ Францовичъ, профессоръ зоологіи въ москов. университетѣ.

Зоологія преимущественно занималась системой, формой, внѣшностью, признаками, распредѣленіемъ животныхъ; классификація— дѣло важное, но далеко не главное. Соблазнительный примѣръ страшнаго успѣха Линнеевой ботанической классификаціи увлекъ зоологію и остановилъ, по превосходному замѣчанію Кювье ¹⁾, успѣхи ея обращеніемъ всего вниманія, всѣхъ трудовъ на описаніе признаковъ и на искусственныя системы. Противъ этого мертваго и чисто формальнаго направленія возсталъ Бюффонъ. Бюффонъ имѣлъ огромное преимущество передъ большею частію современныхъ ему натуралистовъ, — онъ вовсе не зналъ естественныхъ наукъ. Сдѣлавшись начальникомъ Jardin des plantes, онъ сперва страстно любилъ природу, а потомъ сталъ изучать ее *по-своему*, внося глубокую думу въ изслѣдованіе фактовъ, думу живую и совершенно независимую отъ школьныхъ предразсудковъ, притупляющихъ мысль и мѣшающихъ рутиной успѣху. Бюффонъ до излишества боялся классификаціи и систематики; предметомъ его изученія были животныя со всею полнотою жизненныхъ проявленій, съ ихъ анатоміей и образомъ жизни, съ ихъ наружностью и страстями; для такого изученія животныхъ мало было итти въ музей, сличать формы, смотрѣть на одни слѣды жизни, подмѣчать ихъ различія и сходства; надобно было итти въ звѣринецъ, въ конюшню, на птичій дворъ, надобно было итти въ лѣсъ, въ поле, сдѣлаться рыбакомъ, — словомъ, надобно было сдѣлать то, что сдѣлалъ для американской орнитологіи Одюбонъ. Бюффону не представлялось никакой возможности свои изученія природы привести въ научно-образный видъ: матеріалъ былъ недостаточенъ да и складъ его генія вовсе не былъ методологическій; оттого, быть можетъ, послѣ него наука пошла не его дорогой, хотя и пошла по пути, имъ указанному. Бюффонъ натолкнулъ Добантона ²⁾ на анатомію животныхъ, и сравнительная анатомія поглотила все вниманіе. Десяти лѣтъ не прошло послѣ смерти Бюффона, какъ зоологія простилась съ нимъ и съ Линнеемъ. Неизвѣстный молодой естествоиспытатель напалъ 21 флореаля III года Республики на Линнееву систему въ засѣданіи института; что-то мощное, твердое, обдуманное и рѣзкое звучало въ словахъ молодого человѣка; мысль о четырехъ типахъ ³⁾ животнаго царства и объ основаніи раздѣленія не на одномъ порядкѣ признаковъ, а на совокупномъ разсматриваніи всѣхъ системъ и всѣхъ органовъ, поразила слушавшихъ. Этому человѣку было суждено

1) G. Cuvier, «Hist. des Sc. Nat.» T. I, page 301.—А. И. Г.

2) Луи-Мари, франц. докторъ и натуралистъ.

3) Позвоночныя, моллюски, суставчатые и звѣздчатые.—А. И. Г.

сильно двинуть впередъ зоологію. Онъ требоваль анатоміи, сличенія частей, раскрытія ихъ соотвѣтственности; труды его были многочисленны, невѣроятная проникаемость помогала ему; каждое замѣчаніе его было новая мысль; каждое сличеніе двухъ параллельныхъ органовъ раскрывало болѣе и болѣе возможность общей теоріи «правильнаго анализа», посредствомъ котораго можно по твердо опредѣленнымъ *условіямъ бытія* (такъ называетъ Кювье конечныя причины) доходить до формъ, до ихъ отправленій ¹⁾). Первый геніальный опытъ практическаго осуществленія этихъ началъ привелъ Кювье отъ возможности возстановленія цѣлаго животнаго по одной косточкѣ къ дѣйствительному возстановленію міра ископаемаго; воскрешеніе допотопныхъ животныхъ было верховъ торжества сравнительной анатоміи. Мечты Кампера начали сбываться, сравнительная анатомія становилась *наукой*. Кювье говоритъ въ своей «Палеонтографіи» (стр. 90): «Органическое существо составляетъ цѣлую, замкнутую въ себѣ, систему, которой части непремѣнно соотвѣтствуютъ другъ другу и содѣйствуютъ одна другой въ достиженіи общей цѣли; отсюда понятно, что каждая часть, отдѣльно взятая, служитъ представителемъ всѣхъ остальныхъ частей. Если пищеварительныя органы такъ устроены, что они назначены переваривать исключительно свѣжее мясо, то и челюсти должны быть устроены особымъ образомъ, и длинные когти необходимы, чтобы уцѣпиться и разорвать свою жертву, и острые зубы, и сильное мышечное развитіе ногъ для бѣга, и чуткость обонянія и зрѣнія; даже самый мозгъ хищнаго звѣря долженъ быть особенно развитъ, потому что звѣрь способенъ на хитрость, и пр.» ²⁾). Какая ширина взгляда и какое торжество бэконовскаго наведенія!

Тѣмъ не менѣе исключительно-анатомическое направленіе принесло свои неудобства: геніальность Кювье сглаживала ихъ,—у многихъ послѣдователей его они обличались. Анатомія приучаетъ насъ разсматривать несущійся потокъ, стремительный процессъ остановившимся, приучаетъ смотрѣть не на живое существо, а на его тѣло, какъ на нѣчто страдательное, какъ на оконченный результатъ, а оконченный результатъ значить на языкѣ жизни *умершій*: жизнь—дѣятельность, непрерывная дѣятельность, «вихрь, круговоротъ», какъ

¹⁾ «Règne animal», Introduction.—А. И. Г.

²⁾ Аристотель занимался очень много сравнительной анатоміей, но отрывочно, цѣлаго не вышло изъ его трудовъ. Древніе, впрочемъ, очень хорошо понимали соотвѣтствіе формы съ содержаніемъ въ организмѣ. Ксенофонтъ въ своихъ, *Λογικῶν ἐπιτάμια* кн. I, гл. IV, говоритъ: «что человѣческое могъ бы сдѣлать духъ человѣческой въ тѣлѣ быка, и что сдѣлалъ бы быкъ, если бы у него были руки».—А. И. Г.

назвалъ ее Кювье. Сверхъ того, анатомическое, т. е. описательное, изученіе тѣла животнаго,—не что иное, какъ болѣе развитое изученіе наружныхъ признаковъ: внутренность животнаго—*другая сторона ея наружности*,—это не игра словъ. Наружность животнаго, лицевая сторона его ¹⁾—обнаруженная внутренность; но и всѣ внутреннія его части точно такія же обнаруженія чего-то еще болѣе внутренняго, а это внутреннее начало и есть сама жизнь, сама дѣятельность, для которой части, внѣ и внутри находящіяся,—равно органы. Дѣло въ томъ, что ни изученіе одной наружности, ни изученіе анатоміи не даетъ полнаго знанія животнаго. Великій Гете первый внесъ элементъ движенія въ сравнительную анатомію,—онъ показалъ возможность прослѣдить архитектонику организма въ его возникновеніи и постепенномъ развитіи; законы, раскрытые имъ,—о превращеніи частей зерна въ сѣменные доли, стволь, почки, листья и о видоизмѣненіи потомъ листа во всѣ части цвѣтка,—прямо великъ къ опыту генетическаго развитія частей животнаго тѣла. Гете самъ много трудился надъ остеологіей; занятый этимъ предметомъ, онъ гуляя въ Италіи по разрытому кладбищу и натолкнувшись на черепъ, лежавшій возлѣ своихъ позвонковъ, былъ пораженъ мыслью, которая впослѣдствіи получила полное право гражданства въ остеологіи,—мыслию, что голова—не что иное, какъ особое развитіе нѣсколькихъ позвонковъ. Но и гетевское воззрѣніе оставалось *морфологіей*; разсуждая, такъ сказать, о геометрическомъ развитіи формъ, Гете не думалъ о содержаніи, о матеріалѣ, развивающемся и непрерывно измѣняющемся съ перемѣною формы.

Если-бъ предѣлы этой статьи дозволили намъ, мы остановились бы передъ двумя другими великими попытками, оставившими длинный слѣдъ за собою: мы говоримъ о Жофруа Сентъ-Илеръ и объ Окенѣ. Ученіе объ единомъ типѣ, эмбриологіи и тератологіи перваго, опытъ глубокой классификаціи другаго, приблизили зоологію къ тому, къ чему она стремилась,—къ переходу изъ морфологіи въ фізіологію, въ это море, зовущее въ себя всѣ отдѣльныя вѣтви науки объ органическихъ тѣлахъ для того, чтобъ свести ихъ на химію, фізику и механику или, проще,—на фізіологію неорудной природы. «Тому достанется пальма въ естествовѣдѣніи,—гово-

¹⁾ Наружная фізіономія животнаго (*habitus*) до того рѣзка, что при одномъ взглядѣ можно узнать характеръ и степень развитія *рода*, къ которому онъ принадлежитъ; вспомните, напр., выраженіе тигра и верблюда—такой рѣзкой характеристики внутреннія части не имѣютъ, по очень простой причинѣ: наружность животнаго—его вывѣска: природа стремится высказать какъ можно яснѣе все, что есть за душою, и именно тѣми частями, которыми предметъ обращенъ къ внѣшнему міру.—А. И. Г.

рить Бэръ ¹⁾,—кто сведетъ на всеобщія міровыя силы всѣ явленія возникающаго животнаго организма. Но дерево, изъ котораго сдѣлаютъ колыбель этого человѣка, не возшло еще ²⁾; мы полагаемъ, напротивъ, что не токмо дерево выросло, но что и колыбель ужъ сдѣлана. Сильная дѣятельность кипитъ во всѣхъ сферахъ естествовѣдѣнія: съ одной стороны, Дюма, Либихъ, Распайль ³⁾, съ другой—Валентинъ, Вагнеръ, Мажанди сообщили новый характеръ естественнымъ наукамъ,—какой-то глубокой, реалистической, отчетливый, вѣрно ставящій вопросъ. Каждый журналъ, каждая брошюра свидѣтельствуеетъ о кипящей работѣ; все это отрывочно, частно, но уже само собой связуется единствомъ направленія, единствомъ духа, вѣющаго во всѣхъ дѣльныхъ трудахъ. Но если задача физиологіи, дѣйствительно, состоитъ въ томъ, чтобъ узнать въ органическомъ процессѣ высшее развитіе химизма, а въ химизмѣ — низшую степень жизни, если она не можетъ сойти съ химико-физической почвы, то верхними вѣтвями своими и она переходитъ въ совершенно иной міръ: мозгъ, какъ органъ высшихъ способностей, разсматриваемый при отправленіи своей дѣятельности, прямо ведетъ къ изученію отношенія нравственной стороны къ физической и такимъ образомъ къ психологіи. Здѣсь могутъ явиться вопросы, которыхъ не осилить ни физика, ни химія, которые могутъ *только* разрѣшиться при посредствѣ философскаго мышленія.

Г. Рулье, вполне понимая, что наукообразно изложить психологію животныхъ при современномъ состояніи естествовѣдѣнія невозможно, избралъ манеру бюффоновскаго разсказа; разсказъ его объ инстинктѣ и разсудкѣ, о смѣтливости животныхъ и ихъ нравахъ былъ живъ, новъ и опирался на богатые свѣдѣнія г. профессора, извѣстнаго своими важными заслугами по части московской палеонтологіи; въ его словахъ, въ его постоянной защитѣ животнаго намъ пріятно было видѣть какое-то возстановленіе достоинства существъ, оскорбляемыхъ гордостью человѣка даже въ теоріи.

¹⁾ Карлъ Максимовичъ, знаменитый нѣмецкій естествоиспытатель, эмбриологъ и антропологъ, вполнѣдствіи русскій академикъ.

²⁾ К. Е. Bär «Entwicklungsgeschichte der Thiere», р. XXII.—А. И. Г.

³⁾ Недавно въ одной петербургской газетѣ мы съ удивленіемъ прочли грубую брань противъ Распайля. Не можно думать, *чтобъ тутъ* была личность, однакожъ, и не *химическое* было причиною разномыслія: судя по статьѣ, трудно заподозрить писавшаго въ знаніи химіи. Заслуги Распайля по части органической химіи, микроскопическихъ изслѣдованій, по части физиологіи извѣстны всѣмъ образованнымъ людямъ и уважаются даже тѣми, которые несогласны съ его гипотезами и теоріями *).—А. И. Г.

*) Намекъ на Булгарина; см. № 429.

Въ одной изъ слѣдующихъ статей ¹⁾ мы попросимъ дозволенія сказать наше мнѣніе о теоріяхъ и воззрѣніи г. Рулье, теперь ограничимся мы изложеніемъ одного желанія, приходившаго намъ въ голову нѣсколько разъ, когда мы слушали увлекательный разсказъ ученаго. Цѣлость всего сказаннаго ускользаетъ; намъ кажется, что это происходитъ отъ порядка, избраннаго г. профессоромъ. Если-бъ вмѣсто того, чтобъ послѣдовательно переходить отъ одной психической стороны животной жизни къ другой, г. профессоръ развертывалъ психическую дѣятельность животнаго царства въ генетическомъ порядкѣ,—въ томъ порядкѣ, въ которомъ она развивается отъ низшихъ классовъ до млекопитающихъ,—было бы больше цѣлости, и сама собою складывалась бы въ умѣ слушателей исторія психическаго прогресса въ ея прямомъ соотношеніи съ формою. Къ тому же это дало бы случай г. профессору познакомить своихъ слушателей съ этими формами, съ этими орудіями психической жизни, которыя, непрерывно развиваясь во всѣ стороны, тысячь путей стремятся къ одной цѣли, всегда сохраняя правильную соотвѣтственность между степенью развитія психической дѣятельности, органомъ и средою.

433. Письмо къ А. А. Краевскому.

11 дек. 1845 г.

Отпечатанные экземпляры статьи я получилъ, почтеннѣйшій Андрей Александровичъ, и завтра отошлю къ Базунову письмо о Локкѣ и энциклопедистахъ: оно будетъ *интересно*. Впредь до расчета попрошу васъ выдать нашему Кириллу Антоновичу ²⁾ къ 350 полученнымъ еще 250 руб. А затѣмъ пріятно бы остаточекъ получить у Базунова: дѣло праздничное подходитъ,—надобно ребятишкамъ башмаки.

Къ новому году желаю одного, чтобъ «Отеч. Зап.» шли все такъ же въ гору; наконецъ, мнѣ кажется что это будетъ одно мѣсто, куда всѣ небулгаре ³⁾ и нешевыры ⁴⁾ будутъ помѣщать всѣ труды свои. Здѣсь ихъ читаютъ всѣ, кто читаетъ. Да идутъ же онѣ тѣмъ же добрымъ путемъ!

¹⁾ Намъ она неизвѣстна.

²⁾ Горбуновъ.

³⁾ Не сторонники Булгарина.

⁴⁾ Не сторонники Шевырева.

Говорятъ, будто Виссаріонъ ¹⁾ очень боленъ; правда ли?

У меня есть статья о дуэли (въ историческомъ смыслѣ): я ее писалъ для одного сборника, но онъ, вѣроятно, окончится сборами; не прислать ли? ²⁾

Не забудьте деньги Кавелину.

Весь вашъ А. Герценъ.

434. Письмо къ Н. П. Огареву.

22 ноября
4 декабря Москва 1845.

Послѣ шестимѣсячнаго молчанія я былъ очень радъ, что ты не знаешь адреса Ал. Ал. ³⁾ и что у тебя нѣтъ денегъ,—двѣ причины, заставившія тебя написать твое (впрочемъ, пустѣйшее) письмецо.

Ты жалѣешь о времени, когда писались цѣлые листы и когда,—прибавлю я,—одни внѣшнія обстоятельства могли заставить полгода молчать. Гегель правъ, говоря, что дружба, въ смыслѣ шиллеровскомъ,—преобладающее чувство въ юности; изъ этого никакъ не слѣдуетъ, что я думаю, что въ продолженіе долгаго отсутствія ты менѣе любишь меня, насъ... О, нѣтъ, есть любовь страдательная и есть дѣятельная любовь; страдательная любовь можетъ быть очень сильна—она плачетъ, она говоритъ, потомъ утираетъ слезы, и главное, она ничего не дѣлаетъ. Какъ Гамлетъ сказалъ Полонію: «Слова... слова». Въ этой любви ты силенъ; я прежде не понималъ ее, но съ тѣхъ поръ, какъ *во всякомъ* письмѣ въ продолженіе двухъ лѣтъ ты плачешь объ насъ и о скоромъ возвращеніи, я ее иначе понялъ, а именно, нервной слабостью, соединенной съ привязанностью ко всему былому, къ графу ⁴⁾, Саз. ⁵⁾, къ М. Л. ⁶⁾, ко мнѣ. Меня ты, вѣроятно, любишь больше ихъ всѣхъ, и въ этомъ я не сомнѣваюсь, да, впрочемъ, я и заслуживаю любви больше ихъ. Но если, дѣйствительно, юношеская дружба заслоняется дѣятельностью совершеннолѣтія, то, по странному стеченію обстоятельствъ, ты, какъ Беттина, не достигаешь совершеннолѣтія, а только теряешь юное; ех. гр. ⁷⁾, въ каждомъ письмѣ ты пишешь, что принимаешься

¹⁾ Бѣлинскій.

²⁾ См. № 467.

³⁾ Алексѣй Алексѣевичъ Тучковъ.

⁴⁾ ?

⁵⁾ Н. И. Сазоновъ.

⁶⁾ Марія Львовна.

⁷⁾ Напримѣръ.

за работу, что скоро начнешь. Да не забылъ ли ты, что 28 ноября 1813 года ¹⁾ было 32 года тому назадъ? Да и отчего же необходимо ѣхать въ Берлинъ, въ Москву для того, чтобы *начать* что-нибудь дѣлать? что за географическая зависимость? гдѣ судьба бросила, тамъ и работай.

Я мѣсяца полтора тому назадъ писалъ письмо, и очень длинное, къ тебѣ и бросилъ его. Потомъ Гр. ²⁾ писалъ къ Фролову почти то же самое, и я былъ ужасно радъ, что онъ бросилъ камень, а не я: онъ имѣетъ въ 1,000 разъ болѣе правъ. ¹ Да, вотъ человѣкъ, дѣйствительно работающій, вотъ человѣкъ дѣятельной любви къ наукѣ. А мы—дилетанты, рантѣе и больше ничего; я еще нѣсколько привыкъ къ труду: отъ труда перейти къ двойному можно, но отъ лѣни къ труду—трудненько.

Да, Signore, трезвый взглядъ на личности—дѣло тягостное; я долею окрѣпился настолько, что начинаю поднимать послѣднія покрывала и, какъ ни больно, говорю, что вижу. Никто лучше меня не знаетъ лучшей стороны твоей,—поэтической, благородной, гуманной, глубоко-симпатической, но это не все; еслибъ не было этой стороны, такъ стоило бы говорить о тебѣ? мало ли праздныхъ рантѣе, начиная... ну, зачѣмъ кого-нибудь называть: повторяю, мало ли ихъ. Да и никто не спрашиваетъ у нихъ отчета, куда они дѣваютъ свои деньги.

Au reste мы можемъ все это переговорить на словахъ. Вотъ небольшая коммисія Сатину: такъ какъ онъ въ Барежѣ ³⁾ на ноги поставленъ, то пусть онъ мнѣ купитъ дюжину рубашекъ очень хорошаго фасона,—разумѣется, бѣлыхъ, изъ голл. полотна. Онъ долженъ взять въ расчетъ, что я потолстѣлъ почти, какъ Фальстафъ,—или нѣтъ, какъ Чичиковъ, а, впрочемъ, не выросъ.—Тебѣ я этой ком. не поручаю, потому что ты забудешь или, еще хуже—вспомнишь и купишь дряни за тройную цѣну.

Такъ какъ вы пріѣдете вмѣстѣ съ графомъ, то я не шью себѣ ни штановъ, ни жилетовъ. Онъ, вѣрно, привезетъ сочнымъ плодомъ ⁴⁾ въ Парижѣ un pantalon monstre ⁵⁾, un gilet désespoir ⁶⁾, и я воспользуюсь. Да, вѣроятно, и Ник. Михайл. *запасется*. Итакъ, я хожу голый до тѣхъ поръ.

¹⁾ Ошибочное указаніе на дату рожденія Огарева—24 ноября.

²⁾ Грановскій.

³⁾ Сѣрныя воды во Франціи, около Пиренеевъ.

⁴⁾ Слово не разобрано.

⁵⁾ Чудовищныя брюки.

⁶⁾ Жилетъ отчаяніе.

Если Тучковъ не достанетъ денегъ, я достану, но это не въ уплату твоихъ 5,000. Я объ нихъ поговорю съ тобою здѣсь.

Кланяйся Фролову; я ему послалъ свою брошюрку—«Письма объ изученіи природы». Если Don Basilio ¹⁾ пріѣхалъ изъ Кордовы, то и ему пожми руку—«пантеистическое наслажденіе»!

Здѣсь все по старому.—Я мѣщански счастливъ дома, все тихо и хорошо, здоровье Нат. не хуже, навѣрное. Дѣти—дѣти. Кетчеръ состарѣлся, очерствѣлъ какъ-то до того, что иногда тягостенъ своей дикой односторонностью. Вотъ и все.

◆◆ 1. 17 октября 1845 г. Грановскій писалъ Фролову:

«Въ пріѣздъ Огарева не вѣрю; я не могу вспомнить о немъ безъ глубокой печали, Герценъ тоже. Какъ много природа и судьба дали этому человѣку, и что онъ сдѣлалъ изъ этихъ даровъ? Жизнь, преданная исканію мелкихъ, дешевыхъ наслажденій, припадки раскаянія и потомъ успокоеніе себя въ сознаніи собственнаго безсилія. Такъ мириться съ совѣстью не трудно. И сколько эгоизма въ такой жизни! Я не ригористъ по природѣ, и сверхъ того личныя слабости не даютъ мнѣ права быть строгимъ къ другимъ, но больно потерять вѣру въ человѣка такого, какъ Огаревъ. Что онъ дѣлалъ и дѣлаетъ за границей? Еслибъ онъ былъ простой туристъ, русскій баринъ, путешествующій съ цѣлью развлеченія и удовольствія, безъ другихъ цѣлей въ жизни, безъ другихъ притязаній, разумѣется, онъ былъ бы правъ. Говорятъ, что въ Россіи не для всякаго возможна дѣятельность. Это оправданіе людей, которые не хотятъ ничего дѣлать. Герценъ, Кетчеръ, Коршъ много дѣлаютъ, каждый въ своей сферѣ. А богатый человѣкъ у насъ можетъ сдѣлать безконечно много пользы» (т. II, 420).

435. Письмо къ А. А. Краевскому.

23 дек. 1845 г.

Признаюсь откровенно, что я не ожидалъ вовсе такого успѣха отъ повѣсти ²⁾; ее и здѣсь всѣ очень хвалятъ, а это побудило меня сейчасъ же засѣсть за продолженіе, и я написалъ цѣлое отдѣленіе, имѣющее точно такъ, какъ первый отрывокъ, относительную цѣлость и, между тѣмъ, внутреннюю связь ³⁾. По мнѣнію Гранов.

¹⁾ Василій П. Боткинъ.

²⁾ Первая часть «Кто виноватъ».

³⁾ Глава «Владиміръ Бельтовъ».

и прочихъ здѣшнихъ, новое отдѣленіе несравненно лучше перваго, т. е. напечатаннаго. Могу прислать его къ февральской или, вѣрнѣе, къ мартовской книжкѣ. Я намѣренъ теперь развить нѣсколько шире и дальше планъ, не убѣгая эпизодовъ (какъ напр., въ «Консуэло», которая вся изъ эпизодовъ).

Статья о Локкѣ и энциклопедистахъ задержана мною для поправокъ; теперь она готова. О Спинозѣ и Лейбницѣ не буду писать,—по крайней мѣрѣ, до лѣта, когда уѣду на дачу.

Ваше письмо и вслѣдъ за тѣмъ 108 сер. отъ Глазунова получилъ и, не заѣзжая домой, отправился къ Дебре ¹⁾ для округленія суммы. А я, вѣдь, опять, было, просилъ васъ вручить Кириллу Антоновичу Горбунову 250 руб., да письма разошлись; если васъ это не затруднитъ, пожалуйста, отдайте ему въ счетъ будущихъ благъ. Кстати, позвольте вамъ поднести экземпляръ моего портрета, который, я напишу Горбунову, чтобъ доставилъ Вамъ.

Кавелину отослалъ пріятную цидулку.

Диссертацию Соловьева купить нельзя: онъ имѣлъ глупость напечатать 100 экз.; я пришлю вамъ мой собственный. Я просто бы ее всю перепечаталъ въ «От. Зап.»: онъ, вѣроятно, согласится (напишите, если хотите), а диссертациа презамѣчательная.

Прощайте. Объ лекціяхъ Рулье я, можетъ, напишу, но объ Гранов. не буду; на это много причинъ, между прочимъ,—онъ собирается печатать свои лекціи,—тогда можно будетъ поговорить. А ужъ успѣхъ! Удивительно, да и онъ какъ еще развился съ прошлаго курса. Я диссертацию Сол. отдамъ вмѣстѣ съ статьей Базунову на-дняхъ же.

Отдѣльныхъ экземпляровъ повѣсти еще не получалъ.

Прощайте. Съ новымъ годомъ.

А. Герценов.

Я, вѣроятно, приѣду въ Петер. не ближе конца зимы или начала осени.

436. Письмо къ К. Д. Кавелину.

31 декабря 1845.

Вниманіе Ваше, Милордъ, заставляетъ меня поторопиться извѣстить васъ о нижеслѣдующемъ (мнѣ кажется, что быстро извѣщать о себѣ такъ же или еще болѣе учтиво, нежели освѣдомляться

¹⁾ Винный погребъ.

о васъ): вчера, часовъ въ пять, въ то время, какъ я собирался на маскарадъ къ гр. Панину—родилась у меня дочь ¹⁾). И миссъ, и миледи здоровы. Прошу взять этотъ примѣръ въ руководство себѣ, а Антонинѣ Федоровнѣ передать мой усердный поклонъ.

Мы такъ давно не видались, что, я думаю, мы не узнаемъ другъ друга, если встрѣтимся.

Прощайте.

Весь вашъ А. Герценъ.



¹⁾ Елизавета.

1846

437. Капризы и раздумье.

II.

По разнымъ поводамъ.

Года два тому назадъ умеръ въ своей подмосковной одинъ очень странный человѣкъ. Я его нѣсколько знавалъ при жизни, и довольно коротко познакомился съ нимъ послѣ его смерти. Человѣкъ онъ былъ тяжелый; его не любили, онъ надоѣдалъ своимъ рефлектерствомъ, — рефлектерство развилось у него подъ конецъ жизни въ болѣзнь, чуть не въ помѣшательство. Не было того простаго вопроса, надъ которымъ бы онъ не ломалъ головы. Онъ утратилъ ту врожденную сумму правилъ и истинъ, которая впередъ идетъ у каждаго человѣка, которую мы находимъ въ своемъ сознаніи прежде, нежели начинаемъ разсуждать,—такъ, какъ находимъ у себя носъ, глаза, нисколько не трудившись пріобрѣсти ихъ и не зная, собственно, откуда они. Чудакъ называлъ ихъ *фуэросами* ¹⁾ и искалъ иныхъ правилъ, до которыхъ не добился.

Странный человѣкъ былъ, сверхъ того, совершенно праздный человѣкъ. Не найдя никакой дѣятельности въ средѣ, въ которой родился, онъ сдѣлался туристомъ; потаскавшись лѣтъ десять по Европѣ, онъ воротился усталый, не совсѣмъ юный и принялся читать. Читалъ днемъ, читалъ ночью, читалъ романы, читалъ ученые сочиненія, читалъ журналы и вскорѣ дочитался до отвращенія отъ книгъ; тогда онъ сложилъ руки и рѣшилъ ничего не дѣлать; вѣроятно, для этого онъ поселился въ Москвѣ. Мысль нельзя сложить, какъ руки,—она и во снѣ не совсѣмъ спитъ; дѣятельность мысли росла въ немъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ менѣе было всякой другой дѣятельности, и онъ дошелъ до своего вѣчнаго раздумья, до своего раздраженнаго, почти лихорадочнаго рефлектерства.

¹⁾ Буквально—старинныя права и привилегіи нѣкоторыхъ испанскихъ провинцій.

Послѣ его смерти попались мнѣ въ руки его бумаги; я нашелъ тамъ множество замѣтокъ, мыслей, *капризовъ*, брошенныхъ наскоро, но не лишенныхъ интереса,—по крайней мѣрѣ, патологическаго интереса. Посылаю два-три образчика въ вашъ альманахъ,—помѣстите ихъ, если найдете занимательнымъ для читателей.

I.

Cogitata et visa ¹⁾).

Легкое повидимому только легко, а трудное повидимому только трудно. Обыкновенно думаютъ: чѣмъ мысль общнѣе, тѣмъ она труднѣе, что надобно имѣть чрезвычайное глубокомысліе и смѣтливость, чтобъ понять, на примѣръ, философскую книгу. Такъ думаютъ не только не читающіе такихъ книгъ, но и тѣ, которые ихъ пишутъ; они, единственно для облегченія мыслей само собою понятныхъ, затемняютъ ихъ до того, что онѣ дѣлаются совершенно непонятными. А посмотришь прямо въ глаза этимъ головоломнымъ истинамъ, снявши съ нихъ ежовую шкуру школьнаго изложенія, — ребенокъ пойметъ; труднѣе не понять ихъ, нежели понять. Если мы мало видимъ дѣтей, понимающихъ истины,—это оттого, что со дня рожденія развращаютъ естественный смыслъ ребенка воспитаніемъ. Воспитаніе очень надолго лишаетъ ребенка возможности понять ясное тѣмъ самымъ, что оно ему передаетъ темное за ясное, подавляетъ авторитетомъ, систематически приучаетъ дѣтей къ сумасшествію. Часть людей, свихнувши въ молодости свой умъ, такъ и остается на всю жизнь, въ родѣ тѣхъ индійцевъ, которымъ при рожденіи сдавливали черепныя кости; многіе потомъ собственными трудами продолжаютъ развивать въ себѣ способность искаженнаго мышленія и достигаютъ нерѣдко нѣкоторой ловкости въ этомъ искусствѣ. Человѣку, понявшему ясно и основательно, хоть одну ложь за правду, чрезвычайно трудно понять всякую истину; это объясняется по методѣ Жакото ²⁾: типы нелѣпыхъ выводовъ остаются въ головѣ, какъ законы, отъ которыхъ отвязаться мудрено. Не истины науки трудны, а расчистка человѣческаго сознанія отъ всего наслѣдственнаго хлама, отъ всего осѣвшаго ила, отъ приниманія неестественнаго за естественное, непонятнаго за понятное.

¹⁾ Продуманное и видѣнное.

²⁾ Жанъ-Жозефъ, франц. педагогъ, методъ котораго направленъ къ возбужденію умственной самодѣтельности.

Дѣйствительно трудное для пониманія—не за тридевять земель, а возлѣ насъ, такъ близко, что мы и не замѣчаемъ его,—частная жизнь наша, наши практическія отношенія къ другимъ лицамъ, наши столкновенія съ ними. Людямъ все это кажется очень простымъ и чрезвычайно естественнымъ, а въ сущности нѣтъ головоломнѣе работы, какъ понять все это. Кто разъ, на минуту отступя въ сторону, добросовѣстно всмотрится въ ежедневную мелочь, въ которой мы проводимъ время, да подумаетъ объ ней, тотъ или расхохочется до того, что сдѣлается боленъ, или расплачется до того, что потеряетъ глаза. Мы слишкомъ привыкли къ тому, что мы дѣлаемъ и что дѣлаютъ другіе вокругъ насъ; насъ это не поражаетъ; привычка—великое дѣло, это—самая толстая цѣпь на людскихъ ногахъ: она сильнѣе убѣжденій, таланта, характера, страстей, ума. Къ чему нельзя привыкнуть? Итальянецъ, живущій на Везувіи, привыкъ спать возлѣ кратера такъ же спокойно, какъ, въ свою очередь, нашъ мужичокъ спокойно отдыхаетъ въ обществѣ нѣсколькихъ тысячъ таракановъ. Митридатъ привыкъ вмѣсто кабула и сои приправлять кушанья всякими ядами и былъ очень здоровъ, а Фридрихъ II привыкъ класть въ супъ ассафетиду и находилъ, что его супъ прекрасно пахнетъ. Считаютъ, что все достойное вниманія, замѣчательное, любопытное—гдѣ-нибудь вдали, въ Египтѣ или въ Америкѣ; добрые люди не могутъ убѣдиться, что нѣтъ такого далекаго мѣста, которое не было бы близко откуда-нибудь; что вещь, возлѣ нихъ стоящая со дня рожденія, отъ этого не сдѣлалась ни менѣе достойною изученія, ни понятнѣе. Какъ на смѣхъ подобнымъ мнѣніямъ, все самое трудное, запутанное, самое сложное сосредоточивалось подъ крышей каждаго дома, — и критическій, аналитическій вѣкъ нашъ, критикуя и разбирая важные историческіе и всяческіе вопросы, спокойно, у ногъ своихъ, позволяетъ расти самой грубой, самой нелѣпой непосредственности, которая мѣшаетъ ходить и предательски прикрываетъ болота и ямы; ядра, летящія на разрушеніе падающаго зданія готическихъ предразсудковъ, пролетаютъ надъ головою преготическихъ затѣй оттого, что они подъ самымъ жерломъ.

Наука, государство, искусство, промышленность идутъ, развиваясь, во всей Европѣ стройно, широко; впереди великіе мыслители, великіе государственные люди, великіе художники, предприимчивые таланты. А домашняя жизнь наша слагается кое-какъ, основанная на воспоминаніяхъ, привычкахъ и внѣшнихъ необходимостяхъ; объ ней въ самомъ дѣлѣ никто не думаетъ, для нея нѣтъ ни мыслителей, ни талантовъ, ни поэтовъ,—не даромъ ее называютъ *прозой* въ противоположность плаксивой жизни балладъ и глупой жизни

идиллій. Только лѣта юности обстановлены похудожественнѣе; а потомъ за послѣднимъ лирическимъ порывомъ любви—утомительное *semper idem* ¹⁾ закулисной жизни, ежедневной суеты, мелкихъ хлопотъ, булабочныхъ уколовъ и пр. Общія сферы похожи на вызолоченныя гостиныя и залы, на отдѣлку которыхъ употреблены капиталы, а частная жизнь, это—тѣсная спальня, душная дѣтская, грязная кухня, гдѣ гости никогда не бываютъ. Конечно, въ послѣдніе три вѣка много перемѣнилось въ образѣ жизни,—впрочемъ, украдкой, безсознательно, даже вопреки убѣжденіямъ; мнѣня образъ жизни, люди не признавались въ этомъ,—знамена остались тѣ же; люди, какъ испанцы, хотятъ только сохранить *фюзаросы*, несмотря на то, что большая часть ихъ не соотвѣтствуетъ настоящему. Прислушиваясь къ сужденіямъ мудрыхъ міра сего, дивишься, какъ можетъ умъ дойти до того, чтобъ въ одно и то же время совмѣстить въ свой нравственный кодексъ стоическія сентенціи Сенеки и Катона, романтически-восторженныя выходки рыцаря среднихъ вѣковъ, самоотверженныя нравоученія благочестивыхъ отшельниковъ степей ѳиваидскихъ и своекорыстныя правила политической экономіи. Безобразіе подобнаго смѣшенія принесло свой плодъ, именно—мертвую мораль,—мораль, существующую только на словахъ, а въ самомъ дѣлѣ недостойную управлять поступками; современная мораль не имѣетъ никакого вліянія на наши дѣйствія; это — милый обманъ, нравственная благопристойность, одежда,—не болѣе. У каждаго человѣка за этой официальной моралью есть свой спрятанный *esprit de conduite*; официально онъ будетъ плакать о томъ, что бѣдный бѣдень, официально онъ благороднымъ львомъ вступится за честь женщины; *privatim* ²⁾ онъ беретъ страшные проценты, *privatim* онъ считаетъ себя въ правѣ обезчестить женщину, если условился съ нею въ цѣнѣ. Постоянная ложь, постоянное двоедушіе сдѣлали то, что меньше дикихъ порывовъ и вдвое больше плутовства, что рѣдко человѣкъ скажетъ другому оскорбительное слово въ глаза и почти всегда очернить его за глаза; въ Парижѣ я меньше встрѣчалъ шуринеровъ и эскарповъ, нежели мушаровъ ³⁾, потому что на первое ремесло надобно имѣть откровенную безнравственность и своего рода отвагу, а на второе—только двоедушіе и подлость. Наполеонъ съ содроганіемъ говорилъ о гнусной привычкѣ безпрестанно лгать. Мы лжемъ на словахъ, лжемъ движеніями, лжемъ изъ учтивости, лжемъ изъ добродѣтели, лжемъ изъ порочности; лганье

¹⁾ Вѣчное одно и то же.

²⁾ Частнымъ образомъ.

³⁾ *Chouineur*—тотъ, кто убиваетъ ножомъ; *escarpe*—профессіональный убійца изъ-за денегъ; *mouchard*—обывательская кличка шпіона, «шпикъ».

это, конечно, много способствуетъ къ растлѣнію, къ нравственному безсилію, въ которомъ рождаются и умираютъ цѣлыя поколѣнія, въ какомъ-то чаду и туманѣ проходящія по землѣ. Между тѣмъ, и это лганье сдѣлалось совершенно естественнымъ, даже моральнымъ: мы узнаемъ человѣка благовоспитаннаго по тому, что никогда не добьешься отъ него, чтобъ онъ откровенно сказалъ свое мнѣніе.

Наполеонъ говаривалъ еще, что наука до тѣхъ поръ не объяснитъ главнѣйшихъ явленій всемірной жизни, пока не бросится *вс мръ подробностей*. Чего желалъ Наполеонъ, исполнилъ микроскопъ. Естествоиспытатели увидѣли, что не въ палецъ толстая артерія и вены, не огромные куски мяса могутъ разрѣшить важнѣйшіе вопросы фізіологіи, а волосные сосуды, а клѣтчатки, волокна, ихъ составъ. Употребленіе микроскопа надобно ввести въ нравственный міръ, надобно разсмотрѣть нить за нитью паутину ежедневныхъ отношеній, которая опутываетъ самые сильные характеры, самыя огненные энергіи. Люди никакъ не могутъ заставить себя серьезно подумать о томъ, что они дѣлаютъ дома съ утра до ночи; они тщательно хлопчутъ и думаютъ обо всемъ: о картахъ, о крестахъ, объ абсолютномъ, о варіаціонныхъ исчисленіяхъ, о томъ, когда ледъ пройдетъ на Невѣ, но объ ежедневныхъ, будничныхъ отношеніяхъ, обо всѣхъ мелочахъ, къ которымъ принадлежатъ семейныя тайны, хозяйственныя дѣла, отношенія къ роднымъ, близкимъ, приснымъ, слугамъ, и пр., и пр.,—объ этихъ вещахъ ни за что въ свѣтѣ не заставишь подумать: онѣ готовы, выдуманы. Паскаль говоритъ, что люди для того играютъ въ карты, чтобъ не оставаться никогда долго наединѣ съ собою, чтобъ не дать развиться угрызениямъ совѣсти. Очень вѣроятно, что, руководствуясь тѣмъ же инстинктомъ, человѣкъ не любитъ разсуждать о семейныхъ тайнахъ, а не пора ли бы имъ на свѣтѣ? Я, какъ маленькія дѣти, боюсь темноты; мнѣ все кажется, что въ темнотѣ сидитъ злой духъ съ рыжей бородой и съ копытомъ. Зачѣмъ, кажется, прятать подъ спудомъ то, что не боится свѣта,—да въ сущности это все равно: прячь не прячь—все обличится; съ каждымъ днемъ меньше тайнъ.

Was sich in dem Kämmerlein
 Still und fein gesponnen
 Kommt—wie kann es anders sein?—
 Endlich an die Sonnen ¹⁾.

Изрѣдка какое-нибудь преступленіе, совершенное въ этомъ мракѣ частной жизни, пугнетъ на день, на другой людей, стояв-

¹⁾ То, что потихоньку и ловко замышляется въ каморкѣ, выходитъ потомъ—да и какъ можетъ быть иначе?—на свѣтѣ божій.

шихъ возлѣ, заставить ихъ задуматься..... для того, чтобъ потомъ начать судить и осуждать. Добрѣйшій человекъ въ мірѣ, который не найдетъ въ душѣ жестокости, чтобъ убить комара, съ великимъ удовольствіемъ растерзаетъ доброе имя ближняго на основаніи морали, по которой онъ самъ не поступаетъ и которую прилагаетъ къ частному случаю, рассказанному во всей его непонятности. «Его жена уѣхала вчера отъ него.—Скверная женщина!». «Отецъ его лишилъ наслѣдства.—Скверный отецъ!»—Всякое судебное мѣсто снисходительнѣе осуждаетъ, нежели записные филантропы и люди, сознающіе себя честными и добрыми. Двѣсти лѣтъ тому назадъ Спиноза доказывалъ, что всякій прошедшій фактъ надобно ни хвалить, ни порицать, а разбирать, какъ математическую задачу, т. е. стараться понять,—этого никакъ не растолкуешь. Къ тому же, чтобъ преступленіе обратило на себя вниманіе, надобно, чтобъ оно было чудовищно, громко, скандально, облито кровью. Мы въ этомъ отношеніи похожи на французскихъ классиковъ, которые, если шли въ театръ, то для того, чтобъ посмотрѣть, какъ цари, герои или, по крайней мѣрѣ, полководцы и наперсники ихъ кровь проливаютъ, а не для того, чтобъ видѣть мѣщански проливаемая слезы. Людямъ необходимы декораціи, обстановка, надпись; мѣщанинъ во дворянствѣ очень удивился, узнавши, что онъ сорокъ лѣтъ говорить прозой,—мы хохочемъ надъ нимъ; а многіе лѣтъ сорокъ дѣлали злодѣянія и умерли лѣтъ восьмидесяти, не зная этого, потому что ихъ злодѣянія не подходили ни подъ какой параграфъ кодекса,—и мы не плачемъ надъ ними.

Лафаржъ отравила своего мужа (т. е. положимъ, что отравила; слѣдствіе было сдѣлано такъ неловко, что нельзя понять, Лафаржъ ли отравила мышьякомъ своего мужа, или судьи отравили юриспруденціей г-жу Лафаржъ)—крикъ, толки ¹⁾). Злодѣйство въ самомъ дѣлѣ страшное, гнусное,—въ этомъ никто не сомнѣвается; да что же собственно новаго въ этомъ убійствѣ? Я увѣренъ, что въ томъ же самомъ Парижѣ, гдѣ такъ кричали объ этомъ, нѣтъ большой улицы, гдѣ-бы въ годъ или въ два не случилось чего-нибудь подобнаго—разница въ оружіяхъ. Лафаржъ, какъ рѣшительная преступница, дала минеральнаго яду; а что далъ, на примѣръ, мой сосѣдъ, богатый откупщикъ, своей женѣ, которая вышла за него потому, что ея нѣжные родители стояли передъ нею на колѣняхъ, умоляя спасти ихъ имѣнье, ихъ честь продажей своего тѣла, своимъ безчестіемъ? что далъ ей мужъ, какого яда, отъ котораго она изъ ангела красоты сдѣлалась въ два года развалиной?

¹⁾ Громкое, весьма запутанное уголовное дѣло во Франціи.

Отчего эти ввалившіяся щеки, отчего ея глаза, сдѣлавшіеся огромными, блестятъ какимъ-то болѣзненно-жемчужнымъ отливомъ? Орфила ¹⁾ и самъ Распайль не найдутъ ничего ядовитаго въ ея желудкѣ, когда она умретъ, и немудрено: ядь у ней въ мозгу. Психическія отравы ускользаютъ отъ химическихъ реагенцій и отъ тупости людскихъ сужденій. «Чего недостаетъ этой женщинѣ? она утопаетъ въ роскоши»,—говорятъ глупѣйшіе, не понимая, что мужъ, наряжающій жену не потому, что она хочетъ этого, а потому, что онъ хочетъ, себя наряжаетъ; онъ ее наряжаетъ, потому что она его,—на томъ же основаніи, какъ наряжаетъ лакея и кучера. «Все такъ»,—говорятъ умнѣйшіе—но, согласившись на просьбу родителей, она должна была благоразумнѣе переносить свою судьбу». А позвольте спросить: возможно-ли *хроническое* самоотверженіе? Разомъ пожертвовать собой—не важность: Курцій бросился въ пропасть да и поминай, какъ звали,—это понятно; а безпрестанно, цѣлые годы, каждый день приносить себя на жертву,—да гдѣ-же взять столько геройства или столько ослинаго терпѣнья? Довольно, что хватило силъ на первую безумную жертву: такая жертва, само собою разумѣется, не приносится ни отцу, ни матери, потому что они перестаютъ быть отцомъ и матерью, если требуютъ такихъ жертвъ. Супругъ, вѣроятно, не остановился на куплѣ, потребоваль, сверхъ страшныхъ жертвъ, отъ которыхъ возмущается все чело-вѣческое достоинство, любви и, не найдя ея, началъ, *par dépit* ²⁾, тихое, кроткое, семейное преслѣдованіе,—эту извѣстную охоту *par force*, преслѣдованіе внимательное, какъ самая нѣжная любовь, постоянное, какъ самая вѣрная старуха-жена,—преслѣдованіе, отравляющее каждый кусокъ въ горлѣ и каждую улыбку на устахъ. Я коротко знакомъ съ этимъ преслѣдованіемъ; оно, какъ Янусъ, о двухъ лицахъ: одно для гостей, глупо-улыбающееся, другое для домашняго употребленія, тоже улыбающееся, но улыбкой гіены, сказалъ бы я, если-бъ гіены улыбались; хищные звѣри добросовѣстны, они не дѣлаютъ медовыхъ устъ, когда хотятъ кусать. Умри жена,—супругъ воздвигнетъ монументъ; объ немъ будутъ жалѣть больше, нежели объ ней; онъ самъ обольетъ слезами ея гробъ и, для довершенія удара, слезами откровенными; онъ, подавая ей психическаго мышьяку, вовсе и не думалъ, что она умретъ.

Людымъ непремѣнно надобны видимые знаки, несчастію нѣ-мому они сочувствовать не могутъ. «Вотъ, видите этого толстаго мужчину съ усами? онъ сидѣлъ годъ въ тюрьмѣ»,—и всѣ: «ахъ,

¹⁾ Знаменитый франц. профессоръ медицины и токсикологіи.

²⁾ Съ досады.

Боже мой! бѣдный, что онъ вынесъ!». Ну, а какая же тюрьма въ образованномъ государствѣ можетъ сравниться съ свободной жизнью этой женщины? Съ чего тюремщику, если онъ не какой-нибудь извергъ, которыхъ такъ же мало, какъ и великихъ людей, съ чего ему ненавидѣть колодника? Они оба несутъ двѣ довольно тяжелыя ноши, и тюремщикъ, исполняя свою обязанность, не смѣетъ итти далѣе приказа. Конечно, заключеніе тяжело,—я это знаю лучше многихъ,—но ставить тюрьму рядомъ съ семейными несчастіями смѣшно. Люди, по своему несовершеннолѣтію, только тѣ несчастія считаютъ великими, гдѣ цѣпи гремятъ, гдѣ есть кровь, синія пятна,—какъ будто хирургическія болѣзни сильнѣе нравственныхъ.

Когда я хожу по улицамъ, особенно поздно вечеромъ, когда все тихо, мрачно, и только кое-гдѣ свѣтится ночникъ, тухнущая лампа, догорающая свѣча,—на меня находитъ ужасъ: за каждой стѣной мнѣ мерещится драма, за каждой стѣной виднѣются горячія слезы,—слезы, о которыхъ никто не свѣдаетъ, слезы обманутыхъ надеждъ, слезы, съ которыми утекаютъ не одни юношескія вѣрованія, но всѣ вѣрованія человѣческія, а иногда и самая жизнь. Есть, конечно, дома, въ которыхъ благоденственно ѣдятъ и пьютъ цѣлый день, тучнѣютъ и спятъ безпробудно цѣлую ночь, да и въ такомъ домѣ найдется хоть какая-нибудь племянница, притѣсенная, задавленная, хоть горничная или дворникъ, а ужъ непременно кому-нибудь да солоно жить.

Отчего все это? Я полагаю, что вещество большого мозга не совсѣмъ еще выработалось въ шесть тысячъ лѣтъ, оно еще не готово; оттого люди и не могутъ сообразить, какъ устроить домашній бытъ свой.

Право такъ. У большей части людей мозгъ ребячій,—имъ надобны дядьки, няньки, педея, наказанія, приказанія, карцеры, игрушки, конфекты и прочее—дѣло дѣтское!

II.

Богатые люди по большей части — или моты, или скупцы; на сотни выщется одинъ, который умѣетъ управлять своимъ состояніемъ, не впадая въ крайность расточительности или скупости. Совершенно случайное сосредоточеніе огромныхъ средствъ какъ-то кружить голову людямъ; они бросаютъ ихъ или не употребляютъ, доказывая въ обоихъ случаяхъ ненужность ихъ. Впрочемъ, не надобно ставить расточительность и скупость на одну доску. Расточительность носить сама въ себѣ предѣлъ: она оканчивается съ

послѣднимъ рублемъ и съ послѣднимъ кредитомъ; скупость безконечна и всегда при началѣ своего поприща: послѣ десяти милліоновъ она съ тѣмъ же оханьемъ начинаетъ откладывать одиннадцатый. Расточительность поправляетъ сдѣланное стяжаніемъ,—она видитъ горсть золота въ своихъ рукахъ, неизвѣстно, какъ въ нихъ попавшюся, не выработанную, свалившюся съ неба, и бросаетъ ее за наслажденія, пиры, за упоеніе нѣгой, за удобства роскоши. Конечно, это дурно, т. е. то дурно, что человѣкъ ставитъ высшимъ наслажденіемъ суетное удовлетвореніе желаній, если и не порочныхъ, то пустыхъ; но вредъ расточительности больше отрицательный: мотъ могъ-бы лучше употребить себя и свои средства, безъ сомнѣнія, но онъ и не удерживаетъ эти средства въ своихъ рукахъ, а отдаетъ ихъ другимъ; собственно, гнуснаго, преступнаго ничего нѣтъ въ расточительности; мотовство часто сопрягается съ художественной любовью изящнаго, съ благородными порывами. Избалованный мотъ иногда откажетъ въ участіи, но дастъ денегъ; скупой никогда не откажетъ въ участіи, но никогда денегъ не дастъ. Въ мотѣ есть что-то избалованное, прихотливое, распущенность характера гетеры; въ скупцѣ—что-то преступное, анти-соціальное, онъ похожъ на шакала, онъ хуже его. Дидро говоритъ, что онъ знаетъ только одинъ порокъ, и этотъ порокъ—скупость.

Ревнивая привязанность къ имуществу безнравственна; богатство хранимое болѣе развращаетъ человѣка, нежели богатство расточаемое; оно, какъ тяжелая гиря, стягиваетъ къ землѣ всякій порывъ, всякую благородную мысль; не имущество принадлежитъ скупому, а скупой имуществу. Слово «недвижимое имѣніе» значитъ для скупца капканъ, въ который пойманъ подвижной духъ его. Деньги и богатство—страшный оселокъ для людей: кто на немъ попробовалъ себя и выдержалъ испытаніе, тотъ смѣло можетъ сказать, что онъ человѣкъ. Самоотверженіе на поприщѣ гражданственности, мужество на полѣ битвы, смѣлая рѣчь, патріотизмъ, готовность служить другу рукой, головой,—все это довольно часто встрѣчается на бѣломъ свѣтѣ; но... но до кармана касаться не совѣтую тому, кто хочетъ сохранить юношескія вѣрованія. Гдѣ люди, которые не согнутся подъ бременемъ ожидаемаго милліона? А если есть такіе, которые не своротятъ съ прямой дороги для чужого милліона, то, конечно, нѣтъ такихъ, которые не своротятъ, чтобъ сохранить свой собственный.

Обвиняютъ мота въ неуваженіи къ деньгамъ; но онѣ и недостойны уваженія, такъ, какъ вообще всѣ вещи, кромѣ художественныхъ произведеній. Человѣкъ ими пользуется, употребляетъ ихъ, и вещь вполне достигаетъ высшей цѣли, отдаваясь въ насла-

жденіе чловѣку,—другого уваженія она не заслуживаетъ, другимъ образомъ чловѣкъ можетъ уважать только чловѣка; уважать вещь—вообще безсмыслица, но уважать деньги—двойная безсмыслица: въ вещи я уважаю иногда ея красоту, воспоминанія, сопряженныя съ нею, но деньги—алгебраическая формула всякой вещи, не вещь, а представительница вещей.

Расточительность и скупость—двѣ болѣзни, текущія изъ одного источника и приводящія различными путями къ одному концу. Голодная бѣдность мота встрѣчается съ голоднымъ богатствомъ скупца, и тутъ они равны. Лучшаго доказательства нелѣпости богатства быть не можетъ.

Безнравственно быть мотомъ, зная, что сосѣдь умираетъ съ голоду,—въ этомъ нѣтъ сомнѣнія; придетъ время, будутъ удивляться нашему аппетиту и крѣпости нервъ, особенно дамскихъ; но... но есть нѣчто гораздо безнравственнѣйшее: беречь свои деньги, зная, что сосѣдь умираетъ съ голоду.

III.

Совершеннолѣтіе закономъ опредѣляется въ 21 годъ. Въ дѣйствительности, убѣгающей отъ ариѳметическихъ однообразныхъ опредѣленій, можно встрѣтить старика лѣтъ двадцати и юношу лѣтъ въ пятьдесятъ. Есть люди, совершенно неспособные быть совершеннолѣтними, такъ, какъ есть люди, не способные быть юными. Знаменитая Беттина оставалась ребенкомъ на всю жизнь — тѣмъ самымъ восторженнымъ ребенкомъ, котораго кудри ласкалъ олимпической рукой Гете, никогда не бывшій юношей въ жизни; онъ отбылъ, какъ извѣстно, свою юность Вертеромъ. Біографы Ньютона удивляются, что ничего не извѣстно объ его ребячествѣ, а сами говорятъ, что онъ въ восемь лѣтъ былъ математикомъ, то есть не имѣлъ ребячества. Напротивъ, Лафайетъ въ восемьдесятъ лѣтъ нуждался еще въ гувернерѣ,—это было самое благородное и самое старое дитя обоихъ полушарій. Для одного юность — эпоха, для другого — цѣлая жизнь. Въ юности есть нѣчто, долженствующее проводить до гроба, но не все: юношескія грезы и романтическія затѣи очень жалки въ старикѣ и очень смѣшны въ старухѣ. Остановиться на юности потому скверно, что на всемъ останавливаться скверно,—надобно быстро нестись въ жизни; оси загорятся—пускай себѣ, лишь-бы не заржавѣли. Чловѣкъ, способный на дѣйствительность, на совершеннолѣтіе, имѣетъ органъ претворенія всѣхъ событій, внутреннихъ и внѣшнихъ, въ такую ткань, которая, безпрес-

танно обновляясь, сама усугубляет силу и объемъ взгляда; изъ юношескаго романтизма онъ троеитъ практической взглядъ; онъ подъ тѣми же словами разумѣтъ несравненно ширшія понятія, — старый юноша неподвижно остается при старыхъ понятіяхъ. Въ юности человекъ имѣетъ непремѣнно какую-нибудь маноманію, какой-нибудь несправедливый перевѣсъ, какую-нибудь исключительность и бездну готовыхъ истинъ. Плоская натура при первой встрѣчѣ съ дѣйствительностью, при первомъ жесткомъ толчкѣ, плюетъ на прежнюю святыню души своей, ругается надъ своими заблужденіями и, по мѣрѣ надобности, беретъ взятки, женится изъ денегъ, строитъ домъ, два... Благородная, но не реальная натура идетъ наперекоръ событіямъ, не стремится понять препятствія, а сломить ихъ, лишь бы спасти свои юношескія мечты и обыкновенно, видя, что нѣтъ успѣха, останавливается и, остановившись, повторяетъ всю жизнь одну и ту же ноту, какъ роговой музыкантъ. Натура дѣйствительная не такъ поступаетъ: она воспитываетъ свои убѣжденія по событіямъ такъ, какъ Петръ I воспитывалъ своихъ воиновъ шведскими войнами; она не держится за старое въ его буквальномъ смыслѣ, она не съ юношескими сентенціями отправляется на борьбу, на жизнь, а съ юношеской энергіей; сентенціи, правила ей не нужны, — у ней есть *тактъ*, т. е. органъ импровизаціи, творчества; она вступаетъ во взаимодействіе съ окружающей средой; ничего не можетъ быть болѣе удалено отъ твердыхъ и законныхъ истинъ, какъ дѣйствительное воззрѣніе: оно тягуче, тягуче, оно колеблется, какъ вода въ морѣ, но кто сдвинетъ подвижное море?

Всѣ нѣмецкіе филистеры — по большей части бурши, не умѣвшіе примирить юное съ совершеннолѣтнимъ. Самая смѣшная сторона филистерства именно въ этомъ сожитіи въ одномъ и томъ же человекѣ теоретической юности съ мѣщанскимъ совершеннолѣтіемъ. Старѣться значитъ окостенѣть; неправда, что всякій долженъ старѣться; старѣется, собственно, остановившаяся натура, — она тогда въ мертвенномъ покоѣ осѣдаетъ кристаллами; въ нравственномъ мірѣ то же, что въ физическомъ: мозгъ сохнетъ, хрящъ идетъ въ кость, зубы костенѣютъ до того, что выпадаютъ изо рта, какъ камешки. Но въ нравственномъ мірѣ это не непремѣнно: натура, безпрестанно обновляющаяся, безпрестанно развивающаяся, въ старости молода. Натура реальная почти не имѣетъ способности старѣться, — она по преимуществу душа живая. Сикстъ V распрямылся, чтобъ достать головою тіару, — старость не помѣшала ему ¹⁾).

¹⁾ Римскій папа XVI столѣтія, который до избранія притворялся настолько физически слабымъ, что не ходилъ безъ клюки, послѣ избранія — швырнулъ клюку и запѣлъ громовымъ голосомъ.

Старый юноша имѣетъ свои приемы, которыми онъ съ двухъ словъ обличаетъ себя. Вы его узнаете по ненависти къ Гете и по пристрастію къ Шиллеру, по его презрѣнію къ практической дѣятельности, къ матеріальному интересу; онъ не любитъ желѣзныхъ дорогъ, положительности, индустріи, Сѣверной Америки, Англии; онъ любитъ средніе вѣка, платоническую любовь; ему надобенъ эффектъ, фраза,—и замѣтите, что у него эффектъ и фраза вовсе не ложь, вовсе не поддѣльны,—онъ за фразу пойдетъ и сядетъ на колъ, если только онъ живетъ въ такой образованной странѣ, гдѣ за фразу сажаютъ на колъ. Романтизмъ вообще ищетъ несчастій, онъ очищается ими, хотя мы не знаемъ, гдѣ онъ загрязнился; это особая метода лѣченія, Unglückskur ¹⁾, такъ, какъ есть Wasserkur ²⁾, Hungerkur ³⁾. Старый юноша, это—Эгмонтъ; юный старецъ, это—Вильгельмъ-Оранскій. Донъ-Карлосъ, маркизь Поза, Максъ Пикколомини должны были умереть въ юности, и образы ихъ остались у насъ неразрывны съ чертами отроческой красоты, и какъ они хороши! Исторія намъ много завѣщала вѣчно-юныхъ лицъ, начиная съ представителя Греціи, Ахилла, и до... ну хоть до Шарлотты Кордэ ⁴⁾. Доживи Максъ Пикколомини до генераль-аншефовъ, Донъ-Карлосъ—до смерти Филиппа II, они пережили бы себя, они играли бы престранную роль или должны были бы переработаться, но въ томъ-то и бѣда, что въ нихъ мало замѣтно перерабатывающей силы. Такъ, какъ они есть, они высоко художественны, но для того, чтобы ихъ оставить такими, надобно было ихъ спасти смертной казнью. Таковъ нашъ соотечественникъ Владиміръ Ленскій, — и Пушкинъ разстрѣлялъ его. Не такова Татьяна,—и она осталась, слава Богу, здорова. Шекспиръ зналъ, что дѣлать, перерывая, такъ сказать, на первомъ поцѣлуѣ нить жизни Ромео и Юліи.

438. Письмо къ А. А. Краевскому.

19 января 1846.

Москва.

Вторая часть повѣсти готова и переписывается. Къ 1 февраля она будетъ у васъ; можете, слѣд., напечатать ее въ мартовской книжкѣ. Но вотъ условіе, на которое я тѣмъ болѣе обращаю Ваше

¹⁾ Лѣченіе несчастьемъ.

²⁾ Лѣченіе водой.

³⁾ Лѣченіе голодомъ.

⁴⁾ Молодая дѣвушка, роялистка, убившая, по убѣжденію, Марата во время великой французской революціи.

вниманіе, что исполненіе его я считаю необходимымъ: если что-нибудь важное, напр., *происхожденіе или жизнь до замужества Софи* (вы увидите это лицо) не пропустятъ, *ни подѣ какимъ видомъ* не печатайте, а пришлите мнѣ переправить, ибо весь будущій смыслъ повѣсти исказится отъ этого. Впрочемъ, вы при чтеніи увидите, что это—одна предусмотрительность и что все возможно, особенно при настойчивости съ вашей стороны. Я теперь только и думаю о повѣстяхъ.

Далѣе, вотъ гомеопатическая просьба. Прикажите мнѣ отпечатать 50 заглавныхъ листковъ для «Писемъ объ изученіи природы» и 50 для повѣсти. Такъ дѣлаютъ здѣсь москвитяне ¹⁾, посылая статьи.

Кавелинъ статью о Сборникѣ написалъ превосходную ²⁾; она отправится вмѣстѣ съ повѣстью. Подобнаго славяне не испытывали: зло, основательно, бойко, ну, просто—объяденье. Я бы совѣтовалъ вамъ помѣстить ее въ отдѣлѣ критики.

Вы уже отдали 250 р. Горбунову, но попрошу васъ еще 200 вручить ему; это будетъ, значитъ, *450 до расчета*. Кавелину деньги пришлите по отпечатаніи.

21-е.

Сейчасъ отправилъ къ Базунову повѣсть и статью. Неужели у васъ никто не поучить дурака-Булгар., что такое «плоскость эклиптики» ³⁾, о которой онъ написалъ противъ Сенк. ⁴⁾? Такой случай жаль пропустить.

Повторяю мою усердную просьбу: никакъ не печатать съ искаженіями, а мнѣ возвратить для перерабатыванія. Повѣсть эта, несмотря на то, что она будетъ состоять изъ отдѣльныхъ главъ или эпизодовъ, имѣетъ такую цѣлость, что вырванный листъ испортитъ все. Кстати, есть мѣста смѣшныя, за которыя тоже попрошу васъ постоять, напр., посѣщеніе комиссаромъ квартиры на Гороховой.

Засимъ остаюсь вашъ покорный богомолецъ

А. Герценъ.

Экзем., особо отпечатанные, какъ всегда, и «Писемъ» и «Повѣсти».

И еще просьба: прикажите купить книгу, которой здѣсь нѣтъ,

¹⁾ Сотрудники «Москвитянина».

²⁾ О т. I «Сборника историческихъ и статистическихъ свѣдѣній о Россіи и народахъ, ей единовѣрныхъ и единоплеменныхъ», Д. Валуева, въ № 7 «Отеч. Записокъ».

³⁾ О плоскости эклиптики упоминается въ статьѣ Ф. В. Булгарина, «Журнальная всякая всячина», въ № 10 «Сѣверной Пчелы» 1846 г.

⁴⁾ О. И. Сенковскій.

въ англійск. книжной лавкѣ: Hazlitt, «Lectures on the liter. of the Elisabethean age», цѣна 90 к. сер.—и пришлите, хоть съ «От. Зап.». ¹

◆◆ 1. Въ концѣ 1845 г. Бѣлинскій рѣшилъ оставить эксплоатировавшаго его Краевскаго и издать на собственный рискъ громадный альманахъ изъ лучшихъ литературныхъ силъ; хлопоча объ альманахѣ и вообще не желая дальше поддерживать «Отечеств. Записки», онъ писалъ Герцену 14 января 1846 г.: «Не могу спорить противъ того, чтобы ты дѣйствительно не имѣлъ своихъ причинъ не желать отказать Кузьмѣ Рощину (прозвище Краевскаго,—*М. Л.*) въ продолженіи твоей повѣсти. Дѣлай, какъ знаешь. Но только на новую повѣсть твою мнѣ плоха надежда. Альманахъ долженъ выйти къ Пасхѣ,—времени мало... Чтобы ты успѣлъ написать новую повѣсть—невѣроятно, даже невозможно. Притомъ же, бросивши продолжать и доканчивать старую, чтобы начать новую, ты испортишь себѣ. Я увѣренъ, что ты не захочешь оставить меня безъ твоей повѣсти, но данное слово Рощину тоже что-нибудь да значить. Дѣлай, какъ знаешь, а мое мнѣніе вотъ какое: надо сплутовать. Напиши къ нему письмо (пошутливѣе), что твой пегасъ охромѣлъ, и повѣсть твоя, сначала шедшая хорошо, пошла вяло, надоѣла тебѣ, и ты ее забросилъ до времени. А потомъ, какъ я скажу тебѣ, что пора, напиши къ нему, что, де, къ крайнему твоему прискорбію, ты никакъ не могъ долго колебаться между обязанностью выполнить слово, данное подлецу и чуждому тебѣ человѣку, и между необходимостью помочь въ бѣдѣ порядочному человѣку и пріятелю твоему, но что за неустойку ты дашь ему другую повѣсть когда-нибудь. Вотъ и все».

Герценъ отвѣчалъ Бѣлинскому письмомъ, нигдѣ не найденнымъ. Отчасти объ его содержаніи можно судить по отвѣту, въ свою очередь, Бѣлинскаго отъ 26 января: «Твое рѣшеніе, любезный Герценъ, отдать «Кто виноватъ?» Краевскому, а не мнѣ, совершенно справедливо. Подлости другихъ не даютъ намъ право поступать подло даже съ подлецами. Но только мнѣ, соглашаясь, что ты правъ, приходится волкомъ выть. Я думалъ, что у меня будутъ двѣ капитальныя повѣсти—Достоевскаго и твоя, а мнѣ надо брать повѣстями. Я еще не знаю, успѣешь ли ты написать двѣ вещицы, какъ объщаешь,—уже одно то, что это не повѣсти въ *твою* родѣ, т. е. съ глубокою гуманною мыслью въ основѣ, при внѣшней веселости и легкости, важно. Такія вещи, какъ «Кто виноватъ?», не часто приходятъ въ голову, а между тѣмъ одной такой вещи достаточно бы для успѣха альманаха... Коли писать для альманаха, такъ брось сборы и пиши да и другихъ торопи!»

6 февраля Бѣлинскій снова возвращается къ тому же предмету: «Письмо и деньги твои (100 р. сер.) получилъ вчера, любезный мой Герценъ, за что все не благодарю, потому что это лишнее. Радъ я несказанно, что нѣтъ причины опасаться не получить отъ тебя ничего для альманаха, такъ какъ «Сорока-воровка» кончена и придетъ ко мнѣ во-время. А, все-таки, грустно и больно, что «Кто виноватъ?» ушелъ у меня изъ рукъ. Такія повѣсти (если 2 и 3 часть не уступаютъ первой) являются рѣдко, и въ моемъ альманахѣ она была бы капитальной статьей, раздѣляя восторгъ публики съ повѣстью Достоевскаго («Сбритыя бакенбарды»), а это было бы больше, нежели сколько можно желать издателю альманаха даже и во снѣ, не только на яву. Словно, бѣсъ какой дразнить меня этою повѣстью, и, разставшись съ нею, я все не перестаю строить на ея счетъ предположительные планы,—напр., перепечаталъ бы и первую часть изъ «Отеч. Записокъ» вмѣстѣ съ двумя остальными и этимъ началъ бы альманахъ. Тогда фурорный успѣхъ альманаха былъ бы вѣрнѣе того, что Погодинъ—воръ, Шевырка—дуракъ, а Аксаковъ—шутъ. Но, повторяю, соблазнителемъ невинности твоей совѣсти быть не хочу, а только не могу не замѣтить кстати, что исторія этой повѣсти мнѣ сильно открыла глаза на причину успѣховъ въ жизни мерзавцевъ... по крайней мѣрѣ, потѣшь меня однимъ: сдери съ Рощина рублей по 80 сер. или ужъ ни въ коемъ случаѣ не меньше 250 асс. за листъ. Повѣсть твоя имѣла успѣхъ страшный, и требованіе такой цѣны за ея продолженіе никому не покажется страннымъ. Отдавая первую часть, ты имѣлъ права не дорожить ею, потому что не зналъ ея цѣны. Теперь другое дѣло» (Бѣлинскій «Письма», т. III, 92, 93, 96, 97—98).

439. Письмо къ А. А. Краевскому.

Февраля 25, 1846.
Москва.

Письмо ваше, почтеннѣйшій Андрей Александровичъ, получилъ. Поправки ¹⁾ въ повѣсти незначительны, что не мѣшаетъ имъ быть очень глупыми. Полагаюсь на то, что Вы потрудитесь кое-что объяснить; только одного не забудьте: вымарайте лучше всю фразу, нежели печатать «несчастливая страдальца»; тутъ можно поставить точки: въ письмахъ это въ модѣ.

¹⁾ Цензора, читавшаго рукопись.

Послѣдняя часть пишется: полагаю, къ майской или юньской книжкѣ будетъ готова; она развивается недурно. Ея жизненный вопросъ—бракъ.

Что у васъ въ Питерѣ за чудеса творятся? Министерскій кризисъ въ «Отечественныхъ Запискахъ»! Бѣлинскій пишетъ, что онъ усталъ, что онъ чувствуетъ себя не въ силахъ работатъ срочно и что оставляетъ «Отеч. Зап.» рѣшительно. Это сконфузило здѣсь всѣхъ любителей «От. Зап.» и поклонниковъ Бѣл. Пусть бы онъ ѣхалъ на лѣто въ Москву, въ Крымъ, а потомъ бы опять. Потеря такого сотрудника равняется Ватерлоо, послѣ котораго Наполеонъ—все Наполеонъ, да безъ арміи. Критика «От. Зап.» составляла ихъ соль: рѣзкій характеръ ея дѣйствовалъ сильно на читателей; она-то и постраждетъ, ибо *imitatorum recus* Бѣлинс.—все-таки, *recus* ¹⁾). Наконецъ, я одного не понимаю: если у васъ нѣтъ съ нимъ другого разрыва, то кто же мѣшаетъ ему не постоянно участвовать? Впрочемъ, что я пустился въ семейныя дѣла «От. Зап.»; право я имѣю на это одно тѣмъ, что мнѣ искренно хотѣлось бы, чтобъ «От. Зап.» продолжались по прежнему, а, вѣдь, безъ Бѣл. охладѣютъ многіе вкладчики или труды ихъ раздробятся.

Статью Кавелина напечатайте когда угодно, но ему очень нужны деньги, а потому пришлите, хоть на мое имя, записку на полученіе имъ 250 руб. до разчета (я увѣренъ, что около двухъ печат. листовъ будетъ).

Кстати къ деньгамъ: какъ вы думаете, не слѣдуетъ ли мнѣ за повѣсть получать плату поболѣе той, которую за ученія статьи? Ученія могутъ остаться по 150, а повѣсть можетъ подняться до 200 и все при томъ же условіи—50 особыхъ экземпляровъ (что, впрочемъ, ничего не стоитъ). Впрочемъ, вы знаете, что берутъ другіе: Некрасовъ, Панаевъ. Повѣсти пишутся какъ-то туже и цѣнятся по количеству читателей.

Англійскую книжку получилъ и весьма благодаренъ.

Когда вы пріѣдете сюда, не забудьте привезти съ собою диссертацию Соловьева: она дѣлается чрезвычайной рѣдкостью.

Засимъ, желая какъ можно скорѣе услышать о вторичномъ вступленіи Роберта Пиля въ критическое министерство «От. Зап.», остаюсь душевно преданный

А. Герценъ. ¹

А что, какъ энциклопедисты и Юмъ? ²⁾

¹⁾ Стадо подражателей (Бѣлинскому)—все-таки, стадо.

²⁾ См. № 417.

◆◆ 1. 19 февраля Бѣлинскій снова отвѣчалъ на неизвѣстное намъ письмо Герцена, въ которомъ послѣдній говорилъ, что не знаетъ, радоваться или нѣтъ уходу Бѣлинскаго изъ журнала. «Если будешь писать къ Рошину, пиши такъ, чтобы я тутъ былъ въ сторонѣ. И вообще въ этомъ дѣлѣ всего лучше поступать политично. Наприм., изъяви ему свое искреннее сожалѣніе, что чортовская журнальная работа разбора букварей, глупыхъ романовъ и тому подобнаго вздора такъ доконали меня, что я принужденъ былъ подумать о спасеніи жизни, и намекни, что, вслѣдствіе этого обстоятельства, ревность многихъ бывшихъ вкладчиковъ «От. Зап.» должна теперъ охладѣть. Послѣднее особенно нужно ему. Онъ все думаетъ, что вы для него трудились... Не худо изъявить ему сожалѣніе, что «От. Зап.» теперъ должны много потерять въ духѣ и направленіи. Ты бы это ловко могъ сдѣлать. Но оскорблять его прямо вовсе не нужно».

Изъ того же письма Бѣлинскаго видно, что Герценъ собирался въ апрѣлѣ въ Спб.: «Твоему приѣзду въ апрѣлѣ радъ до-нельзя», — и что въ «Петерб. сборникѣ» Герцену очень понравилось некрасовское «Въ дорогѣ» (Бѣлинскій «Письма», т. III, 101, 103, 104).

440. Письмо къ А. А. Краевскому.

10 апрѣля 1846.

Слышалъ я, что вы были очень больны и оттого не приѣхали сюда, но такъ какъ вы выздоровѣли, то остается къ соболѣзнованію прошедшему прибавить: *gaudeo et gratulor* ¹⁾).

Я чуть не умеръ со смѣху отъ разбора Галичева словаря ²⁾; кто этотъ почтенный критикъ? Это до того смѣшно, что мочи нѣтъ. Но долженъ сказать правду, что удивился анекдоту о Вѣдринѣ и о славянофилѣ: кто ихъ писалъ, не знаю, но это за предѣлъ всякой деликатности. ¹

Не Кавелина ли статья застряла?

Если вы мнѣ не посылали деньги, то я бы попросилъ васъ отдать Горбунову 175 руб. асс., но, если ужъ послали, то я самъ отошлю.

¹⁾ Радуюсь и поздравляю.

²⁾ Въ IV кн. «Отечественныхъ Записокъ» 1846 г., рецензія В. Г. Бѣлинскаго.

Статьи моей о *реализмъ*, т. е. *восьмое письмо*, въ особыхъ оттискахъ я не получилъ, а 2-ю часть повѣсти получилъ, а потому пишу по горячимъ слѣдамъ: прикажите ихъ выслать Базунову, а, если не напечатаны—отпечатать. Пожалуйста, не забудьте. За симъ остаюсь преданный вамъ

А. Герценъ.

◆◆ 1. Въ началѣ марта 1846 г. въ Спб. былъ выпущенъ «комическій иллюстрированный альманахъ» «Первое апрѣля», въ которомъ среди всевозможныхъ намековъ и экивоковъ были помѣщены двѣ статьи: «Какъ одинъ господинъ прибрѣлъ себѣ за безцѣнокъ домъ въ полтораста тысячъ» и «Славянофилъ». Первая рассказывала о Бедринѣ, подъ которымъ всѣ узнали Вѣдрина, т. е. М. П. Погодина, вторая—объ «одномъ славянофилѣ», т. е. К. С. Аксаковѣ. То и другое было довольно грубо и вульгарно. «Отечеств. Записки» перепечатали въ рецензiи В. Г. Бѣлинскаго объ эти вещи. Тотчасъ по полученiи въ Москвѣ книжки журнала Герценъ написалъ Н. А. Мельгунову: «я долженъ заявить громкiй протестъ съ своей стороны противъ дрянной выходки о Погодинѣ и пр. Чортъ знаетъ, кто это писалъ; все это и глупо, и скверно» («Жизнь и труды М. П. Погодина», VIII, 355).

441. Записка къ Т. Н. Грановскому.

(Весна 1846).

Прошу всенепремѣнно прислать книгу Головина ¹⁾. Я тебѣ ее возвращаю очень скоро. Запечатай ее. ¹

◆◆ 1. Книга была выпущена въ Парижѣ въ маѣ 1845 г. и быстро переведена на нѣмецкiй, англiйскiй и шведскiй языки. 12 декабря 1844 г. Головинъ былъ лишенъ чиновъ и дворянства и объявленъ изгнанникомъ изъ отечества. Подробности объ этой книгѣ и вызванныхъ ею обстоятельствахъ читатель найдетъ въ статьѣ г. Рязанова («Соврем. Миръ», 1912, XI), въ которой, однако, вообще Головину придано значенiе гораздо большее, чѣмъ онъ имѣлъ. Вообще о Головинѣ см. мою книгу «Николаевскiе жандармы» etc., въ которой ему отведена особая статья, написанная по даннымъ архива III Отдѣленiя.

¹⁾ Иванъ Гавриловичъ, эмигрантъ; «La Russie sous Nicolas I», Paris, 1845.

442. Письмо къ А. А. Краевскому.

Мая 20-го 1846.
Москва.

Важныя семейныя дѣла меня отвлекли отъ литературныхъ дѣлъ, почтеннѣйшій Андрей Александровичъ: отецъ мой скончался ¹⁾. Сначала его болѣзнь, потомъ устройство дѣлъ, совершенный переворотъ въ жизни, юридическія хлопоты,—все это можетъ взойти литературнымъ матеріаломъ со временемъ, но теперь не давало ни времени, ни покоя.

Между тѣмъ я черезъ недѣлю ѣду на дачу и тамъ примусь за повѣсть; начало 2-й части привело въ восхищ. Бѣлин. На-дняхъ къ вамъ явится Горбуновъ или Захарьинъ ²⁾ съ запиской: отдайте имъ все, что мнѣ слѣдовало получить съ васъ за послѣдн. статьи (считая по 200 съ листа за повѣсть), а мнѣ потрудитесь написать разсчетъ.

Вѣроятно, вы слышали о réception monstre ³⁾, которое здѣсь было сдѣлано Бѣлинскому: огромный обѣдъ у Шевалье и дюжина обѣдовъ дружескихъ, потомъ проводы за 18 верстъ. Вамъ должно быть весьма пріятно это признаніе «От. Зап.» въ главномъ дѣятелѣ ихъ». ¹

Вышелъ «Москов. Сборникъ»: прескучный и препустой. ²

Засимъ повергаю себя въ пучину вашего благорасположенія.

А. Герценъ.

◆◆ 1. Герценъ далъ Бѣлинскому 500 рублей, чѣмъ значительно облегчилъ разрѣшеніе вопроса о поѣздкѣ его въ Крымъ вмѣстѣ съ М. С. Щепкинымъ (Бѣлинскій «Письма», т. III, 108). Приѣхавъ въ Москву въ концѣ апрѣля, Бѣлинскій пишетъ женѣ: «Что за добрѣйшая душа Герценъ! Какъ бы я желалъ, чтобъ ты, Marie, познакомилась съ нимъ» (тамъ же, 112). 16 мая Бѣлинскій со Щепкинымъ уѣзжали. Въ этотъ день былъ дружескій завтракъ у Щепкина. По разсказу Панаева, Герценъ былъ очень веселъ и оживленъ. «Въ этотъ разъ онъ говорилъ во время завтрака неумолкаемо, съ свойственнымъ ему блескомъ и остроуміемъ, и его звонкій, пріятный голосъ.

¹⁾ 6 мая 1846 г.

²⁾ Петръ Александровичъ.

³⁾ Необычайно грандіозный пріемъ.

покрывалъ всѣ голоса. Тарантасъ Щепкина уже былъ готовъ, экипажи провожавшихъ также. Наступила минута отъѣзда. Герценъ все продолжалъ говорить съ неистощимою увлекательностью. «Ѣдемъ, Михайло Семенычъ, пора!»—сказалъ Бѣлинскій, всегда нетерпѣливый въ такихъ случаяхъ. — «Позвольте, господа, — перебилъ Коршъ, — какъ же мы поѣдемъ по городу съ Герценомъ? Съ нимъ по городу нельзя ѣхать». — «Отчего же?» — спросили всѣ съ недоумѣніемъ. — «Да, вѣдь, съ колокольчиками запрещено ѣздить по городу». Всѣ расхохотались и двинулись къ экипажамъ. Мы взяли съ собою провизию и запасъ вина. Обѣдать мы рѣшились на первой станціи и тамъ уже окончательно проститься съ отъѣзжающими. День былъ ясный и теплый; поѣздка наша была необыкновенно пріятна. Всегда неистощимый остроуміемъ, Герценъ въ этотъ день былъ еще блестяще обыкновеннаго. Мы не выходили на станцію, а расположились близъ какой-то избы на открытомъ пригоркѣ... За неимѣніемъ стола Герценъ досталъ какую-то доску и на ней безъ церемоніи началъ рѣзать ветчину, что привело въ величайшее смущеніе Корша, который всегда былъ очень брезгливъ... Сигналъ былъ поданъ — и попойка началась. Кетчеръ все кричалъ и лилъ вино въ стаканы. Герценъ уже лежалъ вверхъ животомъ, и черезъ него кто-то прыгалъ» («Литературн. воспоминанія», 312—313).

Въ февралѣ 1846 г. Грановскій писалъ Фролову: «Публичныя лекціи мои идутъ хорошо. Публика многочисленна и внимательна. Разумѣется, есть и другія стороны: кривые толки, сплетни, клеветы, объясненія въ томъ и другомъ и т. п. Но я уже нѣсколько привыкъ къ этому, когда въ первый разъ читалъ свой публичный курсъ. Теперь я былъ готовъ. Герценъ слишкомъ горячится въ такихъ случаяхъ; мнѣ кажется, что на эти мерзости приличнѣе всего отвѣчать молчаніемъ» (т. II, 422).

С. М. Соловьевъ встрѣчалъ Герцена у Грановскаго и въ другихъ домахъ. «Я любилъ—говорить онъ,—его слушать, ибо остроуміе у этого человѣка было блестящее и неистощимое, но меня постоянно отталкивала отъ него рѣзкость въ высказываніи собственныхъ убѣжденій, неделикатность относительно чужихъ убѣжденій. Такъ, напр., онъ очень хорошо зналъ о моихъ религіозно-христіанскихъ убѣжденіяхъ и, несмотря на это, не только не удерживался при мнѣ отъ кощунствъ, но иногда прямо обращался съ ними ко мнѣ; нетерпимость была страшная въ этомъ человѣкѣ» («Рус. Вѣстникъ» 1896, IV, 2).

2. «Московскій литературный и ученый сборникъ» былъ какъ бы отвѣтомъ на «Петербургскій» въ смыслѣ подсчета литературныхъ силъ славянофиловъ. Прочтя его, Бѣлинскій писалъ Герцену 4 іюля:

«Статья Самарина (о «Тарантасѣ» гр. В. А. Соллогуба—*М. Л.*) умна и зла, даже дѣльна, несмотря на то, что авторъ отправляется отъ неблагопристойнаго принципа кротости и смиренія и, подлецъ, зацѣпляетъ меня въ лицѣ «От. Зап.» Какъ умно и зло казнить онъ аристократическія замашки Соллогуба! Это убѣдило меня, что можно быть умнымъ, даровитымъ и дѣльнымъ человѣкомъ, будучи славянофиломъ». И тогда же, говоря о знакомствѣ въ Калугѣ съ Иваномъ С. Аксаковымъ, Бѣлинскій замѣчаетъ: «Славный юноша! Славянофилъ, а такъ хорошъ, какъ будто никогда не былъ славянофиломъ. Вообще, я впадаю въ страшную ересь и начинаю думать, что между славянофилами, дѣйствительно, могутъ быть порядочные люди. Грустно мнѣ думать такъ, но истина впереди всего!» (Бѣлинскій «Письма», т. III, 137).

Въ это время на обѣдѣ въ честь Грановскаго Герценъ сознался присутствовавшему А. С. Хомякову, что «любитъ его за то, что онъ имѣетъ сочувствіе ненависти» (Рус. Архивъ», XI, 325).

443. Надпись неизвѣстному ¹⁾.

Май 1846 г.

Когда вы будете брать въ руки эту книгу истины и любви, вспоминайте иногда съ любовью того, кто съ любовью ее вамъ вручалъ, бѣднаго странника, ищущаго истины и жаждущаго любви, но которому истина еще не открылась, котораго любовь еще не оживила своимъ теплымъ дыханіемъ и наврядъ ли когда-нибудь откроется, и когда-нибудь оживить. ¹

◆◆ 1. «Можно сказать, — говоритъ Анненковъ, — что нигдѣ книга Фейербаха не произвела такого потрясающаго впечатлѣнія, какъ въ нашемъ «западномъ» кругѣ, нигдѣ такъ быстро не упразднила остатки всѣхъ прежнихъ предшествовавшихъ ей созерцаній. Герценъ, разумѣется, явился горячимъ истолкователемъ ея положеній и заключеній, связывая, между прочимъ, открытый ею переворотъ въ области метафизическихъ идей съ политическими переворотами, который возвѣщали социалисты, въ чемъ Герценъ опять сходилъ съ Бѣлинскимъ» («Литер. воспоминанія», 284).

¹⁾ На книгѣ L. Feuerbach «Das Wesen des Christenthums», Leipzig, 1843.

444. Письмо къ А. А. Краевскому:

17 июля 1846.

Хотя я увѣренъ, что вы сами, почтеннѣйшій Андрей Александровичъ, послѣшите исправить до невѣроятности грубую ошибку, вкравшуюся въ статью Кавелина,—а именно, что чрезвычайно умный и острый эпитафъ его статьи сдѣланъ эпитафомъ разбираемой книги ¹⁾,—тѣмъ не менѣе позвольте мнѣ и ему прибѣгнуть къ покорнѣйшей просьбѣ: напечатать не на послѣдней стр. слѣдующаго №, а въ «смѣси» сознание вашего корректора въ не отличномъ пониманіи своего дѣла. Предоставивъ вамъ de jure вымыть его голу, остаюсь преданнымъ слугою

А. Герценъ.

445. Письмо къ женѣ.

(3 октября) 1846. 10 час. утра.
Торжокъ.

Здравствуйте, madame Herzen! Вотъ я и далеко, и некого поборанить, зачѣмъ рано вставать, и дѣти не кричать... и очень хочется писать къ тебѣ, но уже нѣтъ тѣхъ громковѣщательныхъ фразъ, которыхъ было много въ томъ письмѣ ²⁾. Буду я первый разъ съ комфортомъ, т. е. съ кожанымъ мѣшкомъ, который мнѣ мѣшаетъ сидѣть, и съ томикомъ Вольтера, который мнѣ мѣшаетъ спать. Сосѣдъ мой—русскій купецъ, вольноотпущенный крестьянинъ Ольги Ал. Жеребцовой; онъ отъ нея безъ ума, чтд меня заставляетъ ее еще болѣе уважать. У него фляжка съ виномъ, т. е. съ водкой, и онъ угощаетъ меня верстъ черезъ пять, спрашивая: «не прикажете ли *практическаю*?» Совѣтую передать это Огар. ³⁾ Я очень доволенъ симъ спутникомъ и такъ очаровалъ его, во-первыхъ, остроуми, а во-вторыхъ, тѣмъ, что я практическое уважаю, что онъ за мной ухаживаетъ, бережетъ мои вещи, уговорилъ надѣть шапку

¹⁾ Рецензируя «Сборникъ» Д. Валуева, Кавелинъ привелъ эпитафъ изъ Пушкина, который въ VII кн. «Отеч. Записокъ» слить съ названіемъ сборника словами: «Двѣ части въ одной книгѣ, съ эпитафомъ: «Она сложена въ новѣйшее время; въ ней есть *какая-то восточная безсмыслица*, имѣющая свое поэтическое достоинство».

²⁾ Не найдено.

³⁾ Прибылъ въ Москву весною 1846 г. 1

и пр.... Письмо это допишу въ Новѣгородѣ. Теперь отправляюсь объѣдать у Пожарской ¹⁾. Мой сосѣдъ и отъ теоретическаго не прочь, т. е. отъ редерера. Цѣлую васъ всѣхъ, особенно Сашу, потому... продолжаю въ дилижансѣ... потому что мнѣ его было что-то очень жаль въ конторѣ ²⁾. ...Однако, писать невозможно. Лаврентій ³⁾ страдаетъ и кланяется тебѣ.

До Новагорода.

Новгородъ. Четвергъ (3 октября), 9 часовъ вечера.

Дотасились и сюда; впрочемъ, писать некогда. Я буду писать изъ Петербурга, а вотъ что: пошли Сатина ⁴⁾ къ Губеру ⁵⁾ сказать, что я прошу прислать мнѣ какой-нибудь видъ о томъ, что я представилъ аттестатъ свой или отставку въ канцелярію военнаго губ. для полученія паспорта за границу. За симъ обнимаю васъ много и много всѣхъ, всѣхъ.

А. Г.

◆◆ 1. По разсказу П. В. Анненкова, «Огаревъ, возвратясь на родину въ 1846, производилъ такое сильное обаяніе своей поэтической личностью, что сдѣлался почти чѣмъ-то въ родѣ директора совѣсти—*directeur de conscience*—въ двухъ семьяхъ: у Герцена и у А. А. Тучкова. Дамы обѣихъ семей упивались написанными имъ тогда поэтически-философскими и соціально-скорбными стихотвореніями «Монологи» да и мужская половина семей, какъ оказалось впослѣдствіи, подпала вліянію поэта не менѣе женской. Тайна этого обаянія заключалась въ какой-то апатической, лѣнливой нервозности характера, позволявшей Огареву постепенно достигать крайнихъ границъ, какъ въ жизни, такъ и въ мысли, и уживаться, страдая, со всѣми самыми невозможными положеніями легко, какъ у себя дома» («Литературныя воспоминанія», 279).

446. Письмо къ женѣ.

(4 октября 1846). *Пятница, 7 часовъ вечера.*

Ну вотъ, другъ мой, я и въ Петербургѣ. — Скучно что-то очень.—Приѣхалъ на квартиру Панаева ⁶⁾, никого нѣтъ дома, я и

¹⁾ Старинная гостиница М. И. Пожарской, славившаяся своими куриными котлетами; отсюда и названіе «пожарскія котлеты».

²⁾ Контора дилижансовъ, сообщавшихъ Москву съ Петербургомъ.

³⁾ Слуга.

⁴⁾ Вернулся въ Москву весною 1846 г.

⁵⁾ Федоръ Ивановичъ, переводчикъ при московскомъ ген-губернаторѣ.

⁶⁾ Иванъ Ивановичъ.

сѣлъ писать къ тебѣ... Да и безъ романтизма—все же на бѣломъ (т. е. черномъ) свѣтѣ ничего нѣтъ ближе мнѣ, какъ ты, и потребность безпрестанно передавать тебѣ все, что есть на душѣ, превратилась въ привычку; иногда я это дѣлаю однимъ словомъ... а ты и бранишься, что я ничего не говорю. ¹ Но не объ этомъ рѣчь. Въ Новгородѣ я былъ тронутъ пріемомъ въ гостиницѣ — тѣмъ болѣе, что ее содержитъ не Гибинъ ¹⁾, а его бывший приказчикъ; какъ мало надобно, чтобъ заслужить о себѣ такую память; къ тому же попались какіе-то бродячіе музыканты; я шутя спросилъ ихъ: умѣете ли пропѣть «Il segreto di essere felice» ²⁾, изъ «Лукреціи»? и они спѣли два раза, а я вспомнилъ, во-первыхъ, Віардо ³⁾, а во-вторыхъ — Юлію Карловну ⁴⁾, которую заставляли сотни разъ пѣть. Потомъ опять скучная дорога, до того тошная, что самъ Лаврентій не надивится на нее. Mais à la fin des fins ⁵⁾ я, все-таки, пріѣхалъ.

(5 октября). *Суббота.*

Сейчасъ отправлюсь къ Ольгѣ Александровнѣ ⁶⁾; отъ дороги я совершенно оправился. Пока нахожусь еще у Панаева да, вѣроятно, у него и останусь; отъ тебя жду письма сегодня. Вѣроятно, ты получила уже письмо, посланное мною изъ Новгорода. Ну, что вы, какъ поживаете?.. Я думаю, Наташа ² и не замѣчаетъ, что меня нѣтъ, а Лика ⁷⁾ не узнаетъ, когда пріѣду.—Я встрѣтилъ на одной станціи премиленькаго мальчика нѣмого, и мнѣ тяжело вспомнился Коля... я былъ что-то все время въ настроеніи рефлексировать. Мы часто говорили съ тобою о томъ, какъ съ каждымъ потрясающимъ событіемъ все больше и больше разъяняется въ головѣ и все меньше романтизма; да, отрицаніе идетъ косою — за однимъ рядомъ падетъ другой, и все еще остается бездна травы. Томикъ Вольтера очень занималъ меня дорогой,—чудный талантъ; и какъ онъ одностороненъ, какъ ограниченъ даже: его мысль какъ-то не охватываетъ предметъ, а скользитъ по немъ,—зато ни одной строки нѣтъ, которая бы не была пропитана его мыслью, все равно: панегирикъ ли это датскому королю или комплиментъ М-ме Шатле,—вездѣ одно и то же.—Впрочемъ, теперь некогда разсуждать, буду

¹⁾ См. гл. XXVIII «Былого и думъ».

²⁾ Секретъ быть счастливымъ.

³⁾ Извѣстная Pauline Viardot—пѣвица, другъ И. С. Тургенева, дочь знаменитаго испанскаго пѣвца Garcìa.

⁴⁾ Рейссигъ, сестра С. К. Коршъ.

⁵⁾ Но въ концѣ концовъ.

⁶⁾ Жеребцова.

⁷⁾ Домашнее прозвище дочери Елизаветы.

писать въ понедѣльникъ и ужъ что-нибудь положительно сообщу о началѣ дѣла. Прощай. Маменькѣ цѣлую руку. Мар. Кас. 1) жму ее и дѣтямъ протягиваю.

Въ понедѣльникъ я напишу и о «Современникѣ»; дѣло идетъ хорошо,—я увижусь съ Никитенкомъ 2).

Саша, здравствуй; мы приѣхали съ Лаврентіемъ и ждемъ писемъ отъ тебя; напиши, какой гостинецъ прислать тебѣ, если не будешь шалить.

Кланяйся всѣмъ. Что Огаревъ—въ Соколовѣ или здѣсь? Кланяйся вдвое больше Маріи Ѳедоровнѣ — не потому, чтобъ я ее любилъ вдвое больше,—это было бы просто неучтиво,—а потому, что мнѣ кажется, что ей мой дружескій привѣтъ, по слабости ко мнѣ, будетъ пріятенъ. 2

Вѣроятно, все это письмо нелѣпо: я разсѣянъ,—итакъ, до понедѣльника. Цѣлую тебя, да скорѣе писемъ, писемъ.

Съ истиннымъ уваженіемъ честь имѣю пребыть.

Авд. Як. 3) кланяется; я уже вчера съ нею успѣлъ побраниться два раза, — вотъ какъ я благодарю за гостепріимство. — Она говоритъ, что я солгалъ, что мы не бранились. 3

◆◆ 1. 2 октября Н. А—на писала, между прочимъ, мужу: «Да, Александръ, совершеннолѣтіе настало, я это ярко чувствую; романтизмъ съ неопредѣленною тоскою, со взоромъ, устремленнымъ въ туманную даль, съ стремленіемъ туда, туда... съ ноющею, страждущею любовью ко всему, отлетѣлъ и навсегда. Я вижу, сколько послѣдніе годы внесли здраваго смысла въ жизнь, и вижу, что здравый смыслъ не иссушаетъ души нисколько, это—вздоръ». Получивъ неизвѣстное намъ письмо мужа отъ 2 октября, Н. А—на снова пишетъ: «Да, совершеннолѣтіе, а не усталъ, не резигнація,—я чувствую это на каждомъ шагу. Хорошо было и то время непрерывнаго трепета сердца, непрерывнаго порыванія куда-то, желанія чего-то, тогда какъ едва достаетъ силы сладить и съ тѣмъ, что есть; хорошо пристать и къ пристани; съ перваго взгляда это можетъ показаться равнодушіемъ»... «Да, Александръ, и романтизмъ отлетѣлъ, и не дѣти мы болѣе, а совершеннолѣтіе, и видится потому яснѣе и глубже, и чувствуется яснѣй... Да, это не натянутая восторженность, не опьянѣвшая жизнью юность, это не время идолопоклонства,—все это давно тамъ, позади; не вижу ни пьедестала,

1) Рейхель (Эрнъ).

2) Александръ Васильевичъ, цензоръ и профессоръ, намѣчавшійся тогда редакторомъ «Современника».

3) Панаева.

на которомъ ты стоялъ, ни сіянія около *лавы* твоей; не вѣрю тому, что ты думаешь обо мнѣ, глядя на звѣздочку въ ту же минуту, какъ я гляжу на нее и думаю о тебѣ, но вижу ясно и чувствую глубоко то, что я ужасно много люблю тебя, что этой любовью полно все существо мое, что изъ нея состоитъ оно, что она — жизнь моя» («Рус. Мысль» 1904, IX, 158, 159, 161—162).

2. Марія Ѳедоровна Коршъ приписала къ письму Н. А.—ны отъ 3 октября: «Пріѣзжайте скорѣе, безъ васъ нехорошо, что-то не живо живетъ». 10 октября она писала Герцену: «Когда я бываю у васъ, то у меня старая потребность поговорить съ вами, что я не могу воздержаться и не писать,—ну, а вы что же—въ этомъ виноваты? Да и у васъ много дѣлъ, лучше передѣлайте ихъ скорѣе, это будетъ для меня выгоднѣе, потому что съ каждымъ днемъ болѣе хочется васъ видѣть. Я не знаю, чтѣ будетъ, когда и вы, и Н. А.—на, и Огаревъ уѣдете надолго, а кажется, будетъ очень, очень грустно. И, право, это не романтизмъ,—не смѣйтесь, пожалуйста. Да, впрочемъ, вы и не будете смѣяться; вы сами на этотъ счетъ не лучше меня. Теперь я сижу у васъ въ кабинетѣ одна одиноконька: Н. А.—на легла отдохнуть, Огарева нѣтъ дома, Марья Каспаровна играетъ, дѣти гуляютъ. Сижу и думаю, что-то и какъ-то будетъ черезъ годъ? Какіе-то вы воротитесь? И какая-то я сдѣлаюсь?.. Объ одномъ прошу васъ: не любите меня менѣе изъ учтивости, потому что я въ этомъ отношеніи поступаю съ вами, какъ величайшая невѣжа» («Рус. Мысль» 1904, X, 52—53).

По словамъ М. К. Рейхель, М. Ѳ. Коршъ пользовалась со стороны кружка Герцена большимъ уваженіемъ и всеобщей привязанностью. «Довольно, если я скажу, что она была другомъ Грановскаго, которому онъ изливалъ свое полное горечи сердце, когда, позже, не въ силахъ былъ переносить трудныхъ обстоятельствъ университетской жизни со всѣми притѣсненіями и реакціонной обстановкой, и ея краткое, глубокое участіе дѣйствовало на него благотворно. Марья Ѳедоровна была старше насъ, но я никогда этого не замѣчала,—такъ она могла быть молодой съ молодыми. Жизнь не избаловала ее; еще въ дѣтствѣ у нея болѣла нога и осталась короче другой... Страстная, любящая натура, лишенная личнаго счастья, она привязалась къ дѣтямъ своего брата (Е. Ѳ.) и была ихъ другомъ и учительницей» («Отрывки изъ воспоминаній», 34—35).

3. 4 октября московскій военный генераль-губернаторъ, кн. А. Г. Щербатовъ, запросилъ шефа жандармовъ, не находитъ ли онъ препятствій къ выдачѣ Герцену заграничнаго паспорта на проѣздъ въ Германію и Италію для сопровожденія больной жены. 11 октября гр. Орловъ отвѣтилъ, что, хотя въ 1843 г. Герцену и было въ

этомъ отказано и потому теперь возбуждать этотъ вопросъ неудобно и безуспѣшно,—«но имѣя въ виду отличные отзывы о поведеніи его, я искренно желаю быть ему полезнымъ, а потому, по моему мнѣнію, единственное средство къ улучшенію его положенія состоитъ въ снятіи съ него полицейскаго надзора, что дало бы ему право получить заграничный паспортъ безъ особаго на то высшей власти разрѣшенія». 29 октября Щербатовъ поддержалъ просьбу Герцена о снятіи съ него надзора, давъ о немъ хорошій отзывъ. 6 ноября гр. Орловъ вошелъ со всеподданнѣйшимъ докладомъ, въ которомъ сказалъ: «я получилъ и отъ другихъ особъ самые одобрительные отзывы на счетъ поведенія и образа мыслей Герцена, а потому полагаю бы возможнымъ освободить его отъ полицейскаго надзора». 7 ноября Николай I положилъ резолюцію: «согласенъ». 14 ноября Щербатовъ увѣдомилъ Орлова, что надзоръ уже снятъ.

По приѣздѣ въ Спб. Герценъ отправился къ оберъ-полицмейстеру, С. А. Кокоскину, съ просьбой разрѣшить ему остаться въ столицѣ на 10 дней, а затѣмъ получить билетъ на выѣздъ изъ Спб. Въ то время никому нельзя было выѣхать изъ предѣловъ своей губерніи безъ подорожной, которая всегда выдавалась полиціей. 8 октября Кокоскинъ запросилъ объ этомъ Дубельта; 10-го послѣдній отвѣтилъ, что, согласно разрѣшенія въ апрѣлѣ 1845 г., Герценъ можетъ быть въ Спб. на короткое время, и ему объяснилъ, что долго въ немъ не заживется.

Панаева рассказываетъ, что она удивлялась, какъ Герценъ могъ обходиться безъ сна, потому что выпадали дни, когда онъ положительно не ложился спать. «Бывало, гости засидятся до двухъ, трехъ часовъ ночи, а онъ вдругъ вздумаетъ итти освѣжиться на воздухъ, возвращается часовъ въ восемь утра и начинаетъ стучаться ко мнѣ въ дверь, стыдя, что я такъ долго сплю, что уже пора пить чай. Когда я выходила, онъ пресерьезно говорилъ: «знаете ли, самая здоровая вещь—вставать рано утромъ; посмотрите, какой у меня свѣжій цвѣтъ лица, а все оттого, что я рано встаю». «Послѣ отъѣзда Герцена у насъ водворилась какая-то тишина и пустота, потому что онъ необыкновенной живостью своего характера оживлялъ всѣхъ, а послѣ его остроумныхъ разговоровъ казалось, что всѣ другіе говорятъ вяло, какъ-то размазываютъ свою мысль, тогда какъ Герценъ передавалъ ее всегда сжато, рельефно и блестяще: она сверкала, точно молнія» (А. Я. Головачева-Панаева, «Русскіе писатели и артисты», 186, 188).

447. Письмо къ женѣ.

(5 октября 1846). Суббота, вечеръ поздно.
С.-Петербургъ.

Письмо твое, другъ мой, я получилъ сегодня и, разумѣется, былъ ему чрезвычайно радъ, также и Сашиной припискѣ. Теперь повѣсть о сегодняшнемъ днѣ. Утромъ я отправился къ Ольгѣ Александровнѣ Жеребцовой,—удивительная женщина, я былъ тронуть ея приемомъ: та же готовность помочь мнѣ, то же вниманіе. Она велѣла написать, что кланяется тебѣ и очень жалѣетъ о твоей болѣзни. Она подала мнѣ большія надежды; сегодня же она хотѣла поручить освѣдомиться о всемъ, и въ понедѣльникъ я отправлюсь за отвѣтомъ. Неужели это правда, это возможно, чтобы, наконецъ, я могъ сдѣлать нашу необходимую поѣздку для тебя? Начинаю вѣрить.

Вечеромъ я былъ во француз. театрѣ съ Авдот. Як., которая мила и добра до невозможности, холить меня, какъ дитя, спорить со мной на всякомъ шагу и пр. Тамъ я увидѣлъ, наконецъ, Плесси ¹⁾),—да, это—великая актриса, и что ей надавала для этого природа! Она высока, величественна, голосъ ея проникаетъ въ глубину сердца; она—типъ величавой красоты, подавляющей силой, высотой, но само это исключаетъ другого рода милую, страстную красоту, красоту неправильную, но ужасно захватывающую. Когда она обернулась съ разгорѣвшимся лицомъ, съ видомъ гордости собственнаго сознанія правоты къ ревнивому мужу и дрожащимъ, но полнымъ энергіи голосомъ ему закричала: «à genoux, à genoux!» ²⁾)—это было поразительно, цѣлая повѣсть G. Sand въ одномъ ея взглядѣ на мужа, который застегивалъ сюртучокъ и стоялъ передъ ней, какъ пойманный школьникъ. Тутъ она была необъятно хороша. Но какъ осмѣлился этотъ человекъ ее любить, жениться на ней, какъ онъ не видѣлъ Плесси? Понимаешь, чтò я хочу сказать?—тутъ именно важность придала она, другая актриса была бы раздраженная женщина, а она—подавляющее, высокое существо. Фальшой мнѣ не такъ понравилась.

Ни у кого еще не былъ,—это для завтрашняго дня. Впрочемъ,

¹⁾ Arnould-Plessy, извѣстная франц. актриса.

²⁾ На колѣни, на колѣни!

былъ у Ольхина ¹⁾ и у Смирдина ²⁾. Итали Делайрка нѣтъ, — общи это Егору Ивановичу: она взята за долги, но мнѣ общалъ Панаевъ достать. Булавку для тебя взялась заказать Авд. Як. Видѣлъ сегодня Достоевскаго ³⁾, онъ былъ здѣсь; не могу сказать, чтобъ впечатлѣніе было особенно пріятно; тоже—m-me Бѣлинская ⁴⁾. Языковъ ⁵⁾ невѣроятно смѣшонъ съ своей конторой: хлопочеть, важенъ, даже не остритъ.

Панаевъ и Некрасовъ поглощены «Современникомъ». Все доселѣ видѣнное и слышанное мной заставляетъ меня желать полного успѣха. Правда, во всемъ этомъ есть немного неосновательности, но и только. Они ждутъ отвѣта отъ Gr. et C-піе ⁶⁾ и пуще всего ждутъ Бѣлинскаго. ¹ Теперь третій часъ, а потому прощай, завтра вечеромъ продолжу журналъ.

7. Вечеръ.

Былъ у Витберга, онъ очень состарѣлся и какъ-то разрушается; его радость и восторгъ были до чрезмѣрности, онъ—плакалъ; жаль его: руина. Двое старшихъ дѣтей удивительно хороши собою. Авд. Викт. ⁷⁾, кажется, ни мало не измѣнилась. Разумѣется, и по лѣтамъ, и по направленію онъ остался совершенно на томъ же мѣстѣ, и мнѣ трудно говорить о многомъ, потому что говорю его языкомъ, не желая гертировать, но зато гертирую себя. Вчера просидѣлъ съ Соллогубомъ ⁸⁾ и съ разными господами; дѣльнаго ничего, шутили и дурачились. Изъ всѣхъ мною видѣнныхъ новыхъ лицъ мнѣ нравится наиболѣе Кронебергъ ⁹⁾. Скажи Кетчеру, что Комаришка ¹⁰⁾ ужъ такой мнѣ другъ, что прости Господи: и сигарами угощаетъ, и хотѣлъ запрятать въ колоколь и опустить меня подъ Неву, тамъ, гдѣ мостъ строятъ, и предложилъ книги, и предложилъ ѣхать смотрѣть, какъ дѣлаютъ гайки для желѣзной дороги.

¹⁾ Михаилъ Дмитріевичъ, книгопродавецъ, издатель.

²⁾ Александръ Филипповичъ, книгопродавецъ, издатель.

³⁾ Федоръ Михайловичъ.

⁴⁾ Марія Васильевна.

⁵⁾ Михаилъ Александровичъ, управлялъ конторой обновленнаго «Современника».

⁶⁾ Грановскій и его кругъ.

⁷⁾ Жена А. Л. Витберга.

⁸⁾ Gr. Владиміръ Александровичъ.

⁹⁾ Андрей Ивановичъ, извѣстный переводчикъ.

¹⁰⁾ А. С. Комаровъ, навязывавшійся на дружбу всѣмъ замѣтнымъ либеральнымъ писателямъ (см. стр. 273—274 «Литер. воспомин.» Панаева).

8-ое утромя, 11 час.

Я сейчасъ былъ у Леонт. Вас. ¹⁾; онъ принялъ меня и обнадежилъ самымъ положительнымъ образомъ въ успѣхѣ. Досаднѣе всего, что представленіе моск. военного губ. еще не приходило, а то 10 числа я получилъ бы отвѣтъ. Нѣтъ ли тамъ задержки? попроси Сатина справиться, а то я заживусь здѣсь. Прощай, другъ мой, писать некогда,—ѣду къ Ольгѣ Алекс.

Поцѣлуй Сашу, Колю, Наташу и Лику. Сашѣ завтра отправляю собаку по почтѣ, — стало, она будетъ почтенная собака,—да чтобъ онъ не ломалъ ее. Отчего же ты не пишешь еще?

Маменькѣ цѣлую руку, всѣмъ кланяюсь—Маріи ¹Федоровнѣ
(Каспаровнѣ.

Не могу писать болѣе, такъ еще хлопотливо и смутно. Боюсь и совершенно надѣяться.

Прощай. А. Г.

Эльвинѣ Федоровнѣ ²⁾ кланяюсь.

◆◆ 1. Въ это время Некрасовъ и Панаевъ пріобрѣли у П. А. Плетнева «Современникъ» и хлопотали о предстоящемъ 1847 годѣ. Бѣлинскій вступилъ въ ихъ журналъ, а за нимъ и многіе его друзья. Изъ писемъ Н. А.—ны къ Герцену видно, что она очень интересовалась журналомъ и, желая оказать поддержку, дала Некрасову, черезъ мужа, изъ своихъ личныхъ денегъ 5000 рублей асс. («Рус. Мысль», 1904, X, 42).

448. Письмо къ женѣ.

8 окт. 1846 г. вторникъ.
С.-Петербургъ.

Сегодня недѣля, какъ я уѣхалъ; я, было, началъ ужъ сѣтовать, что такъ рѣдко ты, мой милый другъ, даешь вѣсти, какъ получилъ твое письмо. Сегодня пришло представленіе изъ Москвы; черезъ нѣсколько дней должно дѣло рѣшиться... я жду не безъ надеждъ. У Ольги Ал. я бываю почти всякій день. Сашина приписка принесла мнѣ большое удовольствіе, такъ вы всѣ вспомнились — и

¹⁾ Дубельтъ.

²⁾ ?

Ник. Пл. ¹⁾, и Марія Ѳедоровна приписали. Собаку я не отослалъ, потому что ѣздилъ мѣнягъ ее, зато теперь посылаю цѣлую коллекцію: Наташѣ корову, Ликѣ гуммиластиковый мячъ, Николѣ собаку, а Сашкѣ тигра и собаку со щенятами,—прошу не ломать и поставить на видѣнье имъ, ибо формы изящны.

Вчера былъ у Никитенка; онъ удивительно добрый и благородный человѣкъ, меня принялъ съ откровенными объятіями. ¹ Вообще я и не предполагалъ, что мои статьи имѣютъ здѣсь и тотъ ходъ, и ту извѣстность. Былъ у Кетчерова брата ²⁾; онъ ужасно любитъ Ник. Хр., разспрашивалъ о немъ, какъ женщина, тысячи подробностей.

«Записки д-ра Крупова» пропущены съ небольшими выпусками.

Скажи Ник. Пл., если онъ не послалъ еще довѣренности, то чтобъ и не посылалъ; я полагаю, что черезъ недѣлю или дней черезъ десять я отправлюсь назадъ,—пусть онъ пришлетъ довѣренность на имя Языкова. Ъду смотрѣть второй разъ Плесси.

9, утромъ.

Еще семь часовъ утра, а я уже готовлюсь облекаться во фракъ, такъ, какъ и въ тѣ дни, чтобы ѣхать въ разныя мѣста. Я повторяю свое замѣчаніе, что привычка дѣятельности — вещь важная, и она здѣсь перешла во всѣхъ, кромѣ Ив. Ив. ³⁾. Такой-то принимаетъ въ 9 часовъ, и онъ, конечно, не приметъ ни въ 53 минуты 8-го, ни въ 1 минуту 11. Наконецъ, эта привычка расширила способность много дѣлать, не забывать, дѣлать тотчасъ. Напрасно упрекаютъ здѣшнихъ служащихъ въ безучастной апатіи: я къ кому ни адресовался, встрѣчалъ готовность сдѣлать что-нибудь; я говорю о людяхъ, которыхъ я лѣтъ пять не видалъ и которые обо мнѣ такъ же не думали въ продолженіе этого времени, какъ я объ нихъ. Несмотря на все сіе и многое иное, мной начинается овладѣвать тоска по родинѣ,—безъ васъ мнѣ не живется; иной разъ хочется смертельно послушать, какъ Наташа коверкаетъ языкъ; въ эти минуты я утѣшаю себя, что она въ это время капризничаетъ.

Письмо Вас. Ром. ⁴⁾ я вручилъ нарочно весьма недавно: оно во всякомъ случаѣ бесполезно, но этого не говори; онъ съ такой доброй готовностью его предложилъ, да и оно было бы необходимо, еслибъ не Ольга Ал. ²

¹⁾ Огаревъ.

²⁾ Яковъ Яковлевичъ.

³⁾ Панаевъ.

⁴⁾ Василій Романовичъ Ашиновъ, женихъ Ю. К. Рейсигъ.

Сегодня, можетъ быть, или въ продолженіе трехъ дней рѣшится наша судьба. Я приму всѣ мѣры, чтобъ къ 22 окт. ¹⁾ быть дома; это опять не романтизмъ, а я знаю, что и себѣ, и тебѣ доставлю этимъ большую радость. А, можетъ, успѣю и поранѣе явиться; ты можешь быть увѣрена, что за исключеніемъ одного дня послѣ окончанія дѣлъ, въ который я позову Соллогуба и еще двухъ-трехъ отобѣдать, я не потеряю ни минуты. Здѣсь истинно, глубоко близкаго ничего нѣтъ; у Краев. (à rgoros къ близости и глубинѣ) не былъ. ³ Я насилу добился, гдѣ живетъ Засядко ²⁾, сегодня ѣду къ нему.

Полдень.

Дѣло кончено, но не совсѣмъ; есть надежда большая, но не скоро. Слѣдуетъ просить другого представленія отъ кн. Щербатова,—тогда будетъ настоящій докладъ. Ѣду отсюда дня черезъ четыре. Пишу къ тебѣ, мой другъ, въ канцеляріи, потому что поздно ужъ. Завтра еще напишу.

Сашу и дѣтей цѣлую много. Оно, все-таки, грустнѣе.

А. Г.

◆ 1. Въ «Дневникѣ» А. В. Никитенка подъ 12 октября записано: «Третьяго дня познакомился съ Герценомъ. Онъ былъ у меня. Замѣчательный человекъ. Вчера обѣдали мы вмѣстѣ у Леграна. Были еще литераторы, между прочимъ, графъ Соллогубъ. Ума было много, но онъ въ заключеніе потонулъ въ шампанскомъ» (т. I, 366). Указанная дата свиданія—10-го октября—невѣрна; свиданіе произошло именно 7-го. 11-го былъ обѣдъ, о которомъ говорить и Герценъ.

2. Участіе гр. Орлова объясняется главнымъ образомъ просьбами Жеребцовой. На случай неудачи В. Р. Ашиновъ далъ письмо своему пріятелю, Н. К. Войту, человекъ вліятельному въ отношеніи гр. Орлова.

3. Очевидно, Герценъ былъ у Краевского послѣ этого письма, потому что В. Р. Зотовъ познакомился съ нимъ въ 1846 г. именно у Краевского. Вотъ кстатіи разсказъ Зотова: «Впечатлѣніе, которое произвелъ на меня, какъ, конечно, и на всѣхъ близко знавшихъ его, этотъ богато одаренный природою человекъ и писатель, такъ сильно, что говорить объ немъ въ немногихъ словахъ нельзя, а

¹⁾ День рожденія Н. А.—ны.

²⁾ Дмитрій Александровичъ, хорошій знакомый Луизы Ивановны и Коршей.

говорить подробно еще не настало время. Къ сожалѣнію, я видѣлъ его въ Петербургѣ только три раза, и изъ нихъ только одна бесѣда продолжалась нѣсколько часовъ, остальные были слишкомъ коротки» («Истор. Вѣстникъ» 1890, IV, 113). Въ это же время Герценъ познакомился съ И. А. Гончаровымъ, ошибочно думавшимъ, что онъ проѣзжалъ тогда за границу. «Съ Герценомъ видѣлся только одинъ разъ, мелькомъ, когда онъ былъ короткое время въ Петербургѣ, проѣздомъ за границу» («Воспоминанія», стр. 17, т. XII, изд. Маркса).

449. Письмо къ женѣ.

46-го, 11 октября.
СПБ.

Вчера я не успѣлъ написать къ тебѣ, милый другъ, оттого что весь день съ утра метался, какъ угорѣлый: три раза былъ у Ольги Ал., потомъ хлопоталъ о томъ, чтобъ получить свидѣтельство для выѣзда, и еще не получилъ. Я полагаю выѣхать во вторникъ — стало, писать перестань; подробности всѣ, и очень интересныя, расскажу тебѣ при свиданіи. Я хотѣлъ всѣмъ привезти маленькихъ гостинцевъ, но Авдотья Яковлевна больна (у нея припадки ея развились до страшной степени), и я отправляюсь съ Панаевымъ, внукомъ, котораго ты знаешь по Юліи Карловнѣ; а пророс, была ли свадьба, или я еще поспѣю къ торжественію?

Вообще, мнѣ здѣсь было не хорошо и грустно, въ какомъ-то натянутомъ расположеніи, въ какомъ-то горячешномъ раздраженіи отъ неопредѣленности, отъ ожиданія и отъ разлуки со всѣмъ близкимъ, а потому я готовъ ѣхать, хоть сію минуту. Вниманіе, съ которымъ я былъ встрѣченъ здѣсь, знаки и симпатіи, и уваженія,—все это на меня совершенно не дѣйствуетъ; теперь до весны я одного бы хотѣлъ—одиночества и занятій; уѣхалъ бы съ тобою куда-нибудь въ Покровское.

Посылаю квитанцію, по которой 15-го числа можно получить въ конторѣ дилижанса первон. заведенія игрушки. — Сегодня обѣдаю съ знакомыми и, должно быть, къ понедѣльнику покончу всѣ дѣла. Если успѣю, я въ понедѣльникъ напишу еще нѣсколько строкъ ¹⁾).

Расцѣлуй дѣтей, мнѣ по нихъ тоска. Кошка Авд. Як. не со всѣмъ ихъ замѣняетъ. Скажи Мар. Ѳед., что я Засядко оты-

¹⁾ 14 октября Герценъ выѣхалъ изъ Спб.

скаль и нашель его безъ копѣйки денегъ, почему и пошли къ Смурову ¹⁾ ѣсть устрицы. Исторія Крылова здѣсь гремитъ; меня всѣ спрашивали, правда-ли, какъ. Я сколько могъ, поправилъ его репутацію! ¹ Еще также скажи Мар. Ѳед., что я до Твери вспоминалъ о глазахъ Л. Ѳ. ²⁾, но тутъ развлекся пріятными видами и прескверными обѣдами. Кстати, наблюдая встрѣчающихся на улицѣ, видѣнныхъ въ театрѣ женщинъ, здѣсь больше встрѣчаешь красивыхъ лицъ, (Аксакову ³⁾ не говори). 2-е à propos. Графъ Орловъ не забылъ, что видѣлся съ тобою у Ольги Алекс.: онъ спрашивалъ про меня, что я—мужъ ли той прекрасной молодой дамы, которую онъ встрѣтилъ?— вотъ вамъ комплиментъ. За симъ прощай, другъ мой.

Передай маменькѣ, при моемъ почтеніи, что Засядко просилъ меня написать отъ него усердный поклонъ; онъ кланяется еще и тебѣ, и Мар. Ѳед.

Саша, ожидай меня въ концѣ этой недѣли, скажи это Колѣ, Наташѣ и Ликѣ ².

Вчера у меня вытащили изъ кармана кошелекъ съ деньгами— въ немъ было руб. 70, и кошелекъ Кетчеровъ, о каковомъ пріятномъ происшествіи имѣю честь донести.

◆◆ 1. Проф. Н. И. Крыловъ былъ женатъ на сестрѣ Е. Ѳ. Корша, Любови Ѳедоровнѣ. Въ сентябрѣ 1846 г., подъ влияніемъ Кавелина, женатаго, какъ уже было сказано, на сестрѣ Л. Ѳ.,— послѣдняя рѣшилась, наконецъ, оставить мужа и тѣмъ положить конецъ его четырехлѣтнему жестокому обращенію съ нею. Въ московскомъ обществѣ этотъ скандалъ сталъ быстро достояніемъ молвы, и положеніе Крылова было весьма неловко. Кавелинъ, Коршъ, Рѣдкинъ и Грановскій подали гр. Строганову просьбу объ удаленіи Крылова изъ университета. Строгановъ принялъ ихъ сторону и вынудилъ Крылова подать прошеніе о переводѣ въ Харьковъ. Однако, Крыловъ сумѣлъ дѣло повернуть такимъ образомъ, что остался въ московскомъ университетѣ.

2. 27 ноября 1846 г. Лиза умерла. Т. А. Астракова вспоминаетъ объ этомъ такъ: «Наташа сидѣла подлѣ ребенка; она была тверда, холодна, избѣгала разговора и походила на статую. Лизу похоронили въ Дѣвичьемъ монастырѣ, подлѣ Вани. Когда возвратились домой и всѣ разъѣхались, Наташа попросила меня и Александра также куда-нибудь съѣздить вздохнуть чистымъ возду-

¹⁾ Извѣстный бакалейщикъ.

²⁾ Любовь Ѳедоровна Крылова, красавица.

³⁾ Константинъ С., не любившій Петербурга.

хомъ. Мы поѣхали въ саняхъ П. Г. Рѣдкина къ Коршамъ. П. Г. усѣлся кучеромъ и всю дорогу смѣялся и шутилъ съ Александромъ. Меня обѣсило, что Александръ въ такую минуту могъ потѣшаться вздоромъ. Завернувшись въ шубу, я старалась не обращать на нихъ вниманія и грустно думала, какъ онъ всегда увлекается и поддается впечатлѣннiю настоящей минуты. Часа черезъ три мы возвратились. «Тоска давить,—сказала Наташа, встрѣчая насъ пожавши намъ руки:—дѣти спятъ, пусто, тяжело». Александръ, по обыкновенiю, растерялся, сталъ приставать къ ней съ разспросами» (Пассекъ, II, 331). Я обращалъ уже вниманiе читателей на непониманiе Астраковой психологiи Герцена; здѣсь оно особенно замѣтно. Казалось бы, одной такой перемѣны, что веселилъ Герцена Рѣдкинъ,—а не наоборотъ, какъ всегда,—достаточно было бы, чтобы, помимо многого другого, что надо принять во вниманiе въ такомъ случаѣ, не обвинить Герцена такъ жестоко.

Чтобы читатель лучше могъ взвѣсить настроенiе обоихъ Герценовъ и состоянiе здоровья Н. А.—ны при отѣзлѣ ихъ изъ Росiи, приведу слѣдующую справку:

въ iюнѣ	1839 г.	родился	Александръ
« февралѣ	1841 г.	»	ребенокъ и †
« декабрѣ	1841 г.	родилась	Наталiя и †
« ноябрѣ	1842 г.	родился	Иванъ и †
« декабрѣ	1843 г.	»	Николай
« декабрѣ	1844 г.	родилась	Наталiя
декабрѣ	1845 г.	»	Елизавета и вскорѣ †.

450. Составъ русскаго общества.

Петербургъ есть шляпа Россiи и, разумѣется, треугольная. Москва—сердце, пораженное аневризмомъ отъ безпрестанныхъ воздыханiй. Правительство—туловище, просыпающееся послѣ буйнаго похмелья, съ желанiемъ почесать голову, и съ похмелья принимающее шляпу за голову. Клеветники говорятъ, что у этого животнo-растения голова находится въ Нерчинскѣ ¹⁾).

I.

Петербургъ бредитъ наукой и не учится, какъ чиновникъ. У Петербурга душа на Западѣ, воображенiе на запяткахъ у первой

¹⁾ Мѣсто-ссылки многихъ декабристовъ.

новизны, а голова въ распоряженіи у перваго парижскаго парикмахера. Въ Петербургѣ просвѣщеніе замѣнено газовымъ освѣщеніемъ, и въ то же самое время у него нѣтъ религіи, а только одна вѣротерпимость. Въ Петербургѣ церкви—аренды поповъ и оселки, на которыхъ пробуются таланты архитекторовъ. Въ будни звонъ къ обѣднѣ есть барабанный призывъ къ должностямъ, въ праздникъ — повѣстка къ визитамъ и ничегонедѣланію. Въ Петербургѣ нравственную потребность составляютъ гауптвахты. Петропавловская крѣпость есть большой - - - - - , гдѣ измѣняются и образы мыслей и образы мыслителей. Въ день Петербургъ не принадлежитъ себѣ; это—трупъ въ форменномъ мундирѣ, возсѣдающій надъ финляндскими гранитами, или трупъ безъ очей, бѣгающій по финляндскимъ гранитамъ. Къ вечеру Петербургъ, какъ сурокъ къ веснѣ, возвращаетъ всѣ свои отсутствующія способности, садится за преферансъ на выигрышъ и никогда не проигрываетъ, какъ чиновникъ.

Въ ночь Петербургъ, усыпленный виномъ и покупными наслажденіями, спитъ всей своей массой до 9 часовъ утра. Вельможные развратники боятся оргій, какъ потери мѣста, и развратничаютъ скрытно, засыпая слѣды свои грудями золота. Они съ 9 часовъ до 1-го часа пополудни занимаютъ свой умъ практической философіею и этой золотой порою техническими орудіями копаютъ могилы для своихъ пріятелей и, по всѣмъ правиламъ дипломатической медицины, уложивъ ихъ себѣ подъ носъ, воютъ о скоропостижности усопшихъ, какъ наемныя плакальщицы. Наконецъ, у Петербурга пять благонамѣренныхъ добродѣтелей: онъ передъ начальникомъ щенокъ, передъ подчиненнымъ волкъ, съ женщинами евнухъ, передъ искусствами рабъ и только передъ рабами господинъ.

II.

Москва, вѣчно заботящаяся о недостаткахъ своего незаконно-рожденнаго сына, маркиза Петербурга, только ждетъ желѣзной дороги, чтобъ лично удостовѣриться въ этихъ печальныхъ слухахъ и умереть отъ ужаса на берегахъ Невы. Въ настоящее время первопрестольная Москва занимается сплетнями, которыя извѣстны въ ней подъ фирмой очистительной критики; далѣе, Москва подъ колокольный звонъ молится о прегрѣшеніяхъ россійскаго міра, а за свои собственныя накладываетъ посты и во всю длину ихъ изнуруется стерляжьей ухой на шампанскомъ и чахнетъ за православной кулебякой и фаршированной осетриной. Потомъ передъ свареніемъ пищи смѣется за повѣстями Гоголя, которыя она вымѣняла

на дураковъ-арабченковъ и карлицъ; потомъ, для сваренія пищи, дремлетъ подъ диспуты отставныхъ профессоровъ, потомъ просыпается для преферанса, чтобъ проиграть, какъ свободная помѣщица.

III.

Провинція и сплетничаеть, и молится по своимъ святцамъ. Провинція не отрывается для науки жить, для науки мыслить... Провинціи пріѣзжаютъ въ Москву для распродажи своихъ спѣлыхъ дочерей, а въ Петербургъ—помотать лишнія деньги или для совершенія тяжёбныхъ дѣлъ, изъ подъ козырька которыхъ они видятъ только актеровъ на сценѣ, бронзу за стеклами магазиновъ и толкотню на Невскомъ проспектѣ. Вслѣдствіе этого воззрѣнія, провинціи дѣлаютъ визиты по-петербургски, кушаютъ по-московски, важничаютъ по-азіатски, а пьютъ, спятъ и курятъ по вольности російскаго дворянства. Провинціи думаютъ только за преферансомъ и бранятся съ своими партнерами за то, что они ихъ заставляютъ думать.

IV.

Въ Россіи свободная наука не отдѣлена еще отъ еретичества.

V.

- - - - - въ Россіи видятъ въ своихъ - - - - - людей чуждой планеты.

VI.

На художника смотрятъ, какъ на помпейскій горшокъ, и не знаютъ, для какого онъ созданъ употребленія.

VII.

Русское купечество униженно ступаетъ съ гривны на рубль, съ рубля на сотни, съ сотенъ на тысячи и только пріостанавливается на милліонахъ. Жизнь купеческая заключается въ коммерціи, какъ свѣтильня въ плошкѣ, умъ зарытъ въ барышахъ, какъ орѣхъ-двойчатка въ кожаной кисѣ...

Благородныя занятія ихъ: жирный столъ, крѣпкій сонъ и парная баня; душевныя потребности: преферансъ, толкованіе сновъ... и ворожба на кофейной гущѣ; необдуманная страсти: жирныя ло-

шади, такія же жены и золотыя медали, которыя покупаются тысячными пожертваніями на богадѣльни. Свѣтобоязнь—наслѣдственный недугъ, отъ котораго не лѣчатъ.

VIII.

Мѣщанство ведетъ мелкіе торги на крупныя обманы и, не читая ничего, кромѣ надписей на кредитныхъ билетахъ, ужъ лакомится преферансомъ и пьетъ сладкій растворъ всѣхъ пороковъ, созданныхъ тѣлесною стороною просвѣщенія.

IX.

Крестьяне продаютъ свои гигантскіе труды на мѣдныя деньги, которыя тотчасъ же проматываютъ на водку, приправленную сомнительнымъ спиртомъ.

X.

представляютъ своими особами жирныхъ устрицъ, приросшихъ къ подножію - - - - - , и на своемъ допотопномъ нарѣчїи увѣщываютъ мірянъ обратиться на путь истинный; а народъ, 9 вѣковъ слушающій эту проповѣдь, думаетъ объ истинномъ пути, какъ о пятомъ колесѣ въ колесницѣ, и возитъ на всѣхъ четырехъ припасы для иноческой трапезы.

XI.

Монахини занимаютъ такое же положеніе въ Россіи, какъ - - - - - въ мірѣ физическомъ.

XII.

Чиновники—воплощенное жерло Этны и ящикъ Пандоры, изъ которыхъ XIV-классными отверстіями выползаютъ всѣ гадости на Сѣверную землю и, запирая народную дѣятельность, слѣпятъ воскресающіе умы.

XIII.

Въ Россіи одни - - - , холопы и нищіе, ничего не дѣлая, пожираютъ труды дѣятелей и въ возмездіе возвращаютъ проценты навозомъ, надъ разложеніемъ котораго ровно $\frac{3}{4}$ столѣтія трудится

Вольно-Экономическое Общество и еще не рѣшило, что для Россіи полезнѣе: ---, холопы и нищіе или навозъ отъ ----, холоповъ и нищихъ.

XIV.

каста. У російскаго одна воля — неволя, одна прогулка—побѣгъ, одинъ отвѣтъ—спина и одно убѣжденіе, что жизнь его, какъ мѣдная пуговица, безъ срока принадлежитъ казнѣ. ---- —то же, что были боги Олимпа въ первыхъ вѣкахъ послѣ принятія христіанской вѣры, когда статуи Юпитеровъ, Марсовъ и Аполлоновъ Бельведерскихъ назывались болванами.

XV.

Вотъ всѣ ревизскія души, но у насъ есть женщины и не безъ характера. Первые 4-хъ отдѣловъ, т. е. крестьянки, мѣщанки, купчихи и попадьи, это—самки, которыя носятъ плотоядныхъ дѣтей и выкармливаютъ плотоядныхъ рабовъ. На этомъ 10-мил. разсадникѣ бронзируются женщины-аристократки, такъ характеристически прозванныя хамократками. Это—жалкіе ростки въ духовныхъ началахъ и въ физическихъ оконечностяхъ. Наши дамы въ Россіи—аристократки въ Западной Европѣ—чужеземки и только въ Парижѣ признаны подъ собственнымъ именемъ орангутанокъ. Парижъ съ безчувствіемъ хирурга подъ пыткой русскаго мороза цѣлое столѣтіе рядить нашихъ дамъ, какъ мраморныхъ статуй, въ газъ и блонды, отъ чего наши барыни гибнутъ тысячами, какъ осеннія мухи, а наблюдательный Парижъ по числу безвременныхъ могилъ опредѣляетъ число первоклассныхъ дураковъ въ Россіи. Въ остальномъ наши дамы самоцвѣтны, какъ суздальскія гравюры. Въ литературныхъ бесѣдахъ онѣ невѣжды, въ ничтожныхъ разговорахъ умницы, въ семействахъ деспотки, въ дѣвичьей тиранки, въ спальняхъ тартюфки, въ гостиныхъ кокетки, въ будуарахъ рабыни перваго случая, а во французскихъ модныхъ магазинахъ служанки. Наши дамы въ искусствахъ имѣютъ понятіе о батистовыхъ цвѣтахъ, въ хозяйствѣ о розгахъ, которыми очищаются падшія горничныя. Въ издѣльяхъ мастерицы приготовленія оленьихъ роговъ, коими украшаютъ головы своихъ милыхъ супруговъ. Дѣти этихъ автоматокъ—несчастныя вѣшалки, на которыхъ выставляются всѣ модные покрои платья, и они же—созвѣздія неизбѣжнаго штата, составленнаго изъ тѣлохранительницъ-нянекъ, тѣлопрямительницъ-гувернантокъ и душегубителей-гувернеровъ. Это задній планъ на аван-

сценъ, фаланга учителей съ профилями всей Европы и всѣхъ цвѣтовъ шарлатанства. Потомъ эти же самыя дѣти суть маленькіе альбомы съ бѣлыми страницами, въ которые господа наставники вписываютъ самыя отвратительныя фантазіи, глупо-отступническія идеи и пасквили на все, что носитъ на себѣ видъ Россіи. Замѣтите, что эти маленькіе щенки растутъ и дѣлаются бульдогами съ правомъ грызть все, что носитъ названіе Россіи.

XVI.

Среднее сословіе дворянъ есть бьющая артерія, гдѣ еще не застыла горячая кровь Россіи; въ немъ сходятся всѣ благородныя чувства души, и только отъ него расходятся законы благоразумнаго приличія. Одна страсть подражанія хамократіи убиваетъ это мыслящее сословіе, отъ котораго наше отечество должно ожидать всѣхъ прекрасныхъ началъ въ ихъ дѣтяхъ и братьяхъ.

XVII.

Наконецъ, чиновницы—куклы на самодѣльныхъ пружинахъ, и потому онѣ присѣдаютъ, когда надо стоять, спрашиваютъ, когда надо отвѣчать, и смѣются, когда слѣдуетъ плакать. Чиновницы выкрали изъ высшаго круга длинные хвосты для метенія тротуаровъ, а изъ средняго круга—жеманство, которое замѣняетъ у нихъ умъ. Гигантскія ватаги чиновницъ удовлетворяютъ всѣмъ страстямъ русскаго царства; онѣ, съ вѣдома и безъ вѣдома своихъ законныхъ супруговъ, вносятъ въ свои семейства дѣтей всѣхъ сортовъ {и родовъ, начиная отъ министровъ и - - - - - и оканчивая цѣловальниками и - - - - - , и вся эта пригуль, выросшая на собственныхъ кормахъ или на незаконныхъ исканіяхъ, занимаетъ мѣста - - - , цѣловальниковъ, - - - - - и министровъ.

451. Приписка къ Н. Х. Кетчеру.

(31 декабря 1846).

Это все, мнѣ кажется,—романтизмъ, и ты не ѣдешь потому, что тебѣ лѣнь, и потому, что всякій день новый годъ, а именно сегодня не новый годъ.

Прощайте. ¹

◆◆ 1. Такъ какъ письмо Н. А—ны, къ которому сдѣлана эта приписка, проливаетъ нѣкоторый лучъ на создавшееся охлажденіе между друзьями, то приведу его полностью.

«Правда ли это, Кетчеръ, Сатинъ говоритъ, что вы не приѣдете съ Симочкой¹⁾? Если правда, то мнѣ больно, что вы разлюбили насъ до того, что не хотите приѣхать встрѣтить съ нами въ послѣдній разъ новый годъ, тогда какъ иные, совершенно чужіе, приѣхали. Впрочемъ, вольному воля! Теперь некогда, а мнѣ хотѣлось бы поговорить съ вами. Я не могу такъ легко вырывать изъ души то, что въ ней когда-то было глубоко. Ну, ужъ если не будете, дайте ваши руки, т. е. вы и Сим., — жму ихъ крѣпко, отъ души и желаю встрѣтить и проводить новый годъ, какъ только возможно, хорошо. Жаль еще потому, что вы не будете, что Машенька²⁾ больна».

Очень цѣнными документами для уясненія охлажденія между Герценомъ и Огаревымъ съ одной стороны и ихъ друзьями — съ другой, являются «Дневникъ» Н. А—ны и ея письмо къ Огареву, хранящіяся въ Румянц. музеѣ.

Приведу оба документа полностью.

Дневникъ.

1846. Окт. 25. Такъ много жилось и работалось, что мнѣ, наконецъ, жаль стало унести все это съ собой. Пусть прочтутъ дѣти,—ихъ жизнь не дастъ имъ, можетъ быть, столько опыта. Не знаю, долго ли это будетъ и чтò будетъ потомъ, но пока я жива,—болѣе или менѣе—они будутъ сохранены отъ этихъ опытовъ; хорошо ли это, не знаю, но какъ-то нѣтъ силъ не отдернуть свѣчи, когда ребенокъ протягиваетъ къ ней руку. Не такъ было со мною. Съ раннихъ лѣтъ или даже дней отданная случайности и себѣ, я часто изнемогала отъ блужданья впотьмахъ, отъ безотвѣтныхъ вопросовъ, отъ того, что не было точки подъ ногами, на которой бы я могла остановиться и отдохнуть, не было руки, на которую-бъ опереться... Мое прошедшее интересно внутренними и внѣшними событіями, но я расскажу его послѣ какъ-нибудь, на досугѣ... Настоящее охватываетъ все существо мое, страшная разработка... до того все сдвинуто съ своего мѣста, все взломано и перепутано, что слова, имѣвшія ярко опредѣленное значеніе цѣлыя столѣтія, для меня стерты и не имѣютъ болѣе смысла.

¹⁾ Жена Кетчера.

²⁾ М. К. Рейхель.

30-е, среда. Сегодня я ѣздила съ Марьей Федоровной проститься къ Огареву: онъ уѣзжаетъ въ свою пензенскую деревню и, можетъ быть, надолго... Горько разставаться съ нимъ,—онъ много увозитъ съ собою. У Александра изъ нашего кружка не осталось никого, кромѣ его; я еще имѣю къ инымъ слабость, но только слабость... религіозная эпоха нашихъ отношеній прошла; юношеская восторженность, фантастическая вѣра, уваженіе,—все прошло! И какъ быстро. Шестъ мѣсяцевъ тому назадъ всѣмъ, протягивая другъ другу руку, хотѣлось еще думать, что нѣтъ въ свѣтѣ людей, ближе между собой; теперь даже и этого никому не хочется. Какая страшная тоска и грусть была во всѣхъ, когда сознали, что нѣтъ этой близости; какая пустота,—будто послѣ похоронъ лучшаго изъ друзей. И въ самомъ дѣлѣ, были похороны не одного, а всѣхъ лучшихъ друзей. У насъ остался одинъ Огаревъ, у нихъ—не знаю, кто.—Однако же мало-по-малу силы возвращаются; проще, самобытнѣ становишься, будто сошелъ со сцены и смотришь на нее изъ партера; игра была откровенна,—все же было трудно, тяжело, неестественно. Разошлись по домамъ, теперь хочется уѣхать подальше, подальше...

Ноябрь, 1-е. Да, уѣхать,—мы уже нѣсколько лѣтъ собираемся въ чужіе края, здоровье мое разстроено, для меня необходимо это путешествіе,—писала просьбу къ императрицѣ пять лѣтъ тому назадъ—все бесполезно; Александръ ѣздилъ въ Петербургъ въ прошломъ мѣсяцѣ, хлопоталъ, хлопоталъ; Ольга Александровна Жеребцова расположена къ намъ какъ нельзя лучше, она много можетъ, и она хлопотала; Дубельтъ, Орловъ желали этого и не могли ничего сдѣлать. Прежде нужно освободиться отъ надзора полиціи, который уже продолжается одиннадцать лѣтъ. Пошла бумага объ этомъ въ Петербургъ,—что-то будетъ... Впрочемъ, я какъ-то спокойнѣе ожидаю теперь позволеніе и отказъ. Что это,—равнодушіе или твердость?—но на все смотришь спокойнѣе, удовлетворенія все меньше и меньше и требовательности меньше... Не резигнація ли это? Какое жалкое чувство; нѣтъ, лучше сердиться или страдать. Отчего же я не сержусь и не страдаю, и не сознаю резигнаціи,—и не равнодушіе, это, стало—твердость. По временамъ я чувствую страшное развитіе силы въ себѣ, не могу себѣ представить несчастія, подъ которымъ бы я пала. Послѣдній припадокъ слабости со мною былъ въ іюнѣ, на дачѣ, тогда, какъ разорвалась цѣпь дружескихъ отношеній и каждое звено отпало само по себѣ. У меня поколебалась вѣра въ Александра,—не въ него, а въ нераздѣльность, въ слитость нашихъ существованій; но это прошло, какъ болѣзнь, и не возвратится болѣе. Теперь я не за многое поручусь въ будущемъ, но поручусь за то, что это отношеніе останется цѣло, сколько бы ни

пришлось ему выдержать толчковъ. Могутъ быть увлеченія, страсть, но *наша любовь* во всемъ этомъ останется невредима.

2-е, суб. Теперь далеко О. Какъ хорошо ему in's Freie!.. ¹⁾ Что за чудный человекъ; по фактамъ, по внѣшней жизни его я не знаю никого нелѣпѣе; зато какая мощь мысли, твердость, внутренняя гармонія,—въ этомъ отношеніи онъ выше Александра; со мною никто въ этомъ не согласенъ: всѣ почитаютъ его слабымъ, распущеннымъ до эгоизма, избалованнымъ до сухости, до равнодушія,—никто его не понимаетъ вполне, даже Александръ не совсѣмъ, оттого что наружное слишкомъ противорѣчитъ съ внутреннимъ. И я не могу объяснить этого, доказать, но довольно видѣть его наружность, чтобъ понять, что этотъ человекъ не рядовой, что натура его божественна (выражаясь прежнимъ языкомъ); въ наше время онъ не могъ ничего изъ себя сдѣлать, и самое воспитаніе отняло у него много средствъ. Можетъ быть, я и тутъ еще увлекаюсь; можетъ быть, я не могу устоять противъ этого влеченія; разъ, просидѣвши со мной часа три, онъ сказалъ, что еще не соскучился,—пріятнѣе этого комплимента я еще ни отъ кого не слыхала въ мою жизнь, и это потому, что онъ сказалъ мнѣ его. Любишь его безкорыстно,—какъ-то и не думается, чтобъ онъ тебя любилъ; отъ другихъ требуешь любви, уваженія, требуешь покорности; отчего, почему все это такъ? не знаю. Отъ иныхъ не требуешь вовсе ничего, потому что не замѣчаешь ихъ, отъ него—вовсе не потому. Ему не смѣешь ничего пожелать,—такъ сильно сознаніе его свободы и воли.

4-е, пон. Какъ тяжело бываетъ съ нѣкоторыми изъ прежнихъ близкихъ; въ бесѣдѣ съ ними нѣтъ болѣе ни содержанія ни смысла. Какъ тяжело притворяться и притворяться не для того, чтобы обмануть, а еще нѣтъ силы выказать, насколько мы стали далеки; мнѣ объ этомъ трудно говорить даже съ Александромъ. И между тѣмъ есть полное убѣжденіе, что мы не виноваты въ томъ, что отошли отъ нихъ далеко, что мы не можемъ быть близки; нѣкоторыя благородныя черты не удовлетворяютъ настолько; прежде это какъ-то натягивалось внутри себя, не отдавая себѣ полного отчета,—теперь это невозможно. Какая-то потребность, жажда открывать во всемъ истину, насколько-бъ это ни было больно, хотя бы куски собственного тѣла вырывались съ ложнымъ убѣжденіемъ. Видно, возрастъ такой пришелъ; оттого и разошлись мы, что они боятся всякой правды,—еще имъ нравятся сказки и дѣтскія игрушки, а это возбуждаетъ негодованье и сожалѣніе. Иные это дѣлаютъ съ хитростью, желая обмануть самихъ себя; тутъ есть

¹⁾ На свободѣ.

еще надежда, откровенное же ребячество жалко.—До такой степени для меня измѣнилось все мое значеніе, что то, что прежде казалось трогательно и вызывало нѣжное, какое-то неопредѣленное сочувствіе, теперь возмутительно и возбуждаетъ гнѣвъ. Напримѣръ, Сатинъ; мнѣ его долго было жаль, долго хотѣлось сохранить его,—такая любящая натура,... и онъ все хотѣлъ замѣнить любовью, но полного сочувствія, сознательнаго согласія никогда не было. Въ послѣдній мой разговоръ съ нимъ до того все натянулось, что порвалось. Я молчу, сколько можно, и ужъ не прикрою ни одной правды, когда нужно говорить,—для меня это невозможно. Его нѣжность, его ласки, попочительная любовь, страданіе о томъ, что никто не отвѣчаетъ на эту любовь вполне,—все это не что иное, какъ слабость, недостатокъ содержанія въ самомъ себѣ и ограниченность притомъ. Пять лѣтъ тому назадъ, уѣзжая за границу, онъ оставилъ меня идеаломъ женщины, такую чистую, святою, погруженною совершенно въ любовь къ Александру и Сашѣ, не имѣющею никакихъ другихъ интересовъ; возвратившись, нашелъ холодною, жесткою, и совершенно подъ вліяніемъ Александра, распространяющаго теорію ложной самобытности и эгоизма. Я не пережила ничего (т. е. со мною не случилось никакихъ несчастій?) и потому не могу знать жизнь и понять истину, выработать же это мыслью—не свойственно женщинѣ». Ну, тутъ трудно возражать. Такое пониманіе очень обыкновенно между людей, но пока С. не высказалъ его вполне, я никогда бы не повѣрила, что онъ до такой степени тупъ. Въ немъ много благороднаго, много готовности на всякую услугу,—я никогда не протяну ему руки безъ уваженія и холодно.

5-е, среда. Что это, какъ нелѣпо устроена жизнь и вмѣсто того, чтобы облегчить, прочистить себѣ какъ-нибудь дорогу, люди отдаются слѣпому произволу, идутъ безъ разбору, куда онъ ихъ ведетъ, страдаютъ, погибаютъ съ какимъ-то самоотверженіемъ, какъ будто не въ ихъ волѣ существовать хорошо. Иные съ большимъ трудомъ выработали себѣ внутреннюю свободу, но имъ нельзя проявить ее, потому что другіе, оставаясь рабами въ самихъ себѣ, не даютъ и другимъ воли дѣйствовать, и все это такъ бессмысленно, безотчетно, сами, не понимая, что дѣлаютъ и зачѣмъ? Ну, а тѣ, которые понимаютъ? Имъ трудно отстать отъ предрасудковъ, какъ отъ вѣрованія въ будущую жизнь, и они добровольно оставляютъ на себѣ цѣпи, загораживаютъ ими дорогу другимъ и плачутъ о нихъ и о себѣ.—Иногда въ бѣдности есть столько жестокости, гордости, столько неумолимаго, какъ будто въ отмщеніе (но кому въ отмщеніе?) за то, что другіе имѣютъ больше средствъ; она казнить

ихъ этими средствами, не желая раздѣлить ихъ съ ними. И это истинная казнь! Сидѣть за роскошнымъ столомъ, покрытымъ драгоценными ненужностями, и *не смѣть* предложить другому самаго необходимаго, — тутъ сдѣлается противно все, и самъ себѣ покажешься такъ жалокъ и ничтоженъ. Я всегда была довольно равнодушна къ украшеніямъ, даже къ удобствамъ жизни; однакоже, иногда бывали желанія имѣть что-нибудь, чего нельзя было; теперь мнѣ противно всякое излишнее удобство, — такъ бы хотѣлось подѣлиться съ тѣмъ, у кого нѣтъ и необходимаго, — единственное средство безъ угрызенія пользоваться самому богатствомъ, а тутъ не смѣешь предложить или получаешь отказъ... Непростительная жестокость!

11-е, пон. Получили письмо отъ Огарева. Онъ пишетъ, что для него Ал., я и еще одно существо нигдѣ и никѣмъ незамѣнимы. У меня захватило духъ, когда я прочла эту фразу. Онъ не лжетъ, но не ошибается ли? если же это правда и если это долго не измѣнится, — я не могу себѣ представить выше счастья. Такая полная симпатія а мнѣ и прежде казалась иная симпатія полной, ... и, наконецъ, выходило изъ нея полное отчужденіе... Пусть, пусть это — юношеская мечта, увлеченье, ребячество, глупость, — я отдаюсь всей душой этой глупости; послѣ Алек. никого нѣтъ, кого бы я столько любила, уважала, никого, въ комъ было бы столько человѣчественнаго, истиннаго. Онъ грандіозенъ въ своей простотѣ и вѣрности взгляда. Мнѣ тяжело бы было существовать, если-бъ онъ пересталъ существовать, и у Ал. это единственный человѣкъ, вполне симпатизирующій ему. И если все это — мечта, такъ ужъ, навѣрное, послѣдняя. И то она одна въ чистомъ полѣ, ничего нѣтъ, ничего нѣтъ кругомъ... такъ, кой-гдѣ былинка... Дѣти, это — естественная близость: ей нельзя не быть; общіе интересы — тоже, и это наполняетъ ужасно много; не прибавляя къ этому ничего, можно просуществовать на свѣтѣ, но я испытала больше: я отдавалась дружбѣ отъ всей души, и кто же этого не знаетъ, что, отдавая, берешь вдвое болѣе, — и все это исчезло, испарилось, и какъ грубо, какъ неблагогородно разбудили и показали, что все это *мнѣ* снилось... Разбудить надо было: горькое реальное всегда лучше всякаго бреда — это не естественная пища человѣку, и рано или поздно онъ страдаетъ отъ нея, — но не такъ бы *безчеловѣчно* разбудить; меня оскорбляетъ только манера, — въ ней было даже что-то пошлое, а мнѣ хотѣлось бы, чтобъ память моего идеала осталась чиста и свята.

13. О, великая Сандъ! такъ глубоко проникнуть въ человѣческую натуру, такъ смѣло провести *живую душу* сквозь паденія и раз-

вратъ и вывести ее невредимую изъ этого всепожирающаго пламени.—Еще четыре года тому назадъ Боткинъ смѣшно выразился объ ней, что она Христось женскаго рода, но въ этомъ правды много. Что бы сдѣлали безъ нея съ бѣдной Lucrezia Floriani, у которой въ 25 лѣтъ было четверо дѣтей отъ разныхъ отцовъ, которыхъ она забыла и не хотѣла знать, гдѣ они?... Слышать объ ней считали бы за великій грѣхъ, а она становится передъ вами, и вы готовы преклонить колѣна передъ этой женщиной. И тутъ же рядомъ вы смотрите съ сожалѣньемъ на выученную добродѣтель короля, на его узкую, корыстолюбивую любовь. О! если-бъ не нашлось другого пути, да падеть моя дочь тысячу разъ—я приму ее съ такою же любовью, съ такимъ же уваженьемъ, лишь бы осталась жива ея душа: тогда все перегоритъ, и все сгоритъ нечистое, останется одно золото.

Дочитала романъ; конецъ неудовлетворителенъ.

1847-го января 10-е. Уѣзжаемъ 16-го.—Опять все симпатично и тепло... всѣхъ люблю, вижу, что и они любятъ насъ; съ большою радостью уѣзжаю, чувствую, что съ радостью буду возвращаться. Настоящее хорошо, отдаюсь ему безотчетно.

Письмо Н. А—ны къ Н. П. Огареву.

24-е (декаб. 1846. Москва).

Поздно, вечеръ. Всѣ у Корша на елкѣ; я не совсѣмъ здорова и потому дома.

Прочла твое письмо къ М. Ѳ.; не понравилось оно мнѣ; я какъ-то привыкла тебя видѣть въ такомъ ровномъ, порядочномъ расположеніи. Не прими это за упрекъ тебѣ, нѣтъ, это—мой недостатокъ и недостатокъ ужасный, потому что онъ мѣшаетъ мнѣ и другимъ жить со мною. Такъ много понимать и не имѣть силы сладить съ этимъ, не имѣть твердости пить равно горькое и сладкое, а останавливаться на первомъ—жалко! И это все я понимаю, какъ нельзя больше, и, все-таки, не могу выработать себѣ настолько наслажденія, ни даже снисхожденія. Мнѣ бы хотѣлось, чтобъ ты понялъ, какъ это все и почему,—объяснять лишнее, если самъ не понимаешь, да мнѣ же и трудно говорить и писать много отъ непривычки. Хорошее я понимаю внѣ себя, отдаю ему должную справедливость, а въ душѣ отражается одно мрачное и мучаетъ меня, и терзаетъ. Много тутъ вины людской, а моей еще болѣе. А что перемѣнитъ меня—не знаю... а жизнь идетъ, идетъ, и прожито ужъ много лѣтъ.

Сегодня долго мы говорили съ Гр. Опять та же симпатія, теплая, возносящаяся выше убѣжденій, выше всего, и все это такъ искренно, такъ горячо; такъ нѣжно... и тутъ мой демонъ не допускаетъ меня отдаться безотчетно. Среди всего этого встаетъ чудовищная мысль, что завтра будетъ снова отреченье и также искренно и отъ души, какъ примиренье нынче... и такъ становится пусто и равнодушно. И что-жъ за шашки люди и что играетъ ими? И что за цѣль этой игры? Бывало еще лучше: за одно слово, за одну мысль готовъ распять человѣка или за него итти на крестъ. Теперь привыкъ *ко всему*: щеки не разгораются, сердце не рвется изъ груди, какой-то ядъ переливается по всему существу, и лицо спокойно, и страдаешь спокойно, или, какъ это сказать?—лѣнливо, тупо, и не хочется *спасать*, и не хочется гибнуть.

Скажи, пожалуйста, понялъ ты что-нибудь изъ того, что я тебѣ говорила? Если нѣтъ, такъ лучше я и мучить тебя не стану по-пустому. Лучше я поговорю съ тобой пристойно и прилично, какъ со всѣми, что мы собираемся въ дорогу, покупаемъ чемоданы, что намъ пріятно путешествовать и видѣть разныя рѣдкости и привести много хорошихъ вещей за дешевую цѣну... и т. д. Дай же мнѣ твою руку и скажи со мною вмѣстѣ, что тебя ничто не удовлетворяетъ, что ты ничѣмъ, ничѣмъ недоволенъ, а потомъ научи меня радоваться, веселиться, наслаждаться,—у меня все есть для этого, лишь развеи эту способность.

Вчера было рожденье Марьи Ѳ.; мы его праздновали у насъ и молча съ ней пили тостъ, который пьемъ всегда молча.—А какъ мнѣ жаль, что вы не увидите съ Александромъ. У какъ звонять колокола. Заутрениа...

Прощай, работай, работай. Я бъ сама работала, кабы у меня не было столько дѣла.

Нонче я не видала и не увижу, вѣроятно, а хотѣлось бы, хоть съ ними, проститься.

Здѣсь умѣстно вспомнить одно обстоятельство, до сихъ поръ мало вскрытое въ литературѣ. Въ своихъ «Воспоминаніяхъ» Н. А. Огарева говоритъ, что жена Грановскаго «вдругъ, безъ замѣтной причины, безъ объясненія отдалилась отъ Н. А.—ны Герценъ; почему это произошло,—осталось тайною навсегда» (стр. 62). Въ письмахъ Огаревой къ Е. С. Некрасовой добавлено, что этой тайны не знала и сама Н. А.—на. Въ другихъ письмахъ ея же къ Некрасовой этому факту отведено довольно много мѣста. По словамъ Огаревой, Герцены въ концѣ своей московской жизни увидѣли, что вообще всѣ друзья, кромѣ Огарева, Астраковыхъ и Гра-

новскаго, а главное,—жены и сестры друзей «возненавидѣли Наташу». Это даже—одна изъ причинъ ускореннаго отъѣзда Герценовъ за границу. Во главѣ такой ненавидящей группы Н. А. Огарева много разъ и настойчиво ставитъ М. Ө. Коршъ, старавшуюся, де, повліять и на М. К. Эрнъ. Вотъ, де, почему потомъ Герцены ее не удерживали у себя за границей. Самъ Герценъ объяснялъ будто бы эту ненависть такъ: «женщины ужасно завидовали матеріальнымъ его средствамъ». Съ другой стороны, М. К. Эрнъ, отвѣчая на вопросы Некрасовой, подѣлившейся съ нею такими свидѣтельствами Огаревой, категорически отрицала подобную роль М. Ө. Коршъ и всячески ее реабилитировала, приводя довольно вѣскіе факты и соображенія. Какъ бы то ни было, но охлажденіе существовало, и это важно имѣть въ виду при чтеніи многаго въ послѣдующемъ матеріалѣ.

На эту сторону больше другихъ обратилъ вниманіе Анненковъ, но онъ сказалъ много общихъ мѣстъ и мало указалъ опредѣленныхъ фактовъ. Когда читаешь эти страницы въ его изложеніи, то понимаешь, что онъ зналъ гораздо больше, чѣмъ сказалъ. Однако, его свидѣтельство нельзя не признать важнымъ.

«Извѣстно,—говоритъ Анненковъ,—что незадолго до отъѣзда за границу Герценъ потерялъ отца и получилъ довольно значительное наслѣдство, сдѣлавшее его сравнительно богатымъ человѣкомъ. Рамки, въ которыхъ заключено было до того его московское существованіе, раздвинулись, но показались ему еще тѣснѣе, стѣснительнѣе, чѣмъ прежде; съ увеличеніемъ матеріальныхъ средствъ поднялись и окрылились желанія, а желанія и стремленія у этого въ высшей степени сангвиническаго характера находились въ уровень съ его образованіемъ и мыслью. При томъ же для Герцена наступила та пора жизни, когда человѣкъ испытываетъ обыкновенно мучительную потребность самой напряженной дѣятельности (ему шелъ 35-й годъ); но простора для дѣятельности въ той формѣ и тѣхъ размѣрахъ, какіе ему были нужны, онъ, конечно, найти не могъ. Оставалось убивать весь избытокъ накопившейся энергіи въ пустомъ мозговомъ одушевленіи, въ шумѣ дружескихъ собраній, въ поддержаніи или опроверженіи болѣе или менѣе дѣльныхъ тезисовъ на вечерахъ и по обѣдамъ; но, во-первыхъ, это не могло продолжаться долго, а во-вторыхъ, скоро оказалось, что и по этой тропинкѣ уже нельзя было двигаться. Центры прежнихъ собраній распались, дружескія интимныя сходы не удавались болѣе. Послѣднимъ особенно повредилъ переворотъ въ матеріальномъ бытѣ Герцена и сравнительно богатая обстановка его дома, явившаяся, конечно, безъ всякаго преднамѣренія у новыхъ хозяевъ. Не было увлеченія, составлявшаго букетъ подобныхъ сходовъ въ прежнее время, когда онѣ

возникали на общихъ издержкахъ, требовали нѣкотораго пожертвованія, вызывали хлопоты и хозяйскія соображенія. Герценъ разсказывалъ, что появленіе какого-нибудь серебрянаго подноса или канделябра въ его новомъ хозяйствѣ поражало какъ бы нѣмотой его друзей; искренность и веселіе пропало, какъ только повстрѣчались съ готовымъ комфортомъ. Онъ относилъ это явленіе къ той каплѣ демократической зависти, которая живетъ въ сердцахъ даже самыхъ лучшихъ людей, но такое изъясненіе мнѣ казалось всегда несправедливостью: тутъ было сожалѣніе объ утерянныхъ условіяхъ прежняго скромнаго образа жизни. Когда уже оказалось почти невозможнымъ собрать подъ одну кровлю близкихъ людей безъ того, чтобы не увидать признаковъ измѣненныхъ отношеній съ ними, и когда скоро оказалось, что они уже расходятся и въ пониманіи предметовъ—что оставалось дѣлать? Умственные интересы московской и вообще русской среды были изслѣдованы до нитки, вопросы, казавшіеся особенно важными, переворочены на всѣ лады. Серьезной работы, въ которую можно было бы уйти и запреться отъ міра—не обрѣталось вовсе, а потому оставалось, конечно, только тушить поѣдающій огонь дѣятельности, чѣмъ ни попало.

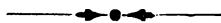
«Не менѣе любопытна и душевная исторія, пережитая въ эту же пору женою Герцена. И ей, какъ и мужу ея, страшно надоѣла дисциплина, которую ввелъ и неуклонно поддерживалъ тогдашній идеализмъ между друзьями. Наблюденіе за собой, отметаніе въ сторону, какъ опаснаго элемента, нѣкоторыхъ побужденій сердца и натуры, неустанное хожденіе по одному ритуалу долга, обязанностей, возвышенныхъ мыслей,—все это походило на строгій монашескій искусь. Какъ всякій искусь, онъ имѣлъ свою чарующую и обаятельную силу сначала, но становился нестерпимымъ при продолжительности. Любопытно, что первымъ, поднявшимъ знамя бунта противъ проповѣди о нравственной выдержкѣ и объ ограниченіи свободы отдаваться личнымъ, физическимъ и умственнымъ поползновеніямъ,—былъ Огаревъ. Онъ и привилъ къ обоимъ своимъ друзьямъ, Герцену и его женѣ (особенно къ послѣдней) воззрѣніе на право cadaго располагать собой, не придерживаясь никакому кодексу установленныхъ правилъ, столь же условныхъ и стѣснительныхъ въ официальной морали, какъ и въ приватной, какую заводятъ иногда дружескіе кружки для своего обихода. Нѣтъ сомнѣнія, что воззрѣніе Огарева имѣло аристократическую подкладку, давая развитымъ людямъ съ обезпеченнымъ состояніемъ возможность спокойно и сознательно пренебрегать тѣми нравственными стѣсненіями, какія проповѣдываются людьми, не знавшими отъ роду обаяній и наслажденій полной матеріальной и:

умственной независимости. Въ основѣ его лежало еще и уваженіе къ фізіологическимъ требованіямъ лица, которыя всего менѣе признавались демократическими умами, искавшими установить общія правила и начала даже и для органическихъ и психическихъ отличій человѣка. Оно пришлось по вкусу тогдашнему Герцену, выбитому изъ обыденной колеи московскаго дружескаго существованія, и это обстоятельство вмѣстѣ съ сохранившейся нѣжностью къ товарищу своего дѣтства объясняетъ то высокое мнѣніе объ Огаревѣ, которое не разъ выражалъ Герценъ, называя его свободнѣйшимъ человѣкомъ и умнѣйшей головой въ Россіи. То достовѣрно, что вліяніе Огарева имѣло неисчислимыя послѣдствія для самого Герцена, а также и для жены его.

«Вся эта работа передвиженія съ одной точки зрѣнія на предметы на другую, начавшаяся съ появленія Огарева въ Москвѣ, въ 1846 г., шла, однако же, гораздо медленнѣе у Герцена, чѣмъ у его жены. Герценъ не скоро отдѣлался отъ первоначальной философской своей закваски. Несмотря на свое отреченіе отъ статутовъ идеалистическаго ордена, къ которому принадлежалъ, несмотря на попытки секуляризовать, такъ сказать, свою жизнь, Герценъ долго и потомъ сохранялъ на себѣ печать, приемы и сословныя отличія своего прежняго званія. Типъ строгаго учителя и нравственнаго проповѣдника остался съ нимъ и послѣ того, какъ онъ сошелъ, такъ сказать, съ кафедръ и поселился на публичномъ рынкѣ, раздѣляя его волненія, ропотъ и жалобы. Отъ нѣкоторыхъ основныхъ началъ исповѣдуемой имъ нѣкогда философско-моральной доктрины онъ никогда уже и не отказывался.

«Наоборотъ, разложеніе старыхъ теорій и представленій отразилось полнѣе и рѣшительнѣе на душѣ бѣдной, воспріимчивой, изящной по характеру и природѣ жены Герцена—и переработало ее окончательно. Реакція противъ условій московскаго существованія началась у нея съ того мгновенія, когда она почувствовала непреодолимое отвращеніе къ буржуазнымъ добродѣтелямъ, которыя составляли основу всего быта, окружавшаго ее, но она внесла еще страсть въ свою критику. Ей уже сдѣлались не только скучны, но и подозрительны доблести при домашнемъ очагѣ, семейный героизмъ, всегда довольный и гордый самимъ собой, и вѣчное прославленіе тѣхъ пожертвованій, трудовъ и добровольныхъ лишеній, которыя сносились передъ ея глазами на алтари разныхъ, болѣе или менѣе почтенныхъ, молоховъ, величаемыхъ, по ея мнѣнію, идеями. Съ пробудившейся жаждой къ расширенію своего существованія она возненавидѣла нескончаемое хожденіе все въ одну сторону, пѣ-солонь, и объясняла устройство этой невыносимой цере-

моні, походившей, въ ея глазахъ, на раскольниче радѣніе, частію тѣмъ, что она необходима жрецамъ кружка для прикрытія ихъ слабой, апатической, ограниченной природы, а частью тѣмъ, что она доставляетъ вообще бѣднымъ инстинктамъ и побужденіямъ потѣху гордаго самоуслажденія. Никогда такъ радикально не относился самъ Герценъ къ старому кружку друзей, никогда не выказывалъ столько жестокости и несправедливости въ приговорахъ надъ нимъ, никогда не отзывался о немъ съ такой ненавистью, цѣня, однако, даже и въ спорахъ съ старымъ кружкомъ немало-важныя усилія его членовъ выносить жизненныя тяготы времени наиболѣе мужественно, благоразумно и независимо. Но все это пропало изъ вида его жены, замѣнилось какой-то наивной, незлобивой диффамацией прежнихъ друзей, какъ только приходилось вспоминать о нихъ. Жена Герцена возлагала еще на отвѣтственность старыхъ знакомыхъ и долгую скуку прежней своей жизни, между тѣмъ какъ настоящей причиной этой скуки былъ, какъ скоро объяснилось, запоздалый, мечтательный и бесплодный романтизмъ. Несмотря на постоянное чтеніе серьезныхъ иностранныхъ писателей, несмотря на философскій говоръ, раздававшійся постоянно около жены Герцена и, конечно, не щадившій никакихъ иллюзій и фальшивыхъ рѣшеній вопросовъ,—душа ея имѣла еще свои секреты, сберегала про себя тайны задачи и питалась въ самомъ шумѣ скептическихъ изліяній скрытными романтическими стремленіями и чаяніями. Но куда ни обращала она свои глаза, ничего похожаго на порядочный романтизмъ нигдѣ не оказывалось налицо вокругъ нея. Она была счастлива въ мужѣ, въ семьѣ, въ друзьяхъ и страдала отсутствіемъ поэзіи, которая не сопровождала всѣ эти благодатныя явленія въ той мѣрѣ, какъ бы ей хотѣлось. Она предпочла бы поэтическія бѣды, глубокія несчастія, окруженныя симпатіей и удивленіемъ постороннихъ, и минутныя упоенія — тому простому безмятежному благополучію, которымъ наслаждалась. Задачей ея жизни сдѣлалось, такимъ образомъ, обрѣтеніе романтизма въ томъ видѣ, какъ онъ существовалъ въ ея фантазіи: за нимъ она и погналась со страстью и неутомимостью искателя волшебныхъ кладовъ, надѣясь когда-нибудь напасть на его слѣдъ и вкусить отъ той испробованной немногими смертными амврозіи возвышенныхъ чувствъ, какую онъ готовитъ для своихъ вѣрныхъ слугъ,—узнать отраду небесныхъ ощущеній, имъ доставляемыхъ» («Литературныя воспоминанія», 323—326).



Бібліографическій коментарій.

(Сокращенія: Наталія Александровна Захарьина, потомъ Герценъ=Н. А—на; «Собраніе сочиненій А. И. Герцена», СПб., 1906 г.=Спб. изд.; «Сочиненія А. И. Герцена», Женева, 1875—1879 гг.=Жен. изд.; Румянцовскій музей въ Москвѣ=Рум. муз.; архивъ семьи Герцена=АСГ.; «Колоколь»=«Кол.»; «Полярная Звѣзда»=«П. З.»).

Ъ № 417. Напечатано: первое и второе письма въ IV кн. «Отечеств. Записокъ» 1845 г. (цензур. дата—31 марта), третье—въ VII кн., четвертое—въ VIII, пятое и шестое—въ XI кн. того же года; седьмое—въ III кн. 1846 г. и восьмое—въ IV кн. того же года; подпись вездѣ «И—ръ».

Потомъ было включено въ особое изданіе: «Письма объ изученіи природы. Сочиненіе автора «Раздумья», Спб. 1870 г., уничтоженное цензурой; затѣмъ вошло во II т. Жен. изд. и IV т. Спб. изд. (первое письмо неисправно). Подлинникъ не найденъ; свѣрено по «От. З.».

18 августа 1846 г. В. П. Боткинъ писалъ Герцену: «О «Письмахъ объ изученіи природы» я пока ничего не могу сказать, потому что, прочтя первое письмо, я до сихъ поръ не улучилъ еще времени дочестъ ихъ. Знаю, что въ пользу этихъ писемъ можно сказать многое, можно многимъ оправдать ихъ, по крайней мѣрѣ, для меня они имѣли бы тогда большій интересъ. Но на мѣстѣ вы лучше знаете потребности читающей публики, и потому мой голосъ не значить тутъ ничего» («Рус. Мысль» 1892, VIII, 9).

Бѣлинскій находилъ, что основныя положенія и цѣль этихъ статей въ высшей степени важны, но вмѣстѣ съ тѣмъ говорилъ: «Какимъ отвлеченнымъ, почти тарабарскимъ языкомъ написаны эти статьи, точно Герценъ составилъ ихъ для своего удовольствія. Если я могъ понять въ нихъ что-нибудь, такъ это потому, что имѣю за собой десятокъ несчастныхъ лѣтъ колобродства по нѣмецкой философіи, но не всякій обязанъ обладать такимъ преимуществомъ». Въ бесѣдѣ съ П. Н. Кудрявцевымъ Бѣлинскій снова указывалъ на абстрактность отношенія московскихъ друзей къ жизни и къ

наукѣ, иллюстрируя эту мысль «Письмами». Кудрявцевъ защищалъ послѣднія, сказавъ: «безъ абстракцій нельзя обойтись при многихъ научныхъ вопросахъ, — за это надо сердиться на логическую необходимость, а не на людей». Когда Герцену стали извѣстны такіе отзывы Бѣлинскаго, онъ сказалъ: «Чудакъ этотъ изволитъ находить, что трудно выказать болѣе ума и дѣльнаго взгляда на предметъ въ болѣе темныхъ выраженіяхъ, но онъ забываетъ, что иначе никакого ума и взгляда на русскомъ языкѣ и показать нельзя» (П. Анненковъ, «Литературныя воспоминанія», 286, 287, 288).

Въ статьѣ «Взглядъ на русскую литературу 1846 года» Бѣлинскій отнесъ «Письма» къ наиболѣе интереснымъ статьямъ ученаго содержанія за годъ. Однако, это не мѣшало ему быть солидарнымъ съ Н. Х. Кетчеромъ, писавшимъ Герцену: «Какъ Николай (Огаревъ—*М. Л.*), такъ и мы съ ума сошли углубленіемъ въ естественныя науки, когда такъ животрепещуще теперь изученіе наукъ социальныхъ, политической экономіи и исторіи съ тѣхъ же точекъ; ваше углубленіе, по-моему, — рѣшительное филистерство» («Рус. Мысль» 1892, IX, 11).

«Москвитянинъ» заявилъ, что ему «не нравилась статья Г. Искандера о Бэконѣ»; «статья достаточно знакомитъ читателей съ великимъ дѣлательемъ возрожденія наукъ; въ авторѣ видна и добросовѣстность и ученость; жаль одного, — нѣтъ легкости изложенія; надобно прочесть статью два-три раза, чтобы понять мысли автора и связь ихъ» (1846 г., № 4, статья А. Студитскаго).

Въ цитированномъ уже раньше доносѣ на «Отеч. Записки» и «Современникъ» есть два указанія и на «Письма» («Голосъ Минувшаго» 1913, IV, 211).

27 января 1846 г. Огаревъ писалъ Герцену, что читаль его третье «письмо». «Жаль, что я не знаю прежнихъ и потому ходъ цѣлаго могу только подозрѣвать. Написана она несравненно лучше, чѣмъ статья о буддизмѣ и проч. Но жажду знать, на какой точкѣ ты самъ стоишь къ естествовѣдѣнію, опредѣлили ли ты себѣ и насколько всю эту Kluft между *Sein und Denken* ¹⁾, которую, мнѣ кажется, наука не опредѣлила и насколько не вывела отношенія природы (организма) къ мысли, такъ что мысль все еще остается вложенною въ человѣческую голову неизвѣстно откуда, а въ природѣ она движется мистериозно, оставаясь абстрактною сущностью. *Subir la matière* ²⁾ — такое дѣло, съ которымъ я вовсе не согласенъ. Гораздо лучше *la prendre à soeur* ³⁾ и найти въ ней живое начало, но пока ты не покажешь, *какъ* она производитъ движеніе, *Empfindung* ⁴⁾ и мысль, — ты насколько не покрывъ вышереченной бездны, ты будешь находиться въ дѣйствительномъ дуализмѣ подъ прикрытіемъ вымышленнаго единства» («Рус. Мысль» 1891, VIII, 21, 22—23).

1) Различіе (пропасть) между «существовать» и «мыслить».

2) Испытывать на себѣ (подчиняться) матерію.

3) Принять къ сердцу.

4) Чувствованіе.

Интересенъ разсказъ В. В. Т—вой о томъ, какъ Достоевскій смотрѣлъ на «Письма» въ 1872 году. «Хотите вы быть истинно образованной женщиной?—спросилъ онъ меня однажды, какъ всегда внезапно.—Конечно, хочу!—Идите въ Публичную бібліотеку, спросите себѣ «Отечеств. Записки» 1840—1845 гг. Тамъ вы найдете рядъ статей по исторіи наблюдений надъ природой. Это—Герцена. Хотя онъ потомъ, когда сталъ матеріалистомъ, отказался отъ этой книги, но это—лучшая его вещь, лучшая философія не только въ Россіи,—въ Европѣ. Сдѣлайте, какъ я вамъ говорю,—вы будете мнѣ потомъ благодарны» («Истор. Вѣстникъ» 1904, II, 500).

Вл. Вагнеръ находитъ, что Герценъ «обладалъ удивительною способностью понимать «корень вещей», становиться хозяиномъ положенія и давать читателю лично пережитое, хорошо продуманное и потому оригинальное». «Огромный умъ, строгая логика, воспитанные на точномъ методѣ естествознанія, которыми онъ занимался въ тотъ періодъ жизни, когда закладываются ассоціаціонные пути головного мозга и слагаются основы міровоззрѣнія, трудно, а иногда и вовсе не поддающіяся измѣненію впослѣдствіи,—все это привело къ тому, что написанныя имъ страницы имѣютъ очень большое значеніе. Не только надлежащей, но и вовсе никакой оцѣнки онѣ не получили только потому, что идеи автора (въ области біологіи—*М. Л.*) были слишкомъ передовыми даже для западно-европейскихъ ученыхъ и совершенно недоступными тамъ, гдѣ онѣ были изложены: въ Россіи 40-хъ годовъ... То, что видѣлъ и понималъ Гете, видѣли и понимали очень и очень немногіе изъ европейскихъ ученыхъ. Тѣмъ удивительнѣе, тѣмъ невѣроятнѣе, что въ числѣ этихъ немногихъ оказался жившій въ это время въ какомъ-то Соколовѣ молодой Герценъ! Онъ не только понималъ катастрофическій смыслъ совершившихся въ области научной мысли событій, онъ не только правильно оцѣнилъ поражение Ж. С.-Илера, но и объяснилъ причину этого пораженія, указалъ на истинное значеніе новыхъ путей изученія біологическихъ наукъ,—путей, на почвѣ которыхъ возникла борьба крупнѣйшихъ представителей науки... Герценъ не только понималъ значеніе столкновенія между Кювье и Сентъ-Илеромъ, не только правильно оцѣнилъ его смыслъ, но указалъ и выходъ изъ положенія путемъ соглашенія борющихся сторонъ—соглашенія, необходимаго въ интересахъ науки, одинаково нуждающейся какъ въ философскомъ мышленіи, такъ и въ добытыхъ путемъ эмпириі фактахъ... Оставляя въ сторонѣ соображенія Герцена о дуализмѣ, который въ наши дни понимается и оцѣнивается иначе, чѣмъ пятьдесятъ лѣтъ назадъ, я не могу не признать идеи о томъ, что философія должна представлять собою единство частныхъ наукъ, вполне справедливою и для того времени, когда она была высказана Герценомъ, удивительною. Ог. Контъ и особенно Спенсеръ осуществили эту идею, составляющую достояніе людей, занимающихъ вершины современнаго научнаго знанія... Съ тѣхъ поръ, какъ Герценъ высказывалъ эти идеи, прошло 70 лѣтъ. За этотъ періодъ времени сдѣланъ цѣлый рядъ величайшихъ научныхъ завоеваній. Но что касается идей Герцена, имѣющихъ въ виду подготовку научнаго міропониманія, воспитаніе въ человѣкѣ человѣка, а не цеховаго мастера той или иной специальности, то осуществленіе ихъ для широкихъ массъ научныхъ работниковъ остается

до сихъ поръ въ области мечтаній, остается задачей грядущихъ поколѣній какъ и осуществленіе его общественныхъ и политическихъ идеаловъ» («Вѣстн. Европы» 1914, IX).

418. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ Рум. муз.

419. Напечатано въ XII кн. «Рус. Старины» 1876 г., стр. 767 и во II т. «Воспоминаній» Т. П. Пассекъ, стр. 159; подлинникъ не найденъ; по всей вѣроятности, писано въ апрѣлѣ или маѣ, послѣ отъѣзда Самарина въ Спб. и появленія первыхъ двухъ «Писемъ» № 417, но до 13 июня, когда Сашѣ было уже 6 лѣтъ.

420. Напечатано неполно и неисправно въ «Отчетѣ И. Публичной библиотеки за 1890 годъ»; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ той же библиотекѣ.

421. Напечатано неисправно въ «Отчетѣ И. Публичной библиотеки за 1890 г.»; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ той же библиотекѣ.

422. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ Рум. муз.; онъ представляетъ изъ себя листокъ, вырванный изъ тетради, но вовсе не изъ той, куда записывался «Дневникъ» за эти годы. Очевидно, Герценъ, записывая въ «Дневникѣ» подъ 3 октября, что онъ не завелъ другого, ошибся,—этотъ другой былъ, и изъ него-то до насъ и дошла всего одна страничка.

423. Напечатано неисправно въ «Отчетѣ И. Публичной библиотеки за 1890 годъ»; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ той же библиотекѣ.

424. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ Рум. муз. Дата устанавливается временемъ пребыванія Панаевыхъ въ Москвѣ въ 1845 г.

425. Напечатано въ «Отчетѣ И. Публичной библиотеки за 1890 годъ»; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ той же библиотекѣ.

426. Напечатано неисправно въ «Отчетѣ И. Публичной библиотеки за 1890 годъ»; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ той же библиотекѣ. Какъ видно изъ помѣтки Краевского, онъ отвѣчалъ на это письмо 16 сентября, слѣдовательно, оно было отправлено Герценомъ не позднѣе 11—12-го.

427. Напечатано неисправно въ «Отчетѣ И. Публичной библиотеки за 1890 годъ»; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ той же библиотекѣ.

428. Напечатано неисправно въ «Отчетѣ И. Публичной библиотеки за 1890 годъ»; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ той же библиотекѣ.

429. Напечатано неисправно въ «Отчетѣ И. Публичной библиотеки за 1890 годъ»; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ той же библиотекѣ. Какъ видно изъ помѣтки Краевского, письмо получено имъ 2 ноября; написать его раньше полученія въ Москвѣ № «Сѣв. Пчелы» отъ 27 октября Герценъ не могъ.

430. Напечатано въ «Отчетѣ И. Публичной библиотеки за 1890 годъ»; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ той же библиотекѣ.

431. Напечатано: первая часть въ XII кн. «Отеч. Записокъ» 1845 г

(цензурная дата—30 ноября) съ подписью «И—», «Владиміръ Бельтовъ»—въ IV кн. «Отеч. Записокъ» 1846 г.; вторая часть приложена, вмѣстѣ съ прежде напечатаннымъ, при I кн. «Современника» 1847 ¹⁾; въ этомъ же видѣ выпущено особой книгой подъ именемъ «Искандеръ», которымъ подписано было и все, кромѣ первой части; въ этихъ изданіяхъ было не мало ошибокъ, опечатокъ и цензурныхъ выкидокъ; все это было исправлено въ изданіи 1859 г., Лондонъ; затѣмъ въ Спб. въ 1866 г. романъ былъ изданъ В. Ковалевскимъ и повторенъ имъ въ 1871 г., но это послѣднее изданіе было конфисковано; остальные изданія производились самовольно; затѣмъ напечатано въ III т. Жен. изд. и въ I т. Спб. изд. и издано отдѣльно Ф. Павленковымъ въ 1906 г.

Подлинникъ не найденъ. Текстъ данъ по изданію 1859 г.,—хронологически первому исправному изданію, въ которомъ Герценъ измѣнилъ лишь нѣсколько словъ, не считая сдѣланныхъ на память возстановленій цензурныхъ пропусковъ и искаженій; при перепечатаніи изданія 1847 г. лондонскій корректоръ пропустилъ въ двухъ-трехъ мѣстахъ по одной цѣлой строчкѣ, которыя, конечно, введены въ текстъ.

Переводовъ на иностранные языки было нѣсколько: въ 1851 г. Вольфсонъ включилъ романъ въ серію «Russland Novellendichter», ч. III, Лейпцигъ—«*Wer ist schuld?*»; въ 1853 г. по-голландски—«*Aan wien ligt de Schuld*», Haarlem; въ 1859 г., въ №№ 3—8 (22 октября—26 ноября) во франц. «*La Gazette du Nord*» помѣщены переводы отрывковъ изъ романа подъ заглавіемъ: «*Qu'en dites vous? Roman russe en deux parties par Wladimir Belsoff*», сдѣланные Н. И. Сазоновымъ; въ 1886 г. опять по-нѣмецки: «*Wer ist schuld?*», Leipzig.

Кромѣ того, что приведено раньше и позже изъ отзывовъ Бѣлинскаго, необходимо познакомить еще и съ другими его и прочихъ современниковъ оцѣнками романа.

2 января 1846 г. Бѣлинскій писалъ Герцену: «Ты пишешь 2-ю часть «Кто виноватъ?». Если она будетъ такъ же хороша, какъ 1-я часть, она будетъ превосходна; но если бы ты написалъ новую, другую и еще лучше, я, все-таки, лучше бы хотѣлъ имѣть 2-ю часть «Кто виноватъ?», чтобы имѣть удовольствіе замѣтить въ выноскѣ, что, де, 1-я часть этой повѣсти была напечатана въ такомъ-то № «Отеч. Записокъ» (Бѣлинскій, «Письма», III, 91).

6 апрѣля 1846 г., по прочтеніи «Владимира Бельтова» Бѣлинскій писалъ: «Ну, братецъ ты мой, спасибо тебѣ за интермеццо къ «Кто виноватъ?». Я изъ нея окончательно убѣдился, что ты — большой человѣкъ въ нашей литературѣ, а не дилетантъ, не партизанъ, не наѣздникъ отъ нечего дѣлать. Ты не поэтъ: объ этомъ смѣшно и толковать, но, вѣдь, и Вольтеръ не былъ

¹⁾ Въ концѣ 1846 г. Некрасовъ писалъ Бѣлинскому: «Пишите къ Герцену, чтобы онъ не давалъ ему конца «Кто виноватъ?». Намъ хочется напечатать этотъ романъ вполнѣ отдѣльной книжкой и дать въ приложеніе къ журналу безденежно. Это была бы порядочная пилюля Андрушкѣ» (Бѣлинскій «Письма», III, 359).

поэтъ не только въ «Генріадѣ», но и въ «Кандидѣ», однако, его «Кандидъ» потягается въ долговѣчности со многими великими художественными созданіями, а многія не великія уже пережилъ и еще больше переживетъ ихъ. У художественныхъ натуръ умъ уходитъ въ талантъ, въ творческую фантазію, и потому въ своихъ твореніяхъ, какъ поэты, они страшно, огромно умны, а какъ люди—ограничены и чуть не глупы (Пушкинъ, Гоголь). У тебя, какъ у природы по преимуществу мыслящей и сознательной, наоборотъ, талантъ и фантазія ушли въ умъ, оживленный, согрѣтый, такъ сказать, *осердеченный* гуманистическимъ направленіемъ, не привитымъ и не вычитаннымъ, а присущимъ твоей натурѣ. У тебя страшно много ума, такъ много, что я и не знаю, зачѣмъ его столько одному человѣку; у тебя много и талантъ и фантазія, но не того чистаго и самостоятельнаго таланта, который все родитъ самъ изъ себя и пользуется умомъ, какъ низшимъ, подчиненнымъ ему началомъ, — нѣтъ, твой талантъ, чортъ его знаетъ, — такой же бастардъ или пасынокъ въ отношеніи къ твоей натурѣ, какъ и умъ въ отношеніи къ художественнымъ натурамъ. Не умѣю яснѣе выразиться, но увѣренъ, что ты поймешь это лучше меня (если еще не думалъ объ этомъ вопросѣ) и мнѣ же выскажешь это такъ ясно и опредѣленно, что я закричу: эврика! эврика! Есть умы чисто-спекулятивные, для которыхъ мышленіе почти то же, что чистая математика, и вотъ когда такіе умы принимаются за поэзію, у нихъ выходятъ аллегоріи, которыя тѣмъ глупѣе, чѣмъ умнѣе. Сочетаніе сухого и даже влажнаго и теплаго ума съ бездарностью родитъ камни и полѣнья, которые показывала вмѣсто дѣтей Рея Кроносу. Но у тебя при умѣ живомъ и осердеченномъ есть своего рода талантъ; въ чемъ онъ состоитъ, не умѣю сказать, но дѣло въ томъ, что я глупѣе тебя на много разъ, искусство (если не ошибаюсь) мнѣ сроднѣе, чѣмъ тебѣ, фантазія у меня преобладаетъ надъ умомъ, и, кажись, по всему этому, такому *своего рода* таланту скорѣе слѣдовало бы быть у меня, чѣмъ у тебя (уже по одному тому, что тебѣ читать Канта, Гегелеву феноменологию и логику ни по чемъ, а у меня трещить голова иногда и отъ твоихъ философскихъ статей), а вотъ у меня такого *своего рода* таланта ни больше, ни меньше, какъ настолько, сколько нужно, чтобы понять, оцѣнить и полюбить твой талантъ. И такіе таланты необходимы и полезны не менѣе художественныхъ. Если ты лѣтъ въ десять напишешь три-четыре томика, поплотнѣе и порядочнаго размѣра, ты — большое имя въ нашей литературѣ и попадешь не только въ исторію русской литературы, но и въ исторію Карамзина. Ты можешь оказать сильное и благодѣтельное вліяніе на современность. У тебя свой особенный родъ, подъ который поддѣлываться такъ же опасно, какъ и подъ произведенія истиннаго искусства. Какъ Носъ въ гоголевской повѣсти того же имени, ты можешь сказать о себѣ: «я самъ по себѣ!». Дѣятельныя идеи и талантливое живое ихъ воплощеніе — великое дѣло, но только тогда, когда все это неразрывно связано съ личностью автора и относится къ ней, какъ изображеніе на сургучѣ относится къ выдавившей его печати. Этимъ-то ты и берешь. У тебя все оригинально, все свое, даже недостатки. Но поэтому-то и недостатки у тебя часто обращаются въ достоинства. Такъ, напримѣръ, къ числу твоихъ личныхъ не-

достатковъ принадлежить страстишка безпрестанно острить, но въ твоихъ повѣстяхъ такого рода выходки бываютъ удивительно хороши. Пиши, братъ, пиши, какъ можно больше пиши, не для себя, а для дѣла: у тебя такой талантъ, за скрытіе котораго ты вполне заслужилъ бы проклятіе» (Бѣлинскій, «Письма», III, 108—109).

Въ статьѣ «Русская литература въ 1845 г.» Бѣлинскій говоритъ: «Рядъ оригинальныхъ произведеній по части изящной прозы въ «Отеч. Запискахъ» прошлаго года заключился одной изъ тѣхъ повѣстей, которыя составляютъ пріобрѣтеніе литературы, а не литературнаго только года. Мы говоримъ о прѣвосходной повѣсти «Кто виноватъ?», напечатанной въ послѣдней книжкѣ нашего журнала. Эта повѣсть не принадлежитъ къ числу тѣхъ произведеній, запечатлѣнныхъ высокою художественностью, которая иногда творитъ изъ ничего, не заботясь ни о цѣли, ни о ничтожествѣ содержанія; но эта повѣсть не принадлежитъ и къ числу тѣхъ умныхъ произведеній, въ которыхъ лишенный фантазіи авторъ, словно въ диссертациі, развиваетъ свои мысли и взгляды о томъ или другомъ нравственномъ вопросѣ и въ которыхъ нѣтъ ни характеровъ, ни дѣйствій. Авторъ повѣсти «Кто виноватъ?» какъ-то чудно умѣлъ довести умъ до поэзіи, мысль обратить въ живыя лица, плоды своей наблюдательности—въ дѣйствіе, исполненное драматическаго движенія. Какая во всемъ поразительная вѣрность дѣйствительности, какая глубокая мысль, какое единство дѣйствія, какъ все соразмѣрно—ничего лишняго, ничего недосказаннаго; какая оригинальность слога, сколько ума, юмора, остроумія, души, чувства! Если это не случайный опытъ, не неожиданная удача въ чуждомъ автору родѣ литературы, а залогъ цѣлаго ряда такихъ произведеній въ будущемъ, то мы смѣло можемъ поздравить публику съ пріобрѣтеніемъ необыкновеннаго таланта въ совершенно новомъ родѣ».

Когда романъ былъ выпущенъ полностью, Бѣлинскій отвѣлъ его оцѣнкѣ большое мѣсто въ своемъ «Взглядѣ на русскую литературу 1847 г.», который процитирую только отрывкомъ.

«Прошлый 1847 г. былъ особенно богатъ замѣчательными романами, повѣстями и рассказами. По огромному успѣху въ публикѣ первое мѣсто между ними принадлежитъ, безъ всякаго сомнѣнія, двумъ романамъ: «Кто виноватъ?» и «Обыкновенная исторія», почему мы и начнемъ съ нихъ наше обзорнѣе изящной литературы за прошлый годъ».

«Г. Искандеръ давно уже извѣстенъ публикѣ, какъ авторъ разныхъ статей, отличающихся замѣчательнымъ умомъ, талантомъ, остроуміемъ, оригинальностью взгляда на предметы и оригинальностью выраженія. Но какъ романистъ, онъ талантъ новый, обратившій на себя особенное вниманіе русской публики только съ прошлаго года. Правда, въ «Отеч. Запискахъ» были напечатаны два его опыта въ искусствѣ рассказывать: «Записки одного молодого человѣка» (1840) и «Еще изъ записокъ одного молодого человѣка» (1841), въ которыхъ можно было предугадывать въ авторѣ будущаго даровитаго романиста, судя по вѣрности и живости этихъ легкиихъ очерковъ... Видѣть въ авторѣ «Кто виноватъ?» необыкновеннаго художника значить вовсе не понимать его таланта. Правда, онъ обладаетъ замѣчательною способностью вѣрно передавать явленія дѣйствительности, очерки

его опредѣленны и рѣзки, картины его ярки и сразу бросаются въ глаза. Но даже и эти самыя качества доказываютъ, что главная сила его не въ творчествѣ, не въ художественности, а въ мысли, глубоко прочувствованной, вполне сознанный и развитой. Могущество этой мысли — главная сила его таланта; художественная манера схватывать вѣрно явленія дѣйствительности—второстепенная, вспомогательная сила его таланта. Отнимите у него первую, вторая окажется слишкомъ несостоятельной для самобытной дѣятельности. Подобный талантъ не есть что-нибудь особенное, исключительное, случайное. Нѣтъ, такіе таланты такъ же неестественны, какъ и таланты чисто художественные. Ихъ дѣятельность образуетъ особенную сферу искусства, въ которой фантазія является на второмъ мѣстѣ, а умъ—на первомъ. На это различіе мало обращаютъ вниманія и оттого въ теоріи искусства выходитъ страшная путаница. Хотятъ видѣть въ искусствѣ своего рода умственный Китай, рѣзко отдѣленный точными границами отъ всего, что не искусство въ строгомъ смыслѣ слова. А между тѣмъ эти пограничныя линіи существуютъ больше предположительно, нежели дѣйствительно, по крайней мѣрѣ, ихъ не укажешь пальцемъ, какъ на картѣ границы государства. Искусство, по мѣрѣ приближенія къ той или другой своей границѣ, постепенно теряетъ нѣчто отъ своей сущности и принимаетъ въ себя отъ сущности того, съ чѣмъ граничитъ, такъ что вмѣсто разграничивающей черты является область, примиряющая обѣ стороны». «У Искандера мысль всегда впереди, онъ впередъ знаетъ, что и для чего пишетъ; онъ изображаетъ съ поразительною вѣрностью сцену дѣйствительности для того только, чтобы сказать о ней слово, произнести судъ... Картины Искандера отличаются не столько вѣрностью рисунка и тонкостью кисти, сколько глубокимъ знаніемъ изображаемой имъ дѣйствительности; онъ отличается больше фактической, нежели поэтической истиною, увлекательны слогомъ не столько поэтическимъ, сколько исполненнымъ ума, мысли, юмора и остроумія, всегда поражающими оригинальностью и новостью».

Въ письмѣ къ Боткину 4 марта 1847 г. Бѣлинскій, говоря о томъ, что П. Н. Кудрявцевъ и Галаховъ — истые москвичи, замѣчаетъ: «Герценъ, конечно, не Галаховъ, даже не Кудрявцевъ, во многихъ отношеніяхъ, а все москвичъ. Онъ считаетъ очень нужнымъ увѣдомить публику печатно (въ посвященіи романа—*М. Л.*), что чувствуетъ глубокую симпатію къ своей женѣ; онъ употребляетъ въ повѣсти семинарственно-гнусное слово ячность (эгоизмъ т. е.); герой его повѣсти говоритъ любимой имъ женщинѣ, что человѣкъ долженъ *довольтъ самому себѣ!*» (Бѣлинскій, «Письма», III, 194—195).

Когда Герценъ узналъ о похвалахъ роману со стороны Бѣлинскаго, то, по словамъ П. В. Анненкова, сказалъ: «Виссаріонъ Григорьевичъ гораздо болѣе любитъ наши сказочки, чѣмъ наши трактаты, да онъ и правъ. Въ трактатахъ мы безпрестанно переодѣваемся отъ надзора и раскланиваемся любезно съ каждымъ будочникомъ, а въ сказкѣ ходимъ гордо и никого знать не хотимъ, потому что въ карманѣ плакатный билетъ имѣемъ: чинить ей пропуски, давать ночлеги и кормежныя» («Литературныя воспоминанія», 288—289). Когда эти слова прочелъ извѣстный Карлъ Марксъ, онъ сдѣлалъ въ книгѣ помѣтку: «Какого чорта! Герценъ всегда смѣшонъ, когда онъ

сочиняетъ трактаты, но это не по винѣ полиціи» («Рус. Мысль» 1903, VIII, 62).

С. П. Шевыревъ удѣлил «Кто виноватъ?» большое вниманіе. Въ одной и той же I книгѣ «Москвитянина» 1848 г. онъ помѣстилъ свои «Очерки современной русской словесности» и «Словарь солдизмовъ, варваризмовъ и всякихъ измовъ современной русской литературы».

Въ первыхъ, говоря о псевдонимахъ, Шевыревъ замѣчаетъ: «Есть еще третья личность съ псевдонимомъ, очень дѣятельная въ литературѣ. Это—г. Искандеръ. Мы уже однажды сказали, что онъ, судя по имени, долженъ быть отуреченный, по слогу—онѣмеченный славянинъ¹⁾. Эта личность не безъ претензій на сильное дѣйствіе, на многочисленную партію, на завоеванія въ наукѣ, на вопросы современные, на вліяніе общественное, на сочиненіе романовъ, на преобразование или, лучше, на извращеніе русскаго языка. Она очень хорошо поняла, что въ нашемъ литературномъ сонмищѣ, гдѣ личность не слишкомъ-то уважается, всего лучше не выдавать своего имени подъ чужое перо, а прикрыться какимъ-нибудь плащемъ, хоть бы албанскимъ, замаскироваться. Она цѣнитъ слишкомъ свое имя собственное, она уважаетъ его, дорожитъ имъ—и потому не выдаетъ его. Сама нападаетъ она весьма охотно на чужія личности, на имена лицъ, съ нею знакомыхъ или ей извѣстныхъ, но, чтобы вы не могли отвѣчать ей тѣмъ же, она вамъ даже и не выдаетъ всего Искандера, а подпишетъ какой-то И—ръ! Эта хитрость стоитъ хитрости Собакевича, когда онъ подпускаетъ Елисавету Воробья въ списокъ «Мертвыхъ душъ», имъ проданныхъ, или завѣщательныхъ распоряженій тетки Бурдюкова, которая на вопросы племянника отвѣчаетъ: э, э, э! или вмѣсто Евдокіи подписываетъ обмокни. Но мы еще возвратимся къ г. Искандеру, какъ личности наиболее замѣчательной между всѣми личностями лжеименными». «Г. Искандеръ развилъ свой слогъ до чистаго голословнаго искандеризма, какъ выраженія его собственной личности».

Во второй своей работѣ Шевыревъ говоритъ: «Въ числѣ дѣятелей нашей современной словесности является псевдонимъ г. Искандеръ. Никто, конечно, не отвергнетъ живого, замѣчательнаго ума въ этомъ писателѣ, но личность, излишне развитая во вредъ русскимъ понятіямъ и русской рѣчи, чрезвычайно вредитъ ему самому и его произведеніямъ. Романъ его: «Кто виноватъ?», вышедшій въ прошедшемъ году спутникомъ перваго номера «Современника», доставилъ намъ обильную жатву для начала словаря. Мы позволили себѣ назвать эти выраженія въ честь ихъ изобрѣтателя *искандеризма*. Прочія его произведенія обогатятъ также нашъ словарь не менѣе обильною жатвою. Предлагаемые теперь послужатъ отчасти и матеріаломъ для разбора самаго произведенія. Г. Искандеръ можетъ оправдаться въ нихъ развѣ оправданіемъ, подобнымъ тому, какое приноситъ герой его романа, Бельтовъ: какъ передъ симъ послѣднимъ виновата, конечно, исторія, что онъ ей не занадобился, такъ и передъ г-мъ Искандеромъ виноватъ, конечно, русскій языкъ, еще не доросшій до такой замѣчательной, такъ широко развившейся личности. Оправданіе было бы оригинально, а оно совер-

¹⁾ См. стр. 470.

шенно истекаетъ изъ духа и смысла всего романа. Языкъ, приходившійся по мѣркѣ гению Ломоносова, Державина, Карамзина, Крылова, Жуковского, Пушкина, не пришелся только по требованіямъ личности г-на Искандера. Кто виноватъ?—рѣшите гг. русскіе читатели.

«Одинъ нашъ знакомый составилъ весьма остроумное опредѣленіе искандеризмовъ словами самого же автора. Это очень забавная вещь, совершенно въ его же стилѣ, можетъ служить достойнымъ заголовкомъ для нашего собранія. Всѣ выраженія въ ней означены страницами романа, откуда взяты; равно и въ самомъ словарѣ тѣ выраженія, которыя могли бы, по своей чрезмѣрной странности, возбудить сомнѣніе въ читателяхъ, дѣйствительно ли были они напечатаны, означены также номерами страницъ».

Дальше шель самый «словарь», занявшій десять страницъ. «Остроумное опредѣленіе искандеризмовъ» состояло въ слѣдующемъ, набранномъ, какъ заглавіе словаря: «Искандеризмы, или «очень ячныя» (стр. 167) «не-нужности» (стр. 144) русскаго языка, «взлелѣянные на тухломъ» (стр. 119) знаніи родного слова и мѣшающія Искандеру, вообще «испорченному западнымъ нововведеніемъ» (стр. 157) «прыгнуть къ намъ съ видомъ русскаго писателя» (стр. 20)».

Для образованія «остроумія» Шевыревъ поставилъ эпиграфомъ къ «словарю» слова Герцена: «Я не умѣю писать повѣстей», а послѣднимъ номеромъ (176) словаря—слова: «Зачѣмъ я живу вообще?», сдѣлавъ къ нимъ выноску: «Не лучше ли спросить: Зачѣмъ я пишу вообще?» Въ концѣ настоящаго комментарія я привожу «словарь» полностью, чтобы дать возможность читателю самому познакомиться не только съ борьбою за языкъ, которая тогда приняла такія оригинальныя формы, но и съ тѣмъ, насколько Шевыревъ, а слѣдовательно, и вся его партія, не понимали красочности герценовскаго языка, художественности его оригинальнаго стиля, не провидѣли будущаго, которое приняло выраженія Герцена, забывъ объ источникѣ; разумѣется, часть указаній Шевырева была справедлива, но и то съ важной оговоркой: цитируя половину фразы, онъ иногда отбрасывалъ вторую, въ которой было то или другое соотношеніе съ первой и умышленно сдѣлалъ Герцена авторомъ ошибокъ корректора.

Бѣлинскій отнесся къ этой лингвистической вылазкѣ отрицательно. «Самая болѣзненная выходка г. Шевырева касается Искандера; крайне неспокойное отношеніе духа г. Шевырева къ этому автору заставляетъ его взять на себя тонъ вовсе не литературный: онъ выписалъ изъ романа «Кто виноватъ?» всѣ фразы и слова, въ которыхъ ему захотѣлось увидѣть искаженіе русскаго языка. Нѣкоторыя изъ этихъ фразъ и словъ, дѣйствительно, могутъ быть подвергнуты осужденію, но большая часть доказываетъ только нелюбовь г. Шевырева къ Искандеру... Придираться къ такимъ мелочамъ значить обнаруживать больше нелюбви къ противнику, нежели любви къ русскому языку и литературѣ, и грозить издалика своему противнику шпилькой или булавкой, когда нѣтъ возможности достать его копьемъ» («Взглядъ на русскую литературу 1847 года»).

Валеріанъ Майковъ писалъ въ «Отеч. Запискахъ» 1846 г.: «Беллетристъ въ истинномъ смыслѣ слова, Протей между беллетристами у насъ одинъ;

это—авторъ романа «Кто виноватъ?», подписывающій статьи свои псевдонимомъ «Искандеръ». Будучи человѣкомъ по преимуществу мыслящимъ, слѣдовательно, рожденнымъ для науки, и усвоивъ себѣ все добро современной науки, онъ принялъ ее такъ близко къ сердцу, такъ энергически почувствовалъ истину, что для него жизнь и наука составляютъ совершенное тождество: наука осмысливаетъ для него жизнь, жизнь, въ свою очередь, сообщаетъ плоть и кровь его наукѣ. Но, все-таки, въ повѣстяхъ своихъ онъ несравненно болѣе поражаетъ умомъ, чѣмъ художественностью, такъ что на всю его художественную дѣятельность мы не можемъ смотрѣть иначе, какъ на средство выраженія его идей въ самой популярной формѣ, возводимой иногда наблюдательностью до художественности. Мы увѣрены, что онъ самъ лучше всѣхъ знаетъ свои силы, потому что никогда не употребляетъ ихъ несвойственно, никогда не натягиваетъ своего таланта, умѣетъ управлять имъ, какъ искусный вождь управляетъ покорнымъ войскомъ» (кн. VII, стр. 3).

Критикъ «Сына Отечества», относившагося недоброжелательно ко всему, что пыталось имѣть свое мнѣніе и звать впередъ, отозвался о романѣ очень лестно. «Давно уже не читали мы романа, который произвелъ бы на насъ столь глубокое поэтическое впечатлѣніе, какъ романъ г-на Искандера. Мы отнюдь не увлекались чѣмъ-нибудь особеннымъ, намъ избирательно-сходнымъ; мы при чтеніи книги отдѣляли критическій умъ отъ наслаждающагося чувства, и чтобы доказать это, мы начнемъ съ того, что считаемъ недостаткомъ или, правильнѣе—вреднымъ для цѣлаго *излишествомъ* въ этомъ прекрасномъ, истинно прекрасномъ романѣ. Есть два главные рода романа. Одинъ изъ нихъ на всѣ четыре стороны растекается въ широту жизни; онъ чисто эпическій, какъ «Вильгельмъ Мейстеръ»... Но тамъ, гдѣ есть одинъ абсолютно главный, интенсивный характеръ, тамъ интенсивность такой личности ограничиваетъ кругъ романа, обуславливаетъ его стихіи, опредѣляетъ основной, сообразный съ этимъ характеромъ тонъ и колоритъ романа, — тамъ романъ переходитъ въ область драматическаго, какъ «Вертеръ»... Къ этому роду принадлежитъ романъ г. Искандера: мы видимъ два лица, рѣзко возвышающіяся надъ всѣми другими, два оригинальные, мастерски обрисованные характера—Бельтова и Крциферской.

«По этому роману видно, что авторъ много жилъ, глубоко извѣдалъ жизнь, но писалъ еще немного. Онъ пишетъ хорошо; очень хорошо владѣетъ языкомъ гибкимъ, свѣтлымъ, классическимъ, но еще не вполне освоилъ себѣ то, что называется искусствомъ писать (*l'art d'écrire*). Въ этомъ романѣ онъ нѣсколько ошибся въ формѣ и ввелъ въ него чуждые главной идеѣ элементы. Почти съ самаго начала біографіи одна за другой слѣдуютъ огромными массами, которыхъ не одолѣваетъ образовательная идея цѣлаго. Сколько *лишняго* относительно главной идеи въ этихъ біографіяхъ! Есть даже излишнія цѣлыя біографіи, напримѣръ, г-жи Негровой. «Вертеру» дана форма «Вильгельма Мейстера». Съ этою формою мы еще могли бы примириться ради высокаго достоинства романа, но подражаніе Гоголю въ иныхъ мѣстахъ есть важнѣйшій грѣхъ книги. Увѣряемъ почтеннаго автора, что одна патетическая страница его романа стоитъ дюжины такихъ каррикатур-

ныхъ сочиненій, каковы «Мертвыя души»; но не въ этомъ дѣло! Главная идея романа рѣшительно отстраняла отъ себя *такія* лица, которыя имѣютъ только право проситься въ «Мертвыя души». Медузинъ и его пирушка, жена дубасовскаго уѣзднаго предводителя, распря ея съ лакеемъ, даже все это дубасовское семейство — лишнее въ романѣ и, вопреки мнѣнію автора, не имѣетъ ни малѣйшей связи съ главными лицами. Для того, чтобы распустить клевету на Круциферскую, достаточно и того, что человѣкъ холостой, богатый, обратившій на себя общее вниманіе, посѣщаетъ исключительно домъ бѣднаго учителя гимназіи, у котораго жена — красавица. Если авторъ хотѣлъ дать болѣе простору своему роману, помѣстить въ немъ широкую картину русскаго житья-бытья, то надлежало бы, по главной идеѣ романа, выводить такія лица, которыя бы не были похожи на героевъ «Мертвыхъ душъ»... Изъ любви къ изящному просимъ автора не подражать никому, всего менѣе Гоголю! Авторъ нашъ такой оригинальный, такой блистательный талантъ, который долженъ итти и развиваться своимъ собственнымъ путемъ. Благодаря этой правильной подражательности, прочтешь почти половину книги прежде, чѣмъ возымѣешь понятіе о глубинѣ и высотѣ, до которыхъ достигаетъ этотъ романъ. По мѣрѣ того, какъ психологическія молніи, освѣщая темную бездну души человѣческой, даютъ высокое и всегда высшее понятіе объ авторѣ, все болѣе и болѣе удивляешься, какъ могъ онъ столько времени тратить на то и забавляться тѣмъ, что напишетъ и всякій другой. Главный интересъ романа начинается съ появленія Бельтова и быстро возносится до великолѣпной высоты. Кульминаціонный пунктъ романа есть дивная сцена въ публичномъ саду между Бельтовымъ и Круциферскою. Признаемся, что въ этомъ родѣ мы не знаемъ ничего высшаго, ничего превосходнѣйшаго! Мы охотно подѣлились бы съ нашими читателями этою чудесною сценою, но согрѣшили бы непростительно, вынувъ ее изъ романа: отдѣльно выставленная, она должна потерять половину своей цѣны. Надобно въ самомъ романѣ дочитатьъ до нея, чтобы уразумѣть вполне ея невыразимую прелесть.

«Характеры, каковы Бельтовъ и мать его, Круциферская, мужъ ея, докторъ Круповъ, женевецъ Жозефъ, еще не являлись въ нашей словесности... Вотъ типическія лица человѣческой! Бельтовъ есть *русскій* Вертеръ, высшій нѣмецкаго тѣмъ, что онъ выше идеи самоубійства. Тѣ же огромныя силы души, праздна въ обществѣ и обратившіяся во внутрь, болѣзнію психическою. Благодаримъ автора, что онъ не увлекся идеями Жоржъ Санда, что онъ подобную страсть раскрываетъ во всемъ блескѣ нравственной чистоты. Жаль, что подъ конецъ нѣсколько униженъ милый характеръ Круциферскаго—пусть бы пилъ въ первый моментъ отчаянія! Но для чего онъ продолжаетъ *пить* и послѣ отъѣзда Бельтова? Онъ оказывается недостойнымъ своего минувшаго счастья. Кромѣ того, мы должны замѣтить, что авторъ, отличный психологъ, ошибся, однако, въ этой психологической чертѣ: характеры *такіе*—нѣжные, мягкіе, дышашіе одною любовью, съ горя не предаются пьянству! Они или лишаются ума, или невыносимое горе задушаетъ ихъ; они гаснутъ молча въ глубинѣ своей души или при случаѣ говорятъ, какъ Бракенбургъ своей любимой Кларѣ въ «Эгмонтѣ» гетевскомъ:

In Schmerzen fließt mein Leben vor mir nieder.
Und zu verschmachten hofflich jeden Tag ¹⁾

«Непереводимое слово *verschmachten* ²⁾ всего вѣрнѣе выражаетъ состояніе души подобныхъ страдальцевъ.

«Одною изъ плѣнительныхъ тонкостей и красотъ романа считаемъ то, что авторъ скрылъ отъ насъ жениховскія и новобрачныя сцены между Круциферскимъ и Любонькою и нѣжность и волканической взрывъ ея чувства сберегъ для чудной сцены въ саду, для *того*, кто одинъ, могуществомъ своей души, могъ пробудить родную душу. Самыми свѣтлыми и милыми красками описано семейное счастье Круциферскихъ. накануне разрушенія его. Докторъ Круповъ, въ этой картинѣ, становится высоко-трагическимъ лицомъ. Характеръ этого доктора чрезвычайно удался автору, и такой характеръ не легко удастся. Послѣ двухъ главныхъ лицъ самое интересное явленіе въ романѣ—*мать* Бельтова. Родившись въ крѣпостномъ состояніи, она силою своей нравственной чистоты возвысилась до дворянства и сдѣлалась украшеніемъ этого сословія. Только подобная душа могла понять женева Жозефа! Съ какимъ нетерпѣніемъ ожидаетъ она своего сына изъ-за границы въ своемъ имѣніи Бѣлое-Поле! Онъ пріѣхалъ, встрѣтился съ Круциферскою и долженъ былъ опять покинуть свою мать и свое отечество, не успѣвъ еще отогрѣться на родинѣ...

«Какой превосходный конецъ! Еще разъ благодаримъ автора за нарушение нравственной чистоты при подобной роковой страсти! Заглавіе романа спрашиваетъ: «Кто виноватъ?». Тронутый до слезъ читатель отвѣчаетъ: одна *судьба!*. Слава Богу, что виноваты *не* люди, а судьба! Эта судьба, однако, остается немилую тѣнію на нашемъ умѣ... Зачѣмъ она преслѣдуетъ и губитъ людей, столь достойныхъ житейскаго счастья? Нельзя ли, при нынѣшнемъ высокомъ понятіи о нравственности въ искусствѣ, совсѣмъ отстранить эту темную *судьбу* и всегда, когда механизмъ общества и порядковъ міра требуютъ прекрасныхъ жертвъ человѣческихъ, открывать тронутому читателю утѣшительную перспективу на телеологическую связь міровыхъ дѣлъ, чтобы мы поняли, какимъ образомъ наше частное самопожертвованіе разрѣшается въ общую міровую гармонию, чтобы мы, передъ самымъ жертвенникомъ, еще славили своимъ страдальческимъ ликованіемъ промыслъ мудраго Устроителя міра. Талантъ нашего автора достоинъ стремиться къ этой крайней высотѣ нравственной въ трагическихъ изображеніяхъ».

Когда Грановскій былъ ознакомленъ съ «Владиміромъ Бельтовымъ», онъ писалъ Фролову: «Герценъ написалъ недавно повѣсть исполненную ума, живости и мѣткихъ замѣчаній. Особенно хороша вторая часть, которая будетъ напечатана въ мартовской книжкѣ «Отеч. Записокъ». Прочтите ее, если можно» («Грановскій», II, 422).

¹⁾ Здѣсь написана стихами проза «Эгмонта» и поставлены глаголы въ настоящемъ времени, вмѣсто прошедшаго. Цитированная фраза значитъ: «Вся жизнь моя влачила среди горестей; съ каждымъ днемъ я гаснулъ и страдалъ». Переводъ В. Я. Смирнова.

²⁾ Буквально: истомляться.

Огаревъ былъ ознакомленъ съ первой частью романа еще въ Новгородѣ. Когда онъ узналъ объ успѣхѣ ея по появленіи въ декабрьской книжкѣ 1845 г., то въ январѣ 1846 г. писалъ Герцену: «Нѣсколько словъ о повѣсти: вѣдь, я тебѣ говорилъ, что она исправима и можетъ быть очень хороша. Желаю тебѣ успѣха во 2-й, нетерпѣливо хочу прочесть и ту, и другую» («Рус. Мысль» 1891, VIII, 23).

И. С. Аксаковъ писалъ въ февралѣ 1847 г.: «На этихъ дняхъ прочли мы съ Ар. романъ Герцена. Это не художественное произведеніе, если хотите, но не говоря о болѣзненномъ желаніи всюду острить, въ немъ много чудесныхъ вещей! Такъ тяжело и тоскливо стало у меня на сердцѣ, когда я прочелъ его, тѣмъ болѣе, что это произведеніе современное, 19-го вѣка, болѣзнямъ котораго мы всѣ болѣе или менѣе сочувствуемъ» («И. С. Аксаковъ въ его письмахъ», I, 420—421).

П. А. Плетневъ писалъ Я. К. Гроту въ августѣ 1848 г.: «Конечно, повѣсть «Кто виноватъ?» Искандера читается съ интересомъ, но это интересъ лихорадочный, а не натуральный. Впрочемъ, я могу заблуждаться. Можетъ быть, нынѣ только и требуется отъ автора, чтобы онъ читался, а о другомъ никто не заботится» («Переписка Грота съ Плетневымъ», III, 302).

Насколько романъ въ состояніи былъ возбудить вниманіе лицъ и учреждений, добровольно или по службѣ обязанныхъ наблюдать за «добрыми» нравами литературы, видно, между прочимъ изъ доноса Булгарина, поданнаго въ мартѣ 1846 г. генералу Дубельту, слѣдовательно, до выхода въ свѣтъ «Владимира Бельтова».

Подвергнувъ весьма детальному разбору «Отечественныя Записки» 1841—45 гг., Булгаринъ писалъ:

«Теперь взглянемъ на ту декабрьскую книжку «От. Записокъ» 1845 г., гдѣ Правительство не можетъ найти ничего предосудительнаго». (Къ этому Дубельтъ сдѣлалъ помѣтку: «Напротивъ, я нахожу всю повѣсть предосудительной»).

«Книжка начинается повѣстью «Кто виноватъ?». Тутъ изображенъ отставной русскій генеральъ величайшимъ скотомъ, невѣждою и развратникомъ. Жена его такая же дрянь. Генеральъ, будучи холостякомъ, взялъ къ себѣ крѣпостную дѣвку, прижилъ съ нею дочь и, женившись, велѣлъ дѣвкѣ выдти замужъ за своего камердинера, а дочь сослалъ въ лакейскую. Жена генерала беретъ ее въ комнаты. Эта дѣвушка и учитель генеральскаго сына, негодяя—герои повѣсти. Дворяне изображены подлецами и скотами, а учитель, сынъ лекаря, и прижитая дочь съ крѣпостной дѣвкой—образцы добродѣтели. Все одна и та же идея, которую проводилъ всегда Полевой и весь ихъ сборъ. Повѣсть бы и прошла, какъ все подобное проходитъ незамѣченнымъ, но у Краевскаго во всемъ послѣдовательность, и чтобы дворянство, поставленное въ тѣнь, было мрачнѣе, въ книгѣ набросаны социальныя идеи» (см. «Николаевскіе жандармы» etc., 305—306). Интересующіеся послѣдствіями этого доноса найдутъ ихъ въ указанной моей книгѣ, но тамъ нѣтъ ничего, касающагося собственно Герцена.

Графъ А. К. Толстой прочелъ романъ въ 1855 г. и писалъ: «Это—замѣчательная повѣсть, прелестное, одно изъ тѣхъ произведеній, которое останется навсегда и которое не можетъ пройти незамѣченнымъ, такъ какъ

написано однимъ сердцемъ. Стилъ очень плохой (въ смыслѣ синтаксиса)... На всякой страницѣ встрѣчаются qui pro quo, смѣшныя двусмысленности... Но какъ чувство, очень хорошо, и злоба, которая высказывается въ книгѣ, окупается сердечною глубокою; есть тамъ много вульгарностей, но все это искупается цѣльностью, которая великолѣпна... Этотъ человѣкъ глубоко чувствуетъ то, что онъ пишетъ... И названіе его повѣсти можетъ быть примѣнимо ко многимъ положеніямъ... Рядомъ съ такими пошлыми и вульгарными людьми есть такіе благородные, хорошіе, такіе (вѣрные) *правдивые* характеры!.. Въ самомъ дѣлѣ отличная книга! Насколько Писемскій, Достоевскій и всѣ эти писатели *натуральной школы* скучны и утомительны сравнительно съ этой книгой» («Вѣстн. Европы» 1897, IV, 618).

Ограничиваясь приведеннымъ для ознакомленія съ тѣмъ, что и какъ думали и говорили о «Кто виноватъ?» современники, я приведу теперь нѣсколько мнѣній позднѣйшихъ критиковъ романа.

Р. Зольгеръ, «самый остроумный противникъ» Герцена, впоследствии, въ VI кн. «Deutsche Monatschrift etc.» помѣстилъ свою рецензію. Онъ иронически отнесся къ самому вопросу, поставленному въ заголовкѣ романа: «Мнѣ кажется, что мы уже до 48-го года знали, что такъ вопроса ставить нельзя, что виноватъ не кто-нибудь, а вся совокупность данныхъ условій». Далѣе, излагая содержаніе романа, онъ какъ будто склоняется къ той, не такъ уже далеко отходившей отъ герценовской концепціи, мысли, что крѣпостное право меньше развращаетъ народъ, чѣмъ полицейское государство Германіи или Австріи, ибо отдѣляетъ народъ отъ высшихъ классовъ и мѣшаетъ ему заразиться ихъ пороками и духомъ примиренія.

Страховъ отвелъ «Кто виноватъ?» нѣсколько страницъ въ своей «Борьбѣ съ Западомъ». Приведу лишь одно мѣсто: «Нужно сказать правду, любовь Бельтова и Круциферской описана у Герцена слабо, безъ той художественной живости и ясности, которая позволяла бы намъ видѣть ея внутреннія движенія. Особенно неопредѣленно рассказаны ощущенія Бельтова. Между тѣмъ въ этой любви все дѣло. Романъ, собственно, изображаетъ противоположность двухъ родовъ любви. Одна любовь—Круциферскаго,—старый, извѣстный родъ любви, приводитъ къ гибели того, кто ей подвергся. Другая любовь,—новая, болѣе нормальная; Бельтовъ, какъ ни сильно онъ влюбленъ, не погибнетъ, не пропадетъ въ своемъ несчастіи; у Бельтова есть выходъ въ другую сферу, есть другіе интересы, которыми онъ можетъ жить. Таково поученіе, заключающееся въ романѣ» (изд. 1897, стр. 23).

Г. Ивановъ-Разумникъ, какъ и Страховъ, считаетъ романъ художественной иллюстраціей къ мыслямъ, изложеннымъ въ статьѣ «По поводу одной драмы», и приходитъ къ заключенію, что «романъ является только отрицательной иллюстраціей къ положительному рѣшенію, данному въ этой статьѣ; это рѣшеніе: надо жить во всѣ стороны, жить и въ частномъ и во всеобщемъ. Человѣческая личность должна быть *широкой*» («Исторія рус. обществ. мысли», I, 369).

Алексѣй Веселовскій, усматривая въ романѣ слѣды заимствованій у Жоржъ Сандъ и Гоголя, говоритъ: «Но надъ зависимостью отъ иноземныхъ и русскихъ предшественниковъ высится большая самостоятельная творче-

ская сила; идея романа,—психологически вѣрная передача душевныхъ состояній,—мѣткость характеристикъ и описательныхъ картинъ,— правда личной истории главныхъ дѣятелей романа,— удивительная для перваго цѣльнаго художественнаго опыта власть, которую онъ завоевываетъ надъ читателемъ, приковывая его сочувствіе къ разыгрывающейся передъ нимъ драмѣ,—сѣдиненіе творчества, психологіи, бытового рисунка съ идейной проповѣдью, гуманной симпатіи съ сверкающимъ остроуміемъ». «Фабула герценовскаго романа своей необыкновенной, удручающей простотой, неповинностью страданій и гибели, печальнымъ образомъ Любоньки, выполнила не одну лишь художественную задачу. Въмѣстѣ съ статьей «По поводу одной драмы» романъ «Кто виноватъ?»—первый важный шагъ въ возбужденіи женскаго вопроса, не подготовленный никѣмъ изъ предшественниковъ Герцена въ русскомъ романѣ. Литературное значеніе повѣсти осложнилось несомнѣннымъ воспитательнымъ значеніемъ. Блестяще развилась въ «Кто виноватъ?» и форма разсказа. «Герценовскій» слогъ уже почти сложился. Это еще не стиль «Былого и думъ», безконечно разнообразный, отъ искрометной насмѣшливости до потрясающей трагической силы передающей всѣ оттѣнки, доступные художественной рѣчи,—не стиль, отражающій помыслы и взгляды человѣка, прожившаго жизнь широкую, охваченнаго всѣмъ духовнымъ содержаніемъ современности, но выразительное его богатство уже выдѣлилось изъ общаго слогового уровня литературы. Живыми красками діалога освѣщаются лица и характеры, языкъ метафоръ и сравненій свободенъ и яркъ, внезапно вызывая цѣлыя картины, полная жизни, общія бытовыя характеристики такъ и сверкаютъ остроумными, тонкими или язвительными выходками и замѣчаніями, а въ отступленіяхъ и разсужденіяхъ отъ лица автора, которыя онъ могъ считать своими «счастьемъ и несчастьемъ», тогда какъ они были одною изъ красотъ его художества, раскрывается умъ чуткій и многосторонній» (Вѣстн. Европы» 1908, III, 317, 321—322).

«Развѣнчиватель» Герцена, проф. Ив. Ив. Ивановъ считаетъ романъ «простодушнымъ», мѣстами подрисованнымъ и преукрашеннымъ, но въ общемъ безцвѣтнымъ беллетристическимъ опытомъ, когда-то одобреннымъ Бѣлинскимъ, но въ народномъ вопросѣ ничтожномъ даже передъ повѣстями Григорича» (стр. 278—279).

Н. Рязановъ находитъ, что «Герценъ въ значительной степени срисовалъ Бельтова съ Сазонова» («Совр. Міръ» 1912, VIII, 167), но для доказательства этой параллели не приводитъ никакихъ фактовъ.

Словарь солецизмовъ, варваризмовъ и всякихъ измовъ современной русской литературы, составленный С. П. Шевыревымъ ¹⁾.

- 1 и 2. Онъ питаетъ къ женщинамъ какое-то *инстинктуальное* чувство уваженія; онъ были для него окружены какимъ-то *нимбомъ* (стр. 200)..
3. *Сдѣлалось отвлеченіе*, и онъ немного успокоился (стр. 202).
4. Онъ начиналъ *подымать взоры*.

¹⁾ Страницы указаны по настоящему изданію.

5, 6, 7, 8, 9, 10. Изъ-подъ *салфетки, покрывавшей столъ*, и на которой былъ представленъ довольно удачно г. Ярославль, оканчивавшійся со всѣхъ сторонъ медвѣдемъ, *высовывалась голова* легавой собаки; *драпри скатерти* придавали ей *какой-то египетскій видъ*: она неподвижно *вперила два жиромъ заплывшіе глаза на кандидата*. У окна, на креслахъ, *съ чулокмъ въ руку*,—миніатюрная старушка ¹⁾, съ веселымъ и *сморщившимся видомъ*, съ *повисшими бровями и тоненькими блѣдными губами* (стр. 202).

11. *Предварить рассказъ свѣдѣніями*, почерпнутыми изъ очень вѣрныхъ источниковъ (стр. 203).

12. Толстый, рослый мужчина, который, *послѣ прорѣзыванія зубовъ*, ни разу не былъ *болѣнъ* (стр. 203).

13. Всматриваясь въ рѣзкія *черты* его лица, не совсѣмъ уничтожившіяся въ мясныхъ дополненіяхъ (стр. 203).

14. Можно было предполагать, что *жизнь задавила* въ немъ *не одну возможность* (стр. 203).

15. Холилъ ихъ (лошадей), *училъ денно и ночью словами и руками кучера*, самъ *преподавалъ тайну* конной ѣздѣ фрейтору... (стр. 204).

16. Мы находимъ *въ источникахъ нашихъ мало свѣдѣній о завоеваніи голубыхъ глазокъ, о встрѣчѣ съ ними* (стр. 204).

17. Животное полагаетъ, что все его дѣло—жить (стр. 205).

18, 19. Дѣло *внутри кончено*. *Кончивъ внутри*, онъ свиснулъ (стр. 205).

20. Спавшій... казачокъ отъ испуга бросился въ противоположную сторону отъ двери и *насилу послѣ свискалъ* (?) (стр. 205).

21. Онъ могъ *спокойно опочить* (стр. 205).

22, 23. Въ домахъ, которыхъ обитатели совершенно сошли со сцены... какое-то затаенное озлобленіе противъ всего новаго составляетъ главный характеръ обитателей этихъ домовъ (т. е. тѣхъ обитателей, которые совершенно сошли со сцены, а съ какой сцены, извѣстно автору) (стр. 207).

24. Цѣлый годъ *живутъ на запасахъ*, привозимыхъ изъ Пензы (стр. 207).

25. Опился и умеръ (стр. 208).

26. *Жизнь* маленькой дѣвочки была *не красива* (стр. 208).

27. Онъ (эгоизмъ старухъ-дѣвицъ) хочетъ *выместить* на всемъ окружающемъ *пробѣлы, оставшіеся въ ихъ вымороженномъ сердцѣ* (стр. 208).

28. Такое состояніе духа не могло быть вполне побѣждено сывороткой, а вело прямо къ сантиментальности и экзальтаціи (стр. 209).

29. *Зовущее* всего существа ея... (стр. 209).

30, 31. Изъ допотопной кареты, тащимой высокими тощими *клячами, потерявшими способность умереть*, вытаскивали два лакея старую графиню *съ видомъ вороны въ чепчикѣ* и мѣшали выпрыгнуть молодой *графинѣ съ видомъ ценцифольной розы* (стр. 209—210).

32. Двоюродная сестра, *остѣдлая* и довольно богатая (стр. 210).

33. Дѣло кипѣло... съ достодолжнымъ порядкомъ (стр. 210).

34. Графиня приказала племянницѣ *одѣться повнимательнѣе* (стр. 210).

¹⁾ Что-жъ она? высовывалась какъ собака или сидѣла какъ чловѣкъ? — С. Ш.

35. Кисейное платье племянницы чуть не вспыхнуло отъ огня, пробѣжавшаго по ея жиламъ (стр. 210).

36. Усами, *щеюльски-отдѣланными на тотъ разъ* (стр. 211).

37. Люди, которые считались давно умершими, выползли изъ своихъ норъ, гдѣ они лѣтъ тридцать упорно сражались съ смертью и не сдались, гдѣ они лѣтъ тридцать капризничали и собирали *деньги, хилые, разбитые параличѣмъ, съ удущѣмъ и глухотой* (стр. 211).

38. Безсовѣстное *черненье чужихъ репутацій* (стр. 211).

39. Молодая была счастлива отъ маленькаго пальца на ногѣ до конца длиннѣйшаго волоса въ косѣ (стр. 212).

40, 41. Глафира Львовна, цвѣтушая, какъ развернувшійся *кактусъ, въ бѣломъ пеньюарѣ*, обшитомъ широкими кружевами, наливала утромъ чай; супругъ ея, въ *позолоченомъ* халатѣ изъ тармаламы... (стр. 212).

42. Амуръ, *дрыпавшій* ногами и *крыльями*... (стр. 213).

43. *Поступокъ самъ въ себѣ былъ* величайшею *необдуманностию* (стр. 213).

44, 45. Романическая экзальтація, предпочитающая всему на свѣтѣ трагическія сцены, *самопожертвованія, натянуто-благородные* поступки (стр. 213).

46. Какія бы оно послѣдствія ни привело (стр. 214) (вмѣсто: къ какимъ бы послѣдствіямъ оно ни привело).

47. Пышущая счастьемъ чета (стр. 214).

48. Человѣкъ выносливый (стр. 215).

49. Домикъ, который мы искали (стр. 215).

50. Восемь лѣтъ *номадной жизни* (стр. 216).

51. Ситецъ былъ превосходный: на диванѣ Авраамъ три раза *изюнялъ* Агарь съ Измаиломъ *на полъ*... (стр. 216).

52. Родился Митя, единственный наказанный *въ долль* о найденномъ *тѣлѣ* кучера (стр. 217).

53. Управляющій мецената, человѣкъ не слабонервный, *почувствовалъ* что-то *въ родѣ слезъ* (стр. 219).

54, 55. Изъ него разовьется одно изъ милыхъ германскихъ *существованій*,—существованій тихихъ, благородныхъ, счастливыхъ... это существованія маленькихъ патріархальныхъ городковъ (*existence*) (стр. 220).

56. Душѣ несвойственна эта *среда*; она не можетъ утолять жажду такимъ жиденькимъ винцомъ (стр. 220).

57. Онъ *унаследовалъ* отъ отца удачу (стр. 220).

58. Онъ былъ *съ* бамбуковой *палкой* въ рукахъ и *съ видомъ* рѣшительнаго провинціала (стр. 221).

59. Генераль *денежно* васъ *не обидитъ* (стр. 222).

60. Онъ не совсѣмъ еще вымеръ: въ глазахъ его еще попрыгивали огоньки (стр. 222).

61. Вталкивая этого юношу въ глухую жизнь (стр. 223).

62. Человѣкъ вездѣ можетъ *оклиматиться* (стр. 223).

63. Бесѣда эта продолжалась *до появленія дѣтей здороваться* (стр. 224).

64. Садъ *отъ запущенности* сдѣлался хорошимъ (стр. 225).

65. Саранча босыхъ, полуголыхъ и полусытыхъ *дѣтей* нападала на масленки... (стр. 225).

66. Жиръ, жиръ и жиръ, едва *смячаемый капустой, лукомъ* и солеными *грибами, перерабатывался*, при помощи достаточнаго количества мадеры и портвейна, въ *упругое тѣло* Алексѣя Абрамовича, въ *расплывшееся Глафиры Львовны, и въ сморщившееся тѣльцо*, едва *покрывавшее косточки* Элизы Августовны. (Въ послѣднемъ случаѣ вмѣсто *тѣльца* Г. Искандеръ, вѣроятно, думалъ сказать *мясо*) (стр. 226).

67. Она увѣряла, что *въ ея родинѣ* (вм. на ея родинѣ) у нихъ былъ виноградникъ (стр. 226).

68. Та (жена сельскаго священника) *являлась какое-то дикое, несвязное* существо, вѣчно испуганное и всего боящееся.

69. Попадья была *непроходимо глупа*.

70. Послѣ ужина *семья* начинала *звать всѣми ртами*.

71. *Домъ спалъ отъ конюшни* до чердака.

72. Негровъ *подъ другою фамиліей*.

73. Старуха-тетка, *поврежденная на желаніи* отдать дочерей замужъ.

74. Весь *талантъ* французенки былъ *употребляемъ* на то, чтобы *конопатить эти дыры во времени* (№№ 68—74 на стр. 226).

75. Она хранила на всѣхъ дѣйствіяхъ какую-то *печать кліентизма* и униженія.

76. Она, *хочотавъ и вязавъ* чулокъ, *жила себѣ* беззаботно.

77. Ей,—вѣчно втянутой во всѣ маленькія исторіи...:

78. *Повѣствовала ихъ* (интриги и похождения) она...:

79. Алексѣй Абрамовичъ *слушалъ скандальныя хроники* воспитательницы своихъ дѣтей (по-французски, откуда это переведено, употребляется только въ единственномъ: la chronique scandaleuse).

80. Время проходило, *напоминая* себя *уменьшеніями* дней.

81. Принося явный диссонансъ въ слаженный аккордъ (№№ 75—81 на стр. 227).

82. Жесткія черты Алексѣя Абрамовича *искуплялись* такъ сказать *въ лицѣ* Любоньки.

83. По ея лицу *можно было* понять, что въ Негровѣ *могли быть хорошія возможности*.

84. Лишенная *деликатности, которую даетъ одно развитіе*, эти люди были *безсознательно грубы*¹⁾.

85. Какъ надобно *было быть* (№№ 82—85 на стр. 228).

86. Ея Лиза будетъ всегда стерта благородной наружностью Любоньки (стр. 229).

87. Все это мелочи, не стоящія вниманія *съ точки зрѣнія вѣчности* (стр. 229).

88. Кто испыталъ на себѣ рядъ ничтожныхъ, нечистыхъ *аваній* (стр. 229).

¹⁾ Эти слова можно примѣнить къ самому автору, что лишенный въ отношеніи къ Русскому языку деликатности, которую даетъ одно развитіе, онъ безсознательно грубо съ нимъ обращается.—С. Ш.

89. Въ числѣ этихъ *ненужностей*, купила она... (стр. 231).
90. *Круизъ вопросовъ*, возбужденныхъ въ ней, былъ *совершенно личенъ* (стр. 231).
91. Но *дѣвушкой она бѣжала въ самое себя* (стр. 234).
92. Любонька *цѣлой жизнию* не могла привыкнуть къ грубому тону... (стр. 234).
93. А. А. начиналъ *шпынять* надъ Любонькой (шпынять кого, а не надъ кѣмъ) (стр. 234).
94. Совершенная *чуждость* остальныхъ лицъ способствовала ея развитію (стр. 234).
95. Наши молодые люди *раздували* свою *любовь Жуковскимъ* (стр. 235).
96. *Зарыдалъ въ три ручья* (стр. 235).
97. Круциферскій блѣднѣлъ, краснѣлъ, синѣлъ, желтѣлъ... (стр. 236).
98. Его видъ былъ оптической обманъ (стр. 237).
99. Горничная съ холстинными рукавами унесла самоваръ (стр. 237).
100. Густая коса Палашки, имѣвшая несчастье подходить подъ *цвѣтъ остатковъ шевелюры* Глафиры Львовны, снова начала *привязываться*... (стр. 238).
101. Будь это во время дамскаго управленія парокъ, онѣ бы не вытерпѣли и перерѣзали бы его ниточку (стр. 241).
102. Круциферскій былъ больше счастливъ, нежели вчера несчастливъ (стр. 243).
103. Повѣствовали иногда всякія *несбыточности* (стр. 249).
104. Отъ сбора талекъ и *обвѣшиванья масломъ* (стр. 260).
105. *Неразвитость* и дурное общество нанесли на него «семь фунтовъ грязи», какъ выражается одинъ мой знакомый (стр. 261).
106. Вымѣрила всю длину, ширину и глубину своего двусмысленнаго положенія (стр. 261).
107. Еслибъ не *помойною цвѣта прищуренные глаза* его матери, то онъ, можетъ быть, перещеголялъ бы Бельтова (стр. 262).
108. Сама не могла *изжить* страшнаго *опыта*, перенесеннаго ею до замужества (стр. 267).
109. *Судорожная любовь* къ сыну была *смѣшана* у ней *съ чернымъ началомъ* ея души (стр. 267).
110. Офицеръ взялъ съ собою экземпляръ (вѣроятно, вмѣсто тома) *Кребильоновыхъ романовъ* (стр. 269).
111. Отца, который, кряхтя и ходя въ нагольномъ тулупѣ, *для одной*, впрочемъ, *скрученія*, прикупилъ 2500 душъ (стр. 269).
112. *Съ просасывающимся довольствомъ* во всѣхъ чертахъ (стр. 289).
113. Они недѣли двѣ разсказывали направо и налево (съ франц. à droite et à gauche) (стр. 291).
114. Комната наполнялась *запахомъ* подоженного масла, который, *переплетаясь съ* постоянной табачной *атмосферой*, составлялъ нѣчто такое, что могло бы произвестъ тошноту у иного *эскимоса, взлелѣяннаго на тухлой рыбѣ* (стр. 292).
115. Каретныя вещи, *сакъ*, шкатулка были принесены. (Сакомъ ловятъ

у насъ раковъ, а здѣсь, вѣроятно, разумѣется французскій сас, т. е. мѣшокъ) (стр. 292).

116. Домъ съ сѣнями, украшенными двумя-тремя просителями изъ бо-родачей (стр. 293).

117. Домъ съ мезониномъ, необитаемымъ зимою *отъ* итальянскаго окна во всю стѣну (стр. 293).

118. *Пѣсня*, разомъ *подрѣзанная*, *остановилась*, только балалайка показалъ палець будочнику; почтенный блюститель тишины гордо отпра-вился подъ арку, какъ паукъ, возвращающійся въ темный уголь, *закусивши мушиными мозгами* (стр. 294).

119. Тишина на морѣ, въ сѣлу (?) ¹⁾, даже просто на полѣ, на ров-номъ вдоль идущемъ полѣ, наполняетъ *меня* особымъ *поэтическимъ благо-честіемъ* (стр. 295).

120. Предсѣдатель гражданской палаты, *доказывавшій* *ирязью* свое безкорыстіе.

121. *Жилъ мною раздраженіемъ мозги и раздраженіемъ чувствъ.*

122. Вдругъ обернешься назадъ и съ изумленіемъ увидишь, что раз-стояніе пройдено страшное, нажито, прожито бездна... онъ нажилъ и про-жилъ бездну, но не установился.

123. Жозефъ сдѣлалъ изъ него *человѣчка вообще*, какъ Руссо изъ Эмиля (№№ 120—123 на стр. 297).

124. Онъ былъ слишкомъ *развитъ*, а развратъ этихъ господъ слиш-комъ грязенъ, слишкомъ грубъ.

125. Онъ занимался *безсистемно*.

126. Такая жизнь не могла ни привести къ *болѣзненной потребности дѣла*.

127. Много жилъ и мыслю и страстями, *раздраженіемъ мозги и раз-драженіемъ чувствъ* (повтореніе: см. № 121) (№№ 124—127 на стр. 298).

128. Онъ былъ лишенъ *совершеннолѣтія* (стр. 299).

129. Онъ (Бельтовъ) былъ потерянъ въ первый день приѣзда (съ фран-цузскаго: il était perdu) (стр. 300).

130. *Лицъ, оттертыхъ* на далекое *разстояніе* длиннымъ *эпизодомъ* (стр. 300).

131. *Лошадь* скоропостижно *умерла*... время ли ей пришло, или *ей обидно показалось*... только *она умерла* (стр. 301).

132. Николашка съ Палашкой чебурахнулись еще разъ въ ноги.

133. Перебрались наши молодые въ городъ, въ сопровожденіи кашляв-шаго Николашки и *барельефной* Палашки. (Николашка въ чахоткѣ, а Па-лашка дѣвка очень рябая).

134. Мало *дѣлали требованій на внѣшнее*.

135. Мы нашу семейную *жизнь не умѣемъ перетасить* черезъ *порогъ образованія*.

136. Они не *бросали послѣднія тощія средства* свои, чтобъ *оста-вить себя въ подозрѣніи богатства* (№№ 132—136 на стр. 302).

¹⁾ Вѣроятно, опечатка!—С. Ш.

137. Стадо идетъ домой *съ* своимъ *перелышаннымъ хоромъ крика, топанья, мычанья* (стр. 303).
138. Ребенокъ отправился *туннелемъ между ножекъ* къ Крупову (стр. 303).
139. Право, не такъ грубѣешь, не такъ *падаешь* въ *ячность*, глядя на эту молодую травку (стр. 303).
140. Симпатично улыбаясь мужу (стр. 306).
141. У насъ *нравъ поверхностье, удобовпечатлимые* (стр. 307).
142. У него *сверхъ дочери* была жена (стр. 310).
143. Несовершенное *посвященіе себя четверкъ гндыхъ* (стр. 310).
144. *Рыхлыя обзятія* вѣрной супруги (стр. 310).
145. Смѣшно *смотрять институткой* на міръ *двадцатипятилѣтними глазами* (стр. 311).
146. Чтобы прошелъ загаръ, какъ она называла ея *смулость* (стр. 311).
147. Вышивать въ пальцахъ разныя *ненужности* (стр. 312).
148. Сдѣлать имъ честь *откушаніемъ* у нихъ обѣденнаго *стола*. (Это употреблено въ насмѣшку, въ пригласительномъ билетѣ на обѣдъ отъ уѣзднаго предводителя; но мы находимъ, что выраженіе приходится совершенно къ стилю всего романа и напоминаетъ подобныя ему: послѣ прорѣзыванія зубовъ, отъ обвѣшиванья масломъ, посвященіе себя четверкъ гндыхъ, желаніемъ обнаруженія,—а потому иронія потеряна) (стр. 316).
- 149, 150. Бельтовъ *чрезвычайно грустный сидѣлъ съ своей стороны* и въ своемъ номерѣ, *тоскливо думая о чемъ-то очень грустномъ и тяжеломъ* (стр. 323).
151. Еслибъ онъ былъ (Бельтовъ) *неиспорченный западнымъ нововведеніемъ* русской... (стр. 323).
- 152, 153. Эти ліонскіе работники, которые умираютъ голодной смертью,—съ готовностью трудиться, *за недостаткомъ работы,—не умѣютъ ничего дѣлать*, или *изъ ума шутятъ* (стр. 328).
154. Споры съ Круповымъ получили характеръ *провинціальной стойкости* (стр. 331).
155. Тихимъ *руслемъ журчала жизнь* нашихъ пріятелей... (стр. 331).
156. Надобно быть или очень ограниченнымъ, или очень *ячнымъ* (стр. 331). (*Ячный* по-русски говорится такъ же, какъ *овсяной, просяной, грешневой, ржаной*. Если же отъ мѣстоименія личнаго *я* произвести *ячный* и *ячность*, то отъ чего же отъ множ. *мы* не произвести *мычный* и *мычность*?).
157. Обреченнаго *уморить* въ себѣ страшную *ширь пониманья* (стр. 332).
158. Бѣда тому, кто не умѣетъ *самъ себя довать* (стр. 333).
159. *Бойся предаваться* слишкомъ трезвому *взгляду* (стр. 337).
160. Красота, *разливающая порывы* (стр. 338).
161. Все это гордость, избалованность, *распущенность* (стр. 338).
162. ...Что обстоятельства, долго *синетая эту свѣтлую натуру*, насильственно *втѣснили ей мрачные элементы*, и что они *развѣдаютъ ее по несродности* (стр. 339).

163. Кандидатовъ на все довольно — занадобится исторіи, она беретъ ихъ; нѣтъ — *ихъ дѣло какъ промаячить жизнь* (стр. 339).

164. Давно замѣчено поэтами, что природа *до отвратительной степени равнодушна* къ тому, что *дѣлаютъ люди на ея спинѣ* (стр. 341).

165. Апрельскій *день, пришедшій*, вѣроятно, для того *въ NN*, чтобы жители потомъ поняли весь холодъ мая, слѣдующаго *за нимъ* (стр. 341).

166. Частный приставъ *самоотверженно* посылалъ передъ всякимъ праздникомъ пожарнаго солдата, уничтожать художественныя *произведенія, періодически выпавшія* на скамейкѣ (стр. 341—342).

167. Два досчаника, похожіе на какихъ-то *ископаемыхъ* многоножныхъ *раковъ, послѣдовательно* поднимавшихъ и опускавшихъ свои ноги (стр. 342).

168. Наслаждаться чѣмъ-нибудь какъ воръ — краденымъ, *съ запертыми дверями* (стр. 344).

169. Съ душою,—*переполненною желаніемъ обнаруженія* (стр. 344).

170. *Требовательность* мужчины (стр. 346).

171. Онъ велѣлъ подать бутылку шампанскаго—и *неловкое потонуло въ немъ, а радостное стало еще звонче* (стр. 346).

172. Въ нашу *полновѣсную* зимнюю *ночь* (стр. 348).

173. Привели его въ какое-то раздраженное *тихическое* состояніе (стр. 348).

174. Онъ не улыбнется съ насмѣшкой (стр. 351).

175. Хозяйство не было *монтировано* (стр. 361).

176. Зачѣмъ я *живу вообще?* (стр. 369).

432. Напечатано въ №№ 147 и 148 (8 и 11 декабря) «Москов. Вѣдомостей» 1845 г., неисправно въ IV т. Спб. изд. Подлинникъ не найденъ; свѣрено по газетѣ. Отдѣльные оттиски статьи вышли съ подписью «И—ръ». Подъ заглавіемъ было поставлено: «(Сообщено)», что значило тогда — получено официальнымъ порядкомъ, въ данномъ случаѣ — отъ попечителя, гр. С. Г. Строганова, одобришаго статью.

433. Напечатано неисправно въ «Отчетѣ И. Публичной Библиотеки за 1890 г.»; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ той же библиотекѣ.

434. Напечатано въ VI кн. «Голоса Минувшаго» 1913 г.; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ Рум. муз.

435. Напечатано въ «Отчетѣ И. Публичной Библиотеки за 1890 г.»; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ той же библиотекѣ.

436. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ АСГ.

437. Напечатано въ «Петербургскомъ сборникѣ» 1846 г. (цензурная дата—12 января), потомъ въ сборникѣ «Раздумье», М. 1870 г., въ III т. «Былого и думъ», Лондонъ, 1862, въ VIII т. Жен. изд. и въ IV т. Спб. изд. Подпись въ сборникѣ «Искандеръ». Подлинникъ не найденъ; свѣрено по сборнику 1846 г. Въ лондонскомъ изданіи подъ заглавіемъ «Капризы и раздумье» даны три произведенія, изъ которыхъ это имѣетъ и свое самостоятельное—«По разнымъ поводамъ».

Въ критическомъ отзывѣ С. П. Шевырева о «Петербургскомъ сбор-

никѣ» статьѣ Герцена отведено большое мѣсто. Отзывъ врага представляет особый интересъ, поэтому привожу его безъ большихъ сокращеній. Разо-бравъ «Бѣдныхъ людей» Достоевскаго, «Помѣщика» Тургенева, «Парижскія увеселенія» И. Панаева и еще нѣкоторыя вещи сборника, Шевыревъ гово-ритъ: «Начитавшись этого, невольно выпадаешь въ *капризы* и *раздумье* г. Искандера. Г. Искандеръ (по имени отуреченный, по слогу онѣмеченный словенинъ) передаетъ намъ капризы одного страннаго человѣка, который впалъ въ *рефлекторство*; слогъ этихъ замѣтокъ такъ похожъ на слогъ самого г. Искандера, что видно большое между ними сочувствіе, сильное вліяніе одного на другого. Надобно отдать справедливость г. Искандеру, что онъ своею статьею, все-таки, шевелить мысль. У него есть мысль, но мысль большая: болѣзнь ея обнаруживается вычурною ея формой, которая доходитъ до уродливости. Къ ней можно примѣнить то, что г. Искандеръ самъ же говорить въ заключеніе своихъ капризовъ. «Старый юноша имѣетъ свои пріемы, которыми онъ съ двухъ словъ обличаетъ себя... Онъ любить средніе вѣка, платоническую любовь; ему надобенъ эффектъ, фраза...» Иныя фразы капризовъ напоминаютъ сильно знаменитую фразу о томъ, какъ средній вѣкъ ногами сталъ себѣ на грудь... Это—растеніе, воротившееся въ камень вмѣсто того, чтобы итти въ высшій процессъ органической; это *монстръ* міра мысленнаго, иногда такого же ненормальнаго развитія, какое бываетъ въ душѣ человѣка, какъ и въ природѣ физической, и разрѣшается уродами. Къ числу такихъ монстровъ мысли и слова принадлежитъ фраза г. Искан-дера... Болѣзнь мысли г. Искандера, выражающаяся въ больной его фразѣ, происходитъ оттого, что эта мысль зачалась въ сферѣ чистаго отвлеченія, что она отреклась отъ жизни съ самаго начала своего рожденія, что она въ гордости своей не захотѣла признать мысли въ самой жизни; это мысль падшая; это осколочекъ, угодившій къ намъ отъ ея прежняго развитія въ Германіи. Зачавшись въ сферѣ отвлеченія отъ жизни, она чувствуетъ анти-патію ко всему, что носить на себѣ ея признаки, что безъ жизни непонятно. Такъ, напри-мѣръ, для нея безсмысленъ народъ. Она не можетъ ему сочув-ствовать. Она это выражаетъ и тѣмъ, что не признаетъ языка его, а си-лится создать какой-то свой, уродливый, для народа безсмысленный. Она, чувствуя свое тяжкое отчужденіе отъ жизни и съ тѣмъ вмѣстѣ ненасыти-мую къ ней жажду, бросится на природу, но и въ науку ея внесетъ свои отвлечения, и природа явится для нея призракомъ, и живой опытъ будетъ ей недоступенъ, потому что между имъ и ея отвлеченностью бездна неиспол-нимая. Такъ платитъ мысль за свою ссору съ жизнью, за то, что она ея не признала... Въ наше мотливое время отвлеченная мысль найдетъ смѣ-лость защищать мотовство противъ скупости... Деньги недостойны уваженія сами по себѣ, но достойны безконечнаго уваженія, поскольку онѣ проходятъ черезъ руки лицъ, пока мнѣ не достанутся. Для мысли отвлеченной онѣ ле-жать безъ значенія. Процессъ жизни, черезъ который пришли деньги, за-крытъ для нея и тутъ, какъ онъ закрытъ для нея во многомъ другомъ. Кровь, потъ, слезы, лишенія на нихъ для нея не видны, и она готова оправды-вать мотовство наслажденіемъ... Но довольно. Мы, все-таки, должны побла-годарить г. Искандера за то, что онъ своими софизмами заставляетъ мыслить

и вызываетъ на споръ. Это одно изъ исключеній «Петербургскаго сборника» («Москвитянинъ» 1846, IV, 186—191).

А. В. Никитенко въ «Библиотекѣ для Чтенія» отнесся къ статьѣ вполне сочувственно. «Авторъ уже извѣстенъ образованной публикѣ своими глубоко-мысленными философскими статьями, постоянно помѣщаемыми въ «Отеч. Запискахъ». Мы знаемъ, что при словѣ «философія» многіе улыбнутся, но это ничего не значить. Лѣтъ за полтора назадъ у насъ не улыбнулись бы, а захохотали и погрозили бы кулакомъ тому, кто, напримѣръ, произнесъ бы слово «литература»; тутъ увидѣли бы непременно чернокнижіе заморское, еретичество или что-нибудь подобное,—и вотъ, однакоже, мы имѣемъ литературу. Настанетъ время, когда и философскія идеи будутъ торжественно признаны однимъ изъ необходимыхъ элементовъ народнаго образованія и нравственной народной силы. Уму, столь свѣтлому, столь гибкому и дѣятельному, какъ русскій, способному и возвышаться и анализировать, передъ которымъ открыть такой широкой путь всевозможныхъ успѣховъ, нельзя же, изъ угожденія нелѣпому и близорукому антираціонализму, отказаться отъ права быть вполне просвѣщеннымъ и развитымъ. Даже теперь, когда философскія идеи, какъ мы сказали, возбуждаютъ улыбку во многихъ, онѣ дѣйствуютъ въ нашей образованности и дѣйствуютъ гораздо глубже и благотворнѣе, чѣмъ кажется ихъ недоброжелателямъ. Эти господа и не подозреваютъ, что, учась чему-нибудь, они учились не иначе, какъ при пособіи философскихъ соображеній, зная что-нибудь, они знаютъ не иначе, какъ при помощи довѣрія къ разуму, и что даже, о, ужасъ! они сами нерѣдко философствуютъ, хотя и дурно. Такова ужъ, видно, участь великихъ и всеобщихъ идей, чтобъ въ одно и то же время была поругана ихъ репутація нелѣпыми толками и воздавались имъ наилучшія почести ихъ же принятіемъ въ науку, въ искусство и жизнь. Здѣсь не мѣсто входить въ разборъ философской школы господина Искандера, его методы, достоинства и недостатковъ его сочиненій: мы надѣемся сдѣлать это въ другое время. Но не можемъ, хоть мимоходомъ, не поблагодарить его отъ имени науки и истины за его прекрасные, благородные и полезные труды. Съ его глубокимъ знаніемъ предмета, съ его діалектическимъ искусствомъ, съ его взглядомъ на вещи, склоняющимся всегда къ живымъ и великимъ интересамъ человѣчества, взглядамъ одинаково чуждымъ и пошлымъ примѣненій и многостороннихъ, но пустыхъ отвлеченностей, онъ можетъ оказать существенныя и важныя услуги наукѣ, такъ мало еще у насъ обработанной. Статьею, которая подала намъ поводъ къ нынѣшнимъ замѣчаніямъ, онъ доказалъ, что ему достаточно знакома почва, на которой воздѣлывается всякая живая истина—сердце человѣческое, что онъ не только хорошо видитъ вещи посреди обширнаго горизонта, съ высоты общихъ понятій, но видитъ ихъ ясно и въ тѣхъ темныхъ уголкахъ и извилинахъ лабиринта общества, которые, повидимому, доступны только микроскопическимъ наблюденіямъ» («Библ. для Чтенія» 1846, IV, 50—51).¹

438. Напечатано въ «Отчетѣ И. Публичной бібліотеки за 1890 годъ»; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ той же бібліотекѣ.

439. То же.

440. То же.

441. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ Рум. муз. Время—съ середины 1845 года до конца 1846 г., вѣрнѣе же мартъ—апрѣль 1846 г.; вѣроятно, книгу привезли съ собой или Огаревъ или Сатинъ.

442. Напечатано въ «Отчетѣ И. Публичной библиотекѣ за 1890 годъ»; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ той же библиотекѣ.

443. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ Рум. муз.

444. Напечатано въ «Отчетѣ И. Публичной библиотекѣ за 1890 годъ»; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ той же библиотекѣ.

445. Напечатано неполно и неисправно въ IX кн. «Рус. Мысли» 1904 г.; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ Рум. муз.

446. Напечатано неисправно въ IX кн. «Рус. Мысли» 1904 г.; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ Рум. муз.

447. Напечатано неисправно въ XI кн. «Рус. Мысли» 1902 г.; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ Рум. муз.

448. Напечатано въ XI кн. «Рус. Мысли» 1902 г.; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ Рум. муз.

449. Напечатано неисправно въ X кн. «Рус. Мысли» 1904 г.; свѣрено съ подлинникомъ, хранящимся въ Рум. муз.

450. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ копіей, подписанной «Искандеръ» и хранящейся въ АСГ. въ числѣ совершенно несомнѣнно имъ написанныхъ произведеній. Дата опредѣляется, съ одной стороны, указаніемъ на то, что Москва ожидаетъ желѣзной дороги въ Петербургъ; Николаевская дорога открыта 1 ноября 1851 года, слѣдовательно, статья написана до этого. Съ другой стороны, врядъ ли Герценъ писалъ ее за границей, въ 1847—51 гг., когда тема статьи не могла занимать его именно въ тѣ годы, полные болѣе глубокихъ и основныхъ переживаній. Мнѣ кажется, что статья написана въ 1846 г. по возвращеніи изъ Петербурга. Это было письменное отданіе себѣ самому отчета въ томъ положеніи Россіи, въ которомъ она дѣлалась тяжела автору, рѣшившему покинуть ее (тогда временно, какъ онъ думалъ).

Причастный къ петрашевцамъ А. П. Милуковъ говоритъ: «У многихъ изъ нашихъ знакомыхъ письмо Бѣлинскаго къ Гоголю обращалось въ спискахъ вмѣстѣ съ привезенной также изъ Москвы юмористической статьей А. Герцена, въ которой остроумно и зло сравнивались обѣ наши столицы» («Рус. Старина» 1881, III, 698). Я думаю, что это указаніе относится именно къ этой статьѣ, а не къ № 504,—она была ближе къ настроенію петрашевцевъ и злѣе.

451. Напечатано нигдѣ не было; свѣрено съ копіей, снятой Пыпинымъ съ подлинника, полученнаго отъ Анненкова; подлинникъ не найденъ. Дата устанавливается, благодаря сожалѣнію Н. А.—ны, что Кетчеръ не ѣдетъ въ Москву встрѣтить вмѣстѣ новый годъ въ послѣдній разъ.

Опечатки и дополненія.

<i>Стран.</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано.</i>	<i>Должно быть.</i>
44	9 сн.	herog	hervog
120	11 св.	Рамусъ	Рамюсъ
177	12 сн.	Стаффордъ	Страффордъ
191	11- св.	Сент.	(Начало сент.
192	1 сн.	раздумье».	раздумье», № 437.
193	12 св.	(Конецъ	(30—31
390	21 св.	напишу	напишу ²⁾ ,

²⁾ Послѣ появленія № 432, Краевскій просилъ написать подробнѣе о томъ же для «Отеч. Записокъ».

№ 433 долженъ быть помѣщенъ послѣ № 434.

416	1 св.	Москва	Торжокъ
417—428	1 св.	Москва	С.-Петербургъ
426	5 сн.	человѣкъ	человѣкъ
429	17 св.	отъѣздѣ	отъѣздѣ
—	20 св.	ребенокъ	Иванъ

№ 450. Напечатано въ VII—VIII кн. «Голоса Минувшаго «1916 г. подъ заглавіемъ, произвольно даннымъ опубликовавшимъ статью г. Цявловскимъ: «Петербургъ, — Москва, — провинція», съ неисправнымъ текстомъ и датой: «Брайтонъ, 15 мая 1853 г.». Имя автора не подписано, и г. Цявловскій вы- сказалъ только предположеніе, что статья—какое-нибудь заграничное изданіе.

Исключенія, сдѣланныя при печатаніи до революціи.

(Напечатано съ одной стороны, чтобы желающіе могли вырѣзать и вклеить на соотвѣтствующія страницы).

185	15 св.	гонореѣ).
430	9 св.	вселенскій соборъ,
431	14 сн.	Императоры
—	— —	подданныхъ
432	14 св.	Монахи
—	15 св.	монастырей
—	10 сн.	гермафродиты
—	3 сн.	попы
433	2 св.	попы,
—	— —	поповъ,
—	5 св.	Военная
—	—	солдата
433	8 св.	Офицеры
434	10 сн.	архіереевъ
—	9 сн.	монахами,
—	8—7 сн.	архіереевъ,
—	7 сн.	монаховъ

Изданіе помѣщается въ книжномъ складѣ М. М. Стасюлевича.

Петроградъ, Вас. остр., 5 лин., собств. д. 28.